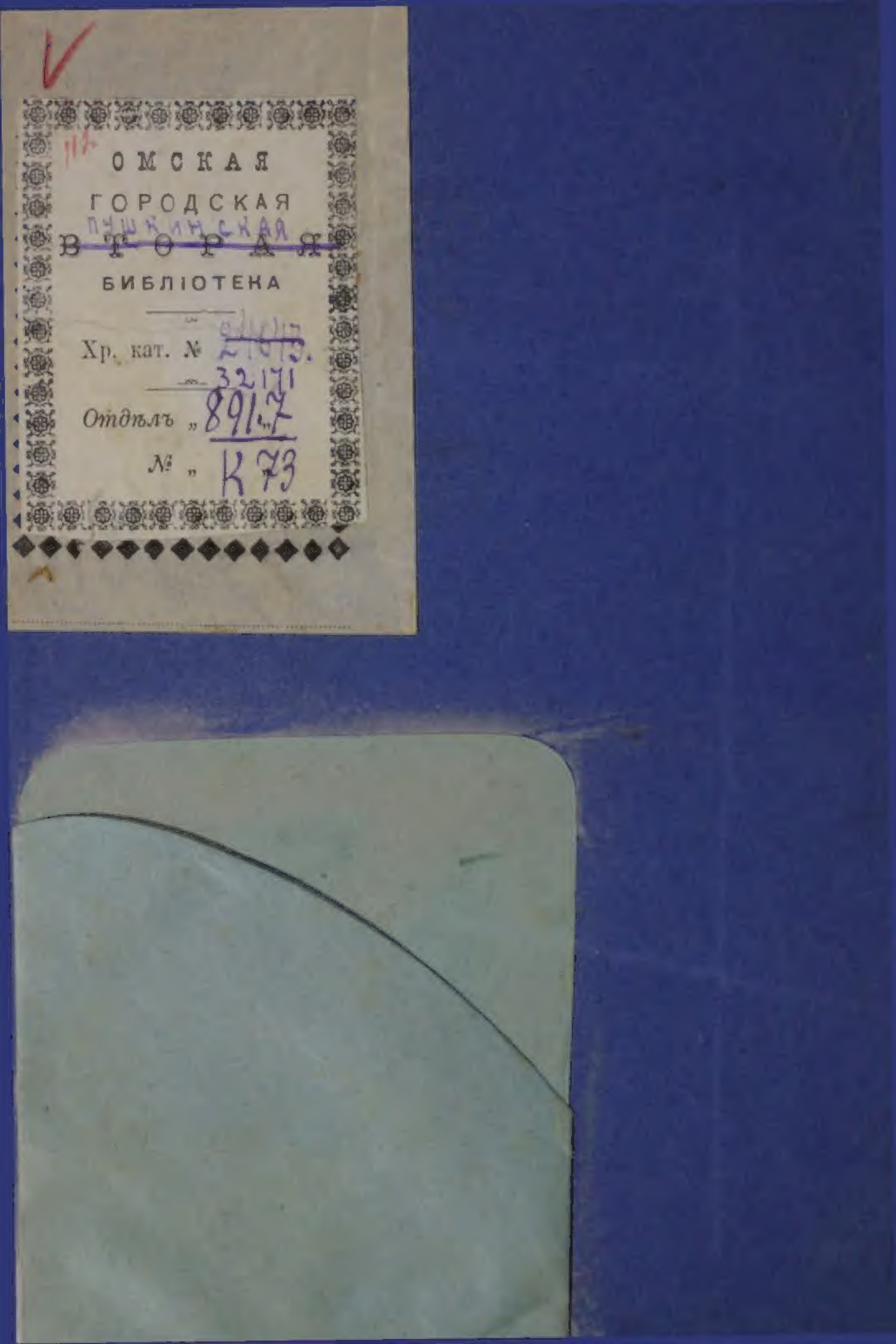
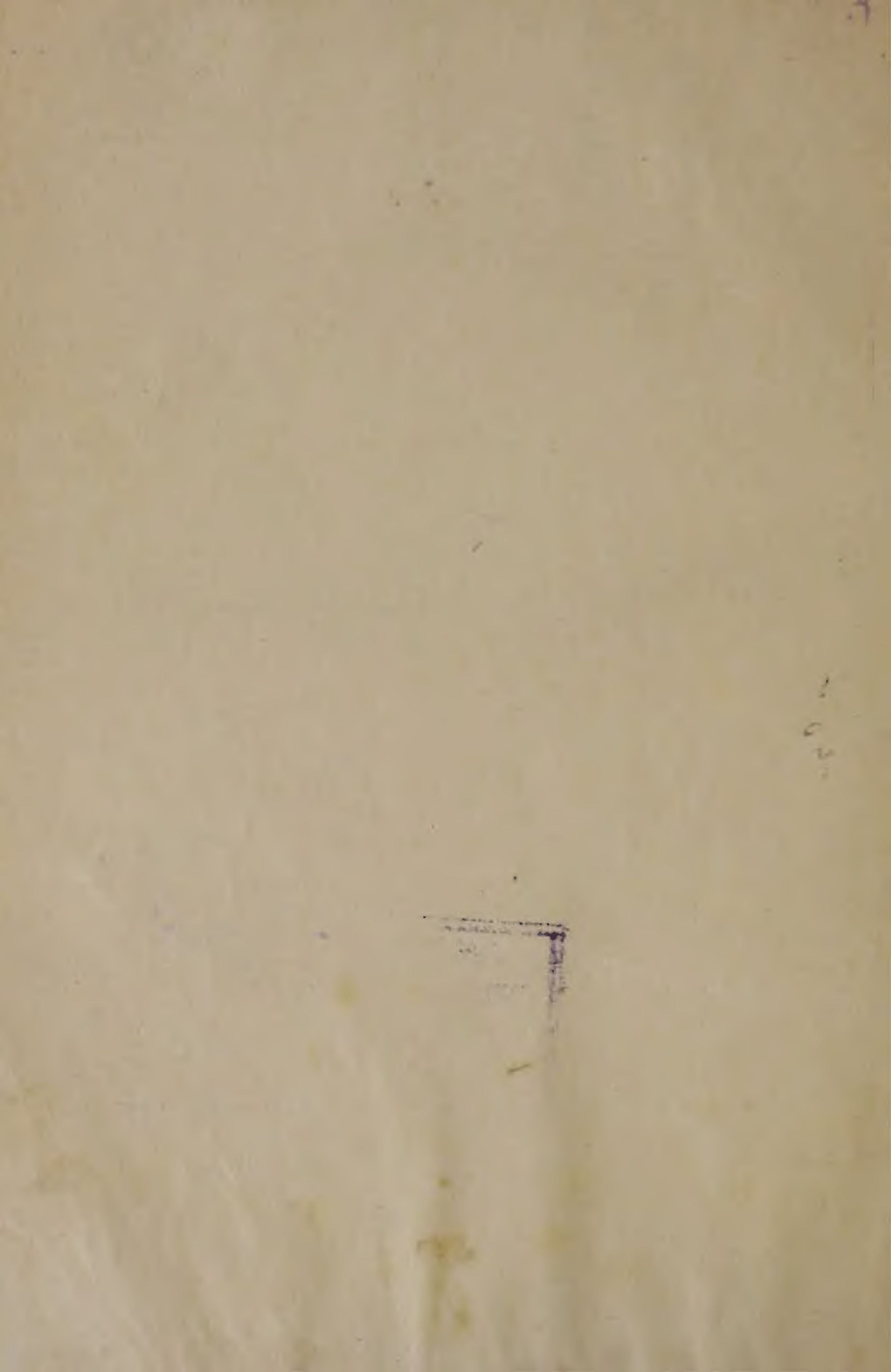
Н. Котляревский
Канун
освобождения
1855 - 1861



# КАНУНЪ
# ОСВОБОЖДЕНІЯ



# КАНУНЪ ОСВОБОЖДЕНІЯ



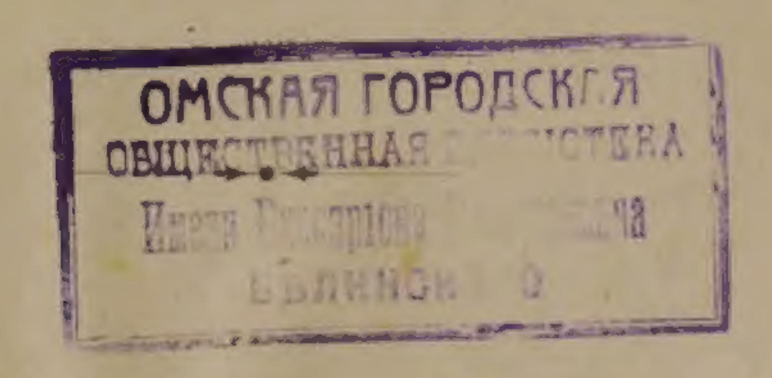
1855—1861




ИЗЪ ЖИЗНИ ИДЕЙ И НАСТРОЕНІЙ ВЪ РАДИКАЛЬНЫХЪ КРУГАХЪ ТОГО ВРЕМЕНИ



НЕСТОРА КОТЛЯРЕВСКАГО




ПЕТРОГРАДЪ
Типографія М. М. Стасюлевича. Вас. остр., 5 л., 28
1916




4686




СВѢТЛОЙ ПАМЯТИ

Александра Николаевича

ПЫПИНА

Заглавіе книги значительно шире ея содержанія. Канунъ освобожденія 1855—1861 годовъ переживали не только тѣ люди, о которыхъ въ этой книгѣ идетъ рѣчь, но и многіе другіе, не менѣе ихъ даровитые, и съ ними во многомъ существенномъ не согласные. Сказать, что радикальная мысль и радикальное настроеніе были въ 1855—1861 годахъ главными силами, приводившими русскую жизнь въ движеніе— нельзя. Иныя силы двигали тогда нашей жизнью и не радикальнымъ кругамъ тогдашняго общества обязаны мы той подготовительной работой, которая въ 1861 году надломила главный устой дореформеннаго строя.

Но несомнѣнно, что въ общемъ движеніи сталкивающихся и борющихся мнѣній и настроеній, какими обогатилась наша общественная жизнь тотчасъ же послѣ перемѣны царствованія — радикальное направленіе мыслей и чувствъ было явленіемъ не только весьма замѣтнымъ, но совершенно исключительнымъ по своей новизнѣ и по тѣмъ послѣдствіямъ, какія оно въ русской жизни вызвало. Всѣ направленія мысли и темпераменты одновременно съ нимъ проявлявшіеся въ интеллигентномъ обществѣ—направленіе оффиціально правительственное, консервативное разныхъ типовъ и либеральное разныхъ оттѣнковъ—имѣли за собой богатое прошлое и были послѣдовательнымъ развитіемъ идей и настроеній, задолго до 1855—1861 годовъ опредѣлившихся. Радикализмъ въ мысляхъ и чувствахъ [illegible]

явленiемъ новымъ, и корни его въ старину не уходили. Въ царствованiя Александра Павловича и Николая Павловича бывали вспышки общественной мысли и чувства, которыя иногда не пугались крайностей и прiобрѣтали обликъ настоящаго политическаго радикализма. Но этотъ радикализмъ уживался съ религiознымъ чувствомъ и съ идеалистическими основами общаго мiросозерцанiя. Радикализмъ шестидесятыхъ годовъ былъ полнымъ отрицанiемъ всѣхъ до него господствовавшихъ взглядовъ на отвлеченныя начала жизни и попыткой замѣны этихъ взглядовъ новыми, опирающимися на матерiалистическое и утилитарное истолкованiе всѣхъ проблемъ жизни и духа. На этихъ новыхъ общихъ основанiяхъ радикализмъ шестидесятыхъ годовъ построилъ и свою общественную и политическую доктрину, рѣзкую по демократической тенденцiи и доводящую принципъ самоопредѣленiя и свободы мысли, чувства и дѣйствiя до его апогея. Аналогiи такому радикализму въ нашемъ прошломъ не было.

Весьма значительнымъ было и то влiянiе, какое радикализмъ оказалъ на дальнѣйшiй ходъ нашего общественнаго развитiя. Изъ радикальныхъ круговъ вышли всѣ теоретики и практики крайнихъ взглядовъ вплоть до революцiонеровъ и террористовъ, внесшихъ въ нашу жизнь столько движенiя и тревоги. Радикальная группа представляла собой силу, всегда опережавшую свое время. Осуществить то, чего они желали, радикалы не могли, но отъ нихъ всегда исходилъ наиболѣе сильный ударъ по существующему порядку, ударъ, заставлявшiй жизнь идти иногда впередъ, иногда назадъ, но во всякомъ случаѣ, вызывавшiй въ ней наиболѣе глубокое и длительное волненiе.

## II.

Въ наше время, при болѣе развитой и болѣе закономъ обезпеченной общественной и политической жизни, при наличности новыхъ основныхъ законовъ, которые позволяютъ

голосу страны имѣть извѣстное вліяніе на ходъ самой жизни, роль теоретическаго и практическаго радикализма не можетъ, конечно, быть такой значительной, какой она была раньше, въ годы, когда неограниченная правительственная опека надъ всѣми областями жизни не находила себѣ никакого ограниченія въ общественной самодѣятельности. Въ прежніе годы, начиная съ первыхъ лѣтъ царствованія императора Александра Николаевича вплоть до 1905 года, радикализмъ въ области мысли и дѣяній былъ несомнѣнно той силой, которая всего рѣшительнѣе и настойчивѣе шевелила общественные круги, и консервативные, и либеральные и безразличные. Составляя въ обществѣ меньшинство, люди радикальнаго образа мыслей обладали наибольшей силой воздѣйствія, если не на ходъ самой жизни, то на всѣхъ стоящихъ у ея кормила, а также на широкіе круги интеллигентнаго общества, въ огромномъ большинствѣ случаевъ терпѣливо умѣреннаго во взглядахъ и сдержаннаго въ поведеніи.

Ближайшее прожитое нами полстолѣтіе [1855—1905] было, при всѣхъ внѣшнихъ перемѣнахъ въ общественномъ строѣ, прямымъ продолженіемъ эпохи дореформенной. Правительственная опека какъ до годовъ реформы, такъ и въ годы ихъ дарованія не ослабѣвала и все было сдѣлано, чтобы общественную иниціативу и самодѣятельность урѣзать какъ можно больше.

Стремленіе правительства придать даруемымъ реформамъ лишь внѣшнюю видимость, лишивъ ихъ основного смысла, было впервые угадано, замѣчено и во всемъ своемъ объемѣ оцѣнено радикальной партіей, которая поставила своей прямой задачей борьбу съ этой тенденціей и притомъ борьбу, не признававшую никакихъ уступокъ, никакого соглашенія, никакого компромисса. По убѣжденію людей радикальнаго образа мыслей, добро должно [illegible] быть воинственно и придерживаться не оборонительной, а агрессивной тактики. Слѣдуя этому убѣжденію, радикалы [illegible] считались съ условіями времени и съ обстоятельствами, [illegible]

въ теоріи послѣдовательно въ крайнемъ направленіи, а въ области практики протестъ словесный очень скоро замѣнили революціоннымъ дѣйствіемъ. Такими крайними, врагами уступокъ и компромиссовъ, оставались радикалы за все время эпохи реформъ отъ 1855 до 1905 года, когда на короткій срокъ они оказались хозяевами положенія.

## III.

Книга, предлагаемая вниманію читателя, охватываетъ лишь нѣсколько лѣтъ въ исторіи развитія радикальной теоріи и практики, а именно первые начальные годы образованія радикальныхъ круговъ. Годы эти [1855—1861] составляютъ въ лѣтописяхъ радикальной партіи періодъ вполнѣ закон**ченный и закругленный.**

Образованіе и ходъ развитія радикальнаго образа мыслей, падающіе во вторую половину царствованія императора Николая Павловича, почти ускользаютъ отъ изслѣдователя въ виду своего чисто интимнаго характера и малаго количества свѣдѣній, до насъ дошедшихъ. Прослѣдить съ точностью, какъ въ дѣтскіе и полудѣтскіе умы и сердца закрадывались идеи и чувства протеста въ періодъ полнаго общественнаго застоя съ середины сороковыхъ годовъ до середины пятидесятыхъ, нѣтъ возможности. Отмѣтить можно лишь, что такая тайная подготовка умовъ и сердецъ совершалась частью подъ вліяніемъ лично испытанной соціальной неправды, частью подъ вліяніемъ новой или уже обрусѣвшей за прежніе годы **западной мысли.**

Въ 1855 году лица, испытавшія на себѣ въ дѣтствѣ это вліяніе, вступили молодыми людьми въ жизнь при исключительныхъ историческихъ условіяхъ. Въ шесть лѣтъ, съ 1855 по 1861 годъ, эта молодежь, подъ руководствомъ учителей, взятыхъ изъ ея же среды, сплотилась въ особую общественную силу, количествомъ незначительную, но влія-

тельную по стойкости своихъ радикальныхъ убѣжденій и по своему боевому темпераменту. Шесть лѣтъ ушли на выработку радикальнаго ученія, яснаго въ томъ, что оно отрицало и менѣе яснаго въ томъ, что оно утверждало. И доктрина эта выражала опредѣленное настроеніе, съ которымъ всѣмъ силамъ, управлявшимъ ходомъ нашей жизни, приходилось считаться. Въ теченіе событій радикальная доктрина не вмѣшивалась до 1861 года, когда достаточно опредѣлившаяся теорія была дополнена соотвѣтствующей революціонной практикой.

1855 1861 годы—прологъ революціоннаго движенія въ Россіи. Дѣйствія въ эту эпоху мало, но много идейнаго движенія; и такъ какъ послѣдующіе годы въ это идейное движеніе не внесли никакихъ рѣзкихъ перемѣнъ, то періодъ выработки радикальной доктрины, замкнутый 1855—1861 годами, представляетъ собою нѣчто цѣльное и вполнѣ опредѣленное. Основные взгляды на личную мораль, на участіе женщины въ общественномъ движеніи, на задачи воспитанія и образованія, на долгъ гражданина; религіозныя понятія и философскіе принципы, оцѣнка красоты въ жизни и искусствѣ: представленіе о желанномъ грядущемъ соціальномъ и политическомъ строѣ, опредѣленіе того участія, которое въ установленіи этого строя и въ его торжествѣ приметъ народная масса, наконецъ выборъ тактики самой борьбы за этотъ строй—всѣ эти вопросы, рѣшаемые при радикальномъ образѣ мысли и при боевомъ настроеніи, были намѣчены и обсуждены въ указанные годы и позднѣйшему времени пришлось въ эту теоретическую часть доктрины вносить лишь поправки и дополненія.

Въ 1905 году въ Петербургѣ былъ основанъ литературно-общественный кружокъ имени А. И. Герцена. Кружокъ поставилъ себѣ задачей разработку философскихъ, историческихъ и литературныхъ вопросовъ, связанныхъ съ жизнью и дѣятельностью Александра Ивановича.

Членъ-основатель кружка, угасшій Василій Яковлевичъ Богучарскій положилъ начало такимъ трудамъ въ книгѣ „А. И. Герценъ". Авторъ книги „Канунъ освобожденія" смотритъ на свою работу, какъ на дальнѣйшее частичное выполненіе намѣченной кружкомъ задачи.

# Эпоха реформъ въ освѣщеніи нашего времени

Эпоха реформъ какъ эпилогъ дореформенной Россіи. — Зависимость реформъ въ ихъ развитіи отъ началъ и традицій стараго порядка. — Чего не дали реформы народу и образованнымъ классамъ. — Система правительственной опеки. Реформа 17 октября 1905 года. — Правительство и передовые круги и положительныя данныя реформъ. — Для общей оцѣнки создавшагося положенія.

## I.

Когда, въ дни частыхъ общественныхъ невзгодъ дореволюціонной эпохи, русскіе люди передового образа мыслей желали себя подбодрить, то не въ надеждѣ на будущее искали они поддержки. Тягота настоящаго и ощущеніе нависшей, страшной и неясной развязки отнимали у нихъ охоту нѣжиться въ мечтахъ, столь несогласныхъ съ наличностью переживаемаго, хотя они и вѣрили, что то, о чемъ они не прочь помечтать, когда-нибудь да сбудется. Сдерживая мечту, они подбадривали себя воспоминаніемъ о нѣкогда прожитыхъ славныхъ годахъ общественнаго подъема, занесенныхъ на страницы исторіи подъ скромнымъ непоказнымъ названіемъ эпохи „шестидесятыхъ" годовъ.

Подвиговъ свободнаго ума и гуманной души было немало въ эту знаменательную эпоху, и на разстояніи она выигрывала. Все обыденное, прозаичное, сѣрое и [illegible]-

кое отступало на задній планъ и на фонѣ дореформенной жизни ярко обрисовывался обликъ молодой, возрождающейся Россіи, съ новыми скрижалями законовъ въ рукахъ, съ обломками разбитыхъ цѣпей у ея ногъ, Россіи, въ униженіи призванной къ величію и готовой искупить свои грѣхи подвигомъ. Образы участниковъ и вершителей обновлявшейся жизни возставали въ памяти — образы государственныхъ дѣятелей, ученыхъ, художниковъ, публицистовъ и цѣлой вереницы горячихъ молодыхъ головъ общаго подъема. Красивая получалась картина, и такъ какъ она была не мечта, а воспоминаніе о несомнѣнно пережитомъ, то созерцаніе ея и могло въ трудную минуту служить утѣшеніемъ.

И мы любили вспоминать о славныхъ годахъ исхода изъ долгаго плѣна, несмотря на то, что любой переживаемый день могъ убѣдить насъ въ томъ, что этотъ плѣнъ продолжался. И всетаки, съ шестидесятыхъ годовъ XIX-го вѣка, какъ съ эпохи Петра, мы начинали новое лѣтосчисленіе, полагая, что дореформенная Россія отошла съ этими годами въ прошлое, и родилась Россія новая.

Обозрѣвая въ наши дни жизнь дарованныхъ реформъ на протяженіи пятидесяти лѣтъ [1855—1905] ихъ развитія, мы едва ли, однако, къ шестидесятымъ годамъ пріурочимъ дѣтство и отрочество новой Россіи. Шестидесятые годы, какъ и слѣдующая за ними вереница лѣтъ вплоть до событій 1905 года, были эпилогомъ дореформенной Россіи, а не первыми годами Россіи обновленной и возрожденной. Немало измѣненій въ укладѣ общественной и государственной жизни принесли съ собой годы реформъ, но вся эта новизна въ своемъ ростѣ и развитіи зависѣла всецѣло отъ началъ и традицій стараго порядка.

Не новая жизнь забила ключомъ, а лишь старая стала чувствовать свою ветхость.

Во внѣшнемъ обликѣ нашей жизни произошли за полустолѣтіе, конечно, значительныя перемѣны. Показная культурность шагнула быстро впередъ. Всякія удобства и усо-

вершенствованія цивилизаціи умножились, значительно повысился уровень образованности въ тѣхъ общественныхъ слояхъ, которые располагали возможностью работать надъ своимъ духовнымъ развитіемъ. Наука и искусство завоевали себѣ даже міровое признаніе.

Но всѣ эти несомнѣнные успѣхи культурности не искупили двухъ крупнѣйшихъ недочетовъ нашей народной и государственной жизни.

## II.

Обновленной и здоровой нельзя назвать жизнь страны, гдѣ до сей поры косное, темное и экономически необезпеченное состояніе народной массы — явленіе обычное. Простому народу минувшее полстолѣтіе дало очень мало благъ. По своему міросозерцанію, по общему складу жизни, личной, семейной и общественной, народная масса оставалась инертной въ проявленіи своихъ духовныхъ и матеріальныхъ силъ. До самаго послѣдняго времени, когда она такъ стихійно разбушевалась, она о себѣ почти не напоминала. О движеніяхъ мысли въ народной средѣ, о живомъ подъемѣ энергіи, предпріимчивости, о нравственномъ оздоровленіи въ той мѣрѣ, въ какой все это могло совершиться на протяженіи цѣлаго полстолѣтія, говорить не приходится. Народная масса, численностью столь великая, силы своей не проявляла и только въ послѣдніе два десятилѣтія, начиная съ девяностыхъ годовъ, выдѣлившаяся изъ нея рабочая армія стала пріобрѣтать настоящее общественное и политическое значеніе. Главный и обильный родникъ силъ, которымъ должна питаться жизнь всего государства, продолжалъ долгіе годы течь какъ-то незримо и глухо, [illegible] землей, не имѣя возможности обнаружить [illegible] своей свѣжести и своего богатства.

Немного дали реформы и тѣмъ слоямъ [illegible] были болѣе или менѣе свобод[illegible]

своихъ духовныхъ силъ. Уже въ самые годы дарованія реформъ, а тѣмъ болѣе въ годы за ними слѣдовавшіе, стало ясно, что реформы самимъ правительствомъ зачислены въ разрядъ явленій очень опасныхъ, развитіе которыхъ подлежитъ строжайшему контролю и послѣдовательному ограниченію.

Кто знакомъ съ судьбами крестьянскаго вопроса, съ исторіей судебныхъ, земскихъ и городскихъ учрежденій, кто помнитъ цензурные уставы и политику министерства народнаго просвѣщенія, тотъ долженъ признать, что, при проведеніи въ жизнь всѣхъ реформъ, правительство руководствовалось не столько идеаломъ будущаго, какое эти реформы обѣщали, сколько сожалѣніемъ о томъ прошломъ, которое онѣ упраздняли. Желаніе повернуть назадъ сказывалось часто и откровенно, изъ недостатка ли смѣлости государственнаго взгляда, изъ непониманія ли назрѣвшихъ задачъ жизни, изъ неправильнаго ли толкованія „народныхъ идеаловъ“, или по мотивамъ гораздо менѣе чистымъ — все равно. Полстолѣтіе въ жизни великой страны было занято истребительной войной передовыхъ общественныхъ силъ съ силами, какъ принято говорить, охранительными. Сколько ума, таланта, труда и энергіи ушло на междоусобную гражданскую войну вмѣсто того, чтобы дойти на согласное и дружное государственное строительство! Борющіяся силы — правительство и передовое образованное общество — были настолько неравны, несходны между собой по положенію; оружіе, которымъ онѣ боролись, было у нихъ столь разное, что естественное разрѣшеніе всякой борьбы — т.-е. побѣда одной стороны надъ другой или ихъ соглашеніе — не состоялось, и борьба упорная, партизанская тянулась на долгіе, долгіе годы. Здоровый ростъ реформъ былъ искривленъ и въ корнѣ подорвана общественная самодѣятельность — самое нужное и цѣнное, на что страна могла разсчитывать.

Подавленіе общественной самодѣятельности или уродли-

вое, неискреннее ея воспитаніе было тѣмъ вторымъ важнѣйшимъ недочетомъ, который, вмѣстѣ съ духовной косностью и обнищаніемъ народной массы, лишалъ „новую" Россію права именоваться таковой. Какъ великъ ни былъ трудъ, затраченный образованнымъ обществомъ на борьбу за свободу мысли, чувства и дѣяній, какъ цѣнны ни были нѣкоторыя завоеванныя культурныя права, эти побѣды не составляли отличительнаго, характернаго признака эпохи, и вся она, считая съ годовъ дарованія реформъ вплоть до самаго близкаго къ намъ времени, оставалась, по господствующимъ своимъ тенденціямъ и по осязаемымъ ихъ плодамъ, эпохой обузданія всякихъ попытокъ общественной инициативы, самодѣятельности и самоопредѣленія.

## III.

Безъ самодѣятельности образованныхъ классовъ, опирающихся въ своей работѣ на экономически обезпеченную, умственно и нравственно здоровую народную массу нѣтъ живой и цвѣтущей національной жизни. Создать условія для такой жизни — въ этомъ вся тайна той научной практики или практической науки, которая называется государственнымъ строительствомъ. Трудъ такого строительства растягивается на цѣлые вѣка, онъ есть трудъ длящійся, никогда не заканчиваемый, всегда учитывающій прирость историческаго опыта и сообразно съ нимъ мѣняющій характеръ и направленіе работы.

Можно спорить о томъ, какая изъ формъ политическаго устройства даетъ наибольшій просторъ развитію всѣмъ духовнымъ и матеріальнымъ силамъ отдѣльныхъ единицъ и группъ, объединенныхъ общей государственной жизнью, но одно можно сказать съ увѣренностью: никакая [illegible] форма государственнаго устройства не можетъ [illegible]ваться на отрицаніи за обществомъ права на само[illegible]-

вости; не можетъ покоиться на систематической правительственной опекѣ надъ всѣми областями народной жизни — опекѣ, которая сознаетъ себя не временной необходимостью, а неизмѣнной правительственной мудростью. А именно такою сознавала себя та опека, которая, идя на неизбѣжныя уступки назрѣвшимъ потребностямъ жизни, считала нужнымъ неизмѣнно расширять свою власть въ то время, когда нужно было ослаблять давленіе и постепенно пріучать людей обходиться безъ указки. Въ свое оправданіе правительство всегда указывало на крайне возбужденное состояніе единичныхъ умовъ или частныхъ группъ, дѣятельность которыхъ могла угрожать всему государственному строю. Такое возбужденіе несомнѣнно было, и оно, дѣйствительно, могло вызывать разныя опасенія. Но количественно всѣ „опасныя" группы были столь малы, цѣлесообразныя средства для ихъ обузданія могли быть такъ легко и умно выбраны, что налагать опеку на всю общественную жизнь въ виду лихорадочнаго пароксизма нѣсколькихъ сотенъ — пусть даже тысячъ — было большой ошибкой. А именно такое примѣненіе правила о круговой порукѣ было установлено одновременно съ дарованіемъ реформъ. Результатомъ примѣненія этого правила оказался большой застой во всѣхъ областяхъ государственной жизни, экономической, политической, нравственной, умственной и религіозной. Реформы не дали того, что онѣ должны были и могли дать, и всѣ столь часто повторявшіяся жалобы на народную нищету и невѣжество, на вялость земской жизни, на халатность въ веденіи городскихъ дѣлъ, на произволъ въ сферѣ судебной, на рутину въ сферѣ военной, на полную несостоятельность системы народнаго воспитанія и образованія, наконецъ на странное паденіе гражданскаго чувства вообще — всѣ эти жалобы могутъ быть подтверждены огромнымъ количествомъ оправдательныхъ документовъ.

Какъ бы велика ни была та доля вины, которую въ

данномъ случаѣ несло само общество, и даже самое интеллигентное, общество вялое по темпераменту и не быстроходное въ мысляхъ, —все-таки прямая отвѣтственность падаетъ на правительство, дѣлавшее все, что было въ его силахъ, чтобы сохранить эти гражданскіе недостатки въ ихъ цѣлости, даже ихъ усилить и не дать развиться желательнымъ и нужнымъ способностямъ.

Отъ общей эпидеміи маразма спаслись лишь русская наука и русское искусство, великое всемірное искусство — конечно, потому, что эти области духовной жизни по существу своему менѣе другихъ поддавались воздѣйствію извнѣ—или по-своему, даже иногда съ выгодой для себя, съ этимъ воздѣйствіемъ уживались.

17-го октября 1905-го года было завершено то дѣло, которое было начато 19-го февраля 1861-го года.

Наивенъ будетъ тотъ, кто за этой послѣдней реформой признаетъ силу чудотворенія и повѣритъ, что она быстро вернетъ здоровье всѣмъ зачахшимъ реформамъ, ее возвѣщавшимъ. Много лѣтъ пройдетъ, и лѣтъ очень тревожныхъ, прежде чѣмъ народное представительство дастъ тѣ плоды, на которые должно разсчитывать. И эту реформу ждутъ, конечно, дни испытанія. Но она осуществлена и, не гадая о будущемъ, можно вполнѣ увѣренно говорить объ ея колоссальномъ значеніи для настоящаго.

## IV.

Пусть туманенъ горизонтъ, открывающійся намъ со дня дарованія новыхъ основныхъ законовъ, одно великое культурное пріобрѣтеніе остается несомнѣнно за нами. Въ принципѣ съ насъ снята опека, и сколько бы времени на дѣлѣ она еще ни просуществовала, она можетъ быть поддержана лишь искусственно, мѣрами „исключительными“. То, что называется „голосомъ народа“, „голосомъ страны“, пріобрѣло свой законный органъ —и хоть голосъ, дарованный самъ

различныя мнѣнія, заявлявшія о самыхъ разнообразныхъ нуждахъ всѣхъ слоевъ общества, то есть, говорящія отъ имени всѣхъ національностей, входящихъ въ составъ великой имперіи — раздается теперь на всю Россію, и всякія попытки заглушить его или исказить перестали быть „законными“ актами.

Такой взглядъ на совершившуюся перемѣну — взглядъ, пока еще не вполнѣ защищенный отъ упрековъ пре[illegible]дущій — всетаки единственно правильная оцѣнка реформы 17-го октября 1905 года. Вся она, со всѣми ея благотворными послѣдствіями въ будущемъ, а не въ настоящемъ, которое пока вынуждено платить по счетамъ недавней внутренней смуты.

## V.

Всякое великое событіе, существенно измѣняющее народную жизнь, не только освѣщаетъ путь, уходящій въ даль будущаго, но бросаетъ не мало свѣта и на путь пройденный.

И намъ, вступающимъ теперь, дѣйствительно, въ „новую“ жизнь, облегченъ болѣе систематичный взглядъ на недавно пережитое прошлое. Не новую эру приходится открывать этимъ прошлымъ, имъ надо замкнуть цѣлый періодъ нашей дореформенной исторіи.

Оглядываясь на истекшее пятидесятилѣтіе (1855—1905), только теперь видимъ мы всю законченность очертаній этой характерной эпохи. До нашего вступленія въ послѣдній новый фазисъ общественнаго и государственнаго развитія эти очертанія были не ясны и общій историческій смыслъ эпохи былъ туманенъ. Во всемъ теченіи событій нашей внутренней жизни съ 1855 года, дѣйствительно, негдѣ было поставить точки, и вся эпоха „великихъ реформъ“ представлялась незаконченной, растянутой драмой въ [illegible] темпѣ, безъ развязки.

Въ самомъ дѣлѣ, свидѣтели протекшаго пятидесятилѣтія [1855—1905] врядъ ли могли безъ пугливаго смущенія отвѣтить на вопросъ — куда же мы идемъ и чѣмъ все это кончится?

Для весьма многихъ этотъ вопросъ былъ однимъ изъ тѣхъ „проклятыхъ", надъ которыми ломаешь голову и о которыхъ, уставъ отъ такой ломки, перестаешь думать; и многіе, очень многіе, жили такъ изо дня въ день, въ тревожномъ или пугливомъ созерцаніи того, что творилось. Изъ тѣхъ немногихъ, которые никакъ не могли ограничиться выжиданіемъ, одна часть оставалась при своей мелкой, муравьиной работѣ мирнаго либерала, натыкаясь на каждомъ шагу на препятствія и превозмогая ихъ по мѣрѣ силъ, а то и ломаясь о нихъ, но все же увѣренная въ постепенномъ ослабленіи затянувшагося узла.

Но были и люди рѣшительные въ мысляхъ и поступкахъ, которые жили ожиданіемъ несомнѣнно надвигавшейся развязки и такъ или иначе ее торопили.

Какими бы программами ни руководились, однако, въ своихъ дѣйствіяхъ отдѣльныя передовыя группы общества, переживавшія эти сумрачные годы, едва-ли какая-либо изъ нихъ могла твердо отвѣтить на вопросъ: какъ и куда мы причалимъ? Вопросъ былъ до того запутанъ, жизнь, которой жила страна, была такъ неясна въ своемъ направленіи, что многимъ вопрошателямъ оставалось утѣшать себя старымъ афоризмомъ, сказаннымъ нѣкогда однимъ остроумнымъ дипломатомъ, который, вѣроятно самъ запутавшись въ этомъ же вопросѣ, утверждалъ, что умомъ Россіи измѣрить нельзя, а въ нее можно только вѣрить.

Напрашивалось предположеніе, что правительство медлитъ съ коренной реформой, дающей странѣ право на самоопредѣленіе, желая подготовить къ ней страну и не рѣшаясь давать ей сразу въ руки столь опасное оружіе, какъ свободный и рѣшающій голосъ въ вопросахъ государственнаго законодательства. Но нѣтъ рѣшительно никакихъ у [illegible]

на то, что правительство, дѣйствительно, имѣло въ виду такую подготовку. Если не считать черновыхъ робкихъ попытокъ прислушаться къ мнѣніямъ нѣкоторыхъ „свѣдущихъ" людей, — попытокъ, подготовленныхъ въ концѣ царствованія Александра II и осуществленныхъ при Императорѣ Александрѣ III, то вся политика правительства чуть ли не съ перваго дня эпохи реформъ имѣла въ виду не общественное и политическое воспитаніе страны, а наоборотъ такое воспитаніе, которое ограждало бы страну отъ всякаго соблазна гражданской и политической мысли. А между тѣмъ всѣ институты, вызванные къ жизни реформами, продолжали жить, и должны были руководствоваться узаконеніями, которыя вызывали у правительства лишь подозрѣніе и недоброжелательство.

Положеніе получалось до-нельзя запутанное. Въ виду кричащихъ противорѣчій, возникавшихъ на каждомъ шагу, въ виду все нараставшихъ столкновеній съ отдѣльными лицами и общественными группами, правительственной власти оставалось только одно — прибѣгать для сведенія концовъ съ концами къ административнымъ „исключительнымъ" мѣрамъ, т.-е. къ установленію диктатуры въ расширенномъ или сокращенномъ видѣ.

При такомъ режимѣ страна жила нѣсколько десятилѣтій, рѣшительно не угадывая, куда онъ ее приведетъ. Думать, что онъ приведетъ къ тому, что реформы получатъ, наконецъ, свое естественное и логическое завершеніе, было невозможно, такъ какъ ничто не предвѣщало такого поворота, а наоборотъ, все говорило объ его удаленіи въ глубь грядущаго. Съ другой стороны, думать, что мы придемъ къ формальному упраздненію реформъ, что мы юридически и фактически вернемся къ старому, дореформенному строю — была нелѣпѣйшая мысль, которую не разрѣшалъ себѣ никто, даже въ минуту крайняго унынія.

## VI.

Такъ жили мы въ годы, которые отдѣляли первую реформу (1861) отъ послѣдней (1905).

Этотъ эпилогъ старой Россіи открылся съ 1855 года двумя, тремя годами достаточно благодушнаго оптимизма со стороны передовыхъ слоевъ общества и, пожалуй, такой же довѣрчивости, хоть и не благодушной, а основанной на сознаніи оказаннаго благодѣянія — со стороны круговъ правительственныхъ. Правительственная власть была убѣждена, что все, что она намѣрена дать, будетъ не только принято съ благодарностью, но и признано за maximum того, что вообще можетъ быть дано. Общество въ его передовыхъ слояхъ держалось иной расцѣнки требуемаго и необходимаго, но на первыхъ порахъ выжидало и надѣялось. Этотъ относительно мирный періодъ эпохи реформъ, періодъ обѣщаній, увѣреній, благодарности и ожиданій продолжался очень недолго. Уже въ концѣ пятидесятыхъ годовъ недовольство передовыхъ круговъ обозначилось очень ясно, а съ 1861 года началась ихъ открытая и тайная борьба съ правительствомъ.

Въ шестидесятыхъ годахъ правительство продолжало послѣдовательно давать одну реформу за другой, но ни довѣрія къ „благодарному" обществу, ни довѣрія къ „благомыслящему" правительству уже не существовало. Со времени первой же реформы правительство могло убѣдиться въ томъ, что оно рѣзко разошлось со всѣми передовыми общественными элементами въ пониманіи самаго существеннаго вопроса, а именно — какимъ способомъ, при участіи какихъ силъ должна совершаться дальнѣйшая реформаторская работа и проведеніе реформъ въ жизнь. Съ принципіально проводимой опекой передовыя группы общества не мирились; для нихъ всѣ даруемыя реформы были

только предвѣстниками перемѣны, которая должна измѣнить самыя основы государственнаго строя.

Мысль о такомъ коренномъ измѣненіи съ особенной силой завладѣла умами лѣваго фланга, въ его разнообразныхъ развѣтвленіяхъ. Броженіе радикальной мысли, въ связи съ явленіями несомнѣнно революціоннаго характера, подали правительству поводъ начать усилить опеку въ той мѣрѣ, въ какой усиливалось ея отрицаніе.

Правительство, учитывая количественную слабость противника, укрѣплялось въ мысли о возможности справиться съ нимъ при помощи чисто административныхъ и полицейскихъ мѣръ. Противники правительства, несмотря на успѣхъ своихъ теорій и на приростъ единомышленниковъ, скоро поняли, что съ правительственной властью никакая успѣшная борьба при данныхъ условіяхъ невозможна, и стали искать союзника, сильнаго хотя бы силой физической. Къ концу шестидесятыхъ годовъ въ такіе союзники былъ опредѣленно намѣченъ простой русскій народъ — народъ крестьянскій и выдѣлявшаяся изъ него рабочая масса. Вся сила ума и темперамента наиболѣе убѣжденныхъ и энергичныхъ лѣвыхъ, невзирая на отличіе въ теоріяхъ, перемѣстилась изъ области радикальныхъ разсужденій въ область радикальной пропаганды въ народной средѣ.

Наступила эпоха семидесятыхъ годовъ. Характерной чертой ея была все болѣе и болѣе разгоравшаяся борьба политической агитаціи, во всѣхъ ея видахъ, съ правительствомъ. Работа уходившихъ въ народъ людей разныхъ толковъ была направлена къ тому, чтобы подвести итогъ умственнымъ и нравственнымъ силамъ народной массы, всѣхъ ея слоевъ и профессій, съ цѣлью убѣдиться, насколько эта масса готова къ созданію или принятію новыхъ формъ жизни, и къ борьбѣ за нихъ. Одновременно шла и теоретическая разработка экономическихъ и политическихъ вопросовъ, преимущественно въ духѣ соціализма. Наконецъ въ это же время размножались и отдѣльные чисто револю-

ціонные кружки, которые отъ агитаціи въ массахъ стали переходить къ боевой тактикѣ терроризма.

Всѣ эти группы передовыхъ людей съ рѣзкой окраской были окружены густой, нараставшей, хотя и медленно, толпой обще-либеральнаго цвѣта, толпой, довольно энергично дѣйствовавшей въ сферѣ разныхъ профессій, но въ общемъ, конечно, съ раздробленными силами. Правительство за это время не измѣнило той тактики, которой оно придерживалось въ предыдущее десятилѣтіе и только усилило административное воздѣйствіе. Дарованныя реформы продолжали казаться опасными очагами, гдѣ могли тлѣть затаенныя искры соціальнаго пожара. Основныя положенія реформъ стали все чаще и чаще обставляться дополнительными параграфами и, этимъ способомъ дополненныя, реформы мельчали и чахли. Къ концу семидесятыхъ годовъ, однако, и само правительство задумалось надъ такой политикой огражденія и устраненія, и стало помышлять о завершеніи реформъ тою, которая одна могла поправить дѣло. Произвести эту реформу предполагалось, однако, какъ-нибудь такъ, чтобы она осталась въ согласіи съ системой опеки, т.-е. правительственная власть занялась рѣшеніемъ неразрѣшимой задачи — и за этой работой она была застигнута несчастіемъ 1-го марта 1881-го года.

Долголѣтняя борьба, истощавшая силы и бьющая по нервамъ, и въ особенности сама кровавая катастрофа измѣнили на время психику борющихся. Въ крайнемъ лѣвомъ лагерѣ наступили обычные послѣ всякой изнурительной борьбы усталость и расиряженіе нервовъ. Либеральные круги общества катастрофа ошеломила своей неожиданностью, весьма многихъ напугала, нѣкоторыхъ обезволила, другихъ сдѣлала врагами не только крайностей, но и свободомыслія вообще. Правительство напрягло всѣ свои силы и, не считаясь съ проектами новой реформы, какъ она была задумана въ концѣ царствованія Александра II, вступило твердо на дорогу систематической реакціи.

Этотъ послѣдній періодъ въ исторіи реформъ, до изданія закона о новомъ способѣ ихъ выработки и проведенія въ жизнь, довелъ принципъ опеки до его апогея. Реформы прошлыхъ лѣтъ вступили въ фазисъ почти что мнимаго существованія.

## VII.

Въ настоящую минуту намъ совершенно ясно видны коренныя ошибки всего порядка дѣлъ, господствовавшаго въ минувшее пятидесятилѣтіе—порядка, который юридически освободивъ многомилліонную массу, оставилъ ее въ безпомощномъ состояніи передъ лицомъ новыхъ и труднѣйшихъ задачъ жизни, порядка, который далъ цѣлый рядъ гуманныхъ реформъ — и не хотѣлъ учить людей самостоятельному творчеству въ области строительства общественнаго и государственнаго. Намъ, которымъ жизнь предъявила за всѣ эти годы длинный и грозный счетъ, видны теперь всѣ послѣдствія допущенныхъ ошибокъ.

Они были видны и раньше зоркимъ и умнымъ людямъ.

Если скинуть со счетовъ людей, которые были неспособны гадать о завтрашнемъ днѣ; если отбросить тѣхъ, которые по вялости ума или характера привыкли принимать указанія жизни къ свѣдѣнію и къ спокойному руководству, не заглядывая въ даль и довольствуясь ближайшей минутой; если не считаться съ людьми, которые принципіально враждовали со всякой новизной; если пройти мимо людей, по природѣ своей благодушныхъ, которые были всѣмъ довольны, то остальные люди передового образа мыслей, ума и души, чутко относившіеся къ переживаемымъ временамъ, по настроенію своему и по оцѣнкѣ создавшагося положенія, дѣлились рѣзко на двѣ группы.

Одни думали: реформы пріобрѣли силу закона, и сущность нашихъ реформъ гуманная; вопреки всѣмъ общественнымъ невзгодамъ онѣ дадутъ въ концѣ концовъ

то, что обѣщаютъ; онѣ преобразятъ ветхую Россію и соціальное зло пойдетъ на убыль, пойдетъ постепенно, при условіи послѣдовательнаго гражданскаго воспитанія, необходимаго и для образованныхъ классовъ и для народа, политически и общественно невоспитанныхъ. Надо бороться стойко, но осмотрительно, надо умѣть выжидать; сведенная со стараго пути страна нуждается въ терпѣливомъ руководительствѣ, и спокойная работа—вѣрный залогъ успѣшнаго движенія впередъ, отъ старыхъ формъ общественно-политической жизни къ новымъ. Каковы будутъ эти новыя формы—объ этомъ люди, придерживавшіеся такой неторопливой тактики, думали разно.

Другіе оцѣнивали положеніе дѣлъ совсѣмъ иначе. Дарованныя реформы въ ихъ глазахъ были лишь голой формой, безъ содержанія, перемѣной внѣшней съ ничтожнымъ внутреннимъ смысломъ. Ограничиться этими реформами—значило не двинуться съ мѣста; значило лишь осудить сами реформы на безплодное прозябаніе. Самое необходимое вовсе не терпѣливое ожиданіе, разсчитанный маневръ и самообладаніе, а наоборотъ, возможно большее развитіе смѣлости общественнаго чувства и темперамента и [illegible], пробужденіе въ людяхъ мыслей и рѣшеній неудержимо свободныхъ. Именно на такой подъемъ свободнаго ума и темперамента надлежитъ обратить прежде всего вниманіе и [illegible] купить какой угодно цѣною. Каждый [illegible] человѣкъ имѣетъ право, даже нравственно обязанъ, заступиться за ту форму общественной и политической жизни, которую онъ считаетъ разумной и справедливой. Надо проявить такую свободу предложенія, обсужденія и [illegible] теоріи на практикѣ и сама жизнь осуществитъ ту программу, которая [illegible] лучше отвѣчаетъ [illegible] назрѣвшимъ потребностямъ.

Жизнь, осудивъ крайности постепенно [illegible] показала, что она въ своей сущности была болѣе [illegible], чѣмъ [illegible] разсчетливая, осторожная [illegible]

извѣстной степени довѣрчивыми. Если не оправдались надежды поборниковъ неуступчивой и рѣшительной инициативы, то сбылись всѣ ихъ опасенія.

Эпоха реформъ и ея многолѣтнее продолженіе вступленіемъ въ новую жизнь не были.




# Общественная мысль 1855—1861 годовъ въ ея развѣтвленіяхъ

*Ростъ общественныхъ силъ, сложившихся въ эпоху реформъ. — Передовая интеллигенція. — Взгляды и настроенія наиболѣе передовыхъ интеллигентскихъ круговъ въ [illegible] царствованія (1855—1861). — Славянофильскія группы. — Либеральные круги. — Что [illegible] — Дѣло, которому радикалы отдали свои силы.*

I.

Такимъ эпилогомъ въ исторіи старой Россіи является эпоха реформъ, когда, въ наши дни, мы обозрѣваемъ ее въ ея цѣломъ.

Но этотъ эпилогъ существенно отличается отъ самой дореформенной эпохи, и мы не даромъ вспоминаемъ о немъ какъ о времени для русской жизни совсѣмъ новаго, совсѣмъ необычнаго подъема общественнаго настроенія и общественной мысли.

Этотъ подъемъ проявился въ рядахъ передовой интеллигенціи съ необычайной быстротой и силой съ первыхъ же лѣтъ царствованія императора Александра II. Если потребовалось цѣлыхъ пятьдесятъ лѣтъ, прежде чѣмъ передовое общество въ союзѣ со стихійными силами массъ добилось той реформы, которая обладаетъ настоящимъ, [illegible] жизнь [illegible] наличность такой передовой силы самой [illegible]

была въ нашей общественной жизни самобытнымъ и новымъ явленіемъ; дореформенная Россія ея не знала.

Передовая интеллигенція, эта внѣклассовая группа людей самыхъ пестрыхъ профессій, а иногда и безъ оныхъ, выдвинула въ противовѣсъ бюрократической силѣ силу общественнаго мнѣнія.

Своимъ темпераментомъ, совсѣмъ для русской жизни необычнымъ, равно какъ и своимъ идейнымъ направленіемъ, для Россіи опять-таки новымъ, эпоха реформъ была обязана именно передовой интеллигенціи — тѣмъ двумъ группамъ людей, которыя, признавъ перемѣну въ строѣ жизни неизбѣжной и необходимой, расходились въ опредѣленіи и въ оцѣнкѣ средствъ и способовъ, какими такая перемѣна должна производиться.

Одни изъ представителей окрѣпшаго общественнаго мнѣнія были болѣе или менѣе умѣренными [illegible], другіе болѣе или менѣе неуступчивыми [illegible].

## II.

Въ первые же дни, слѣдовавшіе за перемѣной царствованія, правительству стало ясно, что оно одно, безъ поддержки людей интеллигентныхъ, съ поставленною ему задачей переустройства общественной и государственной жизни не справится. Въ общихъ интересахъ общая работа казалась сначала возможной, но очень скоро эта возможность исчезла и обѣ стороны — правительство и передовая интеллигенція — становились все раздраженнѣе и нервнѣе, изъ союзниковъ и сотрудниковъ превратились во враговъ, съ весьма высокимъ подъемомъ взаимнаго недовѣрія и озлобленія.

## III.

Словами „интеллигенція" и „интеллигентные круги" — мы обозначимъ ту внѣсословную группу лицъ, которая, стоя

у какого-нибудь общественнаго дѣла, или совсѣмъ не имѣя опредѣленной профессіи, могли своимъ умственнымъ или нравственнымъ обликомъ оказывать извѣстное вліяніе на круговращеніе идей, чувствъ и настроеній, которое обѣщало перемѣну въ строѣ жизни личной, общественной и государственной. Для того, чтобы имѣть такое вліяніе на общественную атмосферу, какой начинала дышать страна, необходимо было обладать извѣстной культурностью, извѣстной „интеллигентностью“. Степени этой „интеллигентности“ могли быть весьма различны—отъ широкаго умственнаго горизонта до самаго узкаго партійнаго взгляда,—но во всякомъ случаѣ извѣстная наличность нематеріальной силы, силы убѣжденія, силы воздѣйствія умственнаго и нравственнаго, была необходима для того, чтобы удержать за собой роль активнаго участника въ развертывающемся историческомъ дѣйствіи.

Къ серединѣ и въ теченіе второй половины пятидесятыхъ годовъ, число такихъ „интеллигентныхъ“ лицъ было уже довольно значительно, но, конечно, въ сравненіи съ огромной народной массой и массой полукультурной оно было невелико.

Взгляды и настроенія наиболѣе вліятельныхъ интеллигентныхъ круговъ обозначились очень четко еще въ самые начальные годы новаго царствованія, въ эпоху подготовительной работы надъ первой же реформой [1855—1861].

Невозможность удержать старый порядокъ вещей была видна всѣмъ, кромѣ политически слѣпорожденныхъ, и вопросъ заключался лишь въ томъ, какую степень реформаторскаго рвенія признать за разумную и допустимую.

Если исключить часть образованнаго общества, враждебную всякой перемѣнѣ и составлявшую нѣчто цѣльное, то интеллигентное общество, признававшее необходимость движенія впередъ, дробилось на много группъ.

Всѣ эти партійныя программы или направленія представляютъ собою рядъ взглядовъ, которые могутъ [illegible]

очень удобно и послѣдовательно расположены въ строгомъ порядкѣ, если въ основаніе ихъ группировки положить ростъ или убыль вѣры въ спасительную силу свободной личной инициативы и принципа широкаго самоопредѣленія.

Если придерживаться такой группировки, то общія схемы отношенія передовой интеллигенціи къ переживаемому моменту могутъ быть представлены въ слѣдующей послѣдовательности.

Оффиціальная, правительственная оцѣнка создавшагося положенія располагала большимъ количествомъ представителей и большими средствами пропаганды. Это была оцѣнка неоднородная и нецѣльная; она имѣла много оттѣнковъ, и лица, которыя ея придерживались, не были сплочены строгой партійной дисциплиной или строго выработанной политической программой; они были объединены лишь своимъ положеніемъ людей, стоящихъ у власти или поддерживающихъ ее, людей, на которыхъ возложена была оффиціальная миссія идти въ новомъ направленіи. Сколь различны по своей психикѣ могли быть люди, которымъ выпало на долю вершить это новое дѣло добровольно или противъ ихъ воли, легко догадаться. Но въ общемъ итогѣ всѣхъ ихъ думъ и дѣяній, за весьма рѣдкими исключеніями, получалось то оффиціальное отношеніе къ дѣлу, которое можетъ быть формулировано такъ: создавать новыя условія гражданскаго общежитія, какъ можно меньше пріучая людей къ самостоятельной творческой работѣ и не считаясь съ ними какъ съ силой, имѣющей законное право на самоопредѣленіе и свободное сужденіе.

Сравнительно со сплоченной силой проводниковъ и защитниковъ такого, на строгой правительственной опекѣ основаннаго, поступательнаго движенія, всѣ остальные круги интеллигентныхъ лицъ были количественно невелики и пока слабы, несмотря на силу теоретической мысли, которую онѣ часто обнаруживали, и на проявленную нѣкоторыми изъ нихъ необычайную силу темперамента.

Славянофилы середины и конца пятидесятыхъ годовъ

имѣли полное основаніе думать, что наступавшій историческій моментъ принесетъ съ собой оправданіе тѣмъ вѣрованіямъ и чаяніямъ, которыя воодушевляли ихъ въ недавніе дни ихъ славы. Трудно было въ самомъ дѣлѣ не надѣяться, когда назрѣвала реформа, которая задолго до ея дарованія составляла предметъ самыхъ искреннихъ славянофильскихъ упованій. Слова: „царь-освободитель“, „освобожденный народъ“, „голосъ свободной земли“, звучали такъ заманчиво для славянофильскаго уха и обѣщали такъ много, что всякая тѣнь сомнѣнія могла на первыхъ порахъ показаться кощунствомъ. Если судить по восторженному тону славянофильской публицистики въ первые годы эпохи реформъ, то такого сомнѣнія у этихъ идеалистовъ и не было. Иллюзіи разсѣялись, однако, очень быстро, и ближайшимъ поводомъ къ ихъ исчезновенію послужилъ все тотъ же вопросъ о границахъ довѣрія правительственной власти къ странѣ и объ участіи страны въ устроеніи ея собственной судьбы. Пока рѣчь шла о религіозныхъ началахъ жизни и о духовной сущности русскаго народа, славянофильская группа не встрѣчала возраженій со стороны правительства, хотя и не увеличивала своихъ кадровъ такой религіозной и народнической идеологіей. Когда же, въ добавленіе къ этой идеологіи, славянофилы стали говорить о свободѣ слова и печати, о свободѣ общественнаго мнѣнія, когда они пытались дать отвѣтъ на самый существенный запросъ современности и хоть и туманно начали разсуждать на тему о соглашеніи силы правящей съ силой управляемой, объ установленіи извѣстныхъ, хотя бы и не строго юридическихъ формъ совмѣстной работы правительственной власти и страны надъ общимъ дѣломъ, участіе ихъ въ этомъ общемъ дѣлѣ показалось правительству подозрительнымъ.

Политическое ученіе славянофиловъ сводилось, какъ извѣстно, къ признанію за правительствомъ исключительнаго права на управленіе, а за народомъ права на полную свободу, свободу жизни и духа. Монархъ оставался [illegible] пра-

ниченнымъ и самодержавнымъ и только выслушивалъ свободное „мнѣніе“ страны, которое его ни къ чему не обязывало. Онъ могъ собирать и земскій соборъ, который также имѣлъ бы при немъ значеніе простого совѣщательнаго собранія. Но даже такія безправныя собранія казались славянофиламъ не совсѣмъ своевременными, почему они и предлагали ихъ замѣнить лишь свободно высказываемымъ общественнымъ мнѣніемъ.

Сквозь всѣ эти туманности просвѣчивала совершенно ясно основная тенденція, рѣзко расходившаяся съ тенденціей офиціальной. Славянофилы требовали для народа не однѣхъ лишь реформъ, а извѣстной гражданской и политической самостоятельности, которая обезпечивала бы за народомъ самобытность и независимость творческой духовной дѣятельности. Западныхъ новшествъ, и въ томъ числѣ конституціонной формы правленія, они для Россіи не желали, но въ ихъ ученіи зерно какой-то неясно-выраженной конституціонной мысли несомнѣнно было, хотя принципъ самодержавія въ ихъ политическомъ сознаніи оставался неприкосновеннымъ. Во всякомъ случаѣ эта туманная политическая мысль, которая не имѣла, кажется, примѣра въ исторіи, признавала за народомъ право на самоопредѣленіе и къ опекѣ, проводимой систематически и прямолинейно, относилась отрицательно.

При весьма малой возможности осуществленія славянофильская мысль все-таки показалась правительству достаточно опасной и потому была на подозрѣніи, а иной разъ и подъ запретомъ. Но славянофилы остались вѣрны правительственной власти и, воюя съ чиновникомъ и съ людьми, становившимися между царемъ и народомъ, въ разгоравшихся спорахъ соблюдали своего рода неустойчивый нейтралитетъ. Положеніе ихъ было, дѣйствительно, очень трудное: симпатіи ихъ были несомнѣнно на сторонѣ общественной самодѣятельности—а искренняя преданность верховной власти обязывала ихъ терпѣливо сносить все, что

эта власть допускала. Отчасти по своей малочисленности, а также въ виду туманностей и трудностей исповѣдуемаго ученія, славянофильская группа въ общественномъ движеніи тѣхъ годовъ заняла мѣсто очень скромное. Ученіе, которое она проповѣдывала, имѣло свою узкую сферу вліянія, иногда тревожило мысль своихъ противниковъ; но на темпераментѣ и на настроеніи того времени глубина этого ученія и его самобытность отражались мало. Того шума, который былъ такъ слышенъ вокругъ славянофильскихъ кафедръ въ сороковыхъ годахъ, теперь, въ концѣ пятидесятыхъ, уже не было. И славянофилы, и ближайшіе ихъ родственники тѣ, которые въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ окрестили себя „почвенниками" — въ вопросахъ общественно-политическихъ соблюдали большую осторожность, и часто не имѣли что сказать положительнаго. Ихъ сентиментальный и романтическій взглядъ на народъ, взглядъ такъ оберегающій его самобытность и такъ подчеркивающій его нравственныя и умственныя достоинства, требовалъ, хоть и молчаливо, для этого народа, гораздо большаго простора въ развитіи силъ и большаго ухода, чѣмъ тотъ, который былъ народу предоставленъ правительствомъ. Не могли эти богобоязненные народники не видѣть, что при режимѣ, который устанавливался, народной почвѣ грозитъ засуха. Эта опасность была имъ ясна, но они принадлежали къ числу выжидающихъ и вѣрующихъ и кромѣ того издавна какъ-то усвоили себѣ считать народную душу и умъ такой святыней, которая какъ будто не нуждалась въ воспитаніи и руководительствѣ интеллигента. Чтобы не быть изобличенными въ противорѣчіи, на случай если бы они пожелали взять на себя такое руководительство, они предпочитали ждать и наблюдать. Крѣпкіе своей вѣрой въ народныя силы, они думали переждать трудный моментъ, почему и проходили мимо самыхъ острыхъ вопросовъ. Кромѣ того, они были люди съ несомнѣннымъ влеченіемъ къ религіозной мысли, которая на рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, [illegible] самыхъ [illegible], очень часто налагаетъ свой [illegible]

мирный отпечатокъ. Со стороны крестьянъ же правительственной власти мало угрожало: въ ихъ лояльности она была увѣрена и она знала, что всякая мѣра, направленная противъ нихъ, не толкнетъ ихъ влѣво, а заставитъ стоять на мѣстѣ.

Иначе обстояло дѣло съ тѣми общественными группами, которыя либо прямо вмѣшивались въ политику дня, либо пытались разсуждать о ней съ откровенной смѣлостью.

Среди нихъ нужно прежде всего выдѣлить ту группу землевладѣльцевъ, которая съ самаго начала новаго царствованія стала требовать расширенія своихъ политическихъ правъ въ духѣ несомнѣнно конституціонномъ. Нѣкоторые изъ этихъ дворянъ смотрѣли на такое расширеніе какъ на справедливое вознагражденіе за убытки, которые имъ должна была нанести крестьянская реформа, и ихъ конституціонная мысль была, потому, насквозь пропитана сословнымъ духомъ; другіе, отрекаясь отъ такого узко-сословнаго взгляда на создавшееся положеніе, требовали просто „увѣнчанія зданія" во имя логики, съ полнымъ сознаніемъ, что безъ этого вѣнца реформы не въ силахъ будутъ дать того, что онѣ обѣщаютъ. Всѣ эти поборники идеи самоуправленія, идущія въ своемъ либерализмѣ далѣе правительства, выражали свои взгляды въ рѣчахъ на собраніяхъ, въ протоколахъ этихъ собраній, въ резолюціяхъ, наконецъ въ петиціяхъ на Высочайшее имя, т.-е. въ актахъ, съ которыми правительству необходимо было считаться. Оно, какъ и естественно, и считалось съ проявленіемъ этой общественной иниціативы и подавило ее въ самомъ началѣ довольно рѣшительными мѣрами, къ которымъ оно продолжало прибѣгать и послѣ всякій разъ, когда дворянскія собранія рѣшались перейти за тѣсный предѣлъ, положенный ихъ дѣятельности... Энергичное подавленіе этой уже чисто политической мысли, молчавшей съ 1825-го года, лишило ее конечно всякой возможности непосредственнаго вліянія на жизнь, но за ней осталось историческое значеніе перваго протеста противъ укоренившагося

системы правительственной опеки, протеста, исходившаго не изъ круга отдѣльныхъ лицъ, а изъ сплоченной сословной среды.

Совсѣмъ особую группу составляли такъ называемые „либералы" того времени. Подъ знаменемъ „либерализма" были объединены люди очень различные по темпераменту и по оттѣнкамъ ихъ общественной и политической мысли. Всѣ они, правда, имѣли право именоваться „людьми сороковыхъ годовъ", такъ какъ міросозерцаніе и старшихъ изъ нихъ, и болѣе молодыхъ, сложилось и окрѣпло либо въ годы торжества философскаго и общественнаго идеализма либеральной окраски, либо тогда, когда этотъ идеализмъ держался еще силою традиціи. Составъ этой группы либераловъ былъ крайне неоднороденъ и входили въ нее люди самыхъ разныхъ сословій и весьма разнообразныхъ профессій. Въ либеральномъ направленіи мыслили или либерально настроены были многіе дворяне-помѣщики, прошедшіе сквозь университетскую школу въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, пополнявшіе свое образованіе за границей и затѣмъ тянувшіе покорно скучную житейскую лямку на родинѣ, недовольные ея порядками; на либеральномъ посту стояли многіе профессора различныхъ спеціальностей, преимущественно историки и юристы — проповѣдники гуманизма на идеалистической философской подкладкѣ, люди ученые, изъ которыхъ старшіе годами держались въ болѣе общихъ сферахъ теоретической мысли, а младшіе приступали къ научной разработкѣ русской исторіи и исторіи русскаго права въ ея далекомъ или болѣе близкомъ прошломъ. Много „либераловъ", въ общемъ смыслѣ слова, было и въ писательской средѣ — въ средѣ беллетристовъ и критиковъ разной художественной силы и прозорливости. Почти всѣ эти литераторы были люди уже немолодые, но съ молодости присмотрѣвшіеся ко всѣмъ непригляднымъ сторонамъ старой жизни и потому не щадившіе ея въ своихъ произведеніяхъ. Они могли [illegible]

названы либералами въ томъ смыслѣ, что дореформенная жизнь была мишенью ихъ обличенія и предлогомъ ихъ помысловъ о лучшемъ; но если мы вспомнимъ, что въ рядахъ этихъ писателей стояли столь разные люди, какъ напр. Тургеневъ, Гончаровъ, Щедринъ, Некрасовъ, Островскій, Писемскій, то мы согласимся, что слово „либералъ" могло покрывать собою умы и характеры весьма другъ на друга непохожіе. Но каковы бы ни были разногласія этихъ людей—каждый изъ нихъ по-своему доказывалъ, что старый порядокъ былъ полонъ всяческихъ нравственныхъ уродствъ и что оздоровленіе умственное и нравственное возможно лишь при перемѣнѣ стараго общественнаго уклада жизни на новый. Въ либеральную группу входили и публицисты—представители того рода литературной дѣятельности, которая очень слабо была представлена въ царствованіе Николая Павловича и должна была такъ быстро и талантливо развернуться въ первые годы царствованія новаго. Каждый изъ большихъ журналовъ тѣхъ годовъ не чуждъ былъ публицистической мысли, которая сначала проскальзывала въ отдѣлахъ менѣе опаснаго содержанія, а затѣмъ печаталась уже особо подъ разными заглавіями. Впрочемъ публицистика обще-либеральнаго тона, въ отличіе отъ зарождавшейся тогда же молодой публицистики радикальнаго лагеря, была очень безцвѣтна, такъ какъ вести ее должны были люди старой литературной школы, которымъ публицистическій темпераментъ былъ несвойственъ, а пріемы публицистической борьбы чужды. Исключеніе составлялъ лишь одинъ Катковъ; онъ въ первые годы своей публицистической дѣятельности держался въ „Русскомъ Вѣстникѣ" того корректнаго либеральнаго тона, который стяжалъ ему славу англичанина-либерала среди русскихъ. Но этотъ единственный талантливый публицистъ либеральнаго лагеря [если не считать ученыхъ, которые—какъ напр. Кавелинъ—выступали иногда съ публицистическими статьями] очень скоро, въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ, пе-

решелъ изъ либеральнаго лагеря въ группу защитниковъ и проводниковъ оффиціальной системы правительственной опеки.

Подсчитывая силы либеральной группы, столь неоднородной по составу, не объединенной никакой общей программой, группы, въ которой всѣ ея члены дѣйствовали порознь, въ однихъ вопросахъ сходились, въ другихъ рѣзко расходились — надо признать, что силы эти были незначительны. Если припомнить къ тому же, что отдѣльные и весьма вліятельные члены этой группы очень скоро начали перебраниваться и ссориться, и что вся эта группа въ ея цѣломъ стала предметомъ и насмѣшекъ, и нападокъ со стороны быстро усиливавшейся партіи радикаловъ, обвинявшихъ этихъ „отцовъ" чуть ли не въ измѣнѣ самому дѣлу возрожденія Россіи,—то общественная позиція, занятая „либералами", должна была правительству казаться мало угрожающей. Правительственная власть съ этой группой обращалась не особенно сурово, ограждая себя отъ нея обычными пріемами административнаго воздѣйствія.

Была, однако, и еще одна, правда малочисленная группа либераловъ, которая въ силу своего особаго положенія могла, какъ будто, имѣть большое и рѣшающее вліяніе на ходъ событій. Это были либералы, стоявшіе близко у кормила правленія на весьма высокомъ или вообще высокомъ посту. Но положеніе ихъ было трагическое. Сдѣлали они что могли, и много добраго, но у власти продержались недолго и остановить или умѣрить все возраставшую тенденцію правительственной опеки они были не въ силахъ.

Къ старшему поколѣнію либераловъ принадлежалъ, наконецъ, и тотъ человѣкъ, имя котораго съ конца сороковыхъ годовъ пріобрѣло силу и обаяніе знамени. Ни съ кѣмъ изъ „либераловъ" того времени власти не приходилось такъ считаться, какъ съ Герценомъ.

Къ нему неслись сердца всѣхъ передовыхъ людей, съ нетерпѣніемъ славянофиловъ и радикаловъ. Переде-

не могли ему простить отрицанія самодержавія и православія, и его соціалистическое народничество ихъ не подкупало; радикалы же, признававшіе его сначала за единомышленника, скоро съ нимъ разошлись, не желая мириться съ его нелюбовью къ крайнимъ средствамъ, съ его склонностью останавливаться въ раздумьи надъ вопросомъ, который требовалъ скорѣйшаго рѣшенія, наконецъ съ его скептицизмомъ, который всегда пробивался даже сквозь восторженный паѳосъ его рѣчи. Отъ человѣка пожилого молодые радикалы требовали молодости и приспособленія къ чуждому ему кругу чувствъ и понятій. Скоро они совсѣмъ разссорились, да и вообще вліяніе Герцена пошло на убыль. Онъ становился нервенъ и неровенъ, и друзьямъ удавалось иногда вырвать у него такія рѣчи, которыя, не сближая его съ радикалами, отталкивали отъ него всѣхъ умѣренныхъ.

Но съ середины пятидесятыхъ годовъ до 1863-го года Герценъ былъ безспорно очень крупной оппозиціонной силой. Нужно замѣтить, однако, что сила эта почти сполна цѣликомъ заключалась въ отрицаніи прошлаго и настоящаго, и была лишена ясной, творческой программы. Герценъ былъ рожденъ публицистомъ-обличителемъ; первоклассный литературный талантъ дѣлалъ его страшнымъ для всѣхъ, чья гражданская совѣсть была неспокойна. „Колоколъ", „Полярная Звѣзда", „Голоса изъ Россіи" все это были обличительныя рѣчи въ судебномъ трибуналѣ, который захватилъ власть въ свои руки и держалъ ее крѣпко, потому что былъ правдивъ и не упускалъ случая подхватывать любую неправду, гдѣ бы онъ ее ни встрѣтилъ. При тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ въ Россіи, такой независимый трибуналъ за ея предѣлами могъ имѣть большую силу, такъ какъ передъ нимъ могли сводить свои счеты съ правительствомъ всѣ опекаемые, а иногда инкогнито счеты между собой и сами правители. Какъ орудіе разрушенія стараго и какъ бдительные и непреклонные судьи современности —

„Колоколъ“ и сборники Герцена соперниковъ въ Россіи не имѣли. Къ тому же, одно время эти нелегальныя страницы обращались въ Россіи такъ свободно, какъ будто онѣ были легальныя.

Но что могъ дать Герценъ людямъ, которые, насытившись отрицаніемъ, спрашивали—куда и какъ двигаться по новой дорогѣ? Въ листкахъ Герцена было много весьма вѣрныхъ и остроумныхъ разсужденій объ экономическихъ, историческихъ и политическихъ вопросахъ, объ этикѣ личной и этикѣ гражданской, очень много богатаго матеріала по исторіи соціальныхъ и политическихъ движеній въ Европѣ; все, что говорилъ этотъ остроумный и глубокій умъ, все было къ мѣсту и все имѣло цѣну. Но для людей, которые, раскритиковавъ все, начинали думать о строительствѣ, въ особенности для людей молодыхъ, съ темпераментомъ, всесокрушающая иронія этихъ разсужденій не давала того, чего они ждали. Отъ человѣка, стоявшаго на такомъ посту какъ Герценъ, хотѣлось услышать, какъ говорится, программную рѣчь, указывающую направленіе, котораго надлежитъ держаться въ установленіи новыхъ общественныхъ отношеній и политическихъ формъ народной жизни. Едва ли Герценъ могъ произнести такую рѣчь. Онъ, какъ большинство либераловъ сороковыхъ годовъ, принадлежалъ къ числу искателей, а не къ числу тѣхъ людей, которые оказываются на опредѣленной политической позиціи. Трудно сказать—какую форму правленія, а потому и какое гражданское воспитаніе считалъ Герценъ для Россіи подходящею и по времени желательной и достижимой. На его мысли оставили свой слѣдъ самыя разнообразныя политическія доктрины. Англійскій парламентаризмъ, республиканскій укладъ Франціи 1848-го года, соціализмъ, начиная отъ утопическаго, кончая научнымъ, швейцарское народовластіе, особая форма соціализма народническаго съ примѣсью славянофильства, ученія анархическія, теоріи эволюціонныя и революціонныя, — всѣ эти формулы политической жизни, существовавшія, су-

шествующія и грядущія, давали Герцену неоднократно поводъ къ блестящимъ рѣчамъ, въ которыхъ можно было вычитать его симпатіи къ самымъ разнообразнымъ формамъ правленія, лишь бы онѣ не походили на русскую.

Герценъ, не забывавшій годовъ своей юности, годовъ юношескаго религіознаго экстаза, сохранившій благодарную память объ отвлеченномъ философскомъ идеализмѣ, аристократъ по духу и въ сущности большой скептикъ, не могъ идти вровень со многими людьми, которые не хотѣли помнить даже вчерашняго дня.

## IV.

Правительству легко было сводить свои счеты съ каждой изъ перечисленныхъ передовыхъ группъ и всѣ онѣ были безсильны оказать прямое давленіе на самый ходъ событій.

Группа славянофиловъ и сходно съ ними мыслящихъ людей — способная лишь на пассивное сопротивленіе и на сосредоточенное молчаніе, при невозмутимомъ вѣрноподданническомъ чувствѣ; кружки дворянъ-конституционалистовъ — ничтожные количествомъ, которые могли только говорить и подавать петиціи; разрозненные члены разношерстной либеральной семьи, люди почти лишенные боевого темперамента; единичныя лица на каѳедрѣ, за письменнымъ столомъ въ кабинетѣ или въ редакціи журналовъ, во многомъ между собой несогласныя; блестящій публицистъ за предѣлами родины, отрицатель, а не строитель — насколько могли всѣ эти лица, кружки и группы тревожить правительственную власть, физически столь сильную, какою она была при почти однородной по тенденціямъ бюрократіи, и при полной инертности простого народа, всѣхъ среднихъ классовъ и огромнаго большинства сѣрой полуинтеллигенціи? Эта власть рѣшила твердо проводить свою систему строжайшей опеки и знала, что, проводя ее, она попутно, безъ всякаго труда,

приведеть къ молчанію всѣ разнородные голоса, которые каждый по-своему возражали противъ ея системы.

Доктринеры разныхъ толковъ, либеральные помѣщики, профессора, писатели-беллетристы, поэты, публицисты и скромные работники на разныхъ постахъ — таковъ былъ составъ тѣхъ либеральныхъ группъ, которыя на словахъ требовали сокращенія или отмѣны правительственной опеки, но никакимъ рѣшительнымъ „дѣломъ“ не могли подтвердить своего требованія.

## V.

Какое же, однако, дѣло, независимое отъ правительственной указки — было тогда вообще возможно?

Можно было, оставаясь на скромномъ посту, работать въ тиши и осуществлять на дѣлѣ свои передовые взгляды, гдѣ только къ тому представлялся случай. Эту раздробленную, повседневную работу либералы исполняли очень добросовѣстно, но она большого воздѣйствія на жизнь имѣть не могла.

Можно было дѣлать прямыя попытки къ измѣненію существующаго порядка — попытки революціонной пропаганды и революціоннаго дѣйствія. Такія попытки, подготовляемыя со средины пятидесятыхъ годовъ и участившіяся съ 1861 года, были сдѣланы; въ нихъ принимали участіе эмигранты и дѣйствовавшая въ Россіи радикальная партія. Но судьбу этихъ попытокъ можно было предсказать заранѣе: онѣ никакихъ видовъ на прочный успѣхъ не имѣли и могли только повысить въ противникѣ воинственныя чувства и понизить миролюбивыя.

Но, былъ еще одинъ родъ „дѣла“, обѣщавшій, повидимому, гораздо болѣе устойчивый успѣхъ. Можно было образовать и воспитать „новаго“ человѣка, иначе думающаго и иначе чувствующаго, чѣмъ думали и чувствовали его отцы и дѣды; можно было закалять его въ борьбѣ съ тѣми [illegible]

старой жизни, съ которыми онъ былъ въ силахъ бороться, какъ, напр., съ семейными началами, со школьными порядками, съ порядками служебными и со многими иными сторонами гражданскаго обихода; можно было воспитать этого стараго человѣка независимымъ въ мысляхъ, чувствахъ и поведеніи, воспитать его рѣшительнымъ, смѣлымъ и гордымъ. Создавъ такого новаго бойца и вооруживъ его самымъ современнымъ знаніемъ, можно было позаботиться о томъ, чтобы путемъ смѣлой пропаганды умножать какъ можно скорѣй число такихъ людей и затѣмъ ждать, пока они, окрѣпнувъ, начнутъ перестраивать жизнь личную, семейную, общественную и государственную на началахъ, которыя они признаютъ справедливыми и разумными.

За это дѣло и взялись съ самыхъ первыхъ годовъ новаго царствованія тѣ кружки лицъ, которыхъ обыкновенно обозначаютъ именемъ „шестидесятниковъ" и которыхъ можно назвать *радикалами*, разумѣя подъ этимъ условнымъ именемъ всѣхъ тѣхъ, кто доводилъ свои убѣжденія, чувства и поступки до открытаго разрыва съ существующимъ порядкомъ, считалъ всякій компромиссъ со стариной и съ настоящимъ слабодушной уступкой и думалъ, что для обновленія жизни необходимо полное отреченіе отъ прошлаго, полное пересозданіе личности стараго покроя.

Радикалы въ первые годы своей дѣятельности (1855—1861) ставили такое пересозданіе личности главной цѣлью своей работы, подготовляя себя одновременно и къ революціоннымъ выступленіямъ.

## VI

Для правительства группа радикаловъ была врагомъ наиболѣе опаснымъ. Съ нѣкоторыми частями либеральнаго лагеря власть, если хотѣла, могла установить извѣстный modus vivendi: случалось даже, что нѣкоторые изъ либераловъ переходили на ея сторону, — но съ группой радикальной такъ

политика была невозможна. Эта группа удалялась все болѣе и болѣе влѣво и, оставляя на пути отстававшихъ, стала къ концу шестидесятыхъ годовъ и въ началѣ семидесятыхъ выдѣлять изъ своей среды настоящія боевыя революціонныя организаціи. Правительственная репрессія оказалась безсильной и только умножала кадры революціонеровъ, хотя побѣда правительству не измѣняла и разгромы радикальныхъ кружковъ и революціонныхъ организацій были явленіемъ обычнымъ.

Составъ радикальной группы былъ также не однороденъ; она вербовала своихъ членовъ почти исключительно среди людей молодыхъ, которымъ къ началу новаго царствованія было около двадцати лѣтъ, немногимъ меньше или больше. Умы и характеры этихъ „шестидесятниковъ" перваго призыва подготовлялись въ тотъ сѣрый и глухой періодъ русской жизни (1848—1855), когда они сидѣли еще на школьной скамьѣ. Въ 1855-мъ и въ ближайшихъ затѣмъ годахъ мы застаемъ этихъ первыхъ „радикаловъ" частью въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, частью молодыми людьми разныхъ профессій и просто людьми вольными. Слѣдя за первыми ихъ выступленіями, за ихъ образомъ мыслей и за развитіемъ ихъ темперамента, приходится удивляться — откуда у нихъ взялись всѣ такъ рѣзко обнаруженныя ими склонности къ свободному мышленію, къ независимымъ чувствамъ, откуда взялась въ нихъ сила воли, энергія, этотъ задоръ, какимъ съ самаго начала проникнуты были ихъ рѣчи и поступки? Вспоминая, въ какихъ тяжелыхъ условіяхъ воспитывались ихъ умъ и характеръ, нельзя не подивиться необычности самаго ихъ появленія. Съ первыхъ же шаговъ они обратили на себя вниманіе и всего образованнаго общества, и правительства, и они навсегда остались силой, съ которой всѣмъ другимъ общественнымъ силамъ приходилось считаться. Наука, литература, публицистика свели съ ними счеты, такъ какъ о[illegible] скоро они въ своей средѣ стали [illegible] и ученыхъ, и [illegible]раторовъ, и публицистовъ; съ своей [illegible]

идей радикалы проникали въ самые различные интеллигентные круги и въ самые разнообразные слои и классы общества, начиная съ простого народа и кончая аристократическими домами. Либералы всѣхъ оттѣнковъ должны были нехотя вступать съ ними въ споръ, потому что они сами не упускали случая дразнить либераловъ, обличать ихъ и нарушать покой ихъ уравновѣшенной психики; эмигранты старались завязать съ ними болѣе или менѣе тѣсныя связи и, наконецъ, полицiя явная и тайная должна была непрестанно о нихъ думать, потому что они о ней думали мало.



# Настроеніе радикальныхъ круговъ въ годы ихъ образованія и перваго выступленія

Быстрая эволюція радикализма. Сословный элементъ въ первыхъ радикалахъ.—Объединяющая ихъ вѣра въ силу «новой» личности. Принципіальное отрицаніе прошлаго.—Радикализмъ мысли и чувства какъ результатъ дореформенной системы воспитанія.—Быстрый ростъ боевого настроенія въ радикальныхъ кругахъ. Внѣшнія условія, при которыхъ развивалась радикальная доктрина. Недостатокъ въ вождяхъ. Иностранная книга.

I.

Острое недовольство прошлымъ и, конечно, неразрывно съ нимъ связанная яркая мечта о лучшемъ будущемъ и притомъ близкомъ — вотъ тѣ первичные несложные чувства, мысли и настроенія, которые легли въ основаніе всѣхъ сложныхъ душевныхъ движеній русскаго радикала перваго призыва.

Эволюція мыслей и чувствъ въ молодыхъ кругахъ передового общества совершается, однако, съ поразительною быстротой. Въ первые же годы новаго царствованія радикалы рѣшительно и рѣзко порываютъ свой союзъ съ либералами. Либераловъ они обвиняютъ въ медлительности, требуютъ отъ нихъ рѣшительнаго дѣла — не опредѣляя, впрочемъ, въ точности, въ чемъ это дѣло должно заключаться. Въ своемъ недовольствѣ либералами радикалы руководятся не столько какой-нибудь опредѣленной общественной дѣя-

ческой программой, сколько тѣмъ органическимъ чувствомъ недовѣрія, какое уже сложившійся радикалъ питаетъ ко всѣмъ людямъ не его лагеря. Въ годъ осуществленія первой реформы радикалы находятся уже на крайнемъ лѣвомъ флангѣ, являются выразителями оппозиціи, не идущей ни на какое соглашеніе, и часть ихъ не останавливается передъ открытыми революціонными актами. Когда затѣмъ правительство начинаетъ усилять свою опеку, они все рѣшительнѣе и смѣлѣе ведутъ свою радикальную проповѣдь, стремясь создать боевые кадры изъ интеллигентныхъ единицъ, въ надеждѣ, что такая армія „новыхъ“ людей будетъ въ силахъ оказать успѣшное сопротивленіе правительственной реакціи. Когда надежды эти оказываются тщетными, они, въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, обращаются за помощью къ народной массѣ.

## II.

Общественное движеніе во всѣ годы эпохи реформъ постольку, поскольку имъ были охвачены образованные слои общества— было движеніемъ идейнымъ въ полномъ смыслѣ этого слова, хотя самый фактъ схода русской жизни со старой колеи совершился несомнѣнно подъ давленіемъ многихъ силъ чисто матеріальныхъ.

Существуетъ мнѣніе (и оно имѣетъ не мало сторонниковъ), которое силится объяснить программы различныхъ партій и кружковъ той эпохи сословными тенденціями ихъ сторонниковъ. Въ отношеніи консервативной партіи вообще, партіи правительственной и дворянской партіи, правительствомъ недовольной, такое „сословное“ толкованіе ихъ общественныхъ программъ допустимо: люди, входившіе въ составъ этихъ партій, были почти всѣ дворянами-помѣщиками, носителями вѣковыхъ опредѣленныхъ сословныхъ традицій и защитниками извѣстнаго правового и экономическаго сословнаго порядка.

Но если и признать, что круги консерваторовъ, охранителей и либераловъ-поневолѣ—отъ предразсудковъ касты не освободились, то настаивать на такихъ сословныхъ тенденціяхъ либеральной и въ особенности радикальной группы врядъ ли можно.

Либералы, оставаясь дворянами въ своихъ чувствахъ и привычкахъ, какъ идеологи и какъ общественные дѣятели были открытыми противниками сословнаго начала въ жизни и демократами въ принципѣ. Направленіе радикальной мысли и радикальной воли также не стоитъ въ такой узкой тѣсной связи съ психикой пресловутаго „разночинца“. Что въ шестидесятыхъ и послѣдующихъ годахъ въ интеллигентный кругъ вошло большое количество лицъ изъ самыхъ различныхъ слоевъ и классовъ общества—это несомнѣнно; что въ литературѣ *численный* перевѣсъ оказался скоро на сторонѣ лицъ недворянскаго происхожденія—это также вѣрно, какъ несомнѣненъ и тотъ фактъ, что *художественная* сила таланта оставалась попрежнему за писателями изъ дворянскаго круга. Что же касается прямой зависимости, въ какой будто бы образъ мыслей писателей разночинцевъ находился отъ ихъ сословнаго, матеріальнаго вообще и экономическаго въ частности, положенія—то это утвержденіе едва-ли можно отстаивать. Едва-ли разночинецъ думалъ и дѣйствовалъ такъ или иначе только потому, что онъ былъ „разночинецъ“. Всѣ характерныя черты въ психикѣ радикаловъ, вышедшихъ изъ среднихъ и низшихъ слоевъ общества, ничѣмъ не отличаются отъ психическихъ движеній той „дворянской“ души, которая въ тѣ годы также нерѣдко становилась въ ряды радикаловъ. Пусть радикализмъ во всѣхъ его видахъ среди разночинцевъ имѣлъ большее число сторонниковъ, но [illegible] самъ, по существу своему, достояніемъ опредѣленнаго общественнаго слоя не былъ, и распространенію его способствовала историческая динамика, а не сословная статика. Какъ на особую черту разночинца указываютъ часто на [illegible] крайностями [illegible] и много [illegible]

ловѣка. Но этотъ гнѣвъ нельзя назвать новинкой. Недовольство условіями общественной и политической жизни, какъ и защита общественно обездоленнаго отличительныя черты нашей литературы съ очень давняго времени, и, поскольку позволяли цензурныя условія, онѣ и въ дворянскій періодъ русской словесности прорывались наружу съ большой силой.

Правда, въ одномъ смыслѣ сословное начало давало себя въ радикальныхъ кругахъ ясно чувствовать. Съ появленіемъ въ образованномъ обществѣ большого числа интеллигентныхъ разночинцевъ многія стороны русской дѣйствительности, остававшіяся дотолѣ въ тѣни, попадали наконецъ въ полосу свѣта. Разночинецъ приносилъ съ собой знаніе быта, испытанное знаніе, вынесенное изъ близкаго знакомства съ самыми неприглядными уголками русской жизни. Объ этихъ уголкахъ онъ говорилъ часто, и устно, и въ печати. Эти бытовыя картины изъ жизни столицъ, провинціальныхъ городовъ и деревни вносили въ литературу и жизнь большое оживленіе. Но вѣдь и писатели старшаго поколѣнія также успѣли собрать немало наблюденій надъ невзрачными углами жизни.

Радикальная группа въ общемъ была, конечно, „разночинная", всесословная: въ ней сливались и скрещивались теченія, привычки, традиціи всевозможныхъ слоевъ общества отъ дворянскаго до крестьянскаго. Не стихійное чувство безправныхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ влекло радикаловъ по тому пути, который они избрали: ими руководила прежде всего гуманная идея, завладѣвшая ихъ умами и вызывавшая въ нихъ сразу сильное напряженіе гуманныхъ чувствъ, подъемъ демократическихъ убѣжденій и смѣлый порывъ нравственно возмущенной воли. Идея скрѣпила радикаловъ и, не смотря на принадлежность ихъ къ разнымъ сословіямъ, придала ихъ мыслямъ, стремленіямъ и поступкамъ цѣльность и единство.

## III.

При всемъ несходствѣ взглядовъ на отдѣльные вопросы философскіе, нравственные, общественные и политическіе — какъ они рѣшались въ разныхъ кругахъ радикальнаго лагеря — одна мысль или, вѣрнѣе, одна вѣра собирала всѣхъ сходно мыслящихъ вокругъ единаго знамени. Это была цѣпкая вѣра въ почти чудотворную силу личности.

Въ старое доброе время сентиментализма и романтизма энтузіастъ-мечтатель былъ убѣжденъ въ томъ, что его помыслы и поступки находятся подъ прикрытіемъ благого промысла, не имъ установленнаго, но имъ угаданнаго. Онъ чувствовалъ на себѣ санкцію высшаго религіознаго начала, которымъ предначертанъ ходъ жизни, и онъ вѣрилъ въ силу своей личности, такъ какъ былъ убѣжденъ, что дѣйствуетъ въ духѣ предвѣчно установленнаго гармоничнаго міропорядка. Въ сотрудничествѣ съ такой таинственной силой онъ сознавалъ себя и правымъ, и крѣпкимъ.

Тѣмъ же сознаніемъ былъ силенъ и молодой философъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, когда онъ мѣнялъ сентиментально романтическія мечты на схемы философскаго идеализма. Овладѣвъ, какъ онъ думалъ, ключомъ ко всѣмъ тайнамъ мірозданія и опредѣливъ точно свое назначеніе въ мірѣ, онъ могъ спокойно повышать стоимость своей личности. Она не была одинока въ мірѣ; она думала и дѣйствовала также подъ охраной неизмѣнныхъ предвѣчныхъ истинъ, которыя въ немъ, въ ихъ смиренномъ служителѣ, находили себѣ временное воплощеніе. Философъ чувствовалъ на себѣ лучъ мірового разума, чувствовалъ въ себѣ движеніе міровой души и воли, и эта связь съ трансцендентнымъ міромъ укрѣпляла въ немъ сознаніе правоты и силы его идей и стремленій.

Радикалъ новой формаціи находился совсѣмъ въ особомъ положеніи. Тяготѣнія къ религіозному міро[illegible]

въ немъ не было. Трансцендентные міры были ему очень подозрительны и на всѣ попытки человѣка проникнуть въ ихъ тайны онъ смотрѣлъ какъ на безплодное занятіе любопытствующаго ума; романтизмъ во всѣхъ видахъ вызывалъ въ немъ не то раздраженіе, не то насмѣшку. Онъ хотѣлъ стоять обѣими ногами твердо на „реальной" земной почвѣ; онъ старался выработать въ себѣ своего рода религіозное отношеніе къ факту, и мысль о всякихъ санкціяхъ, не людьми установленныхъ, была отъ него далека. Онъ признавалъ одну лишь санкцію „трезвой" мысли и „свободнаго", „здороваго" чувства, въ мельчайшихъ оттѣнкахъ и изгибахъ которыхъ онъ могъ бы отдать себѣ полный и ясный отчетъ. Былъ ли онъ правъ или неправъ въ такомъ отрицаніи недоказуемыхъ духовныхъ началъ жизни — это вопросъ иной; въ данномъ случаѣ важно, что такое реалистическое міровоззрѣніе взваливало всю отвѣтственность за мысли и дѣянія всецѣло на безстрашнаго исповѣдника трезвыхъ взглядовъ.

Личность радикала-„реалиста", независимая и гордая, стояла на совершенно обнаженной позиціи, безъ прикрытія какихъ-либо предустановленныхъ началъ, опираясь на которыя реалисты могли бы сказать, что они правы не только передъ самими собою, но и передъ всѣмъ міропорядкомъ. Отрицатели сверхчувственнаго, они отчетливо понимали опасность такой позиціи и думали найти въ философіи матеріализма, въ позитивизмѣ и въ естественныхъ наукахъ все то, что теряли въ отрицаніи идеализма. Въ извѣстномъ смыслѣ они, конечно, были вознаграждены, но ихъ вѣрѣ въ силу личности предстояли большія испытанія. Увѣренность въ этой силѣ должна была колебаться въ нихъ по мѣрѣ того, какъ знакомство съ естественными науками, съ научнымъ методомъ въ разработкѣ исторіи, политической экономіи и соціологіи все яснѣе и убѣдительнѣе доказывало имъ, сколь ничтожна роль отдѣльной особи и какъ сильна закономѣрность процесса эволюціи, которая во взаимной связи явленій не позволяетъ выпадать ни одному звену и не придаетъ ни-

какихъ скачковъ въ переходѣ отъ прошлаго къ настоящему и будущему.

Романтикъ и философъ-идеалистъ имѣли для каждаго порыва своего ума, чувства и воли готовое оправданіе въ таинственной сущности этихъ порывовъ. „Реалистъ“ принужденъ былъ быть крайне осторожнымъ въ такомъ самооправданіи, и мысль о зависимости отъ среды, отъ историческихъ условій далекаго и близкаго прошлаго, мысль о нерасторжимомъ сцѣпленіи причинъ и слѣдствій могла и должна была смирять въ немъ излишнее довѣріе къ силѣ своего всемогущаго „я“.

Но тѣмъ не менѣе какое бы рѣшеніе ни подсказывала „реалистамъ“-радикаламъ ихъ теоретическая мысль, они въ силу сердечныхъ влеченій и психологической необходимости оставались неизмѣнны въ своей *вѣрѣ* — глубокой фанатичной вѣрѣ во всемогущество личности и личнаго вліянія на ходъ событій, призвавшихъ ихъ самихъ къ жизни. Они въ данномъ случаѣ ничѣмъ не отличались отъ столь нелюбимыхъ ими идеалистовъ и романтиковъ, и разница была только въ томъ, что эту вѣру въ себя радикалы не могли формулировать такъ глубокомысленно и такъ поэтично, какъ это дѣлали ихъ предшественники. Но это не мѣшало имъ вѣрить, вѣрить безъ разсужденія, въ возможность произвести быстро крутую ломку всей окружающей ихъ жизни. И единственною силой, которая могла произвести такой переломъ, была, по ихъ убѣжденію, свободная отъ всякихъ предразсудковъ личность, свободно выработавшая новый взглядъ на міръ и на человѣка и свободно устанавливающая новыя нравственныя отношенія между людьми.

Вѣра въ быстрые и плодотворные результаты такого возрожденія заново воспитанной и образованной интеллигенціей среды обветшалыхъ понятій и отживающихъ условій жизни была той идейной связью, которая объединяла всѣхъ разночинныхъ членовъ радикальнаго лагеря.

## IV.

Психологія радикальной молодежи въ первые годы новаго царствованія была очень проста. Молодые умы и сердца были увѣрены, что отнынѣ должна начаться для ихъ родины новая жизнь, при новыхъ условіяхъ, жизнь, въ которой имъ — молодымъ людямъ — предназначена большая, если не первенствующая роль. Тѣхъ трудностей, которыя связаны со всякой большой ролью, молодые люди, конечно, не учитывали и были лишь благодарны судьбѣ за то, что имъ пришлось вступать въ жизнь при такихъ исключительно счастливыхъ обстоятельствахъ. Какихъ-нибудь опредѣленныхъ общественно-политическихъ теорій, къ которымъ надлежало бы сразу приписаться, для этихъ призванныхъ и избранныхъ пока не существовало. Они были упоены сознаніемъ своего полнаго несогласія съ господствовавшей такъ долго правительственной системой, съ теоріями философствующаго и выжидающаго западничества и съ соціальной утопией елейнаго славянофильства. Всѣ убѣжденія ихъ сводились къ болѣе или менѣе страстному отрицанію прошлаго и существующаго и къ тому заманчиво ясному гражданскому идеализму, который весь заключенъ въ вѣрѣ въ свои силы, вѣрѣ тѣмъ болѣе глубокой, чѣмъ менѣе эти силы провѣрены.

Но какъ объяснить возможность зарожденія такого послѣдовательнаго отрицанія, такого радикализма мысли и чувства въ людяхъ, воспитанныхъ при старомъ порядкѣ?

Старый режимъ былъ крайне неблагопріятенъ даже для самаго скромнаго гражданскаго воспитанія. За все царствованіе императора Николая Павловича и въ особенности съ конца сороковыхъ годовъ вплоть до послѣдняго часа стараго положенія вещей — правительство стремилось водворить въ странѣ возможно большую умственную и душевную бездѣятельность. И какъ разъ въ эти годы [1848—1855] получали свое первое образованіе тѣ юноши и дѣвицы которые,

подрастая, сомкнулись въ разные либеральные и радикальные кружки. Если семья не приходила на помощь—а это случалось рѣдко—то школа и общество тѣхъ головъ въ ихъ дѣтскихъ и юношескихъ душахъ гражданскихъ чувствъ не будили.

Еслибы радикальныя группы слагались исключительно изъ молодежи столичной, и еслибы они преимущественно вышли изъ сословія дворянскаго, болѣе или менѣе обезпеченнаго и потому располагавшаго средствами къ образованію, то стремительность волевого и идейнаго движенія въ ихъ средѣ могла бы быть до извѣстной степени объяснена. Но эти группы составлялись и пополнялись людьми самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества, пришельцами со всѣхъ концовъ Россіи. Въ мѣстахъ, откуда эти молодые люди стекались въ столичные центры идейнаго движенія, за очень рѣдкими исключеніями, почти совсѣмъ не было и средства образованія были донельзя скудны.

А между тѣмъ въ какие-нибудь шесть лѣтъ [1855—1861] успѣли сплотиться достаточно многочисленные кадры радикально настроенныхъ молодыхъ людей, которые, при всѣхъ идейныхъ разногласіяхъ, были крѣпко спаяны единымъ боевымъ настроеніемъ. Откуда взялось оно?

## V.

Одна изъ слабостей, какую очень часто проявляютъ люди сильные и большой властью облеченные, это недальнозоркость, вытекающая изъ полноты ощущенія своей силы и власти. Сильному и властному человѣку какъ-то трудно себѣ представить, что его могущество создано преходящими условіями, которыя находятся въ движеніи и, измѣняясь, могутъ поколебать тѣ самые устои, на которыхъ это могущество покоится. Умѣть предполагать себя слабымъ и уязвимымъ—самый прочный залогъ упроченія силы.

и ея развитія, какъ самое вѣрное средство ослабѣть незамѣтно, это—признать свою силу незыблемо установленною.

Царствованіе императора Николая Павловича даетъ намъ яркій примѣръ такой силы, которая до самой минуты своего крушенія считала себя несокрушимой. Одержавъ легкую побѣду въ 1825-мъ году, правительственная власть предалась самолюбованію, близкому къ маніи величія. Ко всѣмъ мелочамъ, какія попадали въ узкое поле ея зрѣнія она, какъ близорукая, присматривалась очень внимательно, и всякое внѣшнее нарушеніе установленнаго порядка карала строго. Ей удалось, въ концѣ концовъ, добиться того, что поверхность жизни оставалась невозмутимо спокойной и гладкой, и для поддержанія такой видимости въ образцовомъ порядкѣ правительство не щадило ни средствъ, ни рвенія.

Если вспомнить, какъ ревниво и сурово примѣнялись въ дореформенное время всевозможныя мѣры охраненія, пресѣченія и наказанія, то на первый взглядъ можетъ показаться, что правительство не только не было самоувѣренно и ослѣплено своимъ блескомъ, но, наоборотъ какъ будто очень пугливо и неувѣрено въ своей силѣ. На самомъ дѣлѣ, однако, правительственная власть прибѣгала къ устрашенію не столько изъ чувства самосохраненія, сколько изъ желанія явить свою мощь. Власть была убѣждена, что такой, какова она есть, она можетъ и должна навсегда остаться. О тѣхъ внутреннихъ перемѣнахъ, которыя, при наружномъ спокойствіи, могли произойти въ психикѣ всѣхъ управляемыхъ и опекаемыхъ, правительство, можетъ быть, и догадывалось, но, подмѣчая ихъ, оно внѣшнимъ воздѣйствіемъ думало обуздать внутреннія побужденія. Вмѣсто того, чтобы идти навстрѣчу неизбѣжнымъ перемѣнамъ въ психикѣ людей ему порученныхъ и попытаться использовать эти перемѣны въ своихъ видахъ, правительство, не желая признавать своей зависимости отъ какихъ-либо историческихъ условій, стремилось удержать людей на томъ уровнѣ развитія идейнаго и общественнаго, на какомъ оно ихъ застало. И если

стоявшіе у власти были настолько самоувѣрены и самовлюблены, что считали себя въ силахъ выполнить такую задачу.

А между тѣмъ времена мѣнялись. Россія средины пятидесятыхъ годовъ была совсѣмъ не та, какой она по наслѣдству досталась императору Николаю Павловичу.

Народная масса успѣла сильно озлобиться. Въ умственномъ и нравственномъ отношеніи она впередъ не пошла; въ матеріальномъ ея положеніи улучшенія также не было; прирожденныя „славянскія и православныя" добродѣтели—будь онѣ существовали—глохли, и несмиренныя чувства должны были брать перевѣсъ надъ ними. Крестьянскія волненія и бунты учащались. Въ виду того, что народная масса не имѣла никакой возможности высказаться о своихъ нуждахъ—трудно было, конечно, съ точностью опредѣлить ея настроеніе, но все говорило о томъ, что народная душа не становилась мягче. Правительство замѣчало колебанія въ настроеніи массы, временами задумывалось надъ неизбѣжностью реформы освобожденія, но всегда пугалось этой мысли и при случаѣ прибѣгало къ жестокимъ репрессіямъ, примѣняя въ дѣлѣ врачеванія общественнаго недуга опасную и безплодную систему.

Въ психикѣ среднихъ слоевъ — мѣщанскаго и купеческаго никакого движенія замѣтно не было. Насколько можно судить по отрывочнымъ свѣдѣніямъ, сохраненнымъ въ литературѣ того времени, въ этихъ темныхъ или полутемныхъ массахъ продолжалъ царить узкій профессіональный эгоизмъ. Чувство самосохраненія, которое непомѣрно было на сторожѣ, заставляло людей довольствоваться кругомъ своихъ интересовъ, и на такой вполнѣ безплодной почвѣ произрастали самодуръ, мошенникъ, мелкій и крупный, или забитый и безгласный человѣкъ.

Чиновничество, мелкое и среднее, представляло собою, повидимому, элементъ спокойный и [illegible]. На [illegible] находившихся въ полной зависимости отъ [illegible]

казалось, можно было положиться. Но чиновникъ мало-по-малу превращался въ машину, лишенную инициативы и воли; и кромѣ того онъ часто подрывалъ престижъ власти всевозможными гражданскими пороками, развитыми въ немъ тѣмъ самымъ режимомъ, поддерживать который онъ былъ призванъ.

Чиновничество высшее и дворянство — двѣ силы, внушавшія правительству наибольшее довѣріе — оставались въ общемъ несомнѣнно надежнымъ оплотомъ господствующаго порядка. Но отсутствіе необходимости за что-либо бороться [а при длительномъ, неомрачаемомъ торжествѣ старой системы, ни высшему чиновничеству, ни дворянству никакихъ программъ отстаивать не приходилось, за исключеніемъ развѣ только программы личнаго благополучія] развивало въ людяхъ пассивность, инертность, слабость воли и, наконецъ, неподвижность ума, — качества, въ союзникѣ весьма малоцѣнныя.

Правительство въ сознаніи своей силы, не учитывало всѣхъ этихъ особенностей въ психикѣ людей, которыхъ считала покорными и крѣпкими въ своей преданности.

## VI.

Неспособность правительства въ своихъ разсчетахъ идти дальше ежедневнаго баланса ни на чемъ не сказалась такъ ясно, какъ на той системѣ, которая была примѣнена въ вопросѣ воспитанія и образованія подростающихъ поколѣній.

Образованнымъ людямъ, прошедшимъ среднюю и высшую школу разныхъ типовъ, надлежало рано или поздно замѣнить собой старыхъ слугъ старой системы, и потому на подростающее поколѣніе должно было быть обращено самое зоркое вниманіе правительственной власти, если она хотѣла имѣть и въ будущемъ вѣрныхъ союзниковъ. Зоркость правительства въ данномъ случаѣ была также похожа на пристальный взглядъ близорукаго человѣка. Господствующая система стремилась подогнать воспитаніе и образованіе

юношества подъ неподвижно установленное понятіе о „порядкѣ“, который въ свою очередь опредѣлялся не растущими потребностями жизни, а разъ навсегда признаннымъ взглядомъ на обязанности благомыслящаго и вѣрноподданнаго обывателя.

Чѣмъ ближе мы знакомимся съ порядками нашей дореформенной школы тѣмъ понятнѣе становится для насъ тотъ быстрый ростъ сначала либеральнаго, а затѣмъ и радикальнаго настроенія и образа мыслей, какимъ отмѣчены были первые же годы новаго царствованія. Правительство своей системой воспитанія подготовило цѣлые кадры людей, ему принципіально враждебныхъ, и въ эти кадры недовольныхъ и протестующихъ записывались, конечно, молодые люди наиболѣе энергичные, гибкіе умомъ и сильные волей.

Въ 1855-мъ году значительное число полувзрослыхъ дѣтей, сидящихъ на скамьяхъ средней школы, и большое число юношей, обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, уже было радикально *настроено*, хотя не исповѣдывало пока никакой радикальной доктрины. И такое настроеніе было создано дореформенными школьными порядками.

Результаты воспитанія и обученія получились діаметрально противоположные тѣмъ, достиженіе которыхъ въ виду имѣлось. Трудно опредѣлить цѣль, какую преслѣдовало правительство въ выборѣ преподаваемыхъ наукъ и въ установленіи того количества знаній, которыя оно считало обязательными Науки были подобраны какъ-то случайно: многие общеобразовательные предметы отсутствовали; тѣ изъ наукъ, которыя были признаны обязательными, преподавались въ размѣрахъ почти ничтожныхъ. Мысли истинно образовательной, гуманитарной въ программѣ преподаванія не было, и образованіе было строго подчинено воспитательной цѣли.

А эта цѣль опредѣлялась желаніемъ насадить въ сердцахъ и умахъ юношества страхъ Божій и любовь къ родинѣ и престолу. Самыя понятія о страхѣ Божіемъ и о люб-

ческомъ чувствѣ были отлиты въ неизмѣнныя формы, разъ навсегда установленныя и освященныя традиціей. А между тѣмъ всякое понятіе только тогда можетъ сохранить жизненную силу, если оно растетъ и видоизмѣняется вмѣстѣ съ самой жизнью и не позволяетъ ей опередить себя. Религіозное чувство и любовь къ родинѣ утвердились бы въ подрастающемъ поколѣніи сами собою, если бы была предоставлена людямъ возможность свободнаго къ нимъ отношенія. Но именно элементъ сознательности въ усвоеніи этихъ чувствъ отрицался всей системой. Охрана ума отъ притока необходимыхъ ему для развитія новыхъ идей, и запрещеніе самостоятельнаго разсчета съ накопившимися новыми данными жизни привели къ тому, что оба желанныя для воспитателя чувства — религіозное и патріотическое — утверждались въ сознаніи не то механически, не то насильственно.

## VII.

За русскимъ народомъ издавна установилась слава какъ за народомъ, въ которомъ религіозное чувство пустило очень глубокіе корни. Наша народная психика во всѣхъ слояхъ общества, дѣйствительно, обнаруживала большое тяготѣніе къ чувствамъ и мыслямъ религіознаго порядка, и казалось бы, что такое тяготѣніе съ годами могло только окрѣпнуть вмѣстѣ съ общимъ культурнымъ развитіемъ. А между тѣмъ къ началу новаго царствованія, послѣ тридцатилѣтняго воспитанія въ строго религіозномъ духѣ, религіозное сознаніе народныхъ массъ и образованнаго общества не повысилось, и если какое движеніе въ немъ было замѣтно, то оно шло либо въ сторону косной неподвижности, либо въ сторону отрицанія. Въ народныхъ массахъ, за исключеніемъ такъ жестоко преслѣдуемыхъ раскольниковъ и сектантовъ, религіозное сознаніе находилось въ какомъ-то усыпленномъ состояніи; въ полукультурной средѣ это сонное чувство сливалось съ

пристрастіемъ къ обрядовой сторонѣ даннаго исповѣданія. Въ кругахъ образованныхъ оно либо принимало форму условнаго обязательнаго чувства, а потому холоднаго и безжизненнаго, либо медленно угасало, переходя въ разные виды безвѣрія. И такое замираніе религіознаго чувства и религіозной мысли усиливалось въ образованномъ обществѣ по мѣрѣ того какъ росло требованіе оффиціальнаго благочестія. Для однихъ лишь славянофиловъ вопросъ вѣры всегда былъ живымъ вопросомъ духа, именно потому, что этотъ духъ въ своемъ общеніи съ Богомъ былъ пытливъ и независимъ.

Въ средѣ духовной вѣра была крѣпка и образъ жизни этой среды въ общемъ соотвѣтствовалъ ея призванью. Если умственное развитіе духовенства и оставляло желать весьма многаго, то подвиги духа не отсутствовали въ обиходѣ этого скромно и безгласно живущаго сословія. Но, странно именно эта среда поставила очень ревностныхъ адептовъ въ лагерь радикаловъ и „нигилистовъ". Изъ духовныхъ семей выходили тѣ пресловутые „семинаристы", которые такъ шумѣли въ шестидесятыхъ годахъ и такъ сердили умѣренныхъ людей своимъ отрицаніемъ порядка земного и небеснаго. Очевидно, что духовная среда не только не могла укрѣпить вѣры въ кругахъ, съ которыми она соприкасалась, но и въ нѣдрахъ своихъ была безсильна оградиться отъ искушенія. И виновата въ этомъ была несомнѣнно косность религіозной мысли и религіознаго чувства, замкнувшихся въ тѣсномъ кругѣ оффиціальнаго богопониманія и богопочитанія.

Истиннаго очага вѣры въ слояхъ высшихъ искать не приходится. Не смотря на постоянно и громкимъ голосомъ высказываемое увѣреніе ихъ въ томъ, что именно они призваны охранять вѣру и давать примѣръ истиннаго благочестія, надо какъ разъ этихъ сильныхъ людей обвинять въ небрежномъ и жестокомъ обращеніи съ такимъ нѣжнымъ и тонкимъ чувствомъ, какъ чувство религіозное. На [illegible]

попытку разсуждать о вѣрѣ или иначе чувствовать ее, правительство и его ближайшіе помощники смотрѣли какъ на злостное колебаніе основъ и въ подавленіи такихъ попытокъ прибѣгали отнюдь не къ духовнымъ средствамъ. Вмѣсто того, чтобы опираться на живое движущееся религіозное сознаніе, правительственная власть предпочла опереться на букву ученія, не предполагая, очевидно, что насильственная его оборона должна вызвать въ людяхъ не приливы, а отливы религіознаго настроенія.

Система дореформеннаго воспитанія, въ той ея части, которая касалась религіозныхъ идей и чувствъ, не могла привести къ намѣченной цѣли.

## VIII.

Не оправдала надеждъ старой системы и патріотическая идея. Ошибка и въ данномъ случаѣ произошла оттого, что людьми, которые считали себя призванными укоренять ее, любовь къ родинѣ была понята не какъ движущееся, мѣняющееся и гибкое понятіе, а какъ навсегда установленный догматъ, въ которомъ любовь къ отечеству отождествлялась съ любовью къ данному государственному и общественному строю или, вѣрнѣе, съ покорностью ему. Система не хотѣла признать, что строй долженъ мѣняться именно въ интересахъ патріотизма.

Патріотическая идея была сведена на неподвижное и самодовольное признаніе существующаго порядка, и въ этомъ духѣ велось воспитаніе подростающихъ поколѣній. Программа такого воспитанія могла имѣть за собой всю видимость успѣха—пока оффиціальному патріотизму не грозило никакое испытаніе. Всякія попытки понять иначе любовь къ родинѣ могли быть легко предупреждены правительствомъ и подавлены, всякое частичное возмущеніе противъ оффиціальнаго ея пониманія могло быть обуздано безъ риска большой огласки. Патентованному патріотизму могла грозить

опасность лишь со стороны—при какихъ-нибудь усложненіяхъ международныхъ. За долгое царствованіе императора Николая Павловича такихъ усложненій не было вплоть до Крымской кампаніи. Только въ 1854—5 годахъ система была подвергнута настоящему испытанію и только въ эти многострадальные годы обнаружилось, насколько патріотизмъ, понятый узко, не оправдалъ возложенныхъ на него надеждъ. Сведенный на слѣпое повиновеніе, этотъ патріотизмъ оказался безпомощнымъ; привыкшій считать себя неуязвимымъ, онъ оказался неподготовленнымъ, строгій въ соблюденіи внѣшней формы, онъ не ограждалъ людей отъ самыхъ страшныхъ гражданскихъ пороковъ, которые изнутри обезсилили государство, прежде чѣмъ ему былъ нанесенъ ударъ извнѣ. Патріотизмъ не помѣшалъ цѣлой толпѣ бездарныхъ людей сидѣть на самыхъ отвѣтственныхъ мѣстахъ, не помѣшалъ невѣжеству держать въ плѣну огромныя массы народа—того народа, въ интересахъ котораго этотъ патріотизмъ такъ настойчиво проповѣдывался; онъ не оградилъ даже солдата—героя тѣхъ дней—отъ такихъ страданій, избѣжать которыхъ было возможно. Въ одномъ только патріотизмъ выдержалъ испытаніе, въ готовности людей переносить лишенія и умирать.

Итакъ, обѣ идеи — и религіозная, и патріотическая, — оффиціальное торжество которыхъ было обезпечено, не дали того, что обѣщали. Религіозная идея осталась неподвижною и не вносила мира въ умы и сердца, а идея патріотическая не уберегла родину отъ внутренняго непорядка и пораженія.

При спокойномъ теченіи жизни медленное уклоненіе этихъ идей отъ желанной цѣли было трудно замѣтить, но въ минуту опасности просчетъ обнаружился сразу. Когда опасность миновала, и когда стало ясно, что старой дорогой итти нельзя, первое, о чемъ пришлось подумать, это — о судьбѣ этихъ двухъ основныхъ началъ. Въ нихъ надо было вдохнуть новую жизнь, ихъ надо было понять въ иномъ, болѣе широкомъ смыслѣ.

4*

Въ дальнѣйшемъ развитіи нашей общественной жизни начала религіозное и патріотическое имѣли судьбу разную. Религіозный вопросъ, несмотря на славянофильскую проповѣдь, на войну съ матеріализмомъ и позитивизмомъ, на проповѣди Достоевскаго, Владиміра Соловьева и Толстого, въ широкихъ кругахъ образованнаго общества не вызвалъ значительнаго броженія мысли и чувствъ и только въ самое послѣднее время онъ сталъ настойчиво волновать интеллигентные круги свободно мыслящихъ людей, а также и круги оффиціальные, готовые какъ будто пойти на кое-какія уступки.

Въ судьбахъ вопроса объ истинномъ патріотизмѣ движенія было значительно больше. Вся исторія нашего политико-общественнаго развитія за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ рядъ попытокъ разныхъ общественныхъ группъ противопоставить оффиціальному пониманію патріотизма пониманіе болѣе широкое, болѣе соотвѣтствующее назрѣвшимъ нуждамъ страны. Несмотря на крайне тяжелыя условія, при которыхъ обществу пришлось вести борьбу за право на свободную любовь къ родинѣ, несмотря на перевѣсъ силы, который всегда оставался на сторонѣ оффиціальнаго патріотизма, старый дореформенный катехизисъ любви къ отечеству и національной гордости растерялъ не малое число параграфовъ и замѣнилъ ихъ новыми.

## IX.

И въ серединѣ пятидесятыхъ годовъ этотъ старый катехизисъ уже не отвѣчалъ на запросы многихъ, въ особенности молодыхъ умовъ и сердецъ.

Пока старая правительственная система торжествовала, она молодыхъ людей, по мѣрѣ того какъ они выростали, пригибала и приручала. Тѣ, кто были ретивы и молоды въ 1825-мъ году, стали къ 1855-му году стариками, усталыми отъ жизни и отъ тяжести пережитого; тѣ, кто въ 1835-мъ

году были полны энтузіазма и всяческаго идеализма, превратились къ 1855-му году — за весьма немногими исключеніями — въ солидныхъ людей либеральнаго образа мыслей и сдержаннаго поведенія; тѣ, которые въ 1848-мъ году кипѣли, въ 1855-мъ, подъ свѣжимъ воспоминаніемъ недавней смертельной опасности, сосредоточившись на самихъ себѣ выжидали; наконецъ, тѣ молодые люди, которыхъ 1855-ый годъ засталъ въ средней и высшей школѣ,—тѣ переживали первые приступы идейныхъ волненій, первыя раннія грозы сердца.

И какъ разъ въ тотъ годъ, когда эта молодежь новаго набора стояла въ полномъ весеннемъ цвѣту — старая правительственная система дожила до суднаго дня. Все говорило за то, что судьба этой молодежи, вступающей въ жизнь при столь необычныхъ условіяхъ, будетъ иная, чѣмъ судьба ея отцовъ и дѣдовъ.

## X.

Свѣдѣнія, какими мы располагаемъ о жизни, образѣ мыслей и настроеніи молодого поколѣнія конца сороковыхъ и начала пятидесятыхъ годовъ, неполны и случайны. Литература, сохранившая такъ много портретовъ, просвѣтленныхъ образовъ и карикатуръ, списанныхъ съ молодежи обоего пола въ шестидесятыхъ годахъ, не обнаружила большого интереса къ тому молодому человѣку, который росъ и воспитывался „накануне".

Послѣ разсѣянія кружка молодыхъ гуманистовъ и соціалистовъ, объединенныхъ Петрашевскимъ въ 1848-мъ году, въ жизни передовой молодежи вплоть до второй половины пятидесятыхъ годовъ не наблюдается ясно выраженнаго тяготѣнія къ какимъ-нибудь философскимъ или соціальнымъ ученіямъ. Эти ученія исчезаютъ съ каѳедръ подъ давленіемъ извнѣ и не собираютъ вольной аудиторіи болѣе или менѣе замѣтной. И только нежданная гроза [illegible]

режаетъ на нѣкоторое время тревогу ума. Молодежь ведетъ себя разгульно, несдержанно, нарушаетъ часто школьную дисциплину, съ преподавателями и профессорами ссорится, съ полиціей дерется — вообще обнаруживаетъ всѣ симптомы раздраженія сердечнаго, волевого и мускульнаго; но нѣтъ указаній на то, что эта молодая и временами буйная жизнь скрашивается усиленной умственной работой.

Умственные интересы, конечно, не отсутствуютъ. Молодые люди читаютъ, что попадется подъ руку и нерѣдко ихъ вниманіе приковываетъ къ себѣ иностранная книга, въ особенности запрещенная. Такія книги переводятся иногда по нѣскольку разъ и распространяются въ рукописяхъ. Но такъ какъ эти книги усвояются не систематично и не становятся предметомъ гласнаго обсужденія, то ихъ вліяніе сказывается не столько на широтѣ и глубинѣ мысли читающаго, сколько на нервномъ его возбужденіи. Книга радикальная, полная отрицанія и боевого смысла, покоряя сразу умъ, не даетъ ему длительныхъ поводовъ для размышленія, но зато даетъ удобный предлогъ для усиленія и безъ того сильнаго чувства раздраженія противъ окружающаго. Молодой умъ, во власти новыхъ, рѣзко выраженныхъ мыслей, спѣшитъ чѣмъ-нибудь заявить о себѣ и, конечно, не въ сферѣ мысли осуществляетъ онъ это желаніе. Старая система, осуждая умъ на бездѣйствіе, дѣлала его очень воспріимчивымъ ко всякой смѣло и рѣзко высказанной мысли. Такая мысль не встрѣчала ни отпора, ни суда, и если къ тому же она являлась мыслью запретной, то успѣхъ ея былъ обезпеченъ.

Религія была совершенно безсильна вселить миръ въ тревожныя молодыя души, которыя отъ мертваго катехизиса вѣры и отъ косной обрядовой стороны легко стали переходить къ индифферентизму и безвѣрію, принимавшему различныя формы, отъ грустной думы до громкаго глумленія. Наряду съ этимъ охлажденіемъ къ небесному возрастало и озлобленіе на земное.

Соціальное зло, которое со всѣхъ сторонъ обступало молодыхъ людей, когда они были такъ юношески чутки и легко возбудимы, находилось въ полномъ противорѣчіи съ оффиціальнымъ понятіемъ патріотизма. И будущій „нигилистъ“, „безбожникъ“ и „бунтарь“ родился еще при императорѣ Николаѣ Павловичѣ, родился тогда, когда торжествующая правительственная система, казалось, исключала всякую возможность его зарожденія.

## XI.

Всякая доктрина, хотя бы самая анархическая, требуетъ извѣстнаго порядка, извѣстной дисциплины въ своемъ развитіи. Прежде чѣмъ примѣняться къ жизни, доктрина должна быть разработана хотя бы въ основныхъ своихъ частяхъ, должна ясно отвѣчать на вопросы, поставленные даннымъ историческимъ моментомъ, должна, наконецъ, имѣть проводниковъ болѣе или менѣе сильныхъ, учителей теоретиковъ и практиковъ, вокругъ которыхъ могли бы сплотиться ученики и послѣдователи. Всякое идейное движеніе должно имѣть свои священныя книги и своихъ вождей, и чѣмъ опредѣленнѣе догмы такихъ книгъ и чѣмъ яснѣе проповѣдь вождей, тѣмъ жизнеупорнѣе само ученіе.

Радикальная доктрина,—когда въ началѣ новаго царствованія она стала пріобрѣтать первыхъ исповѣдниковъ, развивалась въ совсѣмъ особыхъ условіяхъ. Она жила и размножалась почти безъ дисциплины и волевой элементъ въ ней преобладалъ надъ идейнымъ.

Прежде всего, она была лишена возможности развиваться открыто при гласномъ, всестороннемъ обсужденіи ея основоположеній. Правильное идейное ея развитіе было съ самаго начала заторможено; не могло быть и рѣчи объ открытомъ выступленіи вождей, насаждающихъ это ученіе громко сказаннымъ словомъ и ни отъ кого не скрываемымъ дѣйствіемъ.

Но не эти внѣшнія стѣсненія обусловили необычную судьбу радикализма.

Радикализмъ прежде всего не имѣлъ корней въ прошломъ нашей общественной жизни и не могъ опереться ни на какія идейныя традиціи. Когда во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ радикалы стали заявлять о себѣ, они, прежде чѣмъ разсердить несогласныхъ съ ними, удивили ихъ какъ явленіе, которому въ прошломъ нельзя было подобрать аналогіи. Всѣ теченія общественной мысли имѣли свою исторію, и ультраконсервативная мысль, и оффиціально-правительственная, и славянофильская, и либерально-конституціонная, и либеральная безъ опредѣленной политической окраски. Не уходя въ глубь старины, можно было въ началѣ XIX вѣка, во времена либеральныхъ реформъ и плановъ императора Александра Павловича, найти въ изобиліи зерна любой политической и общественной доктрины, которая въ царствованіе Николая Павловича либо цвѣла, либо прозябала, а въ новое царствованіе давала цвѣты и ростки и побѣги.

Что касается лѣваго радикальнаго крыла, то притянуть его тенденціи и программы къ идеямъ и настроеніямъ прошлаго было очень трудно. Движеніе декабристовъ, о которомъ радикалы всегда вспоминали съ нѣжнымъ чувствомъ, не можетъ быть названо первоисточникомъ русскаго радикализма. Оно было движеніемъ сословнымъ, и возмущеніе, къ которому оно привело, имѣло больше сходства со старыми дворцовыми переворотами, чѣмъ съ натискомъ широкой общественной мысли и общественнаго настроенія на установившійся порядокъ. Да и „радикализма" въ тѣсномъ смыслѣ слова въ декабрьскомъ движеніи не было, если не считать случайныхъ вспышекъ террористической мысли, не приведенной, однако, въ исполненіе. Кромѣ того, тотъ религіозный сентиментализмъ или та сентиментальная религіозность, которою было проникнуто міросозерцаніе большинства участниковъ декабрьскаго дви-

женія, проводили рѣзкую разграничительную черту между психикой радикала и духовной сущностью романтика въ политикѣ.

Въ тѣхъ молодыхъ кругахъ, гдѣ ютилась либеральная мысль въ царствованіе Николая Павловича, настоящаго радикализма во взглядахъ и чувствахъ также не было. Московскіе кружки тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ числили въ своей средѣ юныхъ идеалистовъ-философовъ, также аристократовъ и по рожденію, и по духу, лишь, заходившихъ въ своихъ мечтахъ и теоретическихъ выкладкахъ иногда далеко влѣво, но неизмѣнно сохранявшихъ душевную уравновѣшенность съ яснымъ тяготѣніемъ къ религіи, къ идеалистической философіи и къ эстетикѣ. Петербургскій кружокъ петрашевцевъ — тотъ нѣсколько отошелъ отъ чистой идеологіи и готовъ былъ вступить на путь активной проповѣди утопическаго соціализма, о которомъ мечтали и москвичи; но дѣятельность этого кружка была прервана въ самомъ началѣ, и сказать опредѣленно, во что разрѣшилось бы движеніе петрашевцевъ въ дальнѣйшемъ, — трудно. Въ ихъ программѣ, насколько можно судить по самому процессу, во всякомъ случаѣ не было послѣдовательнаго отрицанія всѣхъ устоевъ старой жизни отъ личной до государственной, отъ идейной до матеріальной.

Какъ народились радикалы первой формаціи — кто можетъ съ точностью отвѣтить? Они образовались въ тиши, вскормленные всѣми неправдами стараго режима, въ нѣдрахъ частныхъ столичныхъ и провинціальныхъ семей, въ среднихъ и высшихъ школахъ свѣтскихъ и духовныхъ, и когда они выдвинулись какъ опредѣленная общественная сила — никто не могъ установить ихъ прямой генеалогіи.

То обстоятельство, что радикалы собственно не имѣли исторіи и должны были начинать собою совсѣмъ [illegible] женіе въ русской жизни, наложило во многомъ ихъ [illegible]. По наслѣдству отъ старой жизни имъ ничего [illegible], кромѣ грустныхъ воспоминаній о годахъ, когда [illegible]

боялись плыть противъ теченія и которые погибли и разсѣялись. Эти отцы или старшіе братья не передали дѣтямъ никакой доктрины, никакой тактики. Новымъ людямъ приходилось устраиваться на новомъ мѣстѣ, хотя и освященномъ поэтическими традиціями, но совершенно незащищеннымъ. Все надо было создать заново: заново выработать доктрину, собрать и объединить сторонниковъ и найти вождей.

## XII.

Нужда въ людяхъ, которые могли бы выполнить роль настоящихъ вождей и крѣпко сплотить одинаково настроенныхъ, сходно мыслящихъ и чувствующихъ людей — была очень велика въ первые годы зарожденья и роста радикальной партіи.

Старшее поколѣніе — либералы разныхъ оттѣнковъ, за исключеніемъ Герцена, живущаго за границей, не могло выставить ни одного полководца. Оставалось ждать пока они появятся въ средѣ самихъ радикаловъ, среди тѣхъ юнцовъ, которые сами въ нихъ нуждались.

Въ общемъ радикальная группа первой формаціи располагала многими талантливыми силами въ разныхъ областяхъ теоретической и практической дѣятельности. Но среди этихъ силъ найдется очень немного такихъ, которыя обладали бы способностями руководящими, а не исполнительными, могли бы стоять на посту административномъ, а не служебномъ. Большинство годилось на работу спеціальную и рѣдко кто обладалъ самымъ нужнымъ и цѣннымъ даромъ организатора. Если судить по силѣ вліянія отдѣльнаго лица на массу, то такихъ организаторовъ и вождей, учителей и руководителей было въ тѣ годы [1855 - 1861] только двое - Добролюбовъ и Чернышевскій. Они одни имѣли болѣе или менѣе широкую аудиторію и могли говорить если не о своихъ „партіяхъ", то о своихъ сторонникахъ. На нихъ всецѣло и легла забота

о выработкѣ програмы образованія и воспитанія „новаго“ человѣка.

Но положеніе этихъ двухъ вождей было несомнѣнно трагическое, и къ тому же судьба была къ нимъ безжалостна. Они сошли съ арены въ самомъ расцвѣтѣ силъ, унесенные, одинъ смертью случайной, другой смертью гражданской.

Добролюбовъ долженъ былъ, образовывая и просвѣщая другихъ, заботиться о самообразованіи. Ему пришлось говорить и писать о чрезвычайно сложныхъ и запутанныхъ вопросахъ отвлеченныхъ и практическихъ, которые для него самого были новинкой. Его осуждали за подобную дерзость и онъ самъ сознавалъ вѣроятно свои недочеты, но сознавалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что молчать невозможно, такъ какъ никто не говорилъ за него и никого не было около него, кто могъ бы эту отвѣтственную задачу выполнить лучше. Ждать же, пока накопятся знанія, было невозможно— невозможно потому, что не хотѣлось въ интересахъ дѣла упустить удобнаго времени. Поспѣшность, съ какой Добролюбовъ работалъ надъ собственнымъ образованіемъ, при необходимости немедленно дѣлиться своей работой съ другими—не позволяла ему заботиться объ архитектоникѣ и систематичности излагаемаго ученія. Его статьи представляли собой рядъ случайныхъ трактатовъ, въ которыхъ попадались вперемежку мысли на самыя разнообразныя темы, и читатель долженъ былъ самъ изъ этихъ статей вычитать связное міровоззрѣніе и стройную программу поведенія.

Чернышевскій стоялъ въ иныхъ условіяхъ, чѣмъ Добролюбовъ. Онъ годами былъ старше и располагалъ большимъ количествомъ разнообразныхъ и очень солидныхъ знаній, когда взялся за перо. И умъ его былъ философски болѣе глубокій и болѣе вышколенный. Какъ вождь, руководитель и организаторъ онъ былъ совсѣмъ на своемъ мѣстѣ — что подтверждается и тѣмъ огромнымъ вліяніемъ, какое онъ имѣлъ на своихъ читателей. Но и его многочисленныя, по самымъ разнообразнымъ вопросамъ написан-

ныя статьи, статьи, полныя намековъ и умолчаній, не избавляли читателя отъ трудной самостоятельной работы—объединенія и систематизаціи разсѣянныхъ частей единаго „новаго“ ученія.

Не умаляя культурной заслуги вождей, мы при общей оцѣнкѣ положенія не должны упускать изъ виду, какъ отрывочно, несистематично и неполно развивалась доктрина радикализма. Лишь тѣ немногочисленные лица, которые съ учителями стояли въ личныхъ сношеніяхъ, могли пройти болѣе систематическую школу. Остальные были осуждены на довольно случайное образованіе и воспитаніе.

А изъ среды этихъ остальныхъ и надлежало выйти тѣмъ „новымъ“ людямъ, которые поставили себѣ задачей дать нашей жизни новое направленіе.

## XIII.

Была, однако, возможность пополнить до извѣстной степени недочетъ въ образованіи, вызываемый такимъ положеніемъ дѣлъ. Можно было, какъ и раньше дѣлалось, обратиться за помощью къ Западу, который неоднократно выручалъ насъ въ подобныя трудныя минуты. Западъ могъ дать либо живой урокъ жизни, либо урокъ книжный.

Въ пятидесятыхъ годахъ XIX столѣтія общественная и политическая жизнь на Западѣ, за исключеніемъ лишь итальянскихъ дѣлъ, не могла, однако, стать примѣромъ для нагляднаго обученія радикаловъ. Послѣ волненій 1848-го года реакція была въ полномъ ходу повсюду и среди своихъ недавнихъ враговъ и недоброжелателей Россія была, пожалуй, единственной страной съ ясно обозначившейся либеральной тенденціей въ своемъ общественномъ развитіи. Но если радикалы не могли найти поддержки въ политической жизни Запада, то западная наука, публицистика и литература были всегда къ ихъ услугамъ. Въ этихъ областяхъ иноземнаго духовнаго творчества радикализмъ могъ

имѣть сильныхъ союзниковъ. Недостатокъ въ учителяхъ русскихъ могъ быть, такимъ образомъ, восполненъ. И дѣйствительно, начиная съ середины пятидесятыхъ годовъ, мы замѣчаемъ большое оживленіе переводной литературы. Цензура служитъ и въ данномъ случаѣ большой преградой, но при помощи разныхъ хитростей переводчики ее обходятъ или не стѣсняются съ ней, распространяя свои переводы въ рукописныхъ спискахъ. Молодое поколѣніе получаетъ, такимъ образомъ, возможность ознакомиться со многими самыми современными трудами по всѣмъ отраслямъ науки, преимущественно науки исторической, юридической, экономической и естественно-исторической. Всѣ эти науки, столь слабо представленныя у насъ въ дореформенное время, пробуждаютъ въ умахъ молодежи живѣйшій интересъ; она съ большимъ рвеніемъ приступаетъ къ ихъ изученію, тратитъ много времени на этотъ трудъ, но, за неимѣніемъ подготовки, устаетъ быстро, и это научное самообразованіе сводится очень часто къ усвоенію лишь самыхъ общихъ выводовъ, близкихъ къ гипотезѣ. За нѣкоторыми исключеніями, большинство остается на той ступени полуобразованности, которая такъ часто мѣшаетъ человѣку стать вполнѣ образованнымъ. Такъ какъ научныхъ традицій у насъ въ тѣ годы было мало и сразу войти въ кругъ европейской образованности мы не могли, то такая замѣна органическаго научнаго развитія готовой иностранной книгой имѣла и свою вредную сторону.

Но то, что терялось въ неполнотѣ и малой солидности образованія, уравновѣшивалось общимъ впечатлѣніемъ смѣлаго и свободнаго пересмотра всѣхъ установившихся вѣрованій, убѣжденій и традицій—пересмотра, на который иностранная книга толкала радикальные умы.

## XIV.

Движимая силой традицій, [illegible] ни безъ поддержки [illegible] одной изъ [illegible] партій, [illegible] молодежь [illegible]

оказать сопротивленіе дисциплинированной правительственной силѣ.

Господствующая идея, одушевлявшая молодыхъ людей, не была выработана долгимъ трудомъ мысли: она сразу овладѣла ихъ умомъ, чувствомъ и волей, и сводилась она къ несложному и ясному убѣжденію въ томъ, что личность, сознающая свою умственную и нравственную правоту, можетъ обладать огромной силой воздѣйствія на окружающую ее среду. Эти юноши, молодые люди, молодыя дѣвицы и дамы, входившіе въ составъ радикальной группы, были увѣрены, что добрая воля отдѣльныхъ единицъ способна повернуть жизнь цѣлаго народа на новую дорогу. Передъ ними носился образъ „новаго" человѣка, гражданина и гражданки, — на новыхъ, разумныхъ началахъ воспитаннаго, вооруженнаго послѣднимъ словомъ науки. „Новые" люди должны были служить оплотомъ противъ всякой попытки жизни вернуться вспять, противъ всякаго насилія и опеки надъ свободно развивающейся личностью. Союзъ такихъ свободно развившихся личностей обѣщалъ быстрое торжество новаго уклада жизни личной и гражданской. Все зависѣло отъ ихъ стойкости, прямолинейности, отъ способности устоять передъ силой противника и передъ соблазномъ компромисса.

Въ трудной задачѣ выработки новаго міросозерцанія и его проведенія въ жизнь молодые умы и сердца были предоставлены почти исключительно самимъ себѣ. Они и занялись ревностно самовоспитаніемъ и самообразованіемъ, использовавъ все, что имъ могли дать ихъ два учителя, и пополняя недочеты своего образованія усерднымъ, довѣрчивымъ и безсистемнымъ чтеніемъ иностранныхъ книгъ по всѣмъ отраслямъ знанія.

Трудность положенія не помѣшала радикальной группѣ выполнить въ годы реформъ особую культурную роль. Эта роль измѣряется не столько количествомъ и качествомъ пущенныхъ въ оборотъ мыслей, сколько повышеніемъ общественнаго настроенія и темперамента, сильнымъ подъемомъ

въ обществѣ сознанія своего права на самоопредѣленіе, на свободный выборъ пути, который долженъ привести къ полной ликвидаціи стараго порядка, формально осужденнаго, но въ дѣйствительности живого и очень крѣпкаго

---

## Трудность положенія радикаловъ

Отрицаніе прошлаго въ цѣломъ.— Радикалы и современное общество.— Отношеніе радикаловъ къ вопросамъ религіознымъ, философскимъ и этическимъ.— Односторонность и трудность положенія радикаловъ.— Общая оцѣнка ихъ дѣятельности.

I.

Въ ряду всѣхъ трудностей, какими было обставлено развитіе радикальной доктрины самая главная заключалась въ непомѣрной смѣлости задачи, поставленной сторонниками этого направленія, столь неуступчиваго и столь въ себѣ самомъ увѣреннаго. Доктрины и программы всѣхъ другихъ передовыхъ круговъ стремились, худо ли, хорошо ли, перекинуть мостъ съ одного берега на другой и, признавая неизбѣжнымъ разрывъ со старымъ порядкомъ, дорожили многими культурными пріобрѣтеніями прошлаго. Не говоря уже о славянофилахъ — либералы всѣхъ оттѣнковъ, и тѣ никогда бы не согласились, вступая на новый путь, предать прошлое полному забвенію. Осуждая общественныя и политическія традиціи прошлаго, они не думали отрекаться отъ тѣхъ духовныхъ благъ, которыя были куплены большимъ трудомъ и дорогой цѣной въ старые дореформенные годы. Все накопленное богатство духа, хотя бы и скромное, хотѣли они взять съ собой въ новую жизнь. Радикалы не цѣнили этого богатства.

Отрицательное отношеніе къ старинѣ въ ея цѣломъ получилось у радикаловъ отнюдь не какъ плодъ глубокаго, всесторонняго раздумья надъ цѣнностью отвергаемыхъ культурныхъ пріобрѣтеній. Оно было въ большой степени плодомъ накопившагося раздраженія и, притомъ, раздраженія столько же противъ старины, сколько и противъ современности. Если бы не давало себя такъ ясно чувствовать желаніе правительства уступить изъ стараго какъ можно меньше; если-бы либералы не держались такой выжидательной тактики, быть-можетъ, и отношеніе радикальной группы къ прошлому было бы терпимѣе и болѣе справедливо. Повторилась та обычная несправедливость, которая такъ часто заставляетъ разныя духовныя цѣнности расчитываться за плохое ихъ использованіе въ жизни.

Вожди радикализма и ихъ послѣдователи не хотѣли ставить и рѣшать вопросы внѣ даннаго времени, — а въ примѣненіи къ переживаемому моменту многія изъ духовныхъ цѣнностей старой жизни могли, дѣйствительно, показаться если не источниками, то спутниками того общественнаго и политическаго положенія, которое подлежало упраздненію. Пока среди радикаловъ люди сильные брали на свою отвѣтственность отрицаніе этихъ цѣнностей, такое отрицаніе въ извѣстной степени окупалось самостоятельной творческой умственной работой; когда же въ этомъ отрицаніи укрѣплялись люди средней или малой силы, то въ результатѣ могло получиться извѣстное духовное измельчаніе.

## II.

Жизненная задача, какъ она ставилась радикалами, была поистинѣ задачей грандіозной: создать свободный союзъ новыхъ людей, воспитанныхъ и обученныхъ по новой программѣ; союзъ, предназначенный для работы не надъ какимъ-нибудь частичнымъ общественнымъ дѣломъ, а надъ цѣлымъ

преобразованіемъ всего общественнаго и государственнаго строя. Смѣлость этой мысли и очевидная непреодолимая трудность задачи не пугала молодыя сердца и головы — конечно, прежде всего потому, что сама задача не рисовалась имъ въ опредѣленныхъ и ясныхъ очертаніяхъ. Если бы радикаламъ пришлось, какъ иногда это случалось въ эпохи крутыхъ политическихъ переломовъ, вырабатывать уложенія, которыя завтра могли бы вступить въ силу, то нѣсколько такихъ опытовъ вѣроятно бы ихъ охладили; но въ томъ положеніи, въ какомъ находились радикалы, при невозможности провѣрить на дѣлѣ свои теоріи, они, не неся никакой отвѣтственности за переживаемый моментъ, могли себѣ разрѣшить какую угодно смѣлость въ убѣжденіяхъ и упованіяхъ. И они вѣрили, что отдѣльныя личности, объединенныя новой программой идейной и житейской, смогутъ въ водоворотѣ враждебныхъ имъ стихій не только удержаться прочно на своемъ мѣстѣ, но и начать проводить въ жизнь задуманную реформу общественныхъ отношеній, съ полной надеждой на быстрый успѣхъ. Слова: „проводить въ жизнь" радикаловъ также на первыхъ порахъ не пугали; они зорко слѣдили за все возроставшимъ вокругъ нихъ броженіемъ въ умахъ и чувствахъ все большаго и большаго количества людей интеллигентныхъ — и они, конечно, могли увѣрить себя, что недостатка въ случаяхъ и въ способахъ проведенія ихъ идеаловъ въ жизнь не будетъ. Жизнь, однако, ихъ надежды не оправдала, и именно вопросъ о случаяхъ и о способахъ вмѣшательства въ теченіе событій сталъ для нихъ самымъ труднымъ и больнымъ вопросомъ.

Рѣшеніе этого вопроса — какъ и при какихъ случаяхъ начать вторгаться во враждебную имъ жизнь — было усложнено для радикаловъ именно ихъ принципіально отрицательнымъ отношеніемъ къ нѣкоторымъ, весьма значительнымъ духовнымъ цѣнностямъ дореформенной жизни.

Пока новый человѣкъ имѣлъ въ виду лишь самого себя и близкихъ своихъ единомышленниковъ, онъ не ощущалъ

никакой неловкости въ томъ положеніи скептика и смѣлаго отрицателя, въ какомъ онъ находился. Каждый человѣкъ воленъ вѣрить во что онъ вѣритъ, думать такъ, какъ онъ думаетъ, и отрицать все, что онъ находитъ нужнымъ отрицать. Достаточно ли такое отрицаніе обосновано или нѣтъ — это вопросъ иной; но одно только требованіе могутъ люди поставить своему собрату, а именно требованіе, чтобы онъ былъ искрененъ въ томъ, что утверждаетъ или отвергаетъ, а съ этой стороны радикаламъ, по крайней мѣрѣ огромному большинству изъ нихъ, упрековъ дѣлать не приходится. Но такая искренность не уменьшаетъ тѣхъ трудностей, которыя можетъ создать для плодотворной работы человѣка его образъ мыслей, принявшій оттѣнокъ фанатизма, какъ въ утвержденіи, такъ и въ отрицаніи.

Говоря о радикалахъ, мы должны уберечь себя отъ категорическихъ сужденій о правильности или неправильности ихъ взглядовъ на міръ и человѣка. Полемизировать съ покойниками — занятіе неблагодарное и къ тому же безполезное. Но историкъ не можетъ пройти мимо вопроса — насколько опредѣленный образъ мыслей людей облегчилъ или затруднилъ имъ выполненіе той культурной задачи, которую они себѣ ставили. Въ отношеніи къ радикаламъ этотъ вопросъ тѣмъ болѣе законенъ, что они считали себя, и по праву, партіей боевой, и не столько думали о глубинѣ теоретическаго обоснованія своего міропониманія, сколько объ его непосредственномъ побѣдоносномъ вліяніи на умы.

Темпераментъ и настроеніе людей, разгоряченныхъ общественной борьбой, укрѣпляли радикаловъ въ принципіальномъ отрицаніи того, что ни въ какомъ случаѣ не должно было подрывать силу настроенія. А между тѣмъ несомнѣнно, что [illegible] враждебно противъ всего, напоминавшаго старину, не желали и разумомъ доказать ошибочность тѣхъ духовныхъ началъ, которыя съ этой старой жизнью [illegible] тѣсно связаны.

Но если мы вспомнимъ, что радикальныя группы въ своемъ развитіи и образованіи были во многомъ предоставлены самимъ себѣ, что ихъ непосредственные учители, изъ ихъ же молодой среды вышедшіе, сами раздѣляли съ ними эту ненависть къ старинѣ, и потому столь же рѣшительно осуждали все, что переходило отъ этой старины по наслѣдству; если мы вспомнимъ о томъ вліяніи, какое оказывала на радикальную среду послѣдняя новая книжка, вышедшая на Западѣ, книжка, принимаемая на вѣру, — то быстрый ростъ отрицательнаго отношенія ко всему, до ее того, удивлять насъ не долженъ.

## III.

Наша интеллигенція всегда относилась или враждебно или съ малой воспріимчивостью къ проповѣдникамъ крайнихъ взглядовъ и крайнихъ средствъ. Въ этомъ насъ убѣждаетъ ходъ нашей общественной и политической жизни за все прожитое ближайшее пятидесятилѣтіе. При своемъ появленіи радикальная доктрина встрѣтила также въ широкомъ обществѣ и въ народѣ пріемъ холодный. Даже тогда, когда она охватывала интеллигентные круги и разжигала народныя массы, она недолго владѣла людьми и была принуждена въ большинствѣ случаевъ пополнять свои убывающіе ряды самой юной молодежью. Явленіе это не можетъ быть объяснено исключительно нашей политической незрѣлостью: необходимо допустить, что въ самой радикальной доктринѣ было нѣчто, что становилось въ противорѣчіе съ духовными началами, достаточно крѣпкими и въ народной массѣ, и въ широкихъ интеллигентныхъ кругахъ.

Если радикальное ученіе во всѣхъ его видахъ не встрѣчало довѣрчиваго отношенія въ широкомъ обществѣ, то оно съ своей стороны не дѣлало никакихъ шаговъ къ сближенію съ тѣми доктринами и взглядами, которые могли бы

оказать ему частичную поддержку. Радикалы, съ первыхъ же годовъ ихъ выступленія, какъ-то гордились своей обособленностью и своей полной независимостью. Они шли охотно на проповѣдь, обнаруживали большую смѣлость въ пропагандѣ, старались вербовать сторонниковъ во всѣхъ слояхъ общества, но уступокъ они никому и никогда не дѣлали. Они брали то, что могли взять, отпускали тѣхъ, кто не хотѣлъ идти за ними, но никакихъ союзовъ они не заключали и ни съ кѣмъ не договаривались. Такая гордая политика, свидѣтельствовавшая о большой увѣренности радикаловъ въ своей правотѣ и силѣ, была несомнѣнно очень красива и могла импонировать, но несомнѣнно также, что она уменьшала кругъ вліянія радикальныхъ группъ и осуждала ихъ на довольно тѣсную кружковую жизнь.

Обойтись безъ союзниковъ радикаламъ было трудно. Найти такихъ союзниковъ, не дѣлая уступокъ, было невозможно, а уступка противорѣчила ихъ прямолинейнымъ убѣжденіямъ и въ неменьшей степени ихъ темпераменту.

„Новые" люди были окружены, такимъ образомъ, открытыми врагами или людьми, которые на нихъ косились. Рѣшительно ни одна изъ тогдашнихъ общественныхъ группъ и силъ не шла имъ на встрѣчу, хотя несомнѣнно, что среди лицъ, которыя не были ихъ сторонниками, было не мало людей, способныхъ оцѣнить ихъ гуманныя и справедливыя требованія.

## IV.

Религіозное начало, сильное и живое въ сознаніи простого народа, а также и очень большого числа людей образованныхъ, вызывало въ радикальномъ лагерѣ либо ро[illegible] невниманіе, либо непримиримое отрицаніе.

Внутренній процессъ, такимъ образомъ, въ [illegible] безвѣріемъ, [illegible] отъ [illegible] религіозныхъ на [illegible] обсу[illegible]

жала, и намъ приходится догадываться о спорахъ на религіозныя темы по упорному молчанію, какое хранили о нихъ журналы и книги. Иногда впрочемъ удается кое-что прочитать между строками, или по подчеркнутому имени какого-нибудь извѣстнаго западнаго ученаго возстановить главный ходъ религіозной мысли радикальнаго публициста, а за нимъ и читателя.

Но быть можетъ, долгихъ и жаркихъ споровъ на религіозныя темы и не было: есть основаніе предположить, что многими людьми лѣваго фланга отрицаніе религіозныхъ началъ было куплено цѣной не особенно сильныхъ умственныхъ и душевныхъ бореній. Люди издавна привыкли связывать религіозныя понятія и чувства съ извѣстной формой общественнаго церковнаго и политическаго строя, и, отрицательно относясь къ этому строю, считали своимъ гражданскимъ долгомъ отрицательно относиться и къ самой религіи, къ самой вѣрѣ, которая повидимому жила въ такой тѣсной дружбѣ со свѣтской властью и свѣтскими порядками. Религіозная мысль, стѣсненная въ своемъ развитіи или застывшая въ неподвижной формѣ, не могла, къ тому же, устоять передъ соблазномъ новыхъ антирелигіозныхъ ученій, которыя, имѣя за собой всю прелесть запретнаго плода, начинали распространяться и были осіяны ореоломъ европейской славы. Наконецъ, въ самомъ фактѣ отрицанія религіозныхъ началъ крылась для молодыхъ умовъ и сердецъ особая приманка, особый предлогъ проявить смѣлость и независимость свободной мысли и свободнаго чувства.

Радикалы не были ни богословы, ни философы, и ихъ безвѣріе родилось и развивалось на почвѣ эмоцій и настроеній, лишь при небольшомъ напряженіи теоретической мысли. Немалую роль сыграла, конечно, новая прививавшаяся научная мысль, которая стала сразу въ открытое противорѣчіе съ вѣрой и никакихъ попытокъ примиренія вѣры и знанія не допускала. Защитники религіознаго начала могли съ радикалами вступать въ споръ, но, конечно, эти споры

не приводили ни къ соглашенію, ни къ уступкамъ. Иначе впрочемъ и быть не могло, такъ какъ спорящіе исходили изъ совершенно разныхъ точекъ отправленія: радикалы полагали, что наиболѣе вѣрное рѣшеніе религіознаго вопроса можетъ быть достигнуто при наименьшемъ напряженіи религіозной мысли; ихъ противники, наоборотъ, думали, что только при наивысшемъ напряженіи духовныхъ силъ человѣкъ можетъ приближаться къ его рѣшенію.

Оцѣнивая какъ угодно отношеніе радикаловъ къ религіознымъ проблемамъ по существу, нельзя не признать, что такое быстрое и смѣлое рѣшеніе, или, вѣрнѣе, такой поспѣшный обходъ религіозныхъ вопросовъ, какой себѣ разрѣшили эти, не искатели, а индифферентны, ставилъ радикаловъ въ трудное положеніе.

Религіозное господствующее міросозерцаніе и широко развитое религіозное настроеніе могли требовать пересмотра и перемѣны, но отнюдь не упраздненія; и ошибка радикаловъ заключалась въ томъ, что они сочли устарѣвшими и обветшалыми еще совсѣмъ живыя и жизнеспособныя духовныя силы. Такая ошибка повлекла за собой несерьезное и даже презрительное отношеніе къ этимъ силамъ, а слѣдствіемъ такого отношенія было умаленіе власти радикаловъ надъ окружающими людьми. И безъ того трудное положеніе новаторовъ затруднялось теперь еще тѣмъ чувствомъ обиды, которое вскипало въ сердцахъ многихъ, тѣмъ чувствомъ раздраженія, которое вспыхивало въ отвѣтъ на ихъ рѣзкія рѣчи. Къ тому же разрушая и отрицая, радикалы въ данномъ случаѣ ничего не могли предложить въ замѣнъ упраздняемаго. Когда они отрицали господствующій порядокъ семейной, общественной и государственной жизни, они имѣли что дать въ замѣну хотя бы въ видѣ проекта или мечты; отрицая же господствующія формы религіозныхъ понятій и чувствъ, они не могли возмѣстить ихъ, такъ какъ, если умъ ихъ [illegible] и могъ быть относительно удовлетворенъ, [illegible]

новыми научными мыслями, какъ онѣ выливались. Но на мѣстѣ упраздненной вѣры въ сердцахъ ихъ послѣдователей оставалась все-таки пустота, ничѣмъ не восполнимая: замѣнить вѣру идеей или создать для себя нѣчто равносильное вѣрѣ могутъ лишь сильные духомъ, но такіе и не составляли большинства въ лагерѣ радикаловъ. Много было людей не только старшаго поколѣнія, но и молодого,—которые оставались глухи къ проповѣди новой личной, семейной и гражданской морали именно въ виду ея неуступчивости въ вопросахъ религіи. Радикалы лишали себя многихъ союзниковъ, которые, быть можетъ, и не примкнули бы къ нимъ, но могли отнестись къ нимъ доброжелательно. Но именно симпатіи, которая облегчаетъ работу, радикалы не встрѣчали ни въ широкихъ интеллигентныхъ кругахъ общества, ни въ сѣрыхъ массахъ, не говоря уже о простомъ народѣ, который принялъ ихъ недовѣрчиво и враждебно, когда они обратились къ нему за помощью.

Строгій уставъ—не всегда залогъ успѣха. Онъ можетъ слишкомъ сузить число членовъ новаго братства; можетъ оттолкнуть отъ него лицъ, ему полезныхъ, хотя и не входящихъ въ его составъ; можетъ постепенно изолировать его и повредить ему корни питанія. Уставъ, по которому хотѣли жить радикалы, былъ во многихъ пунктахъ очень строгъ, и нельзя не пожалѣть, что такая строгость простиралась на вопросы, которые могли бы быть рѣшаемы въ болѣе терпимомъ духѣ безъ ущерба для поставленной культурной задачи.

## V.

Съ такимъ же неуступчивымъ отрицаніемъ, какъ къ вопросамъ религіознымъ, относились радикалы и къ проблемамъ идеалистической философіи, и, въ частности, къ вопросамъ эстетическимъ. Объ этихъ проблемахъ можно было говорить болѣе свободно, чѣмъ о религіи, а потому...

распоряженіи могъ бы оказаться большой литературный матеріалъ, если бы эти вопросы сами по себѣ интересовали радикаловъ. Но у большинства изъ нихъ такого интереса не было, и въ то время какъ ихъ противники писали противъ нихъ цѣлые трактаты, они чаще всего ограничивались краткими афоризмами или случайными экскурсіями мысли въ область философскаго знанія, чтобы поскорѣе перейти къ очереднымъ публицистическимъ темамъ. Исключеніемъ въ данномъ случаѣ былъ одинъ Чернышевскій, но и онъ послѣ опубликованія своей диссертаціи, возвращался къ философскимъ вопросамъ лишь изрѣдка. Добролюбовъ философскихъ преній не любилъ.

Отъ идеализма въ онтологіи, гносеологіи и этикѣ радикалы отреклись подъ вліяніемъ разныхъ мыслей, но не-философскаго характера. И затѣмъ, когда разрывъ былъ уже рѣшенъ и совершился, они поспѣшили упраздненное замѣнить новымъ: они стали матеріалистами и утилитаристами. Но и на этой новой позиціи умозрѣнія радикалы мало интересовались философскимъ строительствомъ. Матеріалистическое ученіе они приняли на вѣру, не замѣтивъ таящейся въ немъ метафизики и не разрабатывая его въ деталяхъ; утилитарная этика ихъ заинтересовала больше, но они, не разбираясь въ ея философскихъ устояхъ, стремились лишь провѣрить ея положенія на практикѣ. Желая воспитать и образовать новаго человѣка, они думали, что ему прежде всего нужна новая философія, и они не задумались надъ вопросомъ, въ какой степени для достиженія этой новой цѣли могло бы оказаться пригоднымъ старое міросозерцаніе, хотя бы въ нѣкоторыхъ его частяхъ.

Требовать отъ радикаловъ такой осторожности и осмотрительности сужденія въ эпоху острой и горячей ломки ихъ жизни было бы несправедливо; нельзя [illegible] молодымъ ставить въ вину нетерпѣливое желаніе [illegible] новымъ путямъ мысли и горячо искать такихъ путей. И самый фактъ рѣзкаго разрыва со старымъ [illegible]

міросозерцаніемъ надо учесть какъ условіе, которое затрудняло положеніе новаго человѣка среди старой обстановки.

Быстрое крещеніе въ новую философскую вѣру могло свершиться спокойно. Но когда, въ связи съ отрицаніемъ основъ идеалистической философіи и согласно съ требованіями утилитарнаго взгляда на міръ, приходилось подчинять красоту въ природѣ и въ искусствѣ прозаической злобѣ дня, то такое жертвоприношеніе озадачило и самихъ радикаловъ. Были, конечно, фанатики гражданскихъ чувствъ, которые съ бодрымъ духомъ принялись за „разрушеніе“ эстетики и безпощадно глумились надъ „свободнымъ“ творчествомъ художника. Но многіе изъ радикаловъ оставались въ душѣ любителями и цѣнителями истинной красоты во всѣхъ ея формахъ, и только приступая къ гражданскому жертвоприношенію старались они заглушить въ себѣ всѣ „эпикурейскія“ наклонности, къ которымъ они причисляли и эстетическія эмоціи. Боевая тактика была безпощадна: „эстетикѣ“, „свободному искусству“, „искусству для искусства“ пришлось выслушать много дерзостей и упрековъ, которые, въ сущности, относились не къ нимъ, а къ людямъ стараго порядка, къ тѣмъ приверженцамъ косной гражданской морали, которые настолько „изнѣжились“ въ эстетическихъ эмоціяхъ, что могли такъ долго мириться съ вопіющими неправдами жизни.

Историкъ и въ данномъ случаѣ можетъ избавить себя отъ необходимости спорить съ давно умолкшими людьми; но какъ въ оцѣнкѣ религіозныхъ мнѣній радикальнаго лагеря, такъ и въ оцѣнкѣ его философскихъ и эстетическихъ взглядовъ необходимо вновь подчеркнуть созданную такимъ отрицаніемъ опасность. Этотъ новый походъ на старыя цѣнности ссорилъ радикаловъ со всѣми группами образованнаго общества. Всѣ старики, все поколѣніе сороковыхъ годовъ, всѣ, кто привыкъ даже съ чужихъ словъ говорить объ облагораживающемъ значеніи „высшихъ“ идей и „нетлѣнной кра-

сотѣ“ — взглянули на радикальную проповѣдь какъ на оскорбительное издѣвательство надъ святымъ и вѣчнымъ, что есть въ жизни. Люди даже весьма либеральнаго образа мыслей приняли этотъ набѣгъ радикаловъ на идеалистическую философію и эстетику чуть ли не за личное оскорбленіе, за прямое осужденіе всего, что они — либералы — думали и дѣлали, такъ какъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ радикаловъ, ничего путнаго и нельзя было думать и дѣлать, состоя сторонникомъ пресловутой „метафизики“ и эстетики.

Такимъ образомъ и въ данномъ случаѣ рѣшеніе извѣстныхъ теоретическихъ вопросовъ имѣло своимъ слѣдствіемъ практическое неудобство положенія. Независимо отъ ошибокъ, которыя могли быть допущены въ самой проповѣдуемой теоріи, радикальное отрицаніе философскихъ началъ увеличивало ту пропасть, которая и такъ легла между людьми крайнихъ взглядовъ и людьми умѣренными и либерально настроенными. Трудность движенія по новому пути возростала.

## VI.

Эта трудность повысилась еще на много ступеней, когда стали выясняться политическіе взгляды радикаловъ. Опредѣленной, связующей ихъ всѣхъ политической теоріи они не исповѣдывали, и, объединенные лишь общимъ боевымъ настроеніемъ, они дробились на группы, не всегда согласныя въ мысляхъ. Мысли эти шли по разнымъ направленіямъ все болѣе и болѣе влѣво и терялись въ утопіяхъ и мечтахъ такого политическаго радикализма, который при данныхъ условіяхъ русской жизни не имѣлъ никакихъ шансовъ на осуществленіе. Такое дробленіе политическихъ взглядовъ ослабляло партію, а между тѣмъ врагъ, который становился имъ теперь поперекъ дороги, былъ значительно сильнѣе всѣхъ прежнихъ, чисто идейныхъ враговъ. Съ момента демонстративныхъ политическихъ выступленій, печатныхъ [illegible]

литературы и распространенія ея въ обществѣ, радикализмъ непосредственно сталкивался съ правительственной властью, которая начала примѣнять къ нимъ всѣ мѣры административныхъ каръ и воздѣйствій.

Уповающее на спасительное дѣйствіе полицейской репрессіи, до сихъ поръ всегда побѣдоносной, правительство не находило нужнымъ изыскивать какіе-нибудь новые способы для обузданія разбушевавшейся молодой стихіи. Правда, найти такіе способы было дѣломъ далеко не легкимъ.

Политическая радикальная мысль не шла ни на какіе компромиссы и вопросъ политики былъ для радикаловъ не вопросомъ о частичномъ обновленіи господствующаго порядка, а вопросомъ о полномъ упраздненіи стараго и о полномъ торжествѣ новаго уклада, очертанія котораго, къ тому же, были весьма расплывчаты и неясны.

Такимъ образомъ, позиція, которую радикалы заняли въ политическихъ вопросахъ, ставила ихъ прямо подъ разстрѣлъ, лицомъ къ лицу съ вполнѣ дисциплинированнымъ и очень сильнымъ врагомъ и притомъ врагомъ, особенно злымъ и жестокимъ.

## VII.

Положеніе радикальныхъ группъ, какъ видимъ, было совершенно исключительное по опасности и трудности. Въ народной массѣ и въ широкихъ среднихъ слояхъ, темныхъ или полукультурныхъ, онѣ не могли найти поддержки. Въ интеллигентныхъ кругахъ у нихъ прямыхъ союзниковъ также не было. Наконецъ, вся офиціальная Россія была радикаламъ принципіально враждебна.

Дѣлать свое дѣло въ такихъ условіяхъ было крайне трудно, тѣмъ болѣе трудно, что дѣло было совсѣмъ новое, не имѣвшее ни традицій, ни корней въ прошломъ. Воспитать и образовать „новаго“ человѣка, подобрать для него подходящую обстановку, въ которой онъ могъ бы провѣрять разумность

смѣлыхъ плановъ и проектовъ, дать ему численно усилиться настолько, чтобы онъ могъ оказывать на окружающую жизнь прямое воздѣйствіе — для выполненія такой задачи нужна была тактика и дисциплина, нужны были опытные вожди и благопріятная, воспріимчивая почва. Ничего этого не было въ той мѣрѣ, въ какой было нужно для успѣха дѣла.

И все-таки, при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, часть программы и весьма существенная была выполнена. Создано было извѣстное настроеніе, которое укоренялось и распространялось, настроеніе бодрое, поддерживающее въ людяхъ сознаніе своей силы и сознаніе своего права на свободную иниціативу въ мысляхъ, чувствахъ и поступкахъ. Въ годы, когда неуступчивая старина стремилась выдать себя за новизну — вѣяніе въ обществѣ радикальнаго духа, хотя бы и смягченнаго, и недисциплинированнаго, имѣло свое и большое значеніе въ дѣлѣ общественнаго воспитанія.

## VIII.

Когда говоришь о „молодежи" того или иного поколѣнія, то надо помнить, что она никогда не бываетъ однородна. Въ ней есть элементы горячіе, холодные и совсѣмъ вялые, и среди этихъ общихъ группъ существуетъ также много переливовъ. То поколѣніе радикаловъ, которое вступало въ жизнь въ серединѣ шестидесятыхъ годовъ, числило въ своей средѣ, конечно, также людей весьма между собой несходныхъ. Было немало такихъ, которые довольно спокойно восприняли доктрину и безъ особаго рвенія занялись ея пропагандой; были такіе, которые, охваченные тревогой, поволновавшись, скоро успокоились; было нѣсколько такихъ, которые принялись за тихую методичную работу въ разныхъ областяхъ знанія и практики и, наконецъ, были люди, которые со всей страстью горячихъ головъ и сердецъ отда-

нись моменту и увѣрили самихъ себя, что именно съ ихъ вступленія въ жизнь должна начаться новая эра для личности, семьи и общества.

Пусть въ области литературы, науки, публицистики и въ сферѣ общественной дѣятельности лишь немногіе изъ этихъ „крайнихъ" оставили замѣтный слѣдъ; это не должно смущать насъ. Надо удивляться, что изъ среды поколѣнія, отрочество котораго совпало съ концомъ сороковыхъ годовъ, могли выйти такіе сильные духомъ люди, какъ тѣ первые „шестидесятники", которые такъ повысили температуру общества, гдѣ они и ихъ единомышленники составляли такое меньшинство.

Образъ мыслей и дѣятельность радикаловъ встрѣчали оцѣнку весьма разную, въ большинствѣ случаевъ для нихъ неодобрительную. Въ настоящее время ихъ жизнь стала достояніемъ исторіи; почти всѣ они, за исключеніемъ очень немногихъ стариковъ, сошли въ могилу, да и сама русская жизнь вступила теперь на новую дорогу и можетъ спокойно оглянуться на прошлое. Время свое сдѣлало: въ одномъ радикаловъ оправдало, въ другомъ осудило, и задача историка сводится теперь къ тому, чтобы безстрастно оцѣнить ихъ культурную роль въ развитіи нашей общественной жизни.

## IX.

Среди молчанія массъ, рядомъ съ осторожными и сдержанными рѣчами либеральныхъ интеллигентныхъ круговъ, въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ бдительной правительственной властью выступали эти вольные поборники радикализма въ печати, на частныхъ квартирахъ, на собраніяхъ, и даже на улицѣ, и всѣ понимали, что несмотря на многія неразумныя даже смѣшныя крайности, въ этихъ новыхъ людяхъ была какая-то сила, которой въ другихъ не было и которая была нужна.

Могло казаться, и многимъ такъ и до сего дня кажется, что эти горячія головы и сердца только вредили разумному постепенному движенію впередъ нашей жизни. Такой взглядъ на разумность постепеннаго движенія впередъ былъ бы, конечно, правиленъ, если бы правительственная власть, дѣйствительно, взяла на себя инициативу въ воспитаніи народа и общества, подготовляя ихъ къ свободной, самодѣятельной жизни. Но правительство о такомъ воспитаніи не думало, измѣняя формы жизни, но сохраняя нетронутымъ самый ея духъ. Радикалы, вступавшіе въ эту внѣшне измѣненную жизнь, никакъ не могли помириться съ противорѣчіемъ формы и духа и рѣшили на свой страхъ видоизмѣнить этотъ духъ путемъ образованія и воспитанія гражданина новаго типа.

## X.

Что же было сдѣлано радикалами въ удовлетвореніе назрѣвавшимъ потребностямъ времени?

Помимо того, что исторія тѣхъ годовъ безъ радикальнаго движенія была бы лишена и яркаго колорита и очень замедлена въ темпѣ, за радикалами надо признать одну большую общественную заслугу: они быстрѣе, вѣрнѣе и глубже другихъ поняли и внутренне прочувствовали опасность, грозившую всему дѣлу обновленія, — опасность, которая заключалась въ томъ, что новое дѣло было отдано подъ опеку людей, которые стремились сохранить старые порядки и старыя теченія въ возможной неприкосновенности.

## XI.

Культурное значеніе группы радикаловъ опредѣл[illegible] всего полнѣе ихъ [illegible] темпераментомъ, ихъ *настроеніемъ*.

Культурная роль, которую они выполнили, была бы незначительна, если бы вся ихъ работа ограничилась повтореніемъ не ими выработанныхъ взглядовъ и теорій, и доведеніемъ этихъ взглядовъ до крайностей. Въ вопросахъ религіозныхъ они были просто индифферентны и отрицатели, въ вопросахъ философскихъ послѣдователи довольно наивнаго матеріализма, въ вопросахъ нравственныхъ — поклонники какъ будто яснаго „разумнаго" эгоизма; въ вопросахъ политическихъ они стремились въ радикализмѣ и въ демократизмѣ превзойти другъ друга. Но не эти идеи, почти всегда ими упрощенныя, создали силу радикаловъ, а именно ихъ отношеніе къ охваченнымъ ихъ мыслямъ, ихъ отношеніе къ жизни вообще — то настроеніе, въ какомъ они находились, когда вѣрили въ свое призваніе и ждали отъ дѣла великихъ благъ для родины.

Эти новые люди производили впечатлѣніе прежде всего какъ личности, и первой ихъ заботой было созданіе именно личностей, которыя могли бы бороться съ общей тенденціей коснаго гражданскаго существованія: они знали, что эта тенденція въ самомъ обществѣ давно и прочно укоренилась; знали также, что правительственная власть, не смотря на свой внѣшній либерализмъ, такую тенденцію будетъ поддерживать. И завѣтной ихъ мыслью стало — дать Россіи прежде всего новыхъ людей, образованныхъ и воспитанныхъ по новой системѣ, въ полномъ отрицаніи всѣхъ традицій прошлаго. Идейное и нравственное броженіе, которымъ были охвачены радикалы, было не случайной „смутой" въ умахъ и сердцахъ, а наиболѣе убѣжденнымъ и рѣшительнымъ проявленіемъ мысли о правахъ общества на самоопредѣленіе — мысли, которая тогда начала борьбу за свое существованіе и только въ наши дни получила законную санкцію.

## XII.

За этими рѣшительными молодыми людьми была сила — сила воли и настроенія, сила жажды дѣла и подвига. Нужно было, однако, найти для этой силы планомѣрную работу.

Думать, что молодые люди терпѣливо пойдутъ по торнымъ дорогамъ государственной „службы“ и предоставятъ себя въ распоряженіе начальства—было бы наивно. Помириться съ рутиной, да еще сохранявшей всю внѣшность стараго режима, радикальная молодежь, конечно, не могла, и первое, надъ чѣмъ она должна была задуматься, это надъ возможностью послужить родинѣ на какихъ-либо иныхъ постахъ, чѣмъ тѣ, которые были узаконены обычаемъ и закономъ. Найти такіе посты было дѣломъ труднѣйшимъ. Напряженное раздумье надъ вопросомъ—куда дѣть свои молодыя силы, чтобы не расходовать ихъ по пустякамъ—становилось источникомъ новой тревоги и затѣмъ новаго раздраженія, тѣмъ болѣе остраго, что во всѣхъ уголкахъ жизни чувствовалась потребность въ неотложной работѣ.

Сознаніе своей неподготовленности и умственной отсталости давало, къ тому же, себя знать; возникала необходимость одновременно работать и надъ самимъ собою и надъ задачей, поставленной исторической минутой.

При всей смѣлой радости сердца, молодые люди смотрѣли на зарю восходящей жизни большой душевной тревогой. Имъ нуженъ былъ вождь, на первыхъ порахъ хотя бы идейный, который помогъ бы имъ распутаться въ теоретическихъ и практическихъ вопросахъ, которые вдругъ создались и со всѣхъ сторонъ ихъ обступили.

Но къ кому было имъ обратиться въ 1855-мъ году? Изъ ихъ среды учителя еще не выдѣлились; переводная рукописная книга была рѣдкостью и роскошью, старшіе, которые ихъ окружали, даже самые выдающіеся люди, будь они славянофилы или западники, могли сказать имъ

лишь то, что они уже знали, о чемъ догадывались и съ чѣмъ заранѣе были несогласны; литература говорила о томъ, что ушло, а не о томъ, что должно наступить.

Но былъ одинъ человѣкъ, непримиримый врагъ стараго порядка, и всѣмъ образованнымъ людямъ о немъ часто приходилось слышать.

Къ серединѣ пятидесятыхъ годовъ имя Герцена не было еще окружено тѣмъ ореоломъ, который легъ вокругъ него позднѣе, но объ этомъ вольномъ изгнанникѣ всѣ помнили и его статьи и книги были живы въ памяти многихъ.

Къ Герцену къ первому обратилась радикальная молодежь за помощью. Въ книгахъ и листкахъ, которые Герценъ началъ издавать съ 1855-го года въ Лондонѣ, молодые люди стали искать того теоретическаго и практическаго руководства, котораго не могла дать ни легальная книга, ни гласно произнесенное слово.

Первый вождь радикализма былъ найденъ. Но могъ ли онъ долго остаться на своемъ посту?

# Союзникъ на короткій срокъ
# А. И. Герценъ

Трагичная судьба героя, которому побѣда ни разу не улыбнулась.— Исключительное сочетаніе дарованій и духовныхъ силъ.—Религія, философія, поэзія и наука.—Напряженіе воли и потребность дѣйствовать.—Сознаніе своей живой связи съ прошлымъ и настоящимъ.—Обманы и разочарованія жизни.—О чемъ Герценъ могъ вспомнить, покидая Россію.—Первыя заграничныя впечатлѣнія.—Грезы о родинѣ.—Разсвѣтъ 1855 года и его обѣщанія.—Новое разочарованіе.

Творцы утопій.

## I.

Существуютъ люди, которые ни одно опредѣленное дѣло не могутъ назвать преимущественно своимъ, но частица труда которыхъ присутствуетъ во всѣхъ дѣлахъ ихъ современниковъ. Вліяніе такихъ людей сказывается на самыхъ разнообразныхъ областяхъ жизни и они какъ дрожжи заставляютъ бродить ее. Люди съ такимъ распыленнымъ вліяніемъ, сѣятели на разныхъ нивахъ жизни — явленіе рѣдкое и очень цѣнный образецъ человѣческой психики.

Такой своеобразной психической организаціей былъ одаренъ Александръ Ивановичъ Герценъ.

Странная была судьба этого человѣка. Побѣда ему ни разу не улыбнулось. Вся жизнь его была длинной цѣпью разочарованій, а между тѣмъ какъ много способствовалъ

онъ торжеству того дѣла, которое на его глазахъ терпѣло одни лишь неудачи и пораженія.

Случается, что вокругъ героя ложится пустыня и идутъ за нимъ лишь нѣсколько избранныхъ, пока онъ не останется совсѣмъ одинъ, при твердой, но неизмѣнно грустной надеждѣ на то, что когда-нибудь всѣми его мечтами и помыслами воспользуется жизнь, не сказавшая ему самому ни слова одобренія и ни разу не оправдавшая его надеждъ.

## II.

Многими дарами духа одарила природа Герцена, и сочетаніе этихъ даровъ было столь же исключительно, какъ и ихъ богатство. Одинаково сильно было тяготѣніе души его къ міру отвлеченностей и къ міру конкретныхъ явленій.

Онъ былъ у себя дома, и подъ крышами земныхъ сооруженій, и подъ куполомъ идейныхъ обобщеній, поэтическихъ грезъ и видѣній, ставшихъ увѣренностью.

Онъ искренно чуялъ сердцемъ Бога, и если на его глазахъ спадали съ Бога одежды, какими люди облекали Его, то религіозный смыслъ бытія былъ ясенъ Герцену и въ своихъ счетахъ съ людьми онъ никогда не дѣлалъ Бога отвѣтственнымъ за безпорядки и неустройства земные. Разуму—кесарю земному Герценъ отдалъ то, что ему принадлежало по праву, а Божье—весь сонмъ гуманныхъ мечтаній и чаяній, облеченныхъ въ бездоказательную видимость—онъ хранилъ какъ символъ вѣры въ своемъ сердцѣ.

Но такая вѣра не темнила ясныхъ мыслей. Герценъ былъ философъ по рожденію—а не философъ натасканный, какихъ много. Его философская мысль всегда была въ движеніи и двигалась она самостоятельно, непрерывно, не порывистыми и короткими толчками, получаемыми извнѣ, а плавнымъ органически развивающимся движеніемъ. Онъ внимательно читалъ книгу человѣческой мудрости, съ первыхъ ея страницъ, написанныхъ еще мудрецами античнаго

міра до послѣдней страницы, которую на его глазахъ дописывалъ Фейербахъ; и онъ не только запоминалъ эти страницы,—его мысль переживала ихъ, и тѣ мысли, которыя онъ самъ бросалъ на бумагу, могли съ полнымъ правомъ быть внесены въ книгу вселенской мудрости.

Но способность мыслить отвлеченно не гасила въ Герценѣ живости его фантазіи—дара поэтическаго вдохновенія.

Онъ на міръ смотрѣлъ сквозь призму поэзіи, и горизонтъ его мысли былъ всегда широкъ, потому что жизнь дѣйствительная имѣла для него свое начало и продолженіе въ поэтическомъ синтезѣ прошлаго и будущаго. Художникъ въ обрисовкѣ явленій этой жизни и ея дѣйствующихъ лицъ, онъ былъ неменьшій поэтъ въ общемъ взглядѣ на природу и человѣка и въ оцѣнкѣ нравственной стоимости всего міропорядка. Если на комъ можно провѣрить все благотворное значеніе насъ возвышающаго поэтическаго обмана, то именно на немъ, который устоялъ твердо подъ ударами всѣхъ разочарованій, всѣхъ временныхъ разоблаченій этого обмана въ непоколебимой увѣренности—что эти частичныя разоблаченія лишь показатели слабости или усталости нашей воли, нашего разума, а отнюдь не отрицаніе или уничтоженіе того, во что вѣришь и что считаешь добромъ и истиной.

Но этотъ даръ съ поэтической высоты смотрѣть на жизнь не мѣшалъ Герцену разбираться въ самихъ явленіяхъ жизни съ чисто научной строгостью ученаго. Герценъ былъ рѣдкимъ примѣромъ мыслителя и поэта, который, когда того требовала минута, умѣлъ превращаться въ кропотливаго изслѣдователя самыхъ прозаическихъ сторонъ жизни. Какъ часто приходилось ему принимать участіе въ стычкахъ политическихъ теорій и мнѣній и онъ любилъ такія схватки. Выступалъ онъ обыкновенно какъ защитникъ какого-нибудь общаго историко-философскаго или нравственнаго принципа, которому умѣлъ придавать особую поэтическую красоту, и по мѣрѣ того какъ политическій споръ разгорался, онъ отъ общихъ положеній переходилъ къ частнымъ вопросамъ.

политическимъ и соціальнымъ и здѣсь, въ сферѣ строгой мысли обнаруживалъ большое знаніе и умѣніе научно его использовать.

Положимъ, въ вопросахъ политики ему нерѣдко ставили на счетъ неясность конечной цѣли и неустойчивость взглядовъ на пріемы борьбы. Но вѣдь надо помнить, что Герценъ какъ поборникъ соціализма былъ призванъ говорить и дѣйствовать въ трудную переходную эпоху, отдѣлявшую въ исторіи соціализма періодъ его развитія какъ утопіи отъ періода его научнаго обоснованія. Въ такія эпохи логика довольно дружелюбно смотритъ на мечту, идущую ей на помощь.

Человѣкъ съ живымъ религіознымъ чувствомъ, одаренный большой способностью къ философскому мышленію, художникъ, обладающій даромъ поэтическаго обобщенія и научнаго обслѣдованія—Герценъ въ придачу ко всѣмъ этимъ дарамъ получилъ отъ природы волю легко возбудимую, неудержимую въ порывахъ къ дѣйствію. Онъ могъ быть полновластнымъ царемъ въ областяхъ мышленія и созерцанія, но никогда, даже съ самыхъ юныхъ лѣтъ, онъ не чувствовалъ себя удовлетвореннымъ, если за актомъ мышленія и поэтическаго подъема не слѣдовалъ дополняющій ихъ и ими вызванный актъ дѣйствія.

Гармоничное сочетаніе всѣхъ этихъ духовныхъ даровъ большая рѣдкость, и часто слишкомъ логичная мысль охлаждаетъ волю, слишкомъ пылкая фантазія мѣшаетъ ея выдержкѣ и стойкости, и наоборотъ, слишкомъ пылкое желаніе дѣйствовать путаетъ мысль и разрѣшаетъ фантазіи превышеніе власти.

Многое въ трагичной судьбѣ Герцена объясняется соотношеніемъ этихъ силъ его души, которыя жили въ немъ если не въ ссорѣ, то въ постоянномъ соревнованіи.

Жить для этого человѣка значило прежде всего неустанно и напряженно дѣйствовать, т.-е. видѣть непосредственный результатъ своей мысли, чувства и фантазіи. Приходится удивляться той смѣлости, съ какой онъ бросался въ дѣйствіе.

Пока онъ жилъ въ Россіи, эта потребность духа, конечно, не могла найти себѣ удовлетворенія даже въ скромной степени; и именно этотъ-то голодъ волевой, котораго не могла насытить никакая утонченная пища умственная, никакая самая широкая свобода мечты, погналъ его за предѣлы родины при полномъ отсутствіи какого-либо плана работы. Онъ бѣжалъ не отъ преслѣдованія—такъ какъ возможность обезпечить себѣ мирную жизнь не была утрачена. Онъ ушелъ потому, что не могъ приноровиться къ обстановкѣ, которая не позволяла мыслямъ и мечтамъ облекаться въ дѣянія.

На западѣ Герценъ бросился очертя голову въ круговоротъ соціально-политической борьбы. Онъ записался въ добровольцы многихъ революціонныхъ армій, которые выступали противъ буржуазнаго строя; онъ одновременно былъ и агитаторомъ и проповѣдникомъ въ лагерѣ трудящихся пролетаріевъ и онъ долженъ былъ дѣлать надъ собой усиліе, чтобы самому не стать героемъ баррикады. Съ неменьшей горячностью участвовалъ онъ далеко не одной лишь своей симпатіей, мыслью и рѣчью въ счетахъ, какіе съ правительствами сводили разныя политическія партіи во Франціи и въ Италіи. Наконецъ онъ же одно время стоялъ въ первыхъ рядахъ тѣхъ лицъ, которыя подготовляли открытое выступленіе Европы въ защиту Польши. Какую бы мы ни давали оцѣнку всѣмъ такимъ порывамъ энергіи Герцена, нельзя не отмѣтить ея силы и живучести наряду съ упорной работой теоретической мысли и гуманной мечты.

## III.

При всѣхъ просчетахъ жизни Герцену было обезпечено большое счастіе на землѣ - сознаніе своей даровитости и своей живой связи съ прошлымъ и настоящимъ.

Благодаря своему образованію Герценъ могъ мысленно, душевно переживать всю исторію человѣчества и чувство-

вать себя близкимъ человѣку на всемъ протяженіи его культурнаго развитія. Всѣ высоты мысли религіозной и философской, мысли дальней и мысли близкой, были ему доступны; и онъ всходилъ на эти высоты не какъ праздный зритель. Вся красота художественнаго творчества, красота прошлаго и красота настоящаго, была свѣжа въ его памяти и созерцаніи; и онъ любовался ею не какъ дилеттантъ, а какъ художникъ, который могъ гордиться сознаніемъ, что онъ самъ былъ и можетъ быть участникомъ въ ея твореніи. Наконецъ, созерцая жизнь, какъ она текла передъ его глазами, онъ чувствовалъ, что въ немъ самомъ бьется ея пульсъ, онъ сознавалъ себя готовымъ и способнымъ въ любой моментъ плыть по ея теченію или противъ него и зналъ, что его вторженіе въ мирный или бурный ходъ ея событій—тоже событіе, съ которымъ людямъ придется считаться.

Поистинѣ счастливъ былъ человѣкъ, душа котораго находилась въ такомъ созвучіи съ жизнью, — который могъ при всей скромности своего положенія сознавать себя однимъ изъ ткачей живой ткани явленій.

Но это было счастіе личности, предоставленной самой себѣ въ минуты уединенія.

Когда эта личность превращалась въ общественную силу, приходила въ столкновеніе со средой, когда въ оцѣнкѣ ея мощи должно было руководиться не внутреннимъ сознаніемъ, а видимостью добытаго результата, когда счастіе измѣрялось не личнымъ ощущеніемъ довольства собой, а сознаніемъ блага, дарованнаго ближнимъ — какой отпечатокъ грусти и печали ложился тогда на обликъ этого сильнаго и счастливаго человѣка!

Вся исторія жизни героя была печальной эпопеей, мѣстами элегіей, мѣстами трагедіей, а она могла быть героической поэмой, хоть и полной страданія, но зато страданія побѣдоноснаго! Но именно побѣда никогда не окрыляла мечты и думы Герцена.

Ему пришлось видѣть, какъ въ окружающей жизни всѣ его идеалы терпятъ крушеніе и ничѣмъ не могъ онъ помочь имъ въ трудную минуту.

И въ утѣшеніе ему оставалось лишь одно изъ самыхъ возвышенныхъ, поэтичныхъ и героическихъ ощущеній.

Онъ чувствовалъ въ себѣ новый міръ, которому обѣщано пришествіе.

Человѣкъ, готовящійся къ торжеству, пожалуй, счастливѣе торжествующаго, потому что для истиннаго героя нѣтъ достигнутой цѣли и всякая побѣда, а тѣмъ болѣе пораженіе— для него лишь предвѣщаніе новаго состязанія болѣе труднаго.

Красоты и бодрости въ мірѣ на разсвѣтѣ разлито больше, чѣмъ въ полдень...

Разсвѣтомъ вѣетъ со всѣхъ страницъ, которыя хранятъ намъ Герцена, а писаны онѣ всѣ глубокой ночью.

## IV.

Покидая Россію въ 1847 году и подводя итогъ всему пережитому и всей своей работѣ чѣмъ могъ утѣшить себя этотъ человѣкъ, который несомнѣнно сознавалъ свое умственное и духовное превосходство надъ многими, чуть ли не надъ всѣми, кого онъ покидалъ по сю сторону русской границы? Всѣ попытки принять прямое участіе въ движеніи русской жизни дали въ результатѣ лишь увѣренность, что онъ рискуетъ утратить живость души собственной безъ надежды оживить душу ближнихъ.

Университетская исторія прервала ровное и мирное теченіе занятій, очень разностороннихъ и плодотворныхъ. Если на долю Герцена выпало сравнительно легкое испытаніе, то всетаки жизнь была надломлена и человѣкъ былъ отброшенъ съ большой дороги на проселочную. Пришлось перенести одно изъ нравственныхъ униженій, которыя не забываются и грозятъ испортить человѣку характеръ. Первое выступленіе и первое „дѣйствіе" принесло одно лишь

разочарованіе и напомнило о томъ, сколь жизнь бываетъ безпощадна къ мечтѣ и какъ опасно вылетать изъ ковчега до срока.

Тоже ощущеніе нравственнаго приниженія долженъ былъ испытать Герценъ и тогда, когда онъ подводилъ итогъ своей жизни, прожитой въ ссылкѣ и потомъ на свободѣ въ предѣлахъ Россіи вплоть до отъѣзда за границу.

Чѣмъ онъ могъ помянуть это время, довольно долгое, эти годы цвѣтущей молодости, наибольшаго расцвѣта силъ?

На что уходили силы? Правда, въ эти годы было кое-что написано и много передумано, но что было сдѣлано?

Судьба забросила его въ глухой городъ, и не дала ему случая чувствовать себя въ этомъ городѣ нужнымъ человѣкомъ. Онъ могъ поддержать падающій духъ друга, могъ скрасить жизнь близкому лицу, могъ изрѣдка возвысить голосъ образованнаго человѣка передъ молчаливой аудиторіей, могъ, наконецъ, исполняя служебныя обязанности, дѣлать добро — мелкое, обыденное добро единицамъ изъ тысячи страдающихъ. Было ли этого всего достаточно, чтобы признать за своей жизнью смыслъ, на какой она имѣла право и найти въ ней удовлетвореніе иное, кромѣ чисто личнаго и интимнаго? И такую жизнь велъ человѣкъ, одаренный огромной умственной силой и, главное, сознающій въ себѣ эту силу и этотъ „жаръ души"—грозящій быть растраченнымъ въ пустынѣ.

Веселѣе и разнообразнѣе сложилась жизнь послѣ ссылки, но и въ эти годы могъ ли Герценъ сказать про себя, что то, что онъ можетъ дать окружающимъ, онъ даетъ имъ и даетъ столь щедро, какъ бы онъ желалъ этого?

Герценъ могъ жить въ столичныхъ центрахъ, среди людей, болѣе или менѣе ему равныхъ по духу, могъ обмѣниваться съ ними мыслями, шлифовать свой умъ и давать толчки ихъ уму; онъ могъ принять болѣе близкое участіе въ судьбахъ отечественной изящной литературы и журналистики, могъ на глазахъ многихъ блистать своимъ остроуміемъ и возбуждать разговоры — но опять-таки, неужели эта дѣятельность

свободнаго художника слова, этого странствующаго рыцаря литературы и публицистики способна была дать то удовлетвореніе, какое получаетъ человѣкъ при свершеніи дѣла, за которымъ онъ признаетъ большое общественное значеніе?

Герценъ искалъ болѣе прямого и короткаго пути, чѣмъ этотъ окольный, проходящій черезъ область мечты и мысли, облеченныхъ въ слово безъ подкрѣпленія дѣйствіемъ. Ему была неясна та конечная цѣль, къ которой долженъ былъ привести такой короткій путь,—но необходимость вступить на него была имъ отчетливо сознана.

Мысль о скромной гражданской службѣ на обычномъ посту труженика была оставлена и признана убыточной для самого героя; мысль о служеніи людямъ на посту писателя и поэта была, конечно, не покинута. Хотѣлось только, чтобы слово получило силу удара меча, занесеннаго надъ неправдой.

Все, что было писано Герценомъ въ Россіи, такой силы не имѣло.

Много было сдѣлано для того, чтобы убѣдить самого себя въ своей силѣ, много было пережито радостныхъ минутъ въ сознаніи этой силы, но для человѣка, который не иначе понималъ счастіе, какъ счастіе сообща, со многими, для котораго великая утопія всеобщаго благоденствія была почти что религіей —что значили для него всѣ эти легкія побѣды, которыя могли быть удвоены и утроены безъ особаго выигрыша для ближнихъ?

Но вотъ между нимъ и родиной сталъ наконецъ пограничный столбъ; мечты дальнихъ лѣтъ какъ-будто сбылись и философъ и мечтатель становился въ ряды „депутатовъ человѣчества".

Въ центрѣ революціонныхъ движеній политическихъ и соціальныхъ— стоялъ онъ теперь и говорилъ, писалъ и давалъ совѣты, и къ его голосу прислушивались и съ нимъ считались. Пріятель и собесѣдникъ самыхъ выдающихся политическихъ дѣятелей и соціальныхъ агитаторовъ

Запада, онъ среди нихъ былъ первымъ представителемъ Россіи. Повидимому, всѣ его духовныя силы нашли себѣ наконецъ примѣненіе и онъ не могъ пожаловаться на судьбу. А между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, именно въ эту вторую половину его жизни жалоба на судьбу въ его устахъ была бы всего болѣе обоснована.

Ни одна изъ его надеждъ не сбылась и ни разу побѣда не вѣнчала ни одного его слова и ни одной его думы. Всю силу своихъ дарованій развернулъ онъ и могъ наслаждаться ею, но когда опять возникалъ вопросъ — на что эта сила истрачена и что дала она людямъ? онъ могъ сказать себѣ въ утѣшеніе лишь одно: подождемъ, когда на этотъ вопросъ отвѣтитъ потомство, такъ какъ я самъ боюсь поддаться впечатлѣнію и слишкомъ мрачно взглянуть въ лицо жизни и людямъ.

Развязка кровавыхъ революціонныхъ дней въ Парижѣ, въ его глазахъ, непривыкшихъ къ такимъ зрѣлищамъ, разрослась въ явленіе міровое и облюбованная имъ европейская культура сразу обнаружила передъ нимъ всю немощь своего нравственнаго сознанія, всю немощь своего чувства законности.

Пусть онъ поторопился съ обобщающими выводами, но удержаться отъ крика боли онъ былъ не въ состояніи. Именно крикомъ боли была знаменитая книга „Съ того берега", книга, надѣлавшая столько шуму и прославившая автора, дотолѣ за границей никому неизвѣстнаго. Этой книгой Герценъ могъ гордиться, но врядъ ли онъ могъ ей порадоваться. Неужели затѣмъ, чтобы вновь обличать и вновь плакать на развалинахъ надеждъ и идеаловъ пришелъ онъ къ новымъ людямъ, въ новыя страны? Онъ могъ думать, что оставитъ за собой въ Россіи это настроеніе недовольнаго, опечаленнаго идеалиста, осужденнаго на раздумье и на мечту; сюда онъ пришелъ затѣмъ, чтобы дѣйствовать, работать бодро вмѣстѣ съ другими надъ выполненіемъ великаго плана. И вотъ съ первыхъ же шаговъ онъ долженъ былъ убѣдиться въ томъ,

что онъ остался въ кругу тѣхъ же загадочныхъ созданій, совмѣщающихъ въ себѣ ангела и звѣря, способныхъ витать высоко и сразу падать на землю.

Несмотря на испугъ души и ума Герценъ бодрости не утратилъ. Но эта бодрость должна была вновь замкнуться въ области мыслей и упованій, и перейти въ сферу дѣйствій не могла. А именно въ разсчетѣ на то, что придется дѣйствовать и работать надъ живымъ дѣломъ, съ сознаніемъ плодовитости своей работы — промѣнялъ онъ родину на чужбину. Осудивъ западную цивилизацію такъ безповоротно, какъ осудилъ онъ ее, — какъ могъ онъ въ условіяхъ этой цивилизаціи жить и работать спокойно съ надеждой на успѣхъ? Положимъ, насколько было возможно, онъ старался найти непосредственное „дѣло“ въ рядахъ великой арміи протестующихъ и недовольныхъ, но — если судить по его сочиненіямъ тѣхъ годовъ, сочиненіямъ отрывочнымъ и летучимъ, онъ больше былъ занятъ мечтой, чѣмъ тактическими и стратегическими соображеніями, и эта мечта уносила его назадъ, на родину. О Россіи мечталъ онъ среди поисковъ дѣла на западѣ, обманутый западной цивилизаціей, и принявшій по ошибкѣ ея закатъ за расцвѣтъ.

И обращался онъ теперь къ Россіи и ждалъ отъ нея откровенія. Западъ, такъ мечталъ онъ, не справится съ великой нравственной проблемой міра, не установитъ того строя жизни, при которомъ правда и истина станутъ связью между людьми; съ востока пріидетъ къ намъ свѣтъ и русскій простой народъ призванъ сказать міру новое слово и возстановить въ своихъ правахъ старое слово истины, столь затуманенное ложью на западѣ. Въ такихъ мечтахъ утопалъ Герценъ нѣсколько лѣтъ и, конечно, обрѣталъ въ нихъ и покой, и счастье и родникъ энергіи, такъ какъ грядущее торжество родины рисовалось ему какъ тріумфальное шествіе Россіи новой, обогащенной всѣмъ гражданскимъ и политическимъ опытомъ запада, Россіи въ братскомъ союзѣ съ западомъ, со своимъ старымъ учителемъ, а теперь почти что ученикомъ.

Герценъ сталъ требовать вниманія и уваженія къ русскому простому народу, въ прошлой жизни котораго нѣтъ пока ошибокъ,—такъ какъ подневольная жизнь за себя не отвѣчаетъ, и у котораго все впереди. Онъ счелъ себя въ правѣ высказывать великія надежды, такъ какъ русскимъ народомъ онъ пока еще обманутъ не былъ. Этой мыслью, которую Герценъ развивалъ съ начала пятидесятыхъ годовъ вплоть до „Колокола", были укрѣплены и успокоены и его вѣра въ идею соціализма вообще, и его патріотическое чувство.

Жизнь не оправдала надеждъ Герцена, и на развитіе соціальной мысли на Западѣ формы русскаго быта никакого вліянія оказать не могли.

Оставалось утѣшать себя лишь тѣмъ, что *въ первый разъ* русскимъ писателемъ была высказана на Западѣ мысль, имѣвшая общекультурный смыслъ и міровую цѣнность. Мысль эта была услышана, оцѣнена, принята или отвергнута — все равно, но эта мысль указала Западу на новую культурную силу, которая требовала къ себѣ вниманія. Пусть практическій смыслъ этой мысли былъ ничтоженъ: она сама по себѣ возвышала Россію въ глазахъ культурнаго міра, — Россію, которая до этихъ словъ была для Запада понятіемъ географическимъ, историческимъ воспоминаніемъ, дипломатической нотой, военной лѣтописью и, въ концѣ-концовъ, большимъ туманнымъ пятномъ.

Только послѣ появленія „Съ того берега", брошюръ и открытыхъ писемъ Герцена Западъ могъ до извѣстной степени измѣрить подготовленность и силу своего русскаго собесѣдника. И сила эта была измѣрена, и откликъ на слова Герцена былъ громкій.

Но вѣдь это были опять лишь слова и мечты, и сколько бы въ нихъ ни было лазури, они были призракомъ и должны были остаться таковыми, пока всѣ и все въ Россіи оставалось на своемъ мѣстѣ. Стоило ли покидать родину для того, чтобы облюбовать мечту о ней?

Въ 1855 году передъ Герценомъ легъ новый путь и настроеніе его рѣзко измѣнилось. На короткій срокъ всякая тѣнь сомнѣнія, всякое облако унынія исчезли передъ той задачей, которая теперь становилась на очередь. Его родина, его Россія звала его на работу; и именно на ту работу, которой онъ всегда искалъ—на службу пробуждавшагося чувства гражданственности. Не теоретическая постановка вопросовъ была теперь нужна, нужна была не мечта о будущемъ, а служба дню для воплощенія уже созрѣвшей гуманной идеи. Если когда Герценъ зналъ минуты истиннаго подъема духа такъ это теперь, когда онъ сталъ слѣдить за ростомъ гражданскаго самосознанія въ Россіи, за ея пробужденіемъ отъ долгаго сна. Онъ вѣрилъ и имѣлъ всѣ права вѣрить, что то, что онъ дѣлаетъ здѣсь за границей—найдетъ свой отзвукъ тамъ, и что слово, сказанное здѣсь, немедленно тамъ перевоплотится въ дѣйствіе. И свободному русскому слову сталъ Герценъ служить на западѣ.

Онъ напомнилъ Россіи о себѣ и разсказалъ ей какъ съ дѣтскихъ лѣтъ онъ любилъ ее и хоть Былое было печально, хоть печальны были и Думы, но онъ зналъ, что на родинѣ его разсказъ будетъ встрѣченъ какъ бодрое слово, какъ первый привѣтъ новой жизни. Въ помощь этой новой жизни онъ учредилъ вольную типографію въ Лондонѣ. Онъ сталъ вождемъ и судьей въ своей странѣ, онъ, который до сей поры не имѣлъ права думать даже о томъ, что его на родинѣ помнятъ. Жизнь, готовя ему новое испытаніе, ласкала его.

Счастливые дни проходятъ быстро, прошли и эти. Политическій горизонтъ на западѣ становился все мрачнѣе и мрачнѣе, въ Россіи разсвѣтъ медлилъ приходомъ. Отъ всѣхъ надеждъ на быстрое торжество завѣтныхъ чаяній и увѣренностей пришлось отказаться. Слова, которыя можно было счесть дѣломъ грозили остаться словами. Разобщенный съ Россіей, съ которой теперь слились всѣ его помыслы, имѣя въ своемъ распоряженіи одинъ лишь станокъ, Гер-

цемъ опять попадалъ въ положенiе человѣка, который можетъ лишь созерцать, говорить, думать, надѣяться, обличать и грозить, т.-е. дѣлать то, что онъ дѣлалъ и раньше, когда такъ страдалъ отъ сознанія, что онъ одинокъ и не у дѣла....

## V.

Къ особой семьѣ идеалистовъ принадлежалъ этотъ человѣкъ. Онъ не вырисовывалъ поэтическихъ картинъ соціальной утопіи, но онъ былъ въ прямомъ родствѣ съ поэтами-соціалистами первой половины XIX вѣка. Ему по духу были очень близки эти творцы утопій — люди, съ чуткимъ религіознымъ чувствомъ и ученые съ большими научными знаніями и научнымъ методомъ, одновременно поэты въ общемъ взглядѣ на жизнь и большие прозаики въ вопросахъ земного обихода; повидимому, революціонеры, а на самомъ дѣлѣ мирныя сентиментальныя души; съ виду рыцари и аристократы, а въ душѣ народные трибуны...

Но на Герцена, на младшаго члена въ ихъ семьѣ, легла особая миссія. Творцы утопій, эти пѣвцы земного блаженства не выходили изъ круга теоретическихъ построеній и поэтическихъ видѣній или пытались мирнымъ путемъ создавать новыя общины. Основой своей тактики они полагали воздержаніе отъ рѣшительныхъ выступленій; они думали, что при умственномъ и нравственномъ воздѣйствіи на ближняго возможно избѣжать революціонныхъ катастрофъ.

А Герцену природа всетаки не отказала вполнѣ въ темпераментѣ агитатора и революціонера. Будь онъ только агитаторъ, онъ нашелъ бы арену, на которой, даже въ случаѣ пораженія, онъ испыталъ бы высшее самоудовлетвореніе. Будь онъ только мечтатель, онъ не болѣлъ бы такъ разладомъ мечты и дѣйствительности и спокойно ожидалъ бы торжества своей грезы. Но онъ совмѣщалъ въ себѣ поэта и воина, и въ такомъ сочетаніи молитвы съ боевымъ призывомъ было

много трагичнаго. Всякая побѣда казалась ничтожной въ сравненіи съ мечтой и видѣніемъ, всякое пораженіе болѣзненно ощущалось какъ крушеніе всего боевого плана.

Вѣра, какой жилъ этотъ человѣкъ, исключала ощущеніе довольства и счастія въ сознаніи совершеннаго и достигнутаго.

„Религія грядущаго общественнаго пересозданія — одна религія, которую я завѣщаю тебѣ,“ говоритъ Герценъ своему сыну. „Она безъ рая, безъ вознагражденія, кромѣ собственнаго сознанія, кромѣ совѣсти“...

# „Колоколъ“ 1857—1861

[illegible] Отзывы изъ радикальнаго лагеря.—

[illegible] во взглядахъ на пріемы борьбы.

[illegible] программы.—Радикалы въ ожиданіи новаго вождя.—

## I.

Считается признанной истиной, что вліяніе, какимъ Герценъ пользовался, было по его собственному признанію, подорвано его рѣзкимъ вмѣшательствомъ въ русско-польскіе счеты. Что Герценъ могъ послѣ 1863-го года растерять многихъ читателей, патріотическое чувство которыхъ сочло себя оскорбленнымъ, это вполнѣ допустимо. Странно только, что убыль въ рядахъ одного толка не была возмѣщена притокомъ новыхъ сторонниковъ изъ радикальнаго лагеря. Если вліяніе „Колокола“ слабѣло, то это было яснымъ указаніемъ на то, что именно радикальный читатель отказывалъ газетѣ

въ поддержкѣ; если же онъ переставалъ ее поддерживать, то, конечно, не изъ оффиціальнаго патріотическаго чувства. Причины паденія силы „Колокола“ лежали значительно глубже. Неуспѣхъ подготовлялся годами, и если бы польскаго возстанія совсѣмъ не было, то и тогда газета врядъ-ли бы удержала за собой недавнія столь шумныя симпатіи. Всѣхъ умѣренныхъ, которые съ нею, худо ли, хорошо ли, мирились, она систематически раздражала,—раздражала и совсѣмъ не умѣренныхъ. Герцену пришлось замолчать не потому, что онъ слишкомъ страстно заговорилъ не во-время объ опасномъ вопросѣ, а потому, что рѣшительно по всѣмъ вопросамъ—кромѣ вопроса польскаго—онъ давалъ отвѣты, не удовлетворявшіе ни тѣхъ, кто передвигался слѣва направо, ни тѣхъ, кто шелъ справа налѣво, ни тѣхъ, наконецъ, которые стояли на одномъ мѣстѣ.

## II.

Въ 1855-мъ году, вспоминая былое и свои думы, Герценъ могъ сказать съ чистымъ сердцемъ, что ни одного уголка души русскаго интеллигента онъ не оставилъ необслѣдованнымъ, откликаясь своевременно и на всѣ теченія мысли, волновавшія русскіе умы за цѣлое полстолѣтіе.

Какъ бы въ наслѣдство отъ Александровскаго царствованія получилъ Герценъ нѣжную, меланхолическую, религіозно настроенную душу, съ сильной мистической складкой, и либерально настроенный умъ, не рѣзкій въ заключеніяхъ, умъ философскій, склонный къ широкимъ обобщеніямъ, а потому въ извѣстномъ смыслѣ благодушный, съ тенденціей согласованія крайностей. Всѣмъ, чѣмъ жилъ русскій умъ и сердце въ двадцатыхъ годахъ, было извѣдано имъ въ самой сферѣ жизни.

Ко всѣмъ идейнымъ движеніямъ Николаевскаго царствованія Герценъ отнесся также съ большой чуткостью и жаждой пониманія. Онъ прошелъ строгую школу у всѣхъ [illegible]

лизма, философскаго и эстетическаго; изъ всѣхъ современниковъ онъ одинъ былъ настоящимъ хозяиномъ въ этихъ вопросахъ, такъ какъ не только принималъ ихъ къ свѣдѣнію и руководству, но сохранялъ надъ ними власть суда. Онъ поборолъ Гегеля и, вмѣстѣ съ его учениками лѣваго крыла, самостоятельно приступилъ къ пересмотру вопросовъ религіи, этики и политики. Надъ всѣми „западниками" Герценъ имѣлъ преимущество глубины и широты знанія, какъ бы онъ ни уступалъ тому или другому изъ нихъ въ иныхъ качествахъ духа. Для пониманія и истолкованія Запада Герценъ былъ подготовленъ лучше, чѣмъ Бѣлинскій, Грановскій и даже Бакунинъ, съ его неизмѣнной односторонностью.

Что Герценъ оцѣнивалъ культурную роль Запада вѣрнѣе, чѣмъ славянофилы, это внѣ сомнѣнія; но и русская жизнь въ ея общественномъ и государственномъ развитіи была понята и оцѣнена Герценомъ не менѣе полно и глубоко, чѣмъ нашими романтиками-патріотами. Насколько можно было интеллигенту тѣхъ годовъ приблизить себя умственно къ народной массѣ, Герценъ себя къ ней приблизилъ; онъ несомнѣнно идеализировалъ объектъ своей любви, но не больше, чѣмъ это дѣлали славянофилы; что же касается матеріальныхъ и духовныхъ нуждъ народа, то Герценъ отдавалъ себѣ въ нихъ отчетъ гораздо болѣе ясный. Во всякомъ случаѣ, какъ судья положенія, въ какомъ находились въ тѣ годы и русское общество, и русскій народъ, Герценъ не менѣе славянофиловъ имѣлъ право называть себя русскимъ, хотя Хомяковъ, Кирѣевскій, Самаринъ и К. Аксаковъ могли дать ему почувствовать свое преимущество въ той или иной области спеціальнаго знанія.

Герценъ стоялъ, такимъ образомъ, вполнѣ на уровнѣ западной образованности, не говоря уже объ образованности русской. Стоитъ только прочитать его публицистическія статьи сороковыхъ годовъ, „Письма объ изученіи природы", статьи о „дилеттантизмѣ и буддизмѣ въ наукѣ",

письма изъ Парижа, письмо къ Мишле, книгу о „развитіи революціонныхъ идей въ Россіи" и, наконецъ, знаменитое признаніе „Съ того берега", чтобы убѣдиться, что въ 1855-мъ году онъ былъ среди русскихъ наиболѣе компетентнымъ знатокомъ западной жизни, какъ на Западѣ — наиболѣе трезвымъ апологетомъ народной жизни русской. Но лучшимъ документомъ широты умственныхъ интересовъ Герцена и его умѣнья съ самыхъ различныхъ точекъ зрѣнія смотрѣть на явленія жизни, прошлой и настоящей, служитъ его дневникъ. Оригинальнѣйшее сочетаніе мыслей религіозныхъ, философскихъ, эстетическихъ, политическихъ и иныхъ попадается на страницахъ этой интимной исповѣди и даетъ понятіе объ изумительно разносторонней работѣ ума, который самостоятельно и съ неизмѣннымъ уклономъ влѣво рѣшалъ самые существенные вопросы жизни—рѣшалъ пока въ тиши кабинета, съ глазу на глазъ съ очень требовательной совѣстью.

Если умъ Герцена могъ обозрѣвать такъ свободно широкое поле духовныхъ интересовъ Запада и Россіи, то и сердце его откликалось на всѣ настроенія, какія переживало его поколѣніе. Философскій идеализмъ, эстетическій паѳосъ, либеральное „sursum corda"—черезъ всѣ эти полосы душевнаго свѣта прошелъ Герценъ... Зналъ онъ въ юности и безпредметную печаль и прекраснодушіе, которое одно время такъ сердило Бѣлинскаго; прочувствовалъ онъ и то горестное сознаніе отчужденности отъ людей и одиночества въ жизни, которое такъ мучило разсудочныхъ людей его поколѣнія. Въ романѣ „Кто виноватъ?" онъ этому душевному состоянію поставилъ вѣрный діагнозъ. И не только эта болѣзнь русской души, мѣстная и вызванная русскими условіями, была ему знакома; онъ зналъ и приступы иной, болѣе [illegible]ной болѣзненной тревоги духа, той, которая такими красивыми цвѣтами убрала колыбель XIX-го вѣка и стала [illegible] родникомъ его романтическаго вдохновенія. „Записки доктора Крупова"—[illegible] листки изъ той же книги, [illegible] [illegible]-

вѣии вѣка, которую сообща писали Руссо, Шатобріанъ, молодой Гете, Байронъ и ихъ послѣдователи.

Итакъ, врядъ-ли во всей образованной Россіи можно было найти другого человѣка, который былъ бы такъ хорошо подготовленъ для роли посредника между Россіей и Западомъ, какъ Герценъ. А съ 1855-го года, при новомъ курсѣ, такое посредничество могло имѣть огромную стоимость. Правда, самъ Герценъ, переходя на положеніе добровольнаго эмигранта, уменьшалъ значительно силу своего вліянія. Но то, что эта сила теряла въ ея прямомъ воздѣйствіи на современниковъ, она навёрстывала съ несомнѣнною прибылью на остротѣ, прямотѣ и свободѣ мысли и слова за предѣлами родины.

## III.

Было бы ошибочно думать, что многогранный умъ всегда бываетъ сильнѣе ума болѣе сконцентрированнаго и потому болѣе узкаго. Всепониманіе въ извѣстныхъ житейскихъ условіяхъ можетъ оказаться тормазомъ, задержкой при быстромъ движеніи впередъ, при натискѣ и въ схваткѣ. Герценъ, какъ бы сильны ни были удары его заостренныхъ словъ и неудержимъ ихъ натискъ, былъ все-таки натура миролюбивая вообще, предпочитавшій договоръ разсчету мечомъ и выступавшій въ походъ съ мыслью о соглашеніи.

Но въ большую ошибку впалъ бы тотъ, кто въ такомъ миролюбіи вооруженнаго человѣка заподозрилъ бы слабость воли или недостатокъ энергіи. Мягкій строй души Герцена — души, способной на сильное раздраженіе, но неспособной полюбить самую поэзію боя — былъ обусловленъ какъ осадками прежней религіозности и философскаго идеализма, такъ и тѣмъ широкимъ пониманіемъ, которое въ самый разгаръ борьбы заставляло Герцена вспоминать и сопоставлять, разсчитывать и предвкушать облюбованное разрѣшеніе спора. Поэзія длительнаго и устойчиваго натиска была ему

не по душѣ. Въ настоящіе агитаторы и вожди, несмотря на боевой темпераментъ, онъ не годился. Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ могъ человѣкъ, хоть одинъ разъ въ жизни подписавшійся подъ ученіемъ доктора Крупова, выработать изъ себя тотъ стойкій типъ гражданскаго, политическаго и революціоннаго condottiere, который назрѣвалъ въ Россіи? „Мнѣнія о Герценѣ — писали его друзья, издавая въ первый разъ собраніе его сочиненій [1875][1] — существуютъ самыя разнообразныя, самыя противорѣчивыя. Одни, становясь на точку зрѣнія существующихъ государственныхъ понятій, считаютъ его преступнымъ революціонеромъ и измѣнникомъ своей родины. Другіе, исходя изъ западныхъ теорій революціи и соціализма, которыя, быть можетъ, нѣсколько преждевременно и „теплично" привились нѣкоторой части русскаго общества, смотрятъ на него какъ на человѣка отсталаго или, скорѣе, *[illegible]*, лишеннаго той безграничной смѣлости мысли, которая позволяетъ доходить легко и свободно до самыхъ крайнихъ предѣловъ, какъ бы парадоксальны они ни были. Третьи, наконецъ, люди усовершенствованій, а не идеальнаго совершенства, почитаютъ его представителемъ либеральныхъ идей въ Россіи, лучшимъ выраженіемъ дѣйствительно прогрессивной политики. Во всѣхъ этихъ несогласныхъ отзывахъ есть и доля истины, и доля несправедливости. Противники и почитатели всѣ исходятъ изъ ложной оцѣнки. Герценъ вовсе не былъ политическимъ человѣкомъ. Ни по складу ума, ни по темпераменту, ни по характеру онъ не подходитъ подъ опредѣленіе практическаго дѣятеля на поприщѣ политическихъ вопросовъ. Стоитъ прочесть его дневникъ, чтобы убѣдиться, что онъ вовсе не былъ и не намѣревался быть политическимъ агитаторомъ. За нимъ не было партіи; его вліяніе на русскую публику происходило отъ временнаго совпаденія его личныхъ симпатій съ настроеніемъ умовъ въ Россіи".

Герцену — писалъ Шелгуновъ,[2] нужны были улица, шумъ, движеніе, дѣло; ему были нужны слушатели, что, въ то же

время, у него былъ слишкомъ трезвый и ясный умъ, чтобы не видѣть послѣдствій всякаго дѣла и не оцѣнить вѣрно его возможностей и успѣха. Отъ этого Герценъ не былъ, да и не могъ быть революціонеромъ... Широко развитое чувство свободы дѣлало для Герцена невыносимымъ всякое насиліе, въ какой бы формѣ и гдѣ бы оно ни совершалось: онъ не выносилъ ничего грубаго, ничего карающаго, ничего, что такъ или иначе оскорбляло личность... Какъ политическій дѣятель и писатель, онъ являлся только самымъ горячимъ защитникомъ личной и общественной свободы и только въ этомъ и заключалась вся его программа. Это была художественная натура на политической основѣ, это былъ скорѣе клубистъ, ораторъ независимости, чѣмъ политическій уличный дѣятель. Для улицы съ баррикадами онъ былъ недостаточно демократиченъ и по привычкамъ, и по умственному темпераменту, и слишкомъ аристократиченъ по умственнымъ требованіямъ и развитію. Въ этомъ же обстоятельствѣ заключалась причина, почему онъ разошелся съ русской заграничною молодежью. Герценъ не вѣрилъ въ революцію. Онъ считалъ ее невозможной и вредной по послѣдствіямъ. Отрицая логику ломки и грубую силу, Герценъ находилъ, что нужны проповѣдники, апостолы, поучающіе своихъ и не своихъ, а не саперы разрушенія". „Отношеніе передовой интеллигенціи къ Герцену— пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Л. Ѳ. Пантелѣевъ[3]—стало довольно неопредѣленнымъ. Такъ, уже въ 1861-мъ году, въ кружкѣ, группировавшемся около „Современника", раздавались жалобы на Герцена, что онъ замкнулся въ своемъ „Колоколѣ", не выходитъ изъ чисто обличительнаго направленія и не хочетъ выступить на болѣе активный путь.. На молодежь, конечно, могли влiять общія идеи Герцена; но вѣдь послѣ крушенія всѣхъ надеждъ, связанныхъ съ 48-мъ годомъ, у Герцена, при всемъ благоговѣйномъ отношеніи къ сраженнымъ борцамъ, довольно ясно стало сказываться скептическое отношеніе къ старымъ пріемамъ дѣйствій".

Роль Герцена какъ вождя и прямого союзника радикальной группы была сыграна очень быстро. Ни по своему складу ума, ни по темпераменту онъ не подходилъ къ тѣмъ „саперамъ“, которые принялись за радикальную ломку старины. Герценъ, дѣйствительно, замкнулся въ своемъ „Колоколѣ“, и именно въ „Колоколѣ“ 1857—1861 годовъ надо искать корень тѣхъ разногласій между нимъ и радикальной молодежью, которыя лишили Герцена его силы и вліянія въ тотъ моментъ, когда умѣренные и правительственные круги перестали имъ увлекаться или интересоваться. Въ шесть лѣтъ [1855—1861] слава и сила Герцена свершили свой кругъ отъ восхода до заката.

## IV.

Заря новой жизни, которая всходила надъ его родиной, застала Герцена въ очень сумрачномъ настроеніи. Жизнь эмигранта уже давала себя чувствовать. Несмотря на шумъ и суету революціонныхъ движеній на Западѣ, въ которыхъ Герценъ принималъ участіе, онъ начиналъ томиться тоской по родинѣ, тоской по болѣе скромному, но родному дѣлу. Если это дѣло не рисовалось ему въ ясныхъ очертаніяхъ, если онъ зналъ, что при жизни императора Николая Павловича для него вообще нѣтъ въ Россіи никакого дѣла, то такая туманность желаній и сознаніе ихъ неосуществимости только подогрѣвали его любовь къ родинѣ. Онъ все чаще и чаще думалъ о томъ, въ какую форму эта любовь могла бы облечься, чтобы не быть лишь индивидуальной симпатіей единичнаго человѣка, осужденнаго на роль безучастнаго зрителя. При томъ темпераментѣ, какимъ обладалъ Герценъ, при его неспособности удовлетворяться мечтой или логической схемой, нельзя было предположить, что разлука съ родиной даже безъ надежды дожить до лучшихъ временъ заставитъ замереть въ немъ мало-по-малу тотъ [illegible] страсти интересъ къ ея судьбамъ, за которыми ему при[illegible]

въ юности заплатилъ такъ дорого. Живя въ чужихъ странахъ, Герценъ вѣрилъ, что, примыкая къ общеевропейскому освободительному революціонному движенію, онъ хоть косвенно будетъ полезенъ Россіи.

На Западѣ, Герцена ожидало великое разочарованіе, и облюбованный имъ призракъ смѣнился жестокой дѣйствительностью. Чѣмъ глубже въ его сердцѣ коренилось увлеченіе, тѣмъ безпощаднѣе становилось теперь отрицаніе мишурной культуры, которая гордится своей буржуазной сытостью, ради нея разстрѣливаетъ голодную толпу, зажигаетъ фейерверки революцій и тѣшится этимъ зрѣлищемъ, чтобы опять вернуться къ своему мѣщанскому очагу, когда ракеты и плошки погаснутъ.

Въ минуты такого невыносимо мучительнаго разлада съ самимъ собой и съ людьми, въ Герценѣ все крѣпла и крѣпла вѣра въ Россію. И росла она въ немъ, неподдержанная никакими внѣшними поводами, а такъ въ силу интимнаго чувства любви къ родинѣ, любви, которая въ сердцѣ этого „космополита", какъ его иногда враги называли, была не менѣе сильна, чѣмъ въ душѣ любого правовѣрнаго народника и патріота.

Но понятіе о любви къ родинѣ должно было обрисоваться болѣе отчетливо, чтобы не превратиться въ неуловимую грезу. О любви къ оффиціальной Россіи, съ ея обманчиво почетнымъ международнымъ положеніемъ, призрачной военной мощью, со всѣмъ ея показнымъ блескомъ наверху — о такой любви не могло быть и рѣчи въ сердцѣ человѣка, поставившаго цѣлью своей жизни борьбу съ этимъ оффиціальнымъ величіемъ, съ этимъ оффиціальнымъ красивымъ „фасадомъ", который прикрывалъ убожество государственнаго зданія. Возлагать особенно большія надежды на русскую интеллигенцію и ей отдать всю свою любовь Герценъ также не могъ: слишкомъ ничтожна была она по своей численности, раздроблена въ силахъ, неэнергична и уступчива по темпераменту и, главное, слишкомъ она была еще слаба

и плохо вооружена умственно. Герценъ былъ готовъ отдать ей часть своихъ силъ, и дѣйствительно, много силъ ей отдалъ, но многаго ждать отъ нея не могъ. И оставалась ему только одна надежда, до тѣхъ поръ не обманутая — надежда на то, что сама народная масса, доселѣ безгласная, выступитъ наконецъ со своимъ словомъ и дѣйствіемъ и примется сама за соціальное и политическое строительство.

Среди всѣхъ показныхъ силъ, управлявшихъ ходомъ русской жизни, эта молчаливая, въ себѣ сосредоточенная сила была еще неизвѣдана и неиспытана, и въ нее можно было вѣрить, если потребность вѣры жила въ человѣкѣ. Русскій простой народъ сталъ для Герцена предметомъ особаго культа и среди всѣхъ отрицаній единственнымъ утвержденіемъ. Вся любовь Герцена къ родинѣ потонула въ этой туманной, умиротворяющей мечтѣ объ умственной и нравственной силѣ русскаго народа. Эта мечта слилась очень скоро съ другой мечтой, въ которой нашли себѣ пріютъ обломки вѣры Герцена въ западную культуру. Отъ мечты въ близкое торжество соціализма онъ не отрекся.

Въ своемъ увлеченіи соціализмомъ Герценъ былъ большой поэтъ. Съ соціалистическими утопіями и ученіями онъ былъ давно знакомъ, съ самой ранней юности. Теперь ему мелькнула мысль, что Западъ самъ по себѣ, при буржуазномъ направленіи его культуры, безсиленъ осуществить желанную программу новаго соціальнаго и государственнаго строя. Для его проведенія въ жизнь нужна иная, свѣжая сила. Сочетая обѣ любви — и любовь къ родинѣ, и любовь къ Западу, — Герценъ остановился наконецъ на предположеніи возможнаго слиянія западнаго соціалистическаго движенія съ тѣмъ движеніемъ духа и той заботой о формѣ быта, которыя онъ признавалъ за самыя характерныя черты въ жизни русской народной массы. Это сочетаніе западнаго соціализма съ „русскимъ соціализмомъ“ стало въ началѣ пятидесятыхъ годовъ краеугольнымъ камнемъ историческихъ взглядовъ Герцена, и онъ очень цѣпко держался за [illegible]

взгляды, когда 1855-ый годъ далъ ему возможность и даже обязалъ его подвергнуть ихъ пересмотру.

„Мнѣ кажется — писалъ Герценъ, — что роль [illegible] Европы совершенно окончена; съ 1848-го года разложеніе ея растетъ съ каждымъ шагомъ... Государство съ римскими понятіями, основанными на поглощеніи личности обществомъ, на религіи случайной собственности, на привилегіяхъ и монополіяхъ, на нравственномъ дуализмѣ—такое государство не можетъ ничего оставить потомству, кромѣ своего трупа".[4] „Посреди современнаго хаоса, этой агоніи при сумасшествіи, этого зарожденія въ боляхъ; посреди этого міра, который у колыбели новаго гибнетъ въ разложеніи невольно взоры обращаются къ востоку".[5] „Славяне только что входятъ въ великое теченіе исторіи. Имъ недоставало пока развитія, соотвѣтственнаго ихъ природѣ, ихъ генію, ихъ стремленіямъ. Ихъ стремленія не формулированы въ теоріяхъ, но они заключены въ жизни народной; они въ инстинктѣ, въ естественномъ влеченіи, упорномъ, сильномъ, хотя и туманномъ, въ религіозныхъ и національныхъ вѣяніяхъ.[6] Славянскій міръ подобенъ женщинѣ, которая еще не любила и потому какъ будто совсѣмъ не интересуется тѣмъ, что вокругъ нея происходитъ: она какъ бы ненужное существо, забытое, всѣмъ чужое; но подождемъ произносить надъ ней приговоръ: она молода и сердце ея трепещетъ, уже взволнованное тревогой... Безъ Россіи славянскій міръ не имѣетъ будущности: она одна могла бы стать центромъ, къ которому бы тянули всѣ славяне, потому что въ настоящее время только эта часть великой расы сплочена въ сильное и независимое государство".[7] „Часъ славянъ еще не пробилъ, они всѣ въ ожиданіи чего-то. Ихъ теперешнее status quo — какое-то предварительное состояніе".[8] „Съ тѣхъ поръ какъ туманъ, покрывавшій февральскую революцію, разсѣялся и рѣзкая простота замѣнила путаницу, осталось только два интересныхъ вопроса: вопросъ соціальный и вопросъ русскій. Ежели соціализмъ не въ состояніи будетъ пересоздать рас-

падающееся общество и довершитъ его судьбы,—Россія довершитъ ихъ. Я не говорю, что это *необходимо*, но что *возможно*".[9] „Русскій народъ собственно стали узнавать только послѣ революціи 1830 года. Съ удивленіемъ увидѣли, что русскій человѣкъ, равнодушный, неспособный ко всѣмъ политическимъ вопросамъ—бытомъ своимъ ближе всѣхъ европейскихъ народовъ подходитъ къ новому соціальному устройству".[10] „У русскаго крестьянина нѣтъ иной нравственности, кромѣ той, которая инстинктивно, естественно вытекаетъ изъ его коммунизма: эта нравственность глубоко національна: немногое, что крестьянинъ знаетъ изъ Евангелія, его поддерживаетъ: жгучая несправедливость правительства и помѣщика еще тѣснѣе соединяетъ его съ обычаемъ и съ общиной. Община спасла крестьянина отъ монгольскаго варварства и отъ царизма-цивилизатора [tsarisme civilisateur], отъ помѣщиковъ, лакированныхъ на иностранный манеръ, и отъ нѣмецкой бюрократіи: общинное начало, хотя и сильно пострадавшее, оказало сопротивленіе захватамъ власти; оно къ счастью сохранилось и додержалось до развитія соціализма въ Европѣ. Для Россіи въ этомъ видѣнъ перстъ Провидѣнія".[11] „Русскій народъ, подавленный рабствомъ и правительствомъ, не можетъ идти по колеѣ европейскихъ народовъ, повторяя ихъ прошлыя революціи, исключительно городскія и которыя тотчасъ пошатнули бы основанія его общинной организаціи. Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное self-government по городамъ и всему государству, сохраняя народное единство — вотъ въ чемъ состоитъ вопросъ о будущемъ Россіи, т.-е. вопросъ той же соціальной антиномiи, которой рѣшеніе занимаетъ и волнуетъ умы Запада. Государство и отдѣльная личность, власть и свобода, коммунизмъ и эгоизмъ [въ обширномъ смыслѣ слова], вотъ геркулесовы столбы великой борьбы, великой революціонной эпопеи. Европа даетъ рѣшеніе изуродованное и отвлеченное. Россія изуродованное и живое. Революція соединитъ ихъ. Соціализмомъ революціон[illegible]

можетъ у насъ сдѣлаться народной. Въ то время какъ въ Европѣ соціализмъ принимается за знамя безпорядка и ужасовъ, у насъ, напротивъ, онъ является радугой, пророчащей будущее народное развитіе... Время славянскаго міра настало".[12]

Такія и подобныя имъ мысли развивалъ Герценъ во всѣхъ статьяхъ, написанныхъ имъ послѣ злополучнаго 1848 года. Онъ облекалъ эти грезы въ необычайно красивыя формы, пересыпалъ остроумнѣйшими сравненіями и парадоксами, и чѣмъ болѣе красивую внѣшность онѣ принимали, тѣмъ онѣ ему казались убѣдительнѣе. Въ нихъ была закрѣплена незыблемая вѣра, уцѣлѣвшая среди обломковъ всѣхъ его надеждъ на Россію и на Западъ.

Катехизисъ этой вѣры былъ очень несложенъ: Западъ гніетъ и разлагается въ тѣхъ формахъ соціальной и государственной жизни, которыя тамъ господствуютъ. Обновленія нравственнаго и политическаго можно ожидать только отъ соціализма, который пока еще въ пеленкахъ, но которому несомнѣнно принадлежитъ будущее. Соціализмъ будетъ послѣднимъ словомъ Европы. Россія также гніетъ и также разлагается, но находится пока въ полномъ общественномъ и политическомъ маразмѣ. Маразмъ этотъ царитъ потому, что источникъ всѣхъ силъ — русскій народъ — закрѣпощенъ и безгласенъ. Но и въ этомъ угнетенномъ состояніи онъ хранитъ великіе задатки соціальнаго и государственнаго развитія. Община и артельное начало служатъ тому порукой. Когда народъ станетъ хозяиномъ своей судьбы, онъ ее построитъ на тѣхъ самыхъ началахъ, на которыхъ покоится соціалистическое ученіе на Западѣ. Россія придетъ Западу на помощь и первое слово Россіи совпадетъ съ послѣднимъ словомъ Запада. Мы заплатимъ по старымъ долгамъ и сольемся въ единой культурной жизни съ нашими старшими братьями.

Въ такихъ мечтахъ нѣжился опечаленный умъ Герцена, когда въ 1855-мъ году ему мелькнулъ первый лучъ надежды

на возможное—и почему же не близкое?—общественное и государственное возрожденіе Россіи.

## V.

Первое, о чемъ надлежало подумать, прежде чѣмъ развивать дальше историческую теорію, было изысканіе способа наивозможно сильнаго и прямого воздѣйствія на пробуждающееся русское общественное самосознаніе. Вернуться въ Россію Герцену нельзя было, такъ какъ такой возвратъ, какой бы цѣной онъ ни былъ купленъ, лишалъ его самаго цѣннаго—свободы слова. Продолжать старую и уже оставленную имъ тактику—вѣрить въ Россію, принимая участіе въ западномъ революціонномъ движеніи—было также невозможно: общее ретроградное направленіе европейской политики къ серединѣ пятидесятыхъ годовъ вполнѣ обрисовалось, а надѣяться на молніеносный успѣхъ соціалистической доктрины въ первые же дни и годы новаго царствованія въ Россіи было бы безуміемъ. Оставался послѣдній путь, именно созданіе свободной трибуны, свободнаго органа рѣчи на территоріи иноземной, съ тѣмъ, чтобы эта свободная рѣчь могла имѣть широкое распространеніе и вліяніе въ Россіи.

Все говорило въ пользу возможности осуществленія такого плана. Соблюдая извѣстную сдержанность въ выраженіяхъ и извѣстную умѣренность въ требованіяхъ, можно было надѣяться, что оффиціальные круги не откажутъ ему въ своемъ вниманіи, такъ какъ они сами были заинтересованы въ наиболѣе разностороннемъ и независимомъ выясненіи положенія; либералы всѣхъ оттѣнковъ, да и вообще вся интеллигенція, должны были также сочувственно прислушаться къ новому свободному голосу. О радикалахъ же еще не было слышно и можно было надѣяться, что какъ бы молодежь ни была нетерпѣлива и ретива, она съ восторгомъ встрѣтитъ попытку первой общественной [illegible]-

критики. Всѣ эти разсчеты оказались очень скоро невѣрными, но сначала они могли обольстить своей простотой и ясностью. Герценъ принялся за оборудованіе вольныхъ органовъ пропаганды въ возможно широкихъ размѣрахъ. Онъ приступилъ къ этой отвѣтственной работѣ почти безъ всякой подготовки, и ближайшихъ сотрудниковъ у него не было, если не считать Огарева, который какъ поэтъ былъ въ данномъ случаѣ мало полезенъ, а какъ публицистъ могъ лишь снимать хорошія копіи или шить по готовой канвѣ. Вся тяжесть наступательной и оборонительной войны легла на Герцена и почти исключительно его уму, образованію и литературному таланту обязаны были лондонскія изданія своимъ успѣхомъ. Правда, кругъ корреспондентовъ Герцена въ Россіи скоро расширился и среди этихъ поставщиковъ матеріала было много людей очень освѣдомленныхъ и талантливыхъ, но группировка силъ и весь планъ кампаніи былъ въ его рукахъ. Вмѣстѣ съ быстро и неожиданно пріобрѣтенной властью, на Герцена, на него одного, ложилась и вся отвѣтственность. Понятно, въ какомъ нервномъ состояніи долженъ былъ онъ находиться и странно было бы требовать отъ него методичности, ровной послѣдовательности, дипломатичной сдержанности и вообще качествъ испытаннаго и ловкаго бойца. Роль созерцателя, иронизирующаго критика и мечтателя—какимъ онъ былъ доселѣ—онъ мѣнялъ теперь на роль вождя. Эта роль выпадала ему на долю въ виду совершенно исключительнаго его положенія—какъ единственнаго свободнаго русскаго человѣка, стоящаго на уровнѣ иноземной образованности и культуры и прошедшаго вмѣстѣ съ интеллигентной Россіей сквозь всѣ полосы ея настроеній и чрезъ всѣ этапы ея умственнаго развитія.

Лондонскія изданія были задуманы и велись по правиламъ строгой боевой тактики. Разные роды оружія были ими представлены. Съ 1855-го года стала выходить „Полярная Звѣзда“—альманахъ, разсчитанный на самую широкую пуб-

лику. Въ этихъ книгахъ печатался непропущенный цензурой старый литературный матеріалъ—стихи и проза,—отдѣльныя части „Былого и Думъ", переписка Герцена съ выдающимися политическими дѣятелями Запада, статьи общепублицистическаго содержанія и передѣлка статьи Герцена, Огарева и анонимныхъ авторовъ на очередныя темы русской современности. „Полярная Звѣзда" своей подвижностью и живостью должна была расчищать путь для новыхъ идей и въ особенности для зарождавшагося новаго общественнаго настроенія. Годъ спустя послѣ выхода первой книги „Полярной Звѣзды" стали появляться маленькіе сборники [всего 9 №№] подъ заглавіемъ „Голоса изъ Россіи". Это изданіе было разсчитано уже на весьма серьезныхъ читателей и въ немъ печатались преимущественно цѣлые трактаты, даже ученыя статьи, посвященныя спеціальнымъ вопросамъ общественнымъ, политическимъ и историческимъ. Это были тѣ самыя статьи и „записки", которыя ходили въ спискахъ по рукамъ въ Россіи и не могли найти себѣ пристанища въ цензурованныхъ журналахъ. Господствующей темой въ нихъ былъ крестьянскій вопросъ. Сборники имѣли въ виду дѣйствовать не столько на настроеніе, сколько на умъ читателей, и были той довольно тяжелой артиллеріей, которая выдвигалась на новыя позиціи. Въ 1857-мъ году, 1-го іюля по новому стилю, вышелъ первый номеръ „Колокола" и самое сильное и скорострѣльное орудіе было установлено. Это была газета, которая, не упуская изъ виду принципіальныхъ вопросовъ, должна была отвѣчать на всѣ запросы текущаго политическаго дня въ Россіи. Матеріалъ былъ такъ умѣло расположенъ, что читатели самаго различнаго уровня образованія и совсѣмъ несходные по темпераментамъ могли найти въ этой газетѣ пищу для ихъ ума и любезное ихъ сердцу. Мечтатель, сентиментальный или энтузіастъ, скептикъ, меланхоличный или ѣдкій, человѣкъ довѣрчивый или осторожный, медлительный или порывистый, умѣренный во взглядахъ или крайній, склонный разсуждать объ об…

вопросахъ или интересующійся вопросами болѣе частными— всѣ могли въ „Колоколѣ“ первыхъ лѣтъ найти то, что искали. Разносторонность ума Герцена и его способность проникаться всевозможными настроеніями дѣлали его газету понятной и близкой очень широкому кругу лицъ. Пока рѣчь шла о томъ, что подлежитъ упраздненію — газетѣ была гарантирована широкая аудиторія. Положеніе газеты стало болѣе труднымъ лишь съ того момента, когда пришлось говорить о томъ, что дѣлать и въ какомъ направленіи идти. Впрочемъ, на первыхъ порахъ и на вопросъ, что дѣлать—имѣлся готовый отвѣтъ. Надо было освободить крестьянъ при условіяхъ возможно большаго надѣла и возможно меньшаго выкупа — и „Колоколъ“ добрую половину своихъ страницъ отдалъ на обсужденіе крестьянскаго вопроса.

Въ первые годы своей жизни „Колоколъ“ имѣлъ успѣхъ колоссальный и, несмотря на свое нелегальное положеніе, довольно свободно вращался во всѣхъ кругахъ интеллигентнаго общества, даже самыхъ высокихъ. Онъ возбуждалъ въ этихъ кругахъ не одно только любопытство, но и чувство уваженія. Большой сердцевѣдъ изъ высокопоставленныхъ чиновниковъ—Тютчевъ[13]—говорилъ въ годъ основанія „Колокола“: „правительственные люди не у насъ только, но вездѣ, только къ тѣмъ идеямъ имѣютъ уваженіе, которыя безъ разрѣшенія, безъ ихъ фирмы гуляютъ себѣ по бѣлому свѣту. Только со свободнымъ словомъ обращаются они, какъ взрослый съ взрослымъ, какъ равный съ равнымъ. На все же прочее смотрятъ они даже самые благонамѣренные и либеральные, какъ на ученическія упражненія“. Другой современникъ -тоже изъ высокопоставленныхъ,—вспоминая во гнѣвѣ давно прошедшіе годы, также признавалъ это увлеченіе „Колоколомъ“, хотя и считалъ его за великое, смѣхотворное ослѣпленіе. „Явился новый страхъ—Герценъ“, писалъ кн. В. Мещерскій:[14] „явилась новая служебная совѣсть Герценъ; явился новый идолъ—Герценъ“. Если для самихъ

„служащихъ“ Герценъ вдругъ неожиданно сталъ „совѣстью“, то для молодежи онъ могъ на первыхъ порахъ стать настоящимъ идоломъ. Небезъизвѣстный въ тѣ годы публицистъ, баронъ Фиркс, писавшій подъ псевдонимомъ Schédo-Ferroti, такъ говорилъ о растущемъ вліяніи Герцена: „Вооруженные теоремами и выводами, которые даны были въ „Колоколѣ“ нигилисты [этой нѣсколько позже возникшей кличкой Фирксъ обозначалъ всѣхъ радикаловъ], называвшіеся тогда еще герценистами—отдались пропагандѣ такъ ревностно, что число ихъ въ очень короткое время быстро умножилось. Университеты, лицеи, академіи, высшія военныя училища, вплоть до гимназій и кадетскихъ корпусовъ находились подъ обаяніемъ Герцена, и безъ преувеличенія можно сказать, что три четверти всей молодежи того времени были герценистами болѣе или менѣе страстными. Если статьи Герцена, въ которыхъ онъ, оставаясь въ предѣлахъ возможнаго, требовалъ освобожденія крестьянъ, реформы суда и отмѣны тѣлесныхъ наказаній, встрѣчали общее сочувствіе, то другія его статьи, болѣе крайняго направленія, производили впечатлѣніе гораздо болѣе сильное. Его теоріи о новыхъ началахъ, на которыхъ должно быть построено общество, его рецепты всеобщаго блаженства рода человѣческаго были высказываемы имъ съ такой увѣренностью и облечены въ такую блестящую литературную форму, что хотѣлось вѣрить, что во всѣхъ этихъ рѣчахъ заключено дѣйствительно нѣчто осуществимое; и только вторичное чтеніе, болѣе внимательное, давало понять, что эти звонкія фразы мѣтили въ пустое пространство и прославляли порядокъ вещей, несогласуемый съ самой природой человѣка, а посему порядокъ неразумный и неосуществимый. Какъ бы ни были восторжены читатели Герцена, среди нихъ нашлось немало такихъ, которые сразу охладѣли, какъ только Герценъ сталъ на сторону коммунистическихъ и соціалистическихъ ученій; но эти люди хранили молчаніе и ничего не сказали тѣмъ фанатичнымъ сторонникамъ Герцена, для которыхъ онъ оставался „великимъ лондонскимъ

изгнанникомъ", апостоломъ соціальнаго обновленія человѣчества... и молодые адепты герценизма нашли свое откровеніе въ „Колоколѣ", которому вѣрили какъ Евангелію. Одно разрушеніе ихъ неудовлетворяло и они нашли то, чѣмъ можно было замѣнить разрушенное: на мѣстѣ упраздненной монархіи можно было установить [illegible] и [illegible] — два строя, которые не поддавались точному опредѣленію, но которые должны были быть совершенны, такъ какъ „Колоколъ" рекомендовалъ ихъ такъ настойчиво. Въ 1860—1862-мъ годахъ вліяніе Герцена достигло своего апогея" [15]

Едва-ли однако баронъ Фирксъ былъ хорошо освѣдомленъ о ходѣ дѣла. Тѣ „нигилисты", которыхъ онъ выставляетъ такими фанатичными послѣдователями Герцена, были его друзьями лишь на мгновеніе и скоро разошлись съ нимъ. Разладъ между Герценомъ и радикалами сталъ назрѣвать съ первыхъ же годовъ изданія „Колокола". Въ радикальномъ лагерѣ Герценъ очень скоро попалъ на замѣчаніе, и тогда, когда и умѣренные и консерваторы отъ него отвернулись, онъ остался безъ всякой поддержки.

Просмотримъ отдѣльные номера „Колокола" вплоть до того дня, когда первое обѣщаніе, данное правительствомъ, было исполнено — и причины разлада между Герценомъ и передовой молодежью станутъ ясны.

## VI.

Богатѣйшій и разнообразнѣйшій матеріалъ, заключенный въ тѣхъ 100 номерахъ „Колокола", которые вышли съ 1-го іюля 1857-го года по 1-ое іюня 1861-го года, можетъ быть размѣщенъ по отдѣльнымъ группамъ сообразно съ тѣми вопросами, которые любой читатель могъ предложить редактору. Читатель могъ спросить во-первыхъ: съ чѣмъ вы несогласны и что осуждаете въ современномъ строѣ Россіи? Во-вторыхъ: какой порядокъ и строй кажется вамъ желательнымъ? Въ-третьихъ: считаете ли вы, что этотъ жела-

тельный строй можетъ быть установленъ въ довольно близкій срокъ, а потому признаете ли вы нужнымъ приступить немедленно къ стремительной и свободной работѣ надъ его осуществленіемъ, или полагаете болѣе цѣлесообразнымъ продолжать тихую общекультурную работу? Въ-четвертыхъ, если вмѣшательство въ политику дня признано вами необходимымъ, то какими средствами должна совершаться такая борьба съ правительствомъ — средствами мирными или насильственными? Въ-пятыхъ: на какіе элементы, общественныя группы, слои или классы думаете вы опираться въ этой борьбѣ? Въ-шестыхъ: съ какого шага и въ какомъ направленіи можетъ быть начата эта борьба? На всѣ эти вопросы газета должна была отвѣтить, если она хотѣла сохранить за собой руководящую роль.

Отвѣты „Колокола" не удовлетворили ни либераловъ, ни радикаловъ: однихъ — потому, что были какъ будто бы слишкомъ радикальны, другихъ — потому, что казались слишкомъ умѣренными.

## VII.

Отвѣтить на вопросъ, съ какими сторонами русской дѣйствительности онъ былъ несогласенъ, Герценъ могъ легко и откровенно. Обиліе матеріала было огромное, и Герцену приходилось лишь выбирать эффектные и рѣзкіе случаи проявленія насилія и неправды въ Россіи. Самые невѣроятные (и неопровергнутые) примѣры насилія властей надъ крестьянами, истязанія крестьянъ помѣщиками и даже лицами духовнаго званія, примѣры плохого ухода за солдатами и жесточайшіе виды наказанія ихъ, грабежи чиновниковъ, открытые и тайные, грабежи, въ которыхъ принимали участіе иногда лица весьма высокопоставленныя, растлѣніе народа путемъ откуповъ и вся общественная грязь откупныхъ операцій, насилія надъ свободой совѣсти человѣка и гоненія на національность, всевозможное полицейское с[illegible]

вымогательства, судебная волокита и умышленныя судебныя ошибки, полицейская расправа со студентами и разнообразнѣйшіе примѣры некультурности среди людей культурныхъ, картины умственной и нравственной тьмы во всѣхъ слояхъ общества—всѣми этими обвинительными документами были испещрены страницы „Колокола" и того особаго отдѣла въ немъ, который носилъ грозное заглавіе: „Подъ судъ!". Къ этимъ картинамъ соціальной неурядицы присоединилась скоро и угнетающая картина политической неурядицы въ Польшѣ. Сказать больше злого и недобраго о Россіи офиціальной и мнимо интеллигентной, чѣмъ было сказано въ „Колоколѣ", было невозможно; всему строю государственному и общественному—начиная съ основныхъ его принциповъ, кончая частичнымъ ихъ примѣненіемъ въ жизни—было высказано полное осужденіе. Положимъ, это осужденіе относилось къ режиму прошлому, но факты были взяты сегодняшніе и вчерашніе; ихъ обиліе и ихъ, если такъ можно выразиться, „естественная" цѣльность указывали на то, сколь они не случайны и долговѣчны. А между тѣмъ нужно же было дать читателю понять, что времена наступили иныя и что все это безобразіе должно же кончиться. Сказать просто: „будемъ надѣяться" — нельзя было, не указавъ сразу на тотъ общественный и государственный порядокъ, при которомъ такая надежда была бы возможна, т.-е. нужно было, обличая, высказаться за какую-нибудь форму новаго строя.

Ни для кого изъ мало-мальски политически воспитанныхъ людей не было тайной, что общественныя раны нельзя лечить пластыремъ и что только коренныя реформы могутъ въ данномъ случаѣ помочь оздоровленію государства. Но необходимость реформъ не влекла за собой необходимости перемѣны самаго политическаго строя, или во всякомъ случаѣ вопросъ о перемѣнѣ строя становился вопросомъ спорнымъ. Герцену надлежало высказаться по этому вопросу и „Колоколъ" неоднократно его касался, но отвѣты получались между собой несогласованные. „Въ нашихъ кан-

гахъ писалъ Герцену Огаревъ въ первомъ же номерѣ „Колокола“: я добросовѣстно могу признать васъ только патологомъ, указывающимъ на болѣзненное состояніе общества. Изъ вашихъ сочиненій можно заключить, что вы не кровавый революціонеръ и что послѣдніе годы васъ выучили не вѣрить революціямъ, по крайней мѣрѣ политическимъ революціямъ, и вы готовы ужиться со всякимъ правительствомъ, лишь бы оно стояло на высотѣ экономическихъ измѣненій въ государствѣ. Дѣло не въ перемѣнѣ правительства, а въ перемѣнѣ, которая бы улучшила положеніе людей. Вотъ въ чемъ вашъ такъ называемый соціализмъ, съ которымъ всякое разумное правительство, которое не хочетъ погибнуть, должно быть заодно“.[16] Огаревъ хорошо зналъ Герцена, и писали они эти строки вмѣстѣ, потому что ровно черезъ годъ Герценъ говорилъ уже отъ своего имени: „Намъ дѣла нѣтъ до формъ правленій, мы всѣ ихъ видѣли на дѣлѣ и видѣли, что всѣ онѣ никуда не годятся, если онѣ реакціонны, и всѣ хороши, если онѣ современны и прогрессивны“.[17] Такое категорическое признаніе не помѣшало однако Герцену дать въ „Колоколѣ“ мѣсто одной „очень замѣчательной статьѣ“ подъ заглавіемъ „Реформа сверху или реформа снизу“,[18] [1858] въ которой принципъ самодержавія отвергался очень рѣшительно. Помѣщая статью, Герценъ глухо оговорился, что онъ „не во всемъ согласенъ съ авторомъ“, но полемизировать съ нимъ не сталъ. Въ данномъ случаѣ онъ повторилъ тотъ же пріемъ, который онъ допустилъ еще въ 1855-мъ году, когда въ „Полярной Звѣздѣ“ напечаталъ статью: „Философія революціи и соціализмъ“. Въ этой ультра-радикальной статьѣ государство понималось какъ заговоръ имущихъ собственность противъ неимущихъ и смѣшеніе анархизма съ коммунизмомъ признавалось за желанную форму общежитія. Герценъ съ содержаніемъ этой статьи не былъ согласенъ, но заявилъ печатно, что перечелъ ее десять разъ, удивляясь смѣлости и глубинѣ революціонной логики автора, и принялъ ее съ тѣмъ чув-

ствомъ надежды, съ которымъ въ ковчегѣ была принята вѣтвь, принесенная голубемъ.[19] Такое признаніе могло быть истолковано почти какъ одобреніе.

На самомъ же дѣлѣ Герценъ отъ всякихъ крайностей былъ далекъ. Ему демократія вообще стала какъ-то подозрительна. „Развѣ мы не видали, говорилъ онъ, что республика съ правительственной инициативой, съ деспотической централизаціей, съ огромнымъ войскомъ, гораздо меньше способствуетъ свободному развитію, чѣмъ англійская монархія безъ инициативы, безъ централизаціи? Развѣ мы не видали, что французская демократія, т.-е. равенство въ рабствѣ—самая близкая форма къ самовластію?.. Я смѣло скажу, перепначивая извѣстную латинскую пословицу: „Я другъ республики, я другъ демократіи, но гораздо больше другъ свободы, независимости и развитія". Если мнѣ возразятъ: да можетъ ли быть свобода и независимость внѣ республики и демократіи?—я отвѣчу, что и съ ними онѣ не могутъ быть, если народъ *не доросъ* до нихъ... Слѣдуетъ ли изъ сказаннаго, что я предпочитаю представительную монархію республикѣ и электоральную таксу—всеобщей подачѣ голосовъ? Нисколько. Я констатирую фактъ и больше ничего.. Мы стремимся и хотимъ дѣйствовать въ нашемъ времени, въ современной Россіи,—это заставляетъ насъ не вызывать вопросовъ, но стараться овладѣть тѣми, которые уже возникли".[20] Очевидно, что Герценъ считалъ возбужденіе вопроса объ очередной политической формѣ преждевременнымъ; но это не помѣшало ему признать, что ближайшей переходной формой должно быть конституціонное правленіе, которое онъ однако цѣнилъ лишь какъ удобное средство для обузданія самовластія.[21]

Вопросъ о политической формѣ правленія былъ, такимъ образомъ, отодвинутъ Герценомъ совсѣмъ на задній планъ, и въ этомъ несомнѣнно сказалось его политическое чутье. Онъ понималъ, что на первыхъ порахъ, при только что начавшейся ликвидаціи стараго строя въ Россіи, безполезно,

да и нетактично, говорить объ измѣненіи основныхъ государственныхъ законовъ. Но онъ тѣмъ не менѣе часто говорилъ объ этомъ измѣненіи.

Молодые радикалы и многіе изъ либераловъ были, конечно, иного мнѣнія. Герценъ не стремился ихъ разувѣрять, и — странно, — даже горячилъ ихъ нетерпѣніе. Сразу и громко заявилъ онъ о томъ, что въ исторіи культуры Западъ сыгралъ свою роль и что славянскій міръ во главѣ съ Россіей долженъ сказать міру новое слово и явить новую совершенную форму общежитія на соціалистическихъ началахъ.

„Теперь только идите,— писалъ онъ въ 1856-мъ году,— не стойте на одномъ мѣстѣ. Что будетъ, какъ будетъ — трудно сказать, никто не знаетъ, но толчекъ данъ, ледъ тронулся. Двиньтесь впередъ... вы сами удивитесь, какъ потомъ будетъ легко идти... Намъ надобно освободиться отъ нравственнаго ига Европы, той Европы, на которую до сихъ поръ обращены наши глаза. Западная цивилизація своимъ послѣднимъ словомъ поставила отреченіе отъ „современнаго гражданскаго устройства"; если Европа и осуществитъ ея завѣщаніе, то это именно не та, на которую вы смотрите, а Европа чернорабочая, оставшаяся, какъ Россія, внѣ движенія, задавленная нуждой, бѣдная, обойденная, земледѣльческая и отчасти ремесленная. Всѣ революціи не удались въ Европѣ, потому, что онѣ не касались ни поля, ни мастерской, ни даже семейныхъ отношеній, и были сбиты съ дороги мѣщанствомъ. Намъ нечего заимствовать у мѣщанской Европы, она сама беретъ у насъ ею привитый деспотизмъ." [22] „Извѣстная гладкость формъ, отсутствіе наглаго насилія, правительственной грубости, отсутствіе всякаго рода побоевъ, результаты длинной цивилизаціи скрываютъ, несмотря на всѣ событія, отъ глазъ нашихъ соотечественниковъ серьезный характеръ нравственной болѣзни Франціи и Германіи, увлекающихъ съ собою меньшія государства материка. Государственныя формы европейскія несовмѣстны съ идеаломъ общественности" [23] Мы въ выгодномъ положеніи: намъ нѣтъ нужды повторять [illegible]

ошибокъ. Страданія, неудачи, опыты европейской жизни мы пережили воспитаніемъ, мыслью, сердцемъ, не истощивъ всѣхъ силъ своихъ, а нося въ памяти грозный урокъ послѣднихъ событій. Такъ юноша, пораженный какимъ-нибудь великимъ несчастіемъ, совершившимся передъ его глазами быстро зрѣетъ и смотритъ совершеннолѣтнимъ взглядомъ на жизнь, сквозь печальный примѣръ".[24] „Теперь Западъ пошатнулся; мы вышли изъ оцѣпенѣнія; мы рвемся куда-то, онъ стремится удержаться на мѣстѣ. Черта, до которой мы дошли, значитъ, что мы кончили ученическое подражаніе, что намъ слѣдуетъ выходить изъ Петровской школы, становиться на свои ноги и не твердить больше чужихъ словъ".[25] Теперь „сколачиваютъ свою колыбель" лишь два новыхъ міра — Америка и славянство, и именно Россія даетъ наконецъ давно желанное рѣшеніе соціальной общемірoвой проблемы. Она „оправдаетъ соціализмъ передъ міромъ".

Но что въ сущности должно было разумѣть подъ этимъ магическимъ словомъ „соціализмъ"? Для выясненія этого слова, какъ его понималъ Герценъ, потребовались въ наши дни спеціальныя изслѣдованія, устанавливающія связь идей Герцена съ ученіями западныхъ соціалистовъ, и даже послѣ этихъ изслѣдованій не все въ „соціалистическихъ" взглядахъ Герцена стало ясно. Читатель „Колокола" въ шестидесятыхъ годахъ не могъ продѣлать такой спеціальной работы, и слово „соціализмъ", лаская его слухъ, оставалось для него довольно неопредѣленной формулой, которая не покрывала всѣхъ его вопросовъ.

„Теперь самые простѣйшіе люди — писалъ Герценъ въ 1855-мъ году — начинаютъ догадываться, что освобожденіе Россіи необходимо для всемірнаго освобожденія. Для людей мыслящихъ становится яснѣе, что многіе вопросы, остающіеся темными, неразрѣшенными на Западѣ, найдутъ свое объясненіе въ восточномъ переворотѣ. Задача соціализма можетъ только быть вполнѣ разрѣшена сообща, семейно, совокупностью освобожденныхъ народовъ и съ участіемъ младшаго

изъ нихъ, который инстинктомъ, въ своемъ бытѣ, нашелъ естественныя сочетанія, оказавшіяся искуственными попытками вездѣ". „Съ нами революція, съ нами соціализмъ!".[26] „Россія и соціализмъ являются въ одномъ вопросѣ".[27] „Подумайте теперь о результатѣ, когда эта шестая доля земного шара, со всѣми своими туранскими и чудскими примѣсями, съ соціальными инстинктами, освобожденная отъ нѣмецкихъ колодокъ и лишенная воспоминаній и наслѣдства, перекликнется съ пролетаріемъ-работникомъ и пролетаріемъ-батракомъ на Западѣ и они поймутъ, что собственно у нихъ дѣло одно".[28]

Не давая никакихъ общихъ экономическихъ и юридическихъ опредѣленій „соціализма", Герценъ ограничился лишь однимъ поясненіемъ, взятымъ изъ практики русской крестьянской жизни. Повторяя то, что онъ говорилъ въ своихъ заграничныхъ книгахъ и брошюрахъ въ первую половину пятидесятыхъ годовъ, онъ въ „Колоколѣ" очень часто возвращался къ темамъ объ общинѣ и артели и къ вопросу о возможности сочетанія личнаго индивидуальнаго начала съ началомъ общиннымъ.

Непоколебимая вѣра звучала во всѣхъ статьяхъ Герцена о простомъ народѣ. „Въ противоположность Бюргеровской балладѣ,—писалъ онъ,—мы скажемъ: живые ходятъ быстро и шагъ народныхъ массъ, когда онѣ принимаются двигаться, необычайно великъ. У насъ же не къ новой жизни надобно ихъ вести, а отнять то, что подавляетъ ихъ собственный стародавній бытъ".[29] „Всѣ тѣ, которые не умѣютъ отдѣлить русскаго правительства отъ русскаго народа, ничего не понимаютъ... Чтобы понять русскій народъ, не будучи русскимъ, и притомъ русскимъ, незапуганнымъ съ малыхъ лѣтъ своимъ ничтожествомъ и величіемъ Запада, надобно быть или соціалистомъ въ Европѣ, или гражданиномъ Сѣверной Америки".[30] „Неужели вамъ не приходило въ голову, глядя на великороссійскаго крестьянина, на его умный разбитной видъ, на его мужественныя красивыя черты, на его крѣпкое сложеніе, что въ немъ таится какая-нибудь иная сила, чѣмъ одно [illegible]

терпѣніе и безотвѣтная выносливость".[31] „Апатія, доктринаризмъ, бюрократство — вотъ чѣмъ зараженъ почти каждый изъ насъ. Мы привыкли ходить на помочахъ и любимъ эти помочи. Мы любимъ говорить: у насъ нѣтъ элементовъ, нѣтъ силы. Это чистый вздоръ. Силы есть и онѣ громадны... Нужно только, чтобы мы твердо убѣдились, что наше спасеніе въ одномъ — если мы будемъ въ состояніи протянуть руку крестьянину и считать его дѣло своимъ".[32] А наше дѣло — поскольку мы хотимъ торопить наступленіе лучшаго соціальнаго порядка въ Россіи и въ Европѣ — дѣйствительно совпадаетъ съ дѣломъ простого народа, такъ какъ онъ лучше всѣхъ образованныхъ людей сумѣлъ разрѣшить основной экономически-соціальный вопросъ жизни...

..„Этотъ дикій, этотъ пьяный въ бараньемъ тулупѣ, въ лаптяхъ, ограбленный, безграмотный, этотъ парія, котораго лучшіе изъ насъ хотѣли изъ милосердія оболванить, а худшіе продавали на свозъ и покупали по счету головъ, этотъ нѣмой, который въ сто лѣтъ не вымолвилъ ни слова, и теперь молчитъ — будто онъ можетъ что-нибудь внести въ тотъ великій споръ, въ тотъ нерѣшенный вопросъ, передъ которымъ остановилась Европа, политическая экономія, экстраординарные и ординарные профессора, камералисты и государственные люди??? Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ онъ внести, кромѣ продымленнаго запаха черной избы и дегтя? Вотъ подите тутъ и ищите справедливости въ исторіи — мужикъ нашъ вноситъ не только запахъ дегтя, но еще какое-то допотопное понятіе о *правѣ каждаго работника на землю*. Какъ вамъ нравится это? Положимъ, что его можно допустить *не какъ право*, но *какъ фактъ*? А между тѣмъ оно у насъ гораздо больше чѣмъ право, оно фактъ; оно больше чѣмъ признано, оно существуетъ... Элементы, вносимые русскимъ крестьянскимъ міромъ — элементы стародавніе, но теперь приходящіе къ сознанію и встрѣчающіеся съ западнымъ стремленіемъ экономическаго переворота, состоятъ изъ трехъ началъ: изъ 1) *права каждаго на землю*,

2) *самоуправленіе*, 3) *мірское владѣніе*. На этихъ началахъ *и только на нихъ* можетъ развиться будущая Русь".[33]

Одну только поправку надо внести въ этотъ укладъ: надо освободить личность человѣческую и затѣмъ „развивать общину на ея народныхъ и соціальныхъ началахъ, стремясь къ сохраненію и сочетанію личной независимости — безъ которой нѣтъ свободы — съ общественной тягой, съ круговой порукой, безъ которыхъ свобода дѣлается одной изъ монополей собственника".[34] „Въ настоящемъ положеніи дѣла серьезно можно поставить только два вопроса: 1) Есть ли личное наслѣдственное, неограниченное владѣніе землею единственное возможное для развитія личной свободы? — и въ такомъ случаѣ, какъ спасти большинство населенія, не имѣющаго собственности, отъ рабства собственниковъ и капиталистовъ? 2) Есть ли, съ другой стороны, поглощеніе лица въ общинѣ необходимое, неминуемое послѣдствіе общиннаго землевладѣнія, или оно относится къ неразвитому состоянію народа вообще? — и въ такомъ случаѣ какъ соединить полное, правомѣрное развитіе лица съ общиннымъ устройствомъ?".[35]

Герценъ вѣрилъ, что такое соединеніе вполнѣ возможно, и ждалъ именно отъ славяно-русскаго міра, что онъ осуществитъ идеальную форму общежитія, въ которой индивидуальное и общее будутъ гармонично слиты.

На первыхъ порахъ надлежало, какъ говорилъ одинъ корреспондентъ „Колокола", „изъ массы населенія образовать народъ свободный на дѣлѣ; поддержать и развить въ немъ слабый народный соціализмъ, глубоко укоренившійся въ славянской общинѣ, и тѣмъ самымъ основать будущее счастіе Россіи, можетъ быть Европы".[36] Другой корреспондентъ, болѣе рѣшительный, писалъ, обращаясь за рѣшеніемъ этого вопроса къ молодому поколѣнію: „Всѣ настоящія [illegible], всѣ законы, весь старый хламъ — все рухнетъ! Всѣ общественные вопросы разумъ [illegible] на одномъ началѣ: „люби ближняго какъ самого себя". [illegible] народъ русскій .. Царство Христа [illegible]

еще нигдѣ не было на землѣ, царствовала форма, а не сущность. Всѣ общества смѣются надъ истиной Христа, вездѣ душно, тѣсно сердцу! Только въ русскомъ крестьянскомъ полѣ — только на русской крестьянской сходкѣ—только въ русской деревнѣ отдыхаетъ сердце, становится широко и дышится свободно. Умрите, если будетъ нужно, умрите какъ мученики — умрите за сохраненіе равнаго права каждаго крестьянина на землю — умрите за общинное начало!"[37]

И такъ, какой же политическій и соціальный порядокъ „Колоколъ" считалъ наиболѣе желательнымъ? Говорить о чисто политическихъ темахъ газета избѣгала, ясно давая понять, что не онѣ стоятъ пока на очереди. Она указывала лишь на извѣстный соціальный строй, какимъ живетъ *[illegible] частъ* русскаго народа, и видѣла въ сохраненіи и развитіи этого строя залогъ спасенія Россіи и зародышъ обновленія всего культурнаго міра.

Но, прослушавъ этотъ патетическій диѳирамбъ общинѣ, можно было спросить: а при какихъ *политическихъ* формахъ желанное процвѣтаніе общины можетъ быть обезпечено? И потерпитъ ли существующій политическій порядокъ такое процвѣтаніе общины, которое должно разрѣшиться торжествомъ соціалистическаго строя? По искреннему молчанію, какимъ Герценъ обошелъ этотъ вопросъ, можно думать, что его не покидала надежда приблизиться къ намѣченной цѣли даже при современномъ ему политическомъ строѣ. Но для кого такая надежда была обязательна? И развѣ мало было было такихъ читателей „Колокола", которые въ недоумѣніи могли спросить себя: а какъ же *при условіяхъ наличнаго строя* надлежитъ работать, чтобы соціальный строй могъ измѣниться къ лучшему въ желанномъ смыслѣ?

Намѣчая цѣль, необходимо было разработать планъ движенія въ новомъ направленіи и опредѣлить новые пріемы борьбы. „Колоколъ" обязанъ былъ представить такой планъ.

Обсуждая его, газета опять допустила умолчанія и частыя колебанія во взглядахъ, и вмѣсто того чтобы сплотить всѣхъ

недовольныхъ, она еще разъ подчеркнула ихъ рознь и никого не удовлетворила.

## VIII.

Свое недовольство ходомъ дѣлъ въ Россіи Герценъ сразу сталъ рѣзко подчеркивать. Онъ высказывалъ крайнее нетерпѣніе. Уже во второй книжкѣ „Голосовъ изъ Россіи" [1856] нѣсколько статей[38] должны были подтвердить мысль редактора о томъ, что ни одна надежда въ [illegible] не сбылась до сихъ поръ".[39] Черезъ годъ, въ третьей книжкѣ „Голосовъ" [1857] Герценъ повторилъ то же сожалѣніе.

„Событія двухъ цѣлыхъ лѣтъ,— писалъ онъ — показали, кто изъ насъ былъ правъ: умѣренные ли либералы, писавшіе млекомъ и медомъ долю статей, изданныхъ нами въ первой книжкѣ „Голосовъ", или мы въ нашихъ статьяхъ „Полярной Звѣзды". Ничего не сбылось изъ пророчествъ пылкой юности. А вѣдь въ два года можно было что-нибудь сдѣлать".[40]

Болѣе рѣзко, чѣмъ „Голоса", говорилъ „Колоколъ" о современномъ положеніи.

„Правительство, вступивъ въ эпоху реформъ, идетъ ощупью, хочетъ и не хочетъ; а тѣ, которые могли бы дать совѣтъ, тѣ бьются какъ рыба объ ледъ, не имѣя голоса".[41] „Изъ застоя мы попали въ хаосъ. Мы бродимъ ощупью въ потемкахъ, толчемся на одномъ мѣстѣ и до сихъ поръ не выбрались на сушь изъ той тины, въ которой вязли тридцать лѣтъ, а только взбудоражили, расплескали ее безъ пользы. Всѣ главныя, существенныя преобразованія у насъ обойдены. Правительство возстаетъ противъ отдѣльныхъ случаевъ, а принципъ, идею, изъ которой вытекаютъ всѣ наши коренныя злоупотребленія, оставляетъ нетронутымъ. Тотъ же произволъ попрежнему главный рычагъ, которымъ управляется русское царство".[42] „Это то же николаевское время, но разварное, съ патокой".[43] „У насъ нѣтъ настоящаго... Первые всходы послѣ суровой и продолжительной зимы поблекли

едва далъ ростки, и мы стали бѣднѣе, чѣмъ были прежде, бѣднѣе всей ненавистью, которую утратили, всѣмъ негодованіемъ, которое смягчилось. Мы поддались весеннему вѣянію, раскрыли давно закалившіяся сердца чувствамъ незнакомымъ съ дѣтства... но намъ не было суждено видѣть исполненіи ни этихъ мечтаній, ни другихъ"...[44] „Мы опять входимъ въ какую-то новую область хаоса и сумерекъ... Пять лѣтъ тому назадъ мы въ первый разъ послѣ семи страшныхъ годовъ, проведенныхъ въ похоронахъ лицъ, народовъ, надеждъ, вѣрованій, взглянули нѣсколько свѣтлѣе на будущее, вздохнули какъ выздоравливающіе послѣ тяжелаго недуга. Неширокая полоса блѣднаго свѣта занялась на русскомъ небосклонѣ. Мы ее предчувствовали, предсказывали середь темной ночи, но не ждали ее такъ скоро—на ней-то сосредоточили мы всѣ наши остальныя упованія и осколки всѣхъ надеждъ. Западу мы были уже чужды... мы собирались, какъ Фортинбрасъ послѣ повѣсти Гораціо продолжать свой путь. На немъ мы недалеко ушли—насъ остановило какое-то болото безъ конца, котораго мы не ждали и которое грозитъ безъ шума и грома, неказисто утянуть мало-по-малу послѣднія силы топкой, скучной грязью, размягчая отчаяніе надеждами и разводя ненависть—сожалѣніемъ... Убѣдитесь, что отъ правительства ждать нечего. Безъ Ахилловой пяты для разума, занятое храненіемъ стараго ритуала и канцелярскихъ формъ, довольное пышнымъ облаченіемъ и матеріальное властью, оно будетъ иной разъ, подъ вліяніемъ современнаго тока идей, судорожно протягивать руку къ прогрессу, всякій разъ пугаясь на порогѣ"...[45] „Когда въ правительствѣ все поворачивается противъ русскаго смысла, противъ русскаго освобожденія и внутренняго развитія, тогда нѣтъ никакой причины надѣяться, что наше желаніе можетъ осуществиться, и поневолѣ смотришь на него какъ на пустую мечту, утопію. А время не останавливается и не терпитъ, и приходится задать себѣ вопросъ: что намъ дѣлать помимо правительства? Примкнетъ оно къ намъ—тѣмъ лучше, тѣмъ легче; не примкнетъ—мы свое дѣло

сдѣлаемъ и безъ него; оно труднѣе, но все же дѣло сдѣлано будетъ, потому что въ нашемъ стремленіи больше жизни и слѣдственно больше силы".[46]

Какъ видимъ, Герценъ былъ очень устойчивъ въ своемъ недовѣріи и за весь періодъ времени, отъ начала новаго царствованія до дарованія первой реформы, онъ обольщенію надеждъ не поддавался — если не считать краткихъ минутъ ранней весны 1855-го года. Ни рескрипты царя, ни губернскіе комитеты, ни редакціонныя коммиссіи, ни уступки въ области печатнаго слова его не подкупали, и даже тогда, когда указъ объ освобожденіи крестьянъ былъ уже составленъ, „Колоколъ" предугадывалъ, что этимъ указомъ никто не останется доволенъ, и предрекалъ, что общество „поневолѣ и со скорбію придетъ къ заключенію: отъ правительства ждать нечего, станемте на свои ноги".[47]

Призывъ къ самодѣятельности давно уже былъ на языкѣ „Колокола", и онъ былъ, дѣйствительно, нужнѣе всякаго призыва къ негодованію.

Однако, какимъ же могло быть то дѣло, за которое нужно было приняться? Оно могло носить характеръ мирной культурной работы *съ согласія правительства*, могло осуществляться въ различныхъ сферахъ дѣятельности, признанной закономъ — но тогда оно рисковало идти черепашьимъ шагомъ; или дѣло могло принять форму революціоннаго акта съ большей или меньшей примѣсью насилія, такъ какъ возможность мирной прогрессивной работы, открытой, но *безъ согласія правительства*, была исключена съ самаго начала. „Колоколу" надлежало высказаться по вопросу о выборѣ между этими двумя путями, если ужъ онъ рѣшился призывать людей „стать самимъ на ноги". Для Герцена вопросъ былъ рѣшенъ самой природой: она отказала ему въ дарѣ истинно революціоннаго духа, агитаторскаго и организаціоннаго. Но выкинуть флагъ мирнаго труда, безъ всякихъ оговорокъ, въ столь боевой моментъ, Герцену было неловко. Онъ, оставаясь миролюбивымъ пропагандистомъ, сталъ пугать читателя и пре[illegible]

ство призракомъ революціи, идущей снизу. Интеллигента онъ не звалъ на революціонный путь, но предупреждалъ, что на этотъ путь можетъ вступить масса, и газета такъ часто и нервно говорила объ этой возможности, что многимъ казалось, будто такое революціонное выступленіе народа признается ею вполнѣ желательнымъ. „Колоколу" такія неосторожныя угрозы причинили много вреда: умѣренные люди сердились на ихъ рѣзкость, люди крайнихъ взглядовъ—на то, что эти революціонныя тирады не болѣе какъ красивая фіоритура.

„Торопитесь! -писалъ Герценъ Государю 10 марта 1855 года.—Спасите крестьянина отъ будущихъ злодѣйствъ, спасите его отъ крови, которую онъ долженъ будетъ пролить" [48] „Скоро будетъ поздно рѣшать вопросъ освобожденія крѣпостныхъ мирнымъ путемъ: мужики рѣшатъ его по-своему Рѣки крови прольются—и кто будетъ виноватъ въ этомъ? Правительство"...[49] „Будетъ поздно, когда крестьянскій топоръ промелькнетъ по барскимъ головамъ".[50] „У насъ ежеминутно слышимъ: крестьяне наши бараны! Да, бараны они до перваго Пугача. Баранами они были, пока не давали имъ никакой надежды на освобожденіе; не то будетъ теперь, когда имъ обѣщали свободу, да потомъ только по губамъ помазали. Бараны —не стали бы волками! Войскомъ не осилишь этихъ волковъ! Солдаты за крестьянъ!" „На себя только надѣйтесь, на крѣпость рукъ своихъ: заострите топоры, да за дѣло—отмѣняйте крѣпостное право, по словамъ царя снизу! За дѣло, ребята, будетъ ждать, да мыкать горе: давно уже ждете, а чего дождались?"[51]

На ряду съ такими угрозами, въ которыхъ стихійная народная сила призывалась на помощь, въ „Колоколѣ" раздавались и иныя угрозы, разсчитанныя на то, чтобы запугать лично самого Государя. Ему грозили заговоромъ дворянъ-олигарховъ.

Отвѣтственность за неумѣстность и нетактичность всѣхъ такихъ угрозъ падаетъ на темпераментъ редактора, но от-

нибудь не на его политическую мысль. Эта мысль, наоборотъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ протестовала противъ революціонаго настроенія и насилія.

„Мы отъ души предпочитаемъ путь мирнаго, человѣческаго развитія путю развитія кроваваго".[52] „Мы вовсе не думали о воззваніяхъ къ дикому насилью".[53] „Мы перестали любить терроръ, въ чемъ бы онъ ни былъ, и какая бы цѣль его ни была. Терроръ столько же ненуженъ, какъ и геній въ наше время. Дѣятельная, мыслящая часть Россіи идетъ быстро впередъ, знаетъ чего хочетъ, заявляетъ это общественнымъ мнѣніемъ".[54] „Не воспользоваться временемъ, чтобы тихо, *бодро* войти въ новый возрастъ; или сбиться съ дороги, когда она такъ ясна—было бы великое несчастие и великое преступленіе"...[55] „Къ топору, къ этому ultima ratio притѣсненныхъ, мы звать не будемъ до тѣхъ поръ, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку безъ топора. Чѣмъ глубже, чѣмъ дольше мы всматриваемся въ Западный миръ, чѣмъ подробнѣе вникаемъ въ явления насъ окружающія и въ рядъ событій, который привелъ къ нимъ Европу, тѣмъ больше растетъ у насъ отвращеніе отъ кровавыхъ переворотовъ; они бываютъ иногда необходимы, ими отдѣлывается общественный организмъ отъ старыхъ болѣзней, отъ удушающихъ наростовъ; они бываютъ роковымъ послѣдствіемъ вѣковыхъ ошибокъ, наконецъ, дѣломъ мести, племенной ненависти. У насъ нѣтъ этихъ стихій: въ этомъ отношеніи наше положеніе беспримѣрно".[56] „Революціонная декламація намъ ненавистна".[57]

Если въ этихъ словахъ заключена правда—а для сомнѣнія нѣтъ основаній,—то зачѣмъ было такъ часто говорить о томъ, противъ чего такъ возставалъ собственный разумъ? „Колоколъ", не будучи революціонно настроенъ, вводилъ въ заблужденіе тѣхъ, кто желалъ видѣть въ немъ органъ русской революціи; и хотя редакторъ настойчиво показывалъ свое несогласіе съ революціонной программой, практически угрозы революціей горячили читателей и созда-

ствовали какъ будто бы и о предрасположеніи къ такой горячкѣ самого редактора.

## IX.

Подписываясь, въ концѣ концовъ, подъ мирной программой, „Колоколъ" долженъ былъ выяснить себѣ дальнѣйшій планъ дѣйствій. Если революціонное вмѣшательство было исключено, то рѣчь могла идти только объ открытой культурной работѣ въ союзѣ съ разными силами, уже дѣйствующими. Такихъ силъ было нѣсколько: правительственная сила и ея глава, интеллигентная сила людей зрѣлыхъ, людей уже сложившагося образа мыслей, преимущественно либеральнаго, наконецъ умственная и нравственная сила подроставшаго поколѣнія, которое еще нуждалось въ руководствѣ. На всѣ эти силы поочередно „Колоколъ" возлагалъ надежды, съ нѣкоторыми готовъ былъ заключить союзъ, но союза не заключилъ и остался въ одиночествѣ.

Къ правительству въ широкомъ смыслѣ слова Герценъ относился съ неизмѣннымъ недовѣріемъ. Вся высшая бюрократія, окружавшая царя, была ему ненавистна и отъ нея онъ не ждалъ ничего для Россіи. Онъ выдѣлялъ изъ этого круга только одного лишь Государя. Лишь онъ одинъ могъ силою своей безграничной власти не только совершить великій актъ освобожденія крестьянъ, но вообще направить Россію на путь соціальнаго и культурнаго обновленія. Хочетъ ли царь этого или не хочетъ? можетъ ли или не можетъ? Искрененъ онъ въ своихъ добрыхъ намѣреніяхъ или нѣтъ? Эти вопросы очень мучили Герцена, и при всемъ своемъ дарѣ читать въ людскихъ сердцахъ онъ не могъ разгадать души Александра II. Что эта душа осталась для Герцена, какъ для психолога, тайной—неудивительно, такъ какъ она и до сихъ поръ остается загадкой; но страннымъ можетъ показаться, что публицистъ и политикъ разрѣшилъ себѣ такія колебанія, какія допустилъ Герценъ въ своихъ

сужденіяхъ о Государѣ. За шесть лѣтъ, съ начала царствованія до подписанія манифеста 19 февраля, возгласы и афоризмы Герцена по адресу царя мѣнялись сообразно тѣмъ свѣдѣніямъ и слухамъ, которые долетали въ Лондонъ о ходѣ реформы. Поддаваясь впечатлѣнію, Герценъ своими рѣчами о Государѣ оскорбилъ патріотовъ и умѣренныхъ, не заслуживъ одобренія радикаловъ. Одни не могли простить Герцену его недовѣрія къ царю, другіе—его довѣрія.

„Какъ медленно и непрямо идетъ Александръ II по тому пути реформъ, о которыхъ самъ столько натолковалъ! какъ мелко плаваетъ его самодержавная ладья!“ 58—писалъ Герценъ. „Такого положенія, какъ Александръ II, не имѣетъ ни одинъ монархъ въ Европѣ—но кому дается много, съ того много и спросится“ |1857].59 „Съ того дня какъ Александръ II подписалъ первый актъ... мы имѣемъ дѣло съ мощнымъ дѣятелемъ, открывающимъ новую эру для Россіи... Онъ работаетъ съ нами для великаго будущаго... Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ онъ могъ безнаказанно остановиться... Мы идемъ съ тѣмъ, кто освобождаетъ и пока онъ освобождаетъ.“ [1858].60 „Александръ II похожъ на тѣхъ средневѣковыхъ паломниковъ, которые ходили въ Іерусалимъ два шага впередъ, да одинъ назадъ,—это лучшая метода, чтобы никуда не дойти и оттоптать себѣ ноги до страшныхъ мозолей“ [1858].61 „Скажемъ прямо и мужественно. Александръ II не оправдалъ надеждъ, которыя Россія имѣла при его воцареніи. Нашъ Колоколъ напрасно звонитъ ему, что онъ сбился съ дороги, звонитъ ему бѣдствія Россіи и собственную опасность“ [1858 .62 „Александръ посулилъ все непрашенъ, а мы и поддались на эту посулу! Онъ наобѣщалъ, распустилъ было немного вожжи, а мы и повѣрили, разрюмились, да еще и въ него вѣруемъ! Въ настоящее время Александръ точно задалъ себѣ задачу: пренебрегать общественнымъ мнѣніемъ, идти наперекоръ ему. Онъ могъ если не все, то многое сдѣлать, и вмѣсто того онъ упуститъ все, затянетъ николаевскую петлю“ [1858] 63 „Дѣло въ томъ, что правительство,

т.-е. царь, вовсе не такъ пламенно жаждетъ реформы, какъ о томъ говорится въ манифестахъ, и вотъ истинная причина, почему реформа не осуществляется... Намъ угрожаетъ путь революціонный. Духъ смущается при этой тяжелой мысли; смущается и за народъ, и за Александра II, государя добраго, снискавшаго себѣ любовь подданныхъ... Не покидаемъ надежды, что онъ, вполнѣ понявъ свое назначеніе, рѣшится оставить узкій, извилистый путь полумѣръ и мужественно пойдетъ по широкой дорогѣ искренней и радикальной реформы" [1858].[64] „Пришла, пришла пора общественнаго подвига. Какъ нѣкогда темный мѣщанинъ Мининъ вызывалъ на битву за Русь князя Пожарскаго,—мы, безвѣстные книгопечатальщики, зовемъ Государя на гражданскій подвигъ освобожденія. Да совершитъ онъ свято свое предназначеніе!" [1859].[65] „Но Александръ II, какъ Фаустъ, вызвалъ духа не по силамъ и перепугался. Какая-то истощающая силы нерѣшительность, шаткость во всѣхъ его дѣйствіяхъ и подъ конецъ совершенно ретроградные поступки. Онъ явнымъ образомъ хочетъ добра и боится его" [1860].[66] „Государь! проснитесь, новый годъ пробилъ. Васъ обманываютъ, вы сами обманываетесь—это святки, все наряженные. Велите снять маски и посмотрите хорошенько, кто друзья Россіи и кто любитъ только свою частную выгоду. Вамъ это потому вдвое важнѣе что *[illegible]* друзья Россіи *[illegible]* и вашими" [1860].[67] „Но кто же въ послѣднее время сдѣлалъ что-нибудь путнаго для Россіи кромѣ Государя?" [1860].[68]

Съ момента назначенія гр. Панина предсѣдателемъ редакціонныхъ коммиссій рѣчь „Колокола" становится очень суровой. „Грустно, грустно и грустно! Не пришлось бы Россіи сказать Александру Николаевичу, какъ сказала Татьяна Онѣгину: „А счастье было такъ возможно, такъ близко!" Твердо перейдемъ время этого тяжелаго испытанія, станемъ добре, и не утратимъ вѣры въ русское развитіе, оттого что слабый государь, спотыкнувшись объ Панина, упалъ... Мы могли поддаваться и уступать, когда главный потокъ шелъ

своимъ русскимъ, теперь другое дѣло! Прощайте, Александръ Николаевичъ, счастливаго пути! Bon voyage!... намъ сюда". [1860].[69] „Благодушнѣйшій монархъ распоряжается почище батюшки, тотъ былъ деспотъ явный, не скрывалъ этого и всякій зналъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло. Этотъ же прикинулся либераломъ, обманывалъ и старается продолжать обманывать всѣхъ" [1860].[70]

Наконецъ, появляется манифестъ 19 февраля, и „Колоколъ" пишетъ: „Александръ II сдѣлалъ много, очень много; его имя теперь уже стоитъ выше всѣхъ его предшественниковъ. Онъ боролся во имя человѣческихъ правъ, во имя состраданія, противъ хищной толпы закоснѣлыхъ негодяевъ и сломилъ ихъ! Этого ему ни народъ русскій, ни всемірная исторія не забудутъ. Мы привѣтствуемъ его именемъ освободителя! Но горе, если онъ остановится, если усталая рука его опустится" [1861].[71] „Да! начало велико. Сегодня мы изъ глубины души говоримъ Александру II: благословенъ грядый во имя свободы! А потомъ—потомъ мы посмотримъ что будетъ" [1861].[72]

Но проходитъ мѣсяцъ; въ Лондонъ долетаютъ слухи о столкновеніи полиціи съ безоружной толпой въ Варшавѣ, и привѣтствія „Колокола" смѣняются яростными обличеніями: „Если все это сдѣлано помимо вашей воли, обличите виновныхъ, укажите злодѣевъ, отдайте ихъ на казнь, или—снимите вашу корону и ступайте въ монастырь на покаяніе; для васъ нѣтъ больше ни чистой славы, ни спокойной совѣсти. Вамъ достаточно было сорока дней, чтобы изъ величайшаго царя Россіи, изъ освободителя крестьянъ, сдѣлаться и т. д... И отчего же нѣтъ никого настолько царю приверженнаго, чтобы сказать ему, что если онъ не умѣетъ плыть по одной доскѣ, то никогда не попадетъ въ двери Царскихъ: мантій въ два цвѣта нѣтъ" [1861][73].

Если расположить всѣ эти возгласы и обращенія въ хронологическомъ порядкѣ и вспомнить, по какимъ этапамъ проходило дѣло объ освобожденіи крестьянъ, то естествен-

вая нервность этихъ отзывовъ „Колокола" о царѣ найдетъ себѣ объясненіе. Какъ примѣръ чуткаго отношенія къ минутѣ они, конечно, заслуживаютъ вниманія, но читатель могъ отъ газеты требовать большаго, чѣмъ чуткости и постояннаго колебанія между довѣріемъ и подозрѣніемъ. Газета, оставаясь искренней въ своихъ измѣнчивыхъ чувствахъ, сердила и тѣхъ, кто съ правительствомъ хотѣлъ ладить, и тѣхъ, кто былъ ему принципіально враждебенъ.

## X.

Въ своихъ отношеніяхъ къ либеральному лагерю „Колоколъ" также допустилъ много неясностей и заручиться этой союзной силой не съумѣлъ. Редакторъ самъ принадлежалъ къ числу идеалистовъ-либераловъ формаціи сороковыхъ годовъ, и было вполнѣ естественно, что онъ въ союзѣ именно съ этими умѣренными прогрессистами началъ кампанію. Въ „Голосахъ изъ Россіи" умѣренный либерализмъ былъ хорошо представленъ, но „Колоколъ" съ первыхъ же номеровъ взялъ такой рѣзкій тонъ, съ которымъ правовѣрный либералъ не могъ помириться.

Кто изъ умѣренныхъ былъ помоложе—тотъ не побоялся прямо высказать газетѣ свое неодобреніе. Такъ поступилъ Чичеринъ. Письмо, написанное имъ Герцену въ 1858 г. и напечатанное въ „Колоколѣ" документъ большой цѣны. „Васъ упрекаютъ—писалъ Чичеринъ—въ шаткости, въ легкомысліи. Упрекъ этотъ повторяется, смѣю сказать, значительною частью мыслящихъ людей въ Россіи. Здѣсь рѣчь идетъ о различныхъ направленіяхъ русскаго общества, о различіи взглядовъ на современные вопросы, скажу болѣе, о различіи политическихъ темпераментовъ, что, можетъ быть, глубже всего раздѣляетъ людей... Положеніе ваше исключительное, можно сказать почти единственное въ мірѣ... Какая почва для политическаго писателя—правительство, ищущее опоры; народъ, жаждущій гласности. И передъ этими требованіями

стоите вы одинъ, далеко отъ стѣсненій, вдали отъ партій, отъ мгновенныхъ страстей, отъ сплетенъ и дрязгъ... Вы можете взвѣсить каждое свое слово, спокойно и безпристрастно высказать правду всѣмъ и каждому, обличать злоупотребленія, дѣйствовать на правительство, давать направленіе обществу, развивать зрѣющую политическую мысль; наконецъ, вы можете показать, что такое свободное русское слово. Вы сила, вы власть въ русскомъ государствѣ. Какъ же исполняете вы свою задачу? Какую пищу вы намъ даете? Что мы отъ васъ слышимъ? Мы слышимъ отъ васъ не слово разума, а слово страсти. Вы человѣкъ брошенный въ борьбу, вы исходите страстной вѣрой и страстнымъ сомнѣніемъ, истощаетесь гнѣвомъ и негодованіемъ, впадаете въ крайность, спотыкаетесь много разъ... Политическій дѣятель, который истощается гнѣвомъ, спотыкается на каждомъ шагу, носится туда и сюда по направленію вѣтра, тѣмъ самымъ подрываетъ къ себѣ довѣріе; впадая въ крайность, онъ губитъ собственное дѣло... Въ такую пору (какъ наша) нужно не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успокаивать раздраженіе умовъ, чтобы вѣрнѣе достигнуть цѣли. Или вы думаете, что гражданскія преобразованія совершаются одною страстью, кипѣніемъ гнѣва? Впрочемъ я забываю, что вы къ гражданскимъ преобразованіямъ довольно равнодушны. Гражданственность, просвѣщеніе не представляются вамъ драгоцѣннымъ растеніемъ, которое подобно заботливо насаждать и терпѣливо лелѣять, какъ лучшій даръ общественной жизни. Вамъ во что бы то ни стало нужна цѣль, а какимъ путемъ она достигается — безумнымъ и кровавымъ или мирнымъ и гражданскимъ, это для васъ вопросъ второстепенный... Вы открываете страницы своего журнала безумнымъ воззваніямъ къ дикой силѣ; вы сами, стоя на другомъ берегу, съ спокойной и презрительной ироніей указываете намъ на палку и на топоръ, какъ на поэтическіе капризы, которымъ даже мѣшать неучтиво. И откуда вся эта тревога? По какому поводу возгорѣлось негодованіе? Прежде [illegible]

что-либо успѣло совершиться, вы уже забили тревогу, вы отъ восторга перескочили къ отчаянію: все пропало—правительство пошло назадъ, Александръ II не оправдалъ возложенныхъ на него надеждъ; крестьяне, точите топоры! Что же случилось въ этотъ промежутокъ? Закрыты ли комитеты? Измѣнены ли существенныя условія преобразованія? Ничуть не бывало... Умѣренностью, осторожностью, разумнымъ обсужденіемъ общественныхъ вопросовъ вы могли внушить къ себѣ довѣріе правительства; въ настоящее время вы только его пугаете. Все, что есть въ Россіи невѣжественнаго, отсталаго, закоснѣлаго въ предразсудкахъ, погрязлаго въ мелкихъ интересахъ, все это съ торжествомъ указываетъ на васъ и говоритъ: вотъ послѣдствія либеральнаго направленія, вотъ что производитъ слово, освобожденное отъ оковъ... Въ обществѣ молодомъ, которое не привыкло еще выдерживать внутреннія бури и не успѣло пріобрѣсти мужественныхъ добродѣтелей гражданской жизни, страстная политическая пропаганда вреднѣе, нежели гдѣ-либо. У насъ общество должно купить себѣ право на свободу разумнымъ самообладаніемъ, а вы къ чему его пріучаете? Къ раздражительности, къ нетерпѣнію, къ неуступчивымъ требованіямъ, къ неразборчивости средствъ... Вы потакаете тому легкомысленному отношенію къ политическимъ вопросамъ, которое и такъ уже слишкомъ у насъ въ ходу... Намъ нужно независимое общественное мнѣніе, это едва ли не первая наша потребность, но общественное мнѣніе умѣренное, стойкое, съ серьезнымъ взглядомъ на вещи, съ крѣпкимъ закаломъ политической мысли, общественное мнѣніе, которое могло бы служить правительству и опорою въ благихъ начинаніяхъ, и благоразумной задержкой при ложномъ направленіи. Бранью же, Боже мой, и безъ того полнится русская земля... Привычка замѣнять дѣло эффектнымъ бездѣйствіемъ опасна для политическаго образованія народа; общество, воспитанное на остроумныхъ выходкахъ, становится неспособнымъ къ разумному рѣшенію тяготѣющихъ надъ

нимъ вопросовъ... Въ политическомъ журналѣ влеченія страсти должны замѣняться зрѣлостью мысли и разумнымъ самообладаніемъ. Если подобное требованіе есть доктрина, пусть это будетъ доктринерствомъ, объ словѣ нечего спорить. Вамъ такой образъ дѣйствія не нравится, вы предпочитаете быстро перегорать, истощаться гнѣвомъ и негодованіемъ. Истощайтесь! таковъ вашъ темпераментъ; его не перемѣнишь".[74]

Это замѣчательное письмо, которое въ отрывкахъ очень проигрываетъ, а въ цѣломъ представляетъ собою рѣдкій образецъ литературной публицистики, надѣлало большого шуму. Оно вызвало рѣзкое порицаніе даже среди либераловъ, и, конечно, авторъ былъ неправъ по существу, такъ какъ Герценъ ни въ какомъ революціонномъ подстрекательствѣ виновенъ не былъ. Но характерно то, что онъ могъ показаться подстрекателемъ даже такимъ проницательнымъ и умнымъ людямъ, какъ Чичеринъ.

Этотъ эпизодъ съ письмомъ Чичерина указываетъ прежде всего на то, какъ вредилъ Герцену его темпераментъ, заставлявшій его рѣчь часто сбиваться съ умѣреннаго тона и впадать въ лиризмъ, который легко могъ быть принятъ за революціонный паѳосъ. Но письмо Чичерина, кромѣ того — несомнѣнный показатель настроенія либераловъ, которые, не имѣя вполнѣ убѣдительныхъ доказательствъ, были увѣрены въ томъ, что ихъ собратъ зашелъ слишкомъ влѣво и утратилъ чувство мѣры, необходимое для успѣшной работы болѣе чѣмъ когда-либо. Герценъ, который вполнѣ могъ за себя ручаться, былъ оскорбленъ такимъ недовѣріемъ и такимъ непониманіемъ и самъ съ этой минуты сталъ смотрѣть на „либераловъ" и „доктринеровъ" косо. Ему казалось, что того необходимаго „нерва", который теперь такъ нуженъ для плодотворной работы, у этихъ людей, находящихся всецѣло во власти системъ и теорій—не имѣется.

На письмо Чичерина Герценъ отвѣчалъ безъ обычной силы, какъ-то вяло. Упрекъ въ томъ, что его дѣло прямо

сить вредъ Россіи, онъ устранялъ довольно страннымъ указаніемъ на возрастающее число людей, ему симпатизирующихъ и его читающихъ. Автора письма онъ почему-то счелъ „административнымъ" прогрессистомъ. „Письмо писано съ точки зрѣнія административнаго прогресса, гувернементальнаго доктринаризма — говорилъ онъ. Мы эту точку зрѣнія никогда не принимали. Что же удивительнаго, что мы не ея путями и шли. Мы не представляли себя никогда ни правительственнымъ авторитетомъ, ни государственными людьми. Мы хотѣли быть протестомъ Россіи, ея крикомъ освобожденія и крикомъ боли, мы хотѣли быть обличителями злодѣевъ, останавливающихъ успѣхъ, грабящихъ народъ, мы хотѣли быть не только местью русскаго человѣка, но его ироніей — не больше".[75] Но протестомъ Россіи былъ вѣдь и авторъ письма, который потомъ, во все продолженіе долгой своей жизни, оставался образцомъ свободно мыслящаго гражданина. Что же касается „ироніи", то неужели Герценъ серьезно утверждалъ, что онъ хотѣлъ быть местью и ироніей *не больше*? Одинъ изъ защитниковъ Герцена въ этомъ спорѣ подошелъ ближе къ сущности дѣла, и возражая Чичерину писалъ: „Сердце необходимо для мысли и для разработки ея: дѣятель и мыслитель безъ сердца гробъ. Люди, отъ лица которыхъ я пишу, считаютъ себя, также какъ вы считаете себя, людьми мыслящими и глубоко обдуманными. Если эти люди сдерживаютъ порывы сердца, то не потому, что считаютъ увлеченіе преступленіемъ: они не увлекаются потому, что считаютъ, до поры до времени, неизбѣжнымъ имѣть то же вооруженіе, какъ и вы, чтобы навѣрное разить васъ, васъ, холодныхъ доктринеровъ, васъ, воспитанниковъ фальшивой науки, васъ, которые царствуютъ и мертвятъ все, васъ, которыхъ надо спихнуть. Мысль этихъ людей, при томъ же наружномъ вооруженіи, какъ и ваше, кроетъ въ себѣ теплоту, душу, сердце; ихъ мысль — полнота, жизнь, свѣжесть, зрѣлость; ваша — вооружена, но бездушна и скоро сдаетъ... Вы полагаете, что люди увлеченія,

люди сердца безполезны, что вы одни только дѣлаете дѣло — ошибаетесь! Призваніе этихъ людей—шевелить, будить, одушевлять и оживлять все; призваніе же людей безъ теплаго сердца, не отвергая нѣкоторыхъ положительныхъ сторонъ— по преимуществу призваніе отрицательное: своимъ неполнымъ, ограниченнымъ взглядомъ на жизнь, взглядомъ возмущающимъ душу, они призваны развивать энергію мысли тѣхъ, которые рано или поздно должны быть призваны къ дѣятельности положительной... Будьте покойны, „Колоколъ" не будетъ причиной пролитія хотя единой капли крови. Это вы! вы! единственно вы можете быть причиной".[76]

Въ томъ же номерѣ „Колокола" за Чичерина и за либераловъ заступился одинъ корреспондентъ. „Ознакомьтесь съ идеями людей, подобныхъ Чичерину и не менѣе васъ образованныхъ и любящихъ Россію,—говорилъ онъ Герцену. Не отвергая безусловно ихъ сообщничество, вы наживете себѣ много приверженцевъ. Отдѣляя людей такого рода отъ *своей партіи*, вы говорите: „кто не съ нами, тотъ противъ насъ" и ослабляете противодѣйствіе тому злу, противъ котораго и они, и вы!.. Оставя давно Россію подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ тогдашняго общественнаго ея состоянія, когда ничего не было основательно обсуждено и разъяснено, вы невольно переносите это впечатлѣніе на ваше теперешнее воззрѣніе; а между тѣмъ какая разница: на сколько вопросовъ вамъ бы отвѣтили положительно, раціонально; теперь прошла пора либераловъ вродѣ Репетилова. Отъ безплодной оппозиціи, пустыхъ воззваній и порицаній ex abrupto, отъ свѣтскихъ толковъ и либеральныхъ, голословныхъ преній, истинно образованные члены русскаго общества начинаютъ отказываться; гибельный примѣръ крайнихъ убѣжденій послужилъ урокомъ по крайней мѣрѣ этому меньшинству, и оно *знаетъ, чего хочетъ*. Оно видитъ, что настоящая эпоха требуетъ не слова, а дѣла, что государственные перевороты, какъ бы они ни совершались, во всякомъ случаѣ народныя бѣдствія для правыхъ и виноватыхъ

что всякая реформа, когда она обагрится кровью, рискуетъ потонуть въ ея потокахъ—и что язвы нашего отечества столь же безумно лечить топоромъ крестьянина, сколь нелѣпо лечить холеру скальпелемъ оператора; оно знаетъ, наконецъ, что нарушеніе коренныхъ законовъ государственнаго существованія влечетъ иногда за собою рядъ послѣдствій, худшихъ тѣхъ бѣдствій, отъ которыхъ надлежитъ избавиться. Оно хочетъ постепеннаго и систематическаго преобразованія извѣстныхъ административныхъ и общественныхъ формъ въ другія, болѣе свойственныя настоящимъ потребностямъ Россіи: оно хочетъ возстановить равновѣсіе въ гражданскихъ правахъ, какъ личныхъ, такъ и общественныхъ, не только сословія крестьянъ—но и всѣхъ прочихъ".[77]

Подъ этой либеральной программой Герценъ вѣроятно бы подписался, если бы въ немъ было больше вѣры въ возможность ея осуществленія при господствующемъ режимѣ. Но такой вѣры въ немъ не было, не было у него потому и никакого плана закономѣрнаго дѣйствія. Поддаваясь настроенію, онъ то сердился и говорилъ рѣзко когда бывалъ недоволенъ ходомъ дѣлъ въ Россіи, то говорилъ мягко, совсѣмъ въ „либеральномъ" духѣ когда на русскомъ общественномъ горизонтѣ ему чудился просвѣтъ. Такое колебаніе, конечно, никого не удовлетворяло, и быть можетъ менѣе всего—самого Герцена. Онъ былъ въ очень возбужденномъ нервномъ состояніи и этимъ объясняется его раздраженіе противъ „либераловъ", которые, пройдя съ нимъ одну школу жизни, могли, казалось бы, глубже заглянуть ему въ душу и лучше понять его. Своему гнѣву на нихъ Герценъ давалъ въ „Колоколѣ" волю, правда, изрѣдка, такъ какъ нападать часто на „либераловъ" значило всетаки бить по своимъ; кольнуть же ихъ при случаѣ было нелишнее. „Мы боимся—писалъ Герценъ—*русскихъ нѣмцевъ* и *нѣмцевъ русскихъ*, ученыхъ друзей нашихъ западныхъ доктринеровъ, донашивающихъ старое платье съ плечъ политической экономіи, правовѣдѣнія и пр., централизаторовъ

по-французски и бюрократовъ по-прусски. Они дальше барства, они честнѣе чиновничества, оттого-то мы и боимся ихъ; они собьютъ съ толку императора, который стоитъ безпомощно, и шаткое, едва складывающееся общественное мнѣніе. Они могутъ ихъ сбить, потому что ихъ воззрѣніе выше общаго уровня нашего образованія и очень доступно среднему пониманію. Ихъ мнѣнія либеральны въ пользу разумной свободы и умѣреннаго прогресса, они говорятъ противъ взятокъ, противъ произвола, они хотятъ улучшить [illegible], и пожалуй заставятъ насъ уважать приказныхъ, полицію, земскій судъ... Они примирятъ насъ со всѣмъ тѣмъ, что мы презираемъ и ненавидимъ, и улучшивши упрочатъ все, что слѣдовало выбросить за окно, что, оставленное въ своей гнусности, само собою выгнило бы, окруженное здоровыми силами народа русскаго".[78]

Такъ натянуты были отношенія между людьми, которые могли бы сговориться и размежеваться мирно въ общей работѣ. Но моментъ былъ нервный и такое размежеваніе невозможно. Либералы отъ разногласія съ Герценомъ ничего не теряли, такъ какъ оставались при своей работѣ, на своихъ постахъ, въ границахъ большей или меньшей законности. Но Герценъ несомнѣнно проигрывалъ: онъ терялъ многихъ союзниковъ, которые, хотя въ борьбѣ и не годились, но симпатіей своей несомнѣнно могли способствовать укрѣпленію престижа газеты. Впрочемъ въ симпатіи большинство лицъ либеральнаго лагеря „Колоколу" не отказывали, но эта была сострадательная симпатія, и она не могла замѣнить настоящей солидарности.

## XI.

Стоя въ прямой оппозиціи къ правительству, [illegible] на минутныя вспышки довѣрія къ царю, и находясь въ натянутыхъ отношеніяхъ съ либералами, Герценъ [illegible]

долженъ былъ искать союза съ подростающимъ поколѣніемъ, радикальныя убѣжденія котораго только что начали выясняться. Редакторъ „Колокола“ могъ надѣяться, что съ этими еще несформировавшимися людьми онъ поладитъ легче, чѣмъ со стариками и людьми уже сложившимися.

„Колоколъ“ не былъ скупъ въ своихъ привѣтствіяхъ молодежи. „Свободное русское слово — писалъ Герценъ въ первомъ же номерѣ „Колокола“ — раздается среди юнаго поколѣнія, которому мы передаемъ нашъ трудъ. Не завидуя смотримъ мы на свѣжую рать, идущую обновить насъ, и дружески ее привѣтствуемъ. Ей радостные праздники освобожденія — намъ благовѣсть“.[79] „Какъ хорошо было бы поскорѣй приблизить молодыхъ людей къ работѣ. Для этого слѣдовало бы прежде всего уничтожить чины, и тогда молодые люди могли бы занимать важныя мѣста — а въ этомъ уже давно чувствуется потребность“.[80] „Мы поставили эпиграфомъ vivos voco! Гдѣ же живые въ Россіи? Живые — это тѣ разсѣянные по всей Россіи люди мысли, люди добра всѣхъ сословій, мужчины и женщины, студенты и офицеры, которые краснѣютъ и плачутъ, думая о крѣпостномъ состояніи, о безправіи въ судѣ, о своеволіи полиціи, которые пламенно хотятъ гласности, которые съ сочувствіемъ читаютъ насъ. „Колоколъ“ — ихъ органъ, ихъ голосъ; на безплодныхъ каменистыхъ вершинахъ некому его слушать, чистый звонъ его можетъ раздаться сильнѣе въ долинѣ“.[81] „Къ вамъ, молодые люди, къ вамъ, сидящимъ еще на скамейкахъ и въ аудиторіяхъ, обращаюсь я теперь. Вамъ выпадаетъ на долю великое, небывалое дѣло. Вы будете призваны спасти міръ и осуществить истинное царство Христово. Начните съ того, что, изучая науки общественнаго устройства, по преимуществу касающіяся экономическихъ отношеній и естественныхъ правъ человѣка, не вѣрьте имъ, какъ бы они повидимому ни удовлетворяли; изучайте ихъ глубоко для того, чтобы убѣдиться, что въ нихъ забыто сердце; изучайте

для того, чтобы предать ихъ проклятью; изучайте для того, чтобы разрушить ихъ и создать новое зданіе". [82]

Не ограничиваясь такими общими привѣтствіями, газета брала молодое поколѣніе открыто подъ свою защиту во всѣхъ его столкновеніяхъ съ правительствомъ. Эти столкновенія происходили пока лишь на почвѣ студенческой академической жизни, и политическаго элемента въ нихъ еще не было. „Колоколъ" очень рѣшительно подчеркивалъ опасность, которая грозитъ правильному ходу учебной жизни отъ тенденціи придавать студенческимъ безпорядкамъ непремѣнно политическую окраску. Во всѣхъ случаяхъ, когда студенчеству приходилось сталкиваться съ полиціей, университетскимъ начальствомъ, губернаторской властью или министерствомъ, „Колоколъ" отводилъ на своихъ страницахъ много мѣста подробному отчету о происшествіи и не скрывалъ своей симпатіи къ молодежи. [83] Но становясь на сторону молодежи, газета предостерегала ее отъ опасности горячки. „Съ чистой совѣстью и съ откровенностью любви мы рѣшаемся умолять васъ—писалъ Герценъ студентамъ—*Силы берегите*; вы можете погубить не только себя, но гораздо больше. *Россія не нуждается* въ этой жертвѣ. Есть стадіи развитія организма, требующія болѣе строгой гигіены. Россія именно теперь находится въ такомъ состояніи. Ничто старое не вырвано съ корнемъ, ничто новое не пустило еще корни. Опереться не на что. Внѣ благородныхъ инстинктовъ Государя съ одной стороны и части общества съ другой, внѣ удвоенной умственной дѣятельности и того трепетнаго ожиданія, которое предваряетъ великое будущее *[illegible]*, ничто не обезпечено! Возлѣ васъ великій примѣръ, взгляните на тихій океанъ крестьянскаго міра, ожидающаго въ величавомъ покоѣ уничтоженія позорнаго рабства. Какъ были бы рады плантаторы-помѣщики, еслибъ они могли вызвать бурю. Силы ваши силы Россіи, берегите ихъ для нея, не тратьте ихъ попусту, намъ столько дѣла впереди, столько борьбы!" [84] „Мы приглашаемъ васъ къ доблестному спокойствію. Сильные въ

судорожныхъ взрывахъ, которые обличаютъ только нервное разстройство; сила—въ крѣпкой мысли и спокойномъ дѣйствіи".[85]

Восторженныя слова, сказанныя Герценомъ по адресу молодежи, нашли себѣ жестокую поправку на страницахъ того же „Колокола“. „И „Колоколъ“ отдалъ дань своему времени—писалъ одинъ будто бы юный корреспондентъ.— И „Колоколъ“ прилелѣялъ капризнаго божка, извѣстнаго подъ именемъ *молодого поколѣнія*. Ему честь! ему дань! Мы сами молоды и потому чувствуемъ въ себѣ силу сказать, что вы слишкомъ пристрастны къ намъ. Вы вѣрно забыли, въ какой безотрадной пустотѣ идетъ жизнь русской молодежи. О военной и говорить нечего. И статская—сплетничаетъ, день и ночь толчется по переднимъ. Университетская книга закрыта; ее замѣняетъ послѣдній романъ Дюма, послѣдняя книжка русскаго періодическаго изданія. Постоянный подписчикъ русскаго учено-литературнаго журнала — это какой-то евнухъ науки. Верхушки знанія, готовые результаты и окончательные выводы растлѣваютъ умъ. Ваши статьи сильно волнуютъ юную кровь. Ошеломленные, мы бродимъ нѣкоторое время въ ослѣпительныхъ лучахъ грядущаго новаго, но затѣмъ, подумавши, возвращаемся къ старому порядку вещей со всѣми его мелкими служебными и частичными интрижками, блестящими парадами, университетскими дипломами на званіе губернскихъ секретарей и титулярныхъ совѣтниковъ. Благодаря природной русской лѣни, мы вообще большіе консерваторы. Еще ничего не сдѣлавши, мы начинаемъ уже зѣвать, потягиваться. Дыханіе у насъ коротко, какъ у чахоточныхъ. Притомъ странная разъединенность въ интересахъ. Повторяю, вы относитесь слишкомъ горячо къ этимъ безбородымъ юношамъ. Всюду и много есть благородныхъ исключеній, кто объ этомъ спорить? Но всетаки, говоря вообще, нельзя ставить русское молодое общество очень высоко надъ старымъ. Повѣрьте, мы унесли въ своемъ развитіи порядочный запасъ староза-

вѣтныхъ гадостей. Мы до гадости осторожны въ словахъ и на дѣлѣ. Гуманность—нѣчто въ родѣ моднаго фрака, который мы щеголяемъ и который намъ рѣжетъ подъ мышками и лопаетъ по швамъ... Молодой больше разсуждалъ стараго, потому что онъ больше учился. Университетъ далъ ему крылья, но увы! восковыя; а подъ разъѣдающей волной русской жизни намъ нужны крылья стальныя. Нѣтъ! недалеко ушли мы отъ стараго поколѣнія. Послѣднее было проще нашего, искреннѣе, непосредственнѣе... О русскихъ дѣвицахъ я и говорить не хочу. Это вѣчныя паріи. Онѣ безотвѣтственны, потому что ихъ воспитаніе и образъ жизни снимаютъ съ нихъ всякую отвѣтственность. Ихъ должно сожалѣть, осторожно осуждать. Семейныя отношенія подѣлали изъ нихъ полу-трупы, отъ которыхъ жизнь сторонится".[86]

Что можно было возразить на эти слова, въ которыхъ несомнѣнно была большая доля правды—той самой правды, которую въ тѣ же годы откровенно говорилъ въ глаза молодежи Добролюбовъ? Герценъ понималъ, что молодое поколѣніе пока еще только—обѣщаніе, но это обѣщаніе было ему такъ дорого, что оставить вышеприведенныя слова безъ возраженія онъ не счелъ возможнымъ. Онъ отвѣтилъ на нихъ, при случаѣ, указаніемъ на историческія условія, въ которыхъ молодежь выростала. „Одно изъ ужаснѣйшихъ посягательствъ прошлаго царствованія—писалъ онъ—состояло въ его настойчивомъ стремленіи сломить отроческую душу. Правительство подстерегало ребенка при первомъ шагѣ въ жизнь и развращало кадета-дитя, гимназиста-отрока, студента-юношу. Безпощадно, систематически вытравляло оно въ нихъ человѣческіе зародыши, отучало ихъ, какъ отъ порока, отъ всѣхъ людскихъ чувствъ—кромѣ покорности... Здоровая мощь русская была сильнѣе гнета; но какой цѣной купили юные страдальцы святое святыхъ своей человѣческой души? Посмотрите на это чахлое, нервное, тревожное внутри, не вѣрующее болѣе ни во что свѣтлое, невѣрующее въ себя поколѣніе; это—та доля, которая *черезъ ил* душевредитель-

ства правительственнаго воспитанія. А сколько умерло, сложивши голову, не зная свѣтлаго дня послѣ вступленія въ корпусъ или школу?..“[87]

Послѣ всѣхъ такихъ рѣчей редакторъ, естественно, могъ разсчитывать, что симпатіи молодого поколѣнія будутъ на его сторонѣ.

Разногласія между „Колоколомъ“ и радикалами этими его послѣдними союзниками начались, однако, очень скоро. Уже въ 1858-мъ году одинъ корреспондентъ писалъ: „Ради Бога не облагораживайте произвольными вашими толкованіями дѣйствій нашего правительства, неспособнаго ни на какое сколько-нибудь разумное, раціональное дѣйствіе. Послѣ морознаго царствованія Николая настала Александровская оттепель, весна, не весна, а такъ: то пригрѣетъ, отпуститъ, то снова подморозитъ, поприедержитъ, точь въ точь петербургская весна. распустилась наша обильная непроходимая грязь. Трудъ великій, могучая воля нужны... Неприятно и грустно намъ видѣть, что вы влагаете въ ножны мечъ, поднятый для истребленія гадовъ, наполняющихъ Россію. Ни одного удара и уже примиреніе. Не крестьянское ли дѣло васъ обезоружило? Не приплетайте сюда и не взводите на правительство опять благородства. Увлекаясь сердцемъ, вы ставите невольно впередъ вашу личность, съ вашей теплой любовью къ Россіи, тоской по ней. Не позволяйте же этому нѣжному чувству превратиться въ слабость, которою можетъ воспользоваться казенная Россія“.[88] На это письмо, на этотъ „рѣзкій отголосокъ мнѣнія, которое нельзя не уважать“, редакторъ отвѣчалъ въ очень миролюбивомъ тонѣ и пока не сердился. Но въ редакцію стали поступать письма въ болѣе рѣзкомъ тонѣ, даже въ тонѣ настолько неучтивомъ, что Герценъ былъ вынужденъ помѣстить такую замѣтку: „Что мнѣ сказать о письмѣ, полученномъ мною, и въ которомъ меня осыпаютъ упреками за умѣренность, сентиментальность, уступки, суетное самолюбіе. Уважая сколько-нибудь человѣка, нельзя писать къ нему въ такихъ выра-

женіяхъ; если же эти господа не уважаютъ меня, зачѣмъ они пишутъ? Мнѣ было больно читать такія строки изъ нашего стана".[89] Станъ признается пока еще „нашимъ", хотя тонъ рѣчи редактора былъ уже обиженный. Наконецъ въ 1860-мъ году газета помѣщаетъ письмо „одного изъ друзей"— письмо въ высшей степени характерное, въ которомъ, при всей „дружбѣ", совершенно ясно чувствуется полное несогласіе въ принципахъ. „Все, что есть живого и честнаго въ Россіи, съ радостью, съ восторгомъ встрѣтило начало вашего предпріятія — писалъ корреспондентъ Герцену — и всѣ ждали, что вы станете обличителемъ царскаго гнета, что вы раскроете передъ Россіей источникъ ея вѣковыхъ бѣдствій... и что же? Вмѣсто грозныхъ обличителей неправды, съ береговъ Темзы несутся къ намъ гимны Александру II... По всему видно, что о Россіи настоящей вы имѣете ложное понятіе. Помѣщики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкиваютъ васъ надеждами на прогрессивныя стремленія нашего правительства, но не всѣ же въ Россіи обманываются призраками... Только силой можно вырвать у власти человѣческія права для народа, только тѣ права прочны, которыя завоеваны; что дается, то легко и отнимается... Не увлекайтесь толками о нашемъ прогрессѣ, мы все еще стоимъ на одномъ мѣстѣ; во время великаго крестьянскаго вопроса намъ дали на потѣху, для развлеченія нашего вниманія, безымянную гласность; но чуть дѣло коснется дѣла, тутъ и прихлопнутъ... Не вводите въ заблужденіе другихъ, не отнимайте энергіи, когда она многимъ пригодилась бы. Надежда въ дѣлѣ политики — золотая цѣпь, которую легко обратить въ кандалы подающій ее. Нѣтъ! наше положеніе ужасно, невыносимо и только топоръ можетъ насъ избавить, и ничто кромѣ топора не поможетъ. Вы все сдѣлали, что могли, чтобы содѣйствовать мирному рѣшенію дѣла; перемѣните же тонъ и пусть вашъ „Колоколъ" благовѣститъ не къ молебну, а звонитъ набатъ. Къ топору зовите Русь!"[90] На этотъ призывъ редакторъ отвѣ-

чалъ, сохраняя по возможности внѣшнее спокойствіе: „Что же у васъ готово?—спрашивалъ онъ.—Мы не знаемъ. Отступило ли оскорбленное меньшинство въ сторону, составило ли тотъ первый punctum saliens, по которому примкнутъ родные атомы, разсѣянные теперь въ неопредѣленномъ исканіи и броженіи? Сдѣлано это или нѣтъ? И это не все. Призывающимъ къ топору, надобно овладѣть движеніемъ, надобно имѣть организацію, надобно имѣть планъ, силы и готовность лечь костьми не только схватившись за рукоятку, но схвативъ за лезвіе, когда топоръ слишкомъ расходится? Есть ли все это у васъ?"[91] Теперь наконецъ появились эти „вы", которыхъ редакторъ называлъ раньше то „мы", то „наши".

Изъ всѣхъ такихъ писемъ и отвѣтовъ (а въ „Колоколъ" несомнѣнно попадала лишь самая незначительная ихъ часть) видно, какъ назрѣвало несогласіе между газетой и людьми все болѣе и болѣе передвигавшимися влѣво. Герценъ не могъ не знать о такомъ передвиженіи; быть можетъ онъ молча и привѣтствовалъ его, какъ яркій симптомъ быстраго общественнаго развитія. Но онъ чувствовалъ себя задѣтымъ, отчасти обиженнымъ тѣмъ тономъ, въ какомъ съ нимъ говорили; онъ чувствовалъ себя слишкомъ сильнымъ, чтобы добровольно отойти въ тѣнь и признать себя только предтечей. Герценъ начиналъ сердиться.

Только его раздраженіемъ и можно объяснить появленіе въ „Колоколѣ" двухъ статей, которыя радикалы имѣли полное право счесть за начало открытаго разрыва между отцами и дѣтьми. Первая статья мѣтила въ „Современникъ" и была направлена противъ извѣстнаго „Свистка" Добролюбова. Герценъ почему-то вдругъ взъѣлся на Добролюбова за его насмѣшки надъ русской гласностью, которая была въ большинствѣ случаевъ толченіемъ воды въ ступѣ, и за его глумленіе надъ русской обличительной литературой, занимавшейся крохоборствомъ и подборомъ незначащихъ мелочей. Герценъ былъ такъ сердитъ, что, вопреки обыкновенію, первый наговорилъ Добролюбову дерзостей. „Журнали-

писалъ онъ,—сдѣлавшіе себѣ пьедесталъ изъ благородныхъ негодованій и чуть не ремесло изъ мрачныхъ сочувствій со страждущими—катаются со смѣху надъ обличительной литературой, надъ неудачными опытами гласности. И это не то, чтобъ случайно, но при большомъ театрѣ ставятъ особые балаганчики для освистыванія первыхъ опытовъ свободнаго слова литературы, у которой еще не заросли волосы на полголовѣ, такъ она недавно сидѣла въ острогѣ... Смѣхъ есть вещь судорожная, и на первую минуту человѣкъ смѣется всему смѣшному, но бываетъ вторая минута, въ которой онъ краснѣетъ и презираетъ и свой смѣхъ, и того, кто его вызвалъ... Мы сами очень хорошо видѣли промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности; но что же тутъ удивительнаго, что люди, которыхъ всю жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишкомъ много говорятъ объ этомъ теперь? Они еще больше молчали объ этомъ! Въ такое время, какъ наше, пустое балагурство скучно, неумѣстно; но оно дѣлается отвратительно и гадко, когда привѣшиваетъ свои ослиные бубенчики къ тройкѣ, которая, въ поту и выбиваясь изъ силъ, вытаскиваетъ можетъ иной разъ оступаясь—нашу телѣгу изъ грязи! Истощая свой смѣхъ на обличительную литературу, милые паяцы наши забываютъ, что по этой скользкой дорогѣ можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но и до *Станислава на шею*!“[92]

Тотъ, кто перелистывалъ „Свистокъ“, можетъ удивиться и смыслу рѣчи Герцена, и въ особенности ея тону. Принимать такъ къ сердцу простую остроумную шутку „Свистка“—къ тому же шутку въ общественномъ смыслѣ вполнѣ благонамѣренную—можно было лишь при наличности большого запаса затаенной злобы противъ лица, которое себѣ такую шутку позволило. Герценъ лично не зналъ Добролюбова, но образъ мыслей радикальнаго кружка, сгруппировавшагося вокругъ „Современника“, несомнѣнно былъ ему извѣстенъ. Съ конечными взглядами этого кружка онъ, минутами, мог быть

даже согласенъ, но темпераментъ этихъ людей былъ ему очень непріятенъ. Зато и его „формація" становилась не по душѣ молодому поколѣнію. Статья въ „Колоколѣ" задѣла Добролюбова за живое, и онъ отвѣчалъ на нее письмомъ. Къ сожалѣнію, письмо это пока не разыскано, но легко догадаться, въ какомъ духѣ оно было написано. О немъ можно судить по тому разговору, который Герценъ имѣлъ съ Чернышевскимъ, когда Чернышевскій, для выясненія отношеній между „Современникомъ" и „Колоколомъ" побывалъ въ Лондонѣ.

Разговоръ этихъ двухъ вождей союзной рати, уже разъѣдаемой несогласіями, занесенъ самимъ Герценомъ на страницы „Колокола" подъ заглавіемъ: „Лишніе люди и желчевики". Въ этой статьѣ устанавливалась параллель между двумя поколѣніями — между людьми, состарившимися при старомъ режимѣ и сознавшими себя „лишними", и ихъ младшими братьями и, можетъ быть, дѣтьми, которыя подросли при томъ же режимѣ и находились въ *полномъ* цвѣту къ 1855-му году. Это молодое поколѣніе, представителемъ котораго Герценъ считалъ своего собесѣдника, онъ обозвалъ „желчевиками". Ихъ разливавшаяся „желчь" была Герцену непріятна, такъ какъ онъ чувствовалъ, что въ порывѣ гнѣва они не пощадятъ и его, кому они во всякомъ случаѣ были многимъ обязаны. Герценъ былъ готовъ зачислить себя самого въ разрядъ „лишнихъ" людей, лишь бы подчеркнуть свое принципіальное несогласіе съ „желчевиками". „Мы сами принадлежали къ этому несчастному поколѣнію „лишнихъ", — писалъ онъ, — и, догадавшись очень давно, что мы лишніе на берегахъ Невы, препрактически пошли вонъ, какъ только отвязали веревку. И вотъ теперь на смѣну намъ пришли эти „желчевики". Въ борьбѣ по большей части они утратили *[illegible]* своей юности, они затянулись и преждевременно перезрѣли. Старость ихъ коснулась прежде гражданскаго совершеннолѣтія. Это не *лишніе*, не праздные люди, это люди озлобленные, больные душой и тѣломъ, люди зачахнувшіе

отъ вынесенныхъ оскорбленій, глядящіе исподлобья и которые не могутъ отдѣлаться отъ желчи и отравы, набранной ими больше чѣмъ за пять лѣтъ тому назадъ. Они представляютъ явный шагъ впередъ, но все-же болѣзненный шагъ; это уже не тяжелая хроническая летаргія, а острое страданіе, за которымъ слѣдуетъ выздоровленіе или похороны. Лишніе люди сошли со сцены, за ними сойдутъ и *желчевики*, наиболѣе сердящіеся на лишнихъ людей. Они даже сойдутъ очень скоро, они слишкомъ угрюмы, слишкомъ дѣйствуютъ на нервы, чтобы долго держаться. Жизнь, несмотря на восемнадцать вѣковъ христіанскихъ сокрушеній, очень языческимъ образомъ предана эпикуреизму и à la longue не можетъ выносить наводящія уныніе лица невскихъ Даніиловъ, мрачно упрекающихъ людей, зачѣмъ они обѣдаютъ безъ скрежета зубовъ и, восхищаясь картиной или музыкой, забываютъ о всѣхъ несчастіяхъ міра сего... Первое, что насъ поразило въ нихъ, это легкость, съ которой они отчаивались во всемъ, злая радость ихъ отрицанія и страшная безпощадность. Послѣ событій 1848-го года они были разомъ поставлены на высоту, съ которой видѣли пораженіе республики и революціи, вспять идущую цивилизацію, поруганныя знамена — и не могли жалѣть незнакомыхъ бойцовъ. Тамъ, гдѣ нашъ братъ останавливался, оглядывался, смотрѣлъ, нѣтъ ли искры жизни, они шли дальше пустыремъ логической дедукціи и легко доходили до тѣхъ рѣзкихъ, послѣднихъ выводовъ, которые пугаютъ своей радикальной бойкостью, но которые, какъ духи умершихъ, представляютъ сущность, уже вышедшую изъ жизни, а не жизнь. Это освобожденіе отъ всего традиціоннаго доставалось не здоровымъ, юнымъ натурамъ — а людямъ, которыхъ душа и сердце были поломаны по всѣмъ суставамъ. Послѣ 1848-го года въ Петербургѣ нельзя было жить... Чему же дивиться, что юноши, вырвавшіеся изъ этой пещеры, были юродивые и больные? Потомъ они вязли безъ дѣла, не зная ни свободнаго размаха, ни вольно сказаннаго слова. Они носили на лицѣ у-

бокій слѣдъ души помятой и раненой. У каждаго былъ какой-нибудь тикъ, и сверхъ этого личнаго тика, у всѣхъ одинъ общій—какое-то снѣдающее ихъ, раздражительное и свернувшееся самолюбіе. Половина ихъ постоянно кивалась, другая постоянно карала... Да, у нихъ остались глубокие рубцы на душѣ. Петербургскій міръ, въ которомъ они жили, отразился на нихъ самихъ; вотъ откуда ихъ безпокойный тонъ, языкъ saccadé и вдругъ расплывающійся въ бюрократическое празднословіе, уклончивое смиреніе и надменные выговоры, намѣренная сухость и готовность по первому поводу осыпать ругательствами, оскорбительное принятіе впередъ всѣхъ обвиненій и безпокойная нетерпимость директора департамента... Добрѣйшіе по сердцу и благороднѣйшіе по направленію, они, т.-е. желчные люди наши, тономъ своимъ могутъ довести ангела до драки и святого до проклятія".[93]

Если вспомнить, что „разговаривавшій съ Герценомъ желчевикъ смотрѣлъ на него, какъ на хорошій остовъ мамонта", какъ на „интересную ископаемую кость", то любезности Герцена по адресу „желчевиковъ" не должны удивлять насъ. Но, кромѣ личнаго счета съ ними, Герценъ въ своемъ наскокѣ на поколѣніе „желчевиковъ" руководился еще однимъ соображеніемъ, которое оказалось, однако, невѣрнымъ. Онъ думалъ, что за этими людьми, которымъ въ 1860-мъ году могло быть лѣтъ подъ тридцать, выступятъ иные люди, съ иной, болѣе мирной душой и нормальной желчью. Онъ не предугадывалъ, что всѣ тѣ черты характера, которыя ему такъ не нравились въ „желчевикахъ", останутся характерными и для послѣдующихъ поколѣній лицъ радикальнаго образа мыслей. Онъ думалъ, что желчевики—лишь продуктъ Николаевской эпохи, продуктъ временный, осужденный на быстрое исчезновеніе; онъ не предвидѣлъ, что и эпоха реформъ, несмотря на свой показной либерализмъ, будетъ благопріятствовать неменьшему развитію въ людяхъ желчи и негодованія. Считая желчевиковъ послѣдышами эпохи, отходящей

въ прошлое, Герценъ поторопился прочитать надъ нимъ отходную, въ которой, отдавъ должное ихъ стремленіямъ, онъ осудилъ ихъ темпераментъ и характеръ. Онъ не догадывался, что этотъ самый непріятный темпераментъ со временемъ сослужитъ свою службу въ дѣлѣ общественнаго воспитанія. Досадуя на молодыхъ, которые его обогнали и въ которыхъ онъ подмѣчалъ недостаточное признаніе заслугъ старшихъ, онъ бралъ подъ свою защиту людей „лишнихъ", т.-е. несомнѣнныхъ покойниковъ... Онъ самъ готовъ былъ причислить себя къ этимъ покойникамъ, лишь бы показать желчевикамъ, сколь мало онъ съ ними солидаренъ... Такъ обострились между ними отношенія!

## XII.

Обостреніе отношеній росло и охватывало все большій и большій кругъ. Съ правительствомъ, съ которымъ можно было сохранять дипломатическія сношенія, „Колоколъ", послѣ нѣкоторыхъ колебаній, порвалъ навсегда. Этотъ разрывъ не привлекъ на его сторону либераловъ, которые подозрѣвали газету въ пристрастіи къ революціоннымъ идеямъ и пріемамъ борьбы... и „Колоколъ" порвалъ съ либералами. Этотъ новый разрывъ не повысилъ престижа газеты у радикаловъ, которые съ своей стороны подозрѣвали газету въ готовности идти на сдѣлку съ либералами. И въ концѣ концовъ Герценъ остался одинъ, окруженный врагами, въ сосѣдствѣ съ цѣлыми группами лицъ, которыя могли сочувствовать ему какъ человѣку, но оставались довольно хладнокровными зрителями его отчаянной борьбы уже не за власть, а за существованіе. Въ этотъ трудный моментъ „Колоколъ" повелъ на крайнее: онъ выкинулъ открыто флагъ революціоннаго возстанія. Въ 1861 г. начались гоненія въ Польшѣ и въ томъ же году Бакунинъ изъ Сибири бѣжалъ въ Лондонъ. „Колоколъ" пересталъ думать о какомъ-нибудь примиреніи или соглашеніи. На нѣ-

которое время онъ вернулъ себѣ симпатіи радикаловъ, но послѣ перваго разгрома революціонныхъ кружковъ въ Россіи, въ 1861—1863 годахъ, онъ остался совершенно отрѣзаннымъ отъ русской базы и былъ осужденъ на быстрое увяданіе.

## XIII.

Такова была судьба перваго свободнаго русскаго слова, сказаннаго человѣкомъ огромнаго ума и таланта. Въ этомъ словѣ было много достоинствъ, совершенно необычныхъ для русскихъ словъ, когда-либо до него сказанныхъ. Но всѣ эти достоинства не могли перевѣсить одного недостатка: дать того, чего отъ него ждали, это слово всетаки не могло. Встрѣченное большимъ почетомъ вначалѣ, оно быстро стало терять свою силу и главною причиною охлажденія къ нему было его молчаніе на вопросъ—что же надлежитъ *дѣлать*?

Въ письмѣ одного корреспондента, помѣщенномъ въ первомъ же номерѣ „Колокола",[94] редакторъ прочелъ такія строки: „Первое, что узнаетъ пробуждающійся больной — это дѣйствительность, которая его окружаетъ; онъ не любитъ когда ему напоминаютъ о томъ, что такое человѣкъ въ здоровомъ состояніи, о смыслѣ здоровой жизни, о цѣли жизни, теоретическіе предметы его не занимаютъ; онъ только спѣшитъ осмотрѣться и осязать окружающую среду, и спрашиваетъ, когда же онъ совсѣмъ выздоровѣетъ, когда совсѣмъ станетъ на ноги; всякій отвлеченный вопросъ его тревожитъ и пугаетъ, а не возбуждаетъ въ немъ участія. Броженіе умовъ въ Россіи представляетъ совершенно образъ этого очнувшагося больного. Большая часть пишущихъ къ вамъ сердятся за то, что въ „Полярной Звѣздѣ" были статьи, въ которыхъ преобладаетъ теорія, сердятся за то, что авторъ „Съ того берега" больше мыслитель, чѣмъ дѣлатель, всѣ кричатъ: „не того намъ надо! покажите намъ, какъ намъ выздоровѣть... Можетъ-быть это требованіе, какъ выра-

женіе еще патологическаго состоянія, совершенно законно, необходимо“.

Но Герценъ не хотѣлъ признать себя виновнымъ въ томъ, что онъ высказываетъ лишь общія положенія. Правда, онъ говорилъ, что намъ нужны *новыя начала жизни*, что у насъ собственно нѣтъ *завѣтныхъ* основъ, нѣтъ прочно вкопанныхъ въ разумѣніе межевыхъ камней, означающихъ предѣлы. Онъ признавалъ, что мы не сложились, что мы *еще ищемъ своихъ началъ*.[95] Но на поиски этихъ новыхъ началъ Герценъ въ „Колоколѣ“ не желалъ пускаться. „Мы теоріи теперь никакихъ не проповѣдуемъ,—писалъ онъ въ 1858-мъ году;—мы взяли за девизъ: освобожденіе крестьянъ отъ помѣщиковъ, освобожденіе слова отъ цензуры, освобожденіе всѣхъ отъ побоевъ“.[96] Годъ спустя онъ повторилъ ту же мысль: „Я не говорилъ объ общихъ теоріяхъ,—писалъ онъ одному польскому публицисту—просто потому, что не считалъ этого своевременнымъ. Злоупотребленіе громкихъ словъ, шедшихъ [въ Европѣ] рядомъ съ черезчуръ скромными дѣлами, противно русскому характеру, чрезвычайно реальному и мало привыкнувшему къ риторикѣ... Людямъ дальняго идеала, пророкамъ разума и прорицателямъ будущаго—мало дѣла до прикладныхъ затрудненій; они указываютъ на разумныя начала, къ которымъ общество стремится, его законы, общую формулу его движенія, предоставляя грядущимъ поколѣніямъ посильно осуществлять ихъ въ ежедневной борьбѣ сталкивающихся выгодъ и партій... Такіе люди—возстановители правъ разума въ капризной и фантастической сказкѣ исторіи—велики и необходимы, и всѣ эти предтечи новаго міра, какъ Сенъ-Симонъ, Фурье, займутъ огромное мѣсто въ сознательномъ развитіи человѣчества, въ самопознаніи общественнаго быта, но имъ почти нѣтъ прямого участія въ текущихъ дѣлахъ; это для насъ, будничныхъ работниковъ. Задача человѣка, желающаго участвовать въ новомъ движеніи, становится другая: она становится спеціальнѣе. Мало знать станцію, къ которой мы ѣдемъ, надо опредѣлить

которую версту по пути къ ней мы продѣлываемъ и какія рытвины и мосты именно на той верстѣ. Наше положеніе измѣнилось, иные вопросы насъ занимаютъ и занимаютъ исключительно. Вмѣсто „предисловій, программъ и эпиграфовъ, мы вступили въ текстъ“.[97]

Потребность момента—какъ видимъ—была угадана вѣрно, но пути практическаго ея удовлетворенія указаны не были, и во всѣхъ статьяхъ „Колокола“ чувствовалось, что самъ редакторъ былъ къ теоретическимъ разсужденіямъ всетаки гораздо болѣе склоненъ, чѣмъ къ указаніямъ, изъ которыхъ можно было бы извлечь непосредственную выгоду. Герцена влекло къ разсужденію и размышленію—а жизнь требовала совѣта на текущій день и правилъ поведенія. Ихъ онъ могъ преподать лишь въ самой общей формѣ; но онъ сознавалъ, что такія общія формулировки не повышаютъ его кредита у тѣхъ лицъ, симпатіей которыхъ онъ дорожилъ всего больше.

Печальный, онъ готовъ былъ отказаться отъ роли вождя, сохраняя за собой лишь роль обличителя. Въ эти грустныя минуты ему казалось, что онъ призванъ не руководить людьми, а лишь предостерегать ихъ. Писалъ же онъ въ отвѣтъ на письмо Чичерина, что онъ хотѣлъ быть местью и ироніей русскаго человѣка—не больше. Не иронія—великая грусть звучала теперь въ словахъ, которыми онъ отвѣчалъ одной сердобольной русской дамѣ, призывавшей его къ христіанскому покаянію. „Итакъ вы говорите,—писалъ онъ ей,—что я *только* вношу сомнѣніе въ сердца молодого поколѣнія и пробуждаю въ немъ жажду. Это *только* само по себѣ кое-что. Человѣкъ сомнѣвающійся будетъ безпокоенъ, станетъ искать выхода изъ сомнѣнія; человѣкъ, у котораго жажда возбуждена, пойдетъ отыскивать утоленіе ея. Послѣ нравственной косности прошлаго тридцатилѣтія, послѣ старческаго маразма, внесеннаго въ самую юность искаженнымъ воспитаніемъ, всякое возбужденіе къ жизни, всякій голосъ, бросающій вопросъ, разрушающій разсѣянное ра-

иодушіе, останавливающій молодого человѣка между университетскимъ дипломомъ и дипломомъ на чинъ титулярнаго совѣтника, между кадетскимъ корпусомъ и полкомъ и зовущій на раздумье спасительный голосъ. Тѣхъ рѣшеній, о которыхъ вы говорите, я не могу дать, я ихъ не имѣю, я самъ ихъ ищу; я не учитель, я попутчикъ. Мы вмѣстѣ доискиваемся, оттого можетъ быть у насъ есть сочувствіе. Я не берусь имъ говорить, *что надобно*, но, кажется, довольно вѣрно указываю, чего не надобно. Того разлада, той неудовлетворительности, которую вы находите во мнѣ, конечно нѣтъ у доктринеровъ, какъ вообще нѣтъ у религіозныхъ людей... Но если я не имѣю доктрины, не пишу заповѣдей гдѣ-нибудь на горѣ, ни приказовъ гдѣ-нибудь въ канцеляріи—неужели же я не могу кричать о рабствѣ и передней?. Неужели я не могу проповѣдывать освобожденіе мысли и совѣсти отъ всего хлама, не проведеннаго сквозь очистительный огонь сознанія; звать на борьбу со всѣми остающимися узами на независимости мышленія, со всѣмъ ограничивающимъ самозаконность личности, этой высшей, дѣйствительной цѣли церкви и государства?".[98]

Эта красивая и краснорѣчивая самооборона едва ли выражала всю правду души Герцена: онъ писалъ эти строки подъ минутнымъ аффектомъ грустнаго отреченія отъ многихъ грандіозныхъ плановъ, писалъ, чтобы самого себя утѣшить. Насколько въ сущности онъ былъ неспособенъ ограничиться ролью „попутчика" или скучнаго ментора, говорящаго лишь о томъ, чего „не надо"—это видно по той революціонной экзальтаціи, какою онъ былъ вдругъ и неожиданно охваченъ, когда только что начинало загораться польское національное движеніе. Въ эти дни онъ въ первый разъ почувствовалъ, что имѣетъ сказать нѣчто спѣшное, неотложное, дать совѣтъ прямой и указать, что надо дѣлать, какъ надо дѣйствовать. Польское дѣло было не родное ему дѣло, и если онъ такъ горячо принялъ его къ сердцу, то потому, что ему давно хотѣлось почувствовать себя прямымъ участникомъ движенія, стать

ближайшимъ совѣтникомъ лицъ вступившихъ въ рукопашную. Со статьи „Vivat Polonia"[99] началась для „Колокола" та новая кампанія, въ которой онъ явился авангардомъ русскихъ волонтеровъ, становящихся подъ польскія знамена.

## XIV.

Итакъ, когда читатель-радикалъ 1855—1861 годовъ бралъ въ руки „Колоколъ",—какой отвѣтъ давали ему эти листы на вопросы, наиболѣе тревожившіе его какъ гражданина?

Съ чѣмъ Герценъ былъ несогласенъ и что онъ осуждалъ въ современномъ строѣ Россіи—объ этомъ въ „Колоколѣ" говорилось подробно и красочно. Но все это читатель могъ знать и видѣть своими глазами. Газета въ данномъ случаѣ только помогала его памяти и наблюдательности. Если молодой человѣкъ обращался къ газетѣ съ вопросомъ—какой политическій строй признаетъ она желательнымъ, то отвѣта яснаго онъ не получалъ. Противъ каждаго строя было выдвинуто много возраженій и, конечно, всего больше противъ строя господствовавшаго. Былъ указанъ далекій соціалистическій идеалъ, даны горячія увѣренія въ томъ, что онъ восторжествуетъ; но передаточныя ступени къ его осуществленію указаны не были.

По поводу срока, когда господствующій строй долженъ смѣниться новымъ, было высказано лишь требованіе скорѣйшаго его наступленія. И правительство, и общество призывались къ возможно спѣшной работѣ. Какая должна была быть эта работа—въ точности не опредѣлялось, но преимущество отдавалось, повидимому, культурной работѣ тихой и медленной хотя очень часто говорилось о рѣшительномъ и быстромъ вмѣшательствѣ въ ходъ событій. Рекомендовалось очень настойчиво ненасильственное вмѣшательство въ политику дня—и вмѣстѣ съ тѣмъ очень часто съ паѳосомъ подчеркивалась возможность революціонныхъ актовъ.

На кого можно было опереться въ надвинувшейся борьбѣ— объ этомъ говорилось очень неопредѣленно и глухо. Союзъ съ правительствомъ былъ признанъ невозможнымъ, а союзъ съ либеральной интеллигенціей и радикальной молодежью состояться не могъ по причинѣ взаимнаго раздраженія.

Наконецъ, на вопросъ: съ какого опредѣленнаго шага и въ какомъ направленіи должна быть начата борьба за новую государственную жизнь — совсѣмъ не получалось отвѣта, если не считать призыва заступиться за поляковъ.

Нельзя было занять болѣе невыгодную позицію, чѣмъ та, какую занялъ Герценъ.

Но большую несправедливость совершитъ историкъ, который за этими тактическими ошибками [изъ которыхъ многія были фатально неизбѣжны для старѣющаго либерала-идеалиста сороковыхъ годовъ] просмотритъ огромное общественное значеніе публицистики Герцена, при всемъ ея блескѣ столь неловкой...

Изъ всего, что было напечатано на русскомъ языкѣ въ періодъ отъ 1855-го до 1861-го года, лондонская публицистика была всего болѣе насыщена боевымъ элементомъ и яснѣе чѣмъ чьи-либо слова говорила о силѣ и значеніи свободной личности, за долгіе годы столь принижаемой въ Россіи. Каждый, кто попадалъ хоть на короткое время въ сферу вліянія рѣчи Герцена, не могъ не испытать того прилива увѣренной въ себѣ бодрости, безъ котораго ни одно дѣло не можетъ быть ведено успѣшно. Въ этомъ смыслѣ и представители оффиціальнаго порядка, и умѣренные либералы, и радикалы—всѣ были въ извѣстной долѣ обязаны Герцену повышеніемъ чуткости къ общественному дѣлу, хотя всѣ поочередно разошлись съ нимъ.

## XV.

Союзъ Герцена съ подроставшимъ радикальнымъ поколѣніемъ былъ заключенъ на короткій срокъ. Вѣдь у Герцена

сразу все, что онъ могъ дать какъ сила волевая, радикальная молодежь быстро переставала считаться съ нимъ, такъ какъ то, что составляло отличительную черту ума Герцена—его запасъ знаній и его способность сразу съ нѣсколькихъ сторонъ смотрѣть на вопросы—скорѣе мѣшало молодымъ, пылкимъ сердцамъ, чѣмъ привлекало ихъ. Для молодежи все въ жизни сводилось къ вопросу—съ чего начать и какъ [illegible], и всю мудрость міра они готовы были отдать за ясную программу поведенія. Герценъ не могъ набросать такой программы. А именно въ ней нуждалась молодежь, горѣвшая желаніемъ немедленно быть полезной родинѣ, и полезной не въ мелочахъ, а въ чемъ-либо великомъ.

Великое, какъ думали молодые люди, не можетъ быть свершено старыми силами и ветхіе мѣхи не должно наполнять виномъ новымъ. Новая жизнь требуетъ новыхъ людей, и сколь бы умны и сильны ни были люди старые, какъ бы благожелательно они ни относились къ молодежи—въ вожди они не годятся.

Пусть руководители выйдутъ изъ самой молодой среды; они сразу поймутъ, что нужно ихъ сверстникамъ, и они съумѣютъ образовать и воспитать ихъ по новому.

Молодое поколѣніе, радикально настроенное, жило въ ожиданіи такихъ новыхъ учителей. И ждать ему пришлось недолго. Уже въ первой половинѣ пятидесятыхъ годовъ стали появляться критическія замѣтки Чернышевскаго; къ 1855-му году была написана его диссертація, а съ первыхъ же мѣсяцевъ новаго царствованія появляется цѣлый рядъ его статей на темы историческія и политико-экономическія. Статьи были спеціальныя и очень серьезныя, и какъ пособія для самовоспитанія были мало пригодны. Чернышевскій это понималъ, почему и передалъ задачу практическаго воспитанія и перваго обученія подростающихъ [illegible] своему Добролюбову, въ которомъ онъ сразу отгадалъ [illegible] вождя, агитатора и педагога.

Кратковременное владычество Герцена надъ молодежью

умами кончилось съ расцвѣтомъ дѣятельности Добролюбова [1858—1861 гг.].

Кругъ широкихъ вопросовъ, поставленныхъ Герценомъ, смѣнился въ статьяхъ Добролюбова кругомъ болѣе узкимъ и спеціальнымъ; свобода, которой пользовался Герценъ при обсужденіи, Добролюбову дана не была; блескомъ рѣчи Добролюбовъ не обладалъ; знаній, какими располагалъ Герценъ, Добролюбовъ не имѣлъ; не было у него и того кипучаго темперамента публициста, который позволялъ Герцену увлекать людей даже съ нимъ несогласныхъ—и тѣмъ не менѣе право руля надъ молодыми радикальными сердцами и умами перешло отъ „Колокола“ къ критическому и публицистическому отдѣлу „Современника“.



# Н. А. Добролюбовъ. Его личность

Сила вліянія Добролюбова. — Нашъ первый настоящій публицистъ. Новая глава въ исторіи русской мысли и слова. — Впечатлѣніе, произведенное личностью Добролюбова. — Смѣлость сужденій. — Внѣшняя форма рѣчи. — Характеръ и умственный складъ. — Отношеніе къ вопросамъ вѣры. — Философскія склонности. — Эстетическіе взгляды. — Какъ полно Добролюбовъ отвѣтилъ на запросы своего времени. — Сочетаніе строгости и мягкости. — Отказъ отъ героическихъ замысловъ. — Законныя права на «эгоизмъ».

## I.

Успѣхъ, выпадающій на долю писателя, бываетъ въ своемъ ростѣ и въ своей убыли капризенъ. Иногда человѣкъ, имѣющій всѣ права на вниманіе современниковъ, успѣетъ лечь въ могилу въ ожиданіи признанія; иногда онъ завоевываетъ это признаніе сразу или въ очень короткій срокъ и затѣмъ, какъ бы подавъ свою реплику, отходитъ въ сторону и теряется въ тѣни; иногда популярность писателя растетъ ровно и крѣпко — живъ-ли онъ или мертвъ. Высказать мысль, которая у всѣхъ на умѣ и пока ни у кого на языкѣ; настроить ближняго такъ, какъ онъ самъ хотѣлъ бы настроиться и, главное, указать направленіе, въ какомъ должно шагнуть въ ближайшую минуту — въ этомъ вся тайна успѣха.

Съ необычайнымъ увлеченіемъ и довѣріемъ относилось подрастающее поколѣніе къ словамъ Николая Александровича Добролюбова и благоговѣйно чтило его память

даже тогда, когда запросы руской жизни усложнились настолько, что слова Добролюбова не могли покрывать ихъ. Никто—ни художникъ, какой бы силой таланта онъ ни обладалъ, ни ученый, сколь бы онъ ученъ ни былъ, ни иной кто-либо изъ критиковъ, какъ бы ни сверкалъ и ни блестѣлъ его талантъ—не смогъ завладѣть душой юнаго радикала 1856—1861 годовъ такъ властно, какъ овладѣлъ ею Добролюбовъ.

Когда теперь, спустя пятьдесятъ лѣтъ послѣ смерти Добролюбова, мы перечитываемъ столь популярныя нѣкогда статьи, мы не поддаемся тому очарованію, о которомъ такъ много слышали. Для памяти Добролюбова въ этомъ нѣтъ ничего обиднаго; его тѣнь была бы оскорблена и опечалена, еслибы для насъ слово, сказанное полвѣка тому назадъ, оставалось ново и сохраняло свою прежнюю силу. То, чему училъ Добролюбовъ нашихъ дѣдовъ и отцовъ, давно стало азбукой, и въ настоящее время намъ болѣе видны недочеты въ его міросозерцаніи, чѣмъ стороны сильныя, которыя отъ времени потускнѣли. Добролюбовъ въ данномъ случаѣ раздѣляетъ участь очень многихъ и очень крупныхъ людей. Развѣ только одни истинные художники ограждены отъ такого вывѣтриванія, такъ какъ они—уники, которые не имѣютъ ни замѣстителей, ни продолжателей, и навсегда остаются владѣльцами той частицы красоты, которую они воплотили.

Простое, связное изложеніе общаго хода мыслей Добролюбова не опредѣлитъ всей ихъ силы, и если мы хотимъ ее почувствовать — намъ нужно имѣть въ виду не столько смыслъ рѣчей этого замѣчательнаго человѣка, сколько неожиданность нарожденія такого типа людей, какъ онъ. Онъ былъ силенъ тѣмъ, что радикальная часть молодежи въ немъ, въ первомъ, увидала воплощеніе того гражданина, прихода котораго въ жизнь она ждала съ такимъ нетерпѣніемъ. Не на страницахъ книги, не въ формѣ обѣщанія или призыва являлся наконецъ такой долгожданный гражданинъ; онъ жилъ и дѣйствовалъ на виду у всѣхъ, онъ былъ лицо, а не образъ, не символъ. Въ немъ были воплощены думы, на-

строенія и упованія многихъ, почувствовавшихъ, наконецъ, близость такого вождя, съ которымъ можно было говорить просто и присутствіе котораго не вызывало чувства робости, чувства подчиненія. То, что этотъ вождь говорилъ, не поражало глубиной откровенія; то что онъ дѣлалъ, было простымъ дѣломъ, доступнымъ каждому, дѣломъ лишеннымъ всякихъ героическихъ прикрасъ, которыя могутъ ослѣплять людей, но всегда держать ихъ на почтительномъ разстояніи. Теперь этотъ руководитель совсѣмъ слился съ толпой своихъ единомышленниковъ, былъ неизмѣнно въ средѣ ихъ, и даже слово „учитель" какъ-то не подходило къ нему, въ виду его молодости. И такимъ юнымъ онъ умеръ. Смерть довершила его успѣхъ: молодымъ продолжалъ онъ жить въ памяти всѣхъ молодыхъ и былъ навсегда избавленъ отъ упрека въ отсталости.

## II.

За то время, которое насъ отдѣляетъ отъ годовъ дѣятельности Добролюбова, мы успѣли присмотрѣться къ людямъ его типа. Сколько разъ на нашихъ глазахъ, изъ глухихъ уголковъ Россіи, изъ среды скромной по своимъ духовнымъ интересамъ и даже среды темной выходили дѣятели, которые занимали видное положеніе на всевозможныхъ свободныхъ постахъ общественной жизни и своей силой были обязаны исключительно личнымъ заслугамъ и стараніямъ. Какія бы преграды наша жизнь ни ставила свободному развитію таланта, неогражденнаго никакими привилегіями, онъ все чаще и чаще находилъ себѣ примѣненіе въ разныхъ областяхъ жизни на независимыхъ постахъ, которые могли быть заняты по свободному выбору.

Среди такихъ почетныхъ мѣстъ была и трибуна писателя-публициста. Въ дореформенное время эта трибуна была не занята; случалось, правда, тому или иному писателю всходить на нее, но онъ былъ вынужденъ всегда говорить

темно и неясно. Добролюбовъ былъ первымъ по времени писателемъ, который на этой трибунѣ держался стойко и, несмотря на невольныя умолчанія, говорилъ громко и достаточно откровенно. Появленіе такого публициста на открытой каѳедрѣ было большой неожиданностью и не могло не производить большого впечатлѣнія.

Добролюбова обыкновенно называютъ продолжателемъ дѣла Бѣлинскаго. Что Добролюбовъ въ литературѣ занялъ тотъ постъ, который нѣкогда занималъ Бѣлинскій, это — вѣрно; но на этомъ посту Добролюбовъ работалъ совсѣмъ не тѣми пріемами и не въ томъ направленіи, въ какомъ шелъ его предшественникъ. Добролюбова нельзя назвать продолжателемъ уже начатаго дѣла; съ него самого надо вести начало дѣла новаго. Онъ былъ родоначальникомъ нашей публицистической критики — первымъ писателемъ, для котораго публицистика стала дѣломъ жизни.

Обличительная тенденція, равно какъ и стремленіе выработать кодексъ положительной гражданской морали всегда были сильны въ нашихъ художникахъ слова. Публицистами, въ извѣстномъ смыслѣ, были фонъ-Визинъ, Державинъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь и тѣ „натуралисты“, которые продолжали дѣло Гоголя. Всѣ эти художники нерѣдко касались общественныхъ вопросовъ, облекая ихъ либо въ форму художественную, либо въ форму публицистическихъ статей и даже цѣлыхъ трактатовъ. Но читатель зналъ и чувствовалъ, что передъ нимъ прежде всего художникъ, моралистъ или сатирикъ, а затѣмъ уже проповѣдникъ гражданской морали, который къ тому же, намѣтивъ вопросъ, отходитъ въ сторону, предоставляя присяжнымъ критикамъ въ немъ подробнѣе разбираться. Эти критики, какъ напр. Надеждинъ, Полевой, Бѣлинскій и В. Майковъ (чтобы назвать лишь самыхъ сильныхъ), отдавали, дѣйствительно, немало труда на то, чтобы выяснить читателю художественную и этическую цѣнность литературныхъ твореній; но ихъ работа не можетъ быть [illegible]

работой публистической. Настоящаго темперамента публициста ни въ комъ изъ нихъ не было. Вопросы эстетическіе стояли для нихъ, несомнѣнно, на первомъ планѣ; затѣмъ ихъ интересовали часто философскія проблемы; на вопросы же гражданскіе они привыкли смотрѣть какъ на нѣчто преходящее, имѣющее цѣну лишь постольку, поскольку они связаны съ общими принципами умозрѣнія и морали. Одинъ Бѣлинскій, подъ конецъ своей жизни увлеченный соціальнымъ движеніемъ на западѣ, сталъ тѣснѣе сближать свою критику съ жизнью общественной, но онъ дѣлалъ это столь осторожно, что многіе читатели могли и не замѣтить такого поворота мысли въ статьяхъ любимаго писателя. То, что Бѣлинскій успѣлъ сказать какъ истинный публицистъ, въ печать не проникло. Такимъ образомъ, и художникъ, и критикъ дореформеннаго времени отъ настоящей публицистики стояли далеко, что́, конечно, никто имъ въ вину не поставитъ.

Въ дореформенную эпоху встрѣчались, правда, отдѣльныя личности, которыя, вопреки духу времени, отличались очень развитымъ гражданскимъ чувствомъ, какъ, напр., Герценъ и первые славянофилы.

Славянофилы были несомнѣнные публицисты, но совсѣмъ особаго типа. Свои сужденія о современномъ положеніи вещей они строили на широкихъ религіозныхъ и исторіософскихъ теоріяхъ, требовавшихъ большой подготовки и большого напряженія мысли со стороны читателя. Обслуживать интересы минуты они не могли, такъ какъ разсматривали современность всегда въ связи съ цѣлымъ историческимъ процессомъ жизни народа въ его прошломъ и въ связи съ гаданіями объ его будущемъ. Какъ публицисты они не могли имѣть широкой аудиторіи и не имѣли ея.

Герценъ только въ концѣ сороковыхъ годовъ началъ свою публицистическую дѣятельность, но началъ ее за границей. Книга „Съ того берега“ была очень далека отъ русской жизни, а брошюры, говорившія о судьбахъ и при-

званіи Россіи, были слишкомъ общи по содержанію и отвлеченны.

Когда Добролюбовъ выступилъ съ первыми статьями, никто не могъ сказать про эти статьи, что онѣ что-то продолжаютъ. Онѣ начинали собой новую главу въ исторіи русской мысли и слова. Добролюбова не съ кѣмъ было сравнивать, и то содержаніе и та форма, которую онъ сталъ придавать „критическимъ“ статьямъ въ „Современникѣ“, не имѣла параллелей ни въ книгахъ, ни въ брошюрахъ, ни въ какихъ-либо статьяхъ другихъ журналовъ. Это было простое и ясное слово о нуждахъ текущаго дня, безъ длинныхъ историческихъ справокъ, безъ философской пристройки и надстройки, безъ экскурсій въ смежныя области иныхъ знаній— слово тяжелое по вѣсу, свободное отъ всякихъ прикрасъ, но необычайно нужное всѣмъ, кто смутно или ясно понималъ, что времена мѣнялись.

Это слово раздавалось всегда по поводу такихъ новинокъ литературнаго рынка, которыя сами по себѣ приковывали общее вниманіе. Своеобразный „критикъ“, вводя совершенно новую манеру обращенія съ литературнымъ матеріаломъ, не пропускалъ ни одного видного художественнаго памятника *), ни одной замѣтной статьи и ни книги безъ указанія на то, въ какой связи эти словесныя явленія находятся съ явленіями переживаемаго дня; и этимъ онъ облегчалъ своему собесѣднику самую трудную работу, а именно — найти связь между самимъ собою и тѣмъ, что читаешь. Художники сердились на Добролюбова за то, что онъ пріучалъ читателя къ узкой точкѣ зрѣнія на искусство; люди, воспитанные на старыхъ пріемахъ критики и на нравоученіяхъ отвлеченнаго типа, цѣнили статьи Добролюбова не высоко, принимая ихъ простоту и ясность за наивное упрощеніе, лишенное знанія. Но существовала большая ауди-

*) Только о произведеніяхъ Л. Н. Толстого хранилъ онъ у[illegible]чаніе. Какъ странно!!

торія, мучимая сознаніемъ своей растерянности передъ минутой, не имѣющая досуга производить кропотливыя изысканія и нетерпѣливо ожидающая появленія на каѳедрѣ человѣка, который усадилъ бы ее немедленно за практическія занятія и не тратилъ бы времени на развитіе общихъ теорій и взглядовъ. Добролюбовъ былъ первый, который намѣтилъ программу такихъ практическихъ занятій, и притомъ такую программу, которая могла быть выполнена въ предѣлахъ Россіи, средствами простыми и общедоступными.

## III.

Новизна такой прикладной публицистической мысли была поддержана и новизной самой личности писателя. Бываютъ такія личности, которыя въ себѣ соединяютъ самыя характерныя черты опредѣленной исторической эпохи — истинныя дѣти своего поколѣнія. Въ нихъ это поколѣніе видитъ свой просвѣтленный образъ; оно ихъ идеализируетъ, прощаетъ имъ многіе недостатки и допускаетъ по отношенію къ нимъ тотъ культъ авторитета, съ отрицанія котораго всякое подростающее поколѣніе начинаетъ свое вступленіе въ жизнь.

Радикальная молодежь 1856-1861 годовъ сразу разгадала въ Добролюбовѣ истиннаго представителя своихъ мыслей — и всей своей психики. Въ ея душевномъ складѣ, дѣйствительно, начинали себя давать ясно чувствовать нѣкоторыя настроенія и стремленія, которымъ сама личность Добролюбова и положеніе, занятое имъ въ литературѣ, вполнѣ соотвѣтствовали.

Въ необычайно короткій срокъ занялъ Добролюбовъ очень видное положеніе, съумѣлъ заставить съ собой считаться — и всѣмъ этимъ онъ былъ обязанъ лишь своему таланту, своей энергіи, силѣ своего слова, своему личному труду. Онъ былъ живой и яркій представитель демократической по духу личности, которая наконецъ возвышала голосъ. И въ устахъ Добролюбова этотъ голосъ сразу зазву-

чалъ властно и громко. Всѣ независимо и демократически настроенные умы и сердца—даже не считаясь съ тѣмъ, что говорилъ Добролюбовъ — могли найти оправданіе своихъ надеждъ въ одномъ томъ положеніи, которое онъ завоевалъ себѣ какъ писатель. За отсутствіемъ въ тѣ времена иныхъ трибунъ, на которыя доступъ талантамъ былъ бы свободенъ, каѳедра писателя была самой видной и наиболѣе вліятельной. Что этой каѳедрой завладѣлъ вдругъ человѣкъ совершенно „новый", вышедшій не изъ той сословной среды, которая до того времени обыкновенно поставляла вліятельныхъ и сильныхъ писателей—что этотъ „новый" человѣкъ не искалъ ни въ комъ опоры, не обнаружилъ никакой, казалось бы столь неизбѣжной въ его положеніи, робости, а наоборотъ сразу заговорилъ увѣренно и твердо—это было въ глазахъ многихъ счастливымъ предзнаменованіемъ новой наступающей эры, въ которой демократическому принципу суждено, наконецъ, сыграть роль болѣе соотвѣтствующую тому значенію, какое этотъ принципъ начиналъ пріобрѣтать въ самой жизни.

Читатель давно привыкъ къ тому, что наиболѣе вліятельные и любимые имъ писатели были отдѣлены отъ него преградой если не сословныхъ предразсудковъ, то все-таки извѣстнаго сословнаго воспитанія и образованія. Изящная словесность въ ея лучшихъ представителяхъ была продуктомъ культуры дворянской; и даже тѣ изъ писателей, которые не могли похвастаться особой родовитостью, стремились держаться поближе къ этому очагу красоты и просвѣщенія. Если же случалось, какъ принято говорить, „разночинцу" въ родѣ Полевого, Кольцова и Бѣлинскаго—пробивать себѣ дорогу, то такое движеніе по свободной, казалось бы, аренѣ было обставлено для него невѣроятными трудностями; большая доля силъ уходила на борьбу съ разными житейскими препонами, и успѣхъ и побѣда давались такимъ смѣлымъ и свободнымъ пришельцамъ съ огромной затратой энергіи. Съ приходомъ Добролюбова картина мѣнялась рѣзко:

несомнѣнный „разночинецъ", проведшій свое дѣтство и юность внѣ всякихъ литературныхъ сферъ и традицій, свободно и смѣло, еще совсѣмъ юношей, вошелъ въ литературный кругъ безъ всякаго стѣсненія и иныхъ чувствъ новичка въ дѣлѣ. Въ невѣроятно короткій срокъ этотъ „новый человѣкъ" занялъ чуть ли не первое мѣсто въ журналистикѣ, заставилъ себя бояться и уважать и сталъ въ такое независимое положеніе ко всѣмъ писателямъ, которое по тѣмъ временамъ могло отдавать дерзостью. На этой быстро захваченной позиціи публицистъ удержался—и когда онъ неожиданно умеръ, то вліяніе его вмѣсто того, чтобы падать, только возросло.

Одно уже присутствіе Добролюбова среди избранныхъ лицъ, на которыхъ общество привыкло смотрѣть какъ на людей особыхъ, облеченныхъ правомъ руководительства, должно было повышать во всѣхъ, кто съ Добролюбовымъ былъ согласенъ, чувство бодрости, смѣлости и собственнаго достоинства. А согласнымъ съ Добролюбовымъ можно было быть даже и не читая его внимательно. Нужно было только носить въ своей душѣ то неопредѣленное настроеніе демократической гордости, то чувство демократической независимости и нѣкотораго, болѣе или менѣе рѣзкаго недовольства, которое присуще каждому борющемуся за существованіе непривилегированному человѣку, когда ему приходится жить и дѣйствовать въ условіяхъ, создавшихся на почвѣ всевозможныхъ привиллегій и разсчитанныхъ на то, чтобы поддержать ихъ возможно дольше. А въ такомъ положеніи находилась цѣлая масса молодыхъ людей, столпившихся въ столицахъ и разсѣянныхъ по провинціи. Источникомъ большихъ надеждъ и большой поддержкой чувству ихъ самоудовлетворенія было — имѣть передъ глазами такой примѣръ смѣлаго захвата одного изъ важнѣйшихъ литературныхъ постовъ человѣкомъ ихъ круга. И всѣ эти молчаливые или шумные послѣдователи Добролюбова, къ тому же, догадывались, что „карьера", сдѣланная Добролюбовымъ, вовсе не

какая-нибудь счастливая случайность, а показатель наступавшаго времени.

## IV.

Помимо новизны самой роли публициста, помимо новизны появленія въ этой роли истиннаго демократа, было еще нѣчто въ словахъ Добролюбова, что производило сильное впечатлѣніе на молодые умы. Это была смѣлость сужденія о самыхъ разнообразныхъ вопросахъ жизни и духа. Добролюбовъ, подмѣняя литературную критику публицистикой, широко раздвигалъ ея границы, и читатель, привыкшій къ болѣе или менѣе однообразному содержанію критическихъ статей, былъ пораженъ, когда передъ нимъ стали мелькать въ статьяхъ Добролюбова одинъ за другимъ вопросы, съ изящной словесностью совсѣмъ по существу не связанные. Статьи по государственной исторіи до-петровской Руси, обзоры царствованія Петра и Екатерины, съ экскурсіями въ область исторіи тогдашняго быта; статьи по исторіи русской общественной жизни ближайшаго времени, своего рода опытъ исторической сословной психологіи; очерки изъ исторіи западной жизни начала XIX вѣка и самыхъ послѣднихъ дней; трактаты по воспитанію дѣтей, юношей и, преимущественно, взрослыхъ — цѣлый курсъ теоретическаго и практическаго воспитанія „гражданина“, имѣющаго народиться; отрывки изъ описательной соціологіи, составленные на основаніи наблюденій надъ современной жизнью отдѣльныхъ лицъ и группъ русскаго общества; изслѣдованія на тему о судьбахъ русскаго простонародья въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ, и, наконецъ, длинный рядъ замѣтокъ по мелкимъ вопросамъ дня, чисто спеціальнаго значенія — вотъ тотъ обширный матеріалъ, который на глазахъ читателя разрабатывалъ публицистъ, какъ всѣмъ было извѣстно, еще совсѣмъ юный. Независимо отъ того, какъ онъ обсуждалъ и рѣшалъ всѣ эти вопросы, одно то, что онъ считалъ себя вправѣ открыто

и смѣло говорить о нихъ—нравилось молодымъ читателямъ; всѣ они очень высоко ставили свободу собственнаго сужденія, и Добролюбовъ въ данномъ случаѣ оправдывалъ не только ихъ вѣру въ него, но и ихъ вѣру въ самихъ себя. Такая рѣшимость признать за собой право голоса въ обсужденіи всѣхъ набѣгавшихъ вопросовъ могла, конечно, вредно отзываться на полнотѣ, систематичности и правильности самаго рѣшенія; но такіе недочеты искупались сознаніемъ, что высказанная мысль ни у кого не заимствована, ни на какой авторитетъ не опирается и принадлежитъ всецѣло свободному полету мысли того, кто ее высказывалъ. Послѣ долголѣтней привычки бояться за смѣлость собственнаго сужденія, такая рѣшимость обо всемъ говорить была теперь — при измѣнившихся общественныхъ условіяхъ—психически неизбѣжна, и Добролюбовъ удовлетворялъ этой потребности болѣе, чѣмъ кто-либо.

Наконецъ, и та внѣшняя словесная форма, въ которую Добролюбовъ облекалъ свою рѣчь, имѣла долю участія въ его успѣхѣ. Читатель былъ пріученъ къ „красотамъ стиля", къ которымъ прежніе критики были издавна неравнодушны. Было бы, конечно, странно отрицать за такимъ стилистическимъ совершенствованіемъ литературную и вообще образовательную цѣнность. Бываютъ, однако, полосы и личной, и общественной жизни, когда людямъ кажется, что красота во всѣхъ ея видахъ есть соблазнъ, отвлекающій человѣка отъ прямого дѣла. Не нападая на красоту и изящество и не говоря по ихъ адресу грубостей, которыя на нихъ посыпались позднѣе, Добролюбовъ сталъ пріучать читателя къ „дѣловому" языку въ „дѣловыхъ" статьяхъ. Онъ въ новыхъ цѣляхъ создалъ новый, своеобразный литературный стиль: строгость содержанія нашла себѣ въ этомъ стилѣ строгую форму; рѣчь красотой не отличалась; ни горячности, ни блеска, ни большого движенія въ ней не было; была мѣстами даже сухость. Но рѣчь была сурово дѣловита и убѣдительна; ясно было видно, что тотъ, кто говоритъ—и не думаетъ о томъ, какъ

онъ говоритъ. Публицистъ желалъ лишь одного—убѣдить читателя, и совсѣмъ не хотѣлъ чѣмъ-либо скрашивать и облегчать тяжести своихъ вѣскихъ словъ. И такая вѣская рѣчь должна была въ тѣ годы имѣть многихъ сторонниковъ. Въ ихъ числѣ были прежде всего тѣ люди, которымъ красота прежнихъ рѣчей становилась подозрительна, какъ признакъ извѣстной идейной слабости,—такъ какъ нерѣдко людямъ кажется, что холеная рѣчь создана для прикрытія слабыхъ сторонъ мысли, а не для оттѣненія сильныхъ. Противъ такихъ холеныхъ рѣчей были, конечно, и всѣ, кто ждалъ отъ писателя непосредственныхъ практическихъ указаній. Эти люди инстинктивно не любили красивой фразы, которая, какъ имъ казалось, задерживаетъ людей на порогѣ дѣла. Наконецъ, противъ красоты рѣчи были и тѣ, которымъ такая красота вообще не давалась, хотя бы они и не числились ея принципіальными врагами.

Дѣловитость рѣчи Добролюбова, къ тому же, не мѣшала ей иногда принимать совсѣмъ особую окраску игривой, ѣдкой и суровой насмѣшки. Съ легкой руки Добролюбова почти всѣ журналы его времени обзавелись „свистками“ и, какъ извѣстно, одинъ изъ наиболѣе сильныхъ упрековъ, какой былъ сдѣланъ Добролюбову отъ имени старшаго поколѣнія, заключался въ томъ, что онъ „свиститъ“ тамъ, гдѣ слѣдовало бы говорить серьезно и почтительно. Но „Свистокъ“ былъ въ сущности не чѣмъ инымъ, какъ карикатурною иллюстраціей къ передовымъ, руководящимъ статьямъ Добролюбова. Не было почти ни одной публицистической мысли Добролюбова, отраженіе или пересказъ которой не очутились бы въ шутовскомъ нарядѣ на страницахъ „Свистка“. Къ такимъ пріемамъ вышучиванія и злобнаго высмѣиванія критики прибѣгали съ давняго времени еще Надеждинъ и Полевой [illegible] усердно, и къ довольно злой [illegible] приучилъ своихъ читателей Бѣлинскій. Но кто изъ молодыхъ читателей Добролюбова помнилъ этихъ его предшественниковъ? Они были [illegible]

смѣлый насмѣшникъ, не стѣсняясь, выпучивалъ на глазахъ у всѣхъ то житейскія явленія, признанныя знаменательными и утѣшительными, то людей, признанныхъ достоуважаемыми и почтенными. Случалось, конечно, что насмѣшка Добролюбова колола людей, къ которымъ слѣдовало бы отнестись съ бо́льшимъ почтеніемъ... но такія вспышки юнаго темперамента только усиливали вліяніе „Свистка" на молодые умы, которые всегда любятъ смѣлые наскоки. Добролюбовъ былъ большой насмѣшникъ и онъ умѣлъ использовать этотъ свой даръ передъ аудиторіей. Онъ завладѣлъ ею, то покоряя ее вѣсомъ строгой рѣчи, то забавляя ее шутками, насмѣшками и пародіями, которыя, заставляя людей смѣяться, въ то же время горячили ихъ.

Итакъ, неожиданное выступленіе Добролюбова было во всемъ отмѣчено особой новизной, вполнѣ отвѣчавшей требованіямъ своего времени. Все, чѣмъ дорожитъ молодость, и къ тому же свободомыслящая и демократично настроенная молодость, все, что она безотчетно любитъ и для себя желаетъ, все было воплощено въ Добролюбовѣ — въ этомъ очень удачно и сразу вылившемся обликѣ новаго человѣка.

## V.

И если бы молодой читатель тѣхъ годовъ могъ знать интимную жизнь Добролюбова; если бы онъ могъ заглянуть въ его дневники и письма и прочитать воспоминанія о немъ; если бы онъ, какъ мы въ настоящее время, могъ окинуть взоромъ всю духовную работу Добролюбова въ ея цѣломъ, — онъ увидалъ бы, насколько всѣ помыслы подроставшаго поколѣнія, всѣ его настроенія были передуманы и перечувствованы этимъ истиннымъ сыномъ своего вѣка.

Въ обликѣ, который воскресаетъ передъ нами, нѣтъ ничего героическаго и эффектнаго — ничего такого, что было бы романтически нежно и позволяло бы предполагать особенно сильное кипѣніе думъ и страстей. Передъ нами талантливый

и умный человѣкъ, съ несомнѣннымъ перевѣсомъ логики надъ другими духовными силами. Эта способность смотрѣть на міръ ясными и трезвыми глазами вырабатывается рано и быстро, и совсѣмъ молодой человѣкъ пріобрѣтаетъ стойкость и опытность сужденія человѣка вполнѣ зрѣлаго. На литературную арену онъ выходитъ сразу во всеоружіи сложившихся убѣжденій и съ неизмѣннымъ, за всѣ годы дѣятельности, настроеніемъ. Въ томъ, что онъ пишетъ, нельзя уловить никакихъ переломовъ или противорѣчій и на поверхности его словъ незамѣтно никакого слѣда сильнаго сердечнаго волненія. Что такое волненіе было — это несомнѣнно. Оно подтверждается интимными страницами дневника Добролюбова и его замѣтокъ — но сила логики и самообузданія мысли такъ велика, что она умѣетъ скрыть это внутреннее бореніе и разрѣшаетъ человѣку говорить лишь тогда, когда въ его мысляхъ и чувствахъ царитъ полная гармонія и увѣренность. Отъ излюбленнаго прежде пріема бесѣды, когда человѣкъ отдается наплыву охватившихъ его чувствъ и потоку налетѣвшихъ мыслей — въ рѣчахъ Добролюбова не замѣтно совсѣмъ. Кажется, что каждое слово взвѣшено, трезво обдумано, поставлено на должное мѣсто по заранѣе установленному плану. Если вспомнить, однако, какъ лихорадочно быстро приходилось Добролюбову работать, какъ характеръ этой работы зависѣлъ отъ случайно набѣжавшаго матеріала — то врядъ ли можно предположить существованіе такого заранѣе разработаннаго плана: и нужно признать, что логичность, послѣдовательность и цѣльность сужденій Добролюбова вовсе не результатъ особаго усилія ума, а прирожденная способность.

Есть такіе умы, которые любятъ отправляться отъ ясныхъ и простыхъ положеній и логически стройно дѣлать изъ нихъ вѣрные выводы. Такіе умы не останавливаются на философской провѣркѣ основныхъ положеній, не заботятся о томъ, чтобы привести ихъ въ связь съ отвлеченными [illegible]ками жизни; они считаютъ порѣшенными всѣ вопросы су[illegible]

ваго общаго смысла и элементарныхъ нравственныхъ понятій. Для такихъ умовъ самое цѣнное, это практическій выводъ, какимъ жизнь могла бы немедленно воспользоваться. Людей съ такимъ умомъ обвиняютъ въ своевольномъ упрощеніи явленій и въ неумѣніи спускаться въ „глубины". Счесть ихъ свободными отъ такого упрека нельзя, но нельзя также отрицать и огромнаго культурнаго значенія такихъ „упростителей" вопросовъ. Когда является настоятельная нужда въ укорененіи въ людскомъ сознаніи самыхъ простыхъ правилъ добра и справедливости, то элементарная и удобопонятная защита этихъ правилъ, защита, сильная своею убѣжденностью, нужна для жизни не менѣе, чѣмъ глубокомысленное теоретическое оправданіе этихъ правилъ въ согласіи съ отвлеченными началами жизни. И если вспомнить, сколько ума и таланта было въ дореформенное время потрачено русскимъ интеллигентомъ на такое теоретическое оправданіе, и вспомнить также, какъ мало оно дало для жизни, то вполнѣ естественнымъ покажется желаніе не столько залѣзать вглубь вопросовъ, сколько озаботиться о расширеніи интереса къ нимъ въ массѣ.

Добролюбовъ и имѣлъ въ виду главнымъ образомъ расширеніе этого интереса, и для достиженія намѣченной имъ цѣли могъ спокойно себя не насиловать. Сама природа создала его для пропаганды гражданскихъ чувствъ и нравственныхъ понятій точнаго образца и смысла. Эти понятія и чувства онъ тщательно освобождалъ отъ всякихъ иныхъ идей и настроеній, которыя легко могли быть приведены съ ними въ связь. Личную и гражданскую этику Добролюбовъ бралъ какъ нѣчто совершенно самостоятельное, независимое отъ понятій и чувствъ религіозныхъ, философскихъ и эстетическихъ. Онъ несомнѣнно суживалъ поле своего зрѣнія, но поступалъ такъ не преднамѣренно: по природѣ своей онъ къ отвлеченностямъ не имѣлъ любви и высоко цѣнилъ только тѣ понятія и чувства, которыя могутъ быть немедленно провѣрены на фактахъ и обсуждаемы на основаніи ихъ кон-

кретнаго воплощенія въ жизни. Вотъ почему весь порядокъ религіозныхъ понятій и ощущеній, какъ и проблемы чистаго умозрѣнія и философская сущность красоты въ природѣ и въ въ искусствѣ были совсѣмъ обойдены въ его разсужденіяхъ.

Сынъ священника, онъ съ дѣтскихъ лѣтъ былъ наивно вѣрующимъ человѣкомъ и оставался такимъ долгое время. Онъ признавалъ догмы православной вѣры, но, насколько можно судить по его интимнымъ дневникамъ, письмамъ и сочиненіямъ, онъ о нихъ не думалъ упорно и не подвергалъ ихъ тщательному критическому пересмотру. Довѣріе къ нимъ исчезало въ немъ постепенно, безъ особыхъ усилій ума и безъ особенно сильныхъ потрясеній душевныхъ. Временами онъ бывалъ очень набоженъ, строго соблюдалъ всѣ обряды церкви, держалъ посты, стоялъ на молитвѣ, отмѣчалъ въ особой тетрадкѣ приливы и отливы религіознаго чувства; но съ годами всѣ эти ощущенія и настроенія какъ-то сглаживались въ немъ и мирно умирали. О какомъ-нибудь религіозномъ кризисѣ или переломѣ въ его душѣ мы ничего не знаемъ. Существуетъ, правда, одна краткая запись его о томъ, какъ внезапная смерть отца и матери „убѣдила его *совершенно* въ правотѣ его дѣла, въ несуществованіи тѣхъ призраковъ, которые состроило себѣ восточное воображеніе и которые навязываютъ намъ насильно, вопреки здравому смыслу". Несчастье ожесточило его противъ „той таинственной силы, которую у насъ смѣютъ называть благою и милосердною, не обращая вниманія на зло, разсѣянное въ мірѣ, и на жестокіе удары, которые направляются этой силой на самихъ же ея хвалителей" (1855 г.). Но можно ли на основаніи этихъ строкъ говорить о какой-либо сильной катастрофѣ духа? Не указываютъ ли онѣ на то, что задолго до удара, который на него обрушился, Добролюбовъ уже переживалъ многократные приступы спокойнаго сомнѣнія и невѣрія и стоялъ уже на рубежѣ отрицанія, когда личное горе вырвало у него открытое признаніе? [illegible]

также, когда онъ въ стихахъ высказывалъ сожалѣніе объ утраченной дѣтской вѣрѣ онъ отдавался лишь поэтическому воспоминанію, вполнѣ понятному въ юношѣ, заброшенномъ далеко отъ родныхъ, въ среду чужую, непривѣтливую и оффиціально строгую. Для Добролюбова память о беззаботномъ дѣтствѣ была неразрывно связана съ религіозными образами и ощущеніями и понятно, почему мысль объ утраченной или утрачиваемой вѣрѣ будила въ немъ столько грусти. Эта грусть относилась не къ утратѣ самой вѣры, а вообще къ удалявшемуся прошлому.

Бываютъ люди, воспитанные въ извѣстномъ кругѣ понятій и чувствъ, съ которыми они живутъ мирно долгіе годы, даже не замѣчая, какъ мало-по-малу они изъ этого круга выступаютъ. Когда, затѣмъ, старыя вѣрованія становятся воспоминаніемъ, смѣняются новыми, въ душѣ этихъ людей остается благодарная память о быломъ, и они никогда не разрѣшатъ себѣ рѣзкихъ нападокъ на то, что нѣкогда было ихъ святыней... Такъ и въ душѣ Добролюбова нѣкогда очень теплая вѣра мало-по-малу угасла, и онъ, вовсе не стремясь отстоять ее, никогда не разрѣшалъ себѣ о ней рѣзкаго или обиднаго слова. Какъ онъ не хотѣлъ быть открытымъ ея защитникомъ, такъ онъ не желалъ стать и скрытымъ ея врагомъ — и во всѣхъ его статьяхъ мы найдемъ лишь нѣсколько строкъ, въ которыхъ замѣтно религіозное сомнѣніе или попытка позитивнаго истолкованія вѣры. И, конечно, не страхъ передъ цензурой заставлялъ Добролюбова быть столь молчаливымъ: для него живая и умирающая вѣра была интимнымъ дѣломъ его души, и онъ былъ вполнѣ убѣжденъ, что можно говорить о многомъ, очень многомъ и очень важномъ въ жизни, совсѣмъ не касаясь религіозныхъ чувствъ и понятій: онъ думалъ такъ потому, что религіознымъ человѣкомъ въ настоящемъ смыслѣ слова онъ не былъ. Спустя годъ послѣ семейной катастрофы, когда его вѣра угасла, онъ въ такихъ спокойныхъ словахъ писалъ одному изъ своихъ знакомыхъ о наступившемъ пол-

номъ примиреніи своемъ съ совершившимся фактомъ: „я доволенъ своей новой жизнью—говорилъ онъ—жизнью безъ надеждъ, безъ мечтаній, безъ обольщеній, но зато и безъ малодушнаго страха, безъ противорѣчій естественныхъ внушеній съ сверхъестественными запрещеніями. Я живу и работаю для себя, въ надеждѣ, что мои труды могутъ пригодиться и другимъ. Въ продолженіи двухъ лѣтъ я все воевалъ съ старыми врагами, внутренними и внѣшними. Вышелъ я на бой безъ заносчивости, но и безъ трусости — гордо и спокойно. Взглянулъ я прямо въ лицо этой загадочной жизни, и увидѣлъ, что она совсѣмъ не то, о чемъ твердили о. Паисій и преосвященный Іеремія. Нужно было идти противъ прежнихъ понятій и противъ тѣхъ, кто внушилъ ихъ. Я пошелъ сначала робко, осторожно, потомъ смѣлѣе и наконецъ передъ моимъ холоднымъ упорствомъ склонились и пылкія мечты, и горячіе враги мои. Теперь я покоюсь на своихъ лаврахъ, зная, что не въ чѣмъ мнѣ упрекнуть себя, зная, что не упрекнутъ меня ни въ чемъ и тѣ, которыхъ мнѣніемъ и любовью дорожу я. Говорятъ, что мой путь смѣлой правды приведетъ меня когда-нибудь къ погибели. Это очень можетъ быть; но я съумѣю погибнуть не даромъ. Слѣдовательно, и въ самой послѣдней крайности будетъ со мной мое всегдашнее, неотъемлемое убѣжденіе, что я трудился и жилъ не безъ пользы"... [1856] Удивительное и непонятное спокойствіе, если бы ему такъ недавно предшествовала сильная душевная буря — но таковой не было...

Если къ вопросамъ вѣры Добролюбовъ относился съ такимъ почтительнымъ спокойствіемъ, то къ [illegible] отдѣльными [illegible] жизни онъ былъ [illegible]. Къ сожалѣнію у насъ нѣтъ достаточныхъ свѣдѣній, чтобы судить о томъ, какъ и при какихъ обстоятельствахъ [illegible] въ немъ то позитивное міросозерцаніе, тотъ „реализмъ" въ направленіи его мышленія, слѣды котораго попадаются въ его письмахъ и статьяхъ. [illegible]

себѣ неизвѣстно, какъ воспринималъ онъ тѣ обрывки философскаго идеализма, съ которыми несомнѣнно встрѣчался въ школѣ при прохожденіи богословскихъ, философскихъ и иныхъ наукъ. Не знаемъ мы также, сколь велика была его личная работа, когда Чернышевскій направилъ его мысль на конечные выводы западнаго матерьялизма и позитивизма. Усвоилъ онъ эти выводы очень быстро и, кажется, также безъ особенной ломки убѣжденій. Чернышевскій утверждалъ, что Добролюбовъ ничѣмъ не былъ ему обязанъ, что онъ совершенно самостоятельно выработалъ свой образъ мыслей, пройдя школу западныхъ великихъ учителей, съ которыми онъ успѣлъ ознакомиться въ бытность свою въ Педагогическомъ Институтѣ и даже до своего поступленія въ Институтъ. Чернышевскій говорилъ, что Добролюбовъ до знакомства съ нимъ имѣлъ уже „вполнѣ установившійся образъ мыслей“. Эти слова Чернышевскаго, сказанныя подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ утраты друга, врядъ ли соотвѣтствуютъ дѣйствительности. Противъ нихъ говорятъ и письма и статьи самого Добролюбова, въ которыхъ почти нѣтъ слѣда какой-либо упорной философской работы мысли. Имена Штраусса, Бруно Бауэра и Фейербаха, упоминаемыя въ письмахъ и отрывочныя разсужденія въ статьяхъ на темы о дуализмѣ души и тѣла, о значеніи естественныхъ наукъ, о вредѣ „романтизма“ и „идеализма“, о вліяніи мозга на психическую дѣятельность, о свободѣ воли и о значеніи нашего „тѣла“, — рѣшительно не позволяютъ намъ судить о томъ, насколько обстоятельно и серьезно успѣлъ Добролюбовъ ознакомиться съ ходкимъ въ то время на западѣ философскимъ міропониманіемъ. Самъ онъ признавался, что до двадцати лѣтъ онъ не читалъ иностранныхъ книгъ; а съ двадцати лѣтъ началась для него такая упорная, можно сказать изнурительная, работа журнальная, что врядъ ли онъ имѣлъ много времени на медленный ученый кабинетный трудъ, безъ котораго твердыни философскихъ ученій осилены быть не могутъ. Остается предположить, что онъ знакомился съ

ходомъ философской мысли на Западѣ по тѣмъ бесѣдамъ, какія велъ съ Чернышевскимъ, который за этимъ ходомъ слѣдилъ зорко. Но каковъ бы ни былъ способъ усвоенія философскихъ теорій, Добролюбовъ совсѣмъ не обнаруживалъ любви къ нимъ. Опровергать тѣ изъ нихъ, которыя ему казались несоотвѣтствующими истинѣ, онъ не брался; отстаивать тѣ, которыя ему казались истинными, онъ также не рѣшался. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ дилетантомъ въ этихъ вопросахъ, но могъ не печалиться и не упрекать себя за это. Для круга тѣхъ нравственныхъ чувствъ и понятій, которыми онъ дорожилъ въ жизни всего болѣе, послѣднія слова философской науки на западѣ давали ясное обоснованіе и толкованіе. Они освобождали эти нравственныя истины отъ всякихъ „романтическихъ" и идеалистическихъ тумановъ, которые такъ не любилъ Добролюбовъ. И онъ обрадовался, когда ему показалось, что онъ нашелъ кратчайшій путь къ самоочевиднымъ нравственнымъ истинамъ: обрадовался потому, что душа его совсѣмъ не лежала къ отвлеченностямъ.

Нелюбовь къ нимъ повліяла и на эстетическія сужденія Добролюбова, на его отношеніе къ красотѣ въ искусствѣ и жизни. Онъ былъ безспорно одаренъ большимъ художественнымъ вкусомъ и любовью къ красотѣ. Ему всегда была ясна художественная цѣнность того произведенія, о которомъ онъ писалъ, но онъ *не хотѣлъ* писать объ этой цѣнности. Его упрекали въ томъ, что онъ отводитъ искусству служебную роль въ жизни, что онъ утилитаристъ въ его пониманіи. Онъ былъ утилитаристомъ, и притомъ умышленнымъ. Самъ онъ не сторонился отъ эстетическихъ эмоцій и умѣлъ наслаждаться ими непосредственно; при случаѣ, онъ готовъ былъ вести длинный споръ по вопросу объ отношеніи искусства къ дѣйствительности (какъ напр. по поводу диссертаціи Чернышевскаго), но онъ не любилъ этихъ теоретическихъ выкладокъ, которыя ничего не прибавляютъ къ непосредственнымъ ощущеніямъ и составляютъ съ тѣмъ

особую область логическихъ операцій. И заявилъ совершенно откровенно, что онъ не желаетъ говорить объ эстетической стоимости произведеній искусства. Добролюбовъ сталъ пользоваться ими какъ историческими документами для оправданія или обличенія того или иного нравственнаго принципа.

Добролюбовъ былъ прирожденный моралистъ, и притомъ моралистъ-практикъ. Словесная сторона моральной проповѣди его всегда интересовала мало — чаще всего даже сердила, и если бы возможно было нравственно воспитывать людей безъ всякой проповѣди, а однимъ лишь примѣромъ, то онъ, вѣроятно, съ радостью избралъ бы такой путь. Но если ужъ нужно словесное изложеніе и доказательство того, что считаешь правдой, то пусть это будетъ изложеніе самое краткое, самое ясное, свободное отъ всего „ненужнаго“, отъ всякихъ прикрасъ и туманностей.

## VI.

Въ одномъ изъ интимныхъ писемъ Добролюбовъ говоритъ: „Есть характеры, которые горятъ любовью ко всему человѣчеству — это пылкіе, чувствительные характеры, для которыхъ не слишкомъ чувствительна однако потеря одного любимаго предмета, потому что у нихъ еще много, много осталось въ мірѣ, что имъ нужно любить, и пустой уголокъ въ ихъ сердцѣ тотчасъ замѣщается. Но есть люди, которые не расточаютъ своихъ чувствъ зря всякому встрѣчному, они обращаютъ ихъ на существо, которое уже слишкомъ много имѣетъ правъ на ихъ привязанность. Въ этомъ существѣ для нихъ заключается весь міръ и съ потерею его міръ дѣлается для нихъ пустымъ, мрачнымъ и постылымъ. Изъ такихъ людей и я“. То, что въ этихъ словахъ сказано о любви къ живому лицу — вполнѣ приложимо и къ любви идейной... Много было вопросовъ жизни и духа, между ко-

торыми Добролюбовъ могъ подѣлить свою любовь—но онъ ее всецѣло перенесъ на одинъ единственный вопросъ о нравственномъ совершенствованіи человѣка какъ личности, члена семьи, воспитателя подростающаго поколѣнія и, главное, **какъ гражданина.**

Проповѣдники личной и гражданской морали бываютъ люди разнаго типа, и каждый изъ такихъ типовъ, если онъ выступаетъ во время, въ согласіи съ требованіями исторической минуты, можетъ имѣть огромное вліяніе. Иногда минута требуетъ строгаго, безпощаднаго обличителя, человѣка сродни пророку, судьи, который привелъ бы людей въ трепетъ силою угрозъ и обличенія; иногда нуженъ бываетъ мягкій и сострадательный моралистъ, который дѣлами и словами любви и кротости обратилъ бы людей на путь истины; иногда нуженъ аскетъ, ригористъ, укрощающій порывы страстей проповѣдью и примѣромъ суроваго самообузданія. Бываетъ нуженъ при иныхъ обстоятельствахъ и человѣкъ, умѣющій цѣнить серьезный смыслъ жизни, но не закрывающій глазъ и на ея приманки, моралистъ не слишкомъ строгій и не слишкомъ мягкій, а просто сдержанный, убѣжденный, не разсерженный на людей, но и не мирволящій имъ. Такой проповѣдникъ долженъ заставить людей полюбить жизнь и не долженъ пугать ихъ.

Требовать отъ подростающаго поколѣнія аскетическаго и ригористическаго отношенія къ жизни было невозможно, такъ какъ молодость по существу своему всегда бываетъ жизнерадостна, въ особенности въ такой моментъ, когда она увѣрена, что дѣйствительность скоро совпадетъ съ ея идеалами и покроетъ ея надежды. Наиболѣе педагогичное отношеніе къ такому исключительному моменту заключалось въ постановкѣ такихъ нравственныхъ требованій, которыя, проводимыя со всею строгостью въ жизнь, были бы, однако, по плечу всѣмъ и не мѣшали [illegible] брать отъ жизни ту долю [illegible] счастья и веселья, [illegible] можно взять безъ ущерба [illegible] благополучія ближняго.

выполненія роли именно такого моралиста природа и создала Добролюбова.

„Я полонъ какой-то безотчетной, безпечной любви къ человѣчеству—писалъ Добролюбовъ въ своемъ дневникѣ,—и уже привыкъ давно думать, что всякую гадость люди дѣлаютъ „по глупости" и слѣдовательно нужно жалѣть ихъ, а не сердиться". „Я презиралъ злобу и подлость—и не ошибался, презирая. Ихъ сила не велика. Ее не трудно бы одолѣть. Масса людей—люди чистые и добрые. Интересъ массы прямо противуположенъ всему дурному, совершенно совпадаетъ съ требованіями справедливости. Она можетъ понять ихъ, потому что они очень просты, а она не глупа. Она не можетъ не желать ихъ осуществленія, понявши ихъ, потому что безъ ихъ осуществленія она несчастна. Она можетъ смѣло ринуться въ борьбу за нихъ и биться геройски, потому что она благородна. Въ этихъ мысляхъ я не ошибался" *). Какимъ бы испытаніямъ ни подвергалось въ Добролюбовѣ такое довѣрчивое отношеніе къ людямъ, какъ бы иногда раздраженно и сурово онъ ни относился къ отдѣльнымъ группамъ этой „массы" въ основѣ его взглядовъ на міръ и человѣка лежало всегда и неизмѣнно это довѣріе къ ближнему и увѣренность въ возможности повысить въ людяхъ тяготѣніе къ добру и справедливости. Въ своемъ недовольствѣ людьми Добролюбовъ никогда не доходилъ до отчаянія въ нихъ, до пессимизма въ оцѣнкѣ мірового процесса, до ироніи надъ нимъ. Право судить людей онъ понималъ въ самомъ возвышенномъ смыслѣ какъ право придумывать средства не для ихъ наказанія, а для ихъ исправленія. И эта сторона его психики, которую всякій могъ почувствовать въ его статьяхъ, покоряла молодые умы и сердца сильнѣе и прочнѣе, чѣмъ всѣ удары, наносимые имъ тѣмъ или инымъ лицамъ или порокамъ,—такъ какъ смыслъ всякой борьбы не въ томъ, что она разъединяетъ борющихся

*) Запись въ «Дневникѣ Левицкаго».

людей, а въ томъ, что она соединяетъ тѣхъ, кто стоитъ подъ однимъ знаменемъ. А сплотить людей можно только довѣряя имъ.

Не считая себя въ правѣ выступать передъ людьми карающимъ и гнѣвнымъ пророкомъ и не чувствуя себя настолько кроткимъ, чтобы говорить одни слова любви; замѣчая за собой много слабостей и потому прощая ихъ въ другихъ; вѣря въ себя, а потому и въ ближнихъ, Добролюбовъ желалъ лишь одного—чтобы тотъ процессъ нравственнаго самовоспитанія, который въ его душѣ совершался, сталъ обязателенъ и для всѣхъ, кого теперь жизнь звала на общественное служеніе.

## VII.

Съ неправдами жизни, какъ думали въ доброе старое романтическое время, можно успѣшно бороться при наличности двухъ красивыхъ добродѣтелей, а именно жажды великаго подвига и полнаго самозабвенія въ немъ. Слѣдя за собой, Добролюбовъ иногда упрекалъ себя въ томъ, что онъ этими добродѣтелями не обладаетъ въ должной мѣрѣ. Онъ не видѣлъ, что отсутствіе ихъ не только не уменьшаетъ его силы, а, наоборотъ, ее увеличиваетъ.

Энергія, доведенная до героизма, не нашла бы себѣ въ тѣ годы многихъ послѣдователей, какъ и аскетическое служеніе подвигу.

Въ ранней юности Добролюбовъ прошелъ черезъ ту неясную тревогу чувствъ, которая ищетъ въ мірѣ чего-то героическаго, великаго и, обманутая, заставляетъ человѣка съ грустью и почти-что съ презрѣніемъ смотрѣть на жизнь. Онъ тогда очень увлекался Лермонтовымъ [1]. Съ годами

[1] Въ [illegible] Добролюбова [illegible] характерно [illegible] [illegible], какое [illegible] Лермонтова.

Лермонтовъ особенно по душѣ мнѣ. Мнѣ [illegible] [illegible] [illegible] Мнѣ

эта тревога прошла и больше не возвращалась наступило то спокойное и ровное отношенiе къ вопросамъ жизни, отношенiе стойкое и убѣжденное, которое Добролюбовъ сохранилъ до кончины.

Дѣло, за которое онъ взялся и которое считалъ своимъ, на первыхъ порахъ не будило въ немъ ни довольства собой, ни энергiи. Въ одномъ частномъ письмѣ онъ писалъ: „мнѣ горько признаться, что я чувствую постоянное недовольство самимъ собою и стыдъ своего безсилiя и малодушiя. Во мнѣ есть убѣжденiе (очень вѣроятно, что и несправедливое) въ томъ, что я по натурѣ своей не долженъ принадлежать къ числу людей дюжинныхъ и не могу пройти въ своей жизни незамѣченнымъ, не оставивъ никакого слѣда по себѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ я чувствую совершенное отсутствiе въ себѣ тѣхъ нравственныхъ силъ, которыя необходимы для поддержки умственнаго превосходства... я лишенъ и матерьяльныхъ средствъ для прiобрѣтенiя знанiй и развитiя своихъ идей... Тоска и негодованiе охватываютъ меня, когда я вспоминаю о своемъ воспитанiи... въ дѣлѣ науки и искусства я не прiобрѣлъ ровно ничего... я не имѣлъ ни малѣйшаго понятiя о вещахъ, которыя хорошо извѣстны моимъ теперешнимъ десятилѣтнимъ ученикамъ... сколькихъ сокровищъ знанiя лишенъ я былъ до пятнадцати лѣтъ, умѣя читать только

[illegible]

русскія книги. Теперь мнѣ нужно работать для того, чтобы было чѣмъ жить. А работа моя, къ несчастію, такая, что учить другихъ надобно. Какъ же вы хотите, чтобы мое писаніе составляло для меня утѣшеніе и гордость? Я вижу самъ, что все, что пишу, слабо, плохо, старо, безполезно, что тутъ виденъ только безплодный умъ, безъ знаній, безъ данныхъ, безъ опредѣленныхъ практическихъ взглядовъ. Поэтому я и не дорожу своими трудами, не подписываю ихъ и очень радъ, что ихъ никто не читаетъ" (1858 г.). „Очень можетъ быть, что скоро я прекращу свою безтолковую дѣятельность писателя] и посвящу себя скромнымъ педагогическимъ трудамъ далеко отъ Петербурга" (1858 г.).

„Какое удивительное сходство нашелъ я въ себѣ съ Чулкатуринымъ, героемъ повѣсти Тургенева: „Дневникъ лишняго человѣка" — писалъ Добролюбовъ въ дневникѣ. — Я былъ внѣ себя, читая разсказъ: сердце мое билось сильнѣе, въ глазахъ выступали слезы и мнѣ такъ и кажется, что со мною случится рано или поздно подобная исторія... Вообще съ нѣкотораго времени какое-то странное, совершенно новое, невѣдомое мнѣ прежде расположеніе духа посѣтило меня... Я томлюсь, жду чего-то, и по десяти разъ въ день повторяю стихи Веневитинова:

Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея призывный
Отзывной пѣснью отвѣчай...»

И Добролюбову могло казаться, что въ немъ течетъ „рыбья кровь" *).

Съ годами, по мѣрѣ того, какъ Добролюбовъ сталъ пріобрѣтать вліяніе и могъ отмѣтить въ дневникѣ, что его убѣжденія способны „возбуждать" людей — такія сомнѣнія въ силѣ своего характера и ума у него исчезли. Добролюбовъ [illegible]

*) Какъ однажды сказалъ про себя Левицкой.

пришелъ къ сознанію, что „нельзя преобразовать человѣчество въ 24 часа"—и провожая свою послѣднюю весну, за три мѣсяца до смерти, признавался, что „отмолчаться гдѣ можно, онъ считаетъ теперь въ нѣкоторомъ смыслѣ своей священнѣйшею обязанностью—онъ, который прежде былъ полонъ весеннихъ надеждъ и мечтаній".

Эту способность отмалчиваться Добролюбовъ, конечно, пріобрѣлъ не сразу и вѣроятно мучился сознаніемъ, что онъ не въ силахъ свершить ничего „героическаго". Но можно спросить — имѣлъ-ли бы онъ такое прочное и сильное вліяніе, еслибы, одаренный бурнымъ темпераментомъ и пылкой фантазіей, онъ предлагалъ своимъ читателямъ героическую программу мыслей и дѣйствій, какъ ее нерѣдко предлагали представители старшаго поколѣнія, напр., Герценъ, и Бакунинъ? Время требовало выносливой и устойчивой работы въ сферѣ практическихъ вопросовъ, и притомъ скорѣе узкихъ, чѣмъ широкихъ; время требовало очень убѣжденныхъ и стойкихъ работниковъ, которые не соскучились бы надъ работой будничной и отнюдь не поэтичной. Чѣмъ менѣе было въ такихъ работникахъ желанія стать непремѣнно героемъ, тѣмъ большей пользы можно было отъ нихъ ожидать. Самъ Добролюбовъ въ своихъ статьяхъ неоднократно предостерегалъ читателя отъ русскихъ „талантливыхъ" натуръ, которыя, въ виду широты ихъ плановъ, для общественной работы были мало пригодны.

При всей талантливости своей натуры, Добролюбовъ не смущалъ читателя широтой замысловъ, героическими помыслами и подъемомъ героическаго чувства. Онъ не открывалъ никакихъ романтически заманчивыхъ горизонтовъ, не обѣщалъ чудесъ, не требовалъ отъ своего собесѣдника непосильнаго подвига и красивой роли, а задавалъ ему задачу вполнѣ въ его средствахъ и силахъ—задачу воспитанія въ себѣ гражданина честнаго, убѣжденнаго, справедливаго работника, не бѣгающаго отъ черной работы. Надъ этой задачей работалъ и самъ Добролюбовъ неустанно, хотя вре-

менами и сердился на то, что ни къ какой иной, кромѣ этой работы, не способенъ.

## VIII.

Была еще одна мысль, навѣянная самоанализомъ, къ которой Добролюбовъ отнесся, впрочемъ, очень спокойно. Ему иногда казалось, что онъ — эгоистъ. Подъ этимъ словомъ „эгоизмъ" Добролюбовъ разумѣлъ свою слабость къ нѣкоторымъ приманкамъ жизни. Такую „слабость" или, вѣрнѣе, такое законное влеченіе къ тому, что въ жизни можетъ дать человѣку ощущеніе личнаго счастія или наслажденія, такое законное стремленіе согласовать должное съ пріятнымъ, обязанность съ собственнымъ желаніемъ Добролюбовъ часто обнаруживалъ и надъ этой стороной своего характера задумывался. „Странное дѣло — записалъ онъ въ своемъ дневникѣ послѣ одного изъ многочисленныхъ приступовъ влюбленности, которымъ бывалъ подверженъ: нѣсколько дней тому назадъ я почувствовалъ въ себѣ возможность влюбиться; а вчера, ни съ того, ни съ сего, вдругъ мнѣ припала охота учиться танцовать. Чортъ знаетъ, что это такое... Какъ бы то ни было, а это означаетъ во мнѣ начало примиренія съ обществомъ. Но я надѣюсь, что не поддамся такому настроенію: чтобы сдѣлать что-нибудь, я долженъ убаюкивать себя, не дѣлать уступки обществу, а, напротивъ, держаться отъ него дальше, питать желчь свою... При этомъ разумѣется, конечно, что я не буду дѣлать себѣ насилія и стану ругаться только до тѣхъ поръ, пока это будетъ занимать меня и доставлять мнѣ удовольствіе... Дѣлать то, что мнѣ противно, я не люблю. Если даже разумъ убѣдитъ меня, что то, къ чему имѣю я отвращеніе, благотворно и нужно, и тогда я сначала стараюсь пріучить себя къ мысли объ этомъ, принять болѣе интереса для себя къ этому дѣлу, словомъ, развить себя до того, чтобы [illegible] мои, будучи согласны съ абсолютной справедливостью, [illegible]

были противны и моему личному чувству. Иначе — если я примусь за дѣло, для котораго я еще не довольно развилъ и слѣдовательно не гожусь, то — во-первыхъ, выйдетъ для него — „не дѣло, только мука", а во-вторыхъ, никогда не найдешь въ своемъ отвлеченномъ разсудкѣ столько силъ, чтобы до конца выдержать пожертвованіе собственной личностью отвлеченному понятію, за которое бьешься".

„Я думалъ"... — пишетъ онъ въ томъ же дневникѣ при неспокойномъ и, кажется, опять несвободномъ сердцѣ — я думалъ, что выйду на поприще общественной дѣятельности чѣмъ-то въ родѣ Катона безстрастнаго или Зенона Стоика. Но, вѣрно, жизнь возьметъ свое"... (1857[1]).

Такое сочетаніе строгости въ убѣжденіяхъ съ способностью откликаться на всѣ впечатлѣнія жизни, вплоть до веселыхъ и игривыхъ, какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало духу того времени.

Въ жизнь вступали молодыя силы, которымъ предстояла трудная работа. Умѣнье съ молоду быть молодымъ не могло помѣшать этой работѣ: наоборотъ, оно ограждало людей отъ преждевременной старости — болѣзни опасной, которая могла привести ригориста къ разочарованію и апатіи.

Надо было съ жизнью вступить въ тѣсный союзъ, чтобы имѣть власть надъ нею. И люди того времени отъ такого союза не отказывались. Они были весьма неравнодушны ко всѣмъ приманкамъ жизни. Въ погонѣ за такимъ „[illegible]" нѣкоторые заходили далеко, другіе же останавливались на той грани, гдѣ возможно было желанное сочетаніе убѣжденнаго служенія добру съ необходимой для всякой успѣшной работы жизнерадостностью и жизнеспособностью. И Добролюбовъ былъ однимъ изъ первыхъ „новыхъ" людей, въ которомъ такое сочетаніе осуществилось.

Совсѣмъ не суровый человѣкъ, онъ сталъ, однако, суровымъ выполнителемъ добровольно принятой на себя писательской миссіи. И въ данномъ случаѣ онъ представлялъ

[1] [illegible]

собою типъ новый, который до него въ жизни не встрѣчался. Извѣстно, какъ однажды Тургеневъ, правда въ шутку, назвалъ Добролюбова „очковой змѣей“. Добролюбовъ съ Тургеневымъ не ладили, и нелады начались именно на почвѣ разногласія въ пониманіи писательскаго призванія. Старики признавали за писателемъ право на извѣстное привилегированное душевное состояніе, при которомъ разрѣшалось смотрѣть на жизнь и на людей какъ на матеріалъ, пригодный или непригодный для творчества. Люди новые тѣ совсѣмъ иначе оцѣнивали соотношеніе этихъ величинъ: для нихъ творчество дѣлилось на пригодное или непригодное, и на жизнь и на людей они смотрѣли не какъ на нѣчто неизмѣнно цѣнное, а какъ на явленія, цѣнность которыхъ опредѣляется данной переживаемой минутой. Что, по ихъ мнѣнію, было пригодно для текущаго момента, то и имѣло всѣ права на преимущество. Добролюбовъ былъ первымъ по времени проповѣдникомъ такого благородно утилитарнаго взгляда на словесное творчество во всѣхъ его видахъ. За то искаженіе, какое этотъ взглядъ испыталъ въ дальнѣйшемъ, когда онъ сводился до крайностей, Добролюбовъ, конечно, не отвѣтственъ, но въ глазахъ всего старшаго поколѣнія онъ несомнѣнно являлся отцомъ новой литературной ереси, призывавшей обратить художника въ слугу тѣхъ злободневныхъ явленій, надъ которыми онъ призванъ властвовать. Не всѣмъ тогда было ясно, что полководецъ вынужденъ бываетъ въ критическую минуту исполнять обязанности рядового. Писательская дисциплина, проводимая Добролюбовымъ такъ послѣдовательно, старшему поколѣнію казалась утилитарною узкой суровостью, а въ глазахъ поколѣнія младшаго была первымъ проявленіемъ стойкой убѣжденности.

## IX.

Итакъ, въ лицѣ Добролюбова молодые разночинцы 18[illegible]-1861 годовъ получили перваго руководителя, который былъ

сродни имъ, если такъ можно выразиться, и тѣломъ, и духомъ. Ничто въ этомъ новомъ человѣкѣ не напоминало прошедшаго, все говорило о будущемъ. Появилась впервые совсѣмъ новая литературная сила, публицистъ въ самомъ строгомъ смыслѣ слова. Демократъ по происхожденію и по образу мыслей, онъ по всей своей психикѣ не подходилъ къ установившемуся типу литератора. Необычайно быстро и смѣло завладѣлъ онъ новой позиціей и успѣхомъ своимъ былъ обязанъ только лишь своему таланту. Будучи очень молодымъ, онъ присвоилъ себѣ право суда надъ всѣмъ литературнымъ движеніемъ его времени, и такое его право было признано. Онъ выработалъ новые пріемы и формы рѣчи — рѣчи, отличавшейся особою силою убѣдительности и вѣса. Рѣчь серьезную и строгую онъ умѣлъ во-время мѣнять на рѣчь игривую и острую, и онъ пользовался этимъ своеобразнымъ орудіемъ полемики очень умѣло.

Ходъ мыслей его отличался особой простотой и ясностью. Всѣ вопросы, которыхъ онъ касался, онъ стремился упростить, насколько возможно, не приводя ихъ въ связь съ отвлеченными началами жизни. Если его разсужденія теряли отъ этого въ глубинѣ, то тѣмъ шире становилась сфера ихъ вліянія. И такъ какъ интересъ его былъ сосредоточенъ исключительно на вопросахъ этики личной и гражданской и, притомъ, имѣющихъ непосредственное отношеніе къ житейской практикѣ, то такое суженіе вопросовъ не могло отразиться на правильности ихъ рѣшенія. Путемъ краткимъ и прямымъ критикъ приходилъ къ тѣмъ же выводамъ, къ какимъ привело бы его и рѣшеніе болѣе сложное.

Выполненіе поставленныхъ этическихъ задачъ Добролюбовъ облегчалъ тѣмъ, что никогда не требовалъ отъ людей непосильнаго героическаго подвига и суроваго, ригористическаго отношенія къ жизни. Совсѣмъ не фанатикъ по духу, онъ считалъ, что въ предѣлахъ власти человѣка, живущаго въ опредѣленныхъ условіяхъ. Онъ зналъ, насколько

молодость падка на призывъ къ великому и почти всегда неисполнимому—и онъ не соблазнялъ ее такими романтическими горизонтами жизни. Онъ зналъ также—и зналъ по себѣ, что молодость любитъ жизнь съ приманками радости и наслажденія—и онъ не предъявлялъ своимъ читателямъ никакихъ требованій аскетической морали, вполнѣ увѣренный, что можно согласовать суровое служеніе общественной идеѣ съ радостнымъ служеніемъ жизни вообще, поскольку она есть интимное дѣло частнаго человѣка.

Въ этомъ во всемъ вмѣстѣ, въ этомъ и таилась сила Добролюбова, какъ личности.

## Н. А. Добролюбовъ. Его программа

[illegible] ложенія, данная Добролюбовымъ.

[illegible] Воспитаніе личности.—Личность и толпа.

[illegible] Привѣтъ и похвалы ей.

### I.

Желаніе поскорѣе высказаться по самымъ разнообразнымъ, быстро назрѣвающимъ вопросамъ текущей жизни было очень сильно во всѣхъ русскихъ критикахъ, которые знали, что [illegible], когда заговорятъ спеціалисты, [illegible] иногда совсѣмъ упустить изъ виду многое, о чемъ должно подумать. Неминуемая неполнота и разбросанность въ теоретическихъ разсужденіяхъ и въ оцѣнкѣ самихъ явленій жизни были неизбѣжнымъ слѣдствіемъ такой вынужденной торопливости.

Торопился всегда и Добролюбовъ. Изъ его многочисленныхъ статей, написанныхъ на самыя разнообразныя темы читателю было не легко вычитать связное міросозерцаніе и многое въ этомъ міросозерцаніи было и самимъ Добролю-

бовымъ оставлено безъ разработки. Но въ этихъ статьяхъ можно было найти зато довольно стройную программу поведенія.

Для молодыхъ людей радикальнаго образа мыслей отвѣтъ на вопросъ—что же теперь дѣлать?—былъ первой потребностью жизни. Найти сейчасъ же еще наканунѣ первыхъ реформъ—такое дѣло, которое допустило бы немедленное практическое осуществленіе—было невозможно, и оставалось поэтому лишь набрасывать программу, по которой можно было бы начать къ этому дѣлу готовиться. Самую ясную и удобоисполнимую программу далъ Добролюбовъ.

Она сводилась къ слѣдующимъ очень простымъ положеніямъ: I. Никакое обновленіе общественное и государственное не будетъ прочно, если въ общемъ культурномъ движеніи простой народъ не приметъ участія. II. Народная масса принять участіе въ этомъ движеніи пока не можетъ, такъ какъ она не подготовлена. Ее надо воспитать и образовать, а посему первое, о чемъ надлежитъ подумать, это — о способахъ такого воспитанія и образованія. III. Несмотря на ужасающія условія жизни, въ какихъ народъ жилъ до сихъ поръ, несмотря на темноту, которая его окутала, онъ хранитъ въ себѣ великія духовныя силы, большую нравственную чистоту и умственную живость; онъ охотно пойдетъ навстрѣчу всякой попыткѣ искренно съ нимъ сблизиться и съ благодарностью встрѣтитъ тѣхъ, кто отдастъ свои труды на служеніе ему. IV. Обязанность пойти на помощь народу лежитъ на русскомъ образованномъ человѣкѣ, который, не ожидая приказа или одобренія свыше, долженъ отдать этому дѣлу свой свободный трудъ, на какомъ бы посту, офиціальномъ или вольномъ, человѣкъ ни стоялъ. V. Къ работѣ этой на пользу народа русскій интеллигентъ также не подготовленъ. Дореформенное время искалечило въ немъ многія качества, необходимыя для такого подвига. Знаній у него мало, но это еще не главный грѣхъ: опаснѣе всего то, что въ немъ совсѣмъ почти не развито чувство [illegible]-

ности: онъ не умѣетъ интенсивно чувствовать, сильно хотѣть, въ немъ нѣтъ достаточно сознанія своей цѣны, какъ личности. А между тѣмъ, только при этомъ сознаніи и при наличности сильной воли возможно проводить въ жизнь то, что считаешь справедливымъ и добрымъ. VI. Интеллигентъ долженъ воспитать въ себѣ и, по возможности, въ ближнихъ всѣ эти необходимыя для истиннаго гражданина качества и тогда приступить къ выполненію главной задачи. VII. Воспитаніе и образованіе интеллигента должно начаться съ самонужнѣйшаго — съ выработки характера и темперамента. Не время теперь рѣшать отвлеченные вопросы. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напр., вопросы религіозные, философскіе и эстетическіе, прямого отношенія къ текущей жизни не имѣютъ, и потому ихъ можно пока сбросить со счетовъ; другіе вопросы, какъ, напр., чисто политическіе, заслуживали-бы, конечно, большого вниманія и ими нужно интересоваться, но положеніе дѣлъ въ Россіи таково, что писать о нихъ неудобно, а стремиться провести ихъ въ жизнь — въ особенности въ радикальномъ ихъ осуществленіи — прямо невозможно. Оставляя всѣ такіе вопросы въ сторонѣ, можно спокойно остановиться на разработкѣ вопросовъ педагогическихъ, т.-е. такихъ, которые будутъ имѣть своею цѣлью воспитаніе гражданина вообще. Намъ нужно пока [illegible], что „гражданское" воспитаніе непремѣнно къ какому-нибудь опредѣленному политическому исповѣданію; оно можетъ имѣть свой плодъ и независимо отъ него, создавая людей съ сильной волей, благородно мыслящихъ, увѣренныхъ въ себѣ самомъ и въ ближнемъ человѣческое достоинство, людей справедливыхъ и умѣющихъ ставить общее дѣло выше частныхъ интересовъ. VIII. Ближайшею цѣлью такого гражданскаго воспитанія должна быть демократизація ума и сердца въ русской интеллигентной средѣ. Образованный человѣкъ долженъ освободиться отъ всѣхъ привычекъ умственно и общественно привилегированнаго положенія, къ какому его пріучило дореформенное время. Для этого надо

только научиться понимать и любить тѣхъ меньшихъ, безъ поддержки которыхъ культурное и общественное обновленіе немыслимо.

Такова была программа воспитанія „новаго" человѣка, предложенная Добролюбовымъ. Она была, въ сущности, очень скромной даже по тѣмъ временамъ, такъ какъ среди молодыхъ людей поколѣнія 1855-1861 гг. было не мало такихъ, которые шли гораздо дальше, особенно въ области политическихъ мыслей и требованій. Но для большинства, для огромной массы людей, вступавшей въ жизнь, программа Добролюбова была первымъ ярко [illegible] и [illegible] предложеніемъ, съ какимъ обращался къ нимъ человѣкъ своего круга.

Само собою разумѣется, что выполненіе этой программы должно было начаться съ послѣднихъ ея параграфовъ, а не съ первыхъ. Чтобы отвѣтить на вопросъ: какъ работать на пользу огромной массы, какъ приступить къ ея воспитанію и образованію, какъ использовать [illegible] въ ея [illegible] богатства духа, что было [illegible] при крѣпостномъ состояніи и при господствующемъ старомъ порядкѣ [illegible] [illegible], [illegible] было по этимъ вопросамъ [illegible] практически выполнимаго отвѣта. [illegible] при состоявшейся перемѣнѣ, можно было [illegible] думать о непосредственномъ сближеніи образованнаго человѣка съ массой [illegible] работы, а [illegible] 1855—1861 гг., [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Но если первые параграфы программы Добролюбова [illegible] [illegible] [illegible] параграфы могли стать [illegible] [illegible]. Образованный человѣкъ могъ начать [illegible] новой программѣ [illegible] [illegible] [illegible] свободно [illegible]

менными идеями, могъ начать воспитывать въ себѣ свободную личность, закалять свою волю, развивать въ себѣ чувчувство гражданское, могъ начать вырабатывать изъ себя демократа въ болѣе общемъ или въ болѣе частномъ смыслѣ.

Къ этой интимной работѣ надъ самовоспитаніемъ молодое поколѣніе передового образа мыслей и приступило подъ руководствомъ Добролюбова.

## II.

Статьи Добролюбова имѣютъ свое значеніе какъ талантливый комментарій къ тому или иному выдающемуся литературному явленію; но въ общемъ онѣ—публицистическій трактатъ на тему, которая поставлена авторомъ независимо отъ всѣхъ предлоговъ, подавшихъ ему поводъ къ бесѣдѣ.

Какъ такой трактатъ мы и будемъ ихъ разсматривать, беря ихъ въ цѣломъ и не придерживаясь хронологическаго порядка въ ихъ опубликованіи, такъ какъ мысль Добролюбова на протяженіи пяти лѣтъ своего развитія не испытала никакихъ переломовъ и колебаній.

## III.

Откровенная смѣлость одна изъ характерныхъ чертъ публицистики Добролюбова. Касаться вопросовъ государственныхъ и политическихъ и вообще всего, что стоитъ въ непосредственной связи съ политикой правительства, онъ, конечно, не могъ, но онъ все-таки сумѣлъ дать надлежащую оцѣнку всему положенію дѣлъ въ Россіи и не щадилъ красокъ въ обрисовкѣ общественной неурядицы, которая создалась подъ прямымъ давленіемъ господствующаго режима. Перечисляя людскіе пороки и недостатки образованнаго или полутемнаго, или совсѣмъ темнаго круга, Добролюбовъ всегда проводилъ свой судъ надъ всей системой управленія, надъ тѣмъ строемъ „государственнымъ", которое

иногда вовсе не совпадаетъ съ воззрѣніемъ народнымъ, т.-е. съ народными интересами.[1] Не критикуя государственнаго воззрѣнія въ частностяхъ, Добролюбовъ всю силу своихъ ударовъ сосредоточилъ на общемъ его результатѣ — на низкомъ уровнѣ умственнаго и нравственнаго развитія страны и на всевозможныхъ болѣзняхъ воли во всѣхъ слояхъ общества. Картина получилась безотрадная.

Добрыя и талантливыя натуры, которыя нерѣдко встрѣчались въ интеллигентномъ обществѣ, искажены и изломаны особенностями привиллегированнаго воспитанія.[2] Самъ привиллегированный классъ въ большинствѣ случаевъ ведетъ жизнь пустую и безпринципную;[3] талантливые люди, гдѣ бы они ни попадались, всего чаще лишены живыхъ началъ жизни; они не имѣютъ достаточно внутренней силы, ума и благородства, чтобы не измѣнить своимъ добрымъ влеченіямъ, не впасть въ апатію, фразерство и даже мошенничество.[4] Ни проявить усилій, ни плыть противъ теченія они не могутъ и въ лучшемъ смыслѣ остаются стоять на мели.[5] Отказъ отъ борьбы въ силу малаго общественнаго интереса — вообще отличительная черта нашего общества. Мы какъ-то очень скоро и внезапно выростаемъ, пресыщаемся, впадаемъ въ разочарованіе, не успѣвши даже хорошенько очароваться. Намъ внезапно дѣлается тѣсно и душно, потому что въ насъ образуются все широкія натуры, а міръ нашъ узокъ и низокъ; рванемся мы вдругъ къ чему-нибудь, да потомъ и сядемъ опять, и сидимъ точно Илья Муромецъ, съ полнымъ равнодушіемъ ко всему, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ.[6] Желаніе дѣятельнаго добра есть въ насъ, и сила есть, но боязнь, неувѣренность въ своихъ силахъ и наконецъ невѣдѣніе: что дѣлать? постоянно насъ останавливаютъ, и мы, сами не зная какъ, вдругъ оказываемся въ сторонѣ отъ общественной жизни. Среди насъ нѣтъ героевъ... нашъ современный герой всегда [illegible] робкимъ, бездѣйственнымъ, [illegible] разными прикрытіями и [illegible], а кто сохраняетъ [illegible]

сили на геройство, такъ тому нечего и быть героемъ: [illegible] настоящемъ онъ не нашелъ, [illegible] не увлекъ [illegible] тому только сочувствуетъ. А [illegible], что [illegible] и какъ нужно, такъ тотъ уже [illegible] и положилъ и въ практической дѣятельности [illegible] не умѣетъ.[7] Симпатичные, нервическія натуры [illegible] у насъ мелкими и [illegible] о настоящемъ героизмѣ, т. е. о [illegible] той массы подвига и правды [illegible] они связаны съ общественной средой. [illegible] противныхъ силъ отражается [illegible] скомъ ихъ развитіи: они боятся или не умѣютъ [illegible] до корня, и, задумывая карать зло, только и [illegible] какое-нибудь мелкое проявленіе его и утомятся [illegible], прежде чѣмъ успѣютъ даже подумать объ его источникѣ.[8] Если таковы лучшіе, возвышающіеся надъ общимъ уровнемъ, то чего можно ждать отъ массы людей остальныхъ—людей сѣрыхъ, не говоря уже о совсѣмъ темныхъ?

Картина царства этихъ темныхъ людей обрисована Добролюбовымъ [illegible] красками.[9] [illegible] міръ [illegible] отчаянія и мукъ! Но прежде [illegible] этого царства [illegible] тьмы и самодурства, которое сильно тѣмъ, что оно признано законнымъ,[10] прежде [illegible] того міра, въ которомъ личность забита и принижена, [illegible] въ сферы жизни [illegible], и [illegible] насъ встрѣтитъ [illegible] съ такимъ складомъ ума и характера, который не [illegible]. [illegible] у насъ [illegible] мало,[11] самыя [illegible] натуры [illegible] многимъ изъ насъ [illegible],[12] [illegible] къ [illegible] частностямъ [illegible] широкой [illegible] жизни,[13] [illegible] восторгъ [illegible] насъ въ самообольщеніе,[14] мы готовы [illegible] тѣмъ, что [illegible].[15] Наша [illegible] не способствуетъ выработкѣ какихъ-[illegible] убѣжденій [illegible] привязанностей; если мы [illegible] чему-нибудь, такъ это въ томъ,

[illegible] нравственныхъ убѣжденій.[16] Наше общество не имѣетъ себѣ подобнаго въ безразличіи, съ которымъ оно смотритъ на общественную мораль; нѣтъ въ людяхъ рѣшительности и полноты убѣжденій.[17] Съ большей или меньшей долей апатичности и бесхарактерности, подъ болѣе или менѣе искусной маской мы сохраняемъ [illegible] качество — отвращеніе отъ серьезной и самобытной дѣятельности.[18] Бываемъ мы часто рабами чужой воли,[19] рѣдко доходимъ до той грани, гдѣ слово становится дѣломъ, гдѣ причина сливается съ внутренней потребностью души, [illegible] и дѣлается неотразимою силою, [illegible].[20] Какъ много среди насъ людей безъ [illegible], которые было бы для нихъ жизненной необходимостью, [illegible] стремленій, [illegible]. Все, о чемъ они говорятъ и мечтаютъ — у нихъ чужое, наносное; въ глубинѣ ихъ души [illegible] идеалъ [illegible].[21] Сколько мы знаемъ людей, которымъ [illegible] вопроса, не касающагося ихъ собственной кожи, сколько такихъ, которые [illegible] въ вопросахъ и сомнѣніяхъ, [illegible] разрѣшать своей [illegible] ни одного изъ нихъ и [illegible] рѣшеніемъ, которыми [illegible] теоріи. Сколько мы знаемъ людей, [illegible] передъ тѣмъ, кого они внутренно [illegible], смѣющихся надъ тѣмъ, что боятся, [illegible] что они очень хорошо знаютъ, [illegible] и т. п.[22] Сколько [illegible],[23] [illegible],[24] [illegible]. [illegible],[25] [illegible][26] или самоотверженно [illegible],[27] [illegible] и благородныхъ, [illegible] платоническою [illegible] общественною дѣятельностію.[28] [illegible] ности съ другой—явленіе обыденное.[29]

[illegible]

обрисовку темнаго фона своей картины. Но, въ общемъ, впечатлѣніе отъ этой картины получилось далеко не мрачное, такъ какъ во всѣхъ обличительныхъ словахъ чувствовалось не уныніе безсильнаго, а раздраженіе бодраго человѣка. Кромѣ того, и это главное, публицистъ совершенно открыто заявлялъ, что весь этотъ мракъ—мракъ отходящей ночи, которая должна скоро уступить мѣсто новому дню. И этотъ день не только близокъ, онъ наступаетъ и мы уже вошли въ извѣстную полосу свѣта. Уже выросла другая жизнь, съ другими началами, и хоть далека она еще и не видна хорошенько, но уже даетъ себя предчувствовать и посылаетъ нехорошія видѣнія темному произволу.[30] Русская жизнь дошла наконецъ до того, что добродѣтельныя и почтенныя, но слабыя и безразличныя существа не удовлетворяютъ общественнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность въ людяхъ, хотя бы и менѣе прекрасныхъ, но болѣе дѣятельныхъ и энергичныхъ.[31] У насъ созрѣло сознаніе о томъ, какъ ничтожны всѣ quasi-талантливыя натуры, которыми мы прежде восхищались; прежде онѣ прикрывались разными платьями, украшали себя разными прическами, теперь онѣ разоблачены передъ нами. Вопросъ, что эти люди дѣлаютъ, въ чемъ смыслъ и цѣль ихъ жизни, поставленъ прямо и ясно, потому что теперь уже настало или настаетъ неотлагательно время работы общественной.[32] Теперь въ нашемъ обществѣ есть уже мѣсто великимъ идеямъ и сочувствіямъ, новыя, они должны освободить насъ отъ пошлости и мелочности, все свѣжее и лучшее въ нашемъ обществѣ ожидаетъ этихъ перемѣнъ.[33] Придетъ же онъ наконецъ, этотъ новый настоящій день! Канунъ недалекъ отъ слѣдующаго за нимъ дня: всего-то какая-нибудь ночь раздѣляетъ ихъ![34] Бездѣйственнымъ людямъ, будь они даже отличные, благородные и умные люди, теперь среди насъ не должно быть мѣста. Теперь даже тотъ, въ душѣ не любящій прогрессивныхъ идей, долженъ показывать видъ, что любитъ ихъ для того, чтобы имѣть доступъ въ

порядочное общество.[35] Намъ нужны теперь не такіе люди, которые бы еще болѣе „возвышали насъ надъ окружающей дѣйствительностью", а такіе, которые бы подняли—и насъ научили поднять—самую дѣйствительность до уровня тѣхъ разумныхъ требованій, какія мы уже сознали. Нужны люди дѣла,[36] а тѣхъ, кто, дѣла не дѣлая, мѣшаетъ другимъ—тѣхъ надо преслѣдовать насмѣшкой, пародией и свисткомъ.[37]

Итакъ, новыя времена приближаются, они уже наступили. Какъ бы длиненъ ни былъ списокъ разныхъ общественныхъ пороковъ и недостатковъ, отъ которыхъ страдаетъ русское общество, оно таитъ въ своихъ нѣдрахъ новыя силы, теперь вызванныя къ жизни. Весь вопросъ въ томъ, какъ эти силы развернутся, и вся задача людей идейныхъ и передовыхъ въ томъ, чтобы помочь этимъ силамъ въ ихъ развитіи и указать имъ ближайшую цѣль, къ которой надлежитъ стремиться.

## IV.

Образованіе этихъ новыхъ силъ могло быть на почвѣ либо совершенно новой программы, либо примѣнительно къ тому кругу идей и чувствъ, въ какомъ образовывались и воспитывались предшествующія поколѣнія. Можно было пытаться использовать въ новыхъ цѣляхъ прежніе, уже сложившіеся, взгляды, уже обслѣдованныя области знанія и вѣры—и можно было направить интересъ людей на новыя сферы знанія и постараться привить имъ новую вѣру.

Къ прежнимъ сферамъ, къ которымъ предшествующее поколѣніе питало особенную нѣжность, а именно къ вопросамъ вѣры, идеалистической философіи и эстетики, Добролюбовъ обнаруживалъ большую холодность. Самъ онъ, какъ частное лицо, былъ далеко не индифферентенъ къ этимъ отраслямъ духовной дѣятельности человѣка, но въ своихъ статьяхъ онъ не любилъ говорить о нихъ, отчасти потому, что чувствовалъ себя неготовымъ къ отрицанію ихъ [illegible]

жденія, отчасти потому, что — какъ всѣ молодые люди его лагеря — считалъ и религію, и чисто отвлеченное умозрѣніе, и эстетику косвенно виновными въ общемъ [illegible] русской интеллигенціи недавней формаціи. Но Добролюбовъ не разрѣшалъ себѣ враждебныхъ выходокъ противъ этихъ устоевъ господствовавшаго міропониманія, какъ не разрѣшалъ себѣ и обороны взглядовъ, которые должны придти имъ на смѣну.

Вѣру, довольно сильную въ дѣтствѣ, Добролюбовъ скоро утратилъ, и вмѣстѣ съ ней, кажется, и вообще интересъ къ постановкѣ религіозныхъ вопросовъ. Въ его статьяхъ попадаются лишь изрѣдка попытки истолковать религію какъ историческое явленіе,[38] встрѣчаются ироническія выходки противъ суевѣрія на религіозной почвѣ,[39] идетъ рѣчь о свободѣ совѣсти,[40] а также и о возможности согласить практическое возрожденіе съ истиннымъ пониманіемъ о духѣ Христова ученія,[41] но обо всемъ этомъ говорится крайне отрывочно и съ большимъ спокойствіемъ: вопросы вѣры и знанія очевидно не волнуютъ.

Не волновали Добролюбова и вопросы философскіе. По нѣкоторымъ его словамъ было ясно, что онъ — сторонникъ позитивнаго образа мыслей, но нигдѣ онъ не разрѣшалъ себѣ никакой полемики, никакой апологіи. Онъ высказывалъ неодобреніе дуализму, который отдѣляетъ душу отъ тѣла и тѣмъ самымъ даетъ поводъ ко всевозможнымъ заблужденіямъ метафизической мысли,[42] онъ говорилъ о точной наукѣ, которая можетъ избавить насъ отъ этихъ заблужденій и которая согласна съ высшимъ христіанскимъ взглядомъ на личность человѣка, какъ существа „самостоятельно-индивидуальнаго";[43] онъ говорилъ, очевидно вспоминая Фейербаха, о правильной оцѣнкѣ роли „тѣла" во всей нашей психической дѣятельности,[44] онъ что-то имѣлъ возразить противъ „романтизма и идеализма", упрекалъ насъ въ томъ, что мы непремѣнно стараемся украсить, облагородить вещи вмѣсто того, чтобы представлять себѣ ихъ такъ, какъ онѣ есть, и

этимъ самымъ навязываемъ на себя такое бремя, которого и снести не можемъ;[45] онъ возражалъ тѣмъ, кто отстаивалъ абсолютную свободу воли человѣка;[46] онъ острилъ надъ метафизической психологіей[47] — однимъ словомъ, при случаѣ онъ давалъ понять, что старыя философскія постройки подлежатъ сносу; но что надо построить на мѣстѣ разрушеннаго — объ этомъ Добролюбовъ говорилъ очень глухо. Онъ зналъ, конечно, о томъ направленіи, какое приняла философская мысль на западѣ послѣ того, какъ философскій идеализмъ сказалъ свое послѣднее слово при Гегелѣ и престарѣломъ Шеллингѣ, онъ зналъ о ростѣ естественныхъ наукъ и привѣтствовалъ его;[48] о Фейербахѣ онъ также въ своихъ статьяхъ вспомнилъ,[49] но настойчиво рекомендовать своимъ читателямъ изученіе той или иной науки, способной дать умозрѣнію наиболѣе прочную основу, онъ воздерживался. Хотя науку, какъ таковую, цѣнилъ очень высоко и самъ въ нѣкоторыхъ историческихъ статьяхъ обнаружилъ несомнѣнный талантъ научнаго изслѣдователя.

Добролюбовъ часто жаловался на то, что русская наука измельчала и растерялась въ мелочахъ,[50] что она вырождается нерѣдко въ псевдо-науку,[51] превращается въ крохоборство,[52] въ науку касты.[53] Онъ желалъ для нея высшихъ, философско-историческихъ соображеній,[54] хотя добавлялъ, что ставить теперь такое требованіе еще рано.[55] Всѣ эти соображенія онъ высказывалъ, имѣя въ виду преимущественно историческія науки. Исторія была область, въ которой Добролюбовъ успѣлъ заявить себя наиболѣе цѣнными данными. О томъ, каковы были его познанія въ другихъ наукахъ, „реальныхъ", которыя начинали тогда интересовать умы, нельзя сказать ничего опредѣленнаго, такъ какъ Добролюбовъ, въ отличіе отъ многихъ молодыхъ писателей его времени, не любилъ щеголять ссылками и упоминаніемъ модныхъ именъ. Какъ бы то ни было, но въ статьяхъ Добролюбова читатель не могъ найти настоящей программы для самообразованія и выработки [illegible], программы, которая облегчала бы [illegible]

ническое ученіе современныхъ философскихъ и научныхъ ученій: старыми Добролюбовъ не интересовался, а къ проповѣди новыхъ себя не готовилъ.

Прошелъ Добролюбовъ и мимо всѣхъ эстетическихъ вопросовъ, которые играли такую большую, чуть не первенствующую роль въ духовной жизни стараго поколѣнія. Съ эстетикой Добролюбовъ покончилъ смѣло и рѣшительно и, судя по тону, въ какомъ онъ о ней говорилъ, онъ былъ какъ будто на нее сердитъ или ею обиженъ. Но обидѣть она его не могла и расплачивалась она въ данномъ случаѣ, конечно, не за свои грѣхи. „Вопросъ чистаго искусства уже проигранъ фактически; надъ нимъ и хлопотать не стоитъ", — говорилъ Добролюбовъ,[56] и такой поспѣшный приговоръ служилъ ему оправданіемъ въ его невнимательномъ отношеніи къ трудному вопросу. А Добролюбовъ несомнѣнно отнесся невнимательно къ вопросу о смыслѣ и о значеніи красоты въ жизни. Онъ мало думалъ надъ этой проблемой, и въ статьяхъ его нѣтъ и слѣда какихъ-нибудь теоретическихъ доказательствъ правоты его взгляда на искусство или разбора мнѣній, съ его мнѣніями несогласныхъ: онъ не разсуждалъ, а высказывалъ готовыя сентенціи, которыя совсѣмъ не касались вопроса по существу, а подтверждали только одну частную мысль. Мысль эта можетъ быть выражена въ такихъ словахъ: въ настоящее время намъ нужны честные и умные граждане, и у насъ нѣтъ времени говорить о чемъ-либо иномъ, кромѣ ихъ воспитанія; поскольку памятники искусства могутъ служить такому воспитанію, постольку мы и будемъ говорить о нихъ; какую роль само искусство, какъ таковое, играетъ въ жизни, это насъ не интересуетъ, намъ дорога лишь сама жизнь, поскольку она отражена въ этомъ искусствѣ. „Поэзія и вообще искусства, какъ и науки, слагаются по жизни, а не жизнь зависитъ отъ поэзіи и все то, что въ поэзіи является лишнимъ противъ жизни, т.-е. не вытекающимъ изъ нея прямо и естественно, все это уродливо и безсмысленно"[57] (очевидно — изъ диссертаціи Чернышевскаго).

Останавливаясь на этой мысли о независимости искусства отъ жизни, Добролюбовъ не задалъ себѣ вопроса о томъ, насколько сама жизнь въ свою очередь можетъ зависѣть отъ искусства, т.-е. насколько потребность въ красотѣ можетъ вліять на міросозерцаніе человѣка, а потому и на самую жизнь.

Добролюбовъ понималъ, конечно, что такое упрощеніе вопроса не есть его рѣшеніе, и чистосердечно признавался въ томъ, что не увлекался такими вопросами. „Мы не чувствуемъ въ себѣ призванія воспитывать эстетическій вкусъ публики—писалъ онъ[58]—и потому намъ самимъ чрезвычайно скучно браться за школьную указку съ тѣмъ, чтобы пространно и глубокомысленно толковать о тончайшихъ оттѣнкахъ художественности". Дѣйствительно, никакихъ глубокомысленныхъ разсужденій на эту тему въ его статьяхъ не имѣется. Не находимъ же мы въ самомъ дѣлѣ глубокомысленнымъ то, кажется, единственное опредѣленіе роли искусства въ жизни, какое далъ Добролюбовъ: „значеніе художнической дѣятельности въ ряду другихъ отправленій общественной жизни заключается въ томъ, что образы, созданные художникомъ, собирая въ себѣ, какъ въ фокусѣ, факты дѣйствительной жизни, весьма много содѣйствуютъ составленію и распространенію между людьми правильныхъ понятій о вещахъ"[59]. Тонкій умъ Добролюбова не могъ удовлетвориться такой элементарной формулой; ему было [illegible] чувствовать себя виноватымъ, и тогда онъ говорилъ, что понимать вѣчные законы искусства и толковать о художественныхъ красотахъ по поводу современныхъ русскихъ повѣстей [illegible] такъ же смѣшно, какъ разсказывать теорію генералъ-баса въ поощреніе [illegible] обращающемуся съ такта[60]. Но онъ увѣренъ, что [illegible]

[illegible]

натуры, что сознаніе нормальнаго [?] порядка вещей должно быть въ каждомъ талантливомъ человѣкѣ ясно и живо, идеалъ его — простъ и разуменъ.[61] Иногда Добролюбовъ начиналъ глумиться надъ задачей, которую отстранялъ отъ себя самовольно и которая все-таки не переставала его тревожить. „Эстетическая критика — писалъ онъ тогда — сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень". И онъ начиналъ пародировать слабые образцы такой критики,[62] какъ будто пародія, да еще неудачныхъ попытокъ, могла что-либо говорить противъ серьезнаго разсужденія на очень серьезную тему.

И странно: самъ Добролюбовъ въ своихъ статьяхъ давалъ нерѣдко образцы очень тонкой эстетической критики и совсѣмъ не для чувствительныхъ барышень.[63] Къ числу такихъ принадлежитъ, напр., эстетическая оцѣнка Гончарова.[64] Но рядомъ съ этимъ много несправедливаго сказано о Пушкинѣ,[65] и сказано именно потому, что въ Пушкинѣ недостаточно оцѣненъ художникъ.

Добролюбова считаютъ иногда иниціаторомъ похода противъ искусства. Это невѣрно. Онъ не признавалъ служенія красотѣ дѣломъ общественно вреднымъ, какъ признавали это нѣкоторые рьяные радикалы изъ его современниковъ и учениковъ; но несомнѣнно, что въ оцѣнкѣ искусства онъ выдвигалъ лишь стоимость его какъ показателя гражданскаго развитія и какъ удобнаго орудія для гражданскаго воспитанія. Въ особенности на словесное искусство смотрѣлъ Добролюбовъ глазами принципіальнаго утилитариста. Великое значеніе литературы для жизни признать нужно[66] и плоды воображенія могутъ стать предлогомъ серьезнаго и правильнаго обсужденія самой дѣйствительности;[67] необходимо только, чтобы художникъ не отставалъ отъ вѣка и чтобы самые существенные вопросы современности служили поводомъ къ его творчеству и выводомъ изъ его твореній. Наша русская литература, при всѣхъ ея красотахъ въ прошломъ и въ настоящемъ, всегда грѣшила тѣмъ, что плелась за

жизнью и не умѣла во-время сказать нужнаго слова. Мало сдѣлали наши литераторы[68] даже тогда, когда ставили своей цѣлью пресловутое „обличеніе“. Руководить жизнью наша литература не могла;[69] она ничего не даетъ намъ, не поднимаетъ ни одного значительнаго вопроса;[70] она всегда опаздывала сравнительно съ распоряженіями правительства и даже на вопросъ объ освобожденіи крестьянъ отзывалась слабо.[71] Теперь времена стали серьезнѣе, но литература серьезнѣе не стала.[72] Пора же ей наконецъ занять то мѣсто, которое ей принадлежитъ по праву. Въ сущности вѣдь мыслитель и поэтъ дѣлаютъ одно дѣло. Оба они исходятъ изъ одного начала—дѣйствительной жизни, но только различнымъ образомъ принимаются за дѣло. Мыслитель, замѣчая въ людяхъ, напримѣръ, недовольство настоящимъ ихъ положеніемъ, соображаетъ всѣ факты и старается отыскать новыя начала, которыя бы могли удовлетворить возникающія требованія. Литераторъ-поэтъ, замѣчая тоже недовольство, рисуетъ картину такъ живо, что общее вниманіе остановленное на ней, само собою наводитъ людей на мысль о томъ, что же именно имъ нужно.[73] Въ этомъ „нужномъ“ вся цѣнность литературы, поскольку она есть общественное явленіе. И само собою разумѣется, что и критика, которая берется судить объ этой литературѣ, должна говорить лишь о томъ, что дѣйствительно „нужно“. „Не надо намъ слова гнилого и праздного, погружающаго въ самодовольную дремоту и наполняющаго сердце пріятными мечтами; а нужно слово свѣжее и гордое, заставляющее сердце кипѣть отвагою гражданина, увлекающее къ дѣятельности широкой и самобытной.[74]

Что касается научныхъ доктринъ и философскаго мышленія новаго типа, на западѣ тогда весьма популярнаго, то Добролюбовъ признавалъ всю пользу такихъ доктринъ для современнаго дѣятеля, не брать на себя обязанность ихъ пропаганды. Онъ чувствовалъ себя неподготовленнымъ для такой роли просвѣтителя, и кромѣ того онъ былъ [illegible]

увѣренъ, что это дѣло только выиграетъ въ рукахъ его сотрудниковъ по журналу, въ особенности въ рукахъ того человѣка, которому онъ самъ былъ многимъ обязанъ въ своемъ философскомъ и научномъ развитіи.

Обойдя вопросы образованія, Добролюбовъ приступилъ прямо къ выполненію своихъ обязанностей педагога, воспитателя подростающей молодежи, готовящейся къ гражданскому служенію.

## V.

Вопросы этическіе и педагогическіе становились, такимъ образомъ, въ первую очередь. Писать подробный трактатъ о нравственности личной, семейной и общественной Добролюбовъ не собирался и объ „оправданіи добра" съ философской точки зрѣнія не думалъ. Онъ выдвигалъ лишь нѣкоторыя нравственныя положенія, которыя были ему нужны для освѣщенія вопросовъ общественной педагогики. Никакой системы въ разъясненіи этихъ положеній не было; одинъ и тотъ же вопросъ повторялся часто, съ умысломъ заставить читателя почаще думать. Нѣтъ нужды перечислять подробно всѣ этическіе вопросы, по которымъ скользилъ нашъ моралистъ. Никакого оригинальнаго освѣщенія онъ имъ не давалъ и всѣ они сводились къ элементарнымъ правиламъ добраго, справедливаго, честнаго и убѣжденнаго отношенія къ вопросамъ жизни и къ людямъ. Были, впрочемъ, въ этихъ экскурсіяхъ въ область прикладной этики нѣкоторыя мысли, на которыхъ Добролюбовъ настаивалъ. Въ числѣ такихъ была, напримѣръ, мысль о томъ, что естественныя стремленія человѣка—всегда добрыя стремленія. „Естественныя стремленія человѣчества, говорилъ онъ[75]—приведенныя къ самому простому знаменателю, могутъ быть выражены въ двухъ словахъ: чтобы всѣмъ было хорошо. Понятно, что стремясь къ этой цѣли, люди, по самой сущности дѣла, сначала должны были отъ нея удаляться: каждый хотѣлъ, чтобы

ему было хорошо и, утверждая свое благо, мѣшалъ другимъ; устроиться же такъ, чтобы одинъ другому не мѣшалъ, не успѣли. Но чѣмъ хуже становится людямъ, тѣмъ они сильнѣе чувствуютъ нужду, чтобы было хорошо. Лишеніемъ не остановишь требованій, а только раздражишь; только принятіе пищи можетъ утолить голодъ. До сихъ поръ потому борьба не кончена; естественныя стремленія, то какъ будто заглушаясь, то появляясь сильнѣе, все ищутъ своего удовлетворенія. Въ этомъ состоитъ сущность исторіи". При такомъ оптимистическомъ взглядѣ на ходъ исторіи оставалось только стремиться къ тому, чтобы люди поскорѣе освобождали въ себѣ свое доброжелательное „естество" отъ всего, что можетъ затормозить его проявленіе въ жизни. Такой культъ „естественныхъ" склонностей могъ повести ко многимъ проявленіямъ темперамента, воли и чувства, не вполнѣ согласнымъ съ обычною нравственностью. И, дѣйствительно, въ шестидесятыхъ годахъ примѣры такого стремленія быть во всемъ „естественнымъ" вызывали не мало нареканій. Мысли Добролюбова по этому вопросу могли, однако, грѣшить развѣ только излишней простотой и большей довѣрчивостью къ человѣку, такъ какъ въ его представленіи естественное и доброе сливалось; „всѣ прекрасныя стремленія, говорилъ онъ, мы признаемъ слѣдствіемъ естественныхъ, нормальныхъ потребностей человѣка. Сущность природы человѣка опредѣлить кратко довольно мудрено, но что во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, такъ это ея способность къ развитію. Для того, чтобы имѣть возможность развиваться, она требуетъ избѣжанія всякихъ столкновеній и помѣхъ. А для этого она, очевидно, предписываетъ человѣку не мѣшать и другимъ, потому что иначе онъ и самъ себѣ помѣшаетъ, остановитъ и стѣснитъ себя въ своемъ развитіи. Признавая въ человѣкѣ одну только способность къ развитію и одну только наклонность къ дѣятельности и отдыху, мы изъ этого одного прямо можемъ вывести съ одной стороны естественное требованіе человѣка, чтобы [illegible]

стѣснялъ, а съ другой стороны—столь же естественное сознаніе, что и ему не нужно посягать на права другихъ.[76] Такъ просто разрѣшалъ Добролюбовъ иногда запутаннѣйшіе вопросы людскихъ этическихъ взаимоотношеній. Жизнь, конечно, на каждомъ шагу опровергала такую оптимистическую теорію, но Добролюбовъ не унывалъ, полагаясь на силу „естественныхъ" склонностей въ человѣкѣ, и вѣрилъ въ возможность воспитать цѣлое поколѣніе „разумныхъ эгоистовъ", какъ онъ говорилъ—людей, которые съумѣютъ отстоять свои права, не нарушая правъ ближняго, съумѣютъ удовлетворить свои желанія, не ограничивая желаній другихъ. О воспитаніи въ такомъ духѣ онъ говорилъ неоднократно. Принципы, которыхъ онъ держался въ своихъ педагогическихъ статьяхъ, были столь же просты, какъ и его основныя этическія предпосылки: воспитать съ дѣтства людей, которые умѣли бы заступиться за себя, знали бы цѣну своимъ убѣжденіямъ и идеаламъ и доброжелательно и справедливо относились бы къ ближнему. Повторяя выводы Пирогова, Добролюбовъ признавалъ, что воспитаніе совсѣмъ не готовитъ насъ къ борьбѣ съ „ложнымъ" направленіемъ общества; оно не заботится о томъ, чтобы вкоренить въ насъ высшія, человѣческія убѣжденія; оно хлопочетъ только о томъ, чтобы сдѣлать насъ спеціалистами; человѣкъ хочетъ бороться со зломъ и ложью, но онъ не приготовленъ къ борьбѣ, онъ долженъ сначала перевоспитать себя, чтобы выйти на арену бойца;[77] мы готовимся жить въ новой сферѣ, и старые воспитатели уже не годны, эти воспитатели не только не предвидятъ, а даже просто не понимаютъ потребностей новаго времени и считаютъ ихъ нелѣпостью;[78] мы совѣстимся представить себѣ вещи, какъ всѣ онѣ есть и ложный и безплодный идеализмъ приноситъ нашему воспитанію массу вреда. Во всѣхъ требованіяхъ и пріемахъ современнаго воспитанія обнаруживается полное презрѣніе къ органической жизни человѣка, какъ человѣка, а не какъ спеціальной машины.[79] Набивая голову ребенка разными по-

нятіями, которыя выше его соображенія, мы образуемъ не людей съ благородными чувствами, а сентиментальныхъ фразеровъ, совершенно негодныхъ въ практической жизни и безполезныхъ себѣ и другимъ;[80] наше воспитаніе хочетъ дѣйствовать на сердце ребенка, не внушая ему здравыхъ понятій, и въ результатѣ получается добродушіе по привычкѣ, при совершенной шаткости и безсиліи убѣжденій — а между тѣмъ только та доброта и благородство чувствованій совершенно надежны и могутъ быть истинно полезны, которыя основаны на твердомъ убѣжденіи, на хорошо выработанной мысли.[81] Отвратить опасность, которая грозитъ намъ при ошибочности современнаго воспитания, мы можемъ легко: нужно только довѣриться тѣмъ „естественнымъ" склонностямъ, которыя затаены въ каждомъ человѣкѣ и свободное развитіе которыхъ остановлено нашими педагогическими мудрствованіями. „Воспитаніе, какъ всѣ теоретическія науки, имѣющія предметомъ внутренній міръ человѣка, имѣетъ своею задачей только возбужденіе и проясненіе въ сознаніи того, что уже давно живетъ жизнью непосредственною, безсознательною и безотчетною".[82] Главное, что долженъ имѣть въ виду воспитатель, это уваженіе къ человѣческой природѣ въ ребенкѣ, предоставленіе ему свободнаго, нормальнаго развитія, стараніе внушить ему прежде всего и болѣе всего правильныя понятія о вещахъ, живыя и твердыя убѣжденія, заставить его дѣйствовать сознательно, по увлеченію къ добру и правдѣ.[83] А такъ какъ природа предрасполагаетъ человѣка къ добру и „пороки и преступленія не лежатъ въ природѣ человѣка и не могутъ быть удѣломъ естественнаго развитія",[84] то на успѣхъ новой системы воспитанія можно вполнѣ надѣяться и правы были тѣ великіе реформаторы человѣческой жизни, которые, какъ Робертъ Овэнъ, говорили съ вызывающей гордостью: „Я предлагаю систему человѣческой жизни во всѣхъ отношеніяхъ противуположную системѣ прошедшей и настоящей—систему, которая произведетъ [illegible]

[illegible] во всемъ человѣчествѣ и каждаго, съ неотразимою необходимостью, привести къ послѣдовательности, разумности, правому мышленію и правымъ поступкамъ.[85]

Русскій человѣкъ давно уже доказалъ свою способность охватывать умомъ самыя трудныя задачи и смѣло рѣшать ихъ—но совсѣмъ еще не имѣлъ случая подвергнуть строгому испытанію свою волю или, если такой случай представлялся, то испытанія онъ не выдерживалъ. Если естественныя склонности влекутъ человѣка къ добру, если господствующее воспитаніе искажаетъ эти склонности, если доказана способность нашего ума одолѣвать всевозможныя теоретическія трудности, то остается лишь позаботиться о разработкѣ нашего характера, темперамента, нашей воли, объ укрѣпленіи въ насъ чувства,—однимъ словомъ о воспитаніи въ насъ [illegible], чтобы быть увѣреннымъ, что съ предстоящей исторической задачей мы справимся. Время требуетъ **сильныхъ характеровъ.**

Мимо теоретическаго вопроса о значеніи личности въ исторіи и ея зависимости отъ среды Добролюбовъ, конечно, не могъ пройти, но въ этотъ вопросъ онъ не углублялся, такъ какъ вообще не любилъ отвлеченныхъ теоретическихъ тонкостей. Онъ предостерегалъ отъ безразсуднаго поклоненія исключительнымъ личностямъ, но протестовалъ также противъ уничтоженія значенія личности вообще.[86] „Великіе историческіе преобразователи—писалъ онъ[87]—имѣютъ большое вліяніе на развитіе и ходъ историческихъ событій въ свое время и въ своемъ народѣ, но прежде чѣмъ начнется ихъ вліяніе, сами они находятся подъ вліяніемъ понятій и правилъ того времени и того общества, на которое потомъ начинаютъ они дѣйствовать силою своего генія. Значеніе этихъ дѣятелей можно уподобить значенію дождя, который благотворно освѣжаетъ землю, но который, однако, составляется все-таки изъ испареній, поднимающихся съ той же земли". Идя дальше въ своихъ разсужденіяхъ на эту тему, Добролюбовъ все тѣснѣе ограничивалъ кругъ вліянія от-

дѣльной личности. Не можетъ одинъ, или даже нѣсколько человѣкъ произвести въ массахъ волненіе, къ которому онѣ не приготовлены, которое не бродитъ уже въ умахъ ихъ вслѣдствіе фактовъ прошедшей жизни.[88] Личность, даже и великая, составляетъ не болѣе какъ искру, которая можетъ взорвать порохъ, но не воспламенитъ камней и сама тотчасъ потухнетъ, если не встрѣтитъ матеріала, скоро загорающагося.[89]

Вопросъ о степени зависимости личности отъ начала массоваго ставилъ Добролюбова передъ трудно обходимой дилеммой: либо признать, что масса, надъ воспитаніемъ которой онъ собирался работать, пока еще совсѣмъ не готова для желаннаго „волненія“ и что трудъ его пропадетъ даромъ; либо — вопреки теоріи — признать, что сильная личность отнюдь не находится въ такой зависимости отъ массы, какъ ему это подсказывало, главнымъ образомъ, его демократическое чувство. Радикалы въ данномъ случаѣ, дѣйствительно, попадали въ неловкое положеніе въ виду несоотвѣтствія ихъ теоріи съ практикой: демократы по образу мыслей, они были больше индивидуалисты въ области чувства и воли; массовому началу они придавали огромное значеніе въ жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ очень высоко цѣнили личную иниціативу. Добролюбова нельзя причислить къ крайнимъ индивидуалистамъ ультра-радикальнаго типа, хотя и онъ обнаруживалъ большое довѣріе къ сильной личности, и задумывался надъ тѣмъ, сможетъ ли она выполнить намѣченную программу при данныхъ историческихъ условіяхъ. Такое довѣріе къ личности въ 1855—1861 годахъ было вполнѣ законно, и Добролюбову не пришлось дожить до того времени, когда оно въ семидесятыхъ годахъ подверглось первому испытанію. Надежда Добролюбова на быстрое торжество разумной и сильной личности надъ всѣми препятствіями, какія жизнь можетъ поставить ея плодотворной дѣятельности, не было затуманено никакими сомнѣніями; и онъ вѣрилъ, что такая личность — сила, уже [illegible]

Теперь на первомъ планѣ стоитъ *иниціатива*—писалъ онъ,—т.-е. способность человѣка самостоятельно, самому по себѣ браться за дѣло. Все какъ-то стремится стать на свои ноги и жить по милости другихъ считаетъ недостойнымъ себя. Такое измѣненіе тенденцій произошло въ обществахъ новыхъ народовъ Европы съ конца XVIII-го столѣтія. Можемъ сказать, что измѣненіе это не миновало отчасти и насъ. Что при такомъ проявленіи личной иниціативы извѣстный сумбуръ въ сужденіяхъ неизбѣженъ—съ этимъ приходится мириться. Только Минерва вышла изъ головы Юпитера во всеоружіи, а наши земныя дѣла всѣ начинаются понемножку, съ ошибками и недостатками, да и самыя-то гражданскія общества съ чего начались, какъ не со столпотворенія вавилонскаго [?].[90] Въ человѣкѣ ничѣмъ не заглушимо чувство справедливости и правомѣрности и терпѣнію даже самаго убитаго и трусливаго человѣка всегда есть предѣлъ.[91] Въ нашемъ обществѣ приниженныхъ очень много, но въ настоящее время во всѣхъ и каждомъ замѣчается стремленіе къ возстановленію человѣческаго достоинства и полноправности. Люди, имѣющіе въ себѣ достаточную долю иниціативы, должны придти на помощь тѣмъ, кто нуждается.[92] Задача прямая и неотложная и, пожалуй, даже нетрудная, потому что куда вы ни оглянитесь, вездѣ вы видите пробужденіе личности, предъявленіе ею своихъ законныхъ правъ, протестъ противъ насилія и произвола, большею частью еще робкій, неопредѣленный, готовый спрятаться, но все-таки уже дающій замѣтить свое существованіе. Крестьяне освобождаются и сами помѣщики, утверждавшіе прежде, что еще рано давать свободу мужику, теперь убѣждаются и сознаются, что пора развязаться съ этимъ вопросомъ, что онъ дѣйствительно созрѣлъ въ народномъ сознаніи. А что же иное лежитъ въ основаніи этого вопроса, какъ не уменьшеніе произвола и не возвышеніе правъ человѣческой личности? То же самое и во всѣхъ другихъ реформахъ и улучшеніяхъ, въ финансовыхъ, полицейскихъ

административныхъ преобразованіяхъ, въ заботахъ о правосудіи, въ предположеніяхъ гласнаго судопроизводства, въ уменьшеніи строгости къ раскольникамъ, въ самомъ уничтоженіи откуповъ.[93] Итакъ, пойдемъ навстрѣчу самому времени и станемъ воспитывать въ себѣ разумную и нравственную личность, начнемъ множить въ себѣ силу своихъ чувствъ и воли, станемъ стойкими въ борьбѣ съ тѣмъ, что мы признаемъ зломъ и неправдой. Намъ нужны борцы за идеалы, осуществимые на практикѣ, и теоретики на время могутъ отдохнуть.

Добролюбовъ призывалъ къ такой борьбѣ за права личности одинаково и мужчинъ и женщинъ. Онъ былъ очень высокаго мнѣнія о культурной роли женщины въ обществѣ и принадлежалъ къ числу убѣжденныхъ пропагандистовъ такъ называемаго „женскаго вопроса“, хотя и не избралъ его своей спеціальностью. О женскомъ вопросѣ онъ говорилъ мимоходомъ, посвятилъ много теплыхъ, даже восторженныхъ словъ чувству любви,[94] подсмѣивался надъ „платонизмомъ“ въ этомъ чувствѣ,[95] одобрялъ въ любви „свободу“,[96] требовалъ гуманнаго и справедливаго отношенія къ „падшимъ“.[97] Онъ пока еще не звалъ женщину на общественную работу такъ настойчиво, какъ ее стали звать потомъ, но онъ съ горячностью отмѣчалъ примѣры нравственной стойкости и ума въ тѣхъ женщинахъ, которыхъ художники призывали на работу. Онъ преклонялся передъ простотой логики и передъ гармоніей сердца и воли въ Ольгѣ, невѣстѣ Обломова,[98] онъ прославилъ Катерину въ „Грозѣ“ за величіе ея характера[99] и Елену въ „Наканунѣ“ за жажду дѣятельнаго добра.[100] Онъ чувствовалъ, вѣрилъ, что въ молодомъ женскомъ поколѣніи зрѣетъ сильный и стойкій помощникъ тѣмъ новымъ людямъ, на которыхъ [illegible] возлагало бремя общественнаго обновленія.

Итакъ, сложный вопросъ о воспитаніи и образованіи молодыхъ силъ былъ разрѣшенъ Добролюбовымъ въ самой простой и обыденной формѣ. Предоставляя самимъ дѣ-

шамъ по заурядъ составлять программы для [illegible]. Добролюбовъ набросалъ для своихъ читателей программу [illegible]. Она сводилась къ несложнымъ правиламъ: [illegible] отдаться естественнымъ влеченіямъ, добрымъ по существу, имѣть всегда въ виду не столько теорію, сколько практику жизни, опредѣлить точно, что для этой жизни считаешь разумнымъ и добрымъ; напречь всѣ силы воли и чувства для проведенія этого добраго и разумнаго въ жизнь, беречься всякихъ искушеній апатіи, разочарованія и сомнѣнія; высоко цѣнить въ жизни непосредственное чувство и знать, что только сильная личность можетъ устоять въ житейской борьбѣ и только личная и общественная [illegible] съ жизнью [illegible] омыть насъ отъ старыхъ грѣховъ.

Но пусть такая личность и народится и разовьется, что она должна [illegible] и какъ ей встрепенуться въ [illegible] своей работой?

## VI.

Начертать [illegible], даже выполнимую, было [illegible] все-таки относительно легкимъ; гораздо труднѣе было указать тѣ области жизни, съ которыхъ должна начаться [illegible] и притомъ не теоретическая, программная работа, а практическая. Добролюбовъ, который всегда такъ высоко цѣнилъ дѣло, лучше чѣмъ кто-либо понималъ, что то, что онъ дѣлалъ, есть лишь подготовительная работа; и онъ понималъ, что ничѣмъ инымъ, какъ подготовленіемъ, проповѣдникой, его работа и быть не можетъ.

Добролюбовъ умеръ въ годъ дарованія первой реформы. За весь періодъ его дѣятельности [1855—1861] внѣшній строй нашей жизни оставался такимъ, какимъ онъ былъ въ дореформенное время. Люди стали свободнѣе думать, свободнѣе говорить, но рѣшительно ни въ одной области жизни не могли они пока проявить личной иниціативы, кромѣ области взаимнаго самообразованія и самовоспитанія. Указать въ эта

годы на прямую практическую работу, которая отозвалась бы не на частностяхъ жизни, а на самыхъ существенныхъ ея органахъ, было невозможно.

Добролюбовъ воздерживался отъ всякихъ практическихъ совѣтовъ, которые переступали бы границу намѣченной имъ идейной задачи—создать интеллигентные кадры новыхъ людей, *[illegible]* къ общественной и политической роли. Нѣкоторые изъ его современниковъ, въ которыхъ была очень сильна политическая жилка, считали возможнымъ и нужнымъ даже въ эти годы приступить къ прямой борьбѣ съ правительственной властью, къ чисто политической агитаціи среди общества и народной массы. Такая ранняя практическая дѣятельность успѣха не имѣла и вывела изъ строя многія очень цѣнныя силы. Отъ такихъ практическихъ выступленій, которыя не всегда свидѣтельствуютъ объ отчетливости и глубинѣ политической мысли, Добролюбовъ уберегся потому, что, любящій во всемъ ясность и опредѣленность, онъ и своимъ политическимъ взглядамъ не могъ придать этихъ качествъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если бы мы захотѣли по тѣмъ документамъ, какіе находятся въ нашихъ рукахъ, возстановить образъ чисто политической мысли Добролюбова, мы недалеко могли бы выйти изъ области предположеній. Ни въ письмахъ, ни въ дневникахъ, ни, тѣмъ болѣе, въ статьяхъ Добролюбовъ не оставилъ намъ никакой политической исповѣди, хотя онъ и говоритъ о разныхъ политическихъ условіяхъ и пріемахъ при случаѣ, въ особенности по поводу европейскихъ событій его времени.

Ходъ политической мысли Добролюбова былъ приблизительно слѣдующій.

Мысль послужить своей родинѣ въ разрѣшеніи [illegible] вопросовъ гражданской жизни волновала его съ самыхъ юныхъ лѣтъ необычайно сильно.

Въ рукописномъ журналѣ, который онъ [illegible] Педагогическомъ Институтѣ, онъ съ [illegible]

вленіемъ говорилъ о подвигѣ одного изъ первыхъ политическихъ агитаторовъ въ деревнѣ и не скрывалъ своей симпатіи къ подобнаго рода выступленіямъ. Но такое юношеское революціонное настроеніе свидѣтельствовало не столько объ извѣстномъ направленіи политической мысли, сколько о силѣ молодого темперамента, оскорбленнаго соціальной неправдой. Когда въ болѣе спокойныя минуты пришлось думать о великомъ будущемъ родной Россіи, когда для этого будущаго хотѣлось въ товарищескомъ кружкѣ „трубить неутомимо, безкорыстно и горячо", Добролюбовъ писалъ [1855]: къ несчастью, я очень ясно вижу и свое настоящее положеніе и положеніе русскаго народа въ эту минуту и потому не могу увлекаться обольстительными мечтами. Я чувствую, что реформаторомъ, революціонеромъ я не призванъ быть. Не прогремитъ мое имя, не осѣнитъ его слава дерзкаго предпринимателя и совершителя великаго переворота... Тихо и медленно буду я дѣйствовать незамѣтно стану подготовлять умы: имѣнье [если оно будетъ у меня], жизнь, безопасность личную я отдамъ на жертву великому дѣлу, но это тогда только, когда самопожертвованіе будетъ обѣщать вѣрный успѣхъ. Иначе къ чему губить жизнь, которая еще можетъ быть полезна? Нужно ясно поставить свое положеніе что я такое? Бѣдный студентъ, котораго все достояніе заключается въ 30 рубляхъ серебромъ, находящихся въ долгахъ у разныхъ лицъ, да въ головѣ и рукахъ, которыя онъ еще не знаетъ, какъ употребить... Мои средства—опять только *я*, но *я* безъ средствъ... Что же тутъ дѣлать? А между тѣмъ, что касается до меня, я какъ будто нарочно призванъ судьбой къ великому дѣлу переворота! Сынъ священника воспитанный въ строгихъ правилахъ христіанской вѣры и нравственности—родившійся въ центрѣ Руси, проведшій первые годы жизни въ ближайшемъ соприкосновеніи съ простымъ и среднимъ классомъ общества, бывшій чѣмъ-то въ родѣ оракула въ своемъ маленькомъ кружкѣ, потомъ собственнымъ разсудкомъ при всѣхъ этихъ

обстоятельствахъ дошедшій до убѣжденія въ несправедливости нѣкоторыхъ началъ, которыя внушены были мнѣ съ первыхъ лѣтъ дѣтства; понявшій ничтожность и пустоту того кружка, въ которомъ такъ любили и ласкали меня — наконецъ вырвавшійся изъ него на свѣтъ Божій и смѣло взглянувшій на оставленный мною міръ, увидѣвшій все, что въ немъ было возмутительнаго, ложнаго и пошлаго, — я чувствую теперь, что болѣе, нежели кто нибудь имѣю силы и возможности взяться за свое дѣло".

Въ 1857 году мы опять встрѣчаемся съ очень характернымъ заявленіемъ Добролюбова. Противопоставляя образъ своихъ мыслей взглядамъ одного изъ товарищей онъ пишетъ: „я — отчаянный соціалистъ, хоть сейчасъ готовый вступить въ небогатое общество, съ равными правами и общимъ имуществомъ всѣхъ членовъ, а онъ — революціонеръ, полный ненависти ко всякой власти надъ нимъ, но признающій необходимымъ неравенство правъ и состояній даже въ высшемъ идеалѣ человѣчества и возстающій противъ власти только потому, кажется, что видитъ ея нелѣпость statu quo и признаетъ себя выше ея... Идеалъ его — Сѣверо-американскіе штаты. Для меня же идеала на землѣ еще не существуетъ"... Едва ли такъ могъ писать человѣкъ съ сильнымъ революціоннымъ темпераментомъ, который хоть и не вѣрилъ въ осуществленіе идеала на землѣ, но которому дорогъ самый процессъ борьбы за этотъ идеалъ.

Сближеніе съ Чернышевскимъ должно было, конечно, отразиться на политическихъ взглядахъ Добролюбова. Политическіе вопросы были, несомнѣнно, темой ихъ частыхъ разговоровъ, но о чемъ говорили они и какъ — намъ неизвѣстно. Въ воспоминаніяхъ Чернышевскаго о Добролюбовѣ („Дневникъ Левицкаго") мы встрѣчаемъ только одно очень цѣнное указаніе, относящееся къ данному вопросу. Чернышевскій вмѣсто того, чтобы горячить Добролюбова, старался подорвать въ немъ довѣріе къ революціямъ и убѣдить его въ томъ, что чѣмъ ровнѣе и спокойнѣе ходъ улучшеній,

тѣмъ лучше, что данное количество силы производитъ наибольшее количество движенія, когда дѣйствуетъ ровно и постоянно: дѣйствіе толчками и скачками менѣе экономно. Слѣдуетъ желать, говорилъ онъ, чтобы все обходилось у насъ тихо, мирно. Чѣмъ спокойнѣе, тѣмъ лучше". Говорилъ ли Чернышевскій эти слова Добролюбову или потомъ, когда онъ писалъ свои воспоминанья, онъ присочинилъ ихъ съ какою-нибудь цѣлью — неизвѣстно. Одно только можно утверждать положительно, что въ томъ, что Добролюбовъ писалъ со времени своего сближенія съ Чернышевскимъ, никакого ни стойкаго, ни возрастающаго революціоннаго темперамента не замѣтно. Когда Добролюбовъ говорилъ о томъ, что мы должны пройти тѣмъ же путемъ что и Европа, что мы на этомъ пути не совершенно избѣгнемъ ошибокъ и уклоненій, онъ утѣшалъ насъ тѣмъ, что этотъ путь будетъ намъ облегченъ опытомъ другихъ народовъ и что наше гражданское развитіе можетъ нѣсколько скорѣе пройти по тѣмъ этапамъ, по которымъ такъ медленно проходило оно въ Западной Европѣ.[101] Въ этой исторической справкѣ, которая могла бы допустить подъемъ протеста и повышенную рѣчь, Добролюбовъ проявилъ полное спокойствіе историка, а не борющагося политика. То же спокойствіе обнаружилъ онъ и тогда, когда говорилъ, что начало нашего пути должно быть совершаемо съ большею рѣшимостью, смѣлостью и твердостью, нежели продолженіе пути, которое мы видимъ теперь у другихъ народовъ.[102] И въ этомъ разсужденіи, которое давало поводъ прямо заговорить о рѣшительныхъ и послѣднихъ выступленіяхъ, Добролюбовъ уберегся отъ повышеннаго тона. Наконецъ, когда въ частной перепискѣ, гдѣ онъ могъ говорить вполнѣ свободно, онъ касался современнаго русскаго положенія и [1858] собирался написать много и горячо о той мрачной, безсильной, ожесточенно-грустной тишинѣ, которая господствуетъ теперь между нашими лучшими людьми послѣ тѣхъ неумѣренныхъ надеждъ, какими мы предавались три года тому назадъ" — онъ и здѣсь

ни единымъ словомъ не обмолвился о возможности розмездія правящей силѣ.[103] Тонъ остается спокойнымъ и годъ спустя. „Наши дѣла здѣсь идутъ плоховато: крутой поворотъ ко времени до крымскому совершается быстро и никто не можетъ остановить его".[104] Очень характерно въ данномъ случаѣ одно письмо, написанное въ томъ же году (1859).[105] Корреспондентъ, кажется, разсердился на Добролюбова за спокойный тонъ при столь тревожныхъ обстоятельствахъ. И Добролюбовъ ему пишетъ въ свое оправданіе: „Помилуйте, да гдѣ же я говорилъ: „спите, дескать, все пойдетъ хорошо само-собой, вамъ-то собственно нечего и хлопотать: теперь дѣло сдѣлается и помимо васъ?" Ну нѣтъ! никогда я не былъ такимъ правовѣрующимъ въ ходъ историческаго прогресса. Никогда и въ голову мнѣ не приходило убѣждать общество въ необходимости сидѣть смирно поджавши ручки. Повторяю: дурно я выразился. А мысль моя была вотъ какая: не все же возбуждать общественное сознаніе кукишами ему подъ носъ — слѣдуетъ иногда показать ему, что и само оно что-нибудь да значитъ, потому что, проснувшись отъ долгаго сна, дѣлаетъ же кое-что помаленьку, а коли способно на это, такъ можетъ и гораздо побольше дѣлать. Я убѣжденъ, что старое усыпленіе общества никакъ не можетъ уже вернуться, значитъ нѣтъ никакой опасности указать ему на то, что у него тоже есть силы, что оно эти силы кое-гдѣ и кое въ чемъ въ ходъ уже пустило"... Большую увѣренность въ проявленіи темперамента, чѣмъ въ этомъ отвѣтѣ на вопросъ, на что общество способно? — соблюсти было трудно *).

*) [illegible]

Политическій темпераментъ Добролюбова испыталъ нѣкоторое колебаніе только въ послѣдніе годы его жизни, когда онъ жилъ за границей. Итальянская война за освобожденіе и объединеніе раскипятила его кровь и, разбираясь въ неаполитанскихъ дѣлахъ,[106] разрѣшая себѣ попутно довольно ясные намеки на положеніе дѣлъ въ Россіи, Добролюбовъ съ нескрываемой симпатіей говорилъ о политическомъ переворотѣ, отнюдь не осуждая „головорѣзовъ" [107] и высказывая увѣренность въ томъ, что народъ за себя заступиться съумѣетъ. Но эти общія положенія нисколько не выясняютъ взглядовъ Добролюбова на возможность, близость или желательность революціоннаго движенія въ Россіи, въ кругахъ интеллигентныхъ или въ народной средѣ.

Считаясь съ тѣмъ матеріаломъ, какимъ мы располагаемъ, мы можемъ сказать съ увѣренностью, что къ революціонной программѣ сердце Добролюбова не лежало. Не былъ онъ поклонникомъ и формъ конституціонныхъ. Что думалъ онъ о возможности введенія этого строя въ Россіи, мы не знаемъ. При обсужденіи конституціонныхъ порядковъ на западѣ, Добролюбовъ не обнаруживалъ никакого восторга и, наоборотъ, часто давалъ волю своей ироніи. Съ особенно ядовитой насмѣшкой относился онъ къ „либераламъ" въ администраціи и въ прессѣ—къ этимъ передовымъ дѣятелямъ и хвалителямъ конституціоннаго строя. Мишенью нападокъ на либераловъ Добролюбовъ выбралъ извѣстнаго итальянскаго дипломата и государственнаго дѣятеля Кавура, къ которому онъ и отнесся такъ безпощадно строго и несправедливо именно потому, что подозрѣвалъ въ немъ типичнѣйшаго оппортуниста и представителя столь ему противнаго „либерализма". Люди этого типа, по мнѣнію Добролюбова, ведутъ особый образъ жизни. Это—„жизнь созерцательнаго, платоническаго либерализма, крошечнаго, умѣреннаго и не иначе переводящагося изъ словъ въ дѣло, какъ тогда, когда уже оставаться въ бездѣйствіи становится невыгодно и даже, пожалуй, опасно. Этакихъ людей много

повсюду. Люди эти не настолько тупы, чтобы не понимать дикости нѣкоторыхъ дикихъ вещей, и потому охотно говорятъ противъ этой дичи, говорятъ обыкновенно тѣмъ охотнѣе, чѣмъ менѣе представляется имъ возможности перейти отъ словъ къ дѣлу. Но—или по темпераменту, или по своему внѣшнему положенію — они никакъ не могутъ дойти до послѣднихъ выводовъ, не въ состояніи принять рѣшительныхъ радикальныхъ воззрѣній, которыя честнаго человѣка обязываютъ уже прямо къ дѣятельности, къ пожертвованіямъ... Нѣтъ, девизъ этакихъ людей, не дѣлать зла [т.-е. какъ они понимаютъ опять] и даже по возможности дѣлать добро, когда это не представляетъ и малѣйшаго риска. Дальше они нейдутъ".[108] Либералы желаютъ, чтобы все улучшалось понемножку, нимало не безпокоя установленнаго порядка; люди этого характера обыкновенно ограничиваются желаніями и надеждами на правительство и ничего не дѣлаютъ для того, чтобы заставить его приступить къ реформамъ.[109] Когда Добролюбовъ писалъ эти строки, онъ конечно думалъ не объ однихъ итальянцахъ.

Общій выводъ изъ всѣхъ статей Добролюбова о заграничныхъ дѣлахъ былъ крайне неблагопріятенъ установившимся на западѣ политическимъ порядкамъ. Народъ, благо котораго было на всѣхъ устахъ, менѣе всѣхъ выигралъ и выигрываетъ отъ всякихъ либеральныхъ программъ и переворотовъ, которыми такія программы проводятся въ жизнь. Народъ подготовлялъ почву и расчищалъ путь для либеральныхъ идей и ихъ проповѣдниковъ, и этотъ народъ не получилъ ничего.[110] Прежде феодалы налегали на мѣщанъ и на поселянъ, теперь же мѣщане освободились и сами стали налегать на поселянъ, не избавивъ ихъ отъ феодаловъ. И вышло то, что рабочій народъ остался подъ двумя гнетами. Теперь въ рабочихъ классахъ накипаетъ новое неудовольствіе, глухо готовится новая борьба, въ которой могутъ повториться всѣ явленія прежней. Спасутъ-ли Европу отъ

этой борьбы гласность, образованность, и прочія блага — за это едвали кто можетъ поручиться.[111]

Если все это такъ, то стоитъ-ли придавать особенное значеніе политическимъ формамъ?—могъ спросить Добролюбовъ. Вопросъ былъ однимъ изъ самыхъ трудныхъ, и дать на него отвѣтъ могла не столько логика, сколько темпераментъ людей, въ немъ заинтересованныхъ. Если этотъ темпераментъ не мирился съ постепенностью политическаго развитія и если люди имѣли готовую, радикальную политическую программу, они должны были стать революціонерами. Если они такой программы не имѣли и не хотѣли довольствоваться промежуточными формами политическаго развитія, имъ оставался только одинъ выходъ: не обольщаться призракомъ „свободъ“ и ждать, пока наиболѣе заинтересованная въ этихъ свободахъ народная масса сама установитъ тотъ строй, который всего больше будетъ соотвѣтствовать ея нуждамъ. Что именно въ Россіи эта послѣдняя мысль могла прельстить радикала — вполнѣ понятно: народная масса на западѣ, въ борьбѣ за свои права, обнаружила какъ будто малую стойкость и желанныхъ свободъ не отвоевала; русскій народъ, до сей минуты закрѣпощенный, не имѣлъ еще случая проявить своихъ силъ, внѣшнихъ и внутреннихъ. Кто можетъ сказать и предугадать, на что онъ способенъ? Быть можетъ ему-то и суждено будетъ разрѣшить трудную политическую задачу, и онъ въ ея рѣшеніи не дастъ себя въ обиду? Народъ, освобожденный и просвѣщенный, можетъ уготовить намъ великія неожиданности.

Говоря разныя колкости по адресу „бѣлорукихъ либераловъ“, Добролюбовъ писалъ: „они никакъ не могутъ понять равнодушія человѣка, напр., къ какимъ-нибудь измѣненіямъ въ формѣ правленія; не могутъ простить, если кто съ холодностью приметъ какія-нибудь либеральныя фразы или новыя формы учрежденій. Они никакъ не могутъ дорасти до взгляда человѣка, который ищетъ только существеннаго добра, мало обращая вниманія на внѣшнюю форму, въ ко-

торой оно можетъ проявиться".[112] Себя самого Добролюбовъ, очевидно, причислялъ къ людямъ, которые способны дѣлать различіе между сущностью и видимостью.

Въ размышленіяхъ Добролюбова о видимой людямъ цѣли историческаго процесса благо и счастье народныхъ массъ стояло на первомъ планѣ. Никакой блескъ культурности не прельщалъ его, если эта культурность не была поддержана экономическимъ, умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ самого народа. Если ужъ какими-нибудь общими словами опредѣлять политическій образъ мыслей Добролюбова то его можно назвать „соціалистомъ", какъ онъ иногда самъ себя называлъ. Не надо только это слово связывать съ какой-нибудь опредѣленной политической программой. Съ ученіями западнаго соціализма, преимущественно утопическаго характера, Добролюбовъ былъ знакомъ если не по оригиналамъ, то по частнымъ бесѣдамъ съ Чернышевскимъ. Жизнеописанію одного изъ такихъ соціалистовъ — Овэна — Добролюбовъ посвятилъ даже цѣлую статью, въ которой высказывалъ сожалѣніе о томъ, что не можетъ пуститься въ общія теоретическія соображенія, въ виду рѣзкаго противорѣчія между принципами Овэна и всѣмъ, что обыкновенно принимается за истину въ нашемъ обществѣ.[113] Судя по тону статьи, Добролюбовъ какъ будто вѣрилъ въ жизнеспособность такихъ утопій, но болѣе точныхъ и полныхъ указаній на его взгляды по этому вопросу ни въ его статьяхъ, ни въ его письмахъ не имѣется. Встрѣчаются лишь неоднократно страницы, говорящія о большой симпатіи Добролюбова къ „трудящимся" классамъ и вообще къ демократическому началу, идущему на смѣну прежнимъ аристократическимъ и буржуазнымъ тенденціямъ. За такой демократизмъ, послѣдовательно проведенный въ жизнь, Добролюбовъ восхвалялъ государственное устройство Сѣверо-Американскихъ Штатовъ.[114] Онъ говорилъ объ этомъ устройствѣ въ такомъ восторженномъ тонѣ, что можно было подумать, будто онъ предлагаетъ его намъ въ образецъ. Неоднократно касался

Добролюбовъ въ своихъ статьяхъ и рабочаго движенія,[115] и, само собою разумѣется, говорилъ о немъ такъ, какъ могъ говорить лишь правовѣрный „демократъ" и „соціалистъ". И тотъ, и другой вѣроятно подписались бы подъ такимъ взглядомъ на ходъ міровой исторіи: „массы народныя всегда чувствовали, хотя и смутно и какъ-бы инстинктивно, то, что находится теперь въ сознаніи людей образованныхъ и порядочныхъ. Въ глазахъ истинно образованнаго человѣка нѣтъ аристократовъ и демократовъ, нѣтъ бояръ и смердовъ, браминовъ и парій, а есть только люди *трудящіеся* и *дармоѣды*. Уничтоженіе дармоѣдовъ и возвеличеніе труда—вотъ постоянная тенденція исторіи. По степени большаго или меньшаго уваженія къ труду и по умѣнью оцѣнивать трудъ болѣе или менѣе соотвѣтственно его истинной цѣнности можно узнать степень цивилизаціи народа. Степень возможности и распространенія дармоѣдства въ народѣ можетъ служить безошибочнымъ указателемъ большей или меньшей недостаточности его цивилизаціи. Вниманіе историка заслуживаютъ съ одной стороны права рабочихъ классовъ, а съ другой дармоѣдство во всѣхъ его видахъ—въ печальномъ ли *табу* океанійскихъ дикарей, въ индійскомъ ли браминствѣ, въ персидскомъ ли сатрапствѣ, римскомъ патриціанствѣ, средневѣковой десятинѣ и феодализмѣ; или въ современныхъ откупахъ, взяточничествѣ, казнокрадствѣ, прихлебательствѣ, служебномъ бездѣльничествѣ, крѣпостномъ правѣ, денежныхъ бракахъ, дамахъ-каméліяхъ и другихъ подобныхъ явленіяхъ, которыхъ еще не касалась даже сатира. При разсмотрѣніи всего этого выкажутся и степень распространенія знаній въ народѣ, и степень его нравственной силы. Нигдѣ дармоѣдство не исчезло, но оно постепенно вездѣ уменьшается съ развитіемъ образованности".[116]

Насколько во всѣхъ такихъ взглядахъ отражается знакомство Добролюбова съ теоріями французскихъ и нѣмецкихъ соціалистовъ и въ особенности съ ученіемъ Маркса о роли классовой борьбы въ исторіи—опредѣлить нельзя.

Одно несомнѣнно, что среди всѣхъ русскихъ писателей и ученыхъ Добролюбовъ и Чернышевскій были первые, въ глазахъ которыхъ трудящіеся классы являлись настоящей соціальной силой. Но въ вопросъ о размѣрахъ этой силы и о роли ея въ соціальной динамикѣ Добролюбовъ не углублялся.

Можно было увлекаться соціалистическими утопіями, много думать о рабочемъ вопросѣ и при случаѣ писать о немъ, можно было высказывать симпатію къ извѣстнымъ демократическимъ укладамъ государственной жизни, можно было быть принципіальнымъ демократомъ — и всетаки не имѣть опредѣленной политической программы. Въ вопросахъ политики Добролюбовъ и былъ такимъ соціалистомъ и демократомъ общегуманитарнаго типа. Отстаивать какуюнибудь политическую программу онъ не брался. Революціонеромъ онъ не сталъ, конституціонный либерализмъ былъ ему очень подозрителенъ, соціализмъ былъ дорогъ его сердцу, но вѣры въ возможность немедленнаго его насажденія въ Россіи Добролюбовъ не имѣлъ. И на всѣ вопросы о желанномъ политическомъ строѣ, которые онъ самъ себѣ задавалъ въ тиши, онъ, вѣроятно, отвѣчалъ такъ: подождемъ, что скажетъ самъ народъ, на пользу котораго собственно и должны пойти всѣ наши размышленія и наши планы. Пока народъ молчитъ, до тѣхъ поръ рисковано говорить за него; заговоритъ онъ, вѣроятно, очень скоро, и тогда русскій интеллигентъ въ своихъ практическихъ стремленіяхъ станетъ на твердую почву. Теперь же остается вѣрить въ народъ и готовиться къ его пришествію. И Добролюбовъ призывалъ къ этой вѣрѣ и къ встрѣчѣ ожидаемаго союзника.

## VII.

Мысль о нравственномъ долгѣ, который лежитъ на образованномъ классѣ по отношенію къ народной массѣ,— имѣетъ свою длинную исторію. Въ первоначальномъ своемъ видѣ

эта мысль была тѣсно связана съ тѣми общегуманными идеями, которыя еще въ XVIII-мъ вѣкѣ воодушевляли такихъ писателей и публицистовъ, какъ Новиковъ и Радищевъ. Этотъ русскій гуманизмъ находился въ прямой зависимости отъ общаго теченія демократическихъ идей на Западѣ и, не отливаясь въ какую-нибудь особую форму, былъ лишь повтореніемъ общихъ взглядовъ на права человѣка вообще, къ какому бы онъ сословію ни принадлежалъ. Въ этихъ теоріяхъ преимущество интеллигентнаго человѣка надъ неинтеллигентнымъ не оспаривалось, и на образованнаго человѣка возлагалась обязанность не только заступиться за трудящагося и обездоленнаго собрата, но ему довѣрялось и устроить судьбу всей низшей братіи, какъ онъ, образованный человѣкъ, находилъ это желательнымъ, сообразно съ его собственными идеалами—нравственными и государственными. Прислушиваться къ голосу самого народа не считали тогда нужнымъ, такъ какъ, за исключеніемъ добраго характера и воспріимчивости, за народомъ почти никакихъ иныхъ качествъ не признавали; народъ былъ тѣмъ несовершеннолѣтнимъ ребенкомъ, котораго надо было воспитать для гражданской жизни.

Въ такую форму вылилось народолюбіе и на Западѣ, и у насъ подъ прямымъ давленіемъ свободомыслія XVIII вѣка.

Съ установленіемъ такъ называемаго сентиментально-романтическаго міропониманія въ первой четверти XIX столѣтія взглядъ на отношеніе интеллигентнаго человѣка къ народной массѣ нѣсколько измѣнился. Въ основѣ своей онъ остался такимъ же гуманнымъ, даже пріобрѣлъ особую нѣжность и мечтательность, столь свойственныя людямъ сентиментальнаго образа мыслей. Первенствующая роль въ общеніи образованнаго человѣка съ простымъ народомъ была и на этотъ разъ оставлена за культурнымъ слоемъ, хотя сентименталистъ и позволялъ себѣ мечтать о возвращеніи къ первобытнымъ временамъ культуры, о забвеніи цивилизаціи, о сліяніи съ народомъ, объ усвоеніи образа его мыслей и строя

его чувствъ. Мечтатель въ данномъ случаѣ вспоминалъ о великой грезѣ, которая со средины XVIII вѣка утѣшала столь многихъ идеалистовъ, разочарованныхъ и недовольныхъ жизнью вообще или какимъ-нибудь опредѣленнымъ порядкомъ въ частности. Такіе мечтатели попадались и у насъ въ Россіи, хотя, конечно, не въ такомъ изобиліи какъ на западѣ. Въ царствованіе Александра Павловича нѣкоторые изъ нихъ сумѣли даже соединить романтическую мечту съ чисто политической мыслью. Въ томъ политическомъ устройствѣ, о которомъ мечтали декабристы, руководящая роль принадлежала также культурнымъ и образованнымъ людямъ. Но тотъ фактъ, что политическій строй, который они хотѣли установить, долженъ былъ, по мнѣнію многихъ изъ нихъ, покоиться на народной волѣ, на его согласіи, на его одобреніи—показываетъ, какъ сильна была въ этихъ народолюбцахъ вѣра въ народъ, въ его умственную и нравственную силу. Мысль о долгѣ передъ народомъ была ихъ первой мыслью, и первое, чего они добивались, было освобожденіе народа отъ крѣпостной зависимости.

Русскимъ народолюбцамъ пришлось многіе и многіе годы говорить о своей любви къ народу и о своихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ нему, имѣя передъ глазами картину крѣпостного безправія. Само собою разумѣется, что въ такомъ положеніи мысль о взаимномъ отношеніи, въ какомъ долженъ стоять образованный классъ общества къ народной массѣ, не могла быть углублена какъ должно и рѣшена съ подобающей полнотой и ясностью. Тѣмъ не менѣе эта мысль никогда не покидала русскихъ интеллигентныхъ людей, и за все время своего развитія въ дореформенные годы русская литература, критика, публицистика и наука возвращались къ ней. Тѣ двѣ группы, на которыя разбились наши ученые, публицисты и художники въ царствованіе императора Николая Павловича, а именно группа „западническая" и группа „славянофильская" потратили очень много ума, и

сердца на то, чтобы опредѣлить степень своихъ нравственныхъ долговыхъ обязательствъ въ отношеніи къ простому народу.

„Западники" къ этому вопросу отнеслись болѣе хладнокровно, чѣмъ славянофилы. Будучи увѣрены въ томъ, что Россія должна непремѣнно пройти черезъ тѣ же формы гражданскаго и государственнаго устройства, черезъ которыя прошли сосѣднія съ ней страны, и отдавая всѣ свои силы на то, чтобы, по возможности, способствовать движенію Россіи по такому „западному" пути, — западники рѣшились выжидать болѣе удобныхъ временъ для труда, который пошелъ бы на прямую пользу народа. Не спѣша вникать подробно въ оцѣнку тѣхъ качествъ ума и сердца, которыя сохранились въ народѣ даже при крѣпостномъ его плѣненіи, западники думали почти исключительно объ одномъ: какъ бы, пользуясь пріемами западной жизни, науки и литературы, поскорѣе воспитать и образовать интеллигентную личность, чтобы она, когда наступитъ удобный моментъ, была готова стать на служеніе народу. Постепенная подготовка такого удобнаго момента путемъ культурной работы въ либеральномъ духѣ была той ближайшей цѣлью, какую себѣ намѣтили западники, и въ достиженіи этой цѣли они не торопились справляться съ тѣмъ, что̀ народъ думаетъ и какъ онъ чувствуетъ.

Въ отличіе отъ нихъ славянофилы ставили своей прямой обязанностью изслѣдованіе самобытныхъ началъ народной жизни и возможно большее сближеніе съ народомъ на почвѣ духовныхъ интересовъ. Въ построеніи новаго порядка они хотѣли руководствоваться не тѣмъ житейскимъ опытомъ, который былъ добытъ на западѣ, а тѣми понятіями, вѣрованіями и чувствами, которыя самобытно были выработаны русскимъ простымъ народомъ за весь періодъ развитія его старой національной жизни. Опредѣлить точно и ясно эти понятія и вѣрованія было дѣломъ нелегкимъ при тогдашнемъ положеніи народа, но славянофилы передъ этой труд-

ностью не остановились: и усиліями богослововъ, ученыхъ, историковъ, юристовъ, собирателей всевозможнаго этнографическаго матеріала, публицистовъ, литераторовъ и художниковъ ихъ лагеря—было создано нѣсколько болѣе или менѣе связныхъ теорій объ истинныхъ началахъ русской жизни и о всемірно-историческомъ призваніи Россіи. Съ рѣдкимъ уваженіемъ относились культурные и широкообразованные славянофилы къ тому, что они называли народнымъ міропониманіемъ, складомъ души народа и образомъ его мыслей. Они были убѣждены, что у народа есть чему поучиться, что онъ обладаетъ особымъ здравымъ смысломъ и нравственнымъ чутьемъ, передъ которымъ надо преклониться, такъ какъ иначе всякая работа на пользу народа грозитъ стать безплодной.

Освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости повысило народъ сразу во мнѣніи всѣхъ заинтересованныхъ его судьбою. Тѣ люди, которые въ дореформенное время привыкли относиться съ большимъ вниманіемъ къ народной мудрости и къ народной психикѣ вообще, т.-е. славянофилы и родственные имъ по взглядамъ круги, — удвоили и свое вниманіе, и свои надежды. Имъ на первыхъ порахъ казалось, что освобожденный народъ оправдаетъ все то, что о немъ говорили и писали люди, уважавшіе его еще тогда, когда онъ былъ безгласенъ и безправенъ. Любовь и интересъ ко всѣмъ сторонамъ народной жизни очень поднялись за это время у всѣхъ, кто издавна привыкъ прислушиваться къ народному голосу и думалъ, что во многихъ отношеніяхъ неинтеллигентный народъ нравственно сильнѣе и умственно трезвѣе людей интеллигентныхъ.

И западники разной окраски, которые въ дореформенное время отлагали рѣшеніе вопроса о своихъ долгахъ передъ народомъ до болѣе удобнаго момента, которые обращали свое вниманіе преимущественно на воспитаніе и образованіе либерально-мыслящаго интеллигента, убѣжденные, что онъ, пройдя хорошую школу и хорошо вооруженный новѣйшимъ

знаніемъ, самъ сумѣетъ найти подходящее для себя дѣло,—и они теперь, при измѣнившихся условіяхъ народной жизни, стали иначе смотрѣть на роль простого народа въ ближайшихъ судьбахъ родины. Герценъ, наиболѣе правовѣрный изъ западниковъ, сказалъ, что ихъ дѣло тогда только будетъ выиграно, когда они вступятъ въ союзъ съ славянофилами, разумѣя подъ этимъ союзомъ необходимость близкаго ознакомленія съ нравственными понятіями народа и тѣми внѣшними формами его общественной жизни, которыя вѣками были выработаны.

Требованіе такого тѣснаго сближенія съ народомъ, высказываемое либералами-западниками старшаго поколѣнія, нашло, конечно, самый живой откликъ и въ томъ молодомъ поколѣніи, которое подрастало и выросло въ эпоху освобожденія. Молодые люди, и въ особенности тѣ изъ нихъ, которые были рьяны и нетерпѣливы въ своемъ свободомысліи, сразу признали, что первая обязанность образованнаго гражданина—придти на помощь народу и сдѣлать все, что только возможно, для скорѣйшаго улучшенія его матеріальнаго быта и для подъема его умственной и нравственной силы.

Людямъ, принимавшимъ интересы народа къ сердцу, стало ясно, что отнынѣ къ тѣмъ силамъ, которыя управляютъ ходомъ русской жизни, присоединилась новая, мало пока воспитанная и просвѣщенная сила, но все-таки сила здоровая и талантливая. Пріобщить эту силу къ общей культурной работѣ стало лозунгомъ времени, а чтобы успѣшно достигнуть такого слиянія образованнаго человѣка съ народной массой признано было необходимымъ самого интеллигента воспитать на строго-демократическомъ образѣ мыслей и въ истинно-демократическихъ чувствахъ.

Долговъ за образованными людьми накопилось много—говорилъ Добролюбовъ. Сама жизнь забыла о народѣ, такъ какъ она довела его до такого плачевнаго состоянія. Но и мы, образованные люди, забыли о немъ; наша наука развѣ она когда-нибудь имѣла въ виду интересы народа?

даже та наука, которая говорила о народныхъ движеніяхъ или о народномъ богатствѣ? „Много ли являлось даже въ Европѣ историковъ народа, которые бы смотрѣли на событія съ точки зрѣнія народныхъ выгодъ, разсматривали, что выигралъ или проигралъ народъ въ извѣстную эпоху, что было добро и худо для массы?" Забыла о народѣ и литература. Въ нашей русской литературѣ о народѣ почти не было рѣчи, и „если окончить Гоголемъ ходъ нашего литературнаго развитія, то окажется, что до сихъ поръ наша литература почти никогда не выполняла своего назначенія: служить выраженіемъ народной жизни, народныхъ стремленій. Самое большее, до чего она доходила, заключалось въ томъ, чтобы сказать или показать, что есть и въ народѣ нѣчто хорошее". А между тѣмъ, вѣдь, народъ творитъ исторію, и въ „общемъ ходѣ исторіи самое большое участіе приходится на долю народа, и только весьма малая доля остается для отдѣльныхъ личностей". Намъ пора [illegible] задуматься; если до сихъ поръ закрѣпощенный народъ оставался главнымъ незримымъ и неощутимымъ двигателемъ нашей жизни, то теперь, когда онъ сталъ свободнымъ, онъ въ правѣ требовать признанія за собой первенствующаго значенія. У насъ существуютъ пока лишь „два противорѣчивыхъ мнѣнія о русскомъ народѣ: одни думаютъ, что русскій человѣкъ самъ по себѣ ни на что не годится, а другіе готовы сказать, что у насъ—что ни мужикъ, то геній". И то и другое мнѣніе, конечно, крайности, ихъ надо отбросить и начать спокойно наблюдать за народомъ. „Писатели изъ образованнаго класса до сихъ поръ почти всѣ забавлялись народомъ, какъ любопытной игрушкой, вовсе не думая смотрѣть на него серьезно". „Со [illegible] народъ [illegible] массъ въ [illegible] человѣка [illegible] общества [illegible] у насъ". А между тѣмъ народъ, и въ особенности русскій народъ, имѣетъ [illegible] на [illegible] какъ онъ [illegible] богатыми способностями.

[illegible]

русскаго мужика геніемъ, Добролюбовъ выдалъ ему, тѣмъ не менѣе, аттестацію, которой эти люди могли остаться вполнѣ довольны. Онъ готовъ былъ признать, что жизнь простолюдина заключаетъ въ себѣ несравненно больше залоговъ правильнаго, здороваго развитія, нежели жизнь барская „Общее разслабленіе, болѣзненность, неспособность къ сосредоточенной и глубокой страсти,—писалъ Добролюбовъ,—характеризуютъ если не всѣхъ, то большинство нашихъ „цивилизованныхъ" собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, что имъ нужно и чего имъ жалко. Не то у простого человѣка: онъ или вниманія не обращаетъ на предметъ, и уже не толкуетъ о своихъ желаніяхъ, или, ужъ если привяжется, если рѣшится, то привяжется и рѣшится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшатъ его, когда ихъ нужно сдѣлать для достиженія страстно-желаннаго и глубоко-задуманнаго. Если же нельзя достигнуть, простой человѣкъ не останется сложа руки". Для простого, здороваго человѣка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, „несносна жизнь безплодная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій, безъ смысла и правды"...

Этими послѣдними словами Добролюбовъ выражалъ простую, но смѣлую мысль: онъ хотѣлъ сказать, что для гражданскаго развитія въ простомъ народѣ больше задатковъ, чѣмъ въ нашихъ цивилизованныхъ классахъ. Доказать справедливость этой мысли въ тѣ годы едва ли было возможно, но вѣра Добролюбова въ народъ была очень крѣпка, хотя она и покоилась больше на теоретическихъ разсужденіяхъ, чѣмъ на близкомъ личномъ знакомствѣ съ народомъ.

Въ самыхъ различныхъ статьяхъ, при каждомъ болѣе или менѣе подходящемъ случаѣ, говорилъ Добролюбовъ о той нравственной силѣ, какую народъ сохранилъ за собой при всѣхъ отчаянныхъ условіяхъ своего положенія... Положеніе измѣнится—и жизнь воспользуется этой силой, огром-

ной силой, для большого добра, такъ какъ именно къ добру эта народная сила особенно склонна... При всѣхъ искаженіяхъ крестьянскаго развитія,—мы видимъ въ народныхъ массахъ нашихъ много того, что мы называемъ „деликатностью“... Какъ скоро жизнь получитъ свой естественный ходъ, тогда и внутреннія свойства человѣка скоро примутъ свое прямое направленіе... „Деликатность“ народа тоже приметъ свое естественное направленіе при первой возможности. Но и въ теперешнемъ испорченномъ состояніи крестьянскаго быта и мысли мы видимъ слѣды живого, хорошаго направленія этой деликатности. Сюда причисляемъ мы прежде всего сознаніе, которое въ простомъ классѣ несравненно развитѣе, нежели въ сословіяхъ обезпеченныхъ постояннымъ доходомъ,—сознаніе, что надо жить своимъ трудомъ. Уваженіе къ личности и правамъ другихъ и вслѣдствіе этого внимательность къ общему мнѣнію также гораздо сильнѣе въ людяхъ простыхъ, нежели въ тѣхъ, кто поставленъ судьбой въ положеніе, болѣе благопріятное для лѣни и капризовъ... По своему основанію и существеннымъ свойствамъ, эта чуткость народа къ общественному мнѣнію, къ доброй славѣ - служитъ однимъ изъ доказательствъ способности его къ высокому гражданскому развитію, на началахъ живыхъ и справедливыхъ“.

Окончательный выводъ изъ всѣхъ своихъ размышленій по этому вопросу Добролюбовъ далъ въ такихъ словахъ: „народъ не замеръ, не опустился, источникъ жизни не изсякъ въ немъ“. „Народъ способенъ къ всевозможнымъ возвышеннымъ чувствамъ и поступкамъ наравнѣ съ людьми всякаго другого сословія, если еще не больше; и слѣдуетъ строго различать въ немъ послѣдствія внѣшняго гнета отъ его внутреннихъ и естественныхъ стремленій, которыя совсѣмъ не заглохли, какъ иногда думаютъ. Кто серьезно проникнется этой мыслью, тотъ почувствуетъ въ себѣ болѣе довѣрія къ народу, больше охоты сблизиться съ нимъ, въ полной надеждѣ, что онъ пойметъ, въ чемъ заключается его

благо, и не откажется отъ него по лѣни или малодушію. Съ такимъ довѣріемъ къ силамъ народа и съ надеждою на его добрыя расположенія можно дѣйствовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дѣло крѣпкія, свѣжія силы и предохранить ихъ отъ того искаженія, какому онѣ такъ часто подвергаются при настоящемъ порядкѣ вещей".[117]

Въ какое же отношеніе къ этой народной массѣ долженъ стать интеллигентъ, желающій придти ей на помощь и вмѣстѣ съ ней работать?

Жизнь крестьянской массы за всѣ годы дѣятельности Добролюбова протекала въ тѣхъ самыхъ условіяхъ крѣпостного состоянія, какія царили въ эпоху дореформенную; и образованное общество, — оно въ эти годы, хотя и получило возможность говорить болѣе свободно, но въ дѣлѣ осуществленія своихъ словъ оставалось въ томъ же безпомощномъ положеніи, въ какомъ оно находилось раньше.

Такое стѣсненное положеніе интеллигента передъ задачей, которая пока не могла быть разрѣшена на практикѣ, не исключало, однако, ея дальнѣйшей теоретической разработки. Добролюбовъ зналъ, что на вопросъ «что же надлежитъ сейчасъ дѣлать на пользу народа?» лучшимъ отвѣтомъ могъ быть только одинъ совѣтъ—*думать* о томъ, что надлежитъ дѣлать. И Добролюбовъ продолжалъ думать. Ходъ мыслей его былъ приблизительно слѣдующій.

Наша интеллигенція до сихъ поръ въ большомъ долгу передъ народомъ; она разобщена съ нимъ и даже, когда хочетъ, не умѣетъ быть ему полезной. Происходитъ это, очевидно, оттого, что она получила плохое гражданское воспитаніе. Главная ошибка этого воспитанія заключается въ томъ, что образованный русскій человѣкъ прежде всего [illegible] себя какъ личность. Въ немъ нѣтъ ни достаточной цѣльности личной, ни стойкости въ защитѣ своихъ убѣжденій, ни способности бороться съ тлетворными вліяніями среды... Въ обезличенномъ интеллигентѣ нѣтъ

совсѣмъ, или пока еще очень мало демократическаго духа; а безъ него служеніе народу будетъ либо неискренно, а потому безплодно, либо будетъ похоже на благодѣяніе или снисхожденіе, которое народную массу не можетъ настроить довѣрчиво и миролюбиво, такъ какъ она умѣетъ различать истиннаго друга отъ показного. Если это такъ, то первое, надъ чѣмъ обязанъ думать интеллигентъ въ настоящую минуту, это—надъ воспитаніемъ въ себѣ свободной личности и надъ укрѣпленіемъ въ своемъ умѣ и сердцѣ демократическихъ убѣжденій и демократическихъ симпатій.

„Люди, соединяющіе съ правдивостью и возвышенностью стремленій честную и неутомимую дѣятельность—у насъ исключеніе, талантливыя натуры погибаютъ отъ недостаточнаго развитія внутренней силы, необходимой, чтобы устоять противъ внѣшнихъ вліяній"... Фраза [illegible] нашего образованнаго человѣка, но этой фразы нѣтъ у народа, въ которомъ такъ ровно, безпорывно, но зато безъ эффекта, просто и открыто выражается глубокое чувство, глубокая вѣра, и выражается не въ восклицаніяхъ, а на дѣлѣ. Народная живая, сѣрая масса не любитъ много говорить, не [illegible] своими страданіями и печалями и часто даже сама ихъ не понимаетъ хорошенько. Но ужъ если пойметъ что-нибудь этотъ „міръ" толковый и сильный, если скажетъ свое простое, изъ жизни вынесенное слово, то крѣпко будетъ его слово, и сдѣлаетъ онъ, что обѣщалъ.

Сознавая вполнѣ всю строгость переживаемаго момента, убѣжденный въ томъ, что именно теперь намъ нужны, болѣе чѣмъ когда-либо, интеллигентные работники, хотя бы средней силы, Добролюбовъ видѣлъ, какъ мало подходитъ къ этой роли уже сформировавшееся образованное общество. Можно было, конечно, разсчитывать на появленіе нѣкоторыхъ отдѣльныхъ личностей, отличающихся особыми дарованіями, но что могли значить ихъ исключительныя работы, если [illegible] въ самомъ непродолжительномъ [illegible] работники? [illegible] ихъ, если развитіе [illegible]

вѣческой, ея естественное стремленіе къ добру, къ свободѣ мысли и чувства, ея естественное стремленіе къ дѣйствію, самостоятельно и свободно избранному, заглушаются страшной нуждой, невѣжествомъ и самодурствомъ, или и балованностью и привилегированнымъ эгоизмомъ?

На людей сложившихся и выросшихъ при старыхъ условіяхъ жизни Добролюбовъ мало надѣялся: среда съ такими общественными пороками, на которые онъ указывалъ при характеристикѣ разныхъ „темныхъ" царствъ, едва ли могла вырастить людей, годныхъ для новаго дѣла.

И всѣ свои надежды Добролюбовъ возложилъ на молодежь, юность которой совпала съ счастливой эпохой [1855—1861

Вслѣдъ за Добролюбовымъ молодой читатель разсуждалъ приблизительно такъ:

Съ освобожденіемъ крестьянъ и съ общественнымъ броженіемъ, которое становится замѣтно, начинается новая жизнь и для народной массы, и для насъ, для людей образованныхъ. До сихъ поръ мы и народъ жили и дѣйствовали разъединенно, и одна сила совсѣмъ не считалась съ другою и даже не знала, какъ живетъ другая. Отнынѣ намъ суждено дѣйствовать сообща, и только совмѣстная и дружная наша работа можетъ дать благіе результаты. Въ прошломъ наиболѣе обиженной и пострадавшей была сила крестьянской массы. Ею жило государство, на ея счетъ жило интеллигентное общество, но своихъ обязанностей передъ этой массой ни государство, ни мы не выполняли. Долги интеллигенціи передъ народомъ возрастали, и вотъ теперь наступилъ моментъ, когда по нимъ платить должно и можно. Къ счастію нашему, несмотря на ужасающія условія, въ которыхъ народу пришлось жить, онъ сохранилъ здравый смыслъ, нравственное чувство и силу воли: онъ не растерялся, не размякъ, не впалъ въ безвольную апатію, какъ мы, интеллигенты; и если теперь мы начнемъ сближаться съ народомъ и будемъ относиться къ нему не съ гордынею, а съ подобающимъ признаніемъ его силы, то при такомъ союзѣ

мы сами станемъ нравственно сильнѣе и умственно устойчивѣе. Первая и прямая обязанность наша—вступить въ союзъ съ народомъ на равныхъ правахъ съ нимъ. Этотъ союзъ потребуетъ нашего служенія народнымъ интересамъ,—задача, далеко не столь простая и легкая, какой она на первый взглядъ кажется. И прежде чѣмъ начать служить народу въ той или иной области житейскихъ сплетеній, намъ необходимо самихъ себя воспитать въ демократическомъ духѣ, чтобы служеніе наше было свободно отъ всякой гордыни. Демократическій духъ не что иное, какъ широко понятое чувство гражданственности. Оно пока очень слабо развито въ нашихъ интеллигентныхъ кругахъ. Въ насъ, людяхъ образованныхъ, слаба общественная иниціатива, у насъ нѣтъ сознанія единой солидарной жизни съ народной массой, мы живемъ замкнутыми интересами сословій и кружковъ; мы боимся препятствій, которыя надо преодолѣть, боимся борьбы, которую надо выдерживать, и если не успокаиваемся въ такомъ положеніи гражданской вялости, то впадаемъ въ разочарованіе и въ хандру. Для того, чтобы наше служеніе народу было плодотворно, необходимо освободиться отъ всѣхъ этихъ гражданскихъ пороковъ. Чтобы стать истинно-народной культурной силой, мы должны воспитать въ себѣ свободную личность, т.-е. такую, которая, если она разъ признала что-нибудь разумнымъ и добрымъ, имѣла бы силу за этотъ идеалъ бороться. Такое самовоспитаніе можетъ потребовать долгой и настойчивой работы, такъ какъ та среда, въ которой намъ приходится вырастать и воспитываться, очень неблагопріятна именно для такой работы. Во всѣхъ сословіяхъ, начиная съ дворянскаго, царствуютъ традиціи, которыя враждебны воспитанію и образованію свободной личности. Цѣлый рядъ закоренѣлыхъ общественныхъ пороковъ тормозитъ свободное развитіе въ людяхъ умственной силы, нравственнаго чувства и настойчивой воли. Выдержатъ ли борьбу съ этими пороками наши сердца и умы, которые сознали необходимость этой борьбы [illegible]

своихъ гражданскихъ идеаловъ? На появленіе нѣкоторыхъ исключительныхъ личностей можно, конечно, и теперь разсчитывать, но при той огромной работѣ, которая требуетъ немедленнаго приложенія силъ, такія исключенія все-таки недостаточны и слабы. Необходима массовая работа, и образованную массу, хотя бы среднихъ силъ и способностей, надо сорганизовать какъ можно скорѣе. Старшее поколѣніе едва ли можетъ вступить въ ея ряды, и вся надежда на насъ, на поколѣніе молодое, воспитанное въ духѣ демократическомъ, новомъ духѣ, соотвѣтствующемъ потребностямъ измѣняющейся гражданской жизни.

## VIII.

На великое служеніе призывалась теперь именно молодежь.

„Зрѣлые мудрецы", писалъ Добролюбовъ, выказали всѣ наличныя силы, — и оказалось, что они не могутъ стать въ уровень съ современными потребностями. Юноши, восторгавшіеся вмѣстѣ съ зрѣлыми мудрецами пораженіемъ семидесятилѣтнихъ старцевъ, рѣшились теперь перенести свою критику и на людей пятидесяти и даже сорока лѣтъ,[118] и эта критика убѣдила ихъ въ томъ, что начиная съ 1848-го года старшее поколѣніе погружалось въ какую-то апатію, и связь его съ жизнью ослабѣвала. Люди этого поколѣнія слишкомъ кичливо и слишкомъ гордо взглянули на свое призваніе; они сочли себя чѣмъ-то высшимъ и подумали, что жизнь безъ нихъ обойтись уже вовсе не можетъ. Утвердившись въ такомъ отвлеченномъ и высокопарномъ убѣжденіи, они и не догадались, что жизнь все-таки идетъ своимъ чередомъ, все-таки заявляетъ свои требованія, вырабатываетъ новыя понятія, ставитъ новые вопросы и представляетъ данныя для ихъ разрѣшенія.[119] Но зрѣлые люди имѣли все-таки настолько мужества, чтобы выступить судьями того поколѣнія, которое имъ предшествовало. Современнымъ юношамъ до

очень понравилось; они почувствовали сердечное влеченіе къ зрѣлымъ людямъ, такъ рѣзко отвергающимъ ненавистный принципъ безотвѣтственности младшаго передъ старшимъ; они стали съ почтеніемъ прислушиваться къ ихъ мудрымъ рѣчамъ, увидѣли, что говорятся хорошія вещи о правдѣ, чести, просвѣщеніи и т. п. и рѣшили, что несмотря на свой почтенный возрастъ, зрѣлые мудрецы принадлежатъ къ *новому* времени, что они составляютъ одно съ *новымъ* поколѣніемъ, а отъ стараго бѣгутъ какъ отъ заразы. Между двумя поколѣніями заключенъ былъ, безмолвно и сердечно, крѣпкій союзъ противъ третьяго поколѣнія, отживающаго, парализованнаго, охладѣвшаго. Но не прошло и года [1855], какъ молодые люди увидѣли непрочность и безполезность своего союза съ зрѣлыми мудрецами. Во всей пожилой фалангѣ оказалось очень немного именъ, которыя можно было поставить во главѣ новаго движенія. Большая часть прежнихъ дѣятелей, давно уже потерявшая возможность гласнаго выраженія идей и стремленій, совершенно отчаялась въ теченіе этого времени въ дальнѣйшемъ прогрессѣ общества, перестала слѣдить за жизненнымъ движеніемъ событій, сложила руки и осталась въ пассивномъ созерцаніи до тѣхъ поръ, пока сила событій опять не вызвала ихъ къ дѣятельности. Естественно, что они теперь почувствовали себя какъ-то не въ своей тарелкѣ и не знали, что имъ дѣлать и говорить. Начали они съ того, что стали пробовать и разминать свой языкъ, желая убѣдиться, что онъ не разучился произносить человѣческіе звуки. На первыхъ разахъ принялись болтать о томъ, что говорить лучше, чѣмъ молчать; потомъ разсказывали о своемъ долгомъ снѣ и выражали радость о своемъ пробужденіи, затѣмъ жаловались, что послѣ долгаго сна голова у нихъ не свѣжа, и доказывали, что не нужно спать слишкомъ долго; послѣ того оглядывались кругомъ себя, замѣчали, что уже день наступилъ [illegible] что теперь нужно работать; далѣе увѣряли, что [illegible] достаточно долго работали [illegible] и что [illegible]

прилична только ворамъ и мошенникамъ и т. д. Долго восторженная молодежь рукоплескала заговорившимъ почтеннымъ мудрецамъ, какъ рукоплещутъ въ театрѣ выходу любимаго актера зрители, заранѣе убѣжденные, что онъ отлично сыграетъ свою роль. Но съ каждымъ словомъ почтенныхъ дѣятелей все яснѣе обозначалось ихъ безсиліе. Возложивши свои надежды на лучшихъ людей предшествующаго поколѣнія, молодежь увидѣла себя въ положеніи больного человѣка, который обратился за излеченіемъ къ прославленному доктору, уже лѣтъ за двадцать до того оставившему практику... Живая и свѣжая часть русскаго общества нашла необходимымъ отказаться наконецъ отъ почтенныхъ и умныхъ фразеровъ, вызвавшихся лечить общественныя раны земли русской... Теперь уже всякій гимназистъ, всякій кадетъ, семинаристъ понимаютъ такія вещи, бывшія тогда доступными только лучшимъ изъ профессоровъ; а они и теперь говорятъ объ этихъ вещахъ съ важностью и съ жаромъ, какъ о предметахъ высшаго философскаго разумѣнія [120]

Легко ли было людямъ старшаго поколѣнія читать такія строки? И едва ли Добролюбовъ могъ смягчить ихъ сердца, когда, понижая тонъ, продолжалъ: „Люди того поколѣнія, проникнуты были высокими, но нѣсколько отвлеченными стремленіями. Они стремились къ истинѣ, желали добра, ихъ плѣняло все прекрасное; но выше всего былъ для нихъ принципъ. Принципомъ же называли общую философскую идею, которую признавали основаніемъ всей своей логики и морали. Страшной мукой сомнѣнія и отрицанія купили они свой принципъ и никогда не могли освободиться отъ его давящаго, мертвящаго вліянія. Что-то пантеистическое было у нихъ въ признаніи принципа: жизнь была для нихъ служеніемъ принципу, человѣкъ рабомъ принципа; всякій поступокъ, не сообразный съ принципомъ, считался преступленіемъ. Отрѣшившись такимъ образомъ отъ дѣйствительной жизни и обрекши себя на служеніе принципу, они не умѣли вѣрно разсчитывать свои силы и взяли на себя го-

разно больше, чѣмъ сколько могли сдѣлать. Отсюда вѣчно фальшивое положеніе, вѣчное недовольство собой, вѣчное ободреніе и расшевеливанье себя громкими фразами и вѣчныя неудачи въ практической дѣятельности. Мало-по-малу они вошли въ свою пассивную роль и изъ всего прежняго сохранили только юношескую восторженность, да наклонность потолковать съ хорошимъ человѣкомъ о пріятномъ образованіи и помечтать о мостикѣ черезъ рѣчку. Разумѣется были и есть въ этомъ поколѣніи люди, которые вовсе не подходятъ подъ такую общую норму. Таковъ былъ Бѣлинскій; таковы были еще пять-шесть человѣкъ, умѣвшихъ развести въ себѣ отвлеченный философскій принципъ до реальной жизненности и истинной, глубокой страстности. Это люди высшаго разбора, передъ которыми съ изумленіемъ преклонится всякое поколѣніе. Кромѣ ихъ были и другіе сильные люди, умѣвшіе на всю жизнь сохранить „святое недовольство" и рѣшившіеся продолжать свою борьбу съ обстоятельствами до истощенія послѣднихъ силъ; эти люди всегда стояли въ уровень съ событіями и какъ только являлась имъ опять возможность дѣйствовать, они радушно и вполнѣ сознательно подали руку молодому поколѣнію".[12]

Но какъ бы Добролюбовъ ни дополнялъ, ни смягчалъ, какія бы исключенія изъ общаго правила онъ ни указывалъ, осужденіе старшаго поколѣнія въ его цѣломъ было высказано имъ рѣшительно и откровенно, такъ же смѣло, какъ и восторженный привѣтъ поколѣнію новому, которое призывалось теперь на работу.

## IX.

Добролюбовъ привѣтствовалъ молодежь какъ силу [illegible] сложившуюся, уже окрѣпшую [illegible] правдѣ, [illegible] стремленіями предполагалъ въ ней уже существованіе [illegible] качества, которыя считалъ желанными и нужными.

Если вѣрить ему, то молодые люди [illegible]

успѣли усвоить „реалистическій" образъ мыслей и успѣли запастись большими знаніями. „Молодые люди нынѣ не только парацельсовскія мечтанія называютъ, не обинуясь, вздоромъ, но даже находятъ заблужденія у Либиха, читаютъ Молешотта, Дюбуа-Раймона и Фохта, да и тѣмъ еще не вѣрятъ на слово, а стараются провѣрять и даже дополнять ихъ собственными соображеніями. Нынѣшніе молодые люди, если ужъ занимаются естественными науками, то соединяютъ съ этимъ и философію природы, въ которой, опять, слѣдуютъ не Платону, не Окену, даже не Шеллингу, а лучшимъ, наиболѣе смѣлымъ и практическимъ изъ учениковъ Гегеля.[122]

И молодежь не только обладаетъ уже вполнѣ современнымъ образомъ мысли, но и характеръ ея уже успѣлъ стать стоическимъ и самостоятельнымъ, — потому что лучшіе, живые инстинкты слишкомъ громко говорятъ въ пору пылкой юности; сознаніе личнаго достоинства, личныхъ человѣческихъ правъ слишкомъ ясно въ душѣ, еще не забитой жизненными неудачами; жажда самостоятельной, свободной дѣятельности слишкомъ сильна, чтобы молодымъ людямъ могло нравиться гнилое, тупоумное ученіе о принижении личности, объ аскетическомъ, безплодномъ пожертвованіи живою дѣятельностью ради какого-то вымышленнаго, невѣдомо кѣмъ и какъ установленнаго принципа о долгѣ и нравственности.[123]

Отъ пожилыхъ людей обыкновенно раздаются молодому поколѣнію упреки въ холодности, черствости, безстрастіи. Говорятъ, что нынѣшніе люди измельчали, стали неспособны къ высокимъ стремленіямъ, къ благороднымъ увлеченіямъ страсти. Все это, можетъ быть, чрезвычайно справедливо въ отношеніи ко многимъ, даже къ большинству нынѣшнихъ молодыхъ людей... но названіе молодого поколѣнія не надо ограничивать теперешними юношами, а надо распространить его и на тѣхъ, которые находятся еще въ пеленкахъ. Молодые люди, уже заявившіе себя на жизненномъ поприщѣ,

принадлежатъ большею частью еще къ промежуточному времени. Ихъ еще смущаетъ принципъ, а между тѣмъ жизнь уже сильнѣе предъявляетъ надъ ними свои права, нежели надъ людьми прошлаго поколѣнія; оттого они часто и шатаются въ обѣ стороны и ничему не могутъ отдаться всей силою души. Но за ними, и отчасти среди нихъ, вы-дѣляется уже другой общественный типъ, типъ людей реальныхъ, съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ. Они не исключительно привязали себя къ принципу, имѣя возможность и силы повѣрять его и соразмѣрять съ жизнью. Осмотрѣвшись вокругъ себя, они, вмѣсто всѣхъ туманныхъ абстракцій и призраковъ прошедшихъ поколѣній, увидѣли въ мірѣ только человѣка, настоящаго человѣка, состоящаго изъ плоти и крови, съ его дѣйствительными, а не фантастическими отношеніями ко всему внѣшнему міру. Они въ самомъ дѣлѣ стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которою отличалось прошлое поколѣніе; но зато они гораздо тверже и жизненнѣе. Не говоримъ о фанатикахъ, которые всегда были и будутъ, какъ исключеніе, но въ общей своей массѣ молодые люди нынѣшняго поколѣнія отличаются спокойствіемъ и тихою твердостью. Это происходитъ въ нихъ прежде всего, разумѣется, оттого, что нервы еще не успѣли разстроиться. Но есть и другая причина: они спустились изъ безграничныхъ сферъ абсолютной мысли и стали въ ближайшее соприкосновеніе съ дѣйствительной жизнью. Люди новаго времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютнаго въ мірѣ ничего нѣтъ, а все имѣетъ только относительное значеніе. На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое, существенное благо; эта точка зрѣнія отражается во всѣхъ ихъ поступкахъ и сужденіяхъ. Ихъ постоянная цѣль не совершенная, рабская вѣрность отвлеченнымъ высшимъ идеямъ, а принесеніе возможно большей пользы человѣчеству; не тѣ событія обращаютъ [illegible] бя ихъ вниманіе, которыя имѣютъ характеръ [illegible]

патетическій, а тѣ, которые сколько-нибудь подвинули благосостояніе массъ человѣчества. Такимъ образомъ стремленія людей новыхъ, ставши гораздо ближе къ жизни и людямъ, естественно принимаютъ характеръ болѣе мягкій, осторожный, болѣе щадящій, нежели бьющій. Немудрено, разумѣется, проскакать во всю конскую прыть по чистому полю; но если вамъ скажутъ, что на дорогѣ въ разныхъ мѣстахъ лежатъ и спятъ ваши братья, которыхъ вы можете растоптать, то, конечно, вы поѣдете нѣсколько осторожнѣе. Такъ обыкновенно поступаютъ эти люди; мудрено ли же, что въ нихъ незамѣтно той стремительности, какая отличала людей, руководившихся только принципомъ? Кромѣ всего этого, прибавилась у молодыхъ поколѣній и опытность, которой такъ недоставало прежнимъ. Люди новаго времени приняли отъ своихъ предшественниковъ ихъ убѣжденія какъ готовое наслѣдіе; но тутъ же они приняли и жизненный урокъ ихъ, состоящій въ томъ, что *напряженіе* себя вовсе не есть доказательство великой души, а просто признакъ нервнаго разстройства. Прежніе молодые люди постоянно ставили себя въ положеніе шахматнаго игрока, который желаетъ сдѣлать своему противнику знаменитый *дурацкій матъ*. Нынѣшніе молодые люди считаютъ нелѣпымъ фарсомъ даже удачу этого рода; они хотятъ вести правильную серьезную игру, они подвигаются понемножку, заранѣе обдумавъ планъ атаки и безпрестанно слѣдя за всѣми движеніями противника. Они также добьются своего шаха и мата; но ихъ образъ дѣйствій вѣрнѣе, хотя, сначала, игра и не представляетъ ничего блестящаго и поразительнаго. Вообще молодое дѣйствующее поколѣніе нашего времени не умѣетъ блестѣть и шумѣть. Въ его голосѣ, кажется, нѣтъ кричащихъ нотъ, хотя и есть звуки очень сильные и твердые. Даже въ гнѣвѣ оно не кричитъ; тѣмъ менѣе возможенъ для него порывистый крикъ радости или умиленія. За это его упрекаютъ обыкновенно въ безстрастіи и безчувственности — и упрекаютъ несправедливо. Люди нынѣшняго поколѣнія не думаютъ, что они

могутъ по произволу передѣлать исторію, не считаютъ себя избавленными отъ вліянія обстоятельствъ; ясное сознаніе своего положенія не допускаетъ ихъ входить въ азартъ и убиваться изъ пустяковъ. Но въ то же время они вовсе не впадаютъ въ апатію и безчувственность, потому что сознаютъ и свое значеніе. Они смотрятъ на себя какъ на одно изъ колесъ машины, какъ на одно изъ обстоятельствъ, управляющихъ ходомъ міровыхъ событій; они никакимъ кумирамъ не поклоняются, они отстаиваютъ самостоятельность и полноправность своихъ дѣйствій противъ всѣхъ случайно возникающихъ претензій. Они дѣлаютъ свое дѣло ровно и спокойно, не дѣлаютъ ни одного лишняго движенія по своему капризу, а если и сдѣлаютъ что лишнее, то не гордятся этимъ, а прямо сознаются, что сдѣлали лишнее.[124]

Вѣрна ли эта характеристика молодого поколѣнія 1859-го года? Были ли тогда выдержка ума и воли и вѣрный подсчетъ своихъ силъ главными добродѣтелями молодежи, какъ увѣрялъ Добролюбовъ? Едва ли. Эти чрезмѣрныя похвалы молодому поколѣнію могли быть извѣстнымъ педагогическимъ пріемомъ, разсчитаннымъ на то, чтобы увѣрить начинавшихъ свою жизнь молодыхъ людей въ томъ, что у нихъ уже есть много единомышленниковъ и союзниковъ, — тѣмъ болѣе, что Добролюбовъ въ другихъ случаяхъ, и въ прозѣ, и въ стихахъ, говоритъ, и довольно рѣзко, о разныхъ нежелательныхъ сторонахъ ума и характера молодыхъ людей его времени.

## X.

Такова была оцѣнка современнаго поколѣнія, данная Добролюбовымъ. Въ молодыхъ сердцахъ и умахъ она быстро [illegible] воспоминанія о возвышенныхъ рѣчахъ людей стараго поколѣнія и понравилась больше, чѣмъ сходная съ нею, но болѣе широкая по замыслу и болѣе [illegible] публициста Герцена и его товарища Н. [illegible]

естественно, что побѣда осталась за словомъ простымъ и неперегруженнымъ идеями и чувствами.

Подростало и уже частью подросло новое поколѣніе, которое хотѣло знать, что же надлежитъ дѣлать? На этотъ вопросъ Добролюбовъ далъ отвѣтъ, хоть и скромный, но вполнѣ ясный. Онъ говорилъ, что надо готовиться къ дѣлу, къ самому неотложному дѣлу, которое можетъ въ любой моментъ всей своей тяжестью упасть на насъ, какъ только народъ выйдетъ изъ безправнаго состоянія. И именно на интеллигентныхъ людей, на общество, упадетъ эта работа, такъ какъ надежды на благотворную дѣятельность правительства уменьшаются съ каждымъ годомъ. Передъ нами стоитъ задача служенія народу. Выполнить ее какъ должно мы сможемъ лишь при условіи: 1) если мы будемъ знать, что нужно ему, этому великому нашему союзнику въ дѣлѣ обновленія родины и 2) если мы будемъ знать, чѣмъ мы сами должны быть, чтобы стать дѣйствительно его союзникомъ. Чего народъ хочетъ, и что ему нужно — это мы скоро узнаемъ, какъ только онъ самъ заговоритъ и начнетъ двигаться послѣ вѣковой невольной спячки. Надо выжидать: говорить за него, рѣшать что-либо безъ него, навязывать ему свои мысли — не слѣдуетъ. Отложимъ эту часть дѣла — ждать недолго — и отдадимъ всѣ наши силы на выполненіе не менѣе отвѣтственной работы: на воспитаніе и образованіе самихъ себя, на выработку новаго типа служителя народнымъ интересамъ. Выполнить эту часть общей программы возможно, даже при томъ стѣсненномъ общественномъ положеніи, въ какомъ мы находимся. Надо на земной плоскости придвинуться къ народу — къ главной цѣли всѣхъ нашихъ стремленій, а для этого надо твердо стоять на землѣ и умѣть цѣнить земныя насущныя потребности всей сплотившейся въ единое государство массы. Наши предшественники — тѣ слишкомъ высоко витали надъ жизнью. Горизонтъ ихъ мыслей былъ необъятенъ, въ немъ сливалось небесное съ земнымъ, призрачное и мыслимое съ реальнымъ, на-

ее прошлое съ далекимъ будущимъ, и различить на землѣ то мелкое, съ виду ничтожное, но необходимое, безъ чего человѣкъ не можетъ сдѣлать ближайшаго шага по этапу жизни. Этого они не могли, они—искатели вѣчныхъ истинъ, созерцатели Бога, поклонники безплотной красоты и добра. Намъ надо излечиться отъ этой страсти взлетать мыслью такъ высоко и надо пройти хорошую и трезвую школу „реальныхъ" наукъ и позитивнаго мышленія. Строгая наука и новые методы въ рѣшеніи общихъ вопросовъ притянутъ насъ къ землѣ, и мы по ней пойдемъ къ ближайшей цѣли—къ существенно земнымъ интересамъ огромнаго количества людей, которые несчастны именно тѣмъ, что ужасающія земныя условія лишаютъ ихъ возможности проявить таящіяся въ нихъ духовныя силы.

Но для добросовѣстнаго шествія по землѣ мало дисциплинированнаго, трезваго образа мыслей: нуженъ стойкій, выдержанный характеръ, нужна желѣзная воля, которая, намѣтивъ себѣ цѣль въ жизни, идетъ къ ней неуклонно въ незыблемомъ сознаніи своей правоты и съ полнымъ довѣріемъ къ себѣ самой и къ людямъ.

Людей съ такимъ темпераментомъ, характеромъ и волей надо создать. Они несомнѣнно явятся скоро, и хорошимъ урокомъ послужитъ намъ и здѣсь судьба нашихъ ближайшихъ предшественниковъ, которые такъ много говорили о роли вѣрности, объ ея цѣнности и такъ мало были способны поднять ея реальную стоимость. Въ чемъ заключается грѣхъ той вѣрности, которая въ славномъ прошломъ была такъ красива и эффектна, догадаться не трудно. Поставивъ себѣ задачу необычайно широкую и не разсчитавъ своихъ силъ, люди стараго поколѣнія должны были постоянно и рѣзко урѣзать свои сферы и потому быстро устать духомъ и тѣломъ. Они могли быть очень умными людьми и весьма благородными, но для будничной работы не годились: характеръ, необходимый для такой работы, они не обладали, [illegible] ихъ были романтическій, порывистый, [illegible]

ломались при встрѣчѣ съ препятствіями, и воля ихъ, порой очень сильная, лишь на короткій срокъ могла выдержать напоръ жизни. Отъ всѣхъ этихъ болѣзней воли и чувствъ можно излечиться, если начать внимательно и систематично воспитывать въ себѣ характеръ, нужный для данной минуты практической и сосредоточенной работы. Такое воспитаніе не потребуетъ отъ человѣка большихъ жертвъ; наоборотъ, оно разрѣшитъ ему болѣе простое, даже болѣе „эгоистическое" отношеніе къ жизни, освободивъ его отъ тираніи разныхъ отвлеченныхъ призраковъ, которые становятся между нимъ и людьми. Надо дать болѣе свободный ходъ естественнымъ склонностямъ, и онѣ сами приведутъ насъ къ добру; надо пріучить себя сильно хотѣть того, что считаешь разумнымъ и добрымъ и не впадать въ истерику ни въ минуту успѣшной работы, ни въ минуту просчета. И наступая, и отступая надо сохранять власть надъ собой, иначе рискуешь впасть въ то противорѣчіе, въ какое впадали недавніе дѣятели, даже самые смѣлые изъ нихъ, когда они метались изъ стороны въ сторону, то кипѣли революціонными страстями, то какъ доктринеры сами себя критиковали и терялись въ сомнѣніяхъ, то какъ сентименталисты готовы были броситься врагу въ объятія. Потому-то такіе люди и остались въ одиночествѣ, а наша задача — сплотить возможно скорѣе единомышленниковъ въ тѣсный союзъ. Укрѣпимъ въ себѣ сознаніе нашей цѣнности какъ личности, будемъ цѣнить эту личность въ ближнихъ, изберемъ единую цѣль, достижимую и предъ глазами лежащую, и, объединенные однимъ міросозерцаніемъ и сходной выправкой воли и темперамента — пойдемъ смѣло впередъ по землѣ. Первые люди, которые намъ на этомъ пути попадутся, будутъ наши союзники, тѣ, которые въ насъ такъ нуждаются и въ которыхъ мы такъ нуждаемся: наши „простые" люди, нашъ народъ. Мы будемъ готовы для служенія ему, а онъ къ тому времени сможетъ сказать намъ, въ чемъ его нужды и каковы его идеалы.

## XI.

Молодые люди, прослушавъ такія рѣчи, обращенныя прямо къ нимъ, съ большими похвалами по ихъ адресу,— похвалами, пока еще мало заслуженными, и потому тѣмъ болѣе лестными, — естественно должны были откликнуться всей душой на призывъ Добролюбова. Все въ этомъ призывѣ казалось имъ яснымъ, неопровержимымъ, обѣщающимъ побѣду и легко выполнимымъ. Одна лишь трудность [illegible]: съ чего и какъ начать свою службу народу, когда онъ наконецъ заговоритъ и зашевелится и когда свершившаяся реформа позволитъ образованному человѣку подойти къ народу вплотную?

Но пока Добролюбовъ жилъ и дѣйствовалъ, народъ не получалъ еще свободы дѣйствія и рѣчи. Онъ кое-гдѣ глухо или открыто волновался, но, въ общемъ, терпѣливо ждалъ перемѣны своей судьбы. Образованный человѣкъ радикальнаго лагеря имѣлъ достаточно времени, чтобы заняться собой.

Подъ руководствомъ Добролюбова онъ и занялся самовоспитаніемъ, а программу самообразованія предложилъ ему Чернышевскій.



# Н. Г. Чернышевскій, какъ новый типъ общественнаго дѣятеля

[illegible] міросозерцанія.—Широта [illegible].—[illegible] [illegible] Матеріалистическое міросозерцаніе. [illegible] —Новый типъ общественнаго дѣятеля.

## I.

Есть имена, которыя покрываютъ собой духовную работу цѣлаго поколѣнія и направляютъ дѣятельность большого числа лицъ, иной разъ лицъ очень самостоятельныхъ и сильныхъ. Имя одного человѣка становится знаменемъ массоваго движенія — движенія не темной массы, а цѣлыхъ интеллигентныхъ группъ. При наличности самыхъ разнообразныхъ сужденій и настроеній, какими волнуются участники единаго общественнаго движенія, одно лицо способно иногда сосредоточить на себѣ и любовь всѣхъ, кто идетъ съ нимъ одной дорогой, и вражду всѣхъ, кому этотъ новый путь кажется ошибочнымъ или пагубнымъ.

Для радикальныхъ группъ разныхъ оттѣнковъ, имя Николая Гавриловича Чернышевскаго было такимъ условнымъ именемъ, произнося которое друзья узнавали друзей, а враги своихъ недруговъ. Такъ велико было обаяніе этого имени,

что даже мечты и фантазіи его носителя пріобрѣтали для его поклонниковъ цѣнность осуществимаго, чуть ли не осуществленнаго явленія. И такъ велика была ненависть къ нему людей съ нимъ несогласныхъ, что само существованіе его было сочтено за достаточный поводъ къ его пожизненному устраненію изъ общественнаго обихода. Послѣ опубликованныхъ документовъ судебнаго слѣдствія надъ Чернышевскимъ ясно, что кара пала на него не за тѣ или другіе опредѣленные его проступки, а за то, что онъ былъ—онъ, самый сильный, самый вліятельный, самый талантливый изъ всѣхъ его окружавшихъ единомышленниковъ. Въ немъ судили и наказывали самый процессъ нарожденія и развитія новаго общественнаго типа, новаго направленія въ жизни и въ мысляхъ. Предполагалось, что это направленіе можетъ заглохнуть и умереть, если заглохнетъ и умретъ имя человѣка. Заглушить ненавистное имя, дѣйствительно, удалось въ томъ смыслѣ, что лѣтъ тридцать оно въ предѣлахъ Россіи не появлялось въ печати. Но жизнь спасла его отъ забвенія. Вокругъ ненавидимаго, но всѣмъ извѣстнаго имени вспыхивали споры, все еще достаточно ожесточенные—яркія зарницы умчавшейся бури. И наконецъ, въ наши дни жизнь и творчество человѣка, носившаго это имя, стали предметомъ историческаго научнаго обслѣдованія.

Наука должна исправить ту несправедливость, какою жизнь передъ Чернышевскимъ провинилась; она же должна найти и ту справедливую оцѣнку, отъ которой вольно или невольно уклонились и его враги, и его поклонники. Чернышевскій давно уже принадлежитъ исторіи, чуть ли не съ самаго момента его гражданской смерти, когда тюремная стѣна отдѣлила его и отъ людей, съ которыми онъ работалъ надъ дѣломъ своей жизни, и отъ самого этого дѣла. Тюрьма и ссылка не были перерывомъ въ его работѣ: онѣ навсегда ее остановили. Возвращенный изъ Сибири старикъ могъ радоваться труду своихъ наслѣдниковъ, но никакой помощи оказать имъ не могъ, если не считать помощью живой при-

мѣръ необычайно сильнаго ума и желѣзной энергіи, сломленныхъ не случайнымъ, а сознательно принятымъ на себя страданіемъ и сознательно навлеченнымъ на себя несчастіемъ. Полуживой среди своихъ сверстниковъ, онъ въ наши дни сталъ историческимъ воспоминаніемъ, и многіе изъ насъ съ болью отмѣчали ту малую отзывчивость, съ какой передовые круги нашего общества отнеслись къ его имени и его памяти въ недавніе дни политическаго броженія. Правда, сочиненія Чернышевскаго были впервые полностью изданы, статей и замѣтокъ о немъ писалось много, появились даже три обширныхъ монографіи, устанавливающія его связь съ нашимъ временемъ; но всетаки присутствія его тѣни среди насъ не ощущалось такъ живо, какъ на это можно было разсчитывать, судя по тому обаянію, какое имѣло его имя въ радикальныхъ и революціонныхъ группахъ ближайшаго прошлаго. И радикальная мысль, и революціонная тактика ушли далеко впередъ, и въ дни рѣшительныхъ выступленій не имѣли ни времени, ни желанія оглядываться на прошлое. Историческая минута бываетъ иногда очень ревнива и потому очень жестока по отношенію къ тѣмъ людямъ, которые подготовляли ея наступленіе. Ей нужны не тѣни, а люди, и она нерѣдко вѣнчаетъ слабыхъ, но живыхъ людей тѣмъ вѣнкомъ, какимъ слѣдовало бы украсить могилу.

Впрочемъ, не все ли равно—сохраняется ли объ умершемъ дѣятелѣ непрерывная, живая, неугасающая память, если живетъ то дѣло, которому онъ свою жизнь отдалъ? Наступитъ время, когда прошлое будетъ воскрешено въ памяти, воскрешено безстрастно, при нелицепріятномъ судѣ, и тогда будетъ возстановлена та справедливость, которая такъ часто нарушается жизнью и всего чаще по отношенію къ сильнымъ людямъ, умѣющимъ будить одновременно и любовь, и ненависть.

Время спокойной оцѣнки дѣятельности Чернышевскаго наступаетъ. Историкъ русской науки и литературы без-

страстно оцѣнитъ его большія заслуги передъ нашей образованностью. Онъ укажетъ на его работы по исторіи русской словесности XVIII и XIX вѣковъ и на его литературно-критическія статьи, какъ на образецъ публицистической критики, въ его время только-что зарождавшейся; онъ упомянетъ объ его романѣ, надѣлавшемъ столько шуму и, какъ бы строгъ ни былъ историкъ въ оцѣнкѣ этого романа, какъ художественнаго произведенія, онъ признаетъ въ немъ первый русскій „соціальный“ романъ, созданный по типу иноземныхъ утопій, но съ совсѣмъ новой тенденціей — представить утопію не въ видѣ сна, видѣнія или грезы, за моремъ лежащей, а въ формѣ реальной обыденной картины житейскихъ явленій, уже наступившихъ или имѣющихъ наступить завтра. Переходя къ оцѣнкѣ чисто публицистической дѣятельности Чернышевскаго, изслѣдователь воздастъ должное его работѣ надъ столь сложными и новыми тогда вопросами дня, какъ вопросъ объ экономическомъ бытѣ крестьянства, объ историческомъ развитіи и нравственной цѣнности крестьянской общины, о положеніи рабочихъ, о финансовой политикѣ. Говоря о Чернышевскомъ, какъ объ ученомъ, историкъ отмѣтитъ его политико-экономическіе трактаты, оцѣненные теперь не только нами, но и заграницей. Въ исторіи нашей философской науки Чернышевскому также найдется мѣсто если не какъ оригинальному мыслителю, то какъ популяризатору матеріализма и утилитаризма. Пусть всѣ изъяны этихъ философскихъ ученій будутъ обнаружены, пусть теперь эти ученія отходятъ въ тѣнь, — конечно, съ тѣмъ, чтобы когда-нибудь вновь выдвинуться. Чернышевскій дѣлилъ ихъ ошибки со многими сильными міровыми умами, и онъ первый среди русскихъ философствующихъ умовъ заговорилъ о научной ихъ основѣ. Они были для него предметомъ спекулятивнаго интереса и реальной основой, на которой онъ предполагалъ построить новую личную и гражданскую этику. Изслѣдователь признаетъ, что направленіе [illegible] философской мысли, въ какомъ шелъ Чернышевскій, [illegible]

было быть принято русскимъ умомъ, если этотъ умъ желалъ держаться на уровнѣ европейскаго образованія. Ошибки этого направленія были видны людямъ старыхъ взглядовъ и стали еще болѣе видны намъ, но ему, Чернышевскому, и его единомышленникамъ онѣ *не могли быть* видны, такъ какъ вѣровать и одновременно критиковать свою вѣру ни одинъ человѣкъ не въ силахъ, и весь прогрессъ философской мысли не что иное—какъ смѣна загипнотизированнаго вѣрой убѣжденія и постепеннаго выхода изъ этого гипноза—впредь до новаго.

Подводя итогъ всѣмъ размышленіямъ надъ творческой работой Чернышевскаго какъ литератора, публициста и ученаго, историкъ долженъ будетъ согласиться, что въ лицѣ этого писателя передъ нимъ рѣдкій образецъ энциклопедиста стараго типа, какихъ было немало въ XVIII вѣкѣ на Западѣ, и семья которыхъ очень убавилась въ XIX столѣтіи, а у насъ въ Россіи до Чернышевскаго и совсѣмъ не имѣла представителей.

Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ ни одного основного вопроса жизни духовной и матеріальной, вопроса теоретическаго или практическаго, на который въ сочиненіяхъ Чернышевскаго не нашлось бы отвѣта, разработаннаго болѣе или менѣе подробно или только намѣченнаго. Въ наше время мы такъ привыкли къ спеціализаціи знанія и къ дробленію спеціальностей, что типъ человѣка съ заготовленными отвѣтами на огромное количество вопросовъ жизни и духа не внушаетъ намъ довѣрія. И несомнѣнно, что это типъ вымирающій, если не навсегда исчезнувшій. Колоссальный ростъ науки въ XIX столѣтіи исключаетъ возможность появленія писателя, который могъ бы объединить въ одномъ связномъ міросозерцаніи выводы всѣхъ наукъ, сохраняя за собой право самостоятельнаго о нихъ сужденія. Писатель прошлыхъ поколѣній стоялъ въ лучшихъ условіяхъ и былъ гораздо смѣлѣе, и если строгая наука впослѣдствіи обнаружила въ его обобщающихъ построеніяхъ всѣ

ихъ изъяны и разрушила даже самый фундаментъ, на которомъ такія построенія были возведены—то громадное культурное значеніе такихъ обозрѣній всѣхъ результатовъ знанія неоспоримо. Бываютъ эпохи въ жизни общества, когда успѣхъ его дальнѣйшей культурной работы зависитъ отъ увѣренности людей въ томъ, что ихъ мысли, чувства и дѣянія согласованы и что существуетъ единый, цѣльный, истинный взглядъ на жизнь космоса и человѣка, взглядъ, раскрывающій смыслъ мірового процесса и указывающій на его цѣлесообразность. Умы, которымъ удается построеніе такихъ синтезовъ, хотя бы на короткій срокъ, служатъ крѣпкой связью между людьми, ищущими идейнаго оправданія жизни. Въ особенности цѣнна ихъ роль въ эпохи рѣзкой ломки старыхъ духовныхъ или матеріальныхъ устоевъ существованія. Тогда ихъ міросозерцаніе собираетъ въ себѣ лучи всѣхъ разрозненныхъ оторванныхъ мыслей и настроеній, и объединяющее ученіе становится руководствомъ для новаго теоретическаго сужденія и новой практической морали личной, общественной и государственной. Такими энциклопедистами были въ ближайшія къ намъ времена Вольтеръ, Руссо, Лессингъ, Гегель, Шеллингъ, Контъ, Спенсеръ, чтобы назвать лишь самыхъ видныхъ. Жизнь и въ теоріи, и на практикѣ считалась съ ихъ міропониманіемъ; оно со страницъ книги переходило въ живую дѣйствительность; оно развивалось, цвѣло и умирало, уступая мѣсто другимъ построеніямъ, все менѣе цѣльнымъ и менѣе всеобъемлющимъ.

У насъ въ Россіи, за отсутствіемъ научнаго прошлаго, типъ энциклопедиста, объединителя разрозненныхъ знаній, долженъ былъ быть большой рѣдкостью. Онъ, впрочемъ, попадался, но не въ томъ цѣльномъ видѣ, какой встрѣчался на Западѣ. Сродни этому типу былъ Чаадаевъ, несмотря на обособленность основной его историкофилософской мысли. Къ этому типу приближались и наши гегелисты сороковыхъ годовъ — Бѣлинскій, до послѣдней минуты жизни р[illegible]

границы затрагиваемыхъ имъ вопросовъ, и славянофилы, успѣвшіе еще въ сороковыхъ годахъ включить въ кругъ своего религіозно-историческаго міросозерцанія многія проблемы жизни міровой и въ особенности жизни самобытно русской.

Но Чернышевскій былъ, несомнѣнно, нашъ первый по времени энциклопедистъ при очень цѣльномъ и широкомъ міропониманіи и при огромномъ запасѣ всевозможныхъ свѣдѣній. Можно спорить объ истинности тѣхъ основъ, на которыхъ міросозерцаніе Чернышевскаго покоилось; можно упрекнуть Чернышевскаго въ томъ, что онъ слишкомъ самовольно и безъ должнаго вниманія отнесся къ нѣкоторымъ проблемамъ духа. Но одно не подлежитъ сомнѣнію: всякому, кто искалъ цѣльнаго міросозерцанія и хотѣлъ осмыслить имъ свою дѣятельность (а какое же молодое поколѣніе къ этому не стремится?), Чернышевскій предлагалъ готовую систему теоретическихъ взглядовъ на міръ и человѣка, и вмѣстѣ съ ней руководство практической морали, разработанное въ деталяхъ. Отъ вопросовъ религіи, отъ теоріи познанія, отъ основъ нравственности, отъ принциповъ эстетики до вопросовъ о разверстаніи угодій, о путяхъ сообщенія и объ откупной системѣ все входило въ сферу мысли этого замѣчательнаго человѣка, единственнаго по широтѣ своихъ умственныхъ интересовъ и по интенсивности своего гражданскаго чувства. И кто могъ съ нимъ въ тѣ годы сравниться въ этой способности всесторонняго размышленія? Немало было ученыхъ гораздо болѣе сильныхъ, чѣмъ онъ—но всѣ они были спеціалистами по отдѣльнымъ вопросамъ; много было художниковъ слова, но выведенные ими типы и собранныя ими наблюденія надъ психикой человѣка были болѣе или менѣе случайны, а тѣ большіе художники, которые стремились въ своемъ творчествѣ проводить цѣльное міросозерцаніе, какъ, напр., Толстой и зрѣлый Достоевскій, пока еще не выступали; одинъ лишь Гоголь предлагалъ читателю нѣчто похожее на руководство жизни, но завѣщанная имъ

переписка была такъ отрывочна, такъ малоубѣдительна по основнымъ мыслямъ, такъ чужда наступившему историческому моменту, что не могла увлечь людей, живущихъ будущимъ, а не прошедшимъ. Славянофилы, какъ уже сказано, могли претендовать на званіе учителей жизни, но отдѣльныя части ихъ доктрины не были пригнаны другъ къ другу, лежащее въ основѣ этой доктрины религіозное начало требовало исключительнаго къ себѣ вниманія, и наконецъ очень многіе практическіе вопросы, поднятые новымъ временемъ, были оставлены безъ отвѣта. Герценъ могъ, казалось бы, поспорить съ Чернышевскимъ, но онъ жилъ за предѣлами Россіи, и чисто общественные и политическіе интересы замыкали работу его мысли въ болѣе узкомъ кругѣ. Людей сороковыхъ годовъ, критиковъ и публицистовъ, романистовъ и поэтовъ, Чернышевскій засталъ еще въ полной силѣ, но ни у кого изъ нихъ не было уже того юношескаго жара въ поклоненіи идеалистическимъ началамъ жизни, который дѣлалъ ихъ столь сильными въ тѣ годы, когда они вѣрили, что они нашли ключи ко всѣмъ тайнамъ жизни въ нѣмецкихъ книгахъ. Съ Чернышевскимъ они не согласились и не возлюбили его, но и противопоставить его вліянію не могли ничего, кромѣ ихъ несогласія и раздраженія. Имѣлъ Чернышевскій, наконецъ, единомышленниковъ, но кого назовемъ мы, кто могъ бы считаться его прямымъ сотрудникомъ, не говоря уже о соперничествѣ? Онъ самъ называлъ Добролюбова—и конечно, какъ воспитатель подроставшихъ поколѣній, Добролюбовъ былъ на своемъ мѣстѣ; но какъ учитель онъ могъ лишь соглашаться съ тѣмъ, что получалъ изъ рукъ своего наставника, и что бы Чернышевскій ни говорилъ о независимости мысли Добролюбова, все написанное послѣднимъ указываетъ на его полную солидарность съ Чернышевскимъ въ рѣшеніи тѣхъ немногихъ основныхъ проблемъ жизни, которыхъ Добролюбовъ касался.

Чернышевскій былъ явленіемъ исключительнымъ по той готовности и способности отвѣчать на огромное количество

вопросовъ, общихъ и частныхъ, съ какими къ нему могли обратиться жаждущіе наставленія и руководства. А такихъ въ тѣ годы было очень много. Люди гнались за готовыми теоретическими формулами и за практическими совѣтами, которые помогли бы имъ распутаться въ непосильно трудныхъ задачахъ. Одинъ Чернышевскій могъ дать такія формулы — формулы разностороннія и, что самое главное, безъ оговорокъ. А для молодыхъ умовъ и сердецъ нѣтъ ничего болѣе непріятнаго и непріемлемаго, какъ оговорки, столь естественныя и неизбѣжныя въ возрастѣ зрѣломъ.

Въ томъ связномъ міросозерцаніи, какое Чернышевскій предлагалъ усвоить всѣмъ желающимъ, оговорокъ никакихъ не было. Ясное и доступное всякому, совсѣмъ даже не вышколенному уму, излагаемое настойчиво въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ [1854—1861] въ длинномъ, непрерывающемся рядѣ статей „Современника"—это міропониманіе было удивительно приспособлено къ данному моменту, требовавшему разрыва со всѣмъ прошлымъ и быстраго рѣшенія новыхъ, жизнью выдвинутыхъ вопросовъ. Замѣна религіи „антропологіей", дедуктивнаго метода индуктивизмомъ, идеалистическаго дуализма — матеріалистическимъ монизмомъ, эстетики отвлеченной эстетикой эмпирической, нравственности, построенной на сверхчувственныхъ началахъ, теоріей разумнаго эгоизма: вотъ что предлагало это новое ученіе тѣмъ людямъ, которые имѣли извѣстное тяготѣніе къ постановкѣ вопросовъ отвлеченныхъ. Все предлагаемое было несомнѣнно „новое", въ полномъ противорѣчіи съ господствующими понятіями, и кромѣ того, въ тѣсной связи съ послѣдними словами науки на Западѣ. Людямъ, которые интересовались больше вопросами практическими, ученіе предлагало очень связную радикальную доктрину, въ которой были объединены всѣ новѣйшіе итоги политико-соціальныхъ наукъ; теорія обще-историческаго прогресса, съ оттѣненіемъ въ ней преобладающаго значенія массъ, безъ ущерба

для выдающейся роли личности; указаніе на огромную роль экономическаго фактора въ жизни, съ цѣлымъ рядомъ поправокъ и дополненій къ господствующимъ политико-экономическимъ теоріямъ; подробное историческое обозрѣніе различныхъ формъ дѣйствующихъ политическихъ системъ, съ очень яснымъ тяготѣніемъ въ сторону тѣхъ изъ нихъ, при которыхъ народной массѣ дана наибольшая возможность вліянія на ходъ жизни; нескрываемое признаніе соціализма, какъ ближайшаго этапа цивилизаціи; оцѣнка соціализма утопическаго и предугадываніе его научнаго построенія; опредѣленіе той роли, какая въ этомъ соціалистическомъ движеніи выпадетъ на долю народныхъ земледѣльческихъ группъ и группы рабочей; разъясненіе вопроса о тѣхъ формахъ хозяйственнаго строя, чрезъ которыя должна пройти Россія; опредѣленіе долга русскаго интеллигента передъ народомъ и разные способы уплаты по этому долгу; подробный анализъ нашего общественнаго положенія, съ указаніемъ того мѣста, какое должны занять новые люди по отношенію къ отдѣльнымъ группамъ и партіямъ; начертаніе новаго уклада личной и семейной жизни; наконецъ, довольно ясные намеки на ту тактику, какой новымъ людямъ надлежитъ держаться при проведеніи въ жизнь ихъ общественныхъ и политическихъ убѣжденій.

Все это богатство темъ и вопросовъ разрабатывалось Чернышевскимъ не въ общей только формѣ, а примѣнительно къ конкретнымъ явленіямъ жизни европейской и преимущественно русеской. Молодой читатель получалъ, такимъ образомъ, въ руки сразу цѣлую энциклопедію знаній и совѣтовъ, какъ думать и поступать въ томъ или иномъ случаѣ. И онъ довѣрчиво подходилъ къ учителю, съ наивно-открытой душой и умомъ, жаждущимъ насыщенія.

## II.

Когда теперь, спустя много лѣтъ, мы перечитываемъ эти огромные тома перваго русскаго энциклопедическаго со-

варя, составленнаго не для справокъ, а съ цѣлью выработки новаго міросозерцанія,—странное охватываетъ насъ чувство. Мы знаемъ, что эти страницы нѣкогда были полны огня, что онѣ производили на современниковъ впечатлѣніе, не меньшее, если не большее, чѣмъ любая ученая книга и любое произведеніе художественнаго слова, мы ищемъ теперь отголоска въ нихъ этой прежней силы, которая такъ сердила и плѣняла и мы этой силы не находимъ. Увлечься чтеніемъ мы теперь не можемъ, и только нѣсколько статей сохранило еще на себѣ блескъ старой позолоты, блескъ остроумія и политическаго темперамента. Передъ нами — потухшій вулканъ, строеніе котораго для историка представляетъ огромный научный интересъ.

Грустное находитъ чувство, когда думаешь надъ судьбой словъ, сказанныхъ людьми такого типа, какъ Чернышевскій словъ, рожденныхъ на полѣ битвы, произнесенныхъ въ самую рѣшительную минуту нервнаго напряженія, словъ, брошенныхъ въ лицо врагу, нашедшихъ живой откликъ, звучавшихъ какъ сигналъ и призывъ, словъ, повторяемыхъ почти что какъ молитва и такъ скоро отзвучавшихъ, кажущихся при повтореніи такими простыми, общеизвѣстными, лишенными пламени. Сколько великихъ общественныхъ дѣятелей, публицистовъ, ораторовъ, вождей разныхъ партій раздѣляютъ въ данномъ случаѣ участь Чернышевскаго! И какъ рѣчи и статьи ихъ похожи на остывшую лаву! Слова, которыя жизнь вырываетъ у человѣка какъ почти невольный откликъ на ея порывы и страданія, не такъ долговѣчны, какъ его размышленія и видѣнія, съ которыми онъ имѣлъ время сжиться и которыя облюбовалъ въ тиши своего кабинета. А между тѣмъ, что была бы наша жизнь безъ такого отзвука на ея призывы и крики?

Слова Чернышевскаго были такъ тѣсно связаны съ своимъ временемъ, они такъ непосредственно отражали волненія дня, что всѣ волны нашей послѣдующей жизни прошли по нимъ и смыли и стерли многое, что въ нихъ было яркаго

и остраго. Если мы хотимъ возстановить блескъ и силу этихъ словъ, мы должны забыть, что большая ихъ часть давно стала нашими словами, или должны вспомнить, что было время, когда эти слова принадлежали одному человѣку безраздѣльно, когда въ нихъ былъ весь ароматъ новизны, поражающей неожиданности и необычности.

## III.

Чернышевскаго давно признали отцомъ русскаго революціоннаго движенія. Какъ таковаго, его судили, такимъ непремѣнно хотѣли его выставить, и жестокость кары оправдывали этой же догадкой: говоримъ—догадкой, потому что ко дню суда убѣдительныхъ доказательствъ налицо не было. Друзья и союзники Чернышевскаго естественно не настаивали на этой сторонѣ его дѣятельности и, пока онъ былъ живъ, избѣгали давать неосторожную оцѣнку его личности и вліянія. Смерть Чернышевскаго позволила быть болѣе откровеннымъ, и въ настоящую минуту всѣ, кому случается говорить о немъ, сходятся въ признаніи его первенствующей роли не только въ общественно-политическомъ движеніи шестидесятыхъ годовъ, но именно въ томъ опредѣленномъ движеніи революціонномъ, какое стало пробиваться наружу съ конца пятидесятыхъ годовъ и въ 1861-мъ году уже ясно опредѣлилось.

Слово: революціонеръ допускаетъ, конечно, много толкованій. Можно быть революціонеромъ въ области мысли и не имѣть революціоннаго темперамента; можно быть человѣкомъ съ революціоннымъ темпераментомъ и не имѣть опредѣленной революціонной программы; можно, наконецъ, и мыслить, и чувствовать революціонно, но не имѣть достаточно воли, чтобы быть агитаторомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Цѣльные революціонные типы встрѣчаются очень рѣдко; нужны совсѣмъ особыя обстоятельства, особая историческая школа, чтобы воспитать ихъ. Русская жизнь

не могла дать такихъ условій, и исторія развитія этого типа у насъ изобилуетъ массою случайностей: нашъ революціонеръ почти всегда оказывается въ положеніи партизана или заговорщика. И партизанская война, и заговоръ могутъ входить въ революціонную тактику, но ими все дѣло революціи не исчерпывается. Развивающееся въ условіяхъ болѣе или менѣе свободныхъ, революціонное движеніе нуждается въ выработанной объединяющей доктринѣ, въ широкомъ обмѣнѣ мнѣній, въ гласной пропагандѣ, въ историческихъ опытахъ, произведенныхъ въ болѣе или менѣе широкихъ размѣрахъ, и въ повтореніи такихъ опытовъ. Есть страны, въ которыхъ революціонное движеніе располагало такими условіями и средствами развитія. Россія къ числу этихъ странъ не принадлежала.

Понятіе о революціи мы иногда съуживаемъ и говоря о ней разумѣемъ почти всегда активное выступленіе противъ существующаго государственнаго порядка,—выступленіе дѣйствіемъ или словомъ; но вѣдь и слово, и дѣйствіе предполагаютъ извѣстный образъ мыслей, и не только мыслей, относящихся непосредственно къ государственному строю, а мыслей самого общаго порядка —мыслей религіозныхъ, философскихъ, историко-философскихъ, научныхъ вообще и спеціально научныхъ въ частности. Исторія революціонныхъ движеній на Западѣ показываетъ, въ какой тѣсной связи находятся всякія активныя революціонныя выступленія съ тихимъ процессомъ мысли человѣческой о Богѣ, о смыслѣ жизни, о сущности мірового историческаго процесса, объ основахъ человѣческаго общества, о законахъ развитія этого общества, о взаимоотношеніи личности и массы, объ экономическихъ устояхъ общежитія. То, что мы обыкновенно называемъ революціей, есть видимое воплощеніе невидимой работы ума, на помощь которой пришли темпераменты, удобный случай и согласіе болѣе или менѣе компактной массы.

Въ русской жизни до шестидесятыхъ годовъ XIX вѣка—

за исключеніемъ развѣ только религіозно-соціальныхъ народныхъ движеній—мы не имѣли примѣровъ идейнаго роста революціонныхъ стремленій. Была революція, произведенная царской властью при Петрѣ I; происходили перемѣны въ составѣ верховнаго управленія при Елисаветѣ, Екатеринѣ и Александрѣ I; была попытка политическаго заговора 14-го декабря, въ которомъ принимало участіе исключительно дворянское сословіе, увлеченное романтикой свободомыслія; были въ 1848-мъ году слабыя попытки сочетать соціалистическія утопическія ученія запада съ наличностью русской дѣйствительности — но вплоть до шестидесятыхъ годовъ нѣтъ слѣда работы настоящей революціонной мысли, опирающейся на широкій идейный фундаментъ и вытекающей не изъ гуманныхъ только чувствъ, а изъ цѣлаго историческаго міросозерцанія. Революціонное движеніе такого типа зародилось на рубежѣ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, и пропагандистами его были люди новаго поколѣнія. Изъ представителей поколѣнія старшаго къ этому нарождавшемуся движенію примыкали лишь Герценъ и Бакунинъ, но они какъ эмигранты широкаго круга вліянія имѣть не могли.

Устойчивый идейный фундаментъ подъ растущее революціонное настроеніе первый сталъ подводить Чернышевскій. Если можно спорить о томъ, обладалъ ли Чернышевскій настоящимъ революціоннымъ темпераментомъ (онъ самъ къ этой сторонѣ своего характера относился недовѣрчиво), если нельзя съ точностью опредѣлить степень его активнаго участія въ ходѣ революціоннаго движенія, то одно не подлежитъ сомнѣнію, его революціонная работа въ области мысли. Опредѣляя такимъ словомъ литературную, научную и публицистическую дѣятельность Чернышевскаго, надо имѣть въ виду опять-таки не спеціально политическую тенденцію тѣхъ или иныхъ его статей, а общій характеръ всего его міросозерцанія. Для Россіи тѣхъ годовъ оно было несомнѣнно явленіемъ революціоннымъ, поскольку оно же про-

должало, а отрицало всѣ до него господствовавшіе взгляды на самые коренные, теоретическіе и практическіе вопросы жизни. Въ самомъ дѣлѣ, ни одинъ изъ передовыхъ писателей сороковыхъ годовъ,—пусть даже Герценъ или Бакунинъ, не говоря уже объ осторожныхъ либералахъ разныхъ оттѣнковъ—не могъ отрицать своей связи съ предшествующимъ поколѣніемъ и зависимости своего образа мыслей отъ системы знаній и отъ метода мышленія, господствовавшихъ въ недавнемъ прошломъ. Взгляды всѣхъ этихъ людей, идущихъ впереди другихъ, быстро или медленно, но правильно *эволюціонировали*. Писатель мѣнялъ старые взгляды на новые и читатель могъ прослѣдить, какъ послѣдовательно такая смѣна идей происходила. Никакая революція въ мысляхъ не могла быть у этихъ писателей обнаружена.

Міросозерцаніе Чернышевскаго открывалось читателю не какъ реформа въ существующемъ строѣ мыслей, а какъ нежданная новинка, именно какъ революція, сразу упразднявшая все старое и предлагавшая мыслить по новому, установить новую оцѣнку старыхъ цѣнностей и ввести въ кругозоръ мышленія новыя стороны жизни, на которыя до тѣхъ поръ почти не обращали вниманія. Конечно, и Чернышевскій въ своемъ умственномъ развитіи шелъ путемъ эволюціоннымъ, и было время, когда онъ мыслилъ такъ, какъ мыслило предшествующее ему поколѣніе; но эта тихая работа ума, о которой мы теперь имѣемъ довольно полныя свѣдѣнія, отъ читателя тѣхъ годовъ была скрыта, и въ его глазахъ писатель выступилъ сразу съ установившимся новымъ міросозерцаніемъ. Пусть это міросозерцаніе не было оригинально, пусть оно покоилось на выводахъ, добытыхъ иностранной наукой—для широкаго круга русскихъ читателей, которые съ этими выводами знакомы не были, оно было неожиданнымъ откровеніемъ, совсѣмъ новой рѣчью о новыхъ вещахъ. Если эта связная новая система мнѣній, сужденій и взглядовъ появлялась передъ читателемъ въ отрывкахъ, съ неравномѣрнымъ освѣ-

щеніемъ входящихъ въ нее вопросовъ, все-таки всѣмъ было ясно, что она — система цѣльная, проникнутая единой тенденціей, съ широкимъ и стройнымъ планомъ, и необычайно богатая по количеству собранныхъ въ ней свѣдѣній. Какъ отрицаніе всего предшествующаго въ области мысли, она была сама по себѣ несомнѣнно революціоннымъ актомъ, съ не меньшимъ, если не съ бо́льшимъ революціоннымъ смысломъ, чѣмъ отдѣльныя ея части, относящіяся прямо къ политическимъ вопросамъ и къ тактикѣ борьбы съ существующимъ государственнымъ порядкомъ. Спеціально политическая сторона этой системы потому и производила такое сильное впечатлѣніе, что она являлась подъ прикрытіемъ цѣлаго міросозерцанія, и практическая ея сторона оправдывалась основными теоретическими выкладками.

Отрицаніе прежнихъ религіозныхъ представленій, отрицаніе сверхчувственныхъ началъ жизни, установленіе новыхъ основоположеній морали, новое толкованіе нашего эстетическаго отношенія къ дѣйствительности, попытка матеріалистическаго истолкованія историческаго процесса, оправданіе соціализма и указаніе на возможный его переходъ отъ романтической грезы въ фазисъ научнаго развитія, научная постановка аграрнаго и рабочаго вопросовъ — все вмѣстѣ взятое при спокойномъ и послѣдовательномъ развитіи русской мысли тѣхъ годовъ имѣло обликъ сразу разразившейся идейной грозы.

Неудивительно, что взоры молодыхъ людей, ищущихъ знаній и желающихъ привести эти знанія въ систему, были устремлены на того человѣка, который взялъ на себя смѣлость такого оглушительнаго удара, направленнаго въ сторону всѣхъ взглядовъ и чувствъ, освященныхъ традиціей. Неудивительно также, что люди стараго міровоззрѣнія и даже тѣ, которые отъ старыхъ взглядовъ медленно отходили, почувствовали къ возмутителю умственнаго покоя особое нерасположеніе, иногда доходившее до ненависти.

„Васъ надо сдѣлать или шпіономъ и принимать отъ насъ

все—или попросту не принимать ничего"—сказалъ однажды Чернышевскому одинъ изъ пылкихъ его противниковъ—К. Случевскій. Такъ, дѣйствительно, и отнеслись къ Чернышевскому его современники: одни повѣрили каждому его слову, считали это слово благомъ и истиной; другіе отвергли все, что онъ говорилъ, во всемъ видѣли ложь и ничего не хотѣли принять изъ его рукъ.

## IV.

Кто былъ онъ какъ личность, какъ характеръ? На этотъ вопросъ врядъ ли возможенъ исчерпывающій отвѣтъ. Если предположить, что все, даже самое интимное, станетъ доступнымъ—и тогда врядъ ли удастся раскрыть всѣ изгибы этой замѣчательной психической организаціи. Когда Чернышевскій былъ на свободѣ, время еще не приспѣло для оцѣнки его личности—она могла интересовать только его близкихъ; со дня его заключенія—въ годы полнаго расцвѣта его силъ и характера—о личности его можно было говорить лишь въ частныхъ бесѣдахъ; на цѣлую четверть вѣка эта личность исчезла изъ поля зрѣнія и близкихъ, и далекихъ ему людей; когда старикъ вернулся изъ ссылки, разговоры о немъ, какъ о человѣкѣ, стали по инымъ причинамъ неумѣстны: когда онъ умеръ, говорить стало возможно, но кто могъ говорить? Многіе изъ друзей и сотрудниковъ его юности умерли, а въ тѣхъ, кто остался въ живыхъ, разговоръ о немъ будилъ столь болѣзненныя воспоминанія, такъ бередилъ старыя раны, что молчаніе казалось лучшей данью его памяти. Воспоминаній о Чернышевскомъ, написанныхъ людьми его знавшими, осталось немного, и только на его личныя признанія, разсѣянныя въ опубликованныхъ частями дневникахъ приходится опираться тому, кто рѣшается заговорить о немъ какъ о личности.

Большаго вниманія заслуживаютъ тѣ особенности ха-

рактера и темперамента Чернышевскаго, которыя не совсѣмъ мирятся съ общимъ представленіемъ о человѣкѣ столь радикальнаго образа мыслей, какимъ былъ онъ. Судя по нѣкоторымъ личнымъ признаніямъ Чернышевскаго, онъ обладалъ характеромъ не совсѣмъ обычнымъ для радикальнаго реформатора и революціонера. Человѣка этого призванія мы представляемъ себѣ обыкновенно въ достаточной степени ригористомъ, фанатикомъ, суровымъ, неуступчивымъ, прямолинейнымъ, вообще со всѣми особенностями характера кремневой формаціи. Но революціонеры бываютъ разные, поскольку они люди, и въ ихъ семьѣ возможны многія разновидности. Извѣстная мягкость, даже нѣжность души вполнѣ совмѣстима съ ролью, которая по внѣшности своей кажется и суровой, и жестокой. Исторія знаетъ много примѣровъ такого сочетанія мягкости характера съ твердостью революціонной мысли и настойчивостью воли. Чернышевскій, судя по всему, что мы знаемъ о немъ какъ о человѣкѣ, былъ именно такой мягкой душой на службѣ дѣла, требовавшаго суровости. Въ такомъ положеніи находились многіе изъ его современниковъ, шедшихъ тою же дорогой, что и онъ, и распространенность такого типа въ Россіи, въ первые годы новой эры, не должна удивлять насъ. Какъ бы рѣзко радикалы ни порвали съ традиціями прошлаго, но извѣстная доза сентиментальности, романтизма и идеализма души перешла къ нимъ по наслѣдству отъ того времени, когда, дѣтьми и юношами, они впервые стали задумываться надъ вопросами жизни. Для настоящихъ кремней почва еще не была готова.

Въ юности, какъ Чернышевскій самъ признается, его постоянно мучила мысль стать Гамлетомъ;[1] слѣдя за собой въ минуты, которыя требовали какого-нибудь опредѣленнаго и смѣлаго рѣшенія, онъ опасался, какъ бы не оказаться „тряпкой“. Въ первый разъ ему пришлось поставить свою теорію на испытаніе въ тѣ дни, когда онъ рѣшился жениться, и имѣлъ какое-то основаніе думать, что родители его

бракъ не согласятся. Вспоминая его позднѣйшую проповѣдь свободы въ семейныхъ отношеніяхъ, какъ-то странно читать тѣ строки его дневника,[2] гдѣ онъ самъ себѣ признается, что онъ „созданъ для повиновенія, для послушанія“, гдѣ онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что это „послушаніе должно быть свободно (?)“ и, не видя возможности примирить послушаніе съ свободой, грозитъ родителямъ самоубійствомъ. Положимъ, всѣ эти строки пишутся въ періодъ очень сильной любовной лихорадки, и понимать ихъ надо съ оговоркой Но годы идутъ, и Чернышевскій все таки не пріобрѣтаетъ той увѣренности въ себѣ, какою обыкновенно отличаются люди рѣшительные и сильные. Встрѣча съ Добролюбовымъ заставляетъ его долго думать надъ нравственной цѣнностью своего характера. Утѣшая Добролюбова, который также терзался самоанализомъ, Чернышевскій писалъ ему: „мнѣ остается только удивляться сходству основныхъ чертъ въ нашихъ характерахъ. Въ васъ я вижу какъ будто своего брата: все дурное, что сдѣлали вы, сдѣлалъ бы и я—за то на многое хорошее, которое тутъ же вы дѣлали, недостало-бы у меня характера. Я могу только сказать, что, каковы ни были вы, вы все-таки гораздо лучше меня“. Обобщая частный случай, о которомъ шла рѣчь въ этихъ строкахъ, Чернышевскій продолжалъ: „мы съ вами люди, въ которыхъ великодушія и благородства, или героизма или чего-то такого, гораздо больше, нежели требуетъ натура. Потому мы беремъ на себя роли, которые выше натуральной силы человѣка, становимся ангелами, христами и т. д. Разумѣется, эта ненатуральная роль не можетъ быть выдержана, и мы безпрестанно сбиваемся съ нея и опять лѣземъ вверхъ, точно пѣвецъ, который запѣлъ слишкомъ высокую арію—то хрипитъ, то пищитъ, въ результатѣ выходитъ, что онъ поетъ фальшиво; смѣйтесь надъ фальшивыми нотами, но не забывайте, что онъ вмѣстѣ съ ними беретъ и другія, которыя заслуживаютъ аплодисментовъ... Если бы я хотѣлъ вамъ исповѣдываться, я разсказалъ-бы вамъ о себѣ подвиги

болѣе гнусные, нежели все то, что вы разсказываете о себѣ. Прочтите „Confessions“ Руссо, тамъ разсказывается многое изъ моей жизни, но далеко не все. А всетаки я человѣкъ хорошій, а вы лучше меня“ [1858].[3] Пусть въ этихъ словахъ есть преувеличеніе, разсчитанное на то, чтобы утѣшить друга, пусть они въ своей сути относятся, какъ это несомнѣнно, къ чисто интимнымъ дѣламъ, они характерны, какъ откровенное признаніе: носитель „большой роли“, сознающій, что въ немъ „великодушія, благородства и героизма больше, нежели требуетъ натура“, недоволенъ тѣмъ, что онъ безпрестанно сбивается съ роли и беретъ фальшивыя ноты. Вспоминая покойнаго друга, Чернышевскій рѣшается публично повторить то, что онъ говорилъ ему наединѣ: „Мнѣ слѣдуетъ коснуться личныхъ характеровъ Добролюбова и моего,—писалъ онъ въ „Современникѣ“,—насколько нужно для показанія, какъ смѣшна догадка, будто Добролюбовъ уступалъ мнѣ энергіею натуры. У меня характеръ уклончивый до фальшивости; это свойство, сходное съ мягкостью въ личномъ обращеніи, можетъ очаровывать моихъ знакомыхъ; дѣйствительно-ли очаровываетъ или возбуждаетъ въ нихъ нѣкоторую долю презрѣнія, я не знаю. Но какъ бы то ни было, при такомъ изгибающемся, податливомъ характерѣ, никакъ не могу я сравниваться энергіею чувства съ людьми прямого и, сказать безъ церемоній, честнаго характера. Въ Добролюбовѣ такого, какъ во мнѣ, недостатка рѣшительно не было“.[4]

Прошло много лѣтъ, и вспоминая жизнь на волѣ, Чернышевскій въ романѣ „Прологъ пролога“ далъ свой автопортретъ, оттѣняя въ немъ опять черту мягкости, уступчивости, нерѣшительности, сильную склонность къ самоанализу и большую чувствительность.[5]

Можно было-бы, конечно, пройти мимо всѣхъ такихъ признаній, несмотря на то, что они не случайны и повторяются на большомъ протяженіи времени. Они ни въ какой связи съ литературной и общественной дѣятельностью Чер-

нышевскаго не стоитъ. Въ томъ, что онъ писалъ, и въ томъ, что онъ дѣлалъ, никакой уступчивости и мягкости не замѣтно, не говоря уже о какой-нибудь „уклончивости". Но обойти молчаніемъ мягкія стороны характера Чернышевскаго значило бы исказить историческій обликъ. Эти черты имѣютъ несомнѣнное историческое значеніе. Прежде всего онѣ возстановляютъ правду о человѣкѣ. Было немало лицъ и мнѣнія ихъ сохранились—которые считали Чернышевскаго человѣкомъ сухимъ, черствымъ, самоувѣреннымъ до крайности, деспотичнымъ вождемъ неопытныхъ людей, несознававшимъ всей той отвѣтственности, какую онъ бралъ на себя, указывая имъ дорогу. Многіе хотѣли видѣть въ немъ властолюбиваго опекуна и наставника, который присвоилъ себѣ исключительное право на истинныя и добрыя слова и поступки, и не зналъ раздумья и сомнѣній. Сколько бы рѣзкихъ и непріятныхъ сторонъ характера ни было въ Чернышевскомъ,—а боевая жизнь вырабатываетъ такія стороны,—отъ упрека въ самолюбованіи, въ аррогантной самоувѣренности и черствости его придется освободить. Съ дѣтскихъ лѣтъ и нѣжныя чувства, и самонаблюденіе были отличительной чертой его характера[6] и помогали ему развивать въ себѣ „любимыя пристрастія". А по собственнымъ его словамъ, такихъ пристрастій у него было два: „во-первыхъ, наклонность къ разрѣшенію чисто-психическихъ задачъ, во-вторыхъ, наклонность къ извиненію человѣческихъ слабостей".[7] Его враги мало вникали въ его психологію и извинять слабостей не хотѣли; вотъ почему они его глубочайшую убѣжденность принимали часто за фанатичную самоувѣренность.

Указанныя черты характера Чернышевскаго служатъ также хорошимъ придаткомъ къ той теоріи разумнаго эгоизма, которую онъ проповѣдывалъ и которая навлекла на него немало нареканій. Этотъ эгоизмъ, совпадавшій съ самопожертвованіемъ, не всѣмъ былъ понятенъ и казался софизмомъ; но при наличности тѣхъ чертъ, о которыхъ го-

ворено выше, онъ сводился къ тщательной нравственной самооцѣнкѣ, далекой отъ слѣпого поклоненія своему „я“.

Наконецъ—и это самое главное—признаніе своего родства съ Гамлетомъ, боязнь всякихъ соблазновъ, сознаніе своей грѣховности, мягкое отношеніе къ людямъ и строгая самопровѣрка—черты характера, отнюдь не одному лишь Чернышевскому свойственныя. Ихъ можно подмѣтить въ душѣ многихъ нашихъ радикаловъ и революціонеровъ первой формаціи. Всякій характеръ требуетъ выработки и не формуется сразу; и типъ русскаго радикала и агитатора прошелъ черезъ различныя стадіи развитія. Постепенно подъ вліяніемъ жестокихъ мѣръ, какія были приняты правительствомъ по отношенію къ своимъ врагамъ, а также и подъ вліяніемъ все болѣе и болѣе возраставшаго реакціоннаго теченія вообще, характеръ радикаловъ и революціонеровъ ожесточался и черствѣлъ. Вмѣсто того, чтобы какъ-нибудь, по мѣрѣ силъ, согласовать неизбѣжныя радикальныя тенденціи съ жизнью, облегчить имъ возможность приспособленія, помочь имъ утратить ихъ рѣзкость,—все было сдѣлано, чтобы изолировать ихъ, сплотить ихъ, развить въ нихъ боевой духъ и, главнымъ образомъ, ожесточить ихъ. Характеръ людей, захваченныхъ теченіемъ радикальной и революціонной мысли, долженъ былъ, въ силу необходимости, развиваться въ сторону неуступчивости, нетерпимости и всякихъ крайностей.

Въ періодъ времени отъ 1855 до 1861-го года положеніе было иное; въ людяхъ, хоть и порвавшихъ съ прошлымъ, были все-таки живы многія мягкія чувства, перешедшія по наслѣдству отъ отцовъ; за отсутствіемъ всякаго политическаго опыта, люди имѣли основаніе довѣрять ближайшему будущему, и потому особыхъ причинъ къ ожесточенію сердца у нихъ не было; наконецъ и власть, хоть и стоявшая ревниво на стражѣ своихъ интересовъ, не имѣла [illegible] предлога развить систему репрессій и каръ до степеней, способныхъ озлобить тѣхъ, кого надлежало лишь [illegible] обезору-

жить. Только съ 1861-го года система жестокаго воздѣйствія стала примѣняться, и одной изъ первыхъ жертвъ ея былъ Чернышевскій.

Время, когда слагался характеръ Чернышевскаго было, такимъ образомъ, благопріятно для развитія даже въ людяхъ крайнихъ взглядовъ того осмотрительнаго, требовательнаго къ себѣ самому отношенія, той строгой нравственной самооцѣнки, той мягкости характера, которая могла идти вровень съ прямолинейной неуступчивостью мысли. Зная свой характеръ, многіе радикалы и представить себѣ не могли, что ихъ будутъ судить чуть ли не какъ злодѣевъ. Упрекая себя самихъ въ излишней мягкости и уступчивости, они были не мало поражены, когда имъ поставили въ вину жестокое и деспотическое обращеніе съ неподготовленными умами и неопытными сердцами.

## V.

По образу своихъ мыслей Чернышевскій былъ „новымъ“ человѣкомъ задолго до наступленія новой эры.

Еще въ концѣ сороковыхъ годовъ, когда онъ вращался среди людей, входившихъ въ составъ кружка Петрашевскаго, ему прояснились всѣ тѣ начала и всѣ тѣ концы, среди которыхъ улеглось его міросозерцаніе. Ему было ясно, что нужна радикальная реформа всей системы нашего мышленія о мірѣ и человѣкѣ—и въ руководители онъ себѣ уже тогда избралъ Фейербаха; онъ былъ убѣжденъ, что историческій процессъ единъ для всѣхъ народовъ, и что эволюція формъ человѣческаго общежитія должна завершиться торжествомъ соціализма; онъ разсчитывалъ найти у французскихъ соціалистовъ поясненіе этой основной своей историко-философской и историко-экономической мысли; наконецъ, онъ признавалъ, что Россія должна какъ можно скорѣе принять участіе въ этомъ соціально-политическомъ движеніи и что торопить его нужно даже революціонными средствами. Эти убѣжденія и мнѣнія

укоренились въ Чернышевскомъ очень быстро и вполнѣ ясно опредѣлились еще тогда, когда онъ состоялъ студентомъ Петербургскаго университета [съ 1846-го года].

Ко дню наступленія новаго царствованія Чернышевскій былъ вполнѣ сложившійся умъ и цѣльно вылившійся характеръ. Ему не пришлось ничего „искать", какъ искали его младшіе современники: онъ былъ хорошо вооруженъ и могъ сразу начать вооружать другихъ.

„Условія, среди которыхъ протекла его дѣтская и юноческая жизнь, сложились такъ естественно и замкнулись въ такой цѣльный кругъ представленій опредѣленной умственной и моральной культуры, что можно безъ преувеличеній назвать семейную атмосферу Чернышевскихъ рѣдко благопріятной для развитія въ мальчикѣ независимой мысли и сильной воли, способной управлять здоровымъ и нормальнымъ чувствомъ".[8] Природныя дарованія воспользовались этими условіями, и юноша успѣлъ въ короткій срокъ пріобрѣсти необычайно широкія для того времени познанія. Наряду съ развитіемъ ума шло развитіе сердца, въ направленіи унаслѣдованныхъ отъ семьи „традиціонныхъ демократическихъ началъ". Съ раннихъ лѣтъ Чернышевскій „проникся глубокимъ пониманіемъ народныхъ нуждъ и стремленій. Впечатлѣнія дѣтства и юности окрасили господствующее настроеніе его личности духомъ истиннаго демократизма",[9] и такимъ прирожденнымъ и воспитаннымъ демократомъ онъ остался всю жизнь, въ отличіе отъ многихъ нашихъ передовыхъ дѣятелей, которымъ стоило немалыхъ усилій помирить воспитываемый въ себѣ духъ демократизма съ унаслѣдованными сословными аристократическими склонностями.

Старую богословскую школу Чернышевскій, какъ ученикъ Саратовской семинаріи, прошелъ очень быстро и остался къ ней равнодушенъ. Если религіозное поэтическое чувство продолжало довольно долго жить въ его душѣ, то богословствующій умъ, кажется, никогда не соблазнялъ его, тѣмъ болѣе, что онъ покинулъ семинарію не окончивъ курса

ученія. Чернышевскаго увлекла затѣмъ нѣмецкая идеалистическая философія и, судя по записямъ его дневника и по нѣкоторымъ страницамъ его сочиненій, онъ былъ въ ней хорошо освѣдомленъ; по крайней мѣрѣ Гегеля онъ изучилъ весьма внимательно. Но любви къ этому порядку отвлеченной мысли у Чернышевскаго не было: его умъ тяготѣлъ къ ясности, хотя бы въ ущербъ глубинѣ. Умы человѣческіе живутъ на разныхъ глубинахъ, и ставить силу ума въ прямую зависимость отъ его способности жить непремѣнно на большой глубинѣ было бы несправедливо: силенъ тотъ умъ, который въ своей полосѣ обращенія видитъ и понимаетъ все отчетливо и ясно. Чернышевскій искалъ такого яснаго знанія и пониманія. Фейербахъ и родственныя ему философскія ученія на Западѣ пришли Чернышевскому на помощь, и въ началѣ пятидесятыхъ годовъ онъ былъ уже ихъ сторонникомъ, адептомъ новаго философскаго ученія, которое, какъ ему казалось, не нуждается въ провѣркѣ, а лишь въ примѣненіи къ возможно большему количеству явленій жизни и духа.

Рядомъ съ этой эволюціей философской мысли отъ идеалистическаго міропониманія къ матеріалистическому, шло быстрое развитіе общественной мысли Чернышевскаго отъ ходячаго гуманнаго либерализма въ направленіи къ соціализму. Съ системами соціальныхъ утопій онъ былъ знакомъ еще въ концѣ сороковыхъ годовъ. Ему было ясно, что соціалистическій идеалъ есть та конечная цѣль, къ которой должно стремиться общественное и политическое развитіе человѣческаго общежитія. Къ вопросамъ, касающимся непосредственно политики дня, Чернышевскій относился съ достаточнымъ хладнокровіемъ, прежде всего уже потому, что въ концѣ сороковыхъ годовъ, когда соціализмъ сталъ его вѣрой, онъ не могъ себѣ и представить, какъ въ русскомъ обществѣ политическія тенденціи вообще могли бы послѣдовательно и правильно развиваться. Не задумываясь надъ политикой дня, Чернышевскій ушелъ весь въ созерцаніе заманчиваго идеала и въ мечты о своемъ служеніи ему

„Мнѣ кажется,—записалъ онъ въ дневникѣ 1848-го года,—что я сталъ по убѣжденіямъ въ конечной цѣли человѣчества рѣшительно партизаномъ соціалистовъ и коммунистовъ и крайнихъ республиканцевъ, монтаньяровъ... Противники соціалистовъ ничего не понимаютъ и клевещутъ на нихъ!“[10]

Требовать ясности въ начертаніи соціалистическаго идеала и подробностей въ обрисовкѣ деталей грядущаго строя—мы отъ Чернышевскаго тѣхъ годовъ, конечно, не станемъ. Увлеченіе соціализмомъ было для него столько же дѣломъ ума, сколько и сердца; оно было плодомъ мысли и фантазіи, которыя рвались впередъ и не имѣли пока времени устояться. Въ данномъ случаѣ знаменателенъ самый фактъ его обращенія. Соціализмъ нашелъ себѣ въ Чернышевскомъ перваго по времени адепта въ Россіи. То, что смутно чуялось Бѣлинскимъ, о чемъ молчали другіе западники сороковыхъ годовъ, о чемъ съ такой скорбью и съ такими колебаніями въ настроеніи думалъ за предѣлами Россіи Герценъ и къ чему только подходили друзья Петрашевскаго—все это для Чернышевскаго стало вдругъ символомъ новой нравственно-соціальной вѣры, ясной, краснорѣчивой, бодрой, смѣлой и нетребующей доказательствъ. И насколько эта вѣра была сильна въ немъ въ тѣ годы—можно судить по тѣмъ горделивымъ мыслямъ, которыя его искушали, когда онъ думалъ надъ своимъ служеніемъ облюбованному имъ идеалу.

„Если писать откровенно о томъ, что я думаю о себѣ, признавался Чернышевскій—не знаю, вѣдь это странно, мнѣ кажется, что мнѣ суждено, можетъ быть, двинуть впередъ человѣчество по дорогѣ нѣсколько новой... Пришло Россіи время дѣйствовать на умственномъ поприщѣ, какъ дѣйствовали раньше ея Франція, Германія, Англія, Италія. Я думаю, что нахожу въ себѣ нѣкоторыя новыя начала, которыхъ не вижу ясно развитыми и сознательно высказанными въ теперешней наукѣ и теперешнемъ взглядѣ на міръ. Они теперь стоятъ весьма неясно, а главное—еще не получили

твердость общепримѣнимости... Въ сущности я нисколько не подорожу жизнью для торжества своихъ убѣжденій, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтоженія нищеты и порока. Если бы только былъ убѣжденъ, что мои убѣжденія справедливы и восторжествуютъ, и если бы увѣренъ былъ, что восторжествуютъ они, то даже не пожалѣлъ бы, что не увижу дня торжества и царства ихъ. И сладко будетъ умереть, а не горько, если только буду въ этомъ убѣжденъ".

Чернышевскаго часто упрекали въ самомнѣніи, и если бы кто-нибудь могъ заглянуть въ его дневникъ, то, пожалуй, его упрекнули бы и въ маніи величія. Но надо помнить, что самомнѣніе не всегда порокъ, если за нимъ стоитъ сила ума и характера, а что касается маніи величія, то развѣ мы не найдемъ ея слѣдовъ у всѣхъ тѣхъ соціальныхъ реформаторовъ, которые, порвавъ съ прошлымъ и настоящимъ, жили одной лишь мечтой о будущемъ и вѣрили, что именно въ нихъ это будущее намекаетъ о себѣ настоящему?

Удовольствоваться вѣрой и мечтой Чернышевскій, однако, не могъ: этому мѣшало всегда въ немъ живое чувство дѣйствительности. Не подумать о томъ, какъ идеалъ сочетать съ жизнью—значило подавить въ себѣ это чувство. И есть прямыя указанія на то, что Чернышевскій еще въ сороковыхъ годахъ думалъ не только о проповѣди новаго ученія, но и о средствахъ его проведенія въ жизнь. Эти тайныя мысли Чернышевскаго дошли до насъ частью въ видѣ намековъ, частью какъ наскоро принятыя рѣшенія.

Не задумываясь надъ необходимостью постепеннаго перехода отъ положенія отрицаемаго къ положенію желаемому, Чернышевскій какъ будто вѣрилъ въ возможность соціально-революціоннаго переворота въ Россіи. „[Меня занимаетъ]— писалъ онъ въ дневникѣ 1850-го года—ожиданіе близкой революціи и моя надежда на нее, хотя я и знаю, что долго, долго, можетъ быть, весьма долго изъ этого ничего не выйдетъ, такъ что можетъ быть надолго только увеличатся угне-

тенія... Что нужды! — человѣкъ, не ослѣпленный идеализаціей, умѣетъ судить о будущемъ по прошедшему, и благословляющій извѣстныя дикости прошедшаго, несмотря на все зло, какое сначала принесли онѣ, не можетъ устрашиться этого. Пусть будутъ со мною конвульсіи—я знаю, что безъ конвульсій нѣтъ никогда ни одного шага впередъ въ исторіи. Глупо думать, что человѣчество можетъ идти прямо и ровно, когда этого до сихъ поръ никогда не было. Оно идетъ какъ человѣкъ: путь и человѣка, и человѣчества идетъ зигзагами".[12] Еще нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, какъ были написаны эти строки, Чернышевскій занесъ въ свой дневникъ такой возгласъ: „страшно, какой я сталъ человѣкъ крайней партіи!"[13]

Записи эти, конечно, не опредѣляютъ работы мысли Чернышевскаго надъ столь сложнымъ вопросомъ, какъ возможность революціоннаго переворота въ Россіи. Мало ли какія мимолетныя мысли могли приходить ему въ голову,—по нимъ нельзя судить о какомъ-нибудь установленномъ рѣшеніи вопроса; онѣ скорѣе говорятъ о тѣхъ чувствахъ, какія охватили молодого мечтателя. Но одно такое допущеніе возможности революціонной развязки въ Россіи—весьма знаменательно для характеристики Чернышевскаго. Много ли было тогда [1848—50] людей, которые, какъ онъ, были увѣрены, что революція близится и готовы были для нея на всякую жертву? Среди тѣхъ не многихъ [если таковые существовали] Чернышевскій былъ наиболѣе порывистымъ и чуткимъ — судя опять-таки по нѣкоторымъ личнымъ признаніямъ, которыя онъ дѣлалъ въ интимной бесѣдѣ съ самимъ собою. Оказывается ему приходили иногда въ голову очень рѣшительныя мысли. Въ дневникѣ 1850-го года онъ записалъ: „думалъ о тайномъ печатномъ станкѣ. Если доживетъ теперешнее положеніе общества до того времени, когда я буду жить въ отдѣльной квартирѣ !) и будетъ у меня нѣсколько денегъ, то едва ли я не буду исполнять своихъ плановъ, которые, между прочимъ, были и такіе: если напечатать манифестъ, въ го-

торомъ провозгласить свободу крестьянъ, освобожденіе отъ рекрутчины, [сбавку вполовину налоговъ — сейчасъ вздумалъ] и т. д. и разослать его всѣмъ консисторіямъ и т. д. въ пакетахъ отъ св. синода и велѣть тотчасъ исполнить, не объявляя никому до времени исполненія и не смущаясь противорѣчіемъ, и объяснить, что въ газетахъ явится — въ тѣхъ, которыя будутъ напечатаны въ день по отправкѣ почты,—чтобы дворяне не подняли бунта здѣсь преждевременно, когда народъ еще не успѣлъ узнать... Потомъ придумалъ, что должно послать и губернаторамъ; потомъ придумалъ, что должно не посылать его въ самыя ближайшія губерніи къ Петербургу, потому что если такъ, то можно, получивши оттуда донесенія, послать курьеровъ, которые догонятъ почту въ дальнихъ губерніяхъ до пріѣзда ихъ туда въ назначенное мѣсто... Пробудилась и та мысль, что ложь, во всякомъ случаѣ, приноситъ всегда вредъ въ окончательномъ результатѣ, поэтому не лучше ли... просто демагогическимъ языкомъ описать положеніе... Теперь подумалъ: да, конечно, ложь здѣсь принесетъ вредъ, а не пользу, такъ что убьетъ довѣріе народа къ воззваніямъ его приверженцевъ въ послѣдующемъ времени".[14]

Эта запись, какъ и предыдущія, не уполномочиваетъ насъ ни на какія опредѣленные выводы, но нельзя не замѣтить сходства предложенной Чернышевскимъ тактики съ тѣми пріемами революціонной пропаганды, какіе практиковались впослѣдствіи. О революціонныхъ выступленіяхъ самого Чернышевскаго намъ ничего не извѣстно; на нихъ нѣтъ прямыхъ указаній даже въ его судебномъ дѣлѣ. Но замыслы, подобные вышеизложенному, не теряютъ своего значенія: они проливаютъ большой свѣтъ на психику писателя и показываютъ, что еще въ молодые годы, среди старой дореформенной обстановки, онъ испытывалъ наплывы настоящаго революціоннаго чувства, которое подбивало его на очень смѣлые шаги. Этихъ шаговъ онъ пока еще не дѣлалъ, но иногда они ему представлялись съ такой,

ясностью, что онъ начиналъ бояться за себя. Въ 1852-мъ году ему вдругъ показалось, что онъ не можетъ жениться ужъ по одному тому, что не знаетъ, сколько времени пробудетъ на свободѣ. „Меня каждый день могутъ взять—писалъ онъ въ дневникѣ,[15] —какая будетъ тутъ моя роль? У меня ничего не найдутъ, но подозрѣнія противъ меня будутъ весьма сильныя. Что же я буду дѣлать? Сначала я буду молчать и молчать. Но, наконецъ, когда ко мнѣ будутъ приставать долго, это мнѣ надоѣстъ, и я выскажу свои мнѣнія прямо и рѣзко. И тогда я едва ли уже выйду изъ крѣпости". „Мнѣ должно жениться, чтобы стать осторожнѣе,—писалъ онъ въ другомъ мѣстѣ дневника,[16] —потому что если я буду продолжать такъ, какъ началъ, я могу попасться въ самомъ дѣлѣ. У меня должна быть идея, что я не принадлежу себѣ, что я не въ правѣ рисковать собою. Иначе, почемъ знать? Развѣ я не рискую? Должна быть защита противъ демократическаго, противъ революціоннаго направленія и этою защитою ничто не можетъ быть, кромѣ мысли о женѣ".

Опасенія ареста высказаны и въ „Прологѣ".[17] Очевидно, что соблазны революціоннаго темперамента были сильны и настойчивы.

Наличность такого темперамента была внѣ сомнѣнія. Онъ могъ повышаться и понижаться, могъ толкать на поступки или не толкать на нихъ,—но въ психикѣ русскаго интеллигента конца сороковыхъ годовъ онъ былъ явленіемъ новымъ,—новымъ не самъ по себѣ, такъ какъ такіе темпераменты встрѣчались и раньше, но новымъ въ союзѣ съ широкой демократической и, въ особенности, соціалистической программой.

## VI.

Да и все въ Чернышевскомъ было новое: съ нимъ вступалъ въ нашу жизнь совсѣмъ особый типъ общественнаго дѣятеля, типъ, который сталъ прообразомъ для всей разн-

кальной группы подроставшаго молодого поколѣнія. Новая доктрина философская, новое пониманіе историческаго процесса, новая оцѣнка общественныхъ условій русской жизни и ея запросовъ, наконецъ, совсѣмъ необычный по тѣмъ временамъ политическій темпераментъ отдѣляли этого человѣка рѣзко отъ его предшественниковъ и современниковъ и дѣлали его въ полномъ смыслѣ слова человѣкомъ будущаго

И этому человѣку будущаго надлежало найти себѣ мѣсто въ настоящемъ. Задача была не изъ легкихъ. Одно время Чернышевскій думалъ стать ученымъ и потратилъ немало труда на то, чтобы выработать изъ себя филолога. Онъ, вѣроятно, успѣлъ бы въ этомъ и былъ бы хорошимъ профессоромъ словесности, если бы его планы не потерпѣли на первыхъ же порахъ неудачи. Министерство, вопреки рѣшенію факультета, не пожелало дать ему степени магистра. Чѣмъ начальство въ данномъ случаѣ руководилось — трудно сказать. Ученая карьера была сломана—и приходилось выбирать иную или, вѣрнѣе, оставаться при старой работѣ, т. е. журнальной, при которой Чернышевскій состоялъ со времени своего окончательнаго переѣзда въ Петербургъ въ 1853-мъ году.

Журнальная работа была, конечно, самой подходящей, при образѣ его мыслей и при его умственныхъ потребностяхъ.

Въ „Современникѣ", въ которомъ онъ работалъ, онъ несъ на первыхъ порахъ обязанности присяжнаго критика, обозрѣвателя очередныхъ литературныхъ и научныхъ новинокъ. Но какъ литературный критикъ Чернышевскій былъ тяжелъ, и самъ это чувствовалъ. Его критическія статьи разростались въ цѣлые трактаты, даже въ цѣлыя книги, и онъ замѣтно скучалъ, если затронутый вопросъ былъ несложенъ и если нужно было съ читателемъ говорить какъ съ ученикомъ, а не какъ съ собесѣдникомъ. Человѣкъ съ его знаніями и въ особенности съ его замыслами не могъ помириться съ ролью учителя словесности или, въ лучшемъ случаѣ, учителя обиходной гражданской морали — сколь бы

нужнымъ ему такое дѣло ни представлялось. По мѣрѣ того какъ закипала новая жизнь, въ ожиданіи новыхъ порядковъ, въ Чернышевскомъ росло нетерпѣніе помочь ей себя осмыслить. Нужно было спѣшить и сразу приступить къ работѣ на многихъ пунктахъ. Надо было скорѣе обнародовать тотъ сводъ всяческихъ знаній, который могъ бы служить настольной книгой для новаго читателя. Надо было торопиться и воспитать, и обучить этого нетерпѣливаго читателя.

Добролюбовъ во-время пришелъ Чернышевскому на помощь: Чернышевскій сразу разгадалъ въ немъ воспитателя по призванію. Ему предоставилъ онъ воспитывать въ читателяхъ „Современника" гражданское чувство, а за собой оставилъ руководящую роль въ дѣлѣ ихъ образованія.

Раздѣленіе властей въ передовомъ журналѣ состоялось съ 1857-го года и держалось до 1861-го года, когда Добролюбовъ умеръ. Къ 1861 году и въ дѣятельности Чернышевскаго произошла перемѣна: до сей поры человѣкъ исключительно кабинетный, публицистъ и литераторъ, онъ разрѣшилъ себѣ болѣе активное вмѣшательство въ судьбы своей доктрины. Есть нѣкоторое основаніе думать, что съ 1861 года его участіе въ революціонномъ движеніи стало болѣе интенсивно. Высказавъ все, что онъ имѣлъ сказать по вопросамъ общаго и частнаго характера, зная, что меньше ему уже высказаться не придется, онъ отъ тактики гласной пропаганды сталъ переходить къ иной тактикѣ, о которой, за недостаткомъ прямыхъ указаній, можно только догадываться...

Какъ такой таинственный агитаторъ, онъ принадлежитъ инымъ годамъ, чѣмъ тѣ, о которыхъ идетъ рѣчь.

Въ шесть лѣтъ [1855—1861] относительно спокойной литературной и научной работы Чернышевскимъ была воздвигнута та широко раскинутая крѣпость, въ которой всѣ союзники находили готовый и богатый арсеналъ всевозможныхъ знаній и, какъ имъ казалось, несокрушимые залоги

Не враги, а время ее разрушило.

---

# Н. Г. Чернышевскій и новая вѣра въ философскомъ одѣяніи

Постановка философскихъ вопросовъ при рѣшеніи практическихъ задачъ. — Матеріализмъ, какъ этапъ нашего духовнаго развитія. — Чернышевскій и западная философская мысль. — Фейербахъ и его слава. — Культъ Фейербаха. — Религія человѣчества, идущая на смѣну прежней вѣры. — Философскій матеріализмъ и повышеніе стоимости всего «матеріальнаго» въ жизни. — Попытка построить мораль на принципѣ «разумнаго эгоизма». — Новая эстетика, какъ прославленіе человѣка. — Символъ новой вѣры и основы оптимизма.

## I.

Въ выработкѣ связнаго міросозерцанія, объединяющаго въ болѣе или менѣе цѣльной системѣ разрозненныя сужденія и знанія, люди не всегда руководятся исключительно теоретическими соображеніями. Въ большинствѣ случаевъ такая связность и цѣльность въ міропониманіи бываетъ имъ нужна для цѣлей практическихъ. Осмыслить жизнь, чтобы знать, какъ въ ней дѣйствовать, — вотъ то первичное желаніе, которое чаще всего побуждаетъ человѣка восходить на отвлеченныя высоты, если вообще такое восхожденіе ему по силамъ. Мыслители чистой крови попадаются очень рѣдко.

У насъ въ Россіи часто наблюдалось тяготѣніе къ философской постановкѣ вопросовъ среди общественныхъ группъ, ставившихъ себѣ преимущественно и даже исключи-

тельно практическія цѣли. Это стремленіе было сильно еще въ дореформенное время, когда и западники, и славянофилы спускались въ глубины нѣмецкаго философскаго идеализма, чтобы извлечь изъ нихъ цѣнный металлъ для чеканки русской обиходной монеты. Но люди сороковыхъ годовъ, какъ практики жизни, были людьми со скромными желаніями и, подготовляя себя къ „дѣлу“, къ „служенію родинѣ“, продолжали учиться съ такимъ рвеніемъ и такъ добросовѣстно, что не хотѣли кончать школы и откладывали полученіе аттестата философской зрѣлости съ года на годъ. Они, впрочемъ, ясно сознавали, что, все равно, жизнь, какой она была въ дореформенное время, не станетъ считаться съ ихъ притязаніями на рѣшеніе практическихъ вопросовъ.

Съ шестидесятыхъ годовъ картина мѣняется. Стремленіе къ практической работѣ на нивѣ жизни растетъ необычайно быстро; растетъ и желаніе какъ можно скорѣй пройти философскую подготовительную школу. Засиживаться надъ книгой слишкомъ долго — нѣтъ времени; жизнь зоветъ на работу. Вплоть до нашихъ дней идетъ такая спѣшная философская работа, такое возведеніе философскихъ лѣсовъ вокругъ строющагося зданія общественной жизни. Въ шестидесятыхъ годахъ молодое поколѣніе увлечено философіей матеріализма; въ семидесятыхъ оно ищетъ себѣ поддержки въ міропониманіи позитивномъ; начиная съ девяностыхъ его увлекаетъ экономическій матеріализмъ; наконецъ, въ наши дни оно опять переноситъ свои симпатіи на философскій идеализмъ и на вопросы религіозные и эстетическіе. Всѣ эти теченія отвлеченной мысли идутъ параллельно съ очень интенсивной общественной работой, которая чаще всего перевѣшиваетъ въ людяхъ интересъ къ теоріи, а иногда, какъ, напр., въ годы „марксизма“ или въ наше время, идетъ съ нею вровень.

Въ шестидесятыхъ годахъ интересъ молодого поколѣнія между теоріей и практикой былъ подѣленъ неравномѣрно. Общественные вопросы стояли несомнѣнно на первомъ планѣ.

и лишь вдали виднѣлось ихъ философское прикрытіе. Людей того времени нерѣдко обвиняли въ слишкомъ поспѣшномъ возведеніи такого прикрытія. Несомнѣнно, что среди тогдашней радикальной молодежи было очень много лицъ, которыя, называя себя послѣдователями новой философіи, людьми новой мысли, успѣли схватить налету лишь отрывки или конечные выводы новыхъ ученій и не давали себѣ труда надъ этими выводами подумать. Они цѣплялись за нихъ и торопились скорѣе примѣнить ихъ къ тому или другому „дѣлу". Но вѣдь во всякой борьбѣ нужны рядовые, которые вѣрили бы въ вождей и не критиковали бы ихъ словъ и поступковъ. Такая армія послушныхъ была въ шестидесятыхъ годахъ довольно многочисленна — и съ тѣхъ поръ она не уменьшалась, хотя мѣнялись и вожди, и лозунги.

Чернышевскій былъ обвиненъ въ томъ, что онъ насаждаетъ ученіе завѣдомо ложное, не выдерживающее въ своей теоретической части никакой философской критики; обвиняли его также и въ томъ, что онъ самъ, подобно своимъ послѣдователямъ, погнался за послѣдними словами западной мысли, былъ неподготовленъ къ ея усвоенію, былъ вообще къ философскому мышленію мало склоненъ и мало въ этой области свѣдущъ.

Спорить съ Чернышевскимъ въ настоящее время по существу было бы наивно. Взгляды, которые онъ проводилъ въ русское самосознаніе, принадлежали не ему; онъ былъ среди насъ первымъ проводникомъ западнаго матеріализма, и его ученіе должно было раздѣлить судьбу той системы, изъ которой вытекло. Какъ всѣ философскія системы, и эта имѣла свои годы цвѣтенія и свои годы упадка, такъ какъ нѣтъ такого философскаго фундамента, который выдержалъ бы постоянно увеличивающуюся тяжесть накопляемыхъ человѣкомъ знаній. Но историческій фактъ довольно долгой власти матеріализма надъ русскими молодыми умами признать надо; спорить же по существу объ основныхъ началахъ, на которыхъ это ученіе строило свое зданіе, врядъ ли

нужно. Не станемъ же мы, оцѣнивая, напр., историческое значеніе славянофильства, рѣшать вопросъ о бытіи Божіемъ или о Божіемъ предопредѣленіи — двухъ проблемахъ, которыя были для этихъ вѣрующихъ людей аксіомами. Имѣлъ свои аксіомы и Чернышевскій. Онѣ рождали убѣжденія, создавали характеры, толкали людей на поступки; онѣ одно время были общественной силой, и съ ними надо считаться, какъ бы въ концѣ концовъ шатки ни оказались тѣ разсужденія общаго характера, изъ которыхъ Чернышевскій выводилъ эти аксіомы. Чернышевскій подлежитъ лишь упреку въ томъ, что онъ не уберегъ свой умъ отъ искушенія, а сердце отъ увлеченія, т. е. что онъ раздѣлилъ участь всѣхъ людей, когда-либо во что-либо вѣровавшихъ. Упрекъ въ томъ, что онъ былъ недостаточно подготовленъ къ роли проповѣдника новой истины — удержанъ быть не можетъ. Чернышевскій съ юныхъ лѣтъ былъ хорошо освѣдомленъ въ философскихъ вопросахъ.

Еще на студенческой скамьѣ онъ изучалъ Гегеля,[18] съ которымъ впервые ознакомился въ Саратовѣ; онъ тогда читалъ его усердно, безъ предвзятаго недовѣрія,[19] съ какимъ позднѣе сталъ относится къ „метафизикѣ",[20] когда видѣлъ въ ней лишь остатки „фантастическаго" міросозерцанія.[21] Онъ готовъ былъ пропагандировать Гегеля путемъ переводовъ,[22] онъ вѣрно и безпристрастно оцѣнилъ культурное значеніе нѣмецкаго идеализма въ нашемъ недавнемъ прошломъ,[23] онъ признавалъ возможнымъ сочетаніе его съ современнымъ демократическимъ направленіемъ общественной и политической мысли, какъ у Прудона;[24] иногда, при случаѣ, какъ, напр., при оборонѣ крестьянской общины, не прочь былъ вспомнить о діалектикѣ Гегеля.[25] Эта метафизическая стадія развитія ума Чернышевскаго не должна быть забываема: среди всѣхъ „новыхъ" людей своего времени онъ и П. Л. Лавровъ были первыми и довольно долгое время единственными людьми, которые могли не съ чужихъ словъ вести разговоръ на философскую тему. Чернышевскій

сознательно прошелъ этапъ философскаго идеализма, но на немъ не остановился и, двигаясь вслѣдъ за лѣвымъ флангомъ гегельянства, скоро очутился въ рядахъ исповѣдниковъ новой вѣры, вѣры Фейербаха, именно — *вѣры*, такъ какъ и этотъ Лютеръ II, какъ Фейербахъ называлъ себя, имѣлъ, при всемъ своемъ скептицизмѣ и своей всепроницающей логикѣ, объектъ слѣпого поклоненія, имѣлъ свое божество, которому строилъ храмъ изъ развалинъ разрушеннаго имъ иного храма.

## II.

На ученіи Фейербаха Чернышевскій остановился, такъ какъ ему вдругъ почуялась твердая земля подъ ногами. Все, что Чернышевскій успѣлъ написать по философскимъ вопросамъ, было либо популяризаціей словъ учителя, либо попыткой приложить ихъ къ вопросамъ, на которыхъ учитель не остановился. Тюрьма и ссылка прервали работу философской мысли Чернышевскаго, и онъ такъ до конца дней своихъ и остался „фейербахистомъ"—въ восьмидесятыхъ годахъ [когда онъ умеръ], быть можетъ, единственнымъ въ Россіи. Впрочемъ, если бы даже судьба пощадила Чернышевскаго, врядъ ли бы онъ могъ отдать много времени на переработку своего философскаго міропониманія. Какъ только ученіе Фейербаха дало ему ощущеніе твердой опоры, онъ всѣ свои интересы направилъ на вопросы историческіе, соціологическіе и иные, съ русской жизнью тѣсно связанные. Установивъ разъ навсегда прочный, какъ ему казалось, философскій фундаментъ, онъ уже не расширялъ его и не углублялъ, а продолжалъ на немъ строить. На вопросы высшаго порядка онъ — такъ ему думалось — получилъ отвѣты, и онъ быстро сталъ отходить отъ этихъ вопросовъ и слушателей своихъ не желалъ долго на нихъ задерживать. Такая спѣшка въ установленіи основныхъ началъ и такое нежеланіе ихъ пересматривать вытекали не изъ невниманія Чернышевскаго

къ нимъ, а изъ глубокой убѣжденности въ томъ, что вѣрное рѣшеніе ихъ найдено и никакого иного и быть не можетъ.

Необычайно увѣренный и радостный тонъ слышится во всѣхъ тѣхъ немногихъ словахъ, въ которыхъ Чернышевскому удавалось говорить о Фейербахѣ, не называя его по имени. „Теперь въ первый разъ нѣмецкая философія достигла положительныхъ рѣшеній,—писалъ онъ.[26] Теперь она сбросила прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признавъ тожество своихъ результатовъ съ ученіемъ естественныхъ наукъ, слилась съ общей теоріею естествовѣдѣнія и антропологіею; только теперь философія получила содержаніе и основалась на строгомъ анализѣ фактовъ; односторонность науки исчезла, а содержаніе уяснено относительно всѣхъ ея существенныхъ задачъ; получены довольно точныя рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ жизни; теперь матеріальная сторона жизни не можетъ быть признана „призрачной"; споръ между духомъ и тѣломъ законченъ: они примирены.[27] Какъ бы медленно ни распространялась между людьми убѣжденность въ истинахъ отъ нынѣшней малой приготовленности людей любить истину, т. е. цѣнить пользу ея и сознавать непремѣнную вредность всякой лжи—истина все-таки распространяется между людьми, потому что, какъ ни думай они о ней, какъ ни бойся они ея, какъ ни люби они ложь, все-таки истина соотвѣтствуетъ ихъ надобностямъ, а ложь оказывается неудовлетворительной; что нужно для людей, то будетъ принято людьми. Не уйдетъ человѣкъ отъ истины.[28] Теорія, которую я считаю справедливой, составляетъ самое послѣднее звено въ рядѣ философскихъ системъ; возьмите какую хотите исторію новѣйшей философіи—въ каждой такой книгѣ вы найдете подтвержденіе моимъ словамъ. По одному историку теорія эта справедлива, по другому несправедлива; но всѣ они единодушно говорятъ, что эта теорія дѣйствительно послѣдняя, вышедшая изъ гегелевой, точно такъ же какъ гегелева вышла изъ шеллинговой. Можно и осуждать меня за то, что я признаю пре-

грессъ въ наукѣ и нахожу послѣднее слово ея самымъ полнымъ и справедливымъ? Это какъ вамъ угодно. Быть можетъ, по вашему, старое лучше новаго. Но допустите же возможность думать иначе".[29]

Философъ по призванію вѣроятно счелъ бы рискованнымъ ссылаться въ доказательство истинности философскаго тезиса на его новизну и на то, что онъ самый современный; но въ Чернышевскомъ философъ и историкъ были такъ тѣсно слиты и чувство дѣйствительности и современности было въ немъ такъ сильно, что абсолютная истина ему, какъ и самому Фейербаху, представлялась не иначе, какъ въ видѣ постепеннаго воплощенія въ послѣдовательныхъ историческихъ формахъ, изъ которыхъ каждая упраздняла предшествующую. Философскую истину, какъ думалъ Чернышевскій, надо искать не за предѣлами земли, не въ прошломъ, не въ грядущемъ, а вокругъ себя, въ обстановкѣ сложившагося историческаго момента. Чернышевскій неоднократно доказывалъ, что философское ученіе создавалось всегда подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ того общественнаго положенія, къ которому принадлежали мыслители, и что каждый философъ [Локкъ, Бентамъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель] бывалъ представителемъ какой-нибудь изъ политическихъ партій, боровшихся въ его время за преобладаніе надъ обществомъ. Чернышевскій говорилъ, что „всякій человѣкъ, достигшій какой-нибудь умственной самостоятельности имѣетъ политическія убѣжденія и что образъ мыслей философа не можетъ быть лишенъ смысла, какой есть въ образѣ мыслей каждаго изъ людей, просвѣщать которыхъ онъ берется".[30] Если общественное движеніе диктуетъ философской мысли ея содержаніе, то наоборотъ, и новая философія можетъ оказать большую поддержку общественности. „Придетъ такая пора, когда представители элементовъ, стремящихся теперь къ пересозданію жизни, будутъ являться непоколебимыми въ своихъ философскихъ воззрѣніяхъ, и это будетъ признакомъ скораго торжества новыхъ началъ и въ самой общественной

жизни".[31] Неудивительно, что Чернышевскій въ послѣднихъ словахъ жизни хотѣлъ видѣть ручательство истинности послѣднихъ словъ философской науки. Иногда это увлеченіе правотой историческаго момента было въ немъ такъ сильно, что, при всемъ своемъ уваженіи къ философской истинѣ, онъ ясно давалъ понять, что ея приложеніе къ тому или иному общественному вопросу ему дороже ея самой.

## III.

Выборъ такого руководителя, какъ Фейербахъ, и признаніе его авторитета безъ оговорокъ—рѣшеніе не сразу понятное со стороны столь независимаго и ко всякимъ авторитетамъ враждебно относящагося человѣка, какимъ былъ Чернышевскій. Если бы ученіе Фейербаха было, дѣйствительно, всеобъемлющимъ ученіемъ, системой, покрывавшей всѣ вопросы жизни и духа; если бы это ученіе приводило непосредственно къ радикализму въ вопросахъ морали личной и общественной; если бы оно имѣло политическую пристройку или надстройку, то увлеченіе Чернышевскаго было бы понятно. Но система Фейербаха [ее даже нельзя назвать системой, такъ она безсистемна] оставляла многіе для Чернышевскаго весьма существенные вопросы безъ отвѣта, и въ общественно-политическую жизнь не врѣзывалась.

Можно съ увѣренностью сказать, что вовсе не ходъ строгой логической мысли привелъ Чернышевскаго къ Фейербаху; не разгадки всѣхъ тайнъ міра искалъ онъ въ его ученіи; онъ полюбилъ Фейербаха не за глубину его ума только, даже не за широкій гуманизмъ въ этическихъ основоположеніяхъ его ученія, а за что-то иное, со строгой мыслью не совпадающее, за нѣчто даже мало убѣдительное, но необычайно сильное и привлекательное, противъ чего не могла тогда устоять *логика* Чернышевскаго, какъ и логика всѣхъ одинаково съ нимъ *настроенныхъ* людей.

Культъ Фейербаха былъ для Чернышевскаго и для его

единомышленниковъ поэтическимъ культомъ, съ оттѣнкомъ религіозности, и потому этотъ культъ могъ исключать критическое отношеніе къ авторитету. Дѣйствительно, не было ни одного даже мірового авторитета, ни одного философа, историка, поэта, котораго Чернышевскій не задѣлъ бы слегка или сильно какимъ-либо критическимъ замѣчаніемъ, и только одинъ Фейербахъ не слыхалъ съ его стороны никогда никакихъ возраженій. А для того, чтобы возразить Фейербаху, у Чернышевскаго всегда хватило бы силы... будь онъ свободенъ духомъ и не въ такой степени увлеченъ.

Это увлеченіе началось съ того момента, какъ Фейербахъ помогъ Чернышевскому въ одну изъ самыхъ критическихъ минутъ. Чернышевскій вступалъ въ жизнь вѣрующимъ христіаниномъ, и религіозныя традиціи семьи продолжали жить довольно долгое время въ его сердцѣ. „Рано, съ первыми проблесками сознанія пробудилось въ Чернышевскомъ религіозное чувство и таилось въ душѣ на всю жизнь. Религіозность была исходнымъ пунктомъ его восторженной вѣры въ мощь человѣческаго разума и любви къ человѣчеству; независимо отъ его позднѣйшаго отношенія къ внѣшней сторонѣ христіанскаго ученія, она теплилась въ немъ, какъ вдохновляющее настроеніе, какъ теплое чувство, подобное ровному, умиротворяющему свѣту лампады. Въ первый годъ студенчества, когда душа его не освободилась еще изъ-подъ власти семейныхъ традицій, эта религіозность искала внѣшнихъ формъ выраженія въ прилежномъ посѣщеніи церковныхъ службъ, служеніи молебновъ, для чего излюбленнымъ храмомъ былъ Казанскій соборъ".[32] Въ самомъ концѣ сороковыхъ годовъ эта вѣра начала колебаться и какъ разъ на это время падаетъ первое знакомство Чернышевскаго съ Фейербахомъ (съ февраля 1849 г.). Борьба вѣры съ сомнѣніемъ была, кажется, очень упорная.[33] Чернышевскій отступалъ отъ своихъ богословскихъ тезисовъ медленно: теоретически, какъ онъ самъ признается, онъ „скорѣе былъ склоненъ не вѣрить, но практически у

него недоставало твердости и рѣшительности разстаться съ прежними своими мыслями о бытіи Божіемъ, о безсмертіи души и т. д.". Но, наконецъ, пришлось уступить передъ логикой оппонента. Умъ пошелъ на уступки, такъ какъ вообще этотъ умъ къ богословію имѣлъ мало склонности, но сердце побѣждено не было; религіозное чувство, живое въ Чернышевскомъ, осталось нетронутымъ и только перемѣнило объектъ своего обожанія.

Разрушитель установившихся религіозныхъ понятій не всегда бываетъ атеистомъ самъ и не всегда создаетъ невѣрующихъ. Отрицатель нерѣдко расчищаетъ путь новой вѣрѣ, не менѣе цѣпкой, чѣмъ та, отъ которой онъ отрекся. Книга Фейербаха „О сущности христіанства" могла служить большимъ утѣшеніемъ для всѣхъ атеистовъ и скептиковъ, которымъ становилось тяжко отъ ихъ безвѣрія. Если взять самое зерно основной ея мысли, то трудно найти ученое сочиненіе, въ которомъ образъ человѣческій былъ бы такъ вознесенъ, такъ прославленъ, такъ „обожествленъ", какъ въ этой книгѣ, излагающей исторію творчества человѣка въ области религіозныхъ представленій. Строгій логикъ найдетъ въ книгѣ много на вѣру принятыхъ основныхъ положеній, которыя сами по себѣ неубѣдительны; историкъ религіи не согласится съ объясненіемъ, какое даетъ авторъ присущему всѣмъ людямъ тяготѣнію къ богопониманію и богосозерцанію; но поэтъ, хотя бы лишь поэтъ въ душѣ, будетъ плѣненъ этимъ трактатомъ, этимъ ученѣйшимъ изслѣдованіемъ, которое въ сущности есть поэтическая импровизація, красивая греза, поэма, но только не въ честь Бога, а въ честь человѣка—единственнаго реальнаго существа, въ которомъ силы, заключенныя въ природѣ, и силы, предполагаемыя внѣ ея, обрѣтаютъ свой смыслъ и красоту. Книга Фейербаха была одною изъ каноническихъ книгъ возникшей въ началѣ XIX-го вѣка особой „религіи человѣчества". Сущность этой новой вѣры заключалась въ поэтическомъ, а иногда и мистическомъ прославленіи умственной и нравственной силы человѣка и его побѣдоноснаго

шествія на землѣ отъ временъ варварства къ временамъ широчайшаго гуманизма и свободы. Въ ряду апостоловъ этой новой религіи были поэты, философы, историки и почти всѣ тѣ мечтатели-утописты, которые выступали съ проектами соціальнаго обновленія. Среди нихъ Фейербахъ выдѣлялся наибольшей научностью и наименьшей фантастичностью въ проповѣди самодержавія человѣка и его автономнаго положенія въ доступномъ нашему пониманію мировомъ порядкѣ.

Къ восприятію этой новой вѣры Чернышевскій былъ достаточно подготовленъ своимъ знакомствомъ съ соціальными системами утопистовъ, съ которыми онъ ознакомился еще до того, какъ книга Фейербаха попала ему въ руки. Въ этихъ системахъ была уже сдѣлана попытка замѣны господствовавшихъ религіозныхъ понятій и образовъ -новыми, съ возведеніемъ человѣчества на опустѣвшій Божій престолъ. Трезвый умъ Чернышевскаго врядъ ли могъ мириться съ фантастикой, которой было такъ много въ этихъ новыхъ ученіяхъ. Фейербахъ, конечно, былъ болѣе убѣдителенъ, когда цѣлымъ рядомъ научныхъ и философскихъ доводовъ доказывалъ, что ходячее ученіе извратило истинный порядокъ вещей, что всегда человѣкъ самъ для себя былъ богомъ и что человѣкопочитаніе есть и разумная, и истинная религія.

Фейербахъ пришелъ, такимъ образомъ, Чернышевскому на помощь въ очень критическую минуту его жизни. Традиціонныя религіозныя вѣрованія въ душѣ Чернышевскаго угасали, оставляя за собой ощущеніе пустоты. Шелъ споръ между слабѣющей вѣрой и сомнѣніемъ,—и нужна была совсѣмъ особая психическая организація, чтобы разъ навсегда успокоиться на сомнѣніи, остановиться на постановкѣ вопросовъ и не желать отвѣтовъ. Иногда кажется, что нѣтъ болѣе легкаго рѣшенія, какъ сказать: „не знаю" и пребывать въ невѣдѣніи; а между тѣмъ, чтобы остаться скептикомъ, нужна большая твердость духа, стойкая рѣшимость

перенести духовное одиночество, нуженъ также большой опытъ мысли, неоднократно терпѣвшей крушеніе въ своихъ схваткахъ съ тайнами. Могла ли въ молодомъ поколѣніи шестидесятыхъ годовъ, да и у самого Чернышевскаго, найтись такая душевная сила, которая вынесла бы на себѣ тяжесть отрицанія и скепсиса?

Въ нашемъ образованномъ обществѣ къ тому времени всякіе скептики давно исчезли; вѣрнѣе сказать, что они и не рождались, такъ какъ со скептиками екатерининскихъ временъ врядъ ли можно считаться, какъ съ настоящей умственной силой. Мы всегда были вѣрующими и большими идеалистами, и таковыми и до сего дня остались. Вѣровать во что-нибудь и вѣровать страстно—всегда было потребностью нашей души, какъ бы рѣшительно и поспѣшно мы иной разъ ни мѣняли самый предметъ нашей вѣры. Имѣла свою вѣру и та часть поколѣнія шестидесятыхъ годовъ, которую такъ часто упрекали въ безвѣріи. Условія, въ которыхъ это поколѣніе выростало, будь они самыя тяжелыя и полукультурныя въ провинціи или достаточно культурныя въ столицахъ, давали людямъ цѣлый сводъ готовыхъ вѣрованій, отъ религіозныхъ до обыденно житейскихъ. Въ какомъ бы радикальномъ направленіи ни двигалась мысль иныхъ, и какъ бы они ни были раздражены на эти традиціонныя вѣрованія, все-таки отъ потребности укрѣпить свою душу вѣрой никто не могъ отказаться: ни тотъ, кто наивно смотрѣлъ на жизнь, ни тотъ, кто прошелъ болѣе или менѣе правильную философскую или хотя бы литературную школу. Когда унаслѣдованныя отъ отцовъ религіозныя догмы поколебались въ умахъ и сердцахъ многихъ, нужно было заполнить эту убыль души, и заполнить скорѣе. Рѣзкость и безпощадность, съ какой люди начали относиться къ тогдашнимъ вѣрованіямъ, говорили не столько объ умственной смѣлости, сколько о душевномъ голодѣ; и ничто такъ не притягивало людей другъ къ другу какъ ихъ новая вѣра; и крѣ-

ность союза радикальной группы во многомъ объясняется ея единовѣріемъ.

Основная религіозная мысль Фейербаха, воспринятая Чернышевскимъ и пущенная имъ въ оборотъ, стала для извѣстной части нашего общества аксіомой и своимъ поэтическимъ содержаніемъ сразу насытила сердца людей, потерявшихъ Бога, въ котораго они не такъ давно вѣрили, и тоскующихъ въ своемъ призрачномъ безвѣріи. Укрѣпленію этой новой вѣры не мало способствовало и то обстоятельство, что о культѣ человѣка и человѣчества говорить открыто и гласно было невозможно. Ученіе Фейербаха находилось подъ запретомъ и имѣло за собой всѣ преимущества „тайнаго" ученія. Оно подкупало одной этой тайной, и преслѣдованіе его со стороны оффиціальной религіи въ глазахъ многихъ было ручательствомъ за его истинность. Такъ какъ всѣ догмы этого новаго ученія были достаточно туманны и не могли быть разъяснены во всеуслышаніе, то за ними и оставалась та поэтичная привлекательность, которая всегда подготовляетъ сердца къ воспріятію новой святыни.

Итакъ, эта святыня была, наконецъ, найдена: она выражалась въ двухъ словахъ: „человѣкъ и человѣчество". Объектомъ почитанія долженъ стать просвѣтленный образъ человѣка, который какъ отдѣльная личность можетъ быть несовершененъ, но какъ представитель цѣлаго рода есть божество, единственное божество, съ которымъ мы можемъ вступить въ тѣсное и прямое общеніе. Всякое иное богопочитаніе только отвлечетъ насъ отъ истиннаго служенія „человѣчеству", жизнь котораго на землѣ есть великое священнодѣйствіе, великое шествіе хозяина земли отъ несовершеннаго состоянія къ состоянію совершенному. Всѣ тѣ эпитеты и атрибуты, которыми мы обыкновенно украшаемъ понятіе о Богѣ -не что иное, какъ наша затаенная мысль о томъ, чтобы эти атрибуты стали достояніемъ нашимъ, достояніемъ человѣчества. Пусть мы не достигнемъ такого совершенства, но пусть мысль о немъ не

будетъ отдѣлена отъ земли и сопутствуетъ намъ въ нашей работѣ надъ улучшеніемъ земной жизни. Человѣкъ живетъ для человѣка и выше человѣка ничего въ мірѣ не знаетъ.

## IV.

Такова была поэтическая греза, получившая очень быстро оттѣнокъ религіозности для тѣхъ, кого переставали удовлетворять прежнія формы религіозныхъ представленій. Но для „новыхъ" людей того времени то, что не было доказано, имѣло мало убѣдительности. Надо было эту новую вѣру какъ-нибудь привести въ связь съ наукой; ей нужно было опереться на философское міросозерцаніе болѣе или менѣе цѣльное, чтобы укрѣпиться не только въ мечтахъ, но и въ умѣ своихъ адептовъ.

Чернышевскій приступилъ къ выработкѣ такого міросозерцанія еще задолго до того, какъ сталъ вождемъ общественнаго движенія, и въ руководители избралъ того же Фейербаха. Нельзя сказать, чтобы въ данномъ случаѣ выборъ былъ удаченъ. Фейербахъ оставлялъ въ сторонѣ многія области философскаго мышленія, да и самъ не имѣлъ вѣры въ возможность отысканія какой-нибудь абсолютной истины. Она представлялась ему въ вѣчномъ движеніи, и для него сегодняшній день упразднялъ всю философскую работу дня вчерашняго. Онъ былъ силенъ не какъ строитель, а какъ отрицатель. И вотъ на этомъ-то отрицаніи Чернышевскій и рѣшилъ построить цѣлый рядъ утвержденій. Будь Чернышевскій философъ по призванію, онъ, вѣроятно, не успокоился бы такъ скоро на „антропологіи" Фейербаха, которую онъ считалъ послѣднимъ и, главное, рѣшающимъ словомъ философской науки. Но Чернышевскій не гнался за полнотой и стройностью философскихъ выкладокъ. Опять, какъ при рѣшеніи религіозной проблемы, его захватилъ и плѣнилъ красивый и сильный образъ, мелькнувшій ему на страницахъ

новыхъ философскихъ трактатовъ и сочиненій по естественнымъ наукамъ, которыя все болѣе и болѣе съ этого времени начинали интересовать его.

Оригинальной схематичности и связности въ философскомъ міросозерцаніи Чернышевскаго не было; цѣлыя области философскаго знанія остались мало освѣщенными и не разработанными [какъ напр., теорія познаванія], но направленіе основной мысли опредѣлилось достаточно ясно. Чернышевскій признавалъ единый принципъ бытія, былъ несомнѣннымъ сторонникомъ философіи матеріализма; въ вопросахъ гносеологическихъ былъ сенсуалистомъ, въ вопросахъ этическихъ утилитаристомъ и понималъ самый процессъ бытія какъ эволюцію. Къ этимъ самымъ общимъ положеніямъ врядъ ли что можно добавить, такъ какъ Чернышевскій лишь разъяснялъ ихъ при случаѣ, и то въ немногихъ словахъ, а въ разработку ихъ или даже въ защиту не пускался, и если хотѣлъ защитить ихъ, то нападалъ на враждебныя имъ мнѣнія: на дуализмъ въ пониманіи природы человѣка, на метафизическій идеализмъ въ установленіи основного принципа бытія, на абсолютное въ этическихъ нормахъ. Но и въ нападкахъ своихъ Чернышевскій былъ очень скупъ на слова и всегда чувствовалось, что спорить ему не хотѣлось или недосугъ. Онъ поступалъ такъ, какъ поступаютъ люди, обрадовавшіеся тому, что они наконецъ завладѣли истиной, и не желающіе тратить времени на пересмотръ того, что по ихъ мнѣнію въ пересмотрѣ не нуждается. Вмѣсто философскаго разсужденія, Чернышевскій давалъ ссылки на Фейербаха, который въ своей „антропологіи" сочеталъ всѣ основные принципы и выводы матеріализма, также предпочитая аподиктическій способъ въ ихъ изложеніи.

Въ статьѣ „Антропологическій принципъ въ философіи" [1860] Чернышевскій опубликовалъ итоги своихъ философскихъ симпатій и антипатій. Статья вызвала суровую полемику со стороны людей, которые въ Чернышевскомъ хотѣли видѣть

занчивого философа и совсѣмъ не знали тѣхъ внутреннихъ мотивовъ — мотивовъ психологическихъ и по преимуществу общественныхъ, — которые заставили автора этой статьи такъ категорически высказаться въ пользу матеріализма, принятаго на вѣру и защищаемаго одними лишь утвержденіями, почти безъ прикрытія философской аргументаціи.

Очень характерны слова, которыми эта знаменитая статья кончалась. Они относились не къ метафизикѣ матеріализма, а къ этической части ученія, и въ нихъ очень ясно вскрывается затаенная мысль Чернышевскаго — та мысль или, вѣрнѣе, опять то чувство, которое бросило его въ объятія матеріализма.

„Что это за вещь антропологическій принципъ въ нравственныхъ наукахъ? спрашивалъ авторъ. Принципъ этотъ состоитъ въ томъ, что на человѣка надобно смотрѣть какъ на одно существо, имѣющее только одну натуру; чтобы не разрѣзывать человѣческую жизнь на разныя половины, принадлежащія разнымъ натурамъ, чтобы разсматривать каждую сторону дѣятельности человѣка какъ дѣятельность или всего его организма, отъ головы до ногъ включительно, или, если она оказывается спеціальнымъ отправленіемъ какого-нибудь особеннаго органа въ человѣческомъ организмѣ, то разсматривать этотъ органъ въ его натуральной связи со всѣмъ организмомъ. Антропологія, это такая наука, которая о какой бы части жизненнаго человѣческаго процесса ни говорила, всегда помнитъ, что весь этотъ процессъ и каждая часть его происходитъ въ человѣческомъ организмѣ, что этотъ организмъ служитъ матеріаломъ, производящимъ разсматриваемые ею феномены, что качества феноменовъ обусловливаются свойствами матеріала, а законы, по которымъ возникаютъ феномены, только особенные частные случаи дѣйствія законовъ природы“.

Статья посвящена изложенію, а не доказательству основнаго тезиса о тѣснѣйшей связи души и тѣла, психическихъ и механическихъ процессовъ, причинности и цѣлесообраз-

ности, природы и человѣка. Рѣшить вопросъ, какъ далеко Чернышевскій шелъ въ подчиненіи духа матеріи — трудно, такъ какъ высказаться открыто объ этомъ вопросѣ онъ считалъ неудобнымъ. Но пусть онъ былъ матеріалистомъ даже крайнимъ—легко увидать, что въ этой оборонѣ матеріализма самымъ дорогимъ былъ для него вовсе не отвлеченный принципъ матеріи, а живой человѣкъ. Опять, но только иными словами, былъ прославляемъ человѣкъ, на этотъ разъ предметъ не религіознаго почитанія, а философскаго размышленія. Если, развивая и разъясняя религіозную мысль Фейербаха, Чернышевскій желалъ, чтобы читатель перенесъ на человѣка то чувство благоговѣнія, съ какимъ онъ привыкъ относиться къ Богу, то въ этой философской части своей доктрины Чернышевскій стремился доказать, что въ человѣкѣ намъ дано оправданіе матеріальнаго начала въ мірѣ. Это начало не только равноправно съ началомъ духовнымъ, но обусловливаетъ его и является единственной твердой опорой въ нашихъ сужденіяхъ, какъ о самой сущности того явленія, которое называется человѣкомъ, такъ и объ его назначеніи въ мірѣ. Можетъ показаться страннымъ такое предпочтеніе оказанное недѣлимому атому передъ невѣсомымъ духомъ, словно жизнь человѣческая въ своемъ движеніи зависитъ отъ того, какъ въ ея глубинахъ эти два будто бы спорящихъ начала разграничиваютъ сферу своего вліянія. Но Чернышевскій былъ убѣжденъ и въ этомъ онъ былъ правъ—что если для жизни и безразлично, какъ эти начала на самомъ дѣлѣ другъ съ другомъ уживаются, то совсѣмъ не безразлично, что люди думаютъ о разграниченіи ихъ властей, такъ какъ такая мысль можетъ имѣть прямое вліяніе на рѣшеніе вопросовъ практическихъ. Въ статьѣ объ „антропологическомъ принципѣ“ Чернышевскій очень ясно далъ понять, что центръ тяжести его размышленій лежитъ именно въ сферѣ этики, а не въ области спора объ основныхъ началахъ бытія. И, дѣйствительно, чтобы найти исходную точку разсужденій Чернышевскаго

и его сторонниковъ о матеріализмѣ, нужно разсматривать эти разсужденія не какъ выкладки холодной философской мысли, а какъ попытку заставить людей повысить оцѣнку всего того, что зовется не на философскомъ, а на простомъ языкѣ „матеріальной“ стороной жизни.

Чернышевскій въ данномъ случаѣ начиналъ въ Россіи ту работу, которая задолго до него была начата въ Европѣ художниками, публицистами, критиками и философами, проповѣдывавшими такъ называемую „реабилитацію плоти“, возстановленіе тѣла въ своихъ правахъ, jus corporis, какъ шутилъ Фейербахъ. Въ Европѣ это ученіе, приблизительно съ тридцатыхъ годовъ XIX вѣка, изъ сферы чистаго разсужденія и поэтическаго вымысла стало быстро проникать въ обиходъ самой жизни; и у насъ въ Россіи, въ шестидесятыхъ годахъ, оно имѣло широкое распространеніе. Проповѣдь матеріализма какъ философскаго ученія подготовляла ему почву. Конечно, первый проповѣдникъ матеріализма въ Россіи не могъ учитать всѣхъ выводовъ, какіе жизнь сдѣлаетъ изъ его ученія; но въ выборѣ самаго ученія и въ такомъ быстромъ увлеченіи имъ и онъ исходилъ изъ потребности дать „плоти“ большій просторъ, чѣмъ тотъ, какимъ она пользовалась при господствѣ не столько стараго философскаго образа мысли, сколько вообще стараго порядка жизни. Слово „плоть“ надо, однако, понимать въ самомъ широкомъ смыслѣ, чтобы не уподобиться тѣмъ легковѣснымъ оппонентамъ Чернышевскаго, которые утверждали, что отъ него на Руси беретъ свое начало тѣлесная распущенность. То, что Чернышевскій разумѣлъ подъ „антропологіей“, подъ культомъ „матеріи“, подъ возстановленіемъ въ своихъ правахъ „плоти“, было простое требованіе — повысить въ человѣкѣ энергію чувствъ и воли и сравнять ихъ въ силѣ съ мыслью и мечтой. Анализируя психику русскаго человѣка въ недавнемъ прошломъ, Чернышевскій совершенно вѣрно отмѣчалъ господствующую особенность въ характерѣ всѣхъ людей, пригодныхъ для общественной ра-

боты: рефлектирующая мысль и отрывающаяся отъ жизни мечта мѣшали этимъ людямъ влiять на ходъ жизни такъ, какъ они могли бы влiять въ силу присущихъ имъ дарованiй. Эти люди стараго закала слишкомъ высоко цѣнили „духовное“ и „общее“ и на „матерiальное“ обращали мало вниманiя—потому что развивали въ себѣ лишь способность мышленiя и мечтанiя, смиряя всѣ остальныя притязанiя здороваго, сильнаго физически, энергичнаго и желающаго „наслаждаться жизнью“ человѣка. Человѣкъ, разъ онъ живетъ, имѣетъ право на „наслажденiе“ — не въ грубомъ смыслѣ слова, а въ возвышенномъ, но понимаемомъ иначе, чѣмъ это слово понималось раньше, когда подъ нимъ разумѣлись только блага „духовныя“. Существуютъ и матерiально возвышенныя блага, которыми надо дорожить, такъ какъ безъ нихъ нѣтъ жизни, а есть только мысль о жизни или мечта о ней. Чтобы заставить людей полюбить жизнь по новому— стоитъ только убѣдить ихъ въ томъ, что духъ и матерiя, тѣлесное и духовное, механика и психика неразрывно связаны и составляютъ нѣчто единое, что раздѣлено быть не можетъ. Чернышевскiй шелъ дальше и готовъ былъ сказать, что это единое по качеству своему — матерiально; но онъ на этомъ не особенно настаивалъ. Если онъ вдругъ такъ полюбилъ „матерiю“ и такъ увѣровалъ въ нее, то потому, что раньше слишкомъ любили „духъ“ и къ нему одному слишкомъ довѣрчиво относились. На самомъ же дѣлѣ Чернышевскiй любилъ лишь человѣка, и всѣ изгибы его философской мысли были лишь отдѣльными штрихами, изъ которыхъ слагался новый красивый образъ дѣятеля, — какимъ онъ былъ желателенъ для предстоящей трудной работы въ царствѣ матерiи. Разсужденiе мало-помалу сводилось къ созерцанiю, мысль переходила въ настроенiе, вмѣсто отвлеченной формулы получался поэтическiй обликъ. На работу призывался новый человѣкъ, возлюбившiй землю и ея радости, человѣкъ сильный не однимъ лишь духомъ, не одной лишь мыслью и мечтой, но здоро-

вый тѣломъ, съ крѣпкими нервами и мышцами, съ энергіей воли, которую не размягчитъ мечта, и съ требовательными чувствами, которыя не отступятъ отъ намѣченной цѣли и не поддадутъ соблазну успокаивающей ихъ мысли. Въ этомъ новомъ человѣкѣ „плоть“, т.-е. сама природа, такъ мало нами изученная и такъ пренебрегаемая, отстаиваетъ свои права, и мы должны слушаться ея голоса. Весь вопросъ только въ томъ, съумѣемъ ли мы, слѣдуя ея указаніямъ, увеличить на землѣ количество доступнаго намъ счастія и блага.

А съ этимъ вопросомъ мы вступаемъ въ область этики.

## V.

При обсужденіи вопросовъ морали Чернышевскій могъ пользоваться большей свободой, чѣмъ въ своихъ разсужденіяхъ о религіи и объ основныхъ началахъ, и эта сторона его ученія разработана имъ болѣе тщательно. Та моральная доктрина, которую онъ предлагалъ какъ послѣднее слово науки, давно перестала быть новинкой и можетъ также стать предметомъ длиннаго спора, если бы было нужно вести такой споръ. Проповѣдь „разумнаго эгоизма“, какъ окрестилъ Чернышевскій свое ученіе, была простымъ повтореніемъ основоположеній утилитаризма. Бентама и Милля Чернышевскій зналъ хорошо и, удовлетворенный ихъ аргументаціей, онъ, кажется, въ данномъ случаѣ не сталъ провѣрять ихъ словъ ссылками на любимаго имъ Фейербаха; по крайней мѣрѣ явныхъ слѣдовъ этики Фейербаха въ самой характерной ея части — въ ученіи о долгѣ, совѣсти, свободѣ и отвѣтственности — въ сочиненіяхъ Чернышевскаго не замѣтно, если не считать оправданія эвдемонизма — въ чемъ Фейербахъ сходился со всѣми утилитаристами. Но крайнимъ эвдемонистомъ Чернышевскій не былъ: „эгоизмъ“, который онъ проповѣдывалъ, былъ смягченъ признаніемъ альтруистиче-

скаго чувства въ людяхъ, а какъ это чувство съ принципомъ пользы ладило—объ этомъ Чернышевскій не распространялся.

„Много разъ говорили—пишетъ онъ—что нравственныя науки еще не разработаны съ такой полнотою какъ естественныя; но и при нынѣшнемъ, вовсе неблистательномъ ихъ состояніи уже разрѣшенъ вопросъ о подведеніи всѣхъ часто разнорѣчащихъ между собою человѣческихъ поступковъ и чувствъ подъ одинъ принципъ, какъ разрѣшены вообще почти всѣ тѣ нравственные и метафизическіе вопросы, въ которыхъ путались люди до начала разработки нравственныхъ наукъ и метафизики по строгому научному методу. Въ побужденіяхъ человѣка, какъ и во всѣхъ сторонахъ его жизни, нѣтъ двухъ различныхъ натуръ... Во всѣхъ поступкахъ и чувствахъ, представляющихся безкорыстными, лежитъ въ основѣ мысль о собственной личной пользѣ, личномъ удовольствіи, личномъ благѣ, лежитъ чувство, называемое эгоизмомъ... При внимательномъ изслѣдованіи побужденій, руководящихъ людьми, оказывается, что всѣ дѣла, хорошія и дурныя, благородныя и низкія, геройскія и малодушныя, происходятъ во всѣхъ людяхъ изъ одного источника: человѣкъ поступаетъ такъ, какъ пріятнѣе ему поступать, руководясь разсчетомъ, велящимъ отказываться отъ меньшей выгоды или меньшаго удовольствія для полученія большей выгоды и большаго удовольствія. Конечно, этой одинаковостью причины, изъ которой происходятъ дурныя и хорошія дѣла, вовсе не уменьшается разница между ними... и понятіе добра вовсе не расшатывается, а напротивъ, укрѣпляется, опредѣляется самымъ рѣзкимъ и точнымъ образомъ, когда мы открываемъ его истинную натуру, когда мы находимъ, что добро есть польза. Только при этомъ понятіи о немъ мы въ состояніи разрѣшить всѣ затрудненія, возникающія изъ разнорѣчія разныхъ эпохъ и цивилизацій, разныхъ сословій и народовъ о томъ, что̀ добро, что̀ зло... Наука говоритъ о народѣ, а не объ отдѣльныхъ индивидуумахъ. Только то,

что составляетъ натуру человѣка, признается въ наукѣ за истину; только то, что полезно для человѣка вообще, признается за истинное добро; всякое уклоненіе понятій извѣстнаго народа или сословія отъ этой нормы составляетъ ошибку, галлюцинацію, которая можетъ надѣлать много вреда другимъ людямъ, но больше всѣхъ надѣлаетъ вреда тому народу, тому сословію, которое подверглось ей, занявъ по своей или чужой винѣ такое положеніе среди другихъ народовъ, среди другихъ сословій, что стало казаться выгоднымъ ему то, что̀ вредно для человѣка вообще". „Самая гибельная галлюцинація это противополагать свою выгоду общечеловѣческому интересу".

Если заранѣе предположить, что выгода отдѣльнаго человѣка совпадаетъ съ выгодой того сословія, частью котораго онъ является, а выгода этого сословія поглощается выгодой цѣлаго народа, которая въ свою очередь растворяется въ выгодѣ всего человѣчества, то противъ такого утилитаризма врядъ ли что возразить можно, кромѣ указанія на то, что такого порядка никогда еще на землѣ не было, но что онъ весьма желателенъ. Н. Чернышевскій въ построеніи теоріи этики исходилъ изъ предвкушенія желаемаго, а не изъ научнаго анализа существующаго. Оглядываясь на прошлое, онъ видѣлъ, что несмотря на проповѣди морали, основанной на религіозномъ сознаніи, или морали, покоющейся на категорическомъ императивѣ, или болѣе обычной морали, построенной на простомъ, обиходномъ чувствѣ нравственнаго долга, любви и состраданія — жизнь человѣческая полна страшныхъ нравственныхъ аномалій. Отчего не попытаться начать борьбу съ этими аномаліями, укрѣпивъ въ человѣкѣ сознаніе его прирожденнаго права на счастіе и наслажденіе? Не потому ли такъ часто торжествуетъ зло, что добро слишкомъ уступчиво? Пусть каждый человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, приметъ за правило добиваться своей выгоды — столкновеніе такихъ законныхъ эгоизмовъ установитъ въ концѣ концовъ желанное равновѣсіе ес-

общихъ интересовъ. Люди пойдутъ на уступки; они поймутъ, что нельзя въ своемъ поведеніи исходить изъ индивидуальнаго бытія, и они подчинятъ этотъ свой индивидуализмъ требованію коллективнаго блага и счастія. Пусть такое благо потребуетъ отъ нихъ жертвъ: эти жертвы покроются одной огромной выгодой—каждый человѣкъ отстоитъ свое право на счастіе въ томъ размѣрѣ, въ какомъ это будетъ возможно безъ ущерба для счастія общаго, тогда какъ теперь, при господствѣ старой морали, лишь нѣкоторые успѣваютъ овладѣть и наслажденіями, и благами, не считаясь съ тѣмъ, какое количество этого наслажденія приходится на долю всѣхъ остальныхъ.

И опять красивое видѣніе возникало передъ моралистомъ. Онъ видѣлъ передъ собой желаннаго ему человѣка, вступающаго въ жизнь съ принципами новой морали, т. е. собственно морали старой, морали любви, состраданія, равенства, свободы и братства, но построенной теперь на началахъ болѣе простыхъ, болѣе прочныхъ и научныхъ. Это былъ гордый человѣкъ, съ твердо выраженной рѣшимостью отстоять свои личныя права на счастіе и наслажденіе; человѣкъ во всемъ соблюдающій свою выгоду, признающій лишь тѣ обязательства, которыя онъ самъ добровольно на себя принялъ; человѣкъ возмущенный этикой, допускавшей невѣроятныя соціальныя несправедливости, и увѣренный, что всѣ эти несправедливости исчезнутъ, какъ только разумный эгоизмъ человѣка будетъ возстановленъ въ своихъ правахъ. Близорукимъ людямъ такой моралистъ могъ на первыхъ порахъ показаться подозрительнымъ, съ его неизмѣнной ссылкой на свою личную выгоду. Но, во-первыхъ, онъ былъ развитой человѣкъ и понималъ, что личная выгода человѣка всегда совпадаетъ съ выгодой человѣчества и что разумный личный эгоизмъ есть единственный способъ привести въ равновѣсіе всѣ сталкивающіеся съ нимъ эгоизмы; во-вторыхъ, этотъ моралистъ, если бы даже онъ и слишкомъ настаивалъ на своей личной выгодѣ,—былъ правъ, такъ какъ

являлся выразителемъ огромнаго числа лицъ, обездоленныхъ прежней этикой...

Надѣляя такого „разумнаго" эгоиста своимъ умомъ и, главное, своимъ сердцемъ, Чернышевскій былъ увѣренъ, что этотъ эгоистъ принесетъ съ собой въ міръ гораздо больше любви и справедливости, чѣмъ всѣ альтруисты стараго типа. И Чернышевскій любовался импозантной фигурой такого здороваго человѣка съ рѣзкими очертаніями ума и характера, врага всякаго смиренія и сурово требующаго отъ людей, чтобы во имя справедливости они не забывали самихъ себя—людей убѣжденныхъ, добрыхъ и сильныхъ. Красивый былъ это обликъ... да и вообще какъ много красоты въ человѣкѣ, въ которомъ свободно и естественно развиваются всѣ вложенные въ него самой природой здоровые инстинкты и склонности!

## VI.

Свою ученую дѣятельность Чернышевскій началъ съ прославленія именно этой красоты, когда, желая занять профессорскую каѳедру, написалъ диссертацію объ „Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности". Книга появилась весьма своевременно [1855]. Переубѣждая людей и вербуя сторонниковъ новой вѣры, нужно было начать свою рѣчь съ обсужденія вопроса наиболѣе ходкаго, наиболѣе интереснаго для большинства, вопроса центральнаго въ старомъ міропониманіи. А именно такимъ было ученіе о прекрасномъ въ природѣ и искусствѣ. Старшее поколѣніе было воспитано на эстетическихъ теоріяхъ, и, въ виду ограниченія другихъ жизненныхъ интересовъ, мысль объ искусствѣ сливалась въ его представленіи съ понятіемъ о самой жизни. Произвести переворотъ въ эстетическихъ взглядахъ, создать такое ученіе, которое доказало бы, что прекрасное въ жизни есть сама жизнь и живой въ ней человѣкъ, что самое совершен-

ное искусство есть лишь блѣдный отблескъ дѣйствительности; сказать, что ту любовь, которую мы отдаемъ искусству, надо перенести на самую жизнь и на человѣка; что этому человѣку надо поклониться какъ наисовершеннѣйшему созданію красоты—вотъ къ чему стремился Чернышевскій, уже ученикъ Фейербаха, уже сторонникъ матеріализма и проповѣдникъ здороваго эгоизма, когда онъ вдругъ заговорилъ о предметѣ, отъ текущей жизни повидимому столь далекомъ. Но онъ зналъ, что̀ онъ дѣлалъ, такъ какъ эта новая эстетика должна была служить лишь введеніемъ къ тому, что̀ надлежало сказать дальше.

Чернышевскій былъ хорошо знакомъ съ эстетическими ученіями, которыя онъ рѣшилъ отвергнуть, и упрекнуть его въ незнаніи предмета нельзя. Его и упрекали не въ незнаніи, а въ непониманіи того, о чемъ онъ говорилъ. Его диссертація вызвала въ свое время и до нашихъ дней вызывала самые ожесточенные нападки спеціалистовъ—и они были правы: философская немощность доводовъ Чернышевскаго очевидна. Ему она, конечно, не была видна лишь потому, что за этими доводами крылась затаенная мысль, которая была для Чернышевскаго не мыслью только, а догматомъ вѣры. „Несогласіе въ эстетическихъ убѣжденіяхъ,—сказалъ при случаѣ Чернышевскій—только слѣдствіе несогласія въ философскихъ основаніяхъ всего образа мыслей. Эстетическіе вопросы бываютъ полемъ битвы, а предметомъ борьбы влiяніе вообще на умственную жизнь".[34] Такое вліяніе имѣлъ въ виду и самъ Чернышевскій, когда выступалъ обвинителемъ старой эстетики. Тайную мысль ученаго трактата разгадалъ молодой читатель сразу: самой эстетикой онъ мало заинтересовался, но не могъ не признать „что диссертація Чернышевскаго была цѣлая проповѣдь гуманизма, цѣлое откровеніе любви къ человѣчеству, на которое призывалось искусство".[35]

Припомнимъ нѣсколько основныхъ положеній изъ этой книги, и мы увидимъ, что они нуждаются не въ опровер-

женіи, а въ простомъ психологическомъ истолкованіи. „Уваженіе къ дѣйствительной жизни — писалъ Чернышевскій — недовѣрчивость къ апріорнымъ, хотя бы и пріятнымъ для фантазіи, гипотезамъ—вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ. Необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетическія убѣжденія, если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ... Господствующее понятіе о прекрасномъ не выдерживаетъ критики, будучи взято и внѣ связи съ упавшими нынѣ метафизическими системами... Ощущеніе, производимое въ человѣкѣ прекраснымъ—свѣтлая радость, похожая на ту, какою наполняетъ насъ присутствіе милаго для насъ существа. Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свѣтѣ—*жизнь*; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось бы ему вести, какую любитъ онъ; потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чѣмъ не жить. Опредѣленіе: „прекрасное есть жизнь" удовлетворительно объясняетъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго. Искусство въ данномъ случаѣ спорить съ жизнью не можетъ; жизнь остается, а искусство вянетъ и погибаетъ, оно лишено вѣчной способности воспроизведенія, такъ какъ измѣненіе понятій иногда совлекаетъ всю красоту съ произведенія поэзіи, иногда превращаетъ его даже въ нѣчто непріятное или отвратительное. Ни въ живописи, ни въ музыкѣ, ни въ архитектурѣ не найдется почти ни одного произведенія, созданнаго за 100 или 150 лѣтъ, которое не казалось бы нынѣ или вялымъ, или смѣшнымъ, несмотря на всю силу генія, отпечатлѣнную на немъ. Математически можно доказать, что произведенія скульптуры не могутъ сравниться съ живымъ человѣческимъ лицомъ по красотѣ очертаній; въ Петербургѣ нѣтъ ни одной статуи, которая не была бы гораздо ниже безчисленнаго множества живыхъ людей, и надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улицѣ, чтобы встрѣтить нѣсколько такихъ лицъ... „Топорная работа" — вотъ настоящее имя всѣхъ пластическихъ искусствъ, какъ скоро сравнит...

ихъ съ природою. Образъ въ поэтическомъ произведеніи — это блѣдный и общій, неопредѣленный намекъ на дѣйствительность. Вообще искусство ничего создать не можетъ, оно списываетъ съ дѣйствительности; поэтъ въ отношеніи къ своимъ лицамъ почти всегда только историкъ или авторъ мемуаровъ... Произведенія искусства льстятъ мелочнымъ нашимъ требованіямъ, происходящимъ отъ любви къ искусственности. Искусственно развитой человѣкъ имѣетъ много искусственныхъ, исказившихся до лживости, до фантастичности требованій, которымъ нельзя вполнѣ удовлетворить, потому что они въ сущности не требованія природы, а мечты испорченнаго воображенія. Явленія дѣйствительности — золотой слитокъ безъ клейма: очень многіе откажутся уже по этому одному взять его, не умѣя отличить отъ куска мѣди; произведеніе искусства — банковый билетъ, въ которомъ очень мало внутренней цѣнности, но за условную цѣнность котораго ручается все общество... Единственная цѣль и значеніе большей части произведеній искусства — дать возможность хотя въ нѣкоторой степени познакомиться съ прекраснымъ въ дѣйствительности тѣмъ людямъ, которые не имѣли возможности наслаждаться имъ на самомъ дѣлѣ, искусство не поправляетъ дѣйствительности, не украшаетъ ее, а воспроизводитъ, служитъ ей суррогатомъ... оно имѣетъ только значеніе живого и яснаго указанія на дѣйствительность, а не самостоятельное значеніе, которое могло бы соперничествовать съ полнотою дѣйствительной жизни; въ событіяхъ дѣйствительной жизни все вѣрно, нѣтъ недосмотровъ, нѣтъ односторонней узкости взгляда, которою страждетъ всякое человѣческое произведеніе; жизнь художественнѣе всѣхъ твореній поэтовъ; и пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности быть нѣкоторой замѣною ея и быть для человѣка учебникомъ жизни. Дѣйствительность выше мечты, и существенное значеніе выше фантастическихъ притязаній".

„Говорятъ — красота есть совершенство, но человѣкъ ищетъ только *лучшаго*, а не совершеннаго. Совершенства требуетъ только чистая математика. Искать совершенства въ какой бы то ни было сферѣ жизни — дѣло отвлеченной, болѣзненной или праздной фантазіи. Говорятъ — прекрасное есть абсолютное, но дѣятельность человѣка не стремится къ абсолютному и ничего не знаетъ о немъ, имѣя въ виду чисто человѣческія цѣли. Въ этомъ совершенно сходны съ другими чувствами и дѣятельностями человѣка чувство и дѣятельность эстетическія".

Въ предисловіи къ предполагавшемуся третьему изданію „Эстетическихъ отношеній къ дѣйствительности" Чернышевскій, уже старикъ, подѣлился съ читателемъ воспоминаніемъ о томъ, при какихъ условіяхъ была написана его книга: „Авторъ получилъ возможность — говоритъ онъ — пользоваться хорошими библіотеками и употреблять нѣсколько денегъ на покупку книгъ въ 1846 году. До того времени онъ читалъ только такія книги, какія можно доставать въ провинціальныхъ городахъ, гдѣ нѣтъ порядочныхъ библіотекъ. Онъ былъ знакомъ съ русскими изложеніями системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него возможность ознакомиться съ Гегелемъ въ подлинникѣ, онъ сталъ читать эти трактаты. Въ подлинникѣ Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидалъ онъ по русскимъ изложеніямъ. Причина состояла въ томъ, что русскіе послѣдователи Гегеля излагали его систему въ духѣ лѣвой стороны гегелевской школы. Въ подлинникѣ Гегель оказался болѣе похожъ на философовъ XVII вѣка и даже на схоластиковъ, чѣмъ на того Гегеля, какимъ явился онъ въ русскихъ изложеніяхъ его системы. Чтеніе было утомительно по своей явной безполезности для сформированія научнаго образа мыслей. Въ это время случайнымъ образомъ попалось желавшему сформировать себѣ такой образъ мыслей въ руки одно изъ главныхъ сочиненій Фейербаха. Онъ сталъ послѣдователемъ этого мыслителя, и до того времени, когда жи-

тейскія надобности отвлекли его отъ ученыхъ занятій, онъ усердно перечитывалъ и перечитывалъ сочиненія Фейербаха... Въ книгѣ объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности авторъ высказывалъ, насколько могъ, что придаетъ важность только тѣмъ мыслямъ, которыя взялъ изъ трактатовъ своего учителя; тѣ выводы, какіе онъ дѣлалъ изъ мыслей Фейербаха для разрѣшенія спеціальныхъ эстетическихъ вопросовъ, казались ему въ то время правильными; но онъ и тогда *не считалъ ихъ собственно своими*. Онъ былъ доволенъ своимъ небольшимъ трудомъ только въ томъ отношеніи, что *ему удалось передать на русскомъ языкѣ нѣкоторыя изъ идей Фейербаха* въ тѣхъ формахъ, какія представляла тогда для подобныхъ работъ необходимость сообразоваться съ условіями русской дѣйствительности. Автору принадлежатъ только тѣ частныя мысли, которыя относятся къ спеціальнымъ вопросамъ эстетики. Всѣ мысли болѣе широкаго объема въ его книгѣ принадлежатъ Фейербаху".

Итакъ, новая эстетика была создана въ восхваленіе того новаго божества, которому Фейербахъ прокладывалъ дорогу. Теперь природа и дѣйствительность выше и совершеннѣе искусства — что означалъ онъ, какъ не признаніе человѣка самымъ художественнымъ созданіемъ природы, настоящей единственной красотой міра, единственнымъ предметомъ, достойнымъ эстетическаго поклоненія? Безъ человѣка нѣтъ ни природы, ни жизни, ни дѣйствительности. Пусть человѣкъ несовершененъ — совершенство не нужно людямъ. Пусть онъ будетъ такимъ, какимъ его создала природа — онъ всегда красивѣе всякой мечты, сколь бы она ни была возвышенна. Мы привыкли слишкомъ болѣзненно любить это „возвышенное" въ человѣкѣ, мы такъ упиваемся нашей мечтой, что не замѣчаемъ, какъ призраки искусства задвигаютъ собой міръ дѣйствительный, и въ нашемъ самообманѣ мы не хотимъ видѣть, что обнимаемъ тѣнь вмѣсто живого человѣка. Возлюбимъ же этого живого человѣка, какъ онъ вышелъ изъ рукъ природы и, если поклоненіе красотѣ есть вѣрный путь къ этой

любви, если уже мы не можемъ отступиться отъ мысли, что красота и добро—нѣчто единое, то научимся же по крайней мѣрѣ искать красоту тамъ, гдѣ она не есть обманъ, искать ее вокругъ насъ, среди людей, обступившихъ насъ и требующихъ нашей любви. Не забудемъ, что еще не такъ давно жили и еще теперь живутъ вокругъ насъ люди, которыхъ мы можемъ упрекнуть въ недостаткѣ такой любви, несмотря на то, что они были великіе, глубокомысленные эстеты, поклонники красоты, и были убѣждены, что только они одни и знаютъ ей цѣну.

## VII.

Въ такихъ красивыхъ и смѣлыхъ очертаніяхъ предстала новая вѣра передъ новымъ читателемъ. Это была несомнѣнно „вѣра“, такъ какъ она была добыта не путемъ упорнаго и долгаго труда философской мысли, а путемъ осѣнившаго человѣка вдохновенія и мечты, очень рѣшительно перескакивавшей черезъ всякія теоретическія трудности. Такой была она и для подроставшихъ молодыхъ людей, которые, конечно, еще менѣе, чѣмъ ихъ учитель, имѣли желаніе пересматривать то, что они разъ навсегда признали истиной. Всѣмъ, кто рѣшилъ порвать съ прошлымъ, и, порывая съ нимъ, не хотѣлъ остаться при одномъ отрицаніи, дана была теперь возможность опереться если не на философскую систему, то на цѣлый рядъ совершенно новыхъ понятій о жизни и человѣкѣ, понятій какъ будто бы философски обоснованныхъ, а на дѣлѣ принятыхъ на вѣру, разукрашенныхъ мечтой и поддержанныхъ темпераментомъ публициста и общественнаго дѣятеля.

Прежнія формы религіознаго сознанія замѣнялись обожествленіемъ человѣка, человѣкъ и его земная судьба были признаны единственнымъ объектомъ, достойнымъ религіознаго отношенія. Нѣтъ для человѣка святыни, кромѣ его

собственной жизни на землѣ... „Матеріальное" въ человѣкѣ должно быть уравнено въ своихъ правахъ съ „духовнымъ" и требованія плоти признаны столь же законными, какъ и требованія „духа". Мысль и мечта не должны принижать воли и чувствъ, вытекающихъ изъ нормальныхъ и естественныхъ инстинктовъ живого организма. Человѣкъ имѣетъ право быть эгоистомъ, такъ какъ нѣтъ иного способа отстоять свою личность, и, если эта личность сознаетъ себя разумной, правой, справедливой и доброй, она должна навязать себя жизни и можетъ быть увѣрена, что ея эгоизмъ не принесетъ вреда; „разумный" эгоизмъ—по самой своей природѣ—всегда признаетъ преимущество общаго надъ частнымъ, коллективнаго блага надъ индивидуальнымъ... Разумный эгоистъ силенъ, независимъ, смѣлъ, онъ проводникъ самаго цѣннаго начала въ жизни—силы, сознающей свою правоту и увѣренной въ своемъ благомъ начинаніи. И въ довершеніе всего онъ красивъ—этотъ исповѣдникъ новой религіи, новаго философскаго міропониманія и новой морали... Онъ вмѣстѣ съ природой единственная эстетическая цѣнность въ мірѣ; и созданіе его творческой мечты—прославляемое нами искусство, во всѣхъ его видахъ,—что оно въ сравненіи съ нимъ, движущимся и неустанно обнаруживающимся откровеніемъ живой силы, реальной, ощутимой силы, ведущей человѣчество по пути прогресса?

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ этотъ красивый культъ человѣка плѣнялъ и умъ и воображеніе. Онъ сталъ историческимъ воспоминаніемъ; религія для большинства изъ насъ теперь нѣчто большее, чѣмъ простое обожествленіе человѣка, и если ужъ нужно прославлять человѣка, то развѣ за его вѣчное стремленіе искать въ мірѣ силу, надъ нимъ стоящую, и за его желаніе разгадать ея тайну. Объ основныхъ началахъ жизни мы продолжаемъ спорить: всѣ философскія системы мы подточили нашимъ критическимъ анализомъ,—цѣльныхъ и всеобъемлющихъ пока не создали, но и къ метафизикѣ матеріализма совсѣмъ охладѣли; до истинныхъ

источниковъ морали мы не дорылись, и въ вопросахъ этики пребываемъ какими-то нерѣшительными дуалистами; во всякомъ случаѣ „разумный эгоизмъ" насъ не убѣждаетъ; въ поклоненіи красотѣ мы остались при старой вѣрѣ въ автономную область прекраснаго въ искусствѣ и въ жизни, и врядъ ли кому придетъ въ голову задавать себѣ вопросъ, что художественнѣе: сама ли жизнь или отраженіе ея въ искусствѣ. Мы можемъ съ полной надеждой на успѣхъ оспаривать теперь истинность всѣхъ теоретическихъ построеній Чернышевскаго.

Но кромѣ логики въ этихъ разсужденіяхъ была и психологія. И она остается навсегда оправданной. Могли же люди, при ясныхъ намекахъ на обновленіе всей личной и гражданской жизни, увѣровать въ спасительную силу новыхъ принциповъ, еще совсѣмъ непровѣренныхъ жизнью, но обѣщавшихъ многое, уже по тому одному, что они были діаметрально противоположны принципамъ общепризнаннымъ раньше, при старомъ порядкѣ жизни? Положимъ, старые принципы не были виноваты въ старомъ порядкѣ, а виноваты были люди, ихъ исповѣдующіе, — но какъ не попытаться замѣнить ихъ новыми, съ которыми, быть можетъ, легче будетъ работать — въ особенности, какъ не сдѣлать этой попытки, когда дѣйствительно *вѣришь* въ истинность и силу этихъ краеугольныхъ камней новаго міропониманія?

А Чернышевскій вѣрилъ, и его сильный аналитическій умъ молчалъ, убаюканный порывистой увѣренностью въ своей правотѣ, какъ это часто наблюдается у людей съ прирожденнымъ боевымъ темпераментомъ.

Увлеченъ былъ учитель, и еще больше увлечены были ученики, которымъ онъ выровнялъ дорогу. Онъ велъ ихъ за собою и говорилъ имъ: „людямъ съ свѣжими силами необходимо доискиваться чего-нибудь новаго и свѣжаго".[36] „Въ комъ болѣе новыхъ идей, въ томъ должно быть больше [illegible]ности, такъ какъ прогрессъ самой сущностью своею вызываетъ въ своихъ послѣдователяхъ расположеніе къ [illegible]

и гуманному образу дѣйствій".[37] „Совершенно хладнокровно, спокойно, обдуманно, разсудительно дѣлаются только вещи не слишкомъ важныя".[38] „Знайте, что передовые люди, дѣятельностью которыхъ развивается наука, ведутъ ее и къ тому, чтобы проникалась результатами ея жизнь всего народа".

И у кого изъ молодыхъ людей того времени, которые желали, чтобы ихъ работа пошла на пользу жизни всего народа, не билось сердце радостно и вольно, когда имъ было предложено цѣльное міросозерцаніе, настолько новое, что ему нельзя было сдѣлать пока ни одного упрека, кромѣ упрека въ самонадѣянности, т.-е. такого, который для молодого поколѣнія не существуетъ?

Являлась увѣренность, что любовь къ человѣчеству можетъ быть отнынѣ послѣдовательно воспитана въ людяхъ, при прямомъ участіи научнаго міросозерцанія въ дѣлѣ нравственнаго обновленія. Союзъ истины и добра былъ, казалось, обезпеченъ.

## VIII.

Чѣмъ отвѣтитъ жизнь на эту новую попытку ея теоретическаго изъясненія? Успѣхъ какъ будто былъ внѣ сомнѣнія, волны жизни отъ старыхъ береговъ мало-по-малу отходили и рыли себѣ новое русло; ничто пока еще [1855—1861] не угрожало надеждамъ.

И самъ учитель, уже не юноша, а начитанный и жизнью испытанный человѣкъ, былъ полонъ надеждъ и вѣры. Многое въ окружающей жизни его сердило и печалило, но всякій разъ, когда ему приходилось говорить о жизни и людяхъ вообще, онъ былъ довѣрчиво настроенъ и съ полной искренностью говорилъ на протяженіи многихъ лѣтъ и при разныхъ случаяхъ: „Между людьми рѣдки рѣшительно дурные характеры и совершенно пустыя головы".[39] „Въ каждомъ классѣ общества, какой бы странѣ, какому бы времени ни

принадлежало это общество, каковы бы ни были понятія и привычки, имъ пріобрѣтенныя вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ, огромное большинство людей всегда имѣетъ наклонность къ доброжелательству и правдѣ".[40] „Къ счастью, число людей злонамѣренныхъ въ каждой націи очень невелико, и не должны бы они имѣть нигдѣ ни малѣйшаго вліянія уже по одному тому, что зло само по себѣ безсильно, если не можетъ прикрываться предлогами добра".[41] „Грязь мерзка для человѣка и потому развѣ отъ слишкомъ сильнаго и долгаго втягиванія въ грязь получаетъ онъ привычку къ ней".[42]

Будемъ же оптимистами! „Многаго не ждешь ни отъ чего, зато отъ всего ждешь хотя немногаго. Да, будемъ оптимистами!". „Никогда общественная нравственность не достигала такого высокаго уровня, какъ въ наше благородное время—благородное и прекрасное, несмотря на всѣ остатки ветхой грязи, потому что всѣ силы свои напрягаетъ оно, чтобы омыться и очиститься отъ наслѣдныхъ грѣховъ".[43]

Въ 1861 году, возражая Токвилю, Чернышевскій писалъ: „во Франціи только еще начинается весна: въ иныхъ мѣстахъ уже показалась зелень, кое-гдѣ проглядываютъ уже и цвѣтки, а въ другихъ мѣстахъ еще лежитъ снѣгъ"... Слово „Франціи" попало въ эти строки ошибкой. Какая весна начиналась въ 1861-мъ году во Франціи? Она началась въ иной странѣ, хотя пока еще по календарю только.

Но были вѣрующіе люди, которые готовы были видѣть и зелень, и цвѣты тамъ, гдѣ для нихъ только еще подготовлялась почва.

## IX.

Самого Чернышевскаго къ такимъ вѣрующимъ нельзя причислить: въ общихъ выводахъ оптимистъ, онъ въ своемъ судѣ надъ текущей дѣйствительностью не самообольщался.

Но вѣрующимъ былъ онъ несомнѣнно, когда предсказывалъ:

людямъ сразу начать думать о всемъ міропорядкѣ иначе, чѣмъ они думали раньше. Онъ былъ вѣрующій и вмѣстѣ съ тѣмъ революціонеръ, такъ какъ не было еще примѣра въ Россіи, чтобы человѣкъ такъ сразу порывалъ со всей прошлой идеологіей жизни, какъ порвалъ онъ. Его ученіе было первымъ истинно революціоннымъ актомъ нашей теоретической мысли, за которымъ долженъ былъ слѣдовать такой же актъ мысли практической, требовавшей и новой программы дѣйствія.

Выступая какъ единственный защитникъ новой „научной" мысли въ области религіи, философіи, этики и эстетики, Чернышевскій въ вопросахъ соціальныхъ, историческихъ, экономическихъ и политическихъ пошелъ вслѣдъ за тѣми немногими людьми старшаго поколѣнія, для которыхъ соціализмъ въ разныхъ своихъ формахъ, былъ конечной догмой научнаго обществовѣдѣнія; но онъ былъ убѣжденъ, что лишь на новомъ теоретическомъ фундаментѣ эта догма можетъ быть утверждена незыблемо и безповоротно.

„Религія человѣчества", права матеріи и здоровый эгоизмъ должны были объяснить и оправдать всю динамику историческаго процесса.



## Н. Г. Чернышевскій о соотношеніи общественныхъ силъ, двигающихъ прогрессомъ

Историко-философскій оптимизмъ Чернышевскаго. Теорія прогресса и соціалистическія ученія. Подчиненіе философіи, морали и политики демократическому складу чувствъ и мыслей. Прогрессъ какъ приближеніе къ соціалистическому идеалу. Общественныя силы, управляющія нашей жизнью. Оцѣнка борьбы политическихъ партій. Народная масса какъ главный факторъ прогресса. Опредѣленіе ея силы и условій ея благосостоянія. Политика и экономія. Чернышевскій о судьбахъ общины.

### I.

„Будемъ оптимистами! Многаго не ждешь ни отъ чего, зато отъ всего ждешь хотя немногаго. Будемъ оптимистами!“ Эти слова, сказанныя Чернышевскимъ при случаѣ, точно передаютъ сущность того настроенія, какимъ онъ бывалъ охваченъ, когда думалъ надъ судьбами историческаго процесса въ его цѣломъ. Суровый судья отдѣльныхъ эпизодовъ трагикомедіи человѣчества, подчасъ большой пессимистъ въ оцѣнкѣ текущей минуты, онъ былъ увѣренъ въ счастливой развязкѣ затянувшихся узловъ матеріальной и духовной жизни человѣка. Онъ вѣрилъ, что человѣку удастся устроить земную жизнь такъ, какъ того требуютъ его разумъ и нравственное чувство. Онъ предполагалъ, что требованія нравственнаго чувства и разума у всѣхъ нормаль-

ныхъ, здоровыхъ и развитыхъ людей одинаковы. Если до сихъ поръ наличность такихъ признанныхъ нравственныхъ принциповъ допускаетъ на землѣ существованіе и преобладаніе большого количества зла, несправедливости и страданій, то только лишь потому, что эти принципы пока еще не стали общепризнанными. Условія политическаго, гражданскаго и экономическаго положенія сложились такъ, что умственная тьма, сознаніе своей зависимости, вялость характеровъ, соблазны жизни, привилегированное положеніе, разныя формы суевѣрія, неправильность воспитанія и многое иное пока еще не позволяютъ истинной и разумной нравственности пріобрѣсти право руля въ жизни.

Историкофилософскій оптимизмъ Чернышевскаго вылился такимъ образомъ въ довольно простую форму. Философскаго вопроса о цѣнности бытія вообще Чернышевскій не ставилъ и головы надъ нимъ не ломалъ, такъ какъ для него, какъ для „матеріалиста", цѣнность бытія была оправдана уже одной его наличностью. Не соблазняли Чернышевскаго и тѣ многочисленныя построенія теоріи прогресса, которыя съ конца XVIII вѣка сопутствовали попыткамъ философскаго истолкованія міровой проблемы вообще. Во всѣхъ такихъ теоріяхъ—опредѣленія конечнаго блаженнаго состоянія, къ какому прогрессъ долженъ былъ привести человѣчество, либо терялись въ метафизическихъ тонкостяхъ, либо превращались въ поэтическія метафоры. Критическій умъ Чернышевскаго плѣненъ такими теоріями не былъ. Обѣщанное царство „гуманности", царство „свѣта", „свободы, побѣждающей необходимость", царство „предвѣчной идеи, достигшей конечнаго своего воплощенія", царство „гармоніи", даже болѣе понятное царство свободы, равенства и братства—что могли сказать такія опредѣленія уму, любящему ясность и привыкшему исходить въ своихъ разсужденіяхъ изъ конкретныхъ фактовъ? Такія туманныя картины блаженства имѣли цѣнность въ свое время, когда въ первыя десятилѣтія XIX вѣка служили людямъ утѣшеніемъ въ міровой скорби,

охватившей ихъ сердца и умы. Тогда эти философскія и поэтическія построенія теоріи прогресса были цѣлебной мечтой для опечаленной души, которая отрицала всякій прогрессъ въ мірѣ. Чернышевскій и его поколѣніе міровой скорбью не болѣли, а для скорби гражданской мечты о грядущемъ раѣ на землѣ—были даже какъ будто оскорбительны. Не мудрено, что теоріи прогресса, хотя бы подкрѣпленныя самыми видными именами философской науки, но безъ указаній на ясныя формы правовыхъ отношеній не могли ничего сказать Чернышевскому; и онъ прошелъ мимо этихъ теорій, которыя несомнѣнно были ему извѣстны. Мечту Руссо о золотомъ вѣкѣ Чернышевскій, конечно, помнилъ, но врядъ ли эта греза объ „естественномъ" состояніи, къ которому мы въ будущемъ можемъ, если захотимъ, вернуться, говорила что-нибудь его мыслямъ о прогрессѣ. Богословская точка зрѣнія Лессинга и Гердера въ ихъ разсужденіяхъ „о воспитаніи рода человѣческаго" и о торжествѣ „гуманности" на землѣ была по существу своему ненаучна, и Чернышевскій съ ней не считался. Врядъ ли многое могли ему сказать и письма Шиллера объ эстетическомъ воспитаніи человѣчества; еще меньше ученіе Шеллинга о трехъ послѣдовательныхъ періодахъ человѣческой жизни, въ которыхъ совершается постепенное обнаруженіе абсолюта. Историсофія Гегеля съ ея ученіемъ объ идеѣ „свободы", которая, воплощаясь въ разныхъ государственныхъ формахъ, проясняется въ человѣческомъ сознаніи, не могла не остановить на себѣ вниманія Чернышевскаго, одно время вообще увлекавшагося системой Гегеля. Но и это философское видѣніе относилось къ числу тѣхъ общихъ формулъ прогресса, которыя скорѣе могли дѣйствовать на фантазію и чувство человѣка, чѣмъ удовлетворить требованіямъ критически мыслящаго разума. Всѣ такія поэтическія предсказанія о грядущихъ судьбахъ земной жизни давали лишь толчекъ пытливой мысли, которая на нихъ не могла остановиться и готова была очень скоро отчислить ихъ въ разрядъ ска-

зокъ, въ которыхъ правдиво одно лишь настроеніе, ихъ создавшее.

Когда Чернышевскому попали въ руки сочиненія французскихъ соціалистовъ, онъ нашелъ наконецъ тѣхъ теоретиковъ прогресса, съ которыми онъ могъ до извѣстной степени сговориться. Вѣдь въ сущности всѣ соціалистическія утопіи С.-Симона, Фурье и другихъ поэтовъ-соціалистовъ были также теоріями прогресса, съ тою только разницею, что желанное грядущее было въ нихъ придвинуто на болѣе близкое разстояніе къ современному, и довольно точно опредѣлены тѣ общественныя, политическія и главнымъ образомъ экономическія условія, въ какихъ должна протекать жизнь при совершенномъ ея строѣ.

## II.

Въ своемъ увлеченіи картинами грядущей жизни Чернышевскій имѣлъ большую свободу выбора. Онъ былъ знакомъ съ ученіями всѣхъ великихъ реформаторовъ начала XIX вѣка и весьма внимательно слѣдилъ за судьбой зарождавшагося соціализма. Успѣхи соціалистической доктрины въ области мысли или въ области политики его очень радовали; онъ не щадилъ времени, которое отдавалъ на изученіе книгъ весьма трудныхъ для уразумѣнія, и въ кружкѣ И. Введенскаго и петрашевцевъ онъ много говорилъ на любимыя темы. Сенъ Симонъ, Оуэнъ, Фурье, Ламмене, Леру и Луи Блапъ стали на нѣкоторое время его наиболѣе частыми собесѣдниками. Но ко всѣмъ изъ этихъ писателей относился Чернышевскій съ одинаковой симпатіей, и въ раннемъ направленіи его склонностей уже видна господствующая черта его характера и умственнаго склада. Во всѣхъ этихъ общихъ теоріяхъ прогресса и въ этихъ разработкахъ вопроса о практическихъ способахъ измѣненія господствующаго соціальнаго строя Чернышевскій прежде всего цѣнилъ научность по-

строенія и удобоисполнимость рекомендуемыхъ способовъ воздѣйствія на жизнь. Къ сенсимонизму, онъ отнесся холодно, хотя къ самому С. Симону, какъ къ человѣку, съ большой симпатіей. Теократическая тенденція сенсимонизма, его, несомнѣнно, буржуазный гуманизмъ и, главное, тотъ нивеллирующій деспотизмъ духовной и матеріальной опеки, какую устанавливала школа Сенъ-Симона надъ своей паствой, были Чернышевскому не по-нутру. Въ конечномъ своемъ судѣ надъ сенсимонистами Чернышевскій перешелъ даже границу исторической справедливости, обозвавъ сенсимонизмъ „экзальтаціей, презиравшей всѣ внушенія разсудка", а сенсимонистовъ „салонными героями, подвергавшимися припадку филантропизма".[44] Къ пророчествамъ Леру Чернышевскій могъ быть достаточно равнодушенъ и въ этомъ не было ничего удивительнаго, такъ какъ религіозное ученіе Леру о прогрессѣ „человѣчества, тождественнаго съ человѣкомъ" было во многомъ лишь мистическимъ, малопонятнымъ толкованіемъ такихъ общихъ понятій, какъ понятіе о любви и о равенствѣ. Послѣ Леру, какъ признавался Чернышевскій, ему Луи Бланъ показался „увлекательнымъ", и, дѣйствительно, одно время Луи Бланъ увлекъ Чернышевскаго настолько, что онъ признавалъ въ немъ „великаго человѣка".[45] Проектъ „организаціи труда"—проектъ, которымъ Луи Бланъ тогда на всю Европу прославился, могъ, конечно, вскружить голову любому, даже очень трезвому, мыслителю. Проектъ этотъ обѣщалъ практическое и немедленное разрѣшеніе самой острой соціальной задачи урегулированія труда и притомъ безъ всякой ломки существующаго порядка. Въ глазахъ Чернышевскаго такая организація, вмѣстѣ съ извѣстной попыткой Овена, была первой побѣдой соціалистической практики надъ жизнью, которая на доводы соціалистической теоріи совсѣмъ не хотѣла откликаться. Но какія бы надежды ни возбуждалъ проектъ Луи Блана, онъ касался лишь одной частности въ соціальной жизни человѣка и съ общей теоріей прогресса въ прямой связи не стоялъ. Косвенное ка-

сательство къ этой теоріи имѣли и сочиненія Ламмене, въ которыхъ былъ воплощенъ лишь поэтическій паѳосъ протеста, поэтическій подъемъ души, насыщенной небесной любовью, но въ которыхъ совершенно отсутствовалъ всякій научный методъ истолкованія историческаго процесса.

Одна теорія Фурье на первыхъ порахъ, казалось, удовлетворяла научнымъ требованіямъ. Сначала Чернышевскому показалось, что слова Фурье и несамостоятельны, и отзываются „разсужденіями сумасшедшаго у Гоголя", но онъ сразу замѣтилъ, что Фурье провозгласилъ нѣсколько новыхъ мыслей, „которыя нѣкоторымъ кажутся нелѣпыми, а на самомъ дѣлѣ рѣшительно разумны, и что этимъ мыслямъ, несомнѣнно, принадлежитъ будущее".[46] Чѣмъ больше Чернышевскій въ Фурье вчитывался, тѣмъ все больше „гоголевскій" элементъ отходилъ въ тѣнь, а на первый планъ проступали, дѣйствительно, разумныя мысли. Разумность ихъ заключалась, прежде всего, въ томъ, что эта теорія, не въ примѣръ прочимъ, основывала свои разсчеты не столько на любви, вѣрѣ или иныхъ чувствахъ, сколько на мысли, которая не боится провѣрки и стоитъ крѣпко на спокойномъ и вѣрномъ фундаментѣ. Система была всеобъемлющая, объединявшая и людей, и Бога, но вмѣстѣ съ тѣмъ, тѣсно связанная съ ходомъ чисто земныхъ дѣлъ и ставившая своей цѣлью, прежде всего, матеріальное благополучіе всѣхъ участниковъ земной жизни. Ученіе допускало большую свободу личнаго начала, предполагая, что свобода одного лица найдетъ себѣ законное ограниченіе въ свободѣ его сосѣда и что вмѣсто всякаго принужденія, всякой нивеллировки личностей, на землѣ будетъ установлена гармонія страстей, страстей, безъ которыхъ нѣтъ истинно дѣятельной и счастливой жизни. Гармонія наслажденій сочеталась въ этомъ ученіи съ равенствомъ, братствомъ и матеріальнымъ довольствомъ. Соціальный вопросъ долженъ былъ рѣшиться быстро, безъ всякой политической изнурительной борьбы, безъ насилія, такъ какъ рѣшеніе его вытекало изъ основного непреложнаго за-

кона развитія матеріальныхъ силъ, управляющихъ ходомъ прогресса. Цѣль этого прогресса была — матеріальное обезпеченіе всѣхъ живущихъ, ихъ уравненіе передъ трудомъ, съ полнымъ сохраненіемъ свободы ихъ духа и съ обезпеченіемъ для каждаго возможности подняться на доступную ему ступень духовнаго развитія.

Таковы были тѣ теоріи прогресса и тѣ иллюстраціи къ нимъ, какія Чернышевскій находилъ въ соціалистическихъ утопіяхъ. Онъ былъ, несомнѣнно, увлеченъ этими картинами будущаго, увлеченъ настолько, что даже чтеніе Прудона его не расхолаживало. Всесокрушающая критика всѣхъ соціальныхъ системъ, критика, въ которой Прудонъ не имѣлъ себѣ равнаго, не могла поколебать этико-соціальной вѣры „трезваго идеалиста" шестидесятыхъ годовъ. Чернышевскій умѣлъ цѣнить Прудона, умѣлъ, когда нужно было, брать его себѣ въ союзники, но онъ всегда былъ далекъ отъ соблазна самолюбующагося отрицанія.

Для Чернышевскаго соціальныя утопіи остались однимъ изъ историческихъ доказательствъ правоты и научности его истолкованія теоріи прогресса въ демократическомъ духѣ.

## III.

Одновременно съ работой надъ изученіемъ соціалистическихъ утопій — Чернышевскій былъ занятъ выработкой философскаго міросозерцанія вообще. Въ итогѣ этой работы получилось нѣсколько общихъ взглядовъ на органическую природу человѣка, на сущность его нравственныхъ чувствъ и понятій и на гнѣздящуюся въ немъ красоту. Чернышевскій отстаивалъ „права матеріи" въ вопросахъ о „началахъ" жизни, исповѣдывалъ „здоровый эгоизмъ", какъ основу теоретической и практической морали, старался замѣнить традиціонныя формы религіозныхъ представленій и чувствъ особой „религіей человѣчества" и хотѣлъ видѣть въ чело-

вѣкѣ самое полное и совершенное обнаруженіе красоты въ мірѣ. Надъ всѣми этими областями единаго философскаго міропониманія Чернышевскій работалъ не безкорыстно, и очень опредѣленная *демократическая* тенденція легла въ основу его міропониманія. Конечно, не она руководила имъ при выборѣ философскихъ темъ, но она не могла быть имъ забыта при самомъ процессѣ умственной работы надъ этими темами. Она тайно присутствовала при зарожденіи и развитіи его мыслей, при ихъ уясненіи и сочетаніи. Всѣ обобщающіе выводы, къ которымъ пришелъ Чернышевскій въ вопросахъ религіи, философіи, морали и эстетики, каждый порознь, становились поочередно опорой для его демократическаго склада мыслей и чувствъ. Вся философская работа пошла въ концѣ концовъ на пользу теоріи прогресса въ его соціалистической формулѣ. Такое подчиненіе философской мысли или, вѣрнѣе, такое ея сочетаніе съ практической программой жизни было въ тѣ годы явленіемъ очень обычнымъ, при все болѣе и болѣе возраставшихъ требованіяхъ общественнаго чувства и политико-соціальныхъ убѣжденій.

Между матеріализмомъ, какъ философской доктриной, и демократическими тенденціями души человѣческой никакой прямой связи, повидимому, не существуетъ. Можно быть большимъ демократомъ въ духѣ христіанина первыхъ годовъ христіанской эры и подчинять все матеріальное въ жизни духовному началу; можно быть самымъ крайнимъ матеріалистомъ въ духѣ французскихъ энциклопедистовъ XVIII столѣтія и оставаться аристократомъ во всѣхъ смыслахъ.

Но въ XIX вѣкѣ на западѣ и въ особенности у насъ матеріалистическое міропониманіе шло рука объ руку съ все расширявшейся демократической доктриной,—въ то время, какъ всевозможные виды идеализма религіознаго и философскаго—сближались все тѣснѣе и тѣснѣе съ разными формами общественной и политической реакціи.

Чернышевскій, который цѣнилъ философію постольку, поскольку она могла быть „дѣломъ“ жизни -имѣлъ полное

право искать въ доктринѣ матеріализма поддержку своему демократическому образу мыслей и „права матеріи“ истолковывать въ пользу правъ обездоленныхъ жизнью людей.

Вопросомъ о „началахъ“ жизни Чернышевскій въ сущности интересовался мало. Матеріализмъ былъ ему любъ, какъ противоядіе противъ разныхъ „предразсудковъ“—религіозныхъ, философскихъ и эстетическихъ. Къ числу такихъ предразсудковъ, которые могутъ быть уничтожены или обезврежены признаніемъ „правъ матеріи“ можно было отнести, при желаніи, и предразсудки классовые. Для такого сочетанія понятій мало другъ съ другомъ схожихъ нужно было только при исповѣданіи матеріалистическихъ взглядовъ не столько думать о томъ, въ какой мѣрѣ они истинны, сколько чувствовать, какъ они могутъ воинственно настраивать душу. Нужно было только отдаться наплыву того настроенія, какое можетъ охватить человѣка, проповѣдующаго нѣчто „радикальное“, какъ, напримѣръ: отрицаніе за „духомъ“ издавна за нимъ признаннаго права на первенство и отрицаніе его преимущества по существу сравнительно съ „матеріей“; непризнаніе вообще никакого дѣленія на „высшія“ и „низшія“, когда рѣчь идетъ о явленіяхъ природы во всемъ ихъ разнообразіи; уравненіе въ правахъ всѣхъ явленій, поскольку они всѣ обнаруженія единаго начала жизни; признаніе требованій „плоти“ столь же законными, какъ и требованія „духа“; предостереженіе не подпадать соблазну „красоты“ и „поэтичности“, когда дѣло идетъ объ оцѣнкѣ жизни, понимаемой какъ неизбѣжное закономѣрное развитіе заложенной въ ней единой силы и т. п. Всѣ такія наполовину мысли, наполовину чувства могутъ быть пробуждены матеріалистическимъ міропониманіемъ, если человѣкъ идетъ навстрѣчу этому міровоззрѣнію главнымъ образомъ потому, что онъ неудовлетворенъ тѣмъ житейскимъ порядкомъ, который процвѣлъ подъ сѣнью противорѣчащихъ матеріализму ученій. Во всякомъ случаѣ какъ бы произвольны ни были скачки мысли изъ области философскаго матеріализма въ область

гражданскихъ чувствъ и соціально-политическихъ взглядовъ, но такіе скачки вполнѣ возможны, въ особенности при извѣстномъ темпераментѣ, подогрѣтомъ исключительными общественными условіями. Несомнѣнно, что и демократическіе идеалы Чернышевскаго находили себѣ немалую поддержку въ его матеріалистическомъ истолкованіи началъ жизни; и закономѣрный прогрессъ, который долженъ былъ въ концѣ концовъ уравнять всѣхъ людей въ ихъ правѣ на жизнь и на ея блага, являлся въ его глазахъ желѣзной необходимостью въ развитіи матеріальной силы, движущей міромъ.

Если матеріализмъ въ его упрощенной формѣ могъ поддержать демократическую тенденцію мысли и чувства, то теорія „здороваго эгоизма", на которой Чернышевскій остановился какъ на самомъ научномъ и психологически наиболѣе обоснованномъ истолкованіи основъ и сущности нашихъ нравственныхъ понятій и дѣйствій могла оказать демократической тенденціи еще бо́льшую помощь. Эта теорія признавала за всѣми людьми безъ изъятія право на „эгоизмъ" и на его самооборону. Разумный эгоистъ, какъ думалъ Чернышевскій, былъ даже нравственно обязанъ давать волю своему эгоизму, такъ какъ такое утвержденіе своей эгоистически-нравственной личности должно было идти на благо обществу. Предположить что на такой эгоизмъ имѣютъ право лишь нѣкоторые люди — въ томъ или иномъ смыслѣ привилегированные — было невозможно, не нарушая общаго правила, примѣнимаго къ психикѣ каждаго „Здоровый эгоизмъ" былъ общечеловѣческимъ нравственнымъ закономъ. Болѣе демократичную этику трудно было себѣ представить, такъ какъ верховнымъ ея закономъ являлось не какое-нибудь высокое нравственное сознаніе, до котораго многіе могли и не дорости, не какая-нибудь религіей или философіей освященная мораль любви и состраданія, которая до сихъ поръ мирилась со всевозможными нравственными аномаліями, а здоровый инстинктъ, всѣмъ присущій и самъ по себѣ благодѣтельный. Теорія

здороваго эгоизма избавляла, кромѣ того, своего исповѣдника отъ раздумья надъ труднѣйшимъ вопросомъ о согласованіи интересовъ личныхъ съ интересами общими. Этотъ вопросъ теорія не рѣшала, а разрубала, предположивъ заранѣе, что всякій разумно эгоистическій поступокъ личности идетъ на пользу среды и что всякій неразумно эгоистическій поступокъ отдѣльнаго лица будетъ тотчасъ же обезвреженъ и парализованъ разумнымъ эгоизмомъ ближняго. Для демократическихъ идеаловъ Чернышевскаго и для мечтаній объ утопической гармоніи страстей и интересовъ при грядущемъ общественномъ строѣ, такая этика была очень утѣшительной увѣренностью, и Чернышевскій, не тратя силъ на ея научное обоснованіе, не упускалъ случая подтверждать ее своимъ авторитетомъ.

Въ демократическомъ духѣ можно было истолковать и ту „религію человѣчества“, которая, какъ Чернышевскому казалось, должна стать законной наслѣдницей господствующаго религіознаго міропониманія. „Религія человѣчества“ для демократа по убѣжденію и чувству таила въ себѣ, однако, большую опасность. „Человѣчество“ могло быть понято въ прямомъ смыслѣ, какъ собирательное имя всѣхъ на свѣтѣ жившихъ, живущихъ и имѣющихъ жить людей — и тогда религія такого человѣчества могла быть вполнѣ согласована съ демократической тенденціей. Но подъ „человѣчествомъ“ можно было разумѣть и понятіе о „человѣческомъ“ вообще, въ его самой совершенной, самой сильной и красивой формѣ. При такомъ толкованіи культъ человѣчества легко могъ перейти въ культъ человѣка-бога, т. е. отвлеченнаго представленія о героѣ-человѣкѣ, совмѣщающемъ въ себѣ всевозможныя совершенства. Этотъ сверхъ-человѣкъ, какъ идеалъ, и тѣ сверхъ-люди, которые къ этому идеалу на землѣ приближались, могли претендовать на особыя преимущества и прерогативы. Имъ въ жертву могло быть принесено благо тѣхъ, кто менѣе совершененъ, чѣмъ они, и ихъ появленіе на землѣ можно было привѣтствовать какъ заро-

шеніе историческаго процесса, какъ обнаруженіе тайны всей эволюціи жизни. Въ этомъ смыслѣ религія человѣчества и была, какъ извѣстно, истолкована многими въ недавніе дни пресловутой переоцѣнки всѣхъ моральныхъ цѣнностей. Она повлекла за собой проповѣдь крайняго индивидуализма и аристократизма духа и тѣла и полное отрицаніе той нравственности, на какой всѣ соціальныя теоріи до сей поры были построены. Но не эту религію человѣка,—на возможность появленія которой въ шестидесятыхъ годахъ были лишь намеки — имѣлъ въ виду Чернышевскій, когда, исходя изъ ученія Фейербаха и вспоминая мистическую доктрину Пьера Леру —онъ говорилъ о культѣ „человѣчества". Этимъ словомъ онъ обозначалъ единое цѣлое, чувствующее, мыслящее и живущее на землѣ,—то конечное обнаруженіе силъ природы, которому данъ великій даръ—сознаніе міра и самого себя и даръ размышленія о цѣли своего призванія. Къ этому единому „человѣчеству" мы должны относиться съ тѣмъ религіознымъ чувствомъ, съ какимъ привыкли обращаться къ Богу; въ человѣчествѣ мы должны видѣть весь смыслъ бытія, и, не рѣшая вопроса о томъ, во что это бытіе разрѣшится за гранями жизни, мы земную жизнь должны признать за высшую цѣнность. Здѣсь на землѣ человѣчеству надлежитъ построить себѣ достойный его храмъ—тотъ храмъ жизни, въ которомъ нѣтъ мѣста для страданія и несправедливости. Храмъ этотъ долженъ быть воздвигнуть во спасеніе всѣхъ безъ изъятія, всѣхъ, кто имѣетъ право на святое имя человѣка; и не должно быть такихъ, кто остался бы за его оградой. Пока существуютъ обездоленные, страдающіе и униженные, пока существуютъ люди темные, съ не просвѣтленнымъ умомъ и сердцемъ — осквернена святыня человѣчества и униженъ предметъ богопочитанія. Такъ думалъ Чернышевскій, и такая новая форма религіознаго міропониманія могла вполнѣ быть согласована съ его строгими демократическими идеалами.

Такое же согласованіе допускала въ извѣстномъ смыслѣ

и эстетическая теорія Чернышевскаго. Если живая жизнь — высшее и совершенное обнаруженіе красоты въ мірѣ, и человѣкъ, какъ таковой, ея наиболѣе яркій выразитель, то всякое безобразіе, въ особенности нравственное—есть оскорбленіе красотѣ, которая, конечно, не можетъ довольствоваться лишь областью внѣшняго. Высшее эстетическое наслажденіе дано въ созерцаніи человѣка внѣшне и внутренне красиваго, и потому все, что такой красотѣ наноситъ ущербъ, все, что не позволяетъ ей развиться въ человѣкѣ—всѣ условія жизни, ей неблагопріятныя, должны быть устранены, и всѣмъ людямъ безъ исключенія дарована возможность—развивать и совершенствовать въ себѣ и собой эстетическое начало. Передъ красотой всѣ люди равноправны.

Итакъ соціалистическія утопіи и выработанное имъ самимъ философское міросозерцаніе укрѣпляли Чернышевскаго въ его оптимистическихъ взглядахъ на прогрессъ и, главное, оттѣняли въ этихъ взглядахъ очень ярко основную демократическую тенденцію — ту, которая еще на самой зарѣ его жизни заставила его признаться самому себѣ въ томъ, что онъ — демократъ „рѣшительно, въ душѣ, по существу, и не однимъ умственнымъ убѣжденіямъ".[47]

Хоть и медленно, но міръ идетъ впередъ. „Законъ прогресса — ни болѣе, ни менѣе, какъ чисто физическая необходимость, въ родѣ необходимости скаламъ понемногу вывѣтриваться, рѣкамъ стекать съ горныхъ возвышенностей въ низменности, водянымъ парамъ подниматься вверхъ, дождю падать внизъ. Прогрессъ — просто законъ нарастанія. Элементы и процессы въ исторіи общества гораздо сложнѣе, нежели въ исторіи природы и потому слѣдить за ихъ законами гораздо труднѣе, но во всѣхъ сферахъ жизни законы одинаковы. Отвергать прогрессъ — такая же нелѣпость, какъ отвергать силу тяготѣнія, или силу химическаго сродства... Прогрессъ совершается чрезвычайно медленно, но все-таки девять десятыхъ частей того, въ чемъ состоитъ

прогрессъ, совершается во время краткихъ періодовъ усиленной работы. За напряженіемъ силъ слѣдуетъ усталость, принуждающая къ бездѣйственному отдыху. Во время отдыха возстановляются силы; бездѣйствіе, сначала столь отрадное, мало-по-малу становится скучнымъ и возвращается жажда дѣятельности, покинутой на время отъ изнеможенія... Таковъ общій ходъ исторіи: ускоренное движеніе и вслѣдствіе его застой и во время застоя возрожденіе неудобствъ, къ отвращенію которыхъ была направлена дѣятельность, но съ тѣмъ вмѣстѣ и укрѣпленіе силъ для новаго движенія, и за новымъ движеніемъ новый застой и потомъ опять движеніе, и такая очередь до безконечности... Кто въ состояніи держаться на этой точкѣ зрѣнія, тотъ не обольщается излишними надеждами въ свѣтлыя эпохи одушевленной исторической работы: онъ знаетъ, что минуты творчества непродолжительны и влекутъ за собой временный упадокъ силъ. Но зато неунываетъ онъ и въ тяжелые періоды реакціи, онъ знаетъ, что отъ реакціи по необходимости возникаетъ движеніе впередъ, что самая реакція приготовляетъ и потребность, и средства для движенія. Онъ не мечтаетъ о вѣчномъ продолженіи дня, когда поля облиты радостнымъ, теплымъ свѣтомъ солнца. Но когда охватитъ ихъ мрачная, сырая и холодная ночь, онъ съ твердой увѣренностью ждетъ новаго разсвѣта и, спокойно всматриваясь въ положеніе созвѣздій, считаетъ, сколько именно часовъ осталось до появленія зари".[43] Эти строки, написанныя въ 1859 году, объединяютъ въ красивомъ обобщеніи высказанные Чернышевскимъ при разныхъ случаяхъ взгляды на движеніе человѣчества къ намѣченной имъ и самой природой ему поставленной цѣли.

## IV.

Спокойная и радостная увѣренность въ возможномъ достиженіи желаемаго не исключала, конечно, упорной мысли о томъ, какими же средствами это желаемое должно быть

достигнуто и какія именно общественныя силы двигаютъ прогрессомъ. Идеалистическая философія исторіи объ этихъ силахъ ничего не говорила; она давала лишь величественную и красивую картину торжества конечнаго идеала; соціалистическія утопіи говорили объ этихъ силахъ очень часто, но всѣ ихъ расчеты были построены на слишкомъ преувеличенной оцѣнкѣ этихъ силъ и на предположеніи, что онѣ сами по себѣ начнутъ дѣйствовать въ опредѣленномъ желательномъ направленіи и будутъ въ состояніи именно такъ дѣйствовать. Изъ всѣхъ утопій Чернышевскій, мы видѣли, облюбовалъ ту, которая при всей фантастичности ея деталей, была въ основѣ своей всетаки до извѣстной степени научна, такъ какъ въ своихъ построеніяхъ исходила главнымъ образомъ изъ экономическихъ соображеній. Но потерявъ вѣру въ фурьеризмъ и сохранивъ лишь любовь къ нему, Чернышевскій не могъ не признать, что и [illegible], какъ есть, осуществимъ [illegible] путемъ къ намѣченной цѣли [illegible] слишкомъ много надѣялся на „добрыя желанія" [illegible], чтобы имѣть право говорить съ увѣренностью [illegible], несомнѣнно, отъ того [illegible] будутъ дѣйствовать [illegible] общественныхъ группъ, [illegible] хотя бы [illegible]

Какія исторически [illegible] [illegible]

смыслѣ этого слова, массъ трудящихся, пользующихся наименьшими правами и несущихъ наибольшую тяжесть общественной работы — сила, размѣры и размахъ которой учитать было трудно, такъ какъ она вступала въ дѣйствіе лишь въ исключительныхъ случаяхъ.

Отъ сочетанія этихъ трехъ силъ—правительственной, либерально-оппозиціонной и силы народной съ пока невыяснившейся программой, но съ несомнѣнно назрѣвшимъ чувствомъ недовольства—зависѣло то движеніе впередъ, которое должно было привести къ желанной цѣли. Всякій, кто задумывался надъ способами, какими можно было торопить это движеніе, долженъ былъ рѣшить, на какую же изъ этихъ трехъ силъ можно съ увѣренностью опереться. Предположить, что правительственная власть сама поторопится приблизить жизнь къ демократическому идеалу—для такого трезваго ума, какъ Чернышевскій—было немыслимо. Хотя въ нѣкоторыхъ соціалистическихъ утопіяхъ и высказывалась неоднократно мысль о томъ, что существующее правительство могло-бы взять на себя иниціативу въ дѣлѣ обновленія соціальнаго строя, но Чернышевскій былъ хорошо освѣдомленнымъ историкъ и онъ зналъ, что всегда и вездѣ правительство (кромѣ революціоннаго, т. е. переходнаго) стояло на стражѣ существующаго и очень туго только въ силу необходимости шло на уступки. Такую необходимость могла создать лишь посторонняя сила, но отнюдь не само правительство, которое крайне упорно даже тогда, когда само сознавало неизбѣжность перемѣны. Во всякомъ случаѣ строить свои надежды на правительствахъ, какова бы ни была ихъ форма, значило обнаружить особенную наивность ума. Во всемъ, что Чернышевскій писалъ по политическимъ вопросамъ, говорилъ-ли онъ о Западѣ или о Россіи, такой наивности незамѣтно.

Правительственная сила не могла быть, такимъ образомъ, использована въ интересахъ быстраго движенія къ новой [illegible].

какая намѣчена прогрессомъ, какъ его понималъ Чернышевскій.

Насколько же твердую опору представляла въ данномъ случаѣ сила либеральной оппозиціи, въ лицѣ разныхъ болѣе или менѣе интеллигентныхъ и обезпеченныхъ общественныхъ слоевъ?

## V.

Чернышевскому надлежало высказаться по вопросу о значеніи и цѣнности политической борьбы партій, такъ какъ именно въ этой борьбѣ могла проявиться энергія и жизнеспособность той либеральной силы, которая брала на себя защиту грядущаго лучшаго передъ неудовлетворяющимъ ее настоящимъ.

Много было писано о томъ, въ какой мѣрѣ Чернышевскій можетъ назваться сторонникомъ борьбы за политическія права, т. е. за тѣ права, которыя идутъ на пользу прежде всего классамъ интеллигентнымъ и имущимъ и лишь косвенно могутъ вліять на улучшеніе условій жизни классовъ трудовыхъ и неимущихъ. Высказывалось нерѣдко мнѣніе, что эту борьбу Чернышевскій оцѣнивалъ очень низко. Его взгляды на этотъ вопросъ, къ сожалѣнію, не приведены въ систему. Чернышевскій очень часто говоритъ на эту тему, писалъ ли онъ о дѣлахъ европейскихъ или русскихъ; и быстрый переходъ отъ вопросовъ жизни иноземной къ темамъ жизни отечественной и обратно долженъ былъ внести нѣкоторую безсвязность въ его оцѣнку политической борьбы вообще, такъ какъ иной она была тамъ и совсѣмъ иной могла быть у насъ.

Положеніе Чернышевскаго при обсужденіи именно этого вопроса о значеніи политической борьбы въ Россіи [illegible] свободное. Писалъ Чернышевскій [illegible] и имѣлъ въ виду, конечно, что [illegible]

ровини — т. е. страны, въ которой никакой политической борьбы пока не существовало. Политикомъ-теоретикомъ онъ не былъ, а политическая борьба партій сама по себѣ интересовала его постольку, поскольку она могла быть использована не для ближайшихъ цѣлей, а для цѣли конечной. Сравнивая положеніе дѣлъ въ Россіи съ положеніемъ на западѣ, Чернышевскій не могъ не видѣть огромнаго значенія, какое имѣли завоеванныя политическія права для людей, находившихся съ нимъ — съ Чернышевскимъ — въ одномъ положеніи. Зналъ онъ также, что, несмотря на относительно выгодное положеніе, въ какомъ находились нѣкоторыя общественныя группы, положеніе трудовыхъ массъ на западѣ было весьма жалкое. И могъ возникнуть вопросъ: желательно-ли, чтобы Россія прошла черезъ ту форму политическаго развитія, которая грозитъ дать русскому народу столько же мало, сколько она дала народамъ сосѣднимъ? Быть можетъ, намъ, русскимъ, удастся какъ-нибудь избѣжать этой борьбы политическихъ партій, борьбы, которая идетъ на пользу, прежде всего, привилегированнымъ общественнымъ группамъ, а не всему народу? Съ другой стороны, разсматривая условія, въ которыхъ приходится работать русскому интеллигенту — въ томъ числѣ и всѣмъ народолюбцамъ, можно было впасть въ полное отчаяніе и съ завистью посмотрѣть на западъ, гдѣ долголѣтняя политическая борьба въ концѣ концовъ все-таки увѣнчалась завоеваніемъ нѣкоторыхъ политическихъ правъ, которыя могли благотворно отозваться и на общенародной жизни. Всѣ эти соображенія чисто практическаго свойства должны были нарушать систематичность мысли Чернышевскаго по данному вопросу. Демократъ-теоретикъ относился съ нѣкоторымъ презрѣніемъ къ правамъ, отъ которыхъ демократическій принципъ жизни выигрывалъ мало, а русскій обездоленный интеллигентъ завидовалъ своему сосѣду и думалъ, что, находясь онъ на его мѣстѣ, онъ сумѣлъ бы, въ интересахъ народа, полнѣе и лучше использовать свое выгодное политическое положеніе. Но

сли Чернышевскій и не далъ связнаго трактата по вопросу о цѣнности политическихъ правъ и по вопросу о формѣ правленія, при которой такія права могли бы подойти къ преимуществу демократическому началу, — то въ своей публицистикѣ онъ такъ часто возвращался къ этой темѣ, что общій выводъ, къ которому онъ пришелъ, можетъ быть легко угаданъ.

Русскій читатель, не получившій никакого политическаго воспитанія, находилъ въ статьяхъ Чернышевскаго первое и очень подробное руководство къ изученію совсѣмъ ему незнакомаго предмета. Никто изъ русскихъ журналистовъ не отводилъ вопросамъ внутренней политики столько мѣста, сколько Чернышевскій. Онъ говорилъ о нихъ при каждомъ удобномъ случаѣ, въ основныхъ статьяхъ, въ рецензіяхъ, въ библіографическихъ замѣткахъ, преимущественно въ отдѣлѣ „Политика", который съ 1859 года былъ внесенъ въ программу „Современника". Чернышевскій зорко слѣдилъ за ходомъ внутренней жизни на Западѣ, во Франціи, Англіи, Австріи, Италіи, Пруссіи и Соединенныхъ Штатахъ, онъ входилъ внимательно не только въ сущность вопросовъ, но и въ детали, и иногда могло казаться, что статьи писалъ иностранецъ, непосредственно заинтересованный въ нихъ. Вопросы о свободѣ рѣчи и печати, объ избирательномъ правѣ, о конституціонныхъ порядкахъ, о самоуправленіи [illegible] въ разныхъ странахъ давали Чернышевскому матеріалъ [illegible] сравненія, и тотъ, кто внимательно читалъ эти страницы, могъ замѣтить, что всѣ разговоры о [illegible] въ концѣ концовъ были разсчитаны на то, чтобы [illegible] читателя въ [illegible] демократическаго образа мыслей самого автора. Если демократія въ самой [illegible] отъ политической борьбы выиграла мало, то [illegible] что-нибудь выиграть изъ разговоровъ объ этой борьбѣ? Въ этомъ духѣ Чернышевскій и велъ [illegible] бесѣды. Онъ часто и подробно останавливался [illegible] тѣхъ явленіяхъ внутренней политической жизни Европы, [illegible] которыхъ [illegible] проступали и народу [illegible]

ренные [что бывало рѣдко], либо неудовлетворенные [что случалось гораздо чаще] интересы народной массы. Что выигрываетъ народъ при данномъ политическомъ положеніи или при проведеніи той или другой политической реформы — этотъ вопросъ выдвигался всегда на первое мѣсто, и съ этой точки зрѣнія оцѣнивались событія. Такимъ образомъ, если Чернышевскій и былъ очень невысокаго мнѣнія о цѣнности разныхъ политическихъ правъ, то это нисколько не мѣшало ему сдѣлать разговоръ объ этихъ правахъ очень цѣннымъ для дорогого ему дѣла—укорененія въ русскомъ читателѣ демократическаго образа мыслей и демократическихъ симпатій сердца. На западѣ такіе разговоры были бы только словами; у насъ же эти слова о политикѣ были, несомнѣнно, политическимъ выступленіемъ, актомъ служенія не какой-нибудь партійной программѣ, а дѣлу общаго политическаго воспитанія, безъ котораго немыслимо и проведеніе демократическихъ идеаловъ въ жизнь. Но былъ-ли Чернышевскій, дѣйствительно, невысокаго мнѣнія о политической борьбѣ? Изъ сопоставленія всѣхъ его разрозненныхъ мнѣній по этому вопросу — вытекаетъ очень опредѣленный выводъ, точно формулированный однимъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей его ученія. „Не отрицаніе свободныхъ политическихъ учрежденій, пишетъ Русановъ,[49] но серьезное раздумье надъ тѣмъ, какъ заинтересовать народъ въ широкой политической свободѣ — вотъ что составляетъ центръ тяжести мыслей Чернышевскаго относительно той перспективы, въ которой должны размѣщаться политическія и экономическія требованія „демократовъ“ [синонимъ „соціалистовъ“ у Чернышевскаго], желающихъ торжества трудового міровоззрѣнія. И если мы остановимся на констатированіи Чернышевскимъ того факта, что „при нынѣшнемъ состояніи, свобода слова становиться средствомъ демократической страстной пропаганды“ или того факта, что „парламентскія пренія также должны принять повсюду радикально-демократическій характеръ, если парламентъ будетъ состоять изъ представителей

націй въ обширномъ смыслѣ слова", то вы поймете, что исходъ изъ современнаго положенія дѣлъ Чернышевскій видѣлъ всетаки въ возможномъ приобщеніи массъ къ политическимъ правамъ и въ борьбѣ за ихъ расширеніе".

Не учесть значенія политической борьбы въ общемъ ходѣ прогресса Чернышевскій, конечно, не могъ, но онъ имѣлъ всѣ основанія думать, что эта борьба отнюдь не главный факторъ движенія. Въ ней находила себѣ проявленіе лишь одна изъ дѣйствующихъ общественныхъ силъ — быть можетъ, въ общемъ болѣе значительная, чѣмъ сила правительственной власти, но все-таки менѣе значительная, чѣмъ сила „народная", сила той массы, которая въ политической борьбѣ участвуетъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ лишь на правахъ безучастнаго зрителя или, въ лучшемъ смыслѣ, слѣпого орудія, съ которымъ можно не считаться, разъ оно свое дѣло сдѣлало.

Представить себѣ ходъ развитія прогресса безъ участія въ немъ массовой силы народа немыслимо. Всѣми трудами отдѣльныхъ личностей должна въ концѣ концовъ воспользоваться масса; работа всѣхъ героевъ должна пойти ей на пользу.

„Какова бы ни была форма политическаго устройства, предпочитаемая извѣстной партіей, все равно, эта форма можетъ получить прочность только отъ разрѣшенія вопросовъ, составляющихъ предметъ [illegible] мечтателей, которые заботятся приискать средства къ удовлетворенію потребностей массы".[50] Этой массовой силой приводится въ движеніе и весь процессъ исторіи. „Ходъ великихъ міровыхъ событій неизбѣженъ и неотвратимъ, какъ теченіе великой рѣки: никакая скала, никакая пропасть не удержитъ ея, не говоря уже о плотинахъ, произвольно устраиваемыхъ: плотиною никакая сила не пересилитъ Рейна или Волги, и всесильная рѣка однимъ напоромъ выбрасываетъ на берегъ всѣ сваи и весь мусоръ, которымъ [illegible] безумца хотѣла прекратить ея теченіе. Единственнымъ [illegible]

зультатомъ безразсудной попытки будетъ только то, что берегъ, который спокойно наполнялся бы рѣкою и зеленѣлъ роскошнымъ лугомъ, будетъ на время истерзанъ и обезображенъ гнѣвомъ оскорбленной волны, а рѣка пойдетъ таки своимъ путемъ, зальетъ всѣ пропасти, прорветъ хребты горъ и достигнетъ океана, къ которому стремится. Совершеніе великихъ міровыхъ событій не зависитъ ни отъ чьей воли, ни отъ какой личности. Они совершаются по закону столько же непреложному, какъ законъ тяготѣнія или органическаго возрастанія. Но скорѣе или медленнѣе совершается міровое событіе, тѣмъ или другимъ способомъ совершается оно—это зависитъ отъ обстоятельствъ, которыхъ нельзя предвидѣть и опредѣлить напередъ. Важнѣйшее изъ этихъ обстоятельствъ—появленіе сильныхъ личностей, которыя характеромъ своей дѣятельности даютъ тотъ или другой характеръ неизмѣнному направленію событій, ускоряютъ или замедляютъ его ходъ и сообщаютъ своею преобладающею силой правильность хаотическому волненію силъ, приводящихъ въ движеніе массы".[51] Опредѣлить точно сущность таинственныхъ силъ, двигающихъ міровыми событіями нельзя, но указать на главный рычагъ, какимъ эти силы пользуются, вполнѣ возможно. Этотъ рычагъ, несомнѣнно народныя массы.

## VI.

Но указать на главный факторъ прогресса, не значитъ еще отвѣтить на вопросъ, какъ этотъ факторъ дѣйствуетъ и какими способами его дѣйствіе можетъ быть ускорено. Если выступленіе отдѣльныхъ личностей можетъ быть благотворно лишь постольку, поскольку это дѣйствіе находится въ согласіи съ потребностями и желаніями массы; если борьба цѣлыхъ политическихъ партій получаетъ свой смыслъ и идетъ на пользу жизни лишь при условіи совпаденія интересовъ этихъ партій съ интересами народа въ широкомъ

смыслѣ слова,—нужно же выяснить наконецъ, что такое по существу своему эта главенствующая народная сила, каково ея историческое прошлое, какова ея психологія, ея образъ мыслей, ея потребности; надо выяснить, въ какой области жизни она можетъ имѣть болѣе или менѣе рѣшающій голосъ и замѣтное вліяніе. Въ наше время цѣлый рядъ наукъ отвѣчаетъ на эти вопросы: соціологія, исторія народныхъ движеній, психологія толпы, политическая экономія, статистика и объединяющій всѣ эти отрасли знанія „научный соціализмъ“. Въ годы, когда писалъ Чернышевскій, всѣ эти науки на западѣ находились въ стадіи первой подготовительной работы, вплоть до научнаго соціализма, который изъ кабинета ученыхъ съ Родбертусомъ и Марксомъ во главѣ пока еще не выходилъ на площадь. Для Россіи эти науки не существовали. Чернышевскій зналъ о нихъ и былъ въ Россіи, пожалуй, единственнымъ человѣкомъ, [illegible] и спеціалистовъ, который вполнѣ правильно оцѣнивалъ ихъ значеніе въ вопросѣ о сущности и [illegible] прогресса. Слѣдить внимательно за ростомъ всѣхъ этихъ наукъ онъ, конечно, времени и возможности не имѣлъ, но среди нихъ была одна наука, уже достаточно въ то время на западѣ разработанная и потому болѣе доступная изученію. Отъ этой науки, отъ политической экономіи, Чернышевскій надѣялся получить отвѣтъ на вопросъ, который [illegible] она могла объяснить, какимъ основнымъ законамъ подчиняется жизнь народной массы, [illegible] этой массы, какъ [illegible] въ какомъ направленіи. Чернышевскому было ясно, что народная масса сильна преимущественно своимъ экономическимъ [illegible] ніемъ, что условія ея силы даны именно въ экономическомъ положеніи, и что только въ области экономики [illegible] народная масса можетъ [illegible] прогресса. Когда-то эта масса была связана [illegible] но [illegible] никогда [illegible]

стала послушнымъ орудіемъ въ рукахъ правящихъ классовъ; идейной силой масса никогда не владѣла; революціонныя вспышки давали ей власть на весьма короткій срокъ, и только какъ сила экономическая она могла имѣть длительное и прочное значеніе. Если ей суждено стать важнымъ факторомъ прогресса, то она можетъ стать имъ лишь при условіи, если отъ нея будетъ зависѣть направленіе всего дальнѣйшаго экономическаго развитія жизни. Наука политической экономіи можетъ освѣтить эту пока еще темную сторону въ исторіи прогресса. Такъ думалъ Чернышевскій и въ этомъ онъ хотѣлъ убѣдить своихъ современниковъ. Слѣдуя за нимъ, все демократически настроенное и радикально мыслящее молодое поколѣніе считало политическую экономію основной наукой, на которой должно быть построено новое научное пониманіе историческаго процесса. Не только какъ строгая наука въ цѣломъ и въ деталяхъ была цѣнна политическая экономія; она была цѣнна главнымъ образомъ тѣмъ, что опредѣляла научную точку зрѣнія, на которую надо было стать, чтобы въ оцѣнкѣ прогресса имѣть правильную историческую перспективу въ прошломъ и вѣрный расчетъ на будущее. Неудивительно, что жадные, страстные и нетерпѣливые молодые люди шестидесятыхъ годовъ отдавали столько любви и терпѣнія этой трудной и для нихъ совсѣмъ новой наукѣ.

„Матеріальныя условія быта, говорилъ Чернышевскій еще въ самомъ началѣ своей литературной дѣятельности (1856), играютъ едва ли не первую роль въ жизни и составляютъ коренную причину почти всѣхъ явленій и въ другихъ, высшихъ сферахъ жизни".[52] Изъ этихъ матеріальныхъ условій Чернышевскій сталъ все чаще и настойчивѣе выдѣлять условія экономическія.

Надлежало, однако, найти такую книгу, которая облегчила бы пропаганду науки политической экономіи въ Россіи. Задача была нелегкая, такъ какъ Чернышевскій отъ этой науки ожидалъ не только научныхъ выводовъ, но глав-

нымъ образомъ подтвержденія своихъ взглядовъ на ходъ прогресса, приближающаго насъ къ соціалистическому строю. Политическая экономія должна была такъ или иначе поступить въ услуженіе къ соціализму. Въ настоящее время такое сочетаніе намъ кажется вполнѣ естественнымъ, но въ годы, когда Чернышевскій о немъ думалъ, союза между политической экономіей и соціалистическимъ ученіемъ еще не существовало. Господствовавшая экономическая школа,— она боялась соціализма, видѣла въ немъ своего врага, нерѣдко выступала противъ него, опираясь на выводы старыхъ экономическихъ трактатовъ. Опереться на нихъ Чернышевскій не могъ. Но для созданія систематическаго трактата по экономической наукѣ во всемъ ея объемѣ, трактата съ новой соціалистической тенденціей требовалось много времени, а между тѣмъ нужно было торопиться, такъ какъ отъ успѣшнаго и быстраго укорененія этой науки въ русскихъ умахъ зависѣло цѣлое направленіе общественной мысли. Чернышевскій остановился на извѣстной книгѣ Милля, часть ея перевелъ, часть изложилъ своими словами и снабдилъ ее примѣчаніями. Эти примѣчанія высоко цѣнятся въ экономической наукѣ, но не она главнымъ образомъ выиграла отъ нихъ. Они пошли прежде всего на пользу общественному развитію русской молодежи, которая по нимъ стала знакомиться съ научнымъ пониманіемъ соціализма. Соціалистомъ Милль не былъ; главнымъ факторомъ прогресса онъ признавалъ не экономическую силу, а силу знанія и идей, измѣненія въ которыхъ предшествуютъ всякому прогрессивному движенію; мѣриломъ прогресса онъ бралъ развитіе умозрительныхъ способностей и стремленіе людей къ истинѣ. Большія надежды возлагалъ онъ на „перемѣны въ убѣжденіяхъ людей"; въ экономическихъ вопросахъ онъ примыкалъ къ старой школѣ, и Чернышевскій подозрѣвалъ его въ томъ, что онъ не свободенъ отъ сословныхъ предразсудковъ того богатаго класса, къ которому онъ принадлежалъ.[53] Но и другомъ соціализма Милль также не былъ. „Онъ [illegible]

ужасающія другихъ теоріи очень спокойно и не видѣлъ въ нихъ ничего возмутительнаго. Пересматривая возраженія, какія дѣлаются противъ коммунизма, онъ не находилъ между ними ни одного основательнаго. Рѣшительный выводъ его о коммунизмѣ былъ тотъ, что если система собственности будетъ усовершенствована, она — почему знать? — окажется можетъ быть и лучше коммунизма, но въ нынѣшнемъ своемъ видѣ далеко уступаетъ ему. Къ соціализму Милль обнаруживалъ еще болѣе сочувствія и не видѣлъ уже въ немъ ровно ничего не только дурного, но и неудобнаго. Одно только сомнѣніе выставлялъ онъ: онъ говорилъ, что нынѣшній уровень общественной нравственности очень низокъ, и спрашивалъ, способны ли люди къ принятію какого-нибудь хорошаго устройства при этомъ нынѣшнемъ своемъ состояніи“?[54]

Можно было слегка посмѣяться надъ Миллемъ за такую осторожность сужденія, что Чернышевскій и сдѣлалъ. Можно было возразить Миллю, и сказать какъ бы въ назиданіе: „хладнокровно разсуждать о шансахъ любимаго дѣла, въ то самое время, когда стараешься объ исполненіи его, это возможно только при большой опытности или при особенномъ темпераментѣ, въ которомъ холодность ума соединяется съ горячностью воли. Людей того и другого рода всегда бываетъ мало. Остальныхъ не разубѣдишь: имъ все будетъ казаться, что вотъ-вотъ представится одинъ изъ тѣхъ, почти безпримѣрныхъ въ исторіи случаевъ, когда съ одного раза прочно пріобрѣталось многое“.[55] Можно было съ особенной настойчивостью подчеркнуть такія слова Милля: „Я согласенъ съ соціалистическими писателями въ понятіи о той формѣ, къ принятію которой идетъ развитіе промышленныхъ операцій, и совершенно раздѣляю ихъ мнѣніе, что уже созрѣло время для начинанія этой реформы и что ее надобно помогать и поощрять ее всѣми справедливыми и дѣйствительно успѣшными средствами“.[56] Можно было въ самомъ предисловіи къ книгѣ сказать совершенно откровенно,

что на русскомъ языкѣ нѣтъ трактатовъ о политической экономіи, излагающихъ науку въ духѣ теоріи, [illegible], что книга Милля переводится на русскій языкъ, чтобы дать читателю доказательство, что большая часть положеній, противъ которыхъ мы споримъ, вовсе не принадлежитъ къ строгой наукѣ, а должна считаться только искаженіемъ ея; что книга Милля при всѣхъ ея достоинствахъ излагаетъ систему, которая все-таки далеко [illegible], что [illegible] считаемъ систему Милля не вполнѣ удовлетворительною, но опираемся на нее потому, что въ ней честно и вѣрно изложена та сторона науки, которая развилась раньше другихъ частей и служитъ основаніемъ [illegible]; что наконецъ всѣ эти выводы будутъ даны въ примѣчаніяхъ переводчика.

Можно было сдѣлать всѣ эти оговорки и тогда [illegible] трактатъ получалъ характеръ боевой книги, которая должна была не закрѣплять собой установившееся ученіе, а [illegible] его пересмотръ и ускорять переходъ къ ученію болѣе современному и совершенному. [illegible] соціальный, понимаемый уже не такъ [illegible] какъ [illegible], а какъ [illegible], на которыя жизнь уже вступила [illegible] видимая [illegible] системы, которое [illegible] Милля.

## VII.

Н[illegible] массы, [illegible] массы работниковъ, Чернышевскій [illegible]. С[illegible] Чернышевскаго [illegible] рабочаго [illegible] рабочей массы [illegible] вопросѣ въ [illegible] парламентѣ [illegible].

нятѣ депутатовъ [о рабочемъ движеніи въ Германіи у Чернышевскаго свѣдѣній мало], о разныхъ частностяхъ въ правовомъ и экономическомъ положеніи рабочаго труда, о трудѣ женщинъ и дѣтей и т. п. Всѣ разговоры на эти темы велись Чернышевскимъ въ большинствѣ случаевъ безъ всякой системы въ изложеніи предмета, но съ неизмѣнной основной тенденціей—дать понять, какая общественная сила зрѣетъ въ народной массѣ и какое огромное вліяніе эта сила можетъ имѣть на дальнѣйшій ходъ нашей жизни.

„Масса можетъ быть презираема; но состояніе и развитіе всѣхъ классовъ общества зависитъ отъ состоянія массы, ея невѣжество отражается и на ученыхъ, ея пошлость—и на свѣтскихъ людяхъ; ея страданія и на людяхъ, изобилующихъ всѣмъ. Развитіе наукъ, искусствъ, нравственности и всѣхъ другихъ совершенствъ всегда бываетъ прямо пропорціонально матеріальному благосостоянію массы".[57] „Вѣрнѣйшій національный капиталъ есть запасъ нравственныхъ силъ и умственной развитости въ народѣ".[58] Сто лѣтъ тому назадъ масса населенія еще не имѣла твердой мысли о возможности измѣнить свое положеніе. Кто не предъявляетъ своихъ требованій, о томъ никто не заботится. Средній классъ думалъ, что простолюдину ничего особеннаго не нужно, что полнымъ счастіемъ для народа будетъ то, когда ему, среднему классу, удается осуществить свои требованія. Теперь оказалось иное, простолюдины находятъ, что для прочнаго улучшенія ихъ состоянія нужны вещи, которыя не нужны среднему сословію, которыя во многомъ даже несообразны съ выгодами средняго сословія. Оно испугалось этихъ новыхъ требованій; борясь противъ нихъ въ жизни, оно старается опровергнуть ихъ въ теоріи. Если дѣло не измѣнится, если теорія, созданная среднимъ сословіемъ, не будетъ перестроена сообразно потребностямъ новаго, простонароднаго элемента жизни и мысли, она будетъ опровергнута прогрессомъ, уже начавшимъ было во Франціи съ 1848".[59] „Либералы [illegible] пробѣлъ реакціонеровъ, если

остаются съ одними своими силами, потому что либерализмъ понятенъ только образованнымъ людямъ, стало быть имѣетъ своими приверженцами только горсть людей, по сравненію съ массою населенія. Эта масса имѣетъ стремленія, въ сущности одинаковыя съ желаніями послѣдовательныхъ либераловъ, у которыхъ либерализмъ состоитъ не въ однихъ словахъ, а въ стремленіи къ важнымъ реформамъ... Но то, чего хочетъ масса, гораздо обширнѣе реформъ, которыми могли бы удовлетвориться сами по себѣ образованныя сословія. Масса хочетъ коренныхъ измѣненій въ своемъ матерьяльномъ бытѣ. Обыкновенно либералы забываютъ объ этой потребности, и потому масса остается холодна къ нимъ".[60]

На смѣну „либеральнымъ" силамъ идетъ сила народная. Иногда она даетъ знать о себѣ возстаніемъ, и тогда люди политики, даже самые увлеченные крайними республиканскими понятіями, спрашиваютъ: зачѣмъ она возстала и чего она хочетъ?[61] „Жить работою или умереть въ бою" отвѣчаетъ она, и это девизъ чуждый всѣмъ партіямъ. „Основанія благосостоянія рабочихъ людей должны отнынѣ быть совершенно иного рода. Бѣдные уже переросли возможность водить ихъ на помочахъ и нельзя поступать съ ними, какъ съ дѣтьми. Забота объ ихъ судьбѣ должна быть вполнѣ предоставлена имъ самимъ. Нынѣшнимъ наукамъ приходится понять, что благосостояніе народа должно основываться на справедливости и самоуправленіи каждаго гражданина. Теперь, когда зависимыя сословія по общественному положенію становятся все менѣе и менѣе зависимы, а массы ихъ все менѣе и менѣе довольны и тою степенью зависимости, какая еще остается, имъ нужны качества, нужныя для класса независимыхъ людей. Если желаете теперь совѣтъ рабочимъ классамъ, надобно подавать его имъ какъ равнымъ, чтобы они судили о немъ собственнымъ умомъ. Будущее зависитъ отъ того, до какой степени они могутъ сдѣлаться разумными людьми".[62]

## VIII.

Всѣ такія мысли, высказанныя отъ своего лица или отъ имени излюбленнаго авторитета, показываютъ, какъ рѣшительно и послѣдовательно двигались мысли Чернышевскаго въ направленіи къ истолкованію историческаго процесса въ духѣ соціализма. При всей ихъ разбросанности и случайности, сужденія Чернышевскаго по этому вопросу представляютъ собою довольно связный очеркъ общихъ положеній. Въ ряду общественныхъ силъ, двигающихъ прогрессомъ, за послѣднее время выдвигается новая сила — сила народной массы, которая до сей поры не давала себя чувствовать такъ, какъ она могла бы себя дать почувствовать, если бы условія ея жизни были иныя. Съ развитіемъ промышленности и вообще съ повышеніемъ цѣнности земного матеріальнаго благополучія народная масса, главная носительница физической силы, выступаетъ какъ рѣшающій факторъ въ явленіяхъ нашей жизни. То направленіе, какое этой жизни давали классы правящіе, и въ рѣдкихъ случаяхъ группы либеральныхъ политиковъ, не можетъ быть согласовано съ насущными потребностями массы и съ тѣмъ положеніемъ, какое она пока занимаетъ. Дѣломъ воспитанія и образованія этой массы надо заняться какъ можно скорѣе, но не такъ, какъ этимъ занимались до сихъ поръ. Ея образованіе, вниманіе на улучшеніе ея матеріальнаго положенія и самосознанія; въ ней надо признать равноправную общественную силу и предоставить ей самой заботу въ изысканіи средствъ для улучшенія ея положенія.

Въ сочиненіяхъ Чернышевскаго имѣется цѣлый рядъ статей, по которымъ можно возстановить — конечно не безъ пропусковъ и неясностей — цѣлый трактатъ о прошломъ, настоящемъ и будущемъ соціальнаго вопроса. Эта работа въ послѣднее время продѣлана тремя изслѣдователями, и съ появленіемъ ихъ сочиненій началась въ нашей литературѣ

истинно-научная разработка учено-публицистической дѣятельности Чернышевскаго [1]. Вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ Чернышевскій былъ соціалистъ и имѣетъ ли онъ право называться научнымъ соціалистомъ выясненъ довольно опредѣленно.

Приведемъ изъ этихъ книгъ нѣсколько общихъ выводовъ, оговариваясь, что авторы не всегда другъ съ другомъ согласны.

Въ своихъ конечныхъ взглядахъ на желательную форму соціальныхъ отношеній въ будущемъ Чернышевскій былъ несомнѣннымъ соціалистомъ. Опредѣлить время, когда соціалистическій строй установится, онъ не брался. Есть указанія, что онъ отлагалъ его торжество на очень долгіе годы, но признавалъ возможнымъ и при существующемъ соціальномъ порядкѣ проведеніе въ жизнь нѣкоторыхъ правовыхъ и экономическихъ отношеній въ духѣ соціализма. Вопросъ о томъ, станутъ ли дѣйствующія политическія партіи на сторону соціализма, или онъ будетъ вынесенъ на плечахъ исключительно одной новой партіи, вербуемой изъ иныхъ слоевъ общества, чѣмъ находящіяся налицо прогрессивныя общественныя группы—оставался открытымъ. Несомнѣннымъ было только то, что главнымъ и наиболѣе сильнымъ проводникомъ соціализма въ жизнь должна стать сама народная масса. Эта общенародная масса, въ одинаковой степени и земледѣльческая, и рабочая, болѣе другихъ заинтересована въ осуществленіи новаго соціальнаго строя и если такой строй будетъ установленъ, то онъ въ одинаковой степени и земледѣльцу, и рабочему гарантируетъ какъ матеріальное благосостояніе, такъ и свободное удовлетвореніе всѣхъ духовныхъ потребностей. Но въ борьбѣ за право на новую жизнь рабочіе и земледѣльцы располагаютъ не равными силами: рабочій болѣе энергиченъ и развитъ, менѣе сте-

[1] [illegible] ...ышевскій. Соціально-философскій этюдъ. 1910 г.

немъ традиціями, и ему будетъ принадлежать первенствующая роль. Растущая промышленность и развивающійся капитализмъ создадутъ современемъ сильную армію рабочихъ. Капитализмъ имѣетъ много вредныхъ сторонъ, но онъ въ концѣ концовъ воспитываетъ пролетарія. На воспитаніе и образованіе этого пролетарія, на заботу объ огражденіи его правъ, экономическихъ и юридическихъ, должно по преимуществу быть обращено вниманіе всѣхъ тѣхъ, кто вѣритъ въ соціализмъ, какъ въ историческую необходимость. Побѣда соціализму обѣщана самой исторіей и текущая жизнь тѣмъ болѣе выигрываетъ, чѣмъ развитѣе и гуманнѣе грядущій побѣдитель. Какой порядокъ жизни во всѣхъ ея частностяхъ установится, объ этомъ подробно говорить въ настоящую минуту нѣтъ нужды, но присмотрѣться внимательно къ нѣкоторымъ уже дѣйствующимъ формамъ общежитія, какъ напр., къ общинному землевладѣнію или артельному началу весьма полезно и поучительно.

Признавалъ ли Чернышевскій классовую борьбу главнымъ двигателемъ историческаго процесса? Этотъ вопросъ задавали себѣ всѣ изслѣдователи и связывали его съ другимъ, который неизбѣжно напрашивался, а именно — въ какой мѣрѣ Чернышевскій можетъ быть названъ единомышленникомъ Маркса и сторонникомъ экономическаго матеріализма? Мнѣнія разошлись: одному изслѣдователю казалось, что во взглядахъ Чернышевскаго были лишь зачатки истинно научнаго взгляда на соціализмъ, что первенствующее историческое значеніе борьбы классовъ было ему недостаточно ясно, что онъ недостаточно высоко оцѣнилъ силы пролетаріата и вообще былъ болѣе „раціоналистъ“, чѣмъ матеріалистъ въ исторіи; другой ученый утверждалъ, что Чернышевскій шелъ въ своихъ разсужденіяхъ той же дорогой, что и Марксъ, что къ матеріалистическому истолкованію процесса исторіи онъ подошелъ очень близко, что все великое значеніе капитализма и связаннаго съ нимъ рабочаго движенія было ему вполнѣ ясно и что онъ несомнѣнный исповѣдникъ строгаго

научнаго соціализма; наконецъ, было высказано мнѣніе, что Чернышевскій не марксистъ, а „интеллектуалистъ", но съ несомнѣннымъ пониманіемъ того огромнаго значенія, какое экономическій факторъ имѣетъ въ жизни народовъ. Въ одномъ всѣ были согласны — въ томъ, что Маркса Чернышевскій не читалъ и, вѣроятно, о немъ не слыхалъ, и что до всѣхъ положеній своего ученія, которыя напоминаютъ Маркса, Чернышевскій доработался безъ чужой помощи. Съ этимъ можно вполнѣ согласиться, равно какъ и съ тѣмъ, что въ вопросѣ объ историческомъ значеніи классовой борьбы Чернышевскому было вполнѣ ясно значеніе этой борьбы для настоящаго и будущаго. Что же касается роли этой борьбы въ прошломъ, то Чернышевскій этимъ вопросомъ интересовался мало и потому не могъ быть сторонникомъ экономическаго матеріализма во всемъ его объемѣ. Признать, что изъ всѣхъ факторовъ прогресса экономическій самый главный, что именно онъ обусловливаетъ собою все остальное — Чернышевскій врядъ ли бы согласился, такъ какъ подобное утвержденіе должно было быть провѣрено на всемъ историческомъ процессѣ, а не на какой либо одной его части; а такой исторической провѣрки Чернышевскій не производилъ.

## IX.

Мысли Чернышевскаго о соціализмѣ не стоятъ въ сущности въ прямой связи съ его общественной ролью. Никакихъ корней въ русскомъ интеллигентномъ обществѣ и въ русской народной массѣ соціализмъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ не имѣлъ. Какъ общественная сила, онъ появился въ Россіи значительно позже. Но Чернышевскій какъ первый русскій соціалистъ теоретикъ — явленіе очень яркое и характерное. Говорить и писать о соціализмѣ ему пришлось въ ту эпоху, когда его читатели и поклонники могли уловить лишь самый общій смыслъ его разсужденій: Самодержавіе, какъ [illegible]

государственнаго строя, полное отсутствіе политической жизни въ обществѣ, крѣпостное право пока еще во всей его цѣлости и ничтожная по численности крѣпостная же рабочая толпа на фабрикахъ — о какомъ соціализмѣ можно было разсуждать при такихъ условіяхъ? Разсуждать вообще, можно было, и о соціализмѣ, дѣйствительно, говорилось часто и много, и конечно не безъ связи со статьями Чернышевскаго. Все въ словахъ Чернышевскаго могло казаться и неприложимымъ и неосуществимымъ въ Россіи (хотя было не мало и такихъ читателей, которые на русскій [illegible] возлагали огромныя надежды), но въ общемъ всѣ его разговоры о „не нашихъ“ дѣлахъ должны были имѣть большое воспитательное значеніе уже потому, что они ставили опредѣленную цѣль одному изъ стремленій наиболѣе сильныхъ въ юныхъ умахъ.

## X.

Молодежь любитъ думать и говорить о смыслѣ и цѣли жизни. Есть періоды въ жизни отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ поколѣній когда слишкомъ близкія цѣли не удовлетворяютъ; но есть и такіе періоды, когда перестаютъ удовлетворять цѣли слишкомъ далекія. Въ тридцатыхъ и въ сороковыхъ годахъ наша молодежь довольствовалась отдаленными цѣлями и съ философскимъ смиреніемъ созерцала, какъ какая-нибудь вѣчная идея или невѣдомый абсолютъ проходили на ея глазахъ черезъ опредѣленные фазисы развитія, совсѣмъ не считаясь съ недовольствомъ, какое въ душѣ простого смертнаго отъ такого прохожденія накипаетъ. Въ шестидесятыхъ годахъ любовь къ далекимъ цѣлямъ исчезла, философское спокойствіе стало анахронизмомъ, и недовольство не хотѣло мириться съ необходимостью. Но съ другой стороны это недовольство было настолько требовательно, что скромными цѣлями оно также не могло быть удовлетворено. Радикально настроеннымъ и радикально мыслившимъ людямъ хотѣлось бо-

смотрѣть въ процессѣ жизни быстрое приближеніе къ [illegible] желанной цѣли, которая въ предѣлахъ земныхъ казалась вполнѣ достижимой. Эта цѣль была — установленіе новыхъ соціальныхъ отношеній, при которыхъ матеріальное благополучіе и духовное развитіе были бы гарантированы всѣмъ безъ изъятія участникамъ прогресса. Для молодого читателя необычайно цѣнной должна была являться всякая научная попытка, истолковывающая ходъ жизни человѣческой въ этомъ смыслѣ. Тотъ аргументъ, что русская жизнь въ данномъ случаѣ не можетъ служить примѣромъ — былъ недѣйствителенъ, такъ какъ дѣло шло пока лишь объ установленіи общаго взгляда на исторію жизни вообще, а вопросъ, какъ это общее положеніе будетъ доказано на Россіи, отодвигался вдаль, и рѣшеніе его откладывалось до того времени, когда основной принципъ разсужденія будетъ признанъ непоколебимымъ.

Историческія и политико-экономическія статьи Чернышевскаго были такой научной попыткой опредѣлить взаимоотношеніе общественныхъ силъ, двигающихъ прогрессомъ. Чернышевскій былъ единственный теоретикъ этого новаго взгляда на жизнь, ученый и публицистъ, который, минуя цѣли дальнія и не останавливаясь на мелкихъ требованіяхъ текущаго дня, говорилъ о ближайшей, общей для всѣхъ народовъ цѣли — соціальнаго переустройства земной жизни. Ясная развертывалась картина: на смѣну двумъ общественнымъ силамъ, до сей поры двигавшимъ жизнью — силѣ просвѣщенной власти и силѣ политическихъ либеральныхъ партій выступала новая сила — народныя массы, которыя наконецъ должна была взять въ свои руки заботу о проведеніи въ жизнь истинно демократическаго начала. Только въ союзѣ съ ней искомая цѣль могла быть достигнута. И только ею желанный ходъ прогресса былъ обезпеченъ. Ей въ услуженіе надлежало отдать и трудъ, и [illegible], и помыслы...

Это была уже не мечта [illegible], а ученая [illegible]

жизнь, какъ съ ней можно было столкнуться лицомъ къ лицу за предѣлами нашей родины. А, кто знаетъ, можетъ быть и у насъ скоро появятся симптомы, указывающіе на пробужденіе народной силы или по крайней мѣрѣ на пробужденіе въ обществѣ сознанія, что эта сила, дѣйствительно, самая главная.

„Каждый отдѣльный человѣкъ изнашивается событіями, въ которыхъ участвовалъ; образъ его мыслей и размѣръ его желаній складывается въ неизмѣнную форму пятнадцатью или двадцатью первыми годами его общественной жизни. Такимъ образомъ, когда завершился извѣстный циклъ событій, извѣстный періодъ государственнаго порядка, почти все общество состоитъ изъ людей сформировавшихся прежними стремленіями, не стремящихся или не отваживающихся стремиться ни къ чему новому сверхъ того результата, который произведенъ прежнимъ порядкомъ вещей и характеромъ идей ихъ молодости. Чтобы совершилось въ обществѣ что-нибудь важное, новое, нужно большинству общества составиться изъ новыхъ людей, силы которыхъ не изнурены участіемъ въ прежнихъ событіяхъ, мысли которыхъ сложились уже на основаніи достигнутаго ихъ предшественниками результата, надежды которыхъ еще не обрѣзаны опытомъ. Чтобы составъ общества обновился такимъ образомъ, нужно бываетъ около пятнадцати лѣтъ, по простому ариѳметическому закону физической смѣны поколѣній: въ пятнадцать лѣтъ большинство людей бывшихъ взрослыми при началѣ срока, вымираетъ или дряхлѣетъ и замѣняется новымъ большинствомъ, составившимся изъ людей, бывшихъ при началѣ періода юношами или дѣтьми. Эти новые люди могутъ обнаружить рѣшительное вліяніе на ходъ событій нѣсколько раньше средняго срока, напр., лѣтъ черезъ десять, если обстоятельства благопріятствуютъ ускоренію перемѣны, или нѣсколько позднѣе, напр., лѣтъ черезъ двадцать если обстоятельства неблагопріятны ея быстротѣ, но все-таки существуетъ средній срокъ для осуществленія новыхъ идей,

и нельзя не замѣтить, что крайніе колебанія и предѣлы разныхъ эпохъ, то растягиваясь, то сокращаясь, колеблются около средней цифры пятнадцати или шестнадцати лѣтъ. Эта періодичность видна во всѣхъ тѣхъ вѣкахъ и странахъ, которые особенно важны были для прогресса".[63]

## XI.

И у насъ въ Россіи, въ указанный срокъ обновится поколѣніе и новымъ людямъ придется свершить нѣчто „важное и новое", и, конечно, это новое свершится не въ союзѣ съ старыми общественными силами. Пусть наше теперешнее положеніе даже не намекаетъ на то соотношеніе силъ двигающихъ прогрессомъ, которое должно установиться, — уклониться отъ общаго закона мы не можемъ.

А пока намъ надлежитъ разобраться въ тѣхъ общественныхъ силахъ, какія у насъ въ Россіи на лицо имѣются. Такой разборъ уяснитъ намъ наше положеніе и укажетъ, если не самой народной массѣ, то хоть интеллигентнымъ людямъ, направленіе, въ какомъ идти должно.

И опять Чернышевскій оказался самымъ смѣлымъ и наиболѣе разностороннимъ писателемъ, который рѣшался повести бесѣду на эту уже не общую, а частную, къ русской жизни непосредственно относящуюся тему.

# Оцѣнка общественнаго положенія 1855—1861 годовъ данная Н. Г. Чернышевскимъ

[illegible]

## I.

Въ тиши и въ шумѣ кабинета — а въ кабинетъ Чернышевскаго, при постоянномъ притокѣ новыхъ молодыхъ слушателей и собесѣдниковъ, становилось все болѣе и болѣе шумно — были выработаны цѣлые отдѣлы новаго философскаго и историческаго міропониманія, и заготовлены отвѣты на многіе частные практическіе запросы русской современности. Пробѣловъ въ новой системѣ знаній было немало, но все-таки разработанныя части ученій о мірѣ и о призваніи человѣка были подогнаны другъ къ другу и согласованы довольно умѣло. Матеріализмъ, какъ ученіе о „началахъ“, матеріализмъ, не слишкомъ строгій и не особенно глубокій; радикализмъ въ религіи, съ замѣною Бога человѣкомъ;

утилитарная нравственность, съ рѣзкимъ оттѣненіемъ индивидуалистическаго принципа; эстетика на повседневной службѣ чисто реальныхъ житейскихъ явленій; наконецъ, теорія прогресса, отказывающаяся разсуждать о всякихъ „конечныхъ" цѣляхъ бытія и не признающая за историческимъ процессомъ никакой цѣны, пока народныя массы не станутъ въ немъ главной руководящей силой — всѣ эти отдѣльныя области единаго знанія были искусно спаяны и объединены послѣдовательно проведенной, всѣмъ доступной мыслью и проникнуты единымъ настроеніемъ — что для того времени было, пожалуй, самое главное. Будь Чернышевскій мыслитель по преимуществу — въ стилѣ людей сороковыхъ годовъ, онъ могъ бы дѣломъ всей своей жизни избрать теоретическое оправданіе всѣхъ этихъ, для Россіи столь новыхъ взглядовъ, и, принимая во вниманіе силу его теоретической мысли, можно съ увѣренностью сказать, что въ его лицѣ мы имѣли-бы перваго русскаго философа-эмпирика и историка позитивиста, съ явнымъ уклономъ въ сторону матеріалистическаго истолкованія историческаго процесса. Чернышевскій могъ-бы расчистить дорогу и поставить крѣпкія вѣхи для той позитивной философской мысли, которая господствовала у насъ въ семидесятыхъ годахъ, и при большомъ числѣ послѣдователей среди нихъ не имѣла, за исключеніемъ Лесевича, почти ни одного крупнаго представителя. Но не для этой роли строителя философской системы былъ рожденъ Чернышевскій. По натурѣ своей онъ былъ практикъ и въ тѣсномъ смыслѣ слова дѣятель. Какъ только вчернѣ набросанная система была закруглена и какъ только она стала предметомъ вѣры, онъ перестаетъ думать о дальнѣйшемъ подкрѣпленіи ея теоретической части и все вниманіе свое сосредоточилъ на цѣляхъ практическихъ, [illegible] какими могла бы воспользоваться непосредственно [illegible] жизнь и, конечно, прежде всего, жизнь русская. Въ [illegible] нея собственно была продѣлана вся эта трудная [illegible] мысли, хотя она совершалась [illegible] ими истины, [illegible]

рой — вся вселенная. Но понятіе о вселенной, о которой русскій интеллигентъ — будь онъ мыслитель, художникъ или критикъ, — въ недавнемъ прошломъ думалъ такъ много, въ мысляхъ Чернышевскаго суживалось очень быстро. И ради русскихъ дѣлъ, дѣлъ будничныхъ, поспѣшилъ Чернышевскій покинуть философскія высоты, полагая, что тѣ скрижали новаго ученія, которыя онъ приноситъ съ этихъ вершинъ, вполнѣ довлѣютъ и ему самому, какъ вождю, и тѣмъ, кто за нимъ слѣдуетъ.

Должна была начаться новая работа и притомъ такая, плоды которой могли бы быть видимы самимъ работникамъ. Хотѣлось не только сѣять, но и наблюдать за всходами... а были и такія пылкія сердца, которымъ грезилось, что можно дождаться и жатвы.

## II.

Работу надъ чисто практическими вопросами русской жизни Чернышевскій началъ очень рано, какъ только стало возможнымъ обсужденіе этихъ вопросовъ въ печати. Въ собраніи сочиненій Чернышевскаго статьи о нуждахъ текущаго дня занимаютъ большую половину. Крестьянскій вопросъ во всѣхъ его даже мелкихъ деталяхъ, вопросы финансовые и торгово-промышленные, откупная система, народное школьное дѣло, ближайшія задачи культурнаго развитія страны вообще — оставались очередной темой статей и замѣтокъ. Могла ли, однако, удовлетворить писателя такая работа? До извѣстной степени, конечно, — да, такъ какъ Чернышевскій не могъ не чувствовать самъ той силы, какую онъ въ этихъ статьяхъ развертывалъ; зналъ онъ и о томъ большомъ впечатлѣніи, какое его слова производили на рядового читателя, и иной разъ на читателя власть имущаго. Но съ другой стороны, именно сознаніе своей силы, а также и увѣренность въ своей правотѣ должны были постоянно повышать въ Чернышевскомъ чувство недовольства и не-

удовлетворенности. Считалась ли жизнь съ его работой? Легко представить себѣ съ полной ясностью психическое состояніе передового публициста, торопящаго наступленіе новой жизни, среди жизни косной, которая сама отнюдь торопиться не желала, среди людей властныхъ, которые боялись наступленія порядковъ, ими же самими признанныхъ желательными, и, наконецъ, среди огромнаго числа людей, которые были заинтересованы въ томъ, чтобы продлить дни старой жизни какъ можно дольше. Чернышевскому, по времени нашему первому профессіональному публицисту, было совсѣмъ незнакомо то чувство, которымъ потомъ обогатилась такъ прочно психика русскаго писателя: а именно—чувство вынужденнаго злобнаго смиренія передъ молчащей жизнью и враждебнымъ или апатичнымъ и непроницаемымъ читателемъ. Съ этимъ чувствомъ у позднѣйшаго, обстрѣленнаго публициста могло быть связано сознаніе исполненнаго долга и невозможности претендовать на большее; и какъ бы велико ни было разочарованіе писателя, онъ, не сердясь на себя, могъ, высказавшись, считать свое дѣло сдѣланнымъ. Чернышевскій и его поколѣніе не испытывали такого въ своемъ родѣ успокоительнаго чувства; они могли надѣяться, что жизнь и тѣ, кто ею руководитъ, немедленно учтутъ ихъ помыслы и слова; и когда они увидѣли, что эти слова и помыслы совсѣмъ не учитываются, они могли сказать себѣ, что, очевидно, словъ недостаточно, и за словами должно слѣдовать нѣчто другое.

Блестящая, полная словесныхъ побѣдъ публицистическая дѣятельность не могла удовлетворить Чернышевскаго, тѣмъ болѣе, что онъ сознавалъ себя совсѣмъ „новымъ“ человѣкомъ. Ни за кѣмъ онъ не шелъ; онъ прокладывалъ совершенно новый путь: онъ приносилъ съ собой новые взгляды, идущіе во всѣхъ самыхъ существенныхъ вопросахъ жизни и духа въ разрѣзъ съ господствовавшими. Онъ могъ думать, что такая новизна, какъ бы она ни встрѣчала противорѣчій, должна произвести большое впечатлѣніе

и заставить съ собой считаться. Чѣмъ болѣе сильнымъ и оригинальнымъ онъ сознавалъ себя, тѣмъ, конечно, большаго онъ ожидалъ отъ своей дѣятельности. Ожиданія эти оправдывались лишь въ одномъ: росло число его единомышленниковъ—людей молодыхъ, только что вступавшихъ въ жизнь и надъ ней пока никакой власти не имѣвшихъ. Сама же жизнь текла по старому, невозмутимо спокойная, полная лишь очень смутныхъ обѣщаній. Положимъ, хладнокровное историческое размышленіе могло-бы убѣдить Чернышевскаго въ томъ, что все новое растетъ и зрѣетъ крайне медленно; но вѣдь онъ самъ откровенно признался, что надо „обладать особой натурой, чтобы, желая чего-нибудь страстно, умѣть терпѣливо выжидать“. Такой натурой онъ не обладалъ и счесть свои слова завершеніемъ намѣченнаго дѣла онъ не могъ.

Но въ какихъ же очертаніяхъ могло Чернышевскому рисоваться это ближайшее и нужное дѣло? Выработка новаго типа интеллигента, его вооруженіе новыми идеями, согласными съ послѣдними словами науки, было несомнѣнно дѣломъ, какъ и разработка въ печати очередныхъ практическихъ вопросовъ текущей минуты; но ни то, ни другое дѣло на ходѣ самой жизни повидимому не отражалось, а темпераментъ писателя, да и весь его нравственный и умственный составъ требовалъ такого непосредственнаго отраженія.

Искомое дѣло должно было идти на пользу не отдѣльныхъ личностей, какъ бы велика ни была предстоящая имъ работа, а на пользу всей страны и преимущественно, конечно, народной массы. Чтобы такое дѣло не ограничивалось одними словами, необходимо было поставить его подъ охрану какой-нибудь общественной силы, которая была бы настолько значительна и могущественна, чтобы обезпечить за этимъ дѣломъ побѣду.

Мы знаемъ, какъ Чернышевскій оцѣнивалъ тѣ общественныя силы, на которыя можно было бы опереться при проведеніи въ жизнь желаннаго идеала. Въ его общихъ

взглядахъ на ходъ прогресса соотношеніе этихъ общественныхъ силъ было опредѣлено точно. Теперь, когда общія положенія, добытыя наблюденіемъ надъ исторической жизнью человѣчества вообще, надо было примѣнить къ русскимъ дѣламъ—надлежало общіе выводы провѣрить на фактахъ отечественной жизни и убѣдиться въ томъ, что русская дѣйствительность не вноситъ ничего новаго въ установленную общую формулу. А эта общая формула, мы помнимъ, была очень ясная: изъ всѣхъ общественныхъ силъ—одна лишь сила народной массы дѣйствительно сильна, и она лишь она способна дать жизни истинно прогрессивное направленіе, приближая жизнь къ идеалу соціалистическаго строя.

Но прежде чѣмъ начать производить оцѣнку общественныхъ силъ, имѣющихся на лицо въ Россіи, надо было установить, что Россія въ міровой исторіи не представляетъ собой исключенія и что къ ней примѣнимы тѣ же законы историческаго развитія, которые управляютъ судьбами иныхъ странъ. Надлежало такъ или иначе посчитаться съ доктриной славянофиловъ, которая въ 1855—1861 годахъ дала новые, свѣжіе побѣги.

## III.

Можно было ожидать, что Чернышевскій вступитъ съ славянофилами въ детальную и частую полемику. Славянофилы были единственной идейной партіей, которая на вопросъ въ чемъ сущность историческаго процесса въ Россіи, каковъ желанный для нея государственный и общественный строй, и въ чемъ ея мировая миссія, имѣла опредѣленный отвѣтъ. Этотъ отвѣтъ рѣзко расходился съ взглядами Чернышевскаго и, конечно, вполнѣ заслуживалъ строгаго обсужденія, тѣмъ болѣе, что съ наступленіемъ новаго царствованія количество славянофильскихъ органовъ стало увеличиваться. Чернышевскій уклонился, однако отъ этой поле-

мики, отъ всякаго спора по существу и ограничился лишь категорическимъ сужденіемъ, и то не о главныхъ основоположеніяхъ несогласнаго съ нимъ ученія. Быть можетъ, нежеланіе спорить о томъ, что не должно быть предметомъ спора и можетъ рѣшаться лишь вѣрою; быть можетъ, признаніе излишнимъ такого спора, въ которомъ по цензурнымъ условіямъ нельзя свободно высказаться о самыхъ существенныхъ догмахъ противника; быть можетъ, наконецъ, нежеланіе ссориться съ людьми, которые въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ быть использованы какъ союзники, — но только Чернышевскій весьма неохотно вступалъ въ разговоры на эту тему.

Ходъ мыслей его по этому вопросу былъ, въ общихъ чертахъ, слѣдующій: Всѣ основоположенія славянофильской доктрины настолько ненаучны и произвольны, что разсуждать о нихъ нѣтъ нужды; но необходимо отмѣтить, что это ученіе во многихъ своихъ деталяхъ, касающихся часто практическихъ сторонъ жизни, заслуживаетъ полнаго признанія. „Нельзя, конечно, думать, чтобы славянофильство, въ какомъ бы видѣ ни являлось оно, могло пріобрѣсть многихъ приверженцевъ — оно слишкомъ противорѣчитъ очевиднымъ фактамъ и положительнымъ потребностямъ русскаго общества. Но все-таки въ немъ, если разсматривать его въ лучшихъ его представителяхъ, нѣтъ ничего антипатичнаго. Оно — заблужденіе, но заблужденіе, могущее имѣть очень благородный характеръ и соединяться со многими прекрасными элементами".[64] „Оспаривать мнѣнія славянофиловъ о древней Руси нѣтъ нужды, мнѣнія эти находятъ себѣ такъ много противниковъ и такъ мало защитниковъ, что вовсе нѣтъ надобности сильно огорчаться ошибками, въ которыя впадаютъ славянофилы при этомъ случаѣ; ошибки эти безвредны, потому что не находятъ себѣ сочувствія въ обществѣ.[65] Между славянофилами и огромнымъ большинствомъ образованныхъ людей, отвергающихъ славянофильскія идеи о русскомъ воззрѣніи, суще-

ствуютъ, помимо раздорнаго пункта, точки сходства во мнѣніяхъ, согласія въ желаніяхъ... Ошибаясь во многомъ и важномъ, они о важнѣйшихъ и существеннѣйшихъ вопросахъ жизни (потому что есть въ жизни нѣчто важнѣе отвлеченныхъ понятій) думаютъ правдиво и благородно. Образъ мыслей, называемый славянофильствомъ, заслуживаетъ если не полнаго одобренія, то оправданія и даже сочувствія, и есть частные вопросы, о которыхъ славянофилы думаютъ справедливѣе, нежели многіе изъ такъ называемыхъ западниковъ... У славянофиловъ есть нѣчто важнѣйшее и лучшее, нежели идеи о русскомъ воззрѣніи... И какъ бы ни заблуждались въ своихъ понятіяхъ о до-петровской Руси люди, въ настоящемъ одобряющіе только то, что дѣйствительно достойно одобренія и желающіе всѣхъ тѣхъ улучшеній, какихъ можетъ желать образованный человѣкъ—мы почли бы такихъ людей въ сущности добрыми, потому что дѣйствительныя стремленія относительно настоящихъ дѣлъ важнѣе всякихъ отвлеченныхъ мечтаній о достоинствахъ и недостаткахъ отдаленнаго прошедшаго.[66] Лучшіе люди славянофильской партіи—люди съ горячею преданностью своимъ убѣжденіямъ; ужъ этимъ однимъ они полезны въ нашемъ обществѣ, самый общій недостатокъ въ которомъ—не какія-нибудь ошибочныя понятія, а отсутствіе всякихъ понятій, не какія-нибудь ложныя увлеченія, а слабость всякихъ умственныхъ и нравственныхъ влеченій". „Изъ элементовъ, входящихъ въ славянофильскую систему, многіе положительно одинаковы съ идеями, до которыхъ достигла наука или къ которымъ привелъ лучшихъ людей историческій опытъ въ Западной Европѣ.[67] Безпристрастный человѣкъ долженъ назвать предубѣжденіемъ мнѣніе, будто славянофилы враждебны европейскому просвѣщенію. Но то правда, что они не считаютъ слишкомъ завиднымъ нынѣшнее положеніе народной жизни въ Западной Европѣ.[68] А когда мы подумаемъ о томъ, до какой степени у многихъ изъ такъ называемыхъ западниковъ темны еще понятія о томъ, что хорошо и что

дурно въ Европѣ, и какъ до сихъ поръ очень многимъ кажется лучшимъ именно то самое, что есть худшаго въ Европѣ, то должны будемъ признаться, что критика европейскаго быта, которую славянофилы, прямо или черезъ вторыя руки заимствуютъ изъ лучшихъ современныхъ писателей, далеко не безполезна для очищенія нашихъ понятій о Европѣ. Конечно, эта критика соединяется, проходя черезъ уста славянофиловъ, съ примѣсями чуждыми, иногда прямо враждебными ея духу, но мы настолько увѣрены въ здравомъ смыслѣ русскаго племени, мало расположеннаго къ отвлеченнымъ фантазіямъ, что эти примѣси внушаютъ намъ довольно мало опасенія. Здравый смыслъ и тактъ дѣйствительности, которымъ очень сильны русскіе, довольно легко отличаетъ фантастическую примѣсь отъ фактовъ. Притомъ же примѣси, особенно любимыя многими изъ славянофиловъ, выбраны ими изъ круга чувствъ, которыя очень антипатичны русскому характеру. Ни заоблачныя мечтанія, ни самохвальство не въ характерѣ у русскаго человѣка".[69]

Такъ мягко и ласково и вмѣстѣ съ тѣмъ пренебрежительно и свысока судилъ Чернышевскій о славянофильствѣ. Онъ давалъ ясно понять, что отвергаетъ всѣ религіозные и національные устои ученія и не желаетъ о нихъ разговаривать, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не скупился на комплименты, желая увѣрить славянофиловъ въ томъ, что они вполнѣ благомыслящіе и полезные люди, когда въ мысляхъ и въ поступкахъ бываютъ съ нимъ, съ Чернышевскимъ, согласны. Этотъ покровительственный и благожелательный тонъ оставался довольно ровнымъ и принималъ лишь болѣе рѣзкій оттѣнокъ тогда, когда рѣчь заходила о призваніи Россіи и объ ея исторической миссіи. Такія „заоблачныя мечтанія" казались Чернышевскому порожденіемъ именно того „самохвальства, которое не въ характерѣ русскаго человѣка". Къ миссіи Россіи среди славянскихъ народовъ Чернышевскій относился отрицательно. „Освободить изъ-подъ матеріальнаго и духовнаго гнета народы славян-

скіе и даровать имъ даръ самостоятельнаго духовнаго и, пожалуй, политическаго бытія подъ сѣнью могущественныхъ крылъ русскаго орла — вотъ историческое призваніе, нравственное право и обязанность Россіи. Такъ говорятъ славянофилы, но намъ кажется, что у могущественнаго русскаго орла очень много своихъ домашнихъ русскихъ дѣлъ. У насъ на рукахъ очень важныя внутреннія реформы, не оставляющія намъ ни времени, ни средствъ вмѣшиваться въ чужія дѣла.[70] Да и что въ сущности мы теперь могли бы дать славянамъ для упроченія ихъ культуры и развитія ихъ политической жизни? Не изъ особеннаго расположенія къ австрійскимъ нѣмцамъ, а изъ заботливости о судьбѣ самихъ славянъ мы находимъ, что они должны разсчитывать исключительно на свои силы для произведенія улучшеній въ своемъ бытѣ".[71]

Мечтать о томъ, чтобы облагодѣтельствовать Европу у насъ еще меньше основаній.

Въ разговорахъ на эту тему Чернышевскій былъ всего менѣе любезенъ съ славянофилами. Сопоставляя порядки западные и русскіе, онъ съ ироніей говорилъ по адресу своихъ противниковъ. „Люди, которые скорбятъ о томъ, что наше общество, наше просвѣщеніе и т. д. какъ двѣ капли воды походятъ на западное общество, западное просвѣщеніе и т. д., оскорбляются фактами, рѣшительно созданными ихъ воображеніемъ. Если бы мы раздѣляли ихъ понятія, мы, напротивъ, повсюду видѣли бы поводъ къ радости: сходства между нами и западомъ пока еще незамѣтно ни въ чемъ, если хорошенько вникнуть въ сущность дѣла.[72] И при такомъ несходствѣ, которое, конечно, не въ нашу пользу, мы хотимъ считать себя призванными нынѣ сказать западу нѣчто новое и придти ему чѣмъ-то на помощь!" Когда такая горькая мысль гнѣздится въ головахъ славянофильскихъ, то можно улыбнуться и промолчать, но горько [illegible] случается, что она туманитъ голову и совсѣмъ не славянофильскую.

Въ извѣстной статьѣ „О причинахъ паденія Рима“ (1861)—статьѣ, надѣлавшей много шума, Чернышевскій свелъ по этому вопросу свои счеты съ Герценомъ, который позволилъ себѣ, по примѣру славянофиловъ, помечтать о великомъ призваніи Россіи, идущей на выручку своимъ просчитавшимся и сбившимся съ дороги учителямъ и старшимъ братьямъ.

„Разоблаченіе ошибочнаго взгляда на вопросъ ветхой старины (писалъ Чернышевскій съ нескрываемымъ раздраженіемъ) представляется дѣломъ довольно важнымъ для очищенія самохвальныхъ и, къ счастію, пустыхъ мыслей о нѣкоторыхъ живыхъ отношеніяхъ. Мы говоримъ не о славянофилахъ. Если бы спорить приходилось лишь противъ нихъ, не стоило бы спорить, потому что они малочисленны, но славянофильство лишь послѣдовательная, развитая форма чувства, проглядывающаго, къ сожалѣнію, даже у многихъ изъ людей, имѣющихъ вліяніе на мысли всей публики (*подразумѣвается Герценъ*). Всмотритесь хорошенько въ самаго заклятаго западника—онъ часто оказывается славянофиломъ. Мы далеко не восхищаемся нынѣшнимъ состояніемъ Западной Европы; но все-таки полагаемъ, что нечѣмъ ей позаимствоваться отъ насъ. Если сохранился у насъ отъ патріархальныхъ (дикихъ) временъ одинъ принципъ (т.-е. принципъ общиннаго землевладѣнія), нѣсколько соотвѣтствующій одному изъ условій быта, къ которому стремятся передовые народы (т.-е. къ соціалистическому строю), то вѣдь Западная Европа идетъ къ осуществленію этого принципа совершенно независимо отъ насъ... У Европы свой умъ въ головѣ и умъ гораздо болѣе развитой, чѣмъ у насъ, и учиться ей у насъ нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существуетъ у насъ по обычаю, неудовлетворительно для ея болѣе развитыхъ потребностей, болѣе усовершенствованной техники. Кромѣ общиннаго землевладѣнія невозможно было самымъ усерднымъ мечтателямъ открыть въ нашемъ общественномъ и частномъ бытѣ ни одного учрежденія или

хотя бы зародыша учрежденія для предсказываемаго ими обновленія ветхой Европы нашею свѣжею помощью. Мы тутъ говоримъ, разумѣется, не о славянофилахъ; у славянофиловъ зрѣніе такого особеннаго устройства, что на какую у насъ дрянь ни посмотрятъ они, всякая наша дрянь оказывается превосходной и пригодной для оживленія умирающей Европы... Мы говоримъ не о такихъ людяхъ, мы говоримъ не про чудаковъ, а про людей, разсуждающихъ по обыкновенному человѣческому смыслу... Европа гораздо лучше насъ понимаетъ, какіе новые порядки ей нужны, какъ ихъ устроить и какими способами вводить. Значитъ, оживлять намъ ее ровно ужъ нечѣмъ. Нечего намъ и хлопотать объ этомъ, она своими силами умѣетъ дѣлать что ей угодно, и своихъ силъ довольно у ней на все, что ей нужно дѣлать".[73]

Итакъ, трудный и запутанный вопросъ рѣшенъ, повидимому, очень просто и ясно. Думать, что судьбы Россіи должны сложиться иначе, чѣмъ судьбы иныхъ народовъ — нѣтъ основанія. Никто намъ не запрещаетъ, конечно, мечтать объ особыхъ русскихъ народныхъ началахъ и ставить эти начала подъ непосредственную охрану Божьяго промысла; мы можемъ восхищаться коренными добродѣтелями русскаго національнаго характера, выработанными самобытно въ старыя времена, когда мы съ Западомъ не общались; мы можемъ ласкать себя гордой мыслью о томъ, что наступитъ время, когда нашъ образъ мыслей и наши нравственныя качества вернутъ истлѣвающій Западъ къ жизни; всю эту роскошь мечты мы можемъ себѣ позволить, рискуя остаться въ поражающемъ меньшинствѣ, безъ всякаго вліянія на общественное мнѣніе. Человѣкъ, здраво смотрящій на вещи, человѣкъ науки не захочетъ считаться съ такими мечтаніями. Онъ не станетъ закрывать глаза на недостатки жизни на Западѣ, но согласится, что въ нашей жизни недостатковъ несравненно больше; онъ признаетъ, что намъ, какъ и нашимъ западнымъ сосѣдямъ, предназначенъ [illegible]

путь развитія; что, вступивъ на этотъ путь, одни народы могутъ опережать другихъ или отставать, могутъ нуждаться во взаимной провѣркѣ и взаимной помощи, могутъ сообща дѣлать одно великое дѣло, не становясь другъ къ другу въ положеніе промотавшагося къ спасителю, или наоборотъ. Человѣкъ, усвоившій такой разумный взглядъ на совмѣстное движеніе народовъ къ желанной цѣли, къ болѣе совершенной и справедливой жизни, не станетъ въ трудную минуту возлагать свои надежды на помощь какихъ-то таинственныхъ силъ, отъ человѣка независящихъ, не будетъ уповать на какія-нибудь особенныя, полутаинственныя силы народнаго ума и характера, которыя совсѣмъ нежданнымъ образомъ разрѣшатъ всѣ трудности. Человѣкъ трезвой науки, ссылаясь на историческій опытъ всего человѣчества, постарается къ рѣшенію стоящаго передъ нимъ вопроса примѣнить общій методъ разсужденія и разработки.

Такъ и поступилъ Чернышевскій, когда ему надлежало отвѣтить на вопросъ: какое же „дѣло" должно слѣдовать за словами и на какія наличныя общественныя силы въ Россіи можно опереться, если рѣшено будетъ приступить къ этому „дѣлу". Къ одной цѣли и по одному пути, хотя и не въ ногу и не параллельно движутся и Россія, и Западъ. Какимъ же общественнымъ силамъ можно въ Россіи довѣрить руководство этимъ движеніемъ?

## IV.

О правительственной власти, объ ея ближайшихъ сотрудникахъ и вообще о классѣ чиновномъ и дворянскомъ, т.-е. о тѣхъ силахъ, отъ соглашенія которыхъ зависѣлъ въ данный моментъ новый курсъ русской государственной и общественной жизни — Чернышевскій избѣгалъ говорить, хотя сужденіе его объ этихъ силахъ было вполнѣ опредѣленное.

Что онъ избѣгалъ разсуждать на эту тему въ печати вполнѣ понятно. Живи онъ, какъ Герценъ, за границей и

имѣя онъ въ своемъ распоряженіи свободный станокъ, онъ могъ дать волю своей радости [если бы таковой его душа была охвачена] при томъ или иномъ прогрессивномъ шагѣ или обѣщающемъ словѣ правительства; и онъ могъ, въ случаѣ, если бы такое обѣщаніе не сбылось и шагъ оказался бы ретрограднымъ — дать также волю и своему негодованію. Но свободой слова Чернышевскій не располагалъ и потому молчалъ.

Наше правительство, впрочемъ, никогда не настраивало Чернышевскаго ни восторженно, ни даже радостно. Онъ былъ полонъ недовѣрія, и это недовѣріе родилось въ немъ очень рано, еще въ годы его юности. Поворотъ правительства на новый путь Чернышевскій считалъ въ гораздо большей степени вынужденнымъ, чѣмъ добровольнымъ; людей, которые принялись за реформаторскую работу, онъ зналъ хорошо и не вѣрилъ въ ихъ перерожденіе. Психологъ и историкъ, онъ понималъ, что люди, выросшіе въ извѣстныхъ условіяхъ и привычкахъ, со сложившимся за долгіе годы складомъ ума, способны въ извѣстныхъ случаяхъ на поступки, и лучшіе, повидимому, въ разрѣзъ съ ихъ недавнимъ образомъ мыслей, но, конечно, не способны полюбить то, что такъ долго ненавидѣли, и начать ненавидѣть то, что такъ долго любили. Чернышевскій, когда ему приходилось говорить о правительствахъ, настаивалъ на томъ, что всякое правительство всегда идетъ на встрѣчу потребностямъ времени лишь нехотя, до послѣдней минуты затягивая всякую уступку; въ любой моментъ готово оно взять назадъ то, что дано, и всегда боится, какъ бы разумный его поступокъ не былъ истолкованъ какъ слабость или послабленіе, почему и старается, чтобы никогда ни одинъ изъ такихъ разумныхъ поступковъ не принесъ той пользы, какую онъ принести можетъ.

Чернышевскому было не трудно расцѣнить [illegible] многими примѣрами изъ современной ему политической жизни въ Пруссіи, Франціи и Италіи. О русскихъ [illegible]

кахъ говорить откровенно не приходилось, но, несомнѣнно, что эти порядки не могли заставить Чернышевскаго смотрѣть иначе на дѣло. И онъ оказался правъ въ своемъ недовѣріи къ правительству. Пусть такого недовѣрія и не заслуживали нѣкоторыя отдѣльныя лица, трудившіяся надъ начертаніемъ реформы и ея проведеніемъ въ жизнь, но общій ходъ всѣхъ реформъ царствованія Александра II оправдалъ опасенія Чернышевскаго: реформы всегда давали минимумъ того, что нужно было, и всегда вслѣдъ за реформами шли ихъ ограниченія, продиктованныя боязнью оказаться уступчивымъ или слабымъ.

Разсчитывать на помощь правительства и его чиновныхъ сотрудниковъ въ дѣлѣ преобразованія русской жизни въ томъ духѣ, какой Чернышевскому казался желательнымъ и исторически необходимымъ—было, по его глубокому убѣжденію, невозможно. Правительственная сила, вынужденная повернуть руль, дала все, что она могла дать, и въ дальнѣйшемъ, на какія бы новыя уступки она ни пошла, она должна была—въ силу укоренившихся традицій, стать во враждебное отношеніе къ тому движенію, которое начиналось повидимому по ея почину.

Съ такимъ же недовѣріемъ, если не съ большимъ, относился Чернышевскій и къ русскому дворянству—этой второй по своему значенію силѣ, управлявшей ходомъ нашей внутренней жизни тѣхъ годовъ. Въ данномъ случаѣ Чернышевскій былъ не совсѣмъ справедливъ, часто забывая и о тѣхъ дворянахъ, которые съ конца XVIII вѣка приняли на себя всю тяжесть борьбы съ неуступчивой дѣйствительностью, и о тѣхъ, которые въ его время отдавали свой талантъ и свои нравственныя силы на служеніе народу и готовы были на всѣческія уступки и матеріальныя жертвы. Мало считаясь съ присутствіемъ такихъ лицъ въ дворянской средѣ, хотя и вспоминая о нихъ при случаѣ, Чернышевскій произнесъ суровое осужденіе всему сословію.

Онъ съ юныхъ лѣтъ былъ враждебно настроенъ противъ всякой аристократiи, и въ первые же годы своей литературной дѣятельности [1858], сталъ отчитывать дворянство и грозить ему. Воспользовавшись тѣмъ смѣшнымъ положенiемъ, въ какое попалъ герой повѣсти Тургенева „Ася“ безвольный неврастеникъ изъ дворянъ — Чернышевскiй сталъ поливать хотъ своей демократической иронiи и раздраженiя на всю среду, которая воспитываетъ такiе же мизэры. „Мы не имѣемъ чести быть его родственниками — писалъ онъ; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всѣхъ намъ близкихъ; но мы не можемъ еще оторваться отъ предубѣжденiй, набившихся въ нашу голову изъ лживыхъ книгъ и уроковъ, которыми воспитана и загублена наша молодость. Намъ все кажется, будто онъ [читай: дворянство] оказалъ какiя-то услуги нашему обществу, будто онъ представитель нашего просвѣщенiя, будто онъ лучшiй между нами. Это мнѣнiе о немъ пустая мечта; есть люди лучше его, именно тѣ, которыхъ онъ обижаетъ. Безъ него намъ было бы лучше жить... Теперь приближается для дворянъ рѣшительная минута, которою опредѣлится на вѣки ихъ судьба. Мы все еще хотимъ полагать ихъ способными къ пониманiю совершающагося вокругъ нихъ и ихъ самихъ, хотимъ думать, что они способны послѣдовать мудрому увѣщанiю голоса, желающаго спасти ихъ, и потому мы хотимъ дать имъ указанiе, какъ имъ избавиться отъ бѣдъ, неизбѣжныхъ для людей, не умѣющихъ вовремя сообразить своего положенiя. Мы скажемъ имъ: для васъ, хотя быть можетъ и не были вы достойны того, обстоятельства сложились счастливо, такъ счастливо, что единственно отъ вашей воли зависитъ ваша судьба въ рѣшительную минуту. Поймете ли вы требованiе времени, воспользуетесь ли [illegible] вопросъ о счастiи или несчастiи на вѣки. [illegible] оставшимся у васъ днемъ, предложите мировую [illegible] противнику [читай: крестьянству], онъ еще [illegible]

безотлагательна необходимость рѣшенія тяжбы между вами; теперь онъ еще согласится на полюбовную сдѣлку, которая будетъ очень выгодна для васъ и въ денежномъ отношеніи, не говоря уже о томъ, что свою вы пріобрѣтаете имя человѣка снисходительнаго, великодушнаго, который какъ будто-бы самъ почувствовалъ голосъ совѣсти и человѣчности. Постарайтесь кончить тяжбу полюбовной сдѣлкой... Вспомните слова Евангелія: „старайся примириться съ твоимъ противникомъ, пока еще не дошли вы съ нимъ до суда, а иначе... не выйдешь ты изъ темницы, пока не расплатишься за все до послѣдней мелочи“.[74]

Какимъ судомъ грозилъ Чернышевскій дворянству? Конечно, не судомъ коронныхъ. Прошло нѣсколько лѣтъ, и Чернышевскій въ романѣ „Прологъ“ вспомнилъ о тѣхъ годахъ, когда дворянство сводило свои первые счеты съ крестьянствомъ. Кромѣ словъ остраго негодованія и осужденія, онъ не нашелъ, что сказать по адресу первенствующаго сословія. Онъ изобразилъ дворянъ радующимися, когда имъ стало ясно, „что они могутъ безопасно оттягивать освобожденіе крестьянъ и тянуть его такъ, что и конца не будетъ проволочкамъ“.[75] Онъ признался, что никогда не любилъ дворянства и что, если бывали минуты, когда онъ не имѣлъ вражды къ нему, то потому, что „жалкихъ рабовъ“ ненавидѣть невозможно.[76] „Ему становилось противно смотрѣть на этихъ людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны — безубыточны во всѣхъ своихъ, награбленныхъ у народа доходахъ (...), безнаказанны за всѣ угнетенія и злодѣйства. Ему было противно, обидно за справедливость, и онъ опускалъ нахмуренные глаза къ землѣ, чтобы не видѣть враговъ народа, вредить которымъ онъ былъ безсиленъ“.[77]

¹) «Они не [illegible] [illegible] рѣшено волею народа».

Не будемъ разбираться въ вопросѣ, насколько Чернышевскій былъ правъ въ такой огульной оцѣнкѣ умственныхъ и душевныхъ качествъ русскаго дворянства. Этотъ суровый судъ съ его поспѣшнымъ обобщеніемъ имѣетъ для насъ значеніе постольку, поскольку онъ указываетъ на полное отрицаніе за дворянствомъ какой-либо прогрессивной роли.

Ни правительственная власть, ни чиновничество, ни высшее сословіе, какъ общественныя силы, не могутъ стать союзниками въ предстоящей работѣ. Они нехотя кое-что сдѣлали, но отнынѣ станутъ врагами этого дѣла, и главной заботой ихъ будетъ стремленіе „устоять на скалѣ, и не дать коснуться ея тѣмъ волнамъ беззаконія, которыя восторжествовали на всемъ западѣ.[78]

## V.

Приходилось искать иного союзника. Быть можетъ, либеральные элементы, которые повидимому имѣлись въ Россіи въ достаточномъ количествѣ, могли служить нѣкоторой опорой? Въ какой мѣрѣ можно было разсчитывать на интеллигенцію благомыслящую и не сторонящуюся отъ политической борьбы?

Интеллигента, какъ личность, вооруженную знаніями и энергіей, Чернышевскій цѣнилъ очень высоко. Всю свою ученую, публицистическую и литературную дѣятельность онъ посвятилъ выработкѣ новаго типа интеллигента, который, опираясь на народную массу и солидарный съ нею во взглядахъ, долженъ содѣйствовать побѣдѣ самыхъ широкихъ демократическихъ идеаловъ. Но такой интеллигентъ можетъ составить общественную силу лишь въ будущемъ, когда онъ станетъ настолько многочисленъ, чтобы вліять на общество и воспитывать его; когда сложится при его участіи новое общественное мнѣніе и когда это общество и

его мнѣніе, съ своей стороны, будетъ способствовать созданію сильныхъ личностей.

Теперь наличныя силы русской интеллигенціи ничтожны. Если на западѣ „образованное общество составляетъ незамѣтную каплю въ морѣ населенія", какъ же можно говорить о какой нибудь силѣ интеллигенціи у насъ, въ настоящую минуту (1855—1861)? Тѣ интеллигенты, которые нужны — ихъ можно пересчитать по пальцамъ, а тѣ, которые имѣются налицо — для новаго дѣла не годны.

Какую общественную силу можетъ собой представить образованный классъ, воспитанный при старомъ режимѣ и страдающій „безсвязностью и внутренней разладицей въ сужденіяхъ"? Даже, если сбросить со счетовъ все огромное большинство ни къ какому живому дѣлу не пригодныхъ интеллигентовъ, то и малый остатокъ какъ будто бы „дѣльныхъ личностей" — врядъ-ли можетъ быть использованъ для новаго дѣла. О типичныхъ консерваторахъ, неуступчивыхъ сторонникахъ существующаго, о представителяхъ власти и ихъ союзникахъ, владѣльцахъ большихъ и малыхъ помѣстій, говорить не стоитъ: интеллигенты этого покроя сила враждебная прогрессу. Благомыслящіе консерваторы славянофильскаго типа — тѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ быть очень полезны, но число ихъ ничтожно, да, наконецъ, вся основа ихъ ученія ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть быть согласована съ тѣми принципами идейными и практическими, на которыхъ русская жизнь въ будущемъ должна быть построена. Остаются одни только западники, „либералы", союзъ съ которыми повидимому продиктованъ самой необходимостью.

„Либералъ" было въ устахъ Чернышевскаго чуть не браннымъ словомъ. „Для насъ нѣтъ лучшей забавы, какъ либерализмъ, признавался онъ однажды, такъ хоть и подмываетъ насъ отыскать гдѣ-нибудь либераловъ, чтобы потѣшиться надъ ними".[79] И Чернышевскій часто разрѣшалъ себѣ такую потѣху. Глумиться надъ русскими „либералами"

въ печати было несовсѣмъ удобно, такъ какъ всего, что о нихъ думаешь, сказать было нельзя изъ опасенія не столько раздражить самихъ либераловъ, сколько сказать любезное ихъ противникамъ, да и, кромѣ того, нѣкоторые русскіе либералы, какъ бы плохи они ни были, были всетаки если не прямые союзники, то благожелательные сосѣди. А посему гнѣвъ на либерализмъ всего удобнѣе было изливать по поводу событій иностранныхъ, не въ отдѣлѣ „внутреннихъ дѣлъ", а въ отдѣлѣ „Политики". Статьи Чернышевскаго по исторіи Европы въ XIX вѣкѣ и его обзоры иностранной политической жизни, дѣйствительно, переполнены выходками противъ либераловъ всѣхъ странъ, преимущественно либераловъ французскихъ. Имена, очень дорогія для людей сороковыхъ годовъ, развѣнчаны и унижены. „Что такое знаменитый либерализмъ, за который особенно прославлялись знаменитости въ родѣ Кузена, Тьера, Гизо?" — спрашивалъ Чернышевскій. События обнаружили пустоту и рѣшительную безжизненность этого либерализма, хлопотавшаго только объ отвлеченныхъ правахъ, а не о благѣ народа, самое понятіе о которомъ оставалось ему чуждо. У лучшихъ проповѣдниковъ либерализма это было искреннее заблужденіе относительно истинныхъ потребностей націи; другіе пользовались этимъ такъ называемымъ либерализмомъ какъ приманкою для привлеченія націи на свою удочку — и для чего нужно было имъ привлечь націю, оказалось потомъ, когда они успѣли захватить власть: они искали власти для того, чтобы набить себѣ карманы".[80] Либералы не заботились о нуждахъ народной массы и тогда, когда они, казалось, готовы были о нихъ позаботиться; они въ рѣшительную минуту оказывались трусами или въ лучшемъ случаѣ мечтателями, которые любили вѣрить и восхищаться".[81] Всѣ они — Токвиль, Фо[illegible]

[80] Къ [illegible] Чернышевскаго [illegible] Гизо, [illegible]

Гизо, Маколей и тому подобные господа — люди такъ называемаго умѣреннаго и спокойнаго прогресса, иначе сказать, люди, которымъ застой гораздо милѣе всякаго смѣлаго историческаго движенія".[82] „Иногда человѣка за блестящія фразы считаютъ либераломъ, какъ напримѣръ Тьера, и не хотятъ видѣть, что ему любъ произволъ и что консерватизмъ его доходитъ до реакціонности.[83] Всего обиднѣе, когда ученые и писатели записываются въ либеральный лагерь, когда они, какъ напр. Маколей, „доказываютъ, что демократическія учрежденія вообще вредны, вредны по своей сущности",[84] или, какъ Токвиль, „не умѣютъ разобраться въ историческомъ вопросѣ, путаются[85] и, будучи „странными либералами", пишутъ противъ свободы книгопечатанья, не могутъ себѣ представить законнаго хода дѣлъ иначе, какъ въ бюрократическихъ формахъ,[86] и слишкомъ откровенно выкладываютъ передъ нами сумбурную нескладицу своихъ мыслей".[87]

Такъ легковѣсно и наскоро „отдѣлывать" западныхъ либераловъ, не считаясь съ исторической перспективой и не желая стать на ихъ точку зрѣнія, можно было лишь въ пылу полемики, и притомъ не съ этими дѣятелями и учеными, а съ анонимными „либералами" русскими. Противъ нихъ собственно и написаны всѣ эти филиппики, направленныя по адресу запада.

Сводить счеты съ русскими либералами Чернышевскому приходилось не столько въ печати, сколько въ частныхъ бесѣдахъ съ близкими людьми. Явные слѣды этихъ разговоровъ остались въ романѣ „Прологъ". „Либералы" обрисованы въ самомъ непривлекательномъ видѣ. Въ Петербургѣ — разсказываетъ Чернышевскій,—было тогда безчисленное множество прогрессистовъ. Всѣ, кто только могъ, льнули къ Рязанцеву *). По вторникамъ квартира Рязанцевыхъ была биткомъ набита прогрессистами... Ни въ одномъ изъ нихъ не было [illegible]

*) Дѣйствующее лицо романа, профессоръ

политическаго дѣятеля.[88] Когда ихъ щелкнули по носу, всѣ они повѣсили носы.—Вотъ какой народъ были эти господа либералы... дрянь![89]

Но, однако, откуда же взялись такіе русскіе „либералы"? Предполагать, что Чернышевскій имѣлъ въ виду людей сороковыхъ годовъ, едва ли возможно: вѣдь не они наполняли кабинетъ Рязанцева, да и Чернышевскій врядъ ли бы рѣшился отнестись къ нимъ такъ презрительно, безъ оговорокъ. Онъ могъ смѣяться или сердиться, когда думалъ о „прекраснодушіи" нашихъ старыхъ идеалистовъ, объ ихъ мечтательности, непрактичности, объ ихъ непониманіи требованій времени, наконецъ объ ихъ оптимизмѣ. Онъ могъ ссориться съ Герценомъ и удивляться малому политическому чутью Некрасова,[90] онъ могъ излишне сердито спорить и незаслуженно глумиться надъ ближайшими учениками людей сороковыхъ годовъ, напр. надъ Чичеринымъ, которому онъ не хотѣлъ простить недостатка демократическаго образа мыслей*)—но всетаки Чернышевскій не могъ не помнить о заслугахъ своихъ предшественниковъ передъ русской общественностью. И онъ, дѣйствительно, объ этихъ заслугахъ помнилъ. Въ статьѣ, посвященной поэзіи Огарева, онъ писалъ: „Быть можетъ, теперь наше развитіе имѣетъ довольно твердыя опоры и безъ восторженныхъ чувствъ [а быть можетъ, по недостатку ихъ и замедлилось оно], но то несомнѣнно, что двадцать лѣтъ тому назадъ энтузіазмъ [людей сороковыхъ годовъ] былъ очень сильнымъ дѣятелемъ въ нравственномъ развитіи нашего общества или, чтобы выразиться точнѣе, лучшихъ его представителей; и преимущественно его энергическому стремленію обязана своею силою дѣятельность людей, которымъ, въ свою очередь, мы обязаны тѣмъ, что въ настоящее время имѣемъ хотя какую-нибудь литературу, хотя какія-нибудь убѣжденія, хотя какую-нибудь потребность мыслить... Быть можетъ, многіе изъ насъ пред-

*) Чичеринъ до конца дней своихъ не забылъ этой обиды.

готовлены теперь къ тому, чтобы слышать другія рѣчи, въ которыхъ слабѣе отзывалось бы мученіе внутренней борьбы, въ которыхъ все властнѣе являлся бы новый духъ, изгоняющій Мефистофеля — рѣчи человѣка, который становится во главѣ историческаго движенія съ свѣжими силами; но когда-то мы услышимъ такія рѣчи? да и въ самомъ ли дѣлѣ многіе изъ насъ приготовлены къ тому, чтобы слышать и понять ихъ? И тѣ, которые дѣйствительно готовы, знаютъ, что если они могутъ теперь сдѣлать шагъ впередъ, то благодаря тому только, что дорога проложена и очищена для нихъ борьбою ихъ предшественниковъ и больше, нежели кто нибудь, почтутъ дѣятельность своихъ учителей".[91] Послѣ такихъ словъ нельзя было этихъ предшественниковъ отождествлять съ либеральной „дрянью".

Подъ рубрику русскихъ „либераловъ" не подходили и тѣ умѣренные прогрессисты, ученые, критики и литераторы, которые въ то время группировались вокругъ Каткова и его „Русскаго Вѣстника". Чернышевскій очень спокойно и правильно опредѣлялъ взаимоотношеніе, которое могло быть установлено между „Современникомъ" и „Русскимъ Вѣстникомъ" въ 1856—1861 гг. „Воззрѣнія, излагаемыя „Русскимъ Вѣстникомъ" писалъ Чернышевскій подготовляютъ людей къ принятію воззрѣній, излагаемыхъ нами .. Справедливость этой мысли основывается на логическомъ законѣ развитія общественныхъ стремленій. Когда человѣкъ долженъ идти отъ отсутствія всякой дѣльной мысли къ ясному сознанію своихъ дѣлъ и средствъ для удовлетворенія своимъ потребностямъ, онъ не можетъ сразу сдѣлать окончательнаго вывода: полная истина была бы слишкомъ сурова для него, ея требованія показались бы ему превышающими его силы. Онъ идетъ къ ней постепенно, отдыхая на перепутьи... Такимъ перепутьемъ для мысли служатъ воззрѣнія, которыхъ держится „Русскій Вѣстникъ"... Мы считаемъ его очень полезнымъ для насъ подготовителемъ серьезныхъ людей къ принятію нашихъ понятій, мы считаемъ его нена-

гогическимъ учрежденіемъ, въ которомъ читается приготовительный курсъ".[92] Пусть эти слова отдаютъ ироніей и гордыней, но они показываютъ, что либераламъ этого типа Чернышевскій не отказывалъ въ уваженіи.

Кого же, собственно, онъ тогда клеймилъ и бранилъ кличкой „либераловъ"?

Въ годы, о которыхъ мы говоримъ, люди расслабленно-либеральнаго образа мыслей стали повидимому появляться въ изобиліи. Литература, къ сожалѣнію, не сохранила намъ яркаго типа такой народившейся разновидности въ интеллигентной средѣ. Но легко себѣ представить, какъ такая новая общественная группа или, вѣрнѣе, такое накопленіе единицъ могли образоваться. „Либералы" этой чеканки вербовались изъ людей не сильныхъ характеромъ, умомъ, темпераментомъ и волей, людей плывущихъ охотно по теченію, людей, пожалуй, способныхъ на добрыя чувства и справедливыя мысли, но лишенныхъ иниціативы и способности изъ чувствъ и мыслей ковать убѣжденія.

Въ эту группу могли попасть вялые наслѣдники людей сороковыхъ годовъ, усвоившіе отъ учителей лишь расплывчатый туманъ благихъ порывовъ и необдуманныхъ помысловъ; сюда могли попасть томные славянофилы, не прошедшіе строгой школы богословской, философской и исторической мысли, а на лету схватившіе нѣкоторыя славянофильскія поэтическія эмоціи и ими только живущіе; въ составъ этой группы могли войти столь же блѣдные и анемичные западники, и старые, и молодые, безъ широкаго философскаго образованія и развитого общественнаго чувства,— сторонники либеральныхъ идей, способные ужиться съ какой угодно дѣйствительностью; въ эту группу могли быть зачислены и молодые люди, повидимому не отставшіе отъ вѣка, при благородномъ образѣ мыслей и, быть можетъ, съ красивой рѣчью, но ни для какой борьбы, кромѣ словесной, непригодные, за полнымъ отсутствіемъ энергіи и готовности чѣмъ-либо жертвовать; наконецъ, мало ли могло

быть вообще людей, хотя бы чиновныхъ, которые, плывя по вѣтру, выдавали себя за сторонниковъ новыхъ вѣяній и держались такого либеральнаго фарватера, откуда можно было въ любой моментъ причалить къ самой вѣрной консервативной пристани, если бы того потребовали обстоятельства или начальство?

Обозрѣвая толпу такихъ „либераловъ" [а число ихъ могло быть очень значительно], Чернышевскій имѣлъ основаніе сердиться и глумиться. Для того дѣла, о которомъ онъ мечталъ, вся эта толпа была безполезна, даже вредна; и какъ общественная сила, она не только не могла способствовать прогрессивному движенію, а должна была тормозить его, размѣнивая на самую мелкую монету весьма большія идейныя и нравственныя цѣнности.

## VI.

Но въ своемъ судѣ надъ либералами Чернышевскій пошелъ значительно дальше. Не только либералы неудачники средняго разбора казались ему людьми безполезными и вредными, но и либералы вообще, даже съ заслугами, сами по себѣ, по существу своему, представлялись ему въ концѣ концовъ ничтожной общественной силой, — которая должна уступить мѣсто иной силѣ, болѣе современной и гораздо болѣе прогрессивной. Либераламъ, собственно, теперь дѣлать уже болѣе нечего; они кое-что сдѣлали и пѣсня ихъ спѣта. Они были у власти—теперь эту власть надо передать другимъ. Оставлять ихъ дольше у власти — значитъ тормозить ходъ историческаго прогресса. Прогрессъ требуетъ выступленія на арену иного героя. Герой этотъ убѣжденный демократъ, т.-е. исповѣдникъ соціализма.

Свои взгляды на предстоящую въ ближайшемъ будущемъ передачу наслѣдства, оставшагося отъ либераловъ, въ руки побѣдоносныхъ демократовъ Чернышевскій изложилъ подробно и очень опредѣленно:

„Въ каждомъ обществѣ есть консерваторы и прогрессисты. Между прогрессистами есть множество подраздѣленій, но интересъ націи требуетъ, чтобы они понимали одинаковость главнаго своего стремленія и соединялись въ одно цѣлое для борьбы съ общими своими противниками, отвергающими прогрессъ. Исполняется или не исполняется это важное условіе національнаго блага, зависитъ отъ умѣренныхъ прогрессистовъ [т.-е. либераловъ]. Крайніе прогрессисты [т.-е. демократы] такъ преданы дѣлу совершенствованія, что всегда готовы, принося въ жертву и самолюбіе, и мелкіе разсчеты, поддерживать умѣренныхъ. Если умѣренные прогрессисты одарены политическимъ тактомъ, они понимаютъ это и принимаютъ союзъ, предлагаемый имъ крайними прогрессистами. Тогда дѣло совершенствованія идетъ настолько успѣшно, насколько можетъ идти при данномъ состояніи національнаго расположенія. Но иногда умѣренные прогрессисты отвергаютъ союзъ. Отъ этого страдаетъ дѣло прогресса, т.-е. благо націи“.[99]

Къ несчастью, умѣренные должны фатально отвергать такой союзъ, потому что у нихъ и у крайнихъ совсѣмъ иные планы и цѣли. „У либераловъ и демократовъ существенно различны коренныя желанія, основныя побужденія. Демократы имѣютъ въ виду по возможности уничтожить преобладаніе высшихъ классовъ надъ низшими въ государственномъ устройствѣ, съ одной стороны уменьшить силу и богатство высшихъ сословій, съ другой дать болѣе вѣса и благосостоянія низшимъ сословіямъ. Какимъ путемъ измѣнить въ этомъ смыслѣ законы и поддержать новое устройство общества, для нихъ почти все равно. Напротивъ того, либералы никакъ не согласятся предоставить перевѣсъ въ обществѣ низшимъ сословіямъ, потому что эти сословія по своей необразованности и матеріальной скудости равнодушны къ интересамъ, которые выше всего для либеральной партіи, именно къ праву свободной рѣчи и къ конституціонному устройству. Демократъ изъ всѣхъ политическихъ

учрежденій непримиримо враждебенъ только одному — аристократіи; либералъ почти всегда находитъ, что только при извѣстной степени аристократизма общество можетъ достичь либеральнаго устройства; потому либералы обыкновенно питаютъ къ демократамъ смертельную непріязнь, говоря, что демократизмъ ведетъ къ деспотизму и гибеленъ для свободы. Радикализмъ, собственно говоря, состоитъ не въ приверженности къ тому или другому политическому устройству, а въ убѣжденіи, что извѣстное политическое устройство, водвореніе котораго кажется полезнымъ, не согласно съ коренными существующими законами, что важнѣйшіе недостатки извѣстнаго общества могутъ быть устранены только совершенною передѣлкою его основаній, а не мелочными исправленіями подробностей... Изъ всѣхъ политическихъ партій одна только либеральная непримирима съ радикализмомъ, потому что онъ расположенъ производить реформы съ помощью матеріальной силы и для реформъ готовъ жертвовать и свободою слова, и конституціонными формами. Конечно, въ отчаяніи либералъ можетъ становиться радикаломъ, но такое состояніе духа въ немъ ненатурально, оно стоитъ ему постоянной борьбы съ самимъ собою и онъ постоянно будетъ искать поводовъ, чтобы избѣжать надобности въ коренныхъ переломахъ общественнаго устройства и повести свое дѣло путемъ маленькихъ исправленій, при которыхъ не нужны никакія чрезвычайныя мѣры... Такимъ образомъ либералы почти всегда враждебны демократамъ и почти никогда не бываютъ радикалами. Они хотятъ политической свободы, но такъ какъ политическая свобода почти всегда страждетъ при сильныхъ переворотахъ въ гражданскомъ обществѣ, то и самую свободу, высшую цѣль всѣхъ своихъ стремленій, они желаютъ вводить постепенно, расширять понемногу, безъ всякихъ, по возможности, сотрясеній... Съ теоретической стороны либерализмъ можетъ казаться привлекательнымъ для человѣка, избавленнаго счастливою судьбой отъ матеріальной нужды: свобода — вещь очень пріятная.

Но либерализмъ понимаетъ свободу очень узкимъ, чисто формальнымъ образомъ. Она для него состоитъ въ отвлеченномъ правѣ, въ разрѣшеніи на бумагѣ, въ отсутствіи юридическаго запрещенія... Нѣтъ такой европейской страны, въ которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно къ правамъ, составляющимъ предметъ желаній и хлопотъ либерализма. Поэтому либерализмъ повсюду обреченъ на безсиліе: какъ ни разсуждать, а сильны только тѣ стремленія, прочны только тѣ учрежденія, которыя поддерживаются массою народа. Изъ теоретической узости либеральныхъ понятій о свободѣ, какъ простомъ отсутствіи запрещенія, вытекаетъ практическое слабосиліе либерализма, не имѣющаго прочной поддержки въ массѣ народа, не дорожащей правами, воспользоваться которыми она не можетъ по недостатку средствъ. Не переставая быть либераломъ, невозможно выбиться изъ этого узкаго понятія о свободѣ... Либерализмъ хлопочетъ объ отвлеченныхъ правахъ, не заботясь о житейскомъ благосостояніи массъ, которое одно и даетъ возможность къ реальному осуществленію права... Нѣтъ ничего грустнѣе, какъ видѣть честныхъ, любящихъ васъ людей, которые лѣзутъ изъ кожи вонъ отъ усердія осчастливить васъ тѣмъ, чего вамъ рѣшительно не нужно, которые съ опасностью жизни взбираются на Монбланъ, чтобы принести оттуда для вашего наслажденія альпійскую розу. Бѣдняжки! Сколько истрачено денегъ, времени и сколько честныхъ шей сломано въ этомъ заоблачномъ путешествіи для вашего удовольствія! И не приходило въ голову этимъ людямъ, что не альпійская роза, а кусокъ хлѣба нуженъ вамъ, потому что голодному не до цвѣтковъ природы или краснорѣчія. И дивились они, и осыпали васъ упреками въ неблагодарности къ нимъ, въ равнодушіи къ вашему собственному счастію, за то, что вы холодно смотрѣли на ихъ подвиги и не лѣзли за ними черезъ скалы и пропасти и не поддержали ихъ, когда они съ своей заоблачной вышины падали въ бездну. Жалкіе слѣпцы, они не сообразили, что цѣль для

вась кусокъ хлѣба было бы имъ гораздо легче, не сообразили потому, что и не предполагали, будто кому-нибудь можетъ быть нужна такая прозаическая вещь, какъ кусокъ хлѣба... Жаль ихъ потому, что почти всѣ они сломали себѣ шею, почти безъ всякой пользы для націй, о которыхъ хлопотали. Еще больше жаль того, что націи не всегда оставались холодны къ ихъ стремленіямъ, иногда обольщались краснорѣчіемъ и смѣлостью этихъ „передовыхъ людей“, шли вслѣдъ за ними и вслѣдъ за ними падали въ пропасти“ [91]

Чернышевскій, высказывая эти соображенія, подчеркивающія такъ ясно его симпатіи къ соціалистамъ, имѣлъ въ виду политическую жизнь на западѣ. Но когда онъ писалъ эти строки, онъ, конечно, думалъ и о Россіи. Положимъ, никакихъ либераловъ, воспитанныхъ на конституціонномъ строѣ, у насъ пока еще не имѣлось, а тѣ либералы, которые были налицо, о нихъ говорить не стоило... Но можетъ же случиться, что съ теченіемъ времени и Россія обзаведется „умѣренными прогрессистами“, которые будутъ опираться на конституцію (мысль о конституціи, проступившая позднѣе ясно наружу, заявляла о себѣ и въ 1855—1861 гг.). Желательно ли появленіе такихъ лицъ, такой общественной силы? Чернышевскій отвѣчалъ на этотъ вопросъ вполнѣ опредѣленно. Онъ былъ убѣжденъ, что никакой либерализмъ ничего не сможетъ и не захочетъ сдѣлать для народнаго блага. Если можно избѣжать этой переходной стадіи въ развитіи русской общественности — это было бы большимъ выигрышемъ для отечественнаго прогресса. Только возможенъ ли такой скачекъ отъ консерватизма и чахлаго либерализма прямо къ господству демократическаго строя? Чернышевскій не высказывался по этому вопросу и оставилъ за собой лишь право теоретическаго разсужденія, безъ всякаго примѣненія его къ практикѣ момента. Выводъ изъ этого разсужденія былъ ясенъ: какъ общественная сила, либерализмъ въ союзники не годился, не только либерализмъ русскій, отъ почтенныхъ людей до „дряни“, но и во-

общіе всякій либерализмъ. Иногда это недовѣріе къ либераламъ и раздраженіе противъ нихъ было такъ сильно въ Чернышевскомъ, что онъ готовъ былъ какъ будто помириться съ остановкой самаго прогрессивнаго движенія до тѣхъ поръ, пока не народятся въ достаточномъ количествѣ истинные слуги прогресса — демократы и соціалисты. „Такъ-то вотъ и у насъ — говоритъ онъ въ романѣ „Прологъ“ — толкуютъ: „освободимъ крестьянъ“. Гдѣ силы на такое дѣло? Еще нѣтъ силъ. Нелѣпо приниматься за дѣло, когда нѣтъ силъ на него. А видите, къ чему идетъ: станутъ освобождать — что выйдетъ? сами судите, что выходитъ, когда берешься за дѣло, котораго не можешь сдѣлать. Натурально, что: испортишь дѣло, выйдетъ мерзость... Эхъ, наши господа эманципаторы, — вотъ хвастуны-то, вотъ болтуны-то; вотъ дурачье-то“[195]

Никто, конечно, не подумаетъ, что Чернышевскій могъ когда-либо, хоть на одинъ мигъ, остановиться на мысли о несвоевременности освобожденія крестьянъ. Тѣмъ не менѣе въ своихъ словахъ онъ былъ очень искрененъ; онъ хотѣлъ лишь сказать, что въ настоящую минуту нѣтъ въ Россіи такой общественной силы, которая желала бы народу дѣйствительнаго блага и могла бы дать народу то, что ему нужно, и въ той мѣрѣ, въ какой ему это нужно.

Правительственная власть, чиновничество и дворянство дадутъ кое-что minimum необходимаго, и притомъ все время будутъ настороже, боясь, какъ бы не перепало народу чего-нибудь лишняго. Либералы всѣхъ оттѣнковъ тѣ народу дать абсолютно ничего не могутъ, если не считать красивыхъ словъ, благихъ помысловъ, пламенныхъ чувствъ, да и то не всегда, такъ какъ огромное большинство русскихъ либераловъ существуетъ лишь для собственнаго самоуслажденія.

Итакъ, если всѣ перечисленныя общественныя силы какъ двигатели истиннаго прогресса не годятся, на кого же можно въ концѣ концовъ разсчитывать, чтобы слово прогрессъ

стало для Россіи пустымъ или, что хуже, обманчивымъ звукомъ? Отвѣтъ напрашивался самъ собою: такихъ силъ оставалось только двѣ: сила народной массы и сила радикальнаго интеллигента.

## VII.

Чернышевскій былъ всегда, съ самыхъ юныхъ лѣтъ, какъ говорится, „народолюбцемъ". О чемъ бы онъ ни думалъ, по какимъ бы вопросамъ общественнымъ и политическимъ онъ ни писалъ, онъ всегда всѣ вопросы покрывалъ однимъ главнымъ и заключительнымъ: а что выиграетъ въ данномъ случаѣ народъ и какъ отразится на его жизни то или иное событіе, та или иная законодательная мѣра? Интересы народа—въ нихъ однихъ смыслъ и оправданіе политическаго порядка въ странѣ,—такъ думалъ Чернышевскій еще въ студенческіе годы; и странныя мысли родились тогда въ его головѣ. Онъ былъ увѣренъ, „что при современномъ ему положеніи вопроса о соціальномъ устройствѣ единственною и возможно лучшею формою правленія являлась диктатура или, еще лучше, наслѣдственная неограниченная монархія. Только такая монархія, стоящая сознательно внѣ и выше классовой борьбы, пойметъ свою задачу быть покровительницей угнетаемаго низшаго класса, земледѣльцевъ и работниковъ, но ей должно быть присуще сознаніе, что она временная власть, что она средство, а не цѣль".[96] „Монархія должна искренно стоять за земледѣльцевъ и работниковъ"—писалъ Чернышевскій въ дневникѣ 1848 г., должна поставить себя главою и защитницею ихъ интересовъ. Она должна, конечно, знать, что ея роль перемѣнная, что назначеніе ея двоякое. Во-первыхъ, для того, чтобы въ настоящемъ правительствѣ быть представительницею низшаго класса, который нуждается въ покровительствѣ несравненно болѣе всѣхъ. Во-вторыхъ, обязан-

ность неограниченной монархіи состоитъ въ томъ, чтобы всѣми силами приготовлять и содѣйствовать долженствующему не формальному, а дѣйствительному равноправію этого сословія съ другими высшими классами, равноправію и по развитію, и по средствамъ жить, и по всему, такъ, чтобы поднять это сословіе до высшихъ сословій".[97] Меньше чѣмъ черезъ годъ пришлось записать въ томъ же дневникѣ: „Я думалъ, что лучше всего, если абсолютизмъ продержитъ насъ въ своихъ объятіяхъ до конца развитія въ насъ демократическаго духа, такъ что, какъ скоро начнется народное правленіе, — правленіе de jure и de facto перешло въ руки самаго низшаго и многочисленнѣйшаго класса — земледѣльцы, поденщики и рабочіе, — такъ, чтобы черезъ это мы были избавлены отъ всякихъ переходныхъ состояній между абсолютизмомъ и управленіемъ, которое одно можетъ соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно, тогда я былъ еще того мнѣнія, что абсолютизмъ имѣетъ естественное стремленіе препятствовать высшимъ классамъ угнетать низшіе, что это противоположность аристократіи, а теперь я рѣшительно убѣжденъ въ противномъ: монархъ, а тѣмъ болѣе абсолютный монархъ, — только завершеніе аристократической іерархіи, душою и тѣломъ принадлежащій къ ней; это все равно, что вершина конуса аристократіи, т.-е. когда самая верхушка у конуса отнята, — не все ли равно: низшіе слои изнемогаютъ подъ высшими, будетъ ли у конуса верхушка или нѣтъ".[98]

Итакъ, еще въ 1848-мъ году съ однимъ изъ мнимыхъ защитниковъ и опекуновъ народа пришлось проститься; и мы знаемъ, какъ скоро Чернышевскій разувѣрился и въ благожелательномъ отношеніи къ народу другихъ общественныхъ группъ. Народъ оставался одинокимъ.

Чернышевскій продолжалъ любить его все болѣе и болѣе. Въ романѣ „Прологъ" онъ позволилъ своей женѣ сдѣлать однажды такое признаніе: „Я хочу, чтобы о моемъ мужѣ говорили когда-нибудь, что онъ раньше всѣхъ понималъ, что нужно для пользы народа и не жалѣлъ для пользы на-

рода не то, что себя велика важность ему не жалѣть себя! не жалѣть и меня! и будутъ говорить это я сама!"[99]

Понимать, что нужно народу, Чернышевскій, конечно, понималъ, но вѣдь весь вопросъ сводился къ тому, что „дѣлать", чтобы дать народу то, что ему нужно и въ какой мѣрѣ самъ народъ, своею силою можетъ участвовать въ этомъ дѣлѣ?

Изъ наблюденія надъ ходомъ всемірной исторіи Чернышевскій вынесъ убѣжденіе, что до сихъ поръ народная масса ни въ одной странѣ не обнаруживала той силы, какою она несомнѣнно обладаетъ. „Нынѣшнее состояніе массы въ самыхъ передовыхъ странахъ, писалъ онъ, достаточно ручается, что она до сихъ поръ почти вовсе не жила историческою жизнью, а продолжала искони вѣковъ дремать младенческимъ сномъ".[100] „Масса населенія ничего не знаетъ, ни о чемъ не думаетъ, кромѣ своихъ матеріальныхъ выгодъ, и рѣдки случаи, въ которыхъ она хоть замѣчаетъ отношеніе своихъ матеріальныхъ интересовъ къ политической перемѣнѣ... Иной разъ кажется, „что масса просто матерія для производства дипломатическихъ и политическихъ опытовъ. Кто взялъ надъ нею власть, тотъ и говоритъ ей, что она должна дѣлать—то она и дѣлаетъ". „Практическіе государственные люди дѣлали, а народы слушались".[101] „Были люди, желавшіе измѣненія въ матеріальныхъ отношеніяхъ сословій, желавшіе законодательныхъ и административныхъ мѣръ для улучшенія быта низшихъ классовъ, но масса объ этихъ пророкахъ либо ничего не знала, либо не шла за ними, такъ какъ вообще не умѣла находить своихъ вождей".[102] „Необходимость слишкомъ тяжелаго и продолжительнаго физическаго труда для скуднаго поддержанія жизни не оставляла ей нигдѣ и никогда времени для постояннаго занятія государственными дѣлами. Не имѣя ни навыка къ тому, ни образованія, нужнаго для того, чтобы составить себѣ систему политическихъ убѣжденій, народъ обыкновенно даже не хотѣлъ присматриваться къ вещамъ, которыя дѣлаются

и говорятся высоко надъ нимъ въ парламентѣ, въ журналистикѣ и въ административныхъ сферахъ".[103]

Таково положеніе народа на Западѣ: стоитъ ли говорить о томъ, каково оно въ Россіи? И Чернышевскій избѣгалъ рисовать жалостную и вопіющую картину народной нищеты и тьмы — полагая, что молчаніе въ данномъ случаѣ краснорѣчивѣе и убѣдительнѣе... Онъ только благодарилъ тѣхъ людей, которые, какъ напр. Н. Успенскій, не стѣсняясь говорили правду о народѣ, сколь сурова и непривлекательна она ни была, и тѣмъ самымъ отучали насъ отъ „сострадательныхъ впечатлѣній, сладко щекотавшихъ нашу мысль ощущеніемъ нашей способности трогаться, сострадать несчастію, проливать надъ нимъ слезу, достойную самого Манилова".[104]

Нерѣдко поднимался вопросъ, въ какой мѣрѣ Чернышевскаго можно назвать „народникомъ". Вопросъ былъ едва ли правильно поставленъ, такъ какъ смыслъ, придаваемый слову „народникъ", часто мѣнялся. Были народники, которые въ народѣ видѣли учителя, были другіе, которые видѣли хорошаго ученика; были люди, которые желали раствориться въ народной массѣ, другіе, которые хотѣли эту массу поднять до себя; люди мирной культурной работы и люди революціоннаго выступленія. Въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ народничество имѣло очень много оттѣнковъ, и въ сочиненіяхъ Чернышевскаго мы не должны искать параллелей всѣмъ разновидностямъ этой единой въ своемъ основаніи мысли. Но эта сама основная мысль: „все для народа и по возможности съ его помощью" — была несомнѣнно въ кругу Чернышевскаго и Добролюбова краеугольной мыслью, на которую опирались ихъ размышленія о отношеніи интеллигента къ массѣ. — „Важнѣйшій капи-

*) Къ этому [illegible]

напіи нравственныя качества народа",[105] и безсильны тѣ личности, которыя, слишкомъ полагаясь на свою силу, не ищутъ помощи своему начинанію въ самостоятельной дѣятельности всей народной массы".[106] А вѣдь когда-нибудь эта масса будетъ самостоятельна и нравственно сильна, въ какомъ бы приниженномъ состояніи она въ данную минуту ни находилась. „Каково бы ни было настоящее состояніе [Испаніи], писалъ при случаѣ Чернышевскій, но эпоха возрожденія уже началась для нея. Въ этомъ убѣждаетъ постепенное распространеніе просвѣщенія, замѣтное усиленіе умственной дѣятельности въ націи, столь долго дремавшей и всего болѣе убѣждаетъ въ возможности возрожденія качества, сохраненныя [испанскимъ] народомъ. Онъ даровитъ, благороденъ и твердъ духомъ, и если онъ выдержалъ трехвѣковое бѣдствіе, не утративъ душевныхъ силъ, то конечно способенъ возродиться, когда вліяніе неблагопріятныхъ обстоятельствъ на его судьбу ослабѣетъ... [Испанія] вошла уже въ такую тѣсную связь съ остальною Европою, что не можетъ оградить себя отъ сочувствія стремленіямъ вѣка. Единственные важные недостатки, которыми страдаетъ [испанскій] народъ—беззаботность невѣжества и равнодушіе къ улучшенію матеріальнаго быта—эти недостатки прямо противоположны потребностямъ и стремленіямъ нашего вѣка и потому нѣтъ нужды въ особенной отважности, чтобы рѣшиться сказать: недостатки эти должны исчезнуть и исчезнуть быстро".[107]

Повидимому, очень оптимистическій взглядъ на будущее; но врядъ ли онъ былъ всегда такъ простъ и ясенъ въ сознаніи Чернышевскаго. На недостатки народа Чернышевскій глазъ не закрывалъ, онъ народа не идеализировалъ, онъ не молился на него, не раздѣлялъ ни славянофильскаго, ни

нѣйшие свои доводы [Плехановъ]. «Чернышевскаго можно признать однимъ изъ родоначальниковъ народничества, поскольку послѣднее характеризуется между прочимъ вѣрой въ то, что Россія минуетъ стадію капитализма» [Стекловъ].

позднѣйшаго народническаго восторга передъ его душой, его нравственными качествами, его умомъ... Трезвый реалистъ, Чернышевскій не самообольщался, и бывали, вѣроятно, очень тяжелыя минуты, когда, переходя отъ мечтаній о желаемомъ къ анализу настоящаго, Чернышевскій отчислялъ и народную силу въ разрядъ тѣхъ силъ, какими истинный прогрессъ въ настоящую минуту въ движеніе приведенъ быть не можетъ. Въ одну изъ такихъ минутъ, если вѣрить „Прологу", Добролюбовъ имѣлъ съ Чернышевскимъ разговоръ о народѣ, и вотъ что, рукой самого Чернышевскаго, Добролюбовъ записалъ въ своемъ дневникѣ *): „Я вижу его [Чернышевскаго] недостатки. Онъ не вѣритъ въ народъ. По его мнѣнію народъ также плохъ и пошлъ, какъ общество. Понятно, почему онъ такъ думаетъ: ему не хотѣлось бы террора, онъ и старается убѣдить себя, что терроръ невозможенъ. Онъ слишкомъ холодно совѣтуетъ терпѣть. Это явная логическая ошибка: намъ съ вами очень можно терпѣть, потому-что намъ недурно — совершенно согласенъ, но потому, пусть и народъ потерпитъ. Народу не такъ легко терпѣть какъ намъ. Но все-таки Чернышевскій — человѣкъ преданный народу". Изъ этихъ словъ самого Чернышевскаго можно сдѣлать очень опредѣленный выводъ, который и былъ сдѣланъ Плехановымъ, когда онъ утверждалъ, что Чернышевскій не разсчитывалъ на народную иниціативу ни въ Россіи, ни на Западѣ и признавалъ, что инициатива прогресса и всякихъ полезныхъ для народа перемѣнъ принадлежитъ „лучшимъ людямъ", т.-е. интеллигенціи.[108] Этотъ выводъ, однако, не совпадаетъ съ мыслью самого Чернышевскаго о ничтожности всякой инициативы отдѣльной личности, если она не поддержана массой.

Есть нѣкоторое противорѣчіе или, вѣрнѣе, нѣкоторая недосказанность во всѣхъ разсужденіяхъ Чернышевскаго о размѣрахъ народной силы. Такая недосказанность была,

*) Дневникъ Левицкаго.

впрочемъ, неизбѣжна. Въ вопросахъ религіозныхъ, философскихъ, нравственныхъ и историческихъ общаго типа—опредѣленность и ясность была отличительной чертой мысли Чернышевскаго: онъ имѣлъ дѣло съ логическими операціями и теоретическими выкладками и могъ разсуждать спокойно. Но увѣренность и спокойствіе должны были его покинуть, когда онъ вступалъ въ сферу вопросовъ, тѣснѣйшимъ образомъ связанныхъ съ практикой дня, вопросовъ, страшно его волновавшихъ и при рѣшеніи которыхъ онъ имѣлъ дѣло не съ опредѣленными устойчивыми понятіями, а съ величинами неясными, колеблющимися и совсѣмъ неустановленными, какъ напр. сила русской народной массы или сила русскаго радикальнаго интеллигента. Сомнѣнія и колебанія [и даже очень рѣзкія] были неизбѣжны при всякой попыткѣ разъяснить самому себѣ и другимъ вопросъ о томъ, какъ эти силы должны быть учтены при составленіи плана дѣйствій, котораго надлежитъ держаться. Изъ оцѣнки всѣхъ общественныхъ силъ, имѣющихся налицо въ Россіи, было ясно, что помочь народному дѣлу въ духѣ истиннаго прогресса, т.-е. приблизить жизнь къ демократическому и соціалистическому идеалу, можетъ только народъ въ союзѣ съ радикалами. Какое участіе въ этомъ дѣлѣ выпадетъ на долю народной массы?

Какъ можно было отвѣчать на этотъ вопросъ опредѣленно, когда эта сила была загадкой, когда она пока ни въ чемъ не проявилась и, скованная, дремала вѣками? Начать превозносить ее, разукрашать ее фантазіей, оказать ей большое довѣріе въ кредитъ Чернышевскій, какъ трезвый историкъ и зоркій наблюдатель, не могъ. Отказать народной массѣ въ огромной силѣ, хотя бы и скрытой, отказать ей въ дарованьяхъ и видѣть въ ней лишь то, что всѣмъ видимо, онъ также не могъ, не нарушая общихъ признанныхъ имъ историкофилософскихъ построеній и не отказываясь отъ всякой борьбы, что для него было равносильно нравственному самоубійству. Оставалось пребывать въ этомъ

неловкомъ, тягостномъ состояніи вѣрующаго и невѣрующаго человѣка, который минуты сомнѣнія искупаетъ минутами самой пламенной любви и за эту любовь казнитъ себя же, произнося жестокій судъ надъ предметомъ своего увлеченія. Въ сочиненіяхъ Чернышевскаго мы, дѣйствительно, не находимъ яснаго опредѣленія размѣровъ народной силы; мы чувствуемъ, что народное благо для него — все; что онъ любитъ народъ безгранично; что онъ для него готовъ на всѣ жертвы; что онъ вѣритъ въ его силу — но нигдѣ не встрѣтимъ мы прямого, ободряющаго оклика, властнаго призыва, громкаго слова „впередъ", съ какимъ вождь обращается къ идущей за нимъ дисциплинированной и сознательной массѣ. Слово это было ежечасно на устахъ Чернышевскаго, но произнести его онъ не могъ, такъ какъ не чувствовалъ за своей спиной той сплоченной массовой силы, которая способна слово превратить въ дѣйствіе.

## VIII.

Въ одномъ только случаѣ Чернышевскій былъ убѣжденъ, что онъ эту народную силу ясно нащупалъ. Общинное владѣніе землей казалось ему такимъ созданіемъ народнаго генія, которое богато очень большими обѣщаніями.

Чернышевскій, какъ извѣстно, былъ самымъ краснорѣчивымъ и самымъ ярымъ защитникомъ общины. Цѣлый рядъ блестящихъ статей, и нынѣ не утратившихъ своего значенія, говоритъ о томъ, какъ высоко онъ цѣнилъ этотъ институтъ, выросшій на самобытной народной почвѣ... Говоря о возможныхъ измѣненіяхъ въ экономическомъ бытѣ нашего народа, Чернышевскій съ необычнымъ для него паѳосомъ писалъ: „каковы бы ни были эти преобразованія, да не дерзнемъ мы коснуться священнаго, спасительнаго обычая, оставленнаго намъ нашею прошедшею жизнью, бѣдность которой съ избыткомъ искупается однимъ этимъ драгоцѣннымъ наслѣдіемъ — да не дерзнемъ мы посягнуть на общин-

ное пользованіе землями, на это благо, отъ пріобрѣтенія котораго теперь зависитъ благоденство земледѣльческихъ классовъ Западной Европы".[109] Много испытаній ждетъ Европу—но „отечество наше въ сторонѣ, именно благодаря нашимъ кореннымъ экономическимъ началамъ, сохраненіе которыхъ необходимо для огражденія нашего національнаго благосостоянія отъ испытаній" [1857].[110]

Чернышевскій имѣлъ особыя причины такъ заступаться за общину: онъ думалъ, что она поможетъ намъ легче усвоить принципы, на которыхъ будетъ построенъ соціалистическій порядокъ и что ею можно будетъ воспользоваться при проведеніи этого порядка въ жизнь, хотя бы сначала въ видѣ земледѣльческихъ товариществъ для обработки земли. Мысль была не новая [ее до Чернышевскаго высказывалъ Герценъ], но крайне заманчивая для теоретика соціалиста. Эту мысль Чернышевскій, несомнѣнно, облюбовалъ, но едва ли онъ былъ твердо увѣренъ въ ея непреложности. Какъ въ вопросѣ о народной силѣ вообще, такъ и въ этомъ частномъ вопросѣ, возможны были сильныя колебанія. Оправдаетъ община надежду? Кто въ этомъ поручится? Съ одной стороны институтъ этотъ такъ крѣпко сросся съ народной психикой, что дальнѣйшая жизнь и процвѣтаніе ему обезпечены; съ другой условія, въ которыхъ этой общинѣ приходится развиваться, таковы, что она можетъ захирѣть въ томъ жалкомъ состояніи, въ какомъ она теперь находится. Такія сомнѣнія находили на Чернышевскаго и онъ готовъ былъ признаться, что „онъ былъ глупъ, когда хлопоталъ о дѣлѣ, для полезности котораго не обезпечены условія, что онъ хлопоталъ о сохраненіи собственности въ извѣстныхъ рукахъ, не удостовѣрившись прежде, что собственность достанется въ эти руки и достанется на выгодныхъ условіяхъ" [1858].[111] Но высказавъ эти опасенія, Чернышевскій сейчасъ же опять переходилъ къ своей любимой мысли и увѣрялъ читателя, что переходъ отъ общины прямо къ соціалистическому строю не противорѣчитъ законамъ исторіи

и что нѣтъ необходимости проходить послѣдовательно всѣ стадіи общественно-экономическаго развитія, т.-е., другими словами, что соціалистическій строй, быть можетъ, будетъ нами купленъ не столь тяжелыми жертвами и испытаніями, какія сопряжены съ обычной послѣдовательной историческои эволюціей. Такія колебанія Чернышевскаго иногда истолковывались какъ отказъ отъ завѣтной мечты, но на самомъ дѣлѣ никакого отреченія не было. Было опять то томительное, минутами пріятное, минутами тяжелое состояніе колебанія между вѣрой и сомнѣніемъ, столь естественное при разсчетахъ, въ которые приходилось вводить величины совершенно неопредѣленныя.

И всетаки вся надежда была лишь на неизмѣренную силу самой народной массы. Теперь эта сила — большая туманность, но изъ этой туманности могутъ родиться новые міры. Въ ней все пока неопредѣленно, неясно, но полно обѣщаній; и потому первое, что надлежитъ сдѣлать — это привести въ возможную ясность наличный размѣръ этой силы, изучить ея психическій составъ и умственный строй, опредѣлить степень сознанія, съ какимъ она относится къ своему положенію и степень ея готовности что-нибудь предпринять для измѣненія своего положенія; однимъ словомъ, надо начать наблюдать и изучать народную массу, надо начать сближаться съ ней, надо спѣшить какъ можно скорѣй ей на помощь... Кому можно довѣрить такое новое дѣло? Конечно, лишь интеллигенту новой формаціи—интеллигенту радикалу, который одинъ изъ всѣхъ образованныхъ людей знаетъ, что народу нужно, и безкорыстно готовъ отдать себя ему въ услуженіе. Такого радикальнаго интеллигента надо выслать поскорѣй на выручку народа. Если народная сила сама по себѣ слаба и инертна, то, быть можетъ, въ союзѣ съ радикальной интеллигенціей она выроститъ и развернется, и размѣры ея станутъ болѣе опредѣленны?

## IX.

Изъ всѣхъ вопросовъ, на которые у Чернышевскаго не было готовыхъ и увѣренныхъ отвѣтовъ, этотъ вопросъ о посылкѣ радикальнаго интеллигента на отвѣтственную и совсѣмъ новую работу причинялъ ему, надо думать, всего больше душевной тревоги. Положеніе было, дѣйствительно, очень сложное и острое. Идти народу на помощь было необходимо, и надо было торопиться, такъ какъ историческій моментъ былъ исключительный по своему значенію именно для народа, который имѣлъ много недоброжелателей и ни одного настоящаго защитника или вождя. Идти массѣ на помощь долженъ былъ несомнѣнно человѣкъ новый, радикалъ по убѣжденіямъ, такъ какъ только его помощь могла имѣть для народа существенное значеніе; но откуда было взять этихъ радикальныхъ интеллигентовъ въ томъ количествѣ, въ какомъ они, дѣйствительно, могли бы представлять собою силу, и, главное, какую программу дѣйствія предложить имъ?

Программа могла быть, конечно, только революціонная. Начать тихую и широкую работу воспитанія и образованія безграмотной массы, прожившей нѣсколько сотъ лѣтъ въ рабствѣ — значило начать дѣло, на выполненіе котораго потребовалось бы также не менѣе столѣтія, и можно было, кромѣ того, не будучи пророкомъ, предсказать, что дѣло образованія и воспитанія правительство возьметъ въ свои руки и ни одного радикала-интеллигента въ сотрудники не приметъ. Можно было пойти еще дальше въ догадкахъ и предположить, что правительство вообще постарается затормозить, насколько возможно, дѣло народнаго образованія и воспитанія, на всякаго частнаго волонтера въ этомъ дѣлѣ будетъ смотрѣть какъ на крамольника и аттестуетъ его революціонеромъ раньше, чѣмъ онъ самъ себя таковымъ признаетъ.

Начать политическое воспитаніе и образованіе народа прежде чѣмъ дать ему общее было безполезно. Чернышевскій зналъ, что на чисто политическіе вопросы масса вообще откликается туго, даже въ странахъ, гдѣ она поставлена въ лучшія общественныя условія, чѣмъ въ Россіи. Но если бы даже такое, самое элементарное политическое воспитаніе массы было возможно — только наивный ребенокъ могъ думать, что правительство его потерпитъ.

Оставался одинъ путь сближенія интеллигента съ массой: интеллигентъ долженъ былъ опредѣлить, какова степень недовольства въ народѣ, преимущественно его экономическимъ положеніемъ; онъ долженъ былъ разъяснить народу весь ужасъ этого экономическаго положенія; долженъ былъ разгорячить его фантазію и разжечь его аппетитъ картиной грядущаго благосостоянія; долженъ былъ убѣдить его въ томъ, что благосостояніе ему никто дать не можетъ, кромѣ него самого; онъ долженъ былъ дискредитировать въ глазахъ народа всѣхъ его оффиціальныхъ опекуновъ и, наконецъ, главное — опредѣлить, насколько народъ готовъ къ выступленію, къ защитѣ своихъ правъ силой.

Программа во всѣхъ своихъ частяхъ была несомнѣнно революціонная, такъ какъ она имѣла цѣлью возможно скорое и насильственное измѣненіе существующаго порядка. Программа была рѣшительная и стройная — но какую надо было имѣть смѣлость, чтобы предложить ее только-что слагавшимся кружкамъ молодыхъ людей, никакимъ житейскимъ опытомъ не умудренныхъ, совершенно затерянныхъ среди явныхъ и тайныхъ враговъ и безчисленнаго количества индифферентовъ?

Имѣлъ или не имѣлъ Чернышевскій такую смѣлость? Былъ ли онъ иниціаторомъ того революціоннаго движенія, которое уже къ 1861-му году совершенно ясно обозначилось въ нашей общественной жизни, а затѣмъ стало развиваться съ необычайною быстротой? Этотъ вопросъ

всегда возникалъ, когда рѣчь шла о Чернышевскомъ, и за послѣднее время онъ сталъ предметомъ очень обстоятельныхъ изслѣдованій. Разъ навсегда опредѣленнаго и неопровержимаго рѣшенія онъ не получилъ и, вѣроятно, никогда не получитъ. Печатныя статьи Чернышевскаго даютъ очень мало указаній; его дневники и воспоминанія о немъ также полны лишь намековъ; судебное дѣло отдаетъ подтасовкой и ничего не устанавливаетъ. То, что добыто тщательнымъ трудомъ изслѣдователей, сводится къ слѣдующему:

Въ годы студенческой жизни, подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ событій 1848-го года и подъ впечатлѣніемъ чтенія преимущественно французскихъ публицистовъ и соціалистовъ, Чернышевскій держался временами очень крайнихъ взглядовъ.[112] Революціонная политика казалась ему возможной и въ Россіи, и онъ самъ разрѣшалъ себѣ, иногда по примѣру своихъ знакомыхъ изъ кружка Петрашевскаго, революціонныя рѣчи съ людьми изъ народа, съ которыми встрѣчался на улицѣ.[113] Эти крайніе взгляды отошли въ тѣнь, когда на Чернышевскаго легла журнальная работа во всемъ ея объемѣ. Взгляды, конечно, могли и не измѣниться по существу, но разработка ихъ пріостановилась въ виду того, что масса новыхъ общественныхъ и научныхъ вопросовъ отвлекла вниманіе писателя, а также и потому, что ходъ государственной реформы угадать на первыхъ порахъ было трудно. Прежде чѣмъ говорить о крайнихъ мѣрахъ, нужно было присмотрѣться къ тѣмъ некрайнимъ, которыя предпринимались. Въ той мѣрѣ, въ какой реформа не оправдывала надеждъ, радикализмъ Чернышевскаго долженъ былъ повышаться, въ особенности при томъ скептическомъ взглядѣ на чисто политическую борьбу, который Чернышевскому былъ свойственен. Что радикальное настроеніе Чернышевскаго, дѣйствительно, повышалось, на это есть прямыя указанія въ его статьяхъ написанныхъ по поводу политическихъ событій на Западѣ. Симпатіи явственно клонятся влѣво, и

даже рѣзко влѣво. Попадаются ясные намеки на возможность и необходимость революціонныхъ актовъ: „Кто берется за дѣло, тотъ долженъ знать, къ чему поведетъ оно, и если не хочетъ онъ неизбѣжныхъ его принадлежностей, онъ не долженъ хотѣть и самаго дѣла. Политическіе перевороты никогда не совершались безъ фактовъ самоуправства, нарушавшаго формы той юридической справедливости, какая соблюдается въ спокойныя времена. Перевороты волнуютъ народное чувство, взволнованное чувство забываетъ о формахъ; кто не знаетъ этого, тотъ не понимаетъ характера силъ, которыми движется исторія, не знаетъ человѣческаго сердца. Человѣкъ, который принимаетъ участіе въ политическомъ переворотѣ, воображая, что не будутъ при немъ много разъ нарушаться юридическіе принципы спокойныхъ временъ, долженъ быть названъ идеалистомъ.[114] Такимъ идеалистомъ Чернышевскій не хотѣлъ казаться. Говоря объ итальянскихъ патріотахъ, боровшихся за независимость Италіи и за свободу итальянскаго народа, Чернышевскій очень откровенно, подъ прозрачнымъ прикрытіемъ индифферентнаго съ виду сужденія, писалъ: „мы не говоримъ, хорошо или дурно дѣло, которое взялись вести правители центральной Италіи [думавшіе разрѣшить вопросъ о національномъ объединеніи болѣе или менѣе мирно], а говоримъ только, что они не умѣютъ вести его какъ слѣдуетъ, потому что не понимаютъ его сущности и боятся тѣхъ мѣръ, которыхъ оно требуетъ. Ихъ дѣло революціонное, а они воображаютъ придать ему характеръ законности. Принципъ, осуществленіе котораго они хотятъ, принципъ верховной власти народа, смертельно враждебенъ принципу легитимности, а они хотятъ пріобрѣсти помощь континентальной дипломатіи, которая держится договорнаго права и династическаго принципа. Наконецъ, ихъ цѣль есть цѣль народныхъ стремленій, стало-быть, должна достигаться энтузіазмомъ массы, а они хотятъ, чтобы масса не вмѣшивалась. Быть можетъ, средства, требуемыя этимъ дѣломъ,

дурны, этого мы не знаемъ; но если они дурны, въ такомъ случаѣ не слѣдовало бы и приниматься за дѣло. Кто не хочетъ средствъ, тотъ долженъ отвергать и дѣло, которое не можетъ обойтись безъ этихъ средствъ. Кто не хочетъ волновать народъ, кому отвратительны сцены, неразрывно связанныя съ возбужденіемъ народныхъ страстей, тотъ не долженъ и брать на себя веденія дѣла, поддержкою котораго можетъ служить только одушевленіе массы".[115] Тѣ, кто помнилъ размышленія Чернышевскаго о соотношеніи общественныхъ силъ, двигающихъ прогрессомъ, кто не забылъ о той роли, какую Чернышевскій отводилъ въ этомъ движеніи силѣ народной массы — могли читать и понимать эти слова совсѣмъ въ иномъ смыслѣ, чѣмъ ихъ понимали люди, интересующіеся исключительно политическимъ возрожденіемъ Италіи.

Иногда среди относительно спокойнаго историческаго изложенія или даже въ экономическомъ трактатѣ, у Чернышевскаго срывались неожиданно фразы, которыя указывали на быстрый скачекъ мысли, очевидно возвращавшейся все къ одной и той же затаенной темѣ. По поводу одного политико-экономическаго трактата Чернышевскій вдругъ заговорилъ объ убійствѣ Олоферна и о національномъ подвигѣ Юдифи. „Человѣкъ умный и дѣйствительно желающій пользы — писалъ онъ — разсчитываетъ какъ можно строже и если въ общемъ сводѣ окажется перевѣсъ пользы, онъ пойдетъ на все. Были люди, которые не смущались не только какими-нибудь пустяками — которые не жалѣли даже своей репутаціи, обратили свое имя на позоръ въ устахъ всѣхъ, такъ называемыхъ, благородныхъ людей, когда того требовала общая польза... Юдифь поступила не дурно. Не очень часто встрѣчаются обстоятельства, требующія такихъ же страшныхъ пожертвованій отъ человѣка, желающаго быть полезнымъ обществу, но постоянно, черезъ всю гражданскую жизнь каждаго человѣка тянутся историческія комбинаціи, въ которыхъ обязанъ гражданинъ отказываться

отъ извѣстной доли своихъ стремленій для того, чтобы содѣйствовать осуществленію другихъ своихъ стремленій, болѣе высокихъ и болѣе важныхъ для общества. Историческій путь — не тротуаръ Невскаго проспекта; онъ идетъ цѣликомъ черезъ поля, то пыльныя, то грязныя, то черезъ болота, то черезъ дебри. Кто боится быть покрытъ пылью и выпачкать сапоги, тотъ не принимается за общественную дѣятельность. Она — занятіе благотворное для людей, когда вы думаете дѣйствительно о пользѣ людей, но занятіе не совсѣмъ опрятное. Правда, впрочемъ, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, можетъ быть, кажется, что, напр., Юдинъ не запятнала себя.[116] Тирада была исключительная по своему смыслу, по угрожающей новизнѣ и смѣлости. По поводу нея въ журналистикѣ поднялся шумъ, который, правда, скоро затихъ, такъ какъ всякіе комментаріи къ этимъ словамъ Чернышевскаго были совсѣмъ неудобны.

Всѣ такія вспышки крайней мысли и революціоннаго темперамента имѣютъ свое автобіографическое значеніе, но ихъ не должно преувеличивать. Они смягчаются другими, гласными и интимными, признаніями Чернышевскаго, въ которыхъ звучитъ иная нота. Убѣжденія его остаются крайними, но они какъ-то прячутся за благоразумный совѣтъ — не торопиться! Выступать надо, имѣя за собою силу, повторяетъ неоднократно Чернышевскій; онъ противъ всякой романтики въ революціонномъ дѣлѣ, какъ она, напр., выражалась въ тайныхъ обществахъ; надо „по возможности избѣгать риска", говоритъ онъ въ „Прологѣ".[117] — Придетъ серьезное время. Поднимутся вопросы о благѣ народа. Нужно будетъ кому-нибудь говорить во имя народа. Надо приберечь себя къ тому времени!"[118] „Охъ, нетерпѣніе! Охъ, иллюзіи! Охъ, экзальтація!"[119] Грустно читать эти строки въ романѣ, написанномъ послѣ катастрофы, послѣ всѣхъ предосторожностей, которыя не спасли отъ бѣды: въ нихъ звучитъ какъ-будто упрекъ самому себѣ: не поддался ли самъ экзальтаціи и иллюзіямъ?

Но все, что намъ извѣстно изъ гласныхъ рѣчей Чернышевскаго и изъ воспоминаній объ его поведеніи, не подтверждаетъ такого упрека и тайна души Чернышевскаго не разъясняется. Нѣкоторый свѣтъ на нее проливаютъ слова г. Русанова: „Чернышевскій обладалъ не только необыкновеннымъ умомъ, но и исключительной твердостью характера. Пусть это не та энергія воли, которая поражаетъ насъ въ вожакахъ массъ или даже прирожденныхъ конспираторахъ: непрактичность, книжность не исключаютъ великой нравственной силы духа. Есть люди, у которыхъ волевые импульсы непосредственно реагируютъ на факты дѣйствительности: это по преимуществу практическіе политики. Но есть люди, которымъ реакцію на извѣстное внѣшнее явленіе нужно продержать въ холодильникѣ логическаго аппарата, чтобы она вышла оттуда въ видѣ непреклоннаго, обдуманнаго во всѣхъ деталяхъ рѣшенія. Такимъ былъ Чернышевскій."[120]

Холодильникъ разума можетъ однако понизить температуру сердца; когда „рѣшеніе" готово и вполнѣ обдумано, когда оно остается признанной истиной въ сознаніи, у человѣка можетъ не найтись силы воли подчинить всецѣло этой истинѣ свою дѣятельность и оградить себя отъ минутъ колебанія и нерѣшимости. Чернышевскій переживалъ такія минуты, но, кажется, что онѣ становились все болѣе и болѣе краткими, по мѣрѣ того, какъ осуществляемая государственная реформа расходилась съ желаемой. Съ каждымъ годомъ становилось все яснѣе и яснѣе, что проектируемая новая жизнь не приближалась, а удалялась отъ того строя, который Чернышевскому казался единственно разумнымъ, справедливымъ и своевременнымъ. Когда въ 1861-мъ году экономическія основанія этой новой жизни были утверждены въ окончательной формѣ и обнародованы, всякая надежда казалась уже явной наивностью и приходилось думать не о дипломатіи, а о борьбѣ.

Всѣ изслѣдователи согласны въ томъ, что именно къ

1861-му году рѣшеніе бороться во что бы то ни стало было Чернышевскимъ безповоротно принято и затѣмъ въ послѣдніе два года его жизни на свободѣ осуществляемо по мѣрѣ возможности. Увѣренный въ томъ, что народъ не помирится съ той „свободой“ и тѣми условіями „свободнаго“ труда, какія были ему дарованы, убѣжденный въ томъ, что и въ широкихъ общественныхъ кругахъ должно неизбѣжно возрасти раздраженіе противъ правительства, наконецъ ободренный тѣмъ приростомъ молодыхъ сторонниковъ, число которыхъ на его глазахъ увеличивалось и стойкость и смѣлость которыхъ крѣпли—Чернышевскій имѣлъ нѣкоторое основаніе начать вновь размышлять о крайнихъ пріемахъ борьбы, о которыхъ онъ не забывалъ въ минуты менѣе раздраженнаго состоянія.

Возстановить ходъ этихъ послѣднихъ мыслей, надъ которыми Чернышевскому пришлось думать на свободѣ, врядъ ли возможно съ точностью, но вполнѣ допустимы догадки, основанныя на сопоставленіи отдѣльныхъ замѣтокъ, въ разбивку попадающихся въ его политическихъ статьяхъ, и кое-какихъ словъ, сохранившихся въ воспоминаніяхъ близкихъ Чернышевскому лицъ. Сопоставленіе это сдѣлано новѣйшими изслѣдователями, и они всѣ готовы признать, что въ своихъ революціонныхъ замыслахъ Чернышевскій былъ сторонникомъ „бланкизма“.

Программа Бланки сводилась, какъ извѣстно, къ предварительному захвату правительственной власти революціонерами-соціалистами, которые должны были установить революціонную диктатуру, дать народу свободно высказаться о всѣхъ своихъ нуждахъ и тогда утвердить строй, который бы соотвѣтствовалъ народной волѣ. Предполагалась такимъ образомъ соціальная революція, которая должна быть организована интеллигентными единицами въ союзѣ съ революціонной массой, уступившей имъ на время [illegible].

Есть полное основаніе думать, что Чернышевскій, дѣйствительно, одобрялъ эту программу и предполагалъ [illegible] [illegible]-

кимъ инымъ длительнымъ пріемамъ борьбы. Такая рѣшимость можетъ показаться, однако, очень странной въ человѣкѣ съ такимъ трезвымъ умомъ, какимъ былъ одаренъ Чернышевскій. Но надо помнить, что этотъ русскій „бланкизмъ" могъ быть лишь однимъ изъ многихъ рѣшеній, которыя приходили въ голову человѣку, неустанно думающему надъ неразрѣшимой задачей. Мысль о соціальной революціи и о диктатурѣ радикаловъ была въ теоріи, конечно, самымъ простымъ рѣшеніемъ вопроса, и Чернышевскій могъ намекать на такую диктатуру и говорить о ней открыто, не считая себя обязаннымъ немедленно дѣйствовать въ этомъ направленіи. Намъ, напр., ничего неизвѣстно о томъ, какъ онъ рисовалъ себѣ самый процессъ образованія русской арміи демократовъ и соціалистовъ и какая форма выступленія ихъ въ союзѣ съ народомъ казалась ему возможной. А безъ указанія на способъ комплектованія такой арміи и на тактику борьбы, которой надлежало держаться, мечты о соціальной революціи оставались мечтами.

Но въ эти мечты былъ вплетенъ одинъ вопросъ, который требовалъ немедленнаго рѣшенія и немедленныхъ опытовъ на практикѣ. Сближеніе радикальнаго интеллигента съ народной массой должно было начаться какъ можно скорѣе и по какой угодно программѣ, лишь бы только это способствовало ихъ взаимному довѣрію и пониманію. Необходимо было прежде всего, чтобы народъ освоился съ своимъ будущимъ вождемъ, и будущій вождь долженъ былъ немедля опредѣлить, насколько масса сильна своимъ протестующимъ, а можетъ быть и революціоннымъ духомъ.

Сближеніе интеллигента съ массой казалось тогда дѣломъ очень простымъ и легкимъ; никто изъ ищущихъ такого сближенія не догадывался о предстоящихъ трудностяхъ этого дѣла—трудностяхъ, которыя создавались не только властью, но въ значительной степени и психикой самого народа. „Если вы одѣты не Богъ знаетъ какъ богато — писалъ Чернышевскій въ 1861-мъ году, — если вы человѣкъ простой по ха-

рактеру, и если вы дѣйствительно любите народъ, мужикъ не отличаетъ васъ ни по разговору, ни по языку отъ своей братіи, отпущенниковъ; это свидѣтельствуетъ о томъ, что въ числѣ людей, принадлежащихъ по своимъ интересамъ къ народу, есть уже такіе, которые довольно похожи на насъ съ вами, читатель; свидѣтельствуетъ также, что образованные люди уже могутъ, когда хотятъ, становиться понятны и близки народу".[122]

Въ послѣдніе годы своей жизни на свободѣ Чернышевскій и былъ, кажется, занятъ всего больше этимъ дѣломъ сближенія двухъ силъ, которыя должны столковаться прежде чѣмъ начать дѣйствовать. Соціальная революція и диктатура радикаловъ могли, какъ финальные аккорды, и не быть слышны въ тѣхъ разговорахъ, которые Чернышевскій велъ на эту тему.

У насъ, впрочемъ, очень мало свѣдѣній о томъ, какіе это были разговоры. Чернышевскій признавалъ своевременными и нужными всевозможныя попытки сближенія радикала съ массой, начиная съ ученыхъ этнографическихъ экскурсій въ деревню, кончая распространеніемъ среди народа революціонныхъ прокламацій. Утверждать, что онъ самъ писалъ эти прокламаціи — за недостаткомъ прямыхъ доказательствъ — нельзя, но что онъ зналъ о нихъ и былъ согласенъ на ихъ выпускъ — это несомнѣнно. Несомнѣнно также, что въ 1861-мъ году въ его ближайшемъ кругу были уже лица, которые не только не уступали ему, но превышали его по силѣ революціоннаго темперамента. Эти лица, болѣе молодые, чѣмъ онъ, но не менѣе его убѣжденные, могли, разгоряченные имъ, съ своей стороны, — горячить и его. И Чернышевскій горячился, и въ той мѣрѣ, въ какой правительство, начиная съ 1861 года, стало обнаруживать неуступчивую рѣшимость отвѣчать сильными репрессивными мѣрами на всякую попытку революціонныхъ выступленій — въ той же мѣрѣ возрастало въ немъ боевое настроеніе. Его, какъ и всѣхъ за нимъ слѣдовавшихъ русскихъ революціонеровъ, репресс-

только закаляла и укрѣпляла на занятой позиціи. Въ какихъ поступкахъ (а не словахъ) обнаруживалось такое повышеніе революціоннаго духа въ Чернышевскомъ,— объ этомъ могли знать лишь самые близкіе ему люди, и на судѣ слѣдовъ такихъ поступковъ обнаружено не было. Тѣмъ не менѣе, Чернышевскаго судили какъ признаннаго теоретика, организатора и руководителя народившагося революціоннаго движенія въ Россіи.

## X.

Итакъ, оцѣнка общественныхъ силъ, руководящихъ или могущихъ руководить русской жизнью 1855—1861 гг., была сдѣлана. Правительство, чиновничество и дворянство были оцѣнены какъ силы консервативныя, даже ретроградныя, которыя по необходимости толкнули русскую жизнь на новую дорогу съ тѣмъ, чтобы послѣ первыхъ же шаговъ остановиться и не идти дальше, а по возможности и шагнуть назадъ. Интеллигенція либеральная, даже въ ея лучшихъ представителяхъ, не говоря уже о прогрессистахъ средняго разбора, была признана силой косной или направленной совсѣмъ не на ту цѣль, какую надлежало имѣть въ виду. Движеніе къ этой цѣли могло быть обезпечено лишь совмѣстнымъ дѣйствіемъ двухъ силъ — народной массы и интеллигенціи радикальной и революціонной. Работа надъ сближеніемъ и сліяніемъ этихъ новыхъ силъ, русской жизнью пока еще никогда не управлявшихъ, вотъ очередная задача минуты. Всѣ, кому дорого благо народа, а потому и благо Россіи, должны отдать свои помыслы и силы этому дѣлу. Но какъ приступить къ нему? Какъ выразить эту новую формулу прогресса живымъ языкомъ повседневныхъ явленій?

На это ясныхъ указаній въ словахъ учителя не имѣлось; общій планъ былъ набросанъ, конечная цѣль указана, но никакого приказа на текущій день отдано не было, или, если

таковой былъ данъ, то его знали лишь очень немногіе. Тому, кто согласенъ былъ съ общимъ планомъ, предлагалось самому, сообразно знаніямъ и темпераменту, изыскивать средства для его осуществленія.

## XI.

Дѣло воспитанія и образованія „новаго" человѣка было, такимъ образомъ, двинуто впередъ быстро и рѣшительно. Молодые люди, недовольные стариной и живущіе мечтой о совершенно новыхъ порядкахъ, пройдя хорошую школу гражданскаго воспитанія подъ руководствомъ Добролюбова, получали въ статьяхъ Чернышевскаго цѣлую энциклопедію новаго знанія по вопросамъ, стоящимъ на ближайшей очереди европейской жизни и европейскаго знанія. Новымъ людямъ была значительно облегчена работа мысли. Имъ былъ открытъ сразу доступъ къ цѣлому ряду „истинъ", которыя, какъ имъ казалось, провѣрки не требовали, а требовали лишь убѣжденнаго признанія. То, что учитель покупалъ иной разъ томительной борьбой сомнѣнія и вѣры — ученикамъ далось легко. За ними стоялъ авторитетъ, ими признанный и любимый, и сильна была въ нихъ увѣренность, что вся трудная теоретическая подготовительная работа за нихъ продѣлана... И наконецъ, всѣмъ этимъ молодымъ новымъ такъ хотѣлось дать жизни почувствовать ихъ активную силу, что на теоретическую работу мысли они смотрѣли какъ на школу, которую надо пройти какъ можно скорѣе.

Когда, подъ руководствомъ Чернышевскаго, эта школа была пройдена въ очень короткій срокъ, на того же Чернышевскаго были устремлены взоры молодежи, ждавшей „дѣла".

Опредѣленной, точной программы дѣйствія они до сихъ поръ не получили. Но это нисколько не помѣшало быстрому росту радикальной мысли и радикальнаго выступленія. Былъ

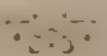
можетъ, даже способствовало ему... Молодая натура охотно идетъ за учителемъ въ области чистой мысли, но ревниво оберегаетъ свою самостоятельность въ области поступковъ. Строго очерченная программа дѣйствія способствуетъ обыкновенно образованію очень замкнутыхъ кружковъ и тщательно фильтруетъ людей. Программа неопредѣленная въ деталяхъ, но съ ясно намѣченной цѣлью, наоборотъ, даетъ возможность самымъ разнообразнымъ людямъ сплотиться около одного дѣла, предоставляя каждому члену единомышленной въ общемъ группы примѣнить по своему усмотрѣнію къ этому дѣлу свои склонности, вкусы, таланты и свой темпераментъ.

Если Чернышевскій не давалъ точнаго плана, по которому надлежало двигаться, то направленіе и конечная цѣли были имъ намѣчены очень ясно.

Благо народа. Сближеніе съ народомъ на какой угодно почвѣ. Союзъ съ нимъ для общаго возстанія противъ существующаго порядка. Свобода всякихъ революціонныхъ выступленій и подготовка торжества соціалистическаго строя въ возможно близкомъ будущемъ...

Каждый вѣрующій въ разумность этой цѣли могъ идти къ ней по своему путеводителю. И много молодыхъ людей пошло по этой дорогѣ.

И вслѣдъ за ними по тому же пути двинулись ихъ сестры, невѣсты, жены и знакомыя.



# Женскій вопросъ въ его первой постановкѣ

Быстрое развитіе женскаго ума и характера въ сторону радикализма. Положеніе женщины въ прошломъ. Вопросъ о призваніи женщины и какъ онъ былъ поставленъ въ литературѣ.—Женскій вопросъ на Западѣ. Книга Женни Д'Эрикуръ.

Исконно женщина была виновна въ грѣхахъ прародительскихъ. Женскій вопросъ въ сочиненіяхъ писательницъ и писателей дореформеннаго времени. М. Л. Михайловъ о призваніи и правахъ женщины. Трудности положенія женщины. Ея неподготовленность къ роли, которая ей [illegible]. Нерѣдко [illegible] мечтаній.—[illegible].—Въ поискахъ [illegible] и за книгой.

I

Среди молодыхъ людей, съ которыми въ 1855—1861 годахъ знакомится историкъ, особое вниманіе привлекаетъ на себя личность молодой женщины, внимательно прислушивающейся къ разговорамъ, иногда вмѣшивающейся въ нихъ и прежде всего требующей какого-то иного отношенія къ себѣ, чѣмъ то, съ какимъ обыкновенно мужчины относятся къ женщинѣ...

Появленіе этого новаго союзника въ радикальномъ лагерѣ удивляться не приходится: вполнѣ естественно, что женщина, при чуткости своей души и впечатлительности, должна была отозваться на новыя вѣянія жизни. Если вѣрить писателямъ сороковыхъ годовъ, то она отозвалась на нихъ даже раньше, чѣмъ многіе изъ мужчинъ — еще въ крѣпостную пору. Ольга Ильинская старалась, хоть и безуспѣшно, пробудить къ жизни Обломова и вмѣстѣ съ нѣмцемъ стыдила русскаго

человѣка; Елена Стахова напрасно искала героя среди русскихъ и ушла за болгариномъ на подвигъ, для котораго не нашлось мѣста въ Россіи. До нихъ Наталья заставила покраснѣть Рудина; да и Ася обнаружила больше стойкости въ характерѣ, чѣмъ тотъ молодой человѣкъ, который вызвалъ ее на rendez-vous.

Всѣ эти просвѣтленные женскіе образы, поэтическія души, летящія на неоперившихся еще крыльяхъ „къ свѣту", — души ищущія, полныя туманной тревоги, предвѣщали нарожденіе сильныхъ женскихъ характеровъ. Удивляться надо не тому, что такіе характеры народились, а той головокружительной быстротѣ, съ какой они развивались. Положимъ, сравнительно съ общимъ числомъ женскаго населенія количество такихъ сильныхъ характеровъ было не велико, но все-таки достаточно, чтобы сложиться въ новую общественную силу.

Мечтательная, грустная при сознаніи своего безсилія, — но уже осудившая и умомъ, и сердцемъ прежнюю жизнь, женщина шестидесятыхъ годовъ въ какія-нибудь 10—20 лѣтъ измѣнилась до неузнаваемости.

Съ первыхъ дней новой эры, желая поскорѣе наверстать невольно утраченное въ прошломъ время, она съ поразительной настойчивостью стала продвигаться въ ряды радикальныхъ кружковъ и группъ, сначала сама увлеченная, а затѣмъ увлекающая другихъ за собою. Роль ученицы и помощницы удовлетворила ее ненадолго, и мысль о полномъ равноправіи при общей работѣ стала очень скоро руководящей мыслью всѣхъ ея взглядовъ на мораль личную, семейную и общественную. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ она была уже настоящимъ политическимъ дѣятелемъ, не менѣе, а иногда и болѣе активнымъ, чѣмъ ея товарищи.

Установить точно опредѣленныя грани въ исторіи этой быстрой эволюціи женской души врядъ ли возможно: интимныя переживанія сплетаются и чередуются незамѣтно, и только тогда, когда они прорываются наружу во внѣшнихъ

дѣйствіяхъ, они допускаютъ установленіе извѣстной послѣдовательности въ своемъ развитіи. Если придерживаться такого внѣшняго проявленія зарождавшихся въ женской душѣ новыхъ стремленій, то въ исторіи женской „эмансипаціи" шестидесятыхъ годовъ можно установить нѣсколько пролетовъ времени, отличныхъ другъ отъ друга по степени участія женщины въ общемъ движеніи передовой молодежи.

Со дня наступленія новаго царствованія до 1861 года, т.-е. до эпохи рѣшительнаго подъема радикализма въ мысляхъ и настроеніи и начавшейся открытой борьбы радикальной интеллигенціи съ правительствомъ, фигура женщины „новой" или, вѣрнѣе, готовящейся стать таковой, мало замѣтна. Процессъ перерожденія женской души совершается быстро, но подсмотрѣть его и наблюдать за нимъ крайне трудно, такъ какъ женщина въ эту эпоху ея жизни живетъ преимущественно мечтой о будущемъ и отрицаніемъ прошлаго, безъ возможности самостоятельно дѣйствовать. Она въ эти годы довѣрчиво и стремительно слѣдуетъ за молодымъ мужскимъ поколѣніемъ, пугаясь мысли о томъ, что она отстаетъ, и подбодряя себя сознаніемъ, что ей надо во что бы то ни стало поскорѣй догнать опередившихъ.

Картина очень рѣзко мѣняется къ серединѣ шестидесятыхъ годовъ, когда „нигилистка", какъ она теперь зовется, появляется въ первыхъ рядахъ радикально мыслящей и революціонно настроенной молодежи. Она догнала своего учителя, который сталъ теперь ея товарищемъ. Она прочла тѣ же книги, что и онъ, училась у тѣхъ же наставниковъ, ближайшихъ сотрудниковъ „Современника" и „Русскаго Слова"; она попыталась и нерѣдко успѣшно завоевать себѣ экономическую независимость, приглядѣлась къ разнымъ „дѣламъ" практическимъ, ученымъ и литературнымъ, въ которыхъ шла не на помочахъ, а болѣе или менѣе самостоятельно; работала на педагогическомъ поприщѣ и, наконецъ, перестроила свою семейную жизнь на новыхъ началахъ. Во всемъ она стремилась быть личностью, пользу-

венной, имѣющей свою цѣнность, — началомъ активнымъ, а не пассивнымъ. Однимъ словомъ, въ области морали личной и семейной и въ нѣкоторыхъ областяхъ общественнаго труда и права, не сложнаго и не очень рискованнаго, она отвоевала себѣ мѣсто рядомъ съ своимъ единомышленникомъ, внося въ общую работу много нервности, смѣлости, иногда странностей и эксцентричности. Ей недоставало лишь одного — работы на какомъ-нибудь отвѣтственномъ посту, работы, которая утолила бы ея все увеличивающуюся жажду подвига. Къ концу шестидесятыхъ годовъ и въ началѣ семидесятыхъ такая отвѣтственная и видная работа была ею найдена: она примкнула къ активному революціонному движенію и притомъ не на правахъ только помощницы, а на правахъ соучастницы. Сокративъ трудъ надъ усвоеніемъ теоретическихъ вопросовъ и забросивъ мелкую работу, она, въ лицѣ наиболѣе энергичныхъ характеровъ и темпераментовъ, принялась за практическое дѣло, сначала „хожденія въ народъ", а затѣмъ террористической борьбы съ правительственной властью.

Вся эта эволюція свершилась въ 10—20 лѣтъ (1855—1875) при условіяхъ отнюдь не благопріятныхъ для развитія женской общественной силы. Противъ нея были не только всѣ консервативные элементы общества, но и среди прогрессивныхъ группъ (за исключеніемъ, конечно, радикальныхъ) выступленіе женщины на арену политической дѣятельности и борьбы было встрѣчено гораздо менѣе дружелюбно, чѣмъ выступленіе мужчины. Нельзя забывать также, что вообще любая семья, будь она и очень радикально настроена, всегда охотнѣе готова помириться съ рѣшительными поступками своей мужской половины и всегда смотритъ съ нѣкоторой опаской и недовѣріемъ на таковые же поступки половины женской. Надо было обладать большою энергіей, чтобы побороть всѣ трудности и побороть ихъ въ такой короткій срокъ.

Но вѣдь энергія также не падаетъ съ неба и требуетъ

подготовки въ прошломъ. А между тѣмъ, каково же было это прошлое русской женщины въ дореформенное время? И насколько допускало оно зарожденіе въ женской душѣ тѣхъ стремленій, которыя могли такъ быстро перевоспитать и умъ, и сердце, и волю существа повидимому очень инертнаго?

## II.

Публицисты, которые въ 1855–1861 годахъ писали о женскомъ вопросѣ, были, конечно, гораздо болѣе заняты той ролью, какая женщинѣ должна выпасть на долю при новыхъ условіяхъ жизни, чѣмъ воспоминаніями о томъ, какъ женщинѣ жилось раньше. Они хотѣли, чтобы женщина какъ можно скорѣе забыла о своемъ прошломъ и всецѣло принадлежала будущему или настоящему. Имъ некогда было дѣлать историческія справки, да онѣ были и не нужны имъ. Такія справки могли скорѣе повредить ихъ дѣлу, такъ какъ и безъ того слабая женщина [illegible]

Въ литературѣ тѣхъ годовъ [illegible]

на то, что въ дѣлѣ общественнаго обновленія, которое онъ такъ близко принималъ къ сердцу, молодой женщинѣ должна выпасть на долю особенно почетная и благородная роль. Ей главнымъ образомъ придется бороться съ невѣжествомъ, грубостью и всякимъ нравственнымъ застоемъ; ей, какъ невѣстѣ, женѣ и матери, придется принять на себя самые чувствительные удары повседневной жизни. Въ этой сѣрой и трудной жизни она должна явиться примиряющимъ, облагораживающимъ и двигающимъ началомъ. Если умъ дѣвицы не развитъ и воля ея не закалена, то все таки въ ней таится особая власть, которую отъ вѣка на себѣ испытали даже самыя сильныя мужскія натуры; и если бы удалось стойкія убѣжденія и закаленную энергію молодыхъ людей сочетать съ этой женственной силой, то нѣтъ подвига, который такому союзу показался бы неисполнимымъ или страшнымъ.

Такія надежды на благотворное вліяніе женскаго начала въ жизни—надежды, высказываемыя писателями еще задолго до реформы, покоились прежде всего на установившейся литературной традиціи. Давно, еще со временъ торжества сентиментальной и романтической литературы, какъ иностранной, такъ и отечественной, за женщиной была признана особая способность нравственнаго воздѣйствія. Женщина, въ большинствѣ случаевъ дѣвица, при всей своей воздушной хрупкости, при полномъ отсутствіи какихъ бы то ни было „правъ“, при очень неширокомъ умственномъ кругозорѣ, являлась часто въ роли примирительницы спорящихъ, воспитательницы взрослыхъ, утѣшительницы опечаленныхъ и даже укротительницы жестокихъ и преступныхъ. Писатель не возлагалъ на женщину, положимъ, никакой общественной миссіи, въ прямомъ смыслѣ этого слова, но онъ заставлялъ ее свѣтиться такимъ теплымъ нравственнымъ свѣтомъ, что одно ея появленіе въ обществѣ являлось какъ бы общественной услугой, какую она оказывала всѣмъ окружающимъ. Такимъ символомъ желанной любви, добра и спра-

ведливости рисовалась женщина старымъ художникамъ, сентименталистамъ и романтикамъ и такой она запечатлѣлась въ памяти русскаго читателя и писателя пятидесятыхъ годовъ. Читатель въ своихъ литературныхъ вкусахъ успѣлъ уже отойти отъ романтическихъ пріемовъ творчества; но старая романтическая греза оставалась ему дорога, и какъ воспоминаніе, и какъ красивое видѣніе, которое пока не было заслонено никакимъ живымъ портретомъ. Писатель онъ также въ эти годы не былъ еще тѣмъ трезвымъ реалистомъ, какимъ онъ сталъ позже. Въ его твореніяхъ мечта и дѣйствительность, грезы и портреты перемѣшивались очень причудливо, и въ особенности созданные имъ женскіе образы хранили на себѣ всѣ черты старой романтической манеры письма. Эта манера проступала наружу и во всѣхъ иностранныхъ романахъ, какими въ пятидесятыхъ годахъ зачитывалась наша публика, — въ романахъ Бальзака, Гюго, Сю, Диккенса и въ романахъ той гениальной писательницы, которая цѣлью своей жизни поставила оборону женскихъ правъ во всемъ ихъ широкомъ объемѣ. Имя Жоржъ Сандъ было въ Россіи очень популярно, и она-то, главнымъ образомъ, заставляла нашихъ читателей и, прежде всего, читательницъ задумываться надъ судьбой и надъ призваніемъ женщины въ мірѣ.

Такимъ образомъ молодое поколѣніе шестидесятыхъ годовъ было, безспорно, въ своемъ намѣреніи привлечь женщину какъ можно скорѣе къ общественной работѣ поддержано литературными воспоминаніями. Но не на однихъ лишь этихъ воспоминаніяхъ строились тогда надежды молодежи.

Въ пятидесятыхъ годахъ „женскій вопросъ" имѣлъ за собой уже длинную исторію, и не только на страницахъ изящной словесности. Онъ былъ теоретически поставленъ, обсужденъ и рѣшенъ на Западѣ въ цѣломъ рядѣ публицистическихъ очерковъ, соціологическихъ изслѣдованій, моральныхъ трактатовъ, утопическихъ картинъ, полемическихъ

брошюръ и резолюцій, принятыхъ на разныхъ общественныхъ собраніяхъ.

Русскій читатель, который этимъ вопросомъ интересовался, имѣлъ къ своимъ услугамъ обширнѣйшую литературу на всѣхъ языкахъ. Если онъ не желалъ слишкомъ далеко уходить въ старину, онъ могъ начать слѣдить за ростомъ этой новой идеи, начиная съ брошюръ сенсимонистической школы вплоть до трактата Милля объ эмансипаціи женщинъ. Въ особенности Франція могла читателю предоставить богатый выборъ всевозможныхъ варіацій на эту модную тему. Вопросъ, дѣйствительно, вызвалъ ожесточенную полемику, и люди очень большого ума и таланта считали своимъ долгомъ высказаться о немъ весьма категорично. Характерно, что на сторонѣ женской эмансипаціи оказались на Западѣ далеко не всѣ прославленные вожди либеральнаго и радикальнаго лагеря. Люди, готовые сломать всѣ старые устои религіознаго, философскаго и политическаго строя, останавливались съ какой-то робостью передъ призракомъ женскаго равноправія въ семьѣ, обществѣ и государствѣ. Достаточно вспомнить, какъ узко и эгоистично были поняты женскія „притязанія" такими людьми, какъ Мишле, Контъ и Прудонъ... Но сторонниковъ новаго взгляда на права женщины было не мало, начиная съ соціалистовъ прожектеровъ утопій, какъ Анфантенъ, Фурье и его ближайшій ученикъ Консидеранъ. Однако, опираться въ защитѣ женскихъ правъ на теоріи этихъ поэтовъ-соціологовъ и соціалистовъ было рискованно, такъ какъ фантастичность ихъ ученій могла серьезный вопросъ всегда поставить подъ ударъ насмѣшки и злостной пародіи, очень опасной для новаго дѣла. До появленія статьи Милля объ эмансипаціи женщинъ (1851) обсужденіе женскаго вопроса въ печати не было свободно отъ поэтическихъ и фантастическихъ примѣсей, отъ религіозныхъ традицій, ходячихъ моральныхъ правилъ и страстныхъ, злобныхъ пріемовъ полемики. Только статья Милля впервые съ должнымъ спокойствіемъ, логической прямотой и

сухостью, которая въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ сильнѣе всякаго краснорѣчія — убѣждала людей въ необходимости пересмотра одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ личной, семейной, общественной и политической жизни. Къ концу пятидесятыхъ годовъ статья Милля получила въ Россіи широкое распространеніе, и на нее опирались всѣ самые вѣскіе аргументы, которые были выдвинуты молодымъ поколѣніемъ въ пользу неизбѣжности и необходимости привлеченія новаго союзника къ новому дѣлу.

Тѣ, кого не удовлетворялъ спокойный тонъ статьи Милля, и кто привыкъ примѣшивать страсть и фантазію къ разсужденію, могли съ 1860 года сослаться на другую книжку, — на новый, очень смѣлый манифестъ, изданный одной изъ самыхъ краснорѣчивыхъ поборницъ женскаго равноправія. Въ этомъ году въ Парижѣ вышла книга г-жи Женни д'Эрикуръ „La femme affranchie" („Отвѣтъ г.г. Мишле, Прудону, Жирардену, Конту и инымъ новаторамъ" — какъ значилось на обложкѣ. Bruxelles. Paris, 1860. 2 vol.)[1]. Книга дѣлилась на двѣ части, на часть историческую и полемическую, въ которой былъ данъ обзоръ исторіи женскаго вопроса, начиная съ ученія сенсимонистовъ, и на часть догматическую, посвященную перечню и обсужденію тѣхъ правъ, гражданскихъ и юридическихъ, какими женщина должна пользоваться, „безъ чего слово „свобода", о которой такъ много говорятъ мужчины, не есть пустой звукъ". Книга была написана со всей страстью, на какую только способна женщина, [illegible] всей своей [illegible] столь [illegible] Философская и теоретическая часть книги была слаба и [illegible], и [illegible] Прудону [illegible] своимъ насмѣшникамъ и [illegible] остроумію. Но историческая часть была [illegible] составлена [illegible] думана [illegible] книги [illegible]

[1] [illegible] скимъ молодымъ людямъ, наѣзжавшимъ въ Парижъ

годномъ свѣтѣ, а враги со страстью опровергнуты и остроумно высмѣяны. Большую силу и блескъ пріобрѣтала книга тѣмъ, что она была поставлена сразу подъ эгиду революціоннаго движенія вообще. „Народъ яснѣе многихъ другихъ понимаетъ ту истину, что свобода женщины совпадаетъ со свободою массъ" говорилъ авторъ и, вслѣдъ за Пьеромъ Леру, повторялъ: „вы, женщины, имѣете право на равенство съ нами и какъ люди вообще и какъ наши жены. Какъ жены вы намъ равны, потому что любовь есть равенство. Какъ люди—ваше дѣло общее со всѣми людьми и то же дѣло, что дѣло народа; оно связано съ великимъ революціоннымъ дѣломъ, т.-е. съ общимъ прогрессомъ всего рода человѣческаго. Вы равны намъ не потому, что вы женщины, а потому, что нѣтъ больше ни рабовъ, ни слугъ". Не то же ли самое говорилъ Фурье, когда онъ утверждалъ, что соціальный прогрессъ провѣряется легче всего на степени женской свободы? Эпохи соціальныхъ прогрессивныхъ движеній находятся въ прямой зависимости отъ движенія женщинъ къ свободѣ; и упадокъ соціальнаго порядка всегда соотвѣтствуетъ уменьшенію женскихъ правъ, такъ какъ уменьшеніе этихъ правъ колеблетъ справедливость въ самомъ ея основаніи.

Мысль о тѣсной связи женскаго равноправія съ осуществленіемъ на землѣ свободы вообще проходила черезъ всю книгу автора и придавала этому соціологическому трактату характеръ страстной проповѣди и призыва.

„Въ семьѣ женщина — рабыня; въ вопросѣ образованія она обойдена; въ дѣлѣ труда она унижена; въ гражданской жизни она признана несовершеннолѣтней; какъ политическая величина, она не существуетъ, и она приравнена къ мужчинѣ только тогда, когда ее постигаетъ какое-нибудь наказаніе или когда на нее ложится обязанность платить подати. Такой порядокъ существовать не можетъ, онъ грозитъ привести нашу пресловутую культуру къ одичанію. Женщина должна спасти насъ — она, которая будучи сво-

бодной, превзойдетъ мужчину во всѣхъ проявленіяхъ жизни и духовной и тѣлесной и уступитъ лишь тамъ, гдѣ нужна голая физическая сила. Время выступленія женщины приближается; пора ей увѣровать въ ея собственный разумъ, который до сихъ поръ былъ лишь дагерротипомъ разума мужского. Всѣ равны во всемъ! Такъ было возвѣщено съ высоты новаго Синая, во Франціи, среди молній и раскатовъ грома революціи! Святая Революція! Пусть они грозятъ тебѣ послѣдней анаѳемой — они, слуги умирающаго принципа! Ты провозгласила: „Всеобщее освобожденіе!“ Они упорствуютъ и хотятъ заградить дорогу прогрессу; но человѣчество пойдетъ впередъ по ихъ тѣламъ, повинуясь своему генію: знайте, *[illegible]*, и повязка съ ея глазъ спадаетъ!“

„Что видимъ мы, сравнивая женщину и мужчину? Мужчина въ сущности — подурнѣвшая во всѣхъ отношеніяхъ женщина; въ немъ гораздо болѣе животнаго, чѣмъ въ женщинѣ; онъ, очевидно, образецъ переходнаго типа между женщиной и крупными видами обезьянъ. Женщина одна заключаетъ въ себѣ и развиваетъ сѣмя человѣческое; она сохранительница и охранительница всей расы. И не такая ужъ это неоспоримая истина, что мужчины необходимы для продолженія рода человѣческаго; это участіе лишь средство, къ какому прибѣгаетъ природа; но наукѣ человѣческой, мы вѣримъ, удастся освободить женщину и отъ этого несноснаго подчиненія“.

„Аналогія позволяетъ намъ вѣрить, что женщина, которая является единственной хранительницей сѣмени тѣлеснаго, — также единственная хранительница сѣмени духовнаго и нравственнаго. Отсюда вытекаетъ, что она вдохновительница и всякой науки, всякаго открытія, всякой справедливости, [illegible] геройской добродѣтели. Все это подтверждается фактами: женщина обладаетъ разумомъ, который [illegible]; она [illegible] наблюдательнѣе; мужчина же [illegible] лишь строитъ парадоксы и теряется въ метафизикѣ [illegible]

біи. Наука вышла изъ періода аморфныхъ [illegible] только лишь съ появленія женской формы разума въ этой области, и мы можемъ сказать, что настоящіе ученые, [illegible] люди по духу своему женственные. Если мы сравнимъ оба пола въ ихъ отношеніи къ судьбамъ человѣчества вообще, мы должны признать, что преобладаніе мужчины въ этихъ судьбахъ имѣло свое основаніе, пока онѣ слагались въ первыя очертанія; преобладаніе же женщины обезпечено въ грядущемъ царствѣ права и мира. Нужно было бороться и сражаться, чтобы установить справедливость и подчинить природу человѣку — въ этомъ и заключалась роль мужчины, представителя силы физической и принципа борьбы. Но уже въ близкомъ будущемъ можно предвидѣть [illegible] замѣну войнъ мирнымъ трудомъ и мирными [illegible]. И ясно, что женщинѣ придется взять въ свои руки управленіе всѣмъ ходомъ дѣлъ человѣческихъ, къ чему она будетъ призвана въ силу того, что ея способности лучше приноровлены къ конечной желанной цѣли земного существованія".

Не мало было читателей, которые улыбались, слушая такія странныя рѣчи; но эти странности и [illegible] составляли все-таки извѣстное настроеніе, которое располагало людей въ пользу радикальнаго пересмотра женскаго вопроса, тѣмъ болѣе, что смѣшеніе въ книгѣ фантастическихъ бредней съ широкими революціонными тенденціями, выраженными съ вполнѣ [illegible], отголоскомъ великой революціи и утопическихъ грезъ разрѣшалось наконецъ конкретною, очень привлекательною картиною новаго женскаго весьма почтеннаго строя жизни. Читатель могъ пройти мимо всей фантастики и остановиться на тѣхъ проектахъ разныхъ женскихъ организацій, учрежденіе которыхъ было предложено авторомъ.

Авторъ убѣждалъ „прогрессивныхъ" женщинъ „les femmes de Progrès" послѣдовать примѣру женщинъ вѣрующихъ, отдавшихъ свою душу религіозной догмѣ: онѣ организуются

въ союзы, основываютъ и ведутъ учебныя заведенія, пишутъ, стараются пропагандировать свое ученіе среди молодыхъ поколѣній — почему бы новой женщинѣ не начать своей пропаганды? Пусть наиболѣе даровитыя и образованныя составятъ свой „Апостолатъ" своего рода коллегію, комитетъ, который правилъ бы судьбами женскаго вопроса; пусть будутъ основаны учебныя заведенія съ самыми разнообразными программами всевозможныхъ спеціальностей, основаны рабочія артели для женщинъ, выработаны и осуществлены новые методы женскаго воспитанія; пусть будетъ основанъ „Энциклопедическій Комитетъ" для популяризаціи всѣхъ знаній, накопленныхъ человѣчествомъ. Число женщинъ входящихъ въ этотъ комитетъ, можетъ быть неограниченно; ученыя, писательницы, артистки, художницы войдутъ въ него и раздѣлятъ между собою трудъ популяризаціи знаній. Можно основать и женскій Политехническій Институтъ, и тогда астрономія, математика, физика, химія, механика и медицина будутъ имѣть своихъ представительницъ въ ученомъ мірѣ; профессорами этого института должны быть по возможности члены Энциклопедическаго Комитета. На помощь всему этому великому дѣлу долженъ придти журналъ, безпартійный въ религіозныхъ и политическихъ вопросахъ и посвященный исключительно вопросу женскому. Книга, какъ бы она хороша ни была, производитъ лишь мимолетное впечатлѣніе, тогда какъ журнальные листы, которые періодически, въ опредѣленный день, ударяютъ по однѣмъ и тѣмъ же струнамъ ума, пріучаютъ ихъ къ опредѣленнымъ колебаніямъ, и то, что кажется на первый разъ страннымъ, даже недопустимымъ, затѣмъ, въ силу привычки, покажется вполнѣ допустимымъ и естественнымъ. Выигра только то дѣло, которое имѣетъ за себя общественное мнѣніе, и не книгамъ, а журналу удается склонить это мнѣніе въ пользу правъ женщины.

Наконецъ, чтобы осуществить право женщинъ на трудъ, нужно заняться устройствомъ всевозможныхъ мастерскихъ

основанныхъ на принципѣ ассоціаціи, съ расчетомъ, чтобы заработная плата работницъ повышалась. Мастерскія эти должны служить не только дѣлу труда, но и дѣлу нравственности. Это будутъ настоящіе очаги воспитанія, и въ нихъ женщина изъ народа сможетъ впервые развернуть всѣ свои дарованія.

А вѣдь только онѣ однѣ, эти женщины изъ народа, возродятъ и спасутъ насъ, если онѣ поймутъ и выполнятъ свои обязанности женъ и матерей! Женщины третьяго сословія [les femmes de la bourgeoisie] пусть знаютъ, что только любя своихъ сестеръ изъ народа, любя самый народъ любовью матери, посвятивъ себя работѣ надъ его просвѣщеніемъ и воспитаніемъ и возвышаясь надъ мужскими страстями, которыя разъединяютъ людей, что только при этихъ условіяхъ онѣ смогутъ съ пользою трудиться. Пора начать новое дѣло и возвѣстить символъ новой вѣры, которая объединила бы всѣ новыя начинанія.

И такой символъ данъ авторомъ, въ 24-хъ краткихъ параграфахъ, гдѣ къ основнымъ законамъ развитія человѣчества былъ причисленъ новый законъ о равенствѣ половъ, законъ, которому надлежитъ наконецъ вступить въ силу.

Надо рѣшиться, говоритъ авторъ въ заключеніе своей книги, надо рѣшиться, если мы не желаемъ, чтобы новый міръ зачахъ, не распустившись... Къ вамъ, господа прогрессисты, мое послѣднее слово. Неужели вы думаете строить зданіе будущаго изъ развалинъ прошлаго? Такъ можетъ показаться, судя потому, какъ вы стремитесь подчинить насъ духу этого прошлаго. Но, господа, мы не разрѣшимъ вамъ этого сдѣлать, мы не позволимъ женщинѣ возненавидѣть святые принципы человѣческаго права, принципы, которые вамъ угодно подчинять вашимъ мелкимъ страстямъ, мѣщанскимъ эгоизмамъ и старымъ педагогическимъ предразсудкамъ. *Мы* [illegible] *Ре*[illegible]. Мы протестуемъ противъ вашей средневѣковой доктрины; мы, жен-

жины прогресса, мы желаемъ бороться съ тѣми соціальными и нравственными порядками, которые установились благодаря вашей безпечности; мы стыдимся этого уродливаго поколѣнія эгоистовъ [cette génération d'avortons égoïstes]. Мы не хотимъ, чтобы это поколѣніе продолжалось.. Наши отцы обѣщали міру свободу; вы, отрицающіе за половиной рода человѣческаго право на свободу, не въ силахъ исполнить этого обѣщанія. Итакъ, дайте дорогу женщинѣ, „чтобы она, свободная отъ позорныхъ цѣлей, водворила миръ тамъ, гдѣ вы разжигаете войну, равенство тамъ, гдѣ вы допускаете привилегіи. У васъ нѣтъ больше морали, нѣтъ идеала, дайте же, господа, дорогу женщинѣ, чтобы она вамъ вернула и то, и другое“.

Таковы максимальныя требованія, которыя были выставлены защитницами женскаго равноправія къ шестидесятымъ годамъ на Западѣ.

Русскій читатель этихъ годовъ получалъ, какъ видимъ, по этому новому для него вопросу готовую программу. Она могла ему казаться фантастичной, мѣстами неясной, въ общемъ трудно исполнимой, но никто его не обязывалъ принимать ее цѣликомъ.

Наконецъ, существовало много иныхъ книгъ и брошюръ, французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ, которыя, значительно понижая требованія и притязанія, оставались все-таки вѣрны основному принципу женской эмансипаціи.

Подготовленные къ рѣшенію женскаго вопроса изящной литературой, почти всегда рисовавшей женскіе образы въ особенно привлекательныхъ краскахъ, русскій читатель и русская читательница могли всегда провѣрить законность и правоту тревожившей ихъ мысли или волновавшей ихъ мечты на серьезныхъ книгахъ съ философскимъ, историческимъ и публицистическимъ содержаніемъ. Къ симпатіи, которая возбуждена была художественнымъ вымысломъ, присоединялась, такимъ образомъ, увѣренность въ исторической необходимости пересмотрѣть справедливо и скоро-

рѣшенный вопросъ. Противники этого пересмотра, какъ бы громко ни звучали ихъ имена, успѣха среди нашихъ молодыхъ читателей имѣть не могли, такъ какъ разрушительная партійность и злобная, подчасъ непристойная парадоксальность Прудона, очевидная узость взгляда у Конта и слащавая сентиментальность Мишле шли въ разрѣзъ съ требованіемъ новизны во что бы то ни стало. Новаторы во всемъ остальномъ, эти ревнивые блюстители семейнаго очага будили въ молодомъ русскомъ читателѣ одно лишь желаніе — возразить имъ и опередить ихъ.

## III.

Но нужна ли была непремѣнно иностранная книга для того, чтобы заставить радикальную молодежь шестидесятыхъ годовъ думать о женской эмансипаціи? И всегда ли женскій умъ нуждался въ толчкѣ извнѣ, чтобы сосредоточиться на мысли о расширеніи женскихъ правъ, соотвѣтственно съ тѣми новыми обязанностями, которыя должны были лечь на женщину въ ближайшемъ будущемъ? Можно было и безъ чтенія романовъ и серьезныхъ книгъ, прійти къ убѣжденію, что именно женское вліяніе окажется весьма благотворнымъ факторомъ прогресса. Чтобы остановиться на этой мысли, достаточно было задать себѣ только одинъ вопросъ: въ какой степени русская женщина была виновна въ созданіи и въ укрѣпленіи того общественнаго строя, несостоятельность котораго была такъ блистательно обнаружена?

При розыскѣ виновныхъ во грѣхахъ прошлаго можно было, конечно, прежде всего, указать на опредѣленные круги общества, на правительство, на чиновниковъ, на дворянъ, на огромное большинство интеллигентовъ и полуинтеллигентовъ; но вѣдь вопросъ допускалъ и иную постановку, болѣе общую. Можно было спросить: а которая же половина, мужская или женская, во всѣхъ этихъ кругахъ несла большую отвѣтственность за осужденный порядокъ?

При опредѣленіи степени вліянія русской женщины на ходъ дореформенной жизни приходилось признать безъ всякихъ натяжекъ, что ея вина во всемъ случившемся была ничтожна или, вѣрнѣе, что никакой ея вины не было.

Въ правящихъ сферахъ, начиная съ самыхъ высшихъ, женщина играла, конечно, роль очень видную, но вліянія на государственную жизнь и на политику она не имѣла. Она давала тонъ свѣтской жизни, была законодательницей въ области модъ, приличій и этикета, могла имѣть свой, и вѣскій, голосъ въ литературныхъ спорахъ, но нельзя сказать, чтобы на дѣлахъ политики внѣшней или внутренней сказывались ея властолюбіе, капризы или интриги. Интриги могли быть,— какъ бываютъ онѣ вездѣ, гдѣ сталкиваются самолюбія, но судьба страны отъ этихъ интригъ не зависѣла, и домашнія или кружковыя смуты не отражались на общемъ ходѣ жизни, которымъ всецѣло управляла мужская половина, неся за него всю отвѣтственность. Эту отвѣтственность женщина раздѣлять не была обязана, не говоря уже о томъ, что было не мало такихъ женщинъ, свѣтскихъ, придворныхъ и высокопоставленныхъ, которыя оставили по себѣ добрую память, какъ хозяйки [illegible] и [illegible], какъ благотворительницы и покровительницы [illegible] добрыхъ дѣлъ и начинаній. Во всякомъ случаѣ, добрая, [illegible] замѣтная дѣятельность русской свѣтской женщины сказалась [illegible] больше, чѣмъ ея профессіональная [illegible], какъ [illegible] и [illegible] своего власть имѣющаго мужа.

Дворянка, живущая въ деревнѣ, имѣла еще больше случаевъ проявить добрыя стороны своего характера. Положимъ, исторія сохранила намъ имена не малаго количества помѣщицъ очень жестокихъ и страшно злоупотреблявшихъ своей властью; и въ страницахъ литературы эти властные и [illegible] типы также нерѣдко появлялись, но въ большинствѣ случаевъ, если вѣрить той же литературѣ и мемуарамъ, помѣщица была въ своемъ имѣніи [illegible] ху-

наннѣе помѣщика—уже потому, что многими „правами" и и безправіями она не могла пользоваться въ силу своего собственнаго подчиненнаго положенія, а также въ силу своей природной организаціи. Нерѣдко она вмѣстѣ съ крѣпостными приноравливалась къ режиму, не ею созданному, а часто терпѣла отъ мужа не меньше, если не больше, чѣмъ безправная масса; и страданіе личное должно было предрасположить ее въ пользу ближнихъ. Во всякомъ случаѣ не на ней лежала прямая отвѣтственность за порядокъ, который развращалъ ее наравнѣ съ другими. Въ силу чисто женскихъ особенностей ея души, она должна была, кромѣ того, часто брать на себя инипіативу борьбы противъ этого разврата, по крайней мѣрѣ въ кругу своей семьи, среди своихъ дѣтей и братьевъ. Дѣвушка-дворянка въ годы своей беззаботной дѣвичьей жизни въ деревнѣ была, несомнѣнно, гуманнѣе своихъ братьевъ, была милостивѣе къ рабу, была изъ всѣхъ членовъ дворянской семьи—личностью наиболѣе „свѣтлой".

Судьба женщины, которая связала свою жизнь съ чиновникомъ не высокаго полета, съ купцомъ, хотя бы и очень богатымъ, съ мѣщаниномъ была неприглядна, тускла и обильна всѣми печалями,—обычными спутниками умственной и нравственной тьмы или полутьмы. Женщина этихъ круговъ была сама такой тьмой охвачена; вѣроятно, она боролась съ ней по мѣрѣ силъ изъ чувства самосохраненія; и не она была виновата въ томъ, что тьма рѣдѣла такъ медленно. Женщина сама страдала больше другихъ отъ той среды, въ которой выросла, и кто рѣшился бы упрекнуть ее въ капризахъ, своеволіи, даже жестокости, если проявленіе этихъ сторонъ ея характера было единственнымъ ея развлеченіемъ, а иногда и единственнымъ способомъ самозащиты? Во всякомъ случаѣ женщина этихъ среднихъ круговъ заслуживала гораздо большей симпатіи, чѣмъ мужская половина, которая обладала и большей силой, и боль-

ними средствами, чтобы внести хоть какой-нибудь просвѣтъ въ эту нависшую темень жизни.

Были еще двѣ женщины, о которыхъ нужно также вспомнить. Это—крестьянка и мать попадья. Жили онѣ очень скромно и тихо, не подавая никакихъ поводовъ къ разговорамъ и не возбуждая ни въ обществѣ, ни въ писателяхъ почти никакого интереса. Ярмо своей, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, трудной и многострадальной жизни онѣ несли покорно, раздѣляя всю тяжесть нищенскаго и безправнаго существованія съ своими мужьями, а чаще всего беря на себя большую и труднѣйшую часть этой тяжести. Какими бы мелкими пороками и страстями ни страдали эти двѣ сестры—одна свободная, другая рабыня, одна еле грамотная, другая безграмотная,—но поставленныя почти въ одинаковыя условія жизни—онѣ, конечно, ни въ чемъ виноваты не были, и къ нимъ нельзя было обратиться ни съ какимъ упрекомъ. Онѣ сами скорѣе были живымъ упрекомъ тому торжествующему укладу жизни, при какомъ прозябала многомилліонная народная масса. То немногое, что говорилось въ печати о крестьянской женѣ или дочери, рисовало ее въ привлекательныхъ краскахъ и было разсчитано на то, чтобы пробудить въ читателѣ состраданіе къ ея судьбѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ увѣренность въ томъ, что женская половина крестьянскаго міра только ждетъ удобнаго случая и удобныхъ условій, чтобы развернуть свои многообѣщающія умственныя и душевныя качества.

Никакого недовѣрія къ женщинѣ не могло возникнуть и при мысли о той—къ шестидесятымъ годамъ уже достаточно многочисленной женской группѣ, которая имѣла всѣ права называться интеллигентной. Группа была весьма новая; нарождалась она случайно, въ разныхъ городахъ, тамъ, гдѣ болѣе или менѣе счастливо слагались условія для какого-либо духовнаго общенія. До насъ дошло не мало свѣдѣній о тѣхъ, хотя и немногочисленныхъ женщинахъ, которыя въ двадцатыхъ и сороковыхъ годахъ были членами литератур-

ныхъ и даже научныхъ кружковъ. И все, что мы знаемъ объ этихъ сотрудницахъ въ дѣлѣ духовнаго развитія нашей родины, говоритъ въ ихъ пользу. Онѣ были не только ревностными ученицами и послѣдовательницами своихъ интеллигентныхъ родственниковъ и знакомыхъ, онѣ были и вдохновительницами цѣлыхъ кружковъ и организаторами ихъ. Интеллигентная женщина, стоявшая на виду или при исполненіи скромныхъ обязанностей въ кругу своей семьи, была въ дореформенное время большой культурной рабочей силой.

Итакъ, если кому-нибудь приходило въ голову задать себѣ вопросъ, въ какой мѣрѣ на женщину падаетъ вина и отвѣтственность за установившійся порядокъ жизни общественной и государственной, порядокъ привлеченный теперь къ суду и осужденный, — то степень этой вины оказывалась самой ничтожной; а если принять во вниманіе подчиненное положеніе женщины въ семьѣ и въ обществѣ, то въ сущности вины ровно никакой не было. Вся тяжесть отвѣтственности падала на мужчину, и въ своемъ добровольномъ грѣхѣ онъ не могъ сослаться ни на какую соблазнительницу. Все было дѣломъ его рукъ.

И, естественно, должна была расти надежда на то, что въ дѣлѣ исправленія грѣховъ, ошибокъ и промаховъ, которые были допущены, женщина сможетъ оказать свою существенную поддержку.

## IV.

Но возлагая такія надежды на женщину, нужно было имѣть въ запасѣ и иные аргументы, кромѣ признанія ея невиновности въ совершившемся. Нужно было быть увѣреннымъ, что для новаго предстоящаго труднаго дѣла у ней хватитъ и силы ума, и силы чувства, и стойкости воли. Желательно было имѣть ее не только пассивнымъ союзникомъ, но и активной помощницей. Надо было прежде, чѣмъ

уповать на нее, опредѣлить, въ какой мѣрѣ и на что она способна. Произвести провѣрку ея силъ было не трудно, несмотря на то, что условія гражданской и политической жизни были съ давнихъ временъ очень неблагопріятны для развитія женскаго характера и дарованія. Всетаки, несмотря на всю трудность своего положенія, русская женщина нашла возможность проявить свои таланты. Ревнивый сторонникъ женскаго вопроса могъ сразу обратиться къ историческимъ воспоминаніямъ и, умышленно подчеркнувъ то безправное положеніе, въ какое въ старой Руси, да и въ новой, мужчина поставилъ женщину, указать на разительные примѣры силы духа, обнаруженнаго женщинами на престолѣ княжескомъ или царскомъ, въ кельѣ или на площади. Онъ могъ вспомнить о св. Ольгѣ, о княжескихъ женахъ въ трудныя татарскія времена, о многочисленныхъ подвижницахъ, чтимыхъ церковью, о Марѳѣ Посадницѣ, о царевнѣ Софьѣ — вплоть до императрицы Елисаветы Петровны, которая во всякомъ случаѣ выгодно отличалась отъ многихъ, сидѣвшихъ на ея престолѣ до нея и послѣ.

Можно было, впрочемъ, и не уходить далеко въ старину, которая всегда затянута туманомъ легенды; можно было и не обращаться къ Западу, гдѣ такъ легко было найти образцы любой женской добродѣтели, доведенной до героизма; стоило лишь присмотрѣться повнимательнѣе къ недавнему прошлому — и въ исторіи этихъ долгихъ лѣтъ женскаго плѣна, духовнаго и тѣлеснаго, нельзя было не замѣтить ясныхъ слѣдовъ и пытливой женской мысли, и волнующихся чувствъ, и стремленія работать.

Конечно, эта работа могла быть лишь работою духовной, такъ какъ всѣ значительныя дѣла практическаго характера находились въ единоличномъ владѣніи мужской половины.

И вотъ, напр., въ дѣлѣ служенія литературѣ женщина до-реформеннаго времени проявила рѣдкую энергію. Положимъ, природа не дала ей того таланта, какимъ она одарила лучшихъ большихъ писателей-поэтовъ, романистовъ и критиковъ,

но въ данномъ случаѣ былъ не столько цѣненъ самый размѣръ ея таланта, сколько направленіе ея мыслей и чувствъ. Отъ нея ждали не откровеній въ области художественнаго творчества, а отзывчивости на запросы ея же среды. Такая отзывчивость давала себя знать въ женскихъ писаніяхъ раньше, чѣмъ раздалась проповѣдь мужчинъ, ставшихъ на сторону женской эманципаціи. Въ сороковыхъ и въ пятидесятыхъ годахъ не мало было писательницъ, которыя задумывались надъ женской долей, надъ долей женщины преимущественно интеллигентнаго круга, того круга, который могъ выслать наибольшее количество труженицъ на новую работу. Особенно блестящихъ именъ среди этихъ писательницъ не было, но если назвать имена Жуковой, Ганъ, Хвощинской, Янишъ, Ростопчиной, Зонтагъ, Кохановской, Евгеніи Туръ,— то въ общей сложности эти имена представятъ собою несомнѣнную литературную силу, которая имѣла свою сферу вліянія.

Положимъ, литературная дѣятельность всѣхъ этихъ дамъ не была объединена никакой общей программой. Всѣ онѣ были женщины разныхъ круговъ и разнаго воспитанія, но всѣ онѣ горѣли желаніемъ проявить свою творческую силу и отстоять права своей личности на самостоятельное сужденіе. Онѣ выступали не какъ ученицы или послѣдовательницы какой-нибудь опредѣленной теоріи, а выступали отъ себя, съ личнымъ мнѣніемъ, и уже однимъ этимъ служили женской эманципаціи. Поэтессы пребывали въ сферахъ горнихъ, и земля отъ нихъ выигрывала относительно мало; романистки — тѣ имѣли больше случаевъ касаться земныхъ дѣлъ, какъ бы восторженно и романически онѣ ни были настроены. И дѣйствительно, въ женскихъ повѣстяхъ и разсказахъ того времени сохраненъ цѣлый реестръ жалобъ на недочеты общественнаго положенія женщинъ и цѣлый списокъ тѣхъ желаній, которыя требуютъ осуществленія.

Система женскаго воспитанія устарѣла; она съ дѣтскихъ лѣтъ обезличиваетъ женщину, учитъ ее не трудиться, а

нравиться; парализуетъ ея умъ и волю въ угоду расплывчатымъ, несильнымъ чувствамъ. Система, по какой ведется женское образованіе,—еще хуже: она не даетъ нужныхъ для жизни знаній; не развиваетъ ни ума, ни характера и только горячитъ фантазію, которую жизнь, конечно, не насытитъ. Въ семьѣ и въ обществѣ женщина безправна и беззащитна; а между тѣмъ на ней лежатъ весьма трудныя обязанности; женщина не занимаетъ того мѣста, которое принадлежитъ ей по праву—по наличности добрыхъ чувствъ, готовности любить, жертвовать собой, наконецъ, по наличности разныхъ ей присущихъ дарованій. Ни умственная, ни нравственная сила женщины не использована должнымъ образомъ во благо родины; и кто этого блага желаетъ, тотъ долженъ стремиться „поднять" женщину, а для этого нужно прежде всего вооружить ее знаніемъ. Она слаба и безправна прежде всего потому, что не „развита".

Таковы были въ общихъ чертахъ основныя мысли повѣстей, романовъ и статей, писанныхъ женской рукой. Въ такомъ же духѣ высказывались и мужчины,—тѣ изъ критиковъ и художниковъ, которые попутно не прочь были поговорить о женскомъ вопросѣ въ дореформенное время. Писателей, которые избрали бы этотъ вопросъ предметомъ обстоятельнаго обслѣдованія, не было, но при случаѣ о немъ писалось не мало. Начиная съ Бѣлинскаго, критика при обсужденіи литературныхъ новинокъ западныхъ и русскихъ останавливала вниманіе читателей на недочетахъ женскаго воспитанія и образованія и на частыхъ проявленіяхъ мужской несправедливости, вольной и невольной. Съ конца сороковыхъ годовъ читатель привыкаетъ все чаще и чаще думать надъ этой стороной нашей общественной жизни, а къ концу пятидесятыхъ годовъ онъ могъ увидѣть, что вопросъ этотъ выдвинулся уже на одно изъ первыхъ мѣстъ и въ литературѣ, и въ критикѣ.

И все таки все, что писалось о женской эмансипаціи въ дореформенное время, было сравнительно болѣе общихъ мѣстъ.

и общихъ разговоровъ, чѣмъ точныхъ указаній на женскія требованія и на тѣ способы, какими эти требованія могутъ быть удовлетворены. Дальше жалобъ на положеніе женщинъ въ семьѣ и въ обществѣ и дальше требованія новыхъ программъ воспитанія и обученія защитники эмансипаціи пока не шли, хотя они были хорошо освѣдомлены о томъ, какъ широки были программы эмансипаціи на Западѣ. Мечтать объ ихъ осуществленіи въ условіяхъ старой русской жизни было невозможно, и говорить о женскихъ правахъ гражданскихъ и политическихъ при старомъ строѣ было бы большою наивностью. Можно было говорить лишь о правахъ нравственныхъ и о соревнованіи мужчинъ въ той области, гдѣ царитъ лишь счастливый случай, т.-е. въ сферѣ служенія искусству.

Такой общій характеръ разговоровъ долженъ былъ измѣниться вмѣстѣ съ общимъ переломомъ русской жизни. Какъ во всѣхъ вопросахъ, такъ и въ этомъ можно было съ 1855 года широко раздвинуть горизонты и начать мечтать о скорѣйшемъ проведеніи въ жизнь основного принципа, но уже не только въ видѣ сознанной истины, а въ формѣ осуществимаго дѣла.

## V.

Изъ всѣхъ журналовъ того времени „Современникъ" принялъ женскій вопросъ ближе другихъ къ сердцу. Боевой журналъ, разрабатывавшій новую программу морали личной и общественной, онъ прежде другихъ долженъ былъ подумать о привлеченіи на сторону новаго дѣла неиспользованной пока женской силы. И Добролюбовъ, и Чернышевскій при случаѣ упоминали объ этой дремлющей силѣ, которая ждетъ своей очереди, и заставляли ее сквозь полусонъ давать намъ чувствовать ея крѣпость, ея внутреннюю стойкость, хотя бы при всей ея внѣшней слабости. Иногда и Чернышевскій, и Добролюбовъ готовы были слабое суще-

ство произвести въ героини, лишь бы показать мнимому герою, сколь онъ безпеченъ и недальновиденъ, сколь онъ не развитъ, сколь слабъ характеромъ онъ, который не хочетъ или не можетъ оцѣнить той помощи, какую женщина способна ему оказать какъ въ его поискахъ личнаго счастья, такъ и въ его рѣшеніи служить общему дѣлу.

Съ конца пятидесятыхъ годовъ „Современникъ“ включилъ женскій вопросъ въ свою программу. Нашелся и писатель, одаренный безспорнымъ литературнымъ талантомъ — поэтъ по призванію, который сталъ его защитникомъ и проводникомъ. Это былъ довольно извѣстный въ тѣ годы переводчикъ иностранныхъ поэтовъ, авторъ многихъ оригинальныхъ стихотвореній и повѣстей бытового типа Михаилъ Иларіоновичъ Михайловъ. Въ 1861 году имя его прогремѣло какъ имя подсудимаго въ первомъ громкомъ политическомъ процессѣ, съ котораго началось открытое единоборство правительственной власти и революціонной силы. До 1861 года Михайлова знали исключительно какъ писателя.

Ему „Современникъ“ былъ обязанъ спокойной, трезвой, ясной и научной постановкой женскаго вопроса. Съ 1858 года Михайловъ сталъ печатать въ журналѣ сначала свои „Парижскія письма“, а затѣмъ „Лондонскія замѣтки“ — впечатлѣнія туриста, который успѣвалъ посмотрѣть обо всемъ, а между прочимъ и о женскомъ движеніи на Западѣ; его заинтересовалъ затѣмъ талантъ г-жи Элліотъ, и онъ посвятилъ ея романамъ двѣ статьи; отъ частностей онъ перешелъ скоро къ обобщеніямъ, и историческая судьба женщины, равно какъ и ближайшія рѣшенія женскаго вопроса стали предметомъ его бесѣдъ съ читателемъ. Писалъ онъ о „женщинахъ въ университетѣ“, о „воспитаніи и значеніи женщины въ семьѣ и въ обществѣ“, объ „эмансипаціи женщинъ по взглядамъ Милля“ и много работалъ по исторіи [illegible] женщины въ разные вѣка и у разныхъ народовъ.

Въ наше время трудно [illegible] въ нихъ [illegible]-нибудь [illegible] сильную мысль: все въ [illegible].

знакомо, все нами передумано, большая часть этихъ смѣлыхъ для того времени пожеланій осуществилась, а то, что еще не осуществлено,—то неминуемо должно осуществиться. Всю остроту новизны эти статьи утратили, и только лишь за исторической ихъ частью сохраняется значеніе хорошаго компилятивнаго труда по англійскимъ, французскимъ и нѣмецкимъ источникамъ. Но въ свое время статьи Михайлова открывали читателю и, конечно, прежде всего читательницѣ очень широкіе виды. Въ этихъ статьяхъ прежде всего бросалась въ глаза общедоступная простота изложенія и ясная формулировка вполнѣ исполнимыхъ требованій. Какъ послѣдователь Милля, Михайловъ уберегся отъ всякой фантастики французскихъ утопистовъ, и въ опредѣленіи круга женскаго вліянія, какъ и способовъ установленія этого вліянія онъ не позволилъ себѣ никакихъ несуразностей, ничего такого, передъ чѣмъ читатель могъ бы остановиться въ недоумѣніи или съ улыбкой. Личный знакомый и большой поклонникъ г-жи Женни д'Эрикуръ, „этой простой, добродушной, скромной женщины, которую іезуиты и свѣтскіе ихъ поклонники называютъ la fille du diable"), Михайловъ не перенесъ своихъ симпатій къ данному лицу на ту достаточно фантастическую теорію, которую писательница проповѣдывала.

То, о чемъ говорилъ Михайловъ, сводилось къ признанію за женщинами самыхъ обычныхъ правъ личныхъ и общественныхъ. Онъ требовалъ измѣненія программы ихъ начальнаго и средняго образованія, свободнаго доступа къ высшему образованію и ко всѣмъ родамъ дѣятельности, не говоря уже, конечно, объ уравненіи женщинъ съ мужчинами въ правахъ гражданскихъ и о свободѣ располагать своей совершеннолѣтней личностью, какъ того требуетъ разумъ и сердце. О политическихъ правахъ распространяться не приходилось, въ виду отсутствія въ Россіи политической жизни вообще, но въ данномъ случаѣ достаточно было сослаться на трактатъ Милля, который разрѣшалъ этотъ воп-

росъ въ самомъ для женщинъ благопріятномъ смыслѣ. Утвердивъ за женщиной въ принципѣ всѣ права, Михайловъ счелъ нужнымъ защитить ее также отъ нападокъ со стороны разныхъ моралистовъ и физіологовъ и такихъ ревнителей женской „нѣжности и поэтичности", какими были Прудонъ и Мишле. Въ пылу полемики съ ними Михайловъ готовъ былъ признать, что въ женщинѣ вообще не должно быть ничего женскаго, кромѣ пола, все остальное „да будетъ въ ней не мужское или женское, а чисто человѣческое".

Быть-можетъ, въ этомъ послѣднемъ выводѣ Михайловъ и зашелъ слишкомъ далеко, но во всемъ остальномъ онъ могъ имѣть на своей сторонѣ согласіе людей даже самыхъ умѣренныхъ. Былъ онъ, несомнѣнно, правъ и въ той второй основной мысли своихъ публицистическихъ статей, которая оттѣняла значеніе женскаго вопроса не какъ вопроса общаго, а какъ назрѣвшаго требованія, съ какимъ выступила современная русская жизнь. „Насъ [т.-е. молодое поколѣніе] укоряютъ въ недостаткѣ рѣшительности, въ отсутствіи твердыхъ характеровъ, — писалъ Михайловъ. Пока женщина не будетъ идти наравнѣ съ нами, мы все будемъ отставать отъ движенія и лишать его должной силы. Можетъ быть, только въ ненормальномъ положеніи и воспитаніи женщинъ лежитъ вина тѣхъ неудачъ, которыя дѣлаютъ наше время переходнымъ и отодвигаютъ насъ отъ цѣли. Мы вѣримъ въ способности и въ великую будущность русскихъ женщинъ".

Съ Михайловымъ былъ въ данномъ случаѣ согласенъ и Милль, который говорилъ, что мужчины „не могутъ сохранить мужественности, пока не пріобрѣтутъ ее и женщины".

Можно себѣ представить, какъ такія слова должны были дѣйствовать на русскую женщину, которая давно сознала неудовлетворительность своего положенія и только ждала ободренія со стороны, чтобы начать жить „по-новому". Въ мечтахъ, [illegible]

вѣроятно, уже жили по-новому, но какъ было эту мечту согласить съ жизнью?

Въ жизни женщины назрѣвала настоящая трагедія, хотя все предвѣщало въ будущемъ одну удачу, такъ какъ повидимому всѣ требованія, выставленныя женщиной и ея защитниками, были разумны и справедливы.

## VI.

„Эмансипація [на Западѣ], писалъ Михайловъ,—только-что началась; съ первыми успѣхами ея неизбѣжны крайности и уклоненія отъ прямого пути. При существованіи въ обществѣ дикихъ предразсудковъ не возможна еще полная эмансипація, и потому, совершаясь несвободно, неравномѣрно, она нарушаетъ общественное равновѣсіе".

Общественное равновѣсіе по вопросу о женской эмансипаціи было, какъ извѣстно, нарушено и у насъ въ Россіи въ шестидесятыхъ годахъ. Но врядъ ли вина въ данномъ случаѣ падаетъ всецѣло на „существованіе въ обществѣ дикихъ предразсудковъ". Въ обостреніи вопроса эти предразсудки, конечно, свое дѣло сдѣлали и многихъ молодыхъ людей обоего пола могли додразнить до весьма рѣзкихъ выходокъ, но такія выходки могли получиться и независимо отъ предразсудковъ, какъ естественное проявленіе совсѣмъ не дисциплинированнаго темперамента и невышколенной мысли самихъ женщинъ. „Къ несчастію, писалъ Михайловъ, какъ ни трудится въ потѣ лица наука, а не придумала еще никакихъ экстирпаторовъ и корчевальныхъ машинъ для скорѣйшей расчистки умственнаго поля". Михайловъ говорилъ въ данномъ случаѣ объ умственномъ полѣ враговъ женскаго вопроса, но вѣдь эти слова могутъ быть отнесены и къ умственному полю самихъ участницъ женскаго движенія. Женщинѣ приходилось думать объ общественной роли и брать на себя такую роль, не имѣя за собой почти ничего,

кромѣ добраго желанія, готовности трудиться, приносить жертвы и терпѣть лишенія. То, что придаетъ такимъ нравственнымъ подвигамъ силу,—а именно образованіе, знаніе, вообще развитіе,—этимъ женщины въ огромномъ большинствѣ случаевъ не располагали, если не считать исключительныхъ случаевъ появленія особенно даровитыхъ личностей.

Никто, конечно, не поставитъ женщинѣ на счетъ отсутствіе того, чего она не могла взять сама, и чего ей дать не хотѣли, но учесть этотъ недостатокъ необходимо, чтобы правильно оцѣнить тѣ другіе недостатки, на которые такъ часто указываютъ, когда заходитъ рѣчь о женщинѣ шестидесятыхъ годовъ, той почти легендарной женщинѣ, которую по имени ея брата, жениха, мужа или знакомаго называли **„нигилисткой“**.

Нигилистъ и нигилистка были мишенью очень рѣзкихъ нападокъ со стороны многихъ нашихъ романистовъ, историковъ, критиковъ и публицистовъ. Но всѣ такіе „обличители нигилистическихъ бредней“ дѣлали все-таки нѣкоторое различіе между подсудимымъ и подсудимой. Упрекая нигилистовъ въ недобросовѣстности, злыхъ умыслахъ, низменности характера, развратныхъ помыслахъ, иногда прямо въ подлости—строгіе судьи не рѣшались предъявить эти же обвиненія женщинѣ. Въ большинствѣ случаевъ они изображали ее жертвой, неразумнымъ ребенкомъ, неуравновѣшеннымъ человѣкомъ, который попадалъ подъ вредное вліяніе, сбивался съ истиннаго пути и страдалъ или погибалъ отъ собственной неразвитости, глупости, легковѣрія и слабости характера. Нравственность подсудимой стояла какъ бы внѣ сомнѣнія, и только ея умъ и темпераментъ подвергались осужденію. Такъ какъ всѣ обличители нигилизма сами переживали ту эпоху, къ которой они потомъ относились съ такой строгостью, то мы имѣемъ нѣкоторое основаніе предполагать въ ихъ, хотя бы и пристрастныхъ сужденіяхъ, извѣстную частицу исторической правды, которую они могли и иска-

зить, когда рѣчь шла о мужчинахъ, но съ которой они почему-то считались, когда рѣчь шла о женщинахъ. Драма заключалась въ томъ, что при несомнѣнно чистомъ сердцѣ и добромъ желаніи женщина тѣхъ годовъ иногда ставила себя въ такое положеніе, и по отношенію къ своему союзнику, и по отношенію къ жизни вообще, при которомъ не только не могло быть осуществлено настоящее полезное дѣло, но нерѣдко и сама женщина должна была утратить нѣкоторыя привлекательныя стороны своей психики. Мужчины вовлекали ее въ работу, которая была ей не по силамъ, и если нравственнаго напряженія хватало на подвигъ, иногда очень трудный, то не было силы знанія и силы ума, которая извлекла бы изъ этого подвига наибольшую выгоду для общаго культурнаго дѣла. Женщина вступила на новую дорогу почти безоружная, и съ первыхъ же шаговъ она очутилась во власти мужчины, который не всегда обращался съ ней бережно.

Нѣкоторые изъ писателей, которые хорошо помнили тѣ годы (какъ напр. Шашковъ), утверждали, что молодежь совсѣмъ не была удовлетворена тѣми женскими типами, въ которыхъ Тургеневъ и Гончаровъ стремились уловить тогдашнюю женскую психику. И, дѣйствительно, писателямъ сороковыхъ годовъ, людямъ почти уже старымъ, не могла быть вполнѣ ясна правда молодой женской души. Всѣ эти Ольги и Елены были, въ сущности, грезой старыхъ идеалистовъ, привыкшихъ чувствовать за своей спиной вдохновляющаго ихъ генія въ женскомъ образѣ. Конечно, такіе геніи, какъ рѣдкое исключеніе, могли появиться въ обезпеченныхъ дворянскихъ семьяхъ, гдѣ женщина получала болѣе или менѣе сносное образованіе, и гдѣ въ ней рано могло выработаться сознаніе своей силы, какъ личности. Но такія исключенія врядъ ли можно было возводить въ обобщающіе типы. На самомъ дѣлѣ и Ольги, и Елены въ огромномъ большинствѣ случаевъ сами нуждались въ руководительствѣ, и окружали ихъ отнюдь не Обломовы, а весьма

иные молодые люди, которые, не считая нужнымъ готовиться въ учителя, взяли на себя безъ всякаго колебанія отвѣтственную роль воспитателей и руководителей подроставшаго женскаго поколѣнія. Поэтическіе образы дѣвицъ, томящихся по „дѣлу“ и ждущихъ героя, этимъ молодымъ людямъ могли надоѣсть очень скоро, и все ихъ стремленіе было направлено къ тому, чтобы заставить такихъ женщинъ, не сообразуясь съ своими силами, поскорѣй начать дѣйствовать и поскорѣе стать героинями.

## VII.

Литература тѣхъ годовъ [1855—61], если не считать старыхъ писателей, въ данномъ случаѣ мало освѣдомленныхъ, не сохранила намъ матеріаловъ по исторіи женскаго сердца и ума въ этотъ знаменательный періодъ перехода женщины съ одного берега жизни на другой.

Когда женщина очутилась уже на другомъ берегу и пошла по новымъ дорогамъ и тропинкамъ, съ нея часто писались портреты. Портреты иногда смахивали на икону, иногда граничили съ каррикатурой, но во всякомъ случаѣ они были писаны съ натуры, и по нимъ можно себѣ составить представленіе о томъ, что пережила, перечувствовала и передумала женщина въ новыхъ условіяхъ жизни. Но попала она въ эти условія не раньше 1861 года, когда мы встрѣчаемъ ее на студенческихъ сходкахъ, въ университетской аудиторіи, участницей уличныхъ демонстрацій, преподавательницей въ воскресныхъ школахъ, устроительницей вечеринокъ на частныхъ квартирахъ и въ общественныхъ залахъ, хозяйкой или работницей въ разныхъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятіяхъ и артельныхъ мастерскихъ, переводчицей и ревностной читательницей нелегальныхъ книгъ и брошюръ и революціонныхъ прокламацій 1861 г., съ обильнымъ подземнымъ разливомъ духа, какой [illegible]

въ нашей жизни съ 1861 года, начало подниматься и въ женской душѣ рѣшительное и боевое настроеніе, и ея своеобразная внѣшняя фигура стала мелькать все чаще и чаще въ первыхъ рядахъ радикальной фаланги; и скоро въ ея рукахъ очутился и первый для нея спеціально написанный учебникъ жизни, отвѣчавшій на вопросъ „Что дѣлать"...

Весь подготовительный періодъ [1855—61], предшествовавшій выступленію женщины на общественной аренѣ, прошелъ въ смѣнѣ неясныхъ чувствъ, тайныхъ мыслей, затаенныхъ надеждъ и мечтаній, робкихъ поисковъ подругъ, товарищей и учителей. Мы можемъ только догадываться о томъ, какое душевное волненіе переживала за это время молодая душа, когда ея прошлая жизнь утратила для нея всякій смыслъ, а жизнь грядущая рисовалась еще въ очень туманныхъ очертаніяхъ.

Гдѣ-нибудь въ усадьбѣ, въ провинціальномъ городѣ или въ столицѣ выростала она въ самыхъ обычныхъ условіяхъ дореформеннаго времени, иногда вполнѣ обезпеченная, иногда при скромныхъ средствахъ, а иногда и при необходимости зарабатывать жизнь трудомъ. Образованіе она получала домашнее или въ институтахъ [гимназій женскихъ тогда еще не было] или вообще не получала никакого, хотя при случаѣ обрывки самыхъ разрозненныхъ знаній, на какія наталкивалась. То, что она узнавала отъ своихъ учителей, будь они профессіональные педагоги, гувернантки, бонны, вольнонаемные учителя или просто случайные люди — образованіемъ ни въ какомъ случаѣ назваться не могло. Это былъ случайный наборъ свѣдѣній, которыя могли, конечно, до извѣстной степени и шевельнуть умъ и задѣть и сердце, но дать какое-нибудь направленіе мыслямъ или основу для житейской программы были не въ состояніи. Умъ мало-мальски пытливый и до извѣстной степени чуткое сердце не могли удовлетвориться этими знаніями и должны были искать себѣ пищи на сторонѣ. Тѣ, пока немногія дѣвицы, которыя не

хотѣли ограничиться полученнымъ знаніемъ и которыхъ пугала и угнетала мысль о необходимости продолжать ту скучную и инертную жизнь, на которую онѣ насмотрѣлись въ родительскомъ домѣ и въ домахъ знакомыхъ,—могли имѣть только двухъ союзниковъ и помощниковъ, способныхъ понять ихъ и помочь имъ въ исканіи путей къ иной жизни и иному счастію. Это были—прежде всего, книга, но не рекомендованная семьей и школой, и, затѣмъ, тотъ молодой человѣкъ, который приносилъ эту книгу.

Семейныя библіотеки и книжныя лавки могли оказать существенную помощь, въ особенности тѣмъ, кто обладалъ знаніемъ иностранныхъ языковъ; а кажется, что прежде, какъ и теперь, русская женщина владѣла языками лучше, чѣмъ ея товарищъ. Кромѣ того, съ середины сороковыхъ годовъ, было въ обращеніи немалое количество иностранныхъ книгъ, переведенныхъ на русскій языкъ и ходившихъ по рукамъ въ рукописи. Многія книги и многія страницы въ этихъ книгахъ были обращены непосредственно къ женщинѣ, говорили ей объ ея прошломъ и настоящемъ, сулили ей лучшее будущее. Нѣкоторыя книги рѣшительно и открыто призывали ее на общественную работу. Наконецъ, не забывала же она и тѣ обычныя похвалы ея уму, сердцу, характеру и темпераменту, которыя расточались такъ часто всѣми писателями, и старыми и новыми, и романтиками и реалистами. Не могла она не вспомнить также о томъ, что женщина иногда стояла на самыхъ отвѣтственныхъ постахъ и съ честью, и съ неменьшей славой, чѣмъ мужчина, выходила изъ всѣхъ затрудненій. Задумывалась она также надъ судьбами своей родины и могла съ радостью себя увѣрить въ томъ, что ея вина въ этихъ судьбахъ меньшая, чѣмъ вина мужчины.

Разрывъ съ прошлой жизнью становился неизбѣженъ и неизбѣжность жертвъ и лишеній становилась очевидна. Заранѣе можно было сказать, что попытка вырваться изъ родительскаго гнѣзда и первое исканіе личной самостоя-

ности и личнаго выступленія на оборону своихъ законныхъ, но неосуществленныхъ правъ, не обойдется безъ печали и жертвъ. На такой вылетъ рѣшились сначала лишь немногіе, а затѣмъ ихъ число должно было расти... И стало оно расти необычайно быстро.

Но можно было быть умственно подготовленной къ такому рѣшительному разрыву съ традиціей, можно было сознавать себя вполнѣ готовой на жертвы и на борьбу — тѣмъ не только не смягчался, а, наоборотъ, обострялся вопросъ — какъ же приступить къ самому дѣлу? Поиски такого дѣла представляли огромное затрудненіе и для мужской половины; тѣмъ съ бо́льшимъ трудомъ они должны были даваться женщинамъ. Почва для женской дѣятельности, болѣе или менѣе самостоятельной, подготовлялась медленно. Въ 1855—1861 годахъ, когда внѣшній порядокъ дореформенной жизни, въ ожиданіи перемѣны, оставался неизмѣннымъ, — женщина вынуждена была жить по-старому, хотя она могла уже думать и чувствовать по-новому. Быть можетъ, и въ эти годы уже намѣчались тѣ попытки самостоятельныхъ выступленій женщины на разныхъ поприщахъ, — которыя такъ участились съ 1861 года.

Дѣвица могла при случаѣ уйти изъ отчаго дома, совсѣмъ къ тому и не вынужденная поведеніемъ родителей; она могла начать добровольно искать заработка по примѣру многихъ своихъ товарокъ, которыя педагогическимъ трудомъ зарабатывали себѣ кусокъ хлѣба; она могла потихоньку отъ старшихъ ходить на студенческія собранія и литературныя вечеринки; могла въ своемъ кругу ожесточенно и вызывающе спорить со старшими по разнымъ вопросамъ и возмущать ихъ своими въ порядокъ еще не приведенными мыслями; быть можетъ, она рѣшалась и на самый смѣлый шагъ и противъ воли родителей выходила замужъ за молодого человѣка, по любви болѣе идейной, чѣмъ сентиментальной... Всѣ такіе случаи могли быть, и они подготовляли старшее поколѣніе къ многимъ непріятнымъ неожиданностямъ, которыя въ жизни

женской молодежи шестидесятыхъ годовъ и стали достаточно обычными явленіями...

Но если женщинѣ на самой зарѣ новой жизни и было трудно найти какое-нибудь практическое дѣло, удовлетворявшее ея стремленіямъ, то все-таки одно дѣло было легко осуществимо: у ней было достаточно досуга, чтобы серьезно приняться за самообразованіе и вплотную засѣсть за книгу— не только за такую книгу, которая говорила ей объ ея судьбѣ и призваніи, а за серьезную книгу вообще.

## VIII.

Книга и прежде всего, конечно, иностранная имѣла свою, и очень большую, долю участія въ образованіи того настроенія, какимъ была охвачена радикальная молодежь того времени. Книга, будь она самая серьезная и научная, давала пищу не только уму, но и воображенію, и многое въ психикѣ людей шестидесятыхъ годовъ объясняется тѣмъ непосредственнымъ *возбужденіемъ*, какое выносила молодежь изъ своего почти всегда несистематическаго чтенія.

# Иностранная книга въ рукахъ молодого читателя 1855—1861 годовъ

Отношеніе радикальной молодежи къ родному прошлому и настоящему.— Недовѣріе и незнаніе этого недавняго дѣла.— Малая поддержка, которую могла оказать радикальному настроенію политическая жизнь [illegible] странахъ.—

Новый союзникъ — иностранная книга.— Культурное значеніе власти книги надъ умами.— Какъ мы овладѣвали въ усвоеніи западной науки.— Несистематическое чтеніе ученыхъ книгъ; чего отъ нихъ требовали.— Радикальныя мысли, нуждавшіяся въ поддержкѣ ученой книги.— Какъ иностранная книга отвѣчала на вопросы религіозные, философскіе и политическіе.— Книги по политической экономіи и исторіи.— Вліяніе [illegible] книги на настроеніе читателя.

## I.

Когда голова полна смѣлыми планами, а сердце — смѣлой надеждой, привыкаешь въ мечтахъ упреждать жизнь; мечтамъ придаешь обликъ уже совершившагося факта и рѣдко задумываешься надъ тѣмъ, что было.

Молодое поколѣніе радикальнаго образа мыслей жило въ 1855—1861 годахъ въ такомъ предвкушеніи грядущаго, предвкушеніи, не омраченномъ пока рѣзкимъ сомнѣніемъ и разочарованіемъ. Молодые люди имѣли основаніе думать, что настоящая плодотворная борьба за обновленіе начнется лишь теперь, съ выступленія новыхъ силъ, и до извѣстной степени молодежь была права, такъ какъ ни-

какихъ осязательныхъ результатовъ работы своихъ предшественниковъ она вокругъ себя не видѣла. Этихъ предшественниковъ, этихъ старшихъ, даже самыхъ благомыслящихъ и либеральныхъ, молодые люди очень скоро отчислили въ разрядъ „отставшихъ" и „доктринеровъ". Во всякомъ случаѣ искать въ прошломъ какого-нибудь источника умственной или душевной бодрости, какой-нибудь опоры было тщетно.

Тамъ позади стояли цѣлыя толпы людей, враждебныхъ всякому прогрессу; среди нихъ—замечтавшіеся, почти блаженные славянофилы, съ которыми разговаривать не стоило; прекраснодушные аристократы и честные книжники, либералы до извѣстнаго предѣла, когда-то полезные, а теперь безполезные... и, наконецъ, нѣсколько многострадальныхъ тѣней, живыхъ и мертвыхъ, погибшихъ за правое дѣло, подвигъ которыхъ жизнью учтенъ не былъ.

## II.

Если прошлое было такъ непригдядно, — быть-можетъ, текущій день былъ способенъ вселить въ душу бодрость и радость? Но онъ при всемъ душевномъ подъемѣ молодежи будилъ въ ней часто иныя чувства,—нервныя, рѣзкія, жестокія, которыя становились тѣмъ менѣе миролюбивы, чѣмъ мягче и довѣрчивѣе они были сначала.

За долгое царствованіе императора Николая Павловича люди старые и молодые — успѣли какъ будто отвыкнуть отъ нетерпѣнія, но на самомъ дѣлѣ они этой душевной способности не утратили; съ наступленіемъ новаго царствованія она должна была проявиться съ особой силой.

Отсутствіе политическаго воспитанія искажало къ тому же въ глазахъ молодежи историческую перспективу, и всѣ предметы, и близкіе, и поодаль стоящіе, и совсѣмъ далекіе приблизились другъ къ другу, и разстояніе между ними

съузилось; думалось, что, стоитъ лишь сдѣлать два шага, и можно очутиться за сотню верстъ отъ мѣста отправленія.

Ни съ какой трудностью положенія нетерпѣливые люди считаться не хотѣли, и правительство съ своей стороны сдѣлало все, чтобы укрѣпить ихъ въ ихъ недовѣріи и всякихъ опасеніяхъ. Вмѣсто того, чтобы придать широкую гласность своей работѣ, оно, слѣдуя дореформенной традиціи, окутало ее канцелярской тайной. Даже къ тѣмъ лицамъ, которыхъ правительство само призвало на помощь, оно относилось съ недовѣріемъ, которое возрастало, а не уменьшалось. Иногда могло казаться, что актъ освобожденія разрѣшится новымъ закрѣпощеніемъ, но уже не за помѣщикомъ, который какъ человѣкъ способенъ чувствовать состраданіе, а за голодомъ и нищетой, которые состраданія не знаютъ. Старый порядокъ, оффиціально осужденный, продолжалъ жить во всей цѣлости на глазахъ народа, который дѣлалъ надъ собой большое усиліе, чтобы оставаться спокойнымъ, и на глазахъ всѣхъ надѣющихся и ожидающихъ, которые не могли подавить своего нетерпѣнія.

Старина уже мертвая, но пока еще живая, съ каждымъ днемъ злила и раздражала все сильнѣе; и все заманчивѣе и полнѣе развертывалась картина будущаго, и это будущее казалось такимъ близкимъ, близкимъ...

Въ такомъ состояніи врядъ ли можно было чувствовать себя окрыленнымъ и успокоеннымъ медленно ползущими днями, молчаливыми и скучными, полными тревоги и опасеній для всѣхъ, кто хотѣлъ поскорѣй заколотить въ гробъ все прошедшее.

## III.

Но если русская жизнь при всѣхъ своихъ обѣщаніяхъ не вселяла въ молодую душу той бодрости, того душевнаго паѳоса, который соотвѣтствовалъ переживаемой исторической минутѣ, то, быть-можетъ, такая подмога сердцу могла

придти со стороны? Ходъ европейскихъ событій могъ оказать прямое вліяніе на повышеніе бодрости настроенія, и люди, недовольные положеніемъ дѣлъ на родинѣ, могли, быть-можетъ, разсчитывать на давленіе общественной и политической жизни сосѣдей на нашу?

Отъ искушенія присматриваться пристально къ политической жизни сосѣдей дореформенная эпоха оберегала насъ очень ревниво. Европейская политика внутренняя (а внѣшняя въ данномъ случаѣ въ расчетъ не шла) стала проникать въ русскія газеты и журналы лишь нѣсколько лѣтъ спустя послѣ смѣны царствованія и, конечно, въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ. Но даже, если бы эти размѣры были увеличены, то все-таки для того, чтобы умѣть разбираться во внутренней политикѣ сосѣднихъ странъ, нужны были извѣстное умѣнье и подготовка, которыми подросшее къ 1855 году молодое поколѣніе не располагало. Только тогда, когда въ обществѣ существуютъ уже продуманныя политическія убѣжденія, учетъ внутренней политики сосѣднихъ странъ можетъ оказывать свое вліяніе на ихъ укрѣпленіе и развитіе. Произвести учетъ сложныхъ, органически наростающихъ политическихъ положеній, въ которыхъ мы непосредственно не заинтересованы, можно лишь, пройдя извѣстную политическую школу. Въ 1855—1861 годахъ молодые люди были въ лучшемъ смыслѣ самыми заурядными диллетантами въ вопросахъ политической теоріи и политической борьбы. Слѣдить подробно и внимательно за ходомъ внутренней жизни Европы они не имѣли ни времени, ни возможности, да если бы они и могли разрѣшить себѣ эту роскошь, они не были бы въ состояніи использовать эти знанія въ Россіи, при порядкахъ, въ ней царившихъ. Но пусть молодой человѣкъ многаго не зналъ, многаго не понималъ, — быть-можетъ, онъ могъ вдохновиться тѣмъ общимъ духомъ, который вѣялъ во внутренней политикѣ странъ, болѣе культурныхъ, чѣмъ его родина?

Помощь, на которую могла разсчитывать радикальная молодежь, была въ данномъ случаѣ весьма незначительна.

Во внутренней жизни европейскихъ державъ 1855—1861 годы не были отмѣчены никакимъ подъемомъ ни радикальныхъ, ни даже либеральныхъ мыслей и настроеній. Борьба прогрессивныхъ силъ съ консервативными шла по всему фронту во всѣхъ странахъ, но это была борьба раздробленная, безъ рѣшительныхъ побѣдъ, безъ всякаго героическаго подъема; либералы и радикалы вели въ Пруссіи, въ нѣмецкихъ мелкихъ королевствахъ, въ Австріи, во Франціи партизанскую войну съ правительствами, послѣ проигранной революціонной кампаніи 1848 года. Правительства поддерживали нарушенный „порядокъ" или водворяли его, справляясь съ своей задачей успѣшно, въ особенности въ Австріи и Германіи. Франція, этотъ очагъ европейскаго радикализма и главный питатель революцій — переживала первое десятилѣтіе второй Имперіи, стараясь прикрыть ретроградную внутреннюю политику мишурными внѣшними успѣхами. Внутренняя жизнь въ Англіи, какъ и всегда, шла очень ровно при довольно устойчивомъ равновѣсіи консервативныхъ и прогрессивныхъ силъ. Русскій умѣренный либералъ могъ на худой конецъ съ такой политикой помириться, но вдохновить радикала и демократа она не могла ни въ какомъ случаѣ...

Была, впрочемъ, страна — и къ ней все больше и больше начинали тяготѣть сердца русской молодежи радикальныхъ круговъ — страна, судьбы которой, дѣйствительно, могли окрылить молодую мечту, героически настроенную. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ началась война Италіи за національное объединеніе, и героемъ дня сталъ Гарибальди — „герой освобожденія" генералъ „Божіею милостью и волею народа". Любовь молодежи къ Гарибальди была искренняя, длительная, съ большой примѣсью романтизма, и она во всѣ шестидесятые годы согрѣвала сердца и ласкала воображеніе людей, ищущихъ героическаго подвига и оскорбленныхъ тѣмъ, что

разные Кавуры, Наполеоны III и Пальмерстоны лѣзутъ въ герои.

Но все-таки такая любовь, идейная и романтическая, къ прославленному ли вождю или къ цѣлому народу не могла вознаградить молодыхъ пылкихъ сторонниковъ общественнаго обновленія за то отсутствіе подъема радикализма и демократизма, которое давало себя такъ ясно чувствовать во всей Европѣ. Хотѣлось болѣе полной и увѣренной поддержки въ томъ дѣлѣ, которое считаешь правымъ и торжество котораго предчувствуешь. А между тѣмъ, какъ ни была героична война Италіи за независимость, сколько смѣлыхъ и благородныхъ сердецъ она на своей сторонѣ ни имѣла, — нельзя же было видѣть въ ней залогъ торжества демократическихъ идеаловъ и революціоннаго настроенія. Война велась пока за успѣхъ чисто внѣшняго политическаго объединенія, неизвѣстно что обѣщавшаго народу, да и въ успѣхѣ войны можно было каждую минуту сомнѣваться. Радикальная молодежь, издали слѣдившая за этой войной, ощущала ея боевую поэзію, но видѣть въ итальянцахъ своихъ прямыхъ и сильныхъ союзниковъ она, во всякомъ случаѣ, не имѣла основанія... А между тѣмъ кругомъ, и въ Германіи, и въ Австріи, и во Франціи всѣ дорогіе для передовой молодежи идеалы были въ загонѣ. Минутами могло казаться, что изъ правительствъ Европы одно лишь русское правительство въ данный моментъ относится наиболѣе доброжелательно къ этимъ идеаламъ.

Теченіе событій на Западѣ не пришло въ нужный моментъ молодымъ людямъ на помощь, но одного достаточно сильнаго союзника Западъ имъ все-таки выслалъ: онъ далъ имъ въ руки книгу, а она имъ дала ту сосредоточенность мысли, ту бодрость духа и тотъ подъемъ настроенія, которые имѣютъ свойство переводиться въ событи

## IV.

Русская передовая молодежь не единожды испытывала на себѣ владычество иностранной книги, не только книги вообще, но даже книги съ опредѣленнымъ заглавіемъ. Въ тридцатыхъ годахъ Гегель владѣлъ умами подростающаго поколѣнія; затѣмъ прошло около трехъ десятилѣтій, и такого единодержавнаго владыки мысли среди насъ не появилось; въ серединѣ шестидесятыхъ годовъ Бокль былъ призванъ къ верховной власти, хотя границы его владѣній были значительно уже, чѣмъ границы владычества знаменитаго нѣмецкаго философа. Съ Боклемъ боролись за власть Дарвинъ и Лекки. Затѣмъ одно время Спенсеръ собралъ вокругъ себя разрозненную рать прогрессистовъ и, наконецъ, уже на нашихъ глазахъ, демократическая, революціонная и радикальная держава возвела на престолъ Маркса. Передовая часть нашей интеллигенціи и преимущественно, конечно, молодежь всегда обнаруживала такую склонность къ монархическому принципу въ области мысли; и она, иной разъ на долгое время, оставалась вѣрна не только верховнымъ властителямъ, которые проживали за границей, но и тѣмъ намѣстникамъ, которыхъ эти властители имѣли въ лицѣ руководящихъ русскихъ критиковъ и публицистовъ.

Силу и стойкость, какую обнаруживали передовыя группы нашего общества, надо до извѣстной степени приписать ихъ вѣрности той присягѣ, которую они приносили разнымъ доктринамъ, выросшимъ на почвѣ европейской науки, и тѣмъ соціальнымъ теоріямъ, которыя на западѣ входили въ силу. Враги нашихъ радикаловъ нерѣдко упрекали ихъ въ преклоненіи передъ авторитетами, въ идолопоклонствѣ, которое свидѣтельствовало будто бы о нежеланіи самостоятельно мыслить и говорило лишь о желаніи отдать себя поскорѣй въ опеку какой-нибудь знаменитости, лишь бы только она была наиболѣе модной. Людьми передового

лагеря при выборѣ научныхъ авторитетовъ руководили, въ данномъ случаѣ, конечно, совсѣмъ иныя соображенія. Пристрастіе къ научному авторитету вытекало изъ причинъ естественныхъ. Опереться на авторитетъ значило въ сущности опереться на послѣднее слово науки. Пусть это слово оказывалось не послѣднимъ, не рѣшающимъ, пусть оно быстро замѣнялось другимъ, но, во всякомъ случаѣ, оно всегда было сказано лицомъ, которое по своей ли геніальности или по своей учености имѣло всѣ права на всеобщее признаніе. За дутыми авторитетами радикалы не шли; и во всякомъ случаѣ вредъ отъ „идолопоклонства" былъ значительно меньшій, чѣмъ та польза, какую изъ него извлекали многочисленныя группы людей, нуждавшихся въ умственномъ объединеніи, въ единствѣ настроенія и вообще въ сосредоточеніи духовныхъ силъ. Тѣ толпы людей молодыхъ, а иногда и зрѣлыхъ, для которыхъ всемірные ученые были оракулами мудрости, могли весьма поверхностно читать „священныя" книги, могли даже не читать ихъ, а довольствоваться ихъ пересказомъ; могли изъ прочитаннаго дѣлать выводы весьма произвольные, могли отъ лица оракула говорить то, что ему и не приходило въ голову; могли, наконецъ, кромѣ избранной книги, забросить всѣ остальныя, не хотѣть знать ничего, что съ этой книгой не согласуется и всетаки такое посильное и довѣрчивое чтеніе и такое стихійное увлеченіе лицомъ или книгой имѣло свое культурное значеніе: открывались новые горизонты мысли и оставалось только ждать, когда послѣ угара увлеченія люди пріобрѣтутъ способность спокойнаго и углубленнаго раздумья надъ тѣмъ, что на первый взглядъ имъ казалось не догадкой, а откровеніемъ.

## V

Во всѣхъ областяхъ знанія мы сильно отстали отъ западной науки, и она насъ съ каждымъ годомъ [illegible].

Мы опаздывали въ нашемъ умственномъ развитіи на нѣсколько десятилѣтій.

Съ движеніемъ западной мысли, какъ она сложилась въ *[illegible]* и *тридцатыхъ* годахъ XIX столѣтія, мы въ дореформенную эпоху кое-какъ успѣли ознакомиться. Старая сентиментальная мораль, романтическое міросозерцаніе, философскій идеализмъ и даже соціологическая доктрина въ формѣ соціальной утопіи были, хоть и съ большими пробѣлами, но мало-по-малу нашимъ интеллигентнымъ обществомъ усвоены и до извѣстной степени продуманы. Западное умственное движеніе *[illegible]* годовъ отражалось въ нашемъ сознаніи значительно слабѣе и гораздо менѣе отчетливо. Если исключить отдѣльныхъ лицъ изъ лагеря западниковъ и славянофиловъ, которые могли черпать свои знанія у самаго ихъ источника и которыхъ можно перечислить по именамъ, — много ли было въ Россіи людей, шедшихъ въ своемъ развитіи вровень съ Западомъ? Теорія государственнаго либерализма, соціалистическія ученія, съ болѣе или менѣе осуществимою на практикѣ программой, критика основъ христіанскаго міросозерцанія, начала позитивной философіи, матеріалистическое истолкованіе процессовъ жизни вообще и историческаго процесса въ частности — всѣ эти новинки европейской мысли сороковыхъ годовъ оставались для общей массы нашихъ читателей дореформеннаго времени туманными или совсѣмъ незнакомыми областями знанія. Къ серединѣ *[illegible]* годовъ европейская наука могла гордиться новыми завоеваніями. Политическая экономія пріобрѣтала въ глазахъ историковъ и соціологовъ значеніе одной изъ самыхъ основныхъ наукъ, строго-научная тенденція въ соціалистическихъ ученіяхъ обрисовывалась все яснѣе и яснѣе, матеріалистическое истолкованіе вселенной и человѣка стало совсѣмъ модною наукой, позитивный методъ во всѣхъ наукахъ становился господствующимъ, и естественныя науки могли отмѣтить цѣлый рядъ открытій колоссальной цѣнности. Наконецъ, антро-

нологія, этнографія, археологія, языкознаніе, исторія народной словесности, исторія права и правовая исторія учрежденій въ короткій срокъ обогатились огромнымъ количествомъ научнаго матеріала, который могъ и долженъ былъ быть использованъ при изученіи не только старины, но и самыхъ очередныхъ вопросовъ современности.

Когда всѣ эти науки находились на Западѣ въ такомъ цвѣту, мы, въ 1855 году, только-что получали возможность до извѣстной степени свободно съ ними ознакомиться.

На насъ лежали долги передъ наукой прошлаго, и съ каждымъ днемъ возрасталъ нашъ долгъ передъ наукой современной. Приходилось спѣшить съ расплатой по этимъ обязательствамъ, если мы хотѣли сохранить за собой званіе людей культурныхъ и современныхъ.

## VI.

Иностранная книга захватила молодые умы очень быстро, но безъ всякой системы *). Какъ видно изъ воспоминаній современниковъ, молодежь относилась съ большимъ недовѣріемъ къ своимъ профессорамъ и къ тому ученому методу, котораго старшее поколѣніе придерживалось. Такое недовѣріе вытекало главнымъ образомъ не изъ критики ученой дѣятельности тѣхъ или иныхъ преподавателей, а изъ дѣленія наукъ на науки старыя и новыя. Старыя можно было забыть, а новыя надо было разыскивать и усвоить. Овладѣть ими можно было лишь путемъ самостоятельнаго труда. Надо было не слушать, а читать и читать, искать въ новыхъ книгахъ то, чего не услышишь съ каѳедры.

*) [illegible]

Кромѣ дѣленія наукъ на устарѣлыя и современныя, во многихъ молодыхъ умахъ укоренилось убѣжденіе, что время для строгой науки вообще въ Россіи пока еще не наступило, что Россія нуждается прежде и больше всего въ широкомъ распространеніи, въ популяризаціи научнаго знанія, а не въ его углубленіи. Такой взглядъ могъ многимъ молодымъ людямъ облегчить задачу самообразованія, избавляя ихъ отъ необходимости углубляться въ дебри науки, но въ то же время онъ и затруднялъ работу, предоставляя молодымъ умамъ самимъ разыскивать обѣтованную землю по всѣмъ морямъ знанія.

Установленію систематическаго чтенія препятствовало и то обстоятельство, что люди въ этомъ чтеніи искали не только пищи для ума, но главнымъ образомъ оправданія уже заранѣе сложившимся взглядамъ на нѣкоторые коренные вопросы жизни. Эти взгляды вырабатывались постепенно, тайно въ умахъ и преимущественно въ сердцахъ молодыхъ людей еще тогда, когда, можетъ-быть, ни одна иностранная новая книга въ ихъ рукахъ не побывала. Еще въ дореформенное время, сидя на школьной скамьѣ средняго или высшаго учебнаго заведенія, ловя отрывки разныхъ контрабандныхъ мыслей, которыя кружились и въ столичныхъ и въ провинціальныхъ интеллигентныхъ и полуинтеллигентныхъ кругахъ, юноши и дѣвицы привыкали вырабатывать въ себѣ убѣжденія по контрасту съ дѣйствительностью, ихъ окружавшей. Запретныя мысли, сжатыя въ афоризмы и колючія изреченія, подъ которыми можно было прочитать подписи разныхъ искусителей отъ Вольтера до Фейербаха, отъ Руссо до Прудона, крѣпко засѣли въ юныхъ головахъ въ формѣ неясныхъ убѣжденій и въ формѣ очень характернаго настроенія, враждебнаго всѣмъ господствующимъ взглядамъ на религію, на политическій и соціальный строй, на задачи общества и семьи. По контрасту съ тѣмъ, что въ дореформенное время молодые люди вокругъ себя видѣли, они создавали себѣ понятія о

желаемыхъ порядкахъ, и затѣмъ въ новыхъ ученыхъ книгахъ искали подтвержденія своимъ желаніямъ и взглядамъ. Серьезная книга и несерьезная, истинно научная или популярная могли въ данномъ случаѣ быть равноцѣнны по тому вліянію, какое онѣ оказывали, популярной книгѣ можно было даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ отдать предпочтеніе, и потому этотъ родъ книгъ и сталъ все болѣе и болѣе захватывать книжный рынокъ.

Молодые люди входили въ храмъ науки съ уже создавшимся настроеніемъ и ожидали, что имъ будетъ данъ въ руки новый катехизисъ, основные догмы котораго были уже предначертаны. Ихъ нужно было только оформить и подкрѣпить цитатами. Новыя мысли, нуждавшіяся въ поддержкѣ иностранной книги, сводились къ слѣдующимъ общимъ положеніямъ.

I. Въ вопросахъ религіи—разрывъ съ традиціонной формой христіанской вѣры вообще, въ данномъ случаѣ съ православнымъ вѣроисповѣданіемъ; историческое и научное объясненіе развитія въ людяхъ религіознаго чувства и религіозныхъ понятій и символовъ; историческая критика священныхъ книгъ откровенія и преданія; доказательства несогласуемости вѣры и знанія, и, какъ конечный выводъ, признаніе религіи за пережитокъ и попытки замѣны ея культомъ благороднаго и просвѣщеннаго образа мыслей, широкой гуманности и новаго соціальнаго строя, отвѣчающаго требованіямъ разума и справедливости.

II. Въ вопросахъ теоретической философской мысли—отказъ отъ всякаго философскаго идеализма, какъ ученія, искажающаго правильность логическаго мышленія и об- и правильность научнаго метода, попытки истолкованія мірового процесса въ матеріалистическомъ духѣ и въ духѣ нарождающагося позитивизма и такое же истолкованіе біологіи и психологіи.

III. Въ вопросахъ этики освобожденіе отъ устарѣлыхъ аскетическихъ традицій и самый строгій пересмотръ всего ка-

декса морали личной и общественной съ точки зрѣнія „разумнаго" эгоизма нравственно свободной личности; изученіе эволюціи моральныхъ взглядовъ и чувствъ; и признаніе утилитаризма наиболѣе научнымъ объясненіемъ происхожденія и роста всѣхъ нашихъ нравственныхъ побужденій.

IV. Въ вопросахъ политическихъ возможно послѣдовательное движеніе въ крайнемъ направленіи въ цѣляхъ установленія новаго политическаго строя на самыхъ широкихъ **демократическихъ началахъ.**

## VII.

Списокъ именъ тѣхъ иностранныхъ авторовъ, книги которыхъ были въ обращеніи въ 1855—1861 годахъ, можетъ быть составленъ съ достаточной полнотой, и онъ окажется не очень длиненъ. По росписи книгъ, напечатанныхъ въ Россіи за 1856—1861 годы, нельзя, однако, судить о степени вліянія иностранной книги на русскіе умы. Переводныхъ книгъ появлялось до 1861 года немного. Но по библіографическимъ замѣткамъ въ журналахъ, по упоминанію именъ авторовъ въ статьяхъ, въ перепискѣ и въ воспоминаніяхъ лицъ, которыя въ тѣ годы были молоды, видно, что всѣ наиболѣе выдающіяся имена въ области западной науки, литературы и публицистики были русскому читателю извѣстны и что онъ успѣлъ прочитать или перелистать немалое количество печатныхъ страницъ. Какъ и слѣдовало ожидать, въ книгахъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ читатель былъ болѣе начитанъ и свѣдущъ, чѣмъ въ книгахъ болѣе близкаго къ нему времени. Въ годы, о которыхъ мы говоримъ, нельзя подмѣтить въ читающей молодежи преобладающаго интереса къ какой-нибудь опредѣленной области знанія. Ни одна наука не могла пока еще присвоить себѣ гегемоніи въ царствѣ мысли—какъ это было позднѣе, при владычествѣ надъ нашими умами сначала наукъ естественно-историческихъ, затѣмъ наукъ философскихъ, на

началахъ позитивизма и, наконецъ, науки политико-экономической.

Въ 1855—1861 годахъ вниманіе читателя дробилось между всѣми этими науками и многими другими. Опредѣлить точно, какое вліяніе имѣла та или иная книга на ходъ русской мысли или на слагавшееся общественное настроеніе — конечно, нѣтъ никакой возможности. Книга работала въ тиши, и результатъ всѣхъ интимныхъ бесѣдъ съ нею на поверхности жизни уловленъ быть не можетъ. Въ рѣдкихъ только случаяхъ книга вызывала гласную полемику въ журналахъ и сфера вліянія ея на умы болѣе или менѣе ясно опредѣлялась.

Но если взять въ общемъ всѣ иностранныя книги, которыя въ тѣ годы пользовались вліяніемъ, то общій характеръ этого вліянія обрисуется съ достаточной ясностью.

Иностранная книга приходила молодому читателю на помощь въ его борьбѣ съ установившимися общими взглядами на жизнь, съ господствующимъ политическимъ порядкомъ и съ наличнымъ соціальнымъ строемъ; она укрѣпляла въ немъ сознаніе силы индивидуальнаго начала въ жизни вообще и вѣру въ сильную личность, призванную дать направленіе массовой жизни; она поддерживала въ немъ его гуманный образъ мыслей и ту демократическую тенденцію, которая все рѣзче и ярче проступала въ его понятіи о прогрессѣ; она помогала ему въ построеніи новаго міросозерцанія, философскаго, этическаго и эстетическаго; наконецъ, эта же книга вселяла въ его душу особое чувство бодрости, когда онъ читалъ въ ней лѣтопись прошлой жизни и убѣждался въ томъ, что родъ человѣческій неустанно совершенствуется.

## VIII.

Найти на Западѣ союзниковъ въ ниспроверженіи старыхъ авторитетовъ и традицій было нетрудно. Понятіе о сверх-

чувственномъ и поклоненіе ему во всѣхъ доселѣ существующихъ формахъ было давно уже исторически объяснено и признано за пережитокъ, въ сочиненіяхъ Фейербаха и Штраусса. Главнѣйшія изъ сочиненій Штраусса и Фейербаха были извѣстны въ Россіи, какъ и труды нѣкоторыхъ ученыхъ Тюбингенской школы, работавшей надъ критикой текста св. Писанія [1]). Богословы и ученые могли найти въ этихъ книгахъ многое, съ чѣмъ можно было не согласиться, но молодой человѣкъ, ищущій въ книгѣ поддержки своему уже готовому, но пока голословному мнѣнію, принималъ книгу къ свѣдѣнію и къ руководству, какъ послѣднее слово науки.

Въ критикѣ наличнаго политическаго и соціальнаго строя отыскать союзниковъ было еще легче. Всѣ выдающіеся историки и публицисты на Западѣ, всѣ, за немногими исключеніями, были либералы, хотя и разныхъ оттѣнковъ. Среди нихъ можно было выбрать любого и въ его сочиненіяхъ найти вполнѣ достаточное количество фактовъ, теорій, взглядовъ и сентенцій, направленныхъ противъ монархическаго, клерикальнаго и феодальнаго строя на Западѣ. Наиболѣе нашумѣвшей у насъ книгой была въ тѣ годы книга Токевилля, разсердившая своей умѣренностью радикаловъ, но тѣмъ не менѣе дававшая имъ въ руки очень вѣское оружіе противъ „стараго порядка". И никто не мѣшалъ читателю, опираясь на этотъ старый западный порядокъ, думать о Россіи и объ ея порядкахъ, тоже старыхъ, но пока еще не упраздненныхъ.

При судѣ надъ соціальнымъ домашнимъ строемъ, русскій читатель могъ и не нуждаться въ помощи западнаго писателя. Крѣпостное право говорило громче и краснорѣчивѣе всякой книги. Но читатель зналъ, что есть такія книги (нѣкоторыя изъ нихъ стояли у него на полкѣ), въ

1) О Тюбингенской школѣ вышло въ 18[illegible] году на русскомъ языкѣ особое сочиненіе.

которыхъ соціальный строй будущаго обрисованъ такъ наглядно, что кажется уже наступившимъ. Ученія С.-Симона, Фурье, Консидерана, Кабэ, Оуэна, Прудона были извѣстны частью въ выдержкахъ и въ переложеніи, и этого было достаточно для того чтобы самый вопросъ о грядущемъ соціалистическомъ строѣ сталъ для многихъ не гипотезой, а научной увѣренностью. Хотя ученія поименованныхъ соціалистовъ рѣзко расходились другъ съ другомъ по вопросу о политической и экономической организаціи грядущаго общества, русскій читатель не имѣлъ однако нужды вникать въ эти споры и могъ ограничиться лишь общимъ представленіемъ о соціальномъ равенствѣ и о перевоспитаніи современнаго общества. Въ особенности такое перевоспитаніе казалось достижимымъ, послѣ краснорѣчиваго и убѣдительнаго разъясненія этого вопроса въ книгѣ Оуэна, которая была почти цѣликомъ пересказана по русски.

Задача перевоспитанія общества находилась, конечно, въ тѣснѣйшей связи съ вопросомъ о роли личности въ историческомъ процессѣ, такъ какъ только на отдѣльную личность могла падать и иниціатива и сама работа надъ такимъ перевоспитаніемъ. Въ нѣкоторыхъ соціалистическихъ системахъ личности отводилась роль очень значительная, а тѣ системы, которыя склонялись къ анархизму, исходили въ своихъ построеніяхъ изъ принципа ея полной автономности. Для русскаго молодого человѣка культъ автономной личности имѣлъ въ тѣ годы особую прелесть, такъ какъ на немъ покоилась вся вѣра молодежи въ свои силы и свое призваніе. Положимъ, вѣра молодежи въ себя не нуждалась въ подкрѣпленіи извнѣ: она была сильна сама по себѣ, но нельзя не учесть того бодрящаго и подымающаго духъ впечатлѣнія, какое производили на молодую душу картины грядущаго счастія, насаждаемаго волей и усиліями [illegible] мыслящихъ и сильно чувствующихъ [illegible]. [illegible] предъ собой героевъ, молодой человѣкъ мнилъ себя героемъ. [illegible] такое слово о героѣ въ книгѣ, [illegible]

ующейся заслуженной славой, было весьма знаменательно; и русскій читатель отнесся съ большимъ вниманіемъ къ книгѣ Карлейля о герояхъ, хотя въ этой книгѣ онъ и не находилъ никакой поддержки своимъ демократическимъ идеаламъ. Но книга была самымъ краснорѣчивымъ прославленіемъ героя на всѣхъ аренахъ человѣческой дѣятельности, апоѳеозомъ сильной личности, которая умѣетъ навязать массѣ свой авторитетъ во имя ея блага. Была извѣстна въ тѣ годы и другая книга, въ которой культъ личности былъ доведенъ до полнаго отрицанія всякой общественности, всякой связи съ людьми во имя какихъ-либо общихъ интересовъ. Ученіе Макса Штирнера, которое въ Германіи не нашло никакого отзвука, въ Россіи пользовалось славой ядовитой и опасной ереси. Подписаться подъ выводами этой книги читатель радикалъ врядъ ли могъ — такъ эти выводы расходились съ его гуманнымъ и демократическимъ понятіемъ о долгѣ героя передъ массой, но несогласіе въ мысляхъ не исключало той симпатіи къ героическому чувству, какимъ вся книга была пропитана. Она призывала къ возстанію, къ самому крайнему возмущенію противъ общественнаго уклада жизни; читая ее, можно было подмѣнить отвлеченное понятіе объ обществѣ понятіемъ о какомъ-нибудь данномъ общественномъ порядкѣ, и тогда, вопреки словамъ автора, можно было самого Штирнера зачислить въ списки борцовъ за свободу, въ списки враговъ деспотизма, не опредѣляя, о какой свободѣ и о какомъ деспотизмѣ идетъ рѣчь. Аристократическое и анархическое въ Штирнерѣ было не опасно, такъ какъ демократическій строй мыслей и чувствъ русскаго молодого читателя былъ и высокъ и непоколебимо крѣпокъ.

Демократизмъ читателя не нуждался впрочемъ въ особой поддержкѣ со стороны: сама русская жизнь воспитывала демократовъ. Но помощь извнѣ была все-таки не лишней, тѣмъ болѣе, что за долгіе годы литературнаго общенія съ Западомъ нашъ читатель привыкъ искать и находить въ иностранной книгѣ художественное вы-

раженіе тѣхъ гуманныхъ и демократическихъ чувствъ, какими онъ самъ былъ насыщенъ. Французскій соціальный романъ сороковыхъ годовъ и бытовой романъ англійскій того же времени были у насъ давно любимой книгой и въ концѣ пятидесятыхъ годовъ читались, пожалуй, съ большимъ пониманіемъ и вниманіемъ, чѣмъ раньше. Картины изъ жизни людей обездоленныхъ и обиженныхъ, картины изъ жизни простонародья и рабочаго класса въ сороковыхъ годахъ на Западѣ уже многочисленнаго — пополнялись теперь тѣми учеными сочиненіями, въ которыхъ крестьянскій и рабочій вопросъ разрабатывался научно, какъ вопросъ историческій, политическій, экономическій и психологическій. Въ общеніи съ этими книгами нашъ читатель — демократъ въ душѣ — становился все бо́льшимъ и бо́льшимъ демократомъ по убѣжденіямъ.

## IX.

Если въ какой области помощь, идущая съ Запада, была всего болѣе цѣнна и ощутима — такъ это въ области чисто научныхъ свѣдѣній. При желаніи разработать и пополнить то новое міросозерцаніе, которое предлагалось въ ученыхъ, критическихъ и публицистическихъ статьяхъ любимаго журнала, обращеніе къ иностранной книгѣ становилось обязательно.

Философскія науки, которыя въ дореформенное время попали въ положеніе наукъ „подозрительныхъ", не могли, конечно, сразу оправиться отъ долгой спячки и занять въ общей энциклопедіи знаній то мѣсто, которое имъ принадлежало по праву. На книжномъ рынкѣ и въ журналахъ онѣ были слабо представлены. Старикъ Гегель имѣлъ нѣсколькихъ запоздалыхъ поклонниковъ, и біографія его, написанная Гаймомъ, появилась въ русскомъ переводѣ, о новыхъ философскихъ школахъ говорилось въ „Современ-

никѣ" съ похвалой, а въ остальныхъ журналахъ съ неодобреніемъ. Имена Фейербаха, Конта, Милля, — этихъ самыхъ видныхъ представителей новыхъ теченій въ философіи, попадались на глаза читателю, но если онъ не зналъ иностранныхъ языковъ, то онъ не могъ ознакомиться съ ихъ сочиненіями, которыя только въ серединѣ шестидесятыхъ годовъ нашли себѣ переводчиковъ и издателей въ Россіи. Въ молодыхъ кружкахъ того времени можно было услышать, конечно, и имена сторонниковъ „положительнаго метода въ наукѣ", и ученыхъ естествоиспытателей, которые тяготѣли въ конечныхъ выводахъ своего міросозерцанія, кто къ позитивизму, кто къ болѣе или менѣе явному матеріализму — имена Вирхова, Клодъ-Бернара, Фогта, Молешотта, Бюхнера, Вагнера, Дарвина и другихъ. Всѣ эти тогда еще молодые, но уже прославленные, ученые, которымъ суждено было спустя нѣсколько лѣтъ завладѣть умами нашей молодежи и сочиненія которыхъ позднѣе поставляли неизсякаемый матеріалъ для статей, брошюръ и книгъ — пока еще [1855—1861] сами за себя говорить не могли, за отсутствіемъ переводовъ ихъ писаній. Что въ ихъ сочиненіяхъ опровергнуты и низложены всѣ предразсудки традиціонной религіи и метафизики, это было извѣстно, но какъ и какими доводами, — объ этомъ русскій читатель узналъ позже.

Изъ общественныхъ наукъ наибольшимъ распространеніемъ пользовались тогда исторія политическихъ ученій и политическая экономія. По этимъ наукамъ существовало немало книгъ, написанныхъ русскими учеными, частью при ближайшемъ руководствѣ ученыхъ западныхъ, частью самостоятельно. Переведены были книги Токвиля „Демократія въ Америкѣ" [1860] и „Старый порядокъ" [1861], появилась книга Чичерина „Очерки Англіи и Франціи" [1858], „Курсъ политической экономіи" Молинари [1860], сочиненіе Бабста „Объ условіяхъ, способствующихъ умноженію народнаго капитала" [1857], переводъ сочиненія Тенгоборскаго „О производительныхъ силахъ Россіи" [1857], „Очеркъ исторіи

политической экономіи" И. Вернадскаго [1858], переводъ „Политико-экономическихъ писемъ" Кэри [1860], „О рабочемъ классѣ и мѣрахъ къ обезпеченію его благосостоянія" О. Тернера [1860], „Основанія политической экономіи" съ нѣкоторыми изъ ихъ примѣненій къ общественной философіи Д. С. Милля съ комментаріями Чернышевскаго [1861] и многія другія сочиненія изъ тѣхъ же областей знанія. По количеству этихъ сочиненій, по отзывамъ, которые они вызвали, и по полемикѣ съ большинствомъ изъ нихъ, которая велась на страницахъ „Современника", можно судить, какъ эти новые и сложные вопросы тогда волновали читателя. Любовь его къ теоріи народнаго хозяйства была, конечно, небезкорыстна, и почерпалъ онъ въ этихъ трудно читаемыхъ книгахъ не только знанія, но и ту гордую радость, которую испытываетъ молодой человѣкъ при ознакомленіи съ наукой, обѣщающей разрѣшить самые назрѣвшіе вопросы жизни.

Но изъ всѣхъ наукъ привлекла къ себѣ наиболѣе вниманіе исторія. Въ сороковыхъ годахъ эта наука была представлена на Западѣ очень большими силами во всѣхъ странахъ. Почти всѣ выдающіеся историки принадлежали съ разными оттѣнками къ либеральному лагерю, и многіе изъ нихъ были настоящіе художники и мастера стиля. Для русскаго читателя, пока мало привыкшаго къ сухому научному изложенію или къ обобщеніямъ, излагаемымъ болѣе или менѣе отвлеченно, даръ художественнаго разсказа и блескъ стиля были большими приманками. Но независимо отъ такой изящной оболочки, въ какой исторія человѣческой жизни являлась передъ читателемъ, картина событій прошлаго, нарисованная свободомыслящимъ историкомъ, сама по себѣ должна была говорить молодому уму и сердцу. Она, помимо знанія, давала извѣстное удовлетвореніе, которое получалось какъ результатъ близкаго общенія, не только съ понятіями, но и съ людьми, жившими [illegible] потомства. Историческія картины прошлаго [illegible]

роковыхъ годовъ отводили въ своихъ сочиненіяхъ разсказу очень много мѣста, были красочными иллюстраціями къ той теоріи прогресса, которую исповѣдывалъ молодой читатель уже въ силу одной своей молодости, увѣренной въ неизбѣжномъ оправданіи своихъ гуманныхъ идеаловъ. Понятно, что чтеніе историческихъ книгъ могло стать любимымъ занятіемъ.

Книжная лѣтопись тѣхъ годовъ перечисляетъ немало именъ французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ историковъ, труды которыхъ были переведены по-русски; стали выходить первые томы Всемірной исторіи Шлоссера [1861] подъ редакціей Чернышевскаго и Зайцева, имѣлись книги Ранке „Государи и народы южной Европы въ XVI и XVII в." [1857], „Исторія цивилизаціи во Франціи" Гизо [1861], „Исторія XVIII столѣтія" Шлоссера [1860], „Разсказы изъ римской исторіи" А. Тьери [1861], „Исторія царствованія Филиппа II" Прескотта [1858], „Эпоха возрожденія" Мишле [1860], „Исторія англійской революціи" Гизо [1860], „Исторія завоеванія Англіи норманами" Тьери [1859]. Кромѣ того появилось много статей и книгъ по исторіи походовъ Наполеона I и книгъ, относящихся къ событіямъ итальянской войны за объединеніе.

Перечисленными именами отнюдь не исчерпывается все то историческое знаніе, которое было доступно русскому читателю въ 1855—1861 годахъ; со многими историческими трудами онъ знакомился не по переводамъ, а по журнальнымъ статьямъ, и нельзя сказать, что такое чтеніе статей о книгахъ было всегда проигрышемъ для читателя. Отъ него ускользать можетъ быть художникъ, но съ историкомъ и съ философомъ онъ все-таки получалъ случаи ознакомиться, и притомъ болѣе систематично. Журнальныя статьи ввели русскаго читателя въ кругъ историческихъ понятій весьма многихъ выдающихся иностранныхъ ученыхъ. Онъ освоился съ самыми разнообразными способами обработки историческаго матеріала, отъ обработки, грани-

чаніей съ поэтическимъ творчествомъ, какъ у Баранта, Тьери, Мишле, Кинэ, Карлейля, до попытокъ примѣнить къ исторіи самый строгій научный методъ, которому можно было научиться у Ранке и его учениковъ. Передовой журналъ, само собой разумѣется, знакомилъ читателя всего подробнѣе съ тѣмъ направленіемъ въ исторіографіи, которое проводило болѣе или менѣе яркую либеральную тенденцію, и большое вниманіе было удѣлено журналами „Исторіи революціи въ Англіи“ Гизо, „Исторіи французской революціи“ Тьера, „Исторіи Англіи“ Маколея, „Исторіи нидерландской революціи“ Мотлея. Отъ вниманія редакторовъ журналовъ не ускользнулъ и новѣйшій естественно-историческій методъ въ исторіографіи — упоминалось имя Огюста Конта, которому этотъ методъ обязанъ своимъ первымъ научнымъ обоснованіемъ, а въ 1861 году появилось въ „Современникѣ“ первое изложеніе столь нашумѣвшей впослѣдствіи книги Бокля.

Бѣглое чтеніе этихъ книгъ въ оригиналѣ или въ неполномъ переводѣ, даже ознакомленіе съ ними съ чужихъ словъ имѣло большое культурное и общественное значеніе

X.

Молодой читатель чувствовалъ себя порой въ безвыходномъ положеніи, несмотря на самоувѣренность молодости и на всѣ выгоды политическаго и общественнаго момента. Въ прошломъ ему было не на что опереться: онъ хотѣлъ начать собой новую эру и не искалъ союзниковъ среди старшихъ и предковъ, да если бы онъ и сталъ искать ихъ, то помощь, которую они могли оказать ему, была ничтожна. Въ современности молодому человѣку приходилось также очень трудно. Жизнь, несомнѣнно, поворачивала на новую дорогу, но двигалась къ новой цѣли медленно, съ большими [illegible]; увѣренности въ завтрашнемъ днѣ было мало, [illegible]

много, и чувствовать себя довольнымъ и бодрымъ въ сознаніи быстраго приближенія къ желаемой цѣли было трудно, а для многихъ горячихъ головъ и совсѣмъ невозможно. Казалось порой, что жизнь не уноситъ людей въ своемъ теченіи отъ старыхъ береговъ: берега какъ будто не удалялись. Политическое положеніе на Западѣ, за исключеніемъ далекой Италіи, не обѣщало ничего отраднаго и во всѣхъ сосѣднихъ странахъ молодой читатель не могъ отмѣтить никакого даже скромнаго торжества тѣхъ политическихъ и общественныхъ идеаловъ, которые были ему дороги. Безъ бодрящихъ воспоминаній, при слабой поддержкѣ окружающей дѣйствительности, безъ возможности опереться на сосѣда, многіе могли ослабѣвать духомъ. И вотъ въ эти минуты неизбѣжнаго во всякой борьбѣ временнаго паденія силъ, иностранная ученая книга была самымъ вѣрнымъ совѣтникомъ.

На ея страницахъ можно было прочитать всю лѣтопись временъ, и ея устами говорила историческая истина; истина эта утверждала, что на свободную мысль человѣка и на его чувство справедливости оковы могутъ быть наложены лишь временно, что жажда законной свободы найдетъ въ концѣ концовъ свое утоленіе и что историческій процессъ есть прогрессъ, прогрессъ именно въ томъ направленіи, въ какомъ теперь такъ неувѣренно и медленно стала двигаться русская жизнь.

## XI.

Молодому человѣку, свидѣтелю первыхъ годовъ новаго царствованія, была, какъ видимъ, сразу дана возможность начать насыщать умъ знаніями и попутно возвышенно настроить душу. Но какъ ни питательна бываетъ наука, даже приноровленная къ потребностямъ мало образованной среды, не всѣ умы одинаково расположены къ ея воспріятію. Весьма многіе черпаютъ свое міросозерцаніе или вырабатываютъ

его, и легче, и быстрѣе въ общеніи не съ отвлеченными или вообще научными понятіями и разсужденіями о жизни, а въ общеніи съ самой текущей жизнью, поскольку она отражается въ художественныхъ образахъ или вообще въ картинахъ, нарисованныхъ болѣе или менѣе опытнымъ наблюдателемъ. На литературѣ, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, воспитывается огромное количество людей, которымъ въ силу разныхъ обстоятельствъ наука можетъ оказать лишь малую помощь.

Въ дореформенную эпоху нашу культуру вынесла на своихъ плечахъ все-таки русская словесность при относительно маломъ содѣйствіи науки. Значеніе литературы не умалилось и въ послѣдующее время, несмотря на все возрастающую конкурренцію научнаго знанія, и только въ наши дни изящной словесности пришлось отказаться отъ первенствующей роли въ дѣлѣ образованія и воспитанія подростающихъ поколѣній.

Въ началѣ новой эры престижъ художественной литературы стоялъ очень высоко: у всѣхъ въ памяти были ея заслуги въ прошломъ, всѣ помнили, съ какими трудностями ей пришлось бороться при исполненіи своего долга — и думалось, что теперь, когда наступила заря новой жизни, изящная словесность сможетъ съ удвоенной силой продолжать свое служеніе родинѣ смѣло и свободно. Надежды были вполнѣ основательны, тѣмъ болѣе, что къ серединѣ пятидесятыхъ годовъ русская изящная словесность вполнѣ освободилась отъ опеки иноземной и представляла собой крѣпкую самобытную силу. Мы почувствовали впервые, что, какъ художники, мы независимы. Иностранная литература свое дѣло сдѣлала; и теперь она была не то что безсильна помочь намъ, но не такъ нужна, какъ нужна стала словесность отечественная, самобытная.

Предстояла большая работа надъ обновленіемъ русской жизни. Хотѣлось поближе ознакомиться съ условіями этой жизни, поглубже вникнуть въ душу всѣхъ тѣхъ, кѣмъ

она вершится, всѣхъ, кто стоитъ на мѣстѣ, и всѣхъ, кто движется. И прежде всего хотѣлось узнать поближе людей „новыхъ".

Съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила молодежь за новинками отечественной словесности, и за критическими статьями, которыя онѣ вызывали. Отъ изящной словесности молодежь требовала вѣрнаго изображенія окружавшей ее обстановки и окружавшихъ ее людей, отъ критики она ждала истолкованія этихъ живыхъ картинъ и типовъ.

Но въ какой мѣрѣ изящная словесность тѣхъ годовъ [1855—1861] могла отвѣтить на эти требованія?

# Изящная словесность 1855—1861 годовъ и молодой читатель

[illegible] Изящная словесность пореформенной эпохи передъ судомъ [illegible] 1855—1861 годовъ. [illegible] нихъ себя не узнали.

## I.

Въ первые же годы новой эры изящная словесность попала въ положеніе крайне трудное и почти лишилась возможности отстаивать свои права на свободу. Съ невѣроятной быстротой критическая и публицистическая мысль сплотились въ очень влiятельную общественную силу. Добролюбовъ, Чернышевскій и ихъ сотрудники создали въ нѣсколько лѣтъ эту силу и сразу повысили въ читателѣ требованія ко всякой печатной страницѣ, которая попадалась ему въ руки: она должна была такъ или иначе служить нуждамъ минуты. При такой расцѣнкѣ печатнаго слова все, что имѣло либо слишкомъ индивидуальный смыслъ, либо смыслъ слишкомъ общій, должно было выпасть изъ поля зрѣнія читающаго. Личныя переживанія, которыя въ словесномъ искусствѣ играютъ такую огромную роль, рѣзко

какъ и обобщенія, стирающія слѣды времени и мѣста, могли казаться чѣмъ-то ненужнымъ „къ дѣлу", чѣмъ-то недостаточно интереснымъ для данной минуты.

Отношеніе подраставшаго радикальнаго поколѣнія шестидесятыхъ годовъ къ художникамъ недавняго прошлаго неоднократно подвергалось строгому осужденію. Но тѣ, кто обвинялъ молодыхъ людей въ пренебреженіи къ старому искусству, въ непониманіи его, въ самонадѣянномъ, огульномъ его отрицаніи — не учли одного чувства, которое именно въ молодыхъ людяхъ того времени было очень сильно. Это было совсѣмъ особое чувство, которое очень рѣдко приходится людямъ испытывать, и счастливы тѣ, кто могъ испытать его въ той мѣрѣ, въ какой испытала его радикальная молодежь конца пятидесятыхъ годовъ. Для нея единый и нераздѣльный процессъ жизни какъ-то сразу раздѣлился на двѣ части: на прошлое, которое вдругъ оборвалось и окончилось, и на будущее, которое наступитъ завтра и представитъ собой полную противоположность тому, что было вчера. Многія, если не всѣ крайности и странности въ сужденіяхъ молодыхъ людей того времени объясняются этимъ живымъ, своеобразнымъ чувствомъ человѣка, поставленнаго на рубежѣ двухъ эпохъ, изъ которыхъ послѣдующая должна служить не продолженіемъ предыдущей, а быть ея полнымъ отрицаніемъ.

Признаніе возможности такой исторической аномаліи имѣло рѣшающее вліяніе и на оцѣнку произведеній изящной словесности. И литература, какъ одно изъ проявленій жизни, обязана была, по мнѣнію радикальнаго читателя, взять сразу новый курсъ и сразу перемѣнить свое направленіе.

Вожди, какъ Добролюбовъ и Чернышевскій, при силѣ большого ума и при широтѣ его кругозора, были, конечно, гораздо сдержаннѣе своихъ учениковъ и не позволяли себѣ такъ рѣшительно разсѣкать единый историческій процессъ на части. Но рядовой читатель, относясь враждебно къ про-

ннымъ порядкамъ вообще, не имѣлъ основанія щадить и той изящной словесности, которая родилась при этомъ порядкѣ и даже, при своемъ протестѣ противъ него, все-таки была до извѣстной степени его дѣтищемъ.

Но пусть молодые радикалы были несправедливы въ своемъ судѣ надъ литературой недавняго прошлаго, — въ данномъ случаѣ характеренъ не этотъ судъ, который въ концѣ концовъ не нанесъ и не могъ нанести литературѣ никакого вреда — характерно то, что молодые люди, дѣйствительно, даже при желаніи, не могли найти въ памятникахъ недавней словесности той пищи для ума и сердца, въ которой нуждались.

Конечно, во всѣ времена и независимо ни отъ какихъ историческихъ условій, наслажденіе любымъ художественнымъ произведеніемъ должно быть признано насущной духовной пищей, — и въ этомъ смыслѣ радикальное поколѣніе конца пятидесятыхъ годовъ, несомнѣнно, само себя обсчитывало. Но оно *не могло* не обсчитать себя, такъ какъ человѣку нерѣдко, чтобы не сказать въ большинствѣ случаевъ, бываетъ не въ силахъ строго придерживаться духовной гигіены, правила которой ему становятся ясны лишь послѣ того, какъ онъ ихъ нарушилъ. И молодое радикальное поколѣніе той эпохи не имѣло ни времени, ни желанія заниматься своимъ эстетическимъ образованіемъ, а изящная словесность недавнихъ годовъ ничего, кромѣ эстетическаго наслажденія, дать не могла.

## II.

Съ наступленіемъ новой эры интересъ къ литературному прошлому на первыхъ порахъ все-таки повысился. Стали выходить новыя изданія русскихъ писателей XVIII и XIX вѣка, и прежде всего вышло первое болѣе или менѣе полное и научное изданіе сочиненій Пушкина, подъ редакціей Анненкова. Было напечатано много „запрещенныхъ“ страницъ,

преимущественно стихотвореній. Накоплялся въ большомъ количествѣ матеріалъ біографическій и библіографическій. Наука исторіи литературы древней и новой становилась впервые твердо на ноги, и эта новая наука несомнѣнно находила въ обществѣ откликъ. Но иное дѣло — интересоваться литературой при случаѣ, иное дѣло — кормиться ею.

Литература XVIII вѣка, за исключеніемъ нѣкоторыхъ запретныхъ памятниковъ, какъ напр. книга Радищева, статьи Щербатова, драма „Вадимъ“ и друг., отошла теперь далеко отъ жизни. Что могли дать эти осторожныя, недорисованныя, съ большой ретушью, картины столь непривлекательной по своему общественному смыслу старины, теперь уже окончательно осужденной? Литература XVIII вѣка могла дать лишь нѣсколько цитатъ и ссылокъ, которыми можно было щегольнуть при случаѣ, когда хотѣлось уколоть какого-нибудь „ретограда“ или похвастаться давностью той или другой восторжествовавшей гуманной идеи.

Сентиментализмъ во всѣхъ его видахъ былъ молодому поколѣнію также совершенно чуждъ. Врядъ ли молодые люди передового образа мыслей, люди, большинство которыхъ прошло въ дѣтствѣ и въ юности школу жизни, совсѣмъ не располагающую къ сентиментальнымъ настроеніямъ, врядъ ли они могли даже понять этотъ порядокъ настроеній, въ которыхъ, при всей ихъ пассивности, было иногда столько гуманнаго чувства. Цѣлая полоса старой литературы укрылась отъ взоровъ молодыхъ людей, которымъ мечтательность, томленіе, религіозное затишье души, всякая пассивность и колебаніе въ рѣшеніи вопросовъ жизни и духа — казались смѣшными пережитками или просто грѣхомъ передъ собой и ближними. Все то литературное движеніе, которое связано съ именемъ Жуковскаго, для молодыхъ людей новой формаціи не существовало; они съ нимъ своихъ счетовъ и не сводили; иногда потѣшивались и острили, а чаще всего не замѣчали.

Съ Пушкинымъ, Грибоѣдовымъ, Лермонтовымъ и Гого-

лемъ молодымъ людямъ, конечно, пришлось считаться, тѣмъ болѣе, что съ творчествомъ этихъ писателей ихъ съ дѣтскихъ лѣтъ знакомила семья и школа. Къ Пушкину молодежь относилась съ почтеніемъ, вспоминая, конечно, прежде всего тѣ эпизоды изъ жизни поэта, когда онъ являлся въ рядахъ протестующихъ, и запоминая тѣ изъ его вольныхъ стихотвореній, которыя въ рукописяхъ ходили по рукамъ. Въ цѣломъ и общемъ поэзія Пушкина пришлась молодымъ людямъ, однако, мало по сердцу. Она почти во всѣхъ своихъ обнаруженіяхъ носила слишкомъ личный, индивидуальный характеръ и отражала душевную жизнь человѣка чуждаго склада ума, старыхъ убѣжденій и былыхъ житейскихъ принциповъ. Какъ объективная картина русской жизни недавняго прошлаго, эта поэзія давала очень мало. Она уносила читателя въ міръ сказки, преданія, свободнаго вымысла, историческаго разсказа, а много ли было такихъ молодыхъ людей, которые желали быть унесенными въ эти міры видѣній и воспоминаній? Ко всякимъ видѣніямъ радикальная молодежь относилась подозрительно, такъ какъ думала, что дѣйствительность потому такъ непривлекательна и оскорбительна, что люди, которые могли бы надъ ней поработать, предпочитали тонуть въ химерахъ, вмѣсто того, чтобы дѣлать дѣло. Прошло нѣсколько лѣтъ — и Пушкину стали громко выговаривать за то, что онъ никакого „дѣла" не дѣлалъ. Но пока его оставляли въ покоѣ, не досаждая ему претензіями, но зато и не увлекаясь имъ.

Грибоѣдова любили, т.-е. любили не Грибоѣдова, котораго не знали, а любили Чацкаго. Чацкій всегда былъ любимцемъ молодежи. Мечтатель, которому казалось, что онъ стоитъ на порогѣ большого дѣла, пылкій юноша, потерявшій способность различать между словомъ и дѣломъ и потому съ легкимъ сердцемъ разносившій все, что достойно разноса; увлеченный своимъ собственнымъ краснорѣчіемъ, смѣлый обличитель долженъ былъ нравиться молодымъ людямъ, которые, сталкиваясь съ людьми старшаго возраста

готовы были наброситься на нихъ, обвиняя ихъ во всей общественной неурядицѣ. За колкую и смѣлую рѣчь Чацкому можно было простить и его любовную интригу, и лирическій безпорядокъ въ наскокахъ. Изъ всѣхъ типовъ стараго времени онъ одинъ имѣлъ нѣкоторыя права на симпатіи передовой молодежи.

Казалось бы, что такія же права могъ имѣть и излюбленный герой Лермонтова. Въ немъ также было много огня и боевого пыла, онъ также краснорѣчиво и красиво выступалъ противъ всякихъ утѣснителей и деспотовъ. Молодежь конца пятидесятыхъ годовъ любила нѣкоторыя стихотворенія Лермонтова, и ими иногда украшалась та или иная публицистическая и критическая статья. И въ судьбѣ Лермонтова, и въ задорѣ его чувствъ было нѣчто, что могло нравиться. Но ни міросозерцаніе поэта, недоговоренное, противорѣчивое и шаткое во всѣхъ основныхъ вопросахъ, ни умственный и душевный складъ любимаго героя—меланхолика, пессимиста, разочарованнаго скептика безъ всякихъ общественныхъ симпатій не могли произвести на подрастающее поколѣніе благопріятнаго впечатлѣнія. Молодые люди бывали сердиты, но не разочарованы, они любили жизнь и ждали отъ нея многаго, но „шутить" съ ней не собирались; они хотѣли быть альтруистами, и демоническій эгоизмъ не говорилъ ихъ сердцу. Наконецъ, они были демократами, если не всегда по рожденію, то по симпатіямъ, и аристократизмъ духа, не находившій себѣ общественнаго примѣненія, ихъ отталкивалъ. Тотъ, кто въ Лермонтовѣ не хотѣлъ или не умѣлъ цѣнить художника и искателя нравственной истины въ самой общей формѣ, могъ воспользоваться при случаѣ нѣкоторыми изъ его задорныхъ стихотвореній, но найти въ немъ любимаго собесѣдника не могъ.

Сочиненія Гоголя были, конечно, настольной книгой, и молодое поколѣніе, вопреки желанію самого автора, истолковывало эти бытовыя картины, какъ вполнѣ сознательный протестъ сатирика противъ общественныхъ порядковъ его

времени. Въ такомъ истолкованіи стремилась укрѣпить читателя и критика передовыхъ журналовъ, которая самого Гоголя убѣждала въ томъ, что онъ ошибся въ оцѣнкѣ своего творчества и что въ послѣдніе годы своей жизни, когда онъ обратился въ кающагося насмѣшника, въ православнаго пророка и наставника заблудшихся душъ,—онъ только разрушалъ то великое и правое дѣло, надъ которымъ работалъ. Убѣдить молодое поколѣніе въ томъ, что Гоголь ошибся въ оцѣнкѣ себя самого, какъ художника—было не трудно, такъ какъ молодые люди заранѣе были враждебно настроены противъ всякой попытки самовоспитанія въ религіозно-нравственномъ или консервативно-патріотическомъ духѣ. Они легко повѣрили, что жизнь и исторію творчества Гоголя должно раздѣлить на двѣ неравныя части: жизнь художника въ обладаніи всѣхъ своихъ духовныхъ силъ и жизнь психически больного человѣка, утратившаго самый цѣнный даръ духа. Твореніями Гоголя-художника молодое поколѣніе зачитывалось, а о Гоголѣ-проповѣдникѣ не вспоминало. Но и Гоголь-художникъ старѣлъ очень быстро. Не старѣла, конечно, художественная форма его твореній. Но общественное содержаніе сатиры Гоголя къ началу шестидесятыхъ годовъ должно было обратиться въ азбучный катехизисъ гражданскаго воспитанія. На всѣ самые животрепещущіе вопросы современности искать у Гоголя отвѣта или даже намека было безполезно. Общественно-политическаго воспитанія личности въ болѣе сложномъ смыслѣ Гоголь не касался, предпочитая держаться въ сферѣ самыхъ элементарныхъ нравственныхъ вопросовъ. Положительныхъ типовъ, т.-е. характеристики людей, молодыхъ или старыхъ, но такихъ, которые способны въ какомъ-либо направленіи двинуть застоявшуюся жизнь, творчество Гоголя не дало. Оно рисовало безсмертные по своей пластикѣ образы представителей застоявшейся жизни, жизни самой косной. Наконецъ, жизнь простонародья, жизнь, согласная съ національностью, а не разукрашенная мечтой, была [illegible]

Гоголя набросана лишь легкими штрихами, какъ то вскользь, и ничего не могла сказать людямъ, въ глазахъ которыхъ служеніе народу становилось самымъ святымъ дѣломъ жизни.

Итакъ, весь „золотой" вѣкъ русской литературы, вѣкъ Жуковскаго, Пушкина, Грибоѣдова, Лермонтова и Гоголя, имѣлъ для молодого поколѣнія новой эры лишь историческую цѣнность. Выяснять ее молодые люди не торопились, а стоимость художественная ихъ мало интересовала. Старики-писатели были для молодого человѣка людьми чужими, съ которыми нельзя было сразу начать бесѣдовать по душѣ, и нужно было тщательно выбирать предметъ для разговора. Кромѣ того, старые художники всегда предпочитали говорить о себѣ, о своемъ личномъ внутреннемъ мірѣ и мало заботились о правдивой и безпристрастной обрисовкѣ окружающей ихъ жизни.

Помочь читателю ознакомиться съ нѣкоторыми наличными явленіями русской дѣйствительности художникъ стараго времени до извѣстной степени могъ, но молодой читатель требовалъ большаго. Онъ требовалъ, чтобы писатель привлекъ къ художественной обработкѣ совсѣмъ новый матеріалъ изъ жизни тѣхъ слоевъ и классовъ русскаго общества, мимо которыхъ писатель старый проходилъ съ явнымъ равнодушіемъ. Наконецъ, читатель желалъ, когда же художникъ рѣшится хоть нѣсколько забыть о себѣ и сосредоточить свое вниманіе не на личныхъ переживаніяхъ, а на самихъ явленіяхъ, которыя къ такимъ переживаніямъ подали поводъ...

## III.

Та группа писателей, которые во второй половинѣ сороковыхъ годовъ выступили со своими первыми произведеніями и въ извѣстномъ смыслѣ продолжали дѣло Гоголя, была молодому поколѣнію болѣе близка по духу и могла

его требованіямъ отвѣтить въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ писатели-классики. Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Дружининъ, Достоевскій имѣли за собой къ концу пятидесятыхъ годовъ уже достаточно богатое литературное прошлое. Оно могло бы быть еще болѣе богато, если бы не несчастная эпоха 1848—1855 годовъ, когда литература во всѣхъ ея видахъ подверглась такому жестокому гоненію со стороны правительственной власти. Несмотря, однако, на этотъ гнетъ, писатель, которому пришлось работать наканунѣ эпохи реформъ, успѣлъ значительно сблизить искусство съ жизнью и до извѣстной степени пойти навстрѣчу прогрессивно мыслящему читателю. Художникъ сталъ, прежде всего, значительно болѣе демократиченъ по своимъ тенденціямъ. Въ этомъ демократизмѣ была своя доза эстетическаго, художническаго исканія; писатель расширялъ поле своего наблюденія и попутно заинтересовалъ читателя въ пользу многихъ слоевъ русскаго общества, вплоть до самыхъ низшихъ. Изнанка русской жизни мало-по-малу стала проявляться. Купечество, именитое и мелкое, чиновничество всѣхъ ранговъ, мѣщанство, крестьянство и нищая братія во всѣхъ ея видахъ выступали стройнымъ рядомъ въ романахъ, повѣстяхъ, драмахъ и даже въ рифмованныхъ поэмахъ. Совершенно новые люди — простые и невзрачные — заступили мѣсто старыхъ героевъ, болѣе или менѣе свѣтскихъ, обезпеченныхъ и интеллигентныхъ. Выводя такихъ людей на сцену, писатель долженъ былъ волей-неволей отступать самъ на задній планъ и не портить общаго, цѣльнаго художественнаго впечатлѣнія вторженіемъ своей личности въ ходъ дѣйствія. Рисунокъ получался все болѣе и болѣе правдивымъ. Конечно, уберечься вполнѣ отъ искаженія житейской правды художнику было невозможно, такъ какъ въ обрисовкѣ быта тѣхъ или другихъ слоевъ общества онъ располагалъ малыми знаніями. Знанія пришлось иногда замѣнять [illegible], и вотъ почему въ картинахъ, напр., изъ крестьянской жизни — которая съ конца сороковыхъ годовъ становилась модной литера-

турной темой примѣшивалось такъ много идеализма, иногда слащавости.

Расширяя свой кругозоръ наблюдателя, писатель не отказывался отъ мысли подѣлиться и своими общественными взглядами, которые, несмотря на непогоду, въ немъ крѣпли и выяснялись. Эти взгляды онъ сталъ довѣрять въ своихъ произведеніяхъ тому или иному лицу, которое являлось, такимъ образомъ, какъ бы его замѣстителемъ. Въ литературѣ стали появляться все чаще и чаще такъ называемые „положительные" типы, мужскіе и женскіе, иногда срисованные съ живыхъ людей, иногда какъ бы предвѣщавшіе ихъ появленіе. Въ литературѣ Пушкинскаго и Гоголевскаго періода такіе типы не появлялись, если не считать тѣхъ благомыслящихъ и шаблонно-нравственныхъ автоматовъ и манекеновъ, которыми писатели второго и третьяго ранга наводняли романы и повѣсти въ назиданіе сѣраго читателя. Насколько трудно было писателю дореформеннаго времени создавать положительные типы, которые освѣщали бы дорогу жизни, показываетъ отсутствіе такихъ типовъ у Пушкина и Лермонтова, а также невѣроятныя усилія, съ какими Грибоѣдову удалось набросать—и то неясный типъ Чацкаго, и тѣ душевныя, безплодныя мученія, чрезъ которыя прошла душа Гоголя, когда, наконецъ, художнику стало ясно, что его картина русской жизни не полна и не правдива, пока въ ней не представленъ „честный" человѣкъ съ широкими и стойкими общественными идеалами. Съ конца сороковыхъ годовъ такіе „честные" люди, люди „съ идеалами", стали въ литературѣ возвышать свой голосъ.

Писатель постарался прежде всего въ разныхъ слояхъ общества, и преимущественно въ слояхъ наиболѣе забитыхъ и темныхъ, разыскать такихъ лицъ, которыми „идеалистъ" и вѣрующій въ свой народъ гражданинъ могъ бы остаться доволенъ. Розыски дали результаты достаточно благопріятные, если вѣрить „Запискамъ охотника" Тургенева, стихотвореніямъ Некрасова, повѣстямъ и романамъ Григоровича,

драмамъ Островскаго изъ народнаго быта, разсказамъ Достоевскаго и цѣлой массѣ разныхъ бытовыхъ очерковъ, въ которыхъ писатель стремился расположить читателя въ пользу обездоленныхъ и угнетенныхъ.

Не довольствуясь указаніемъ на эту безымянную массу лицъ, на которыхъ будущій вождь можетъ опереться въ своей общественной реформаторской работѣ, писатель сталъ выискивать въ окружающей его жизни лицъ интеллигентныхъ и въ извѣстномъ смыслѣ сильныхъ, которыя бы со временемъ могли взять на себя отвѣтственную роль руководителей сначала общественнаго мнѣнія, а затѣмъ и общественнаго движенія. Портреты такихъ передовыхъ людей на первыхъ порахъ должны были быть, конечно, типами очень не яркими, противорѣчивыми въ своей психикѣ и съ планами весьма скромными. Они могли быть выведены какъ люди вполнѣ современные, люди текущаго дня, или какъ люди самаго близкаго прошлаго, которымъ не удалось осуществить своего идеала въ жизни, но которые умерли, завѣщая его ближайшимъ наслѣдникамъ. Такими положительными типами и были герои романа „Кто виноватъ“, „Обыкновенной исторіи“, многіе изъ любимцевъ Тургенева вплоть до Рудина, герой „Полиньки Саксъ“ и другіе, теперь уже совсѣмъ забытые первые голуби, выпущенные изъ ковчега русской литературы въ дни, когда нельзя было еще и гадать о близкомъ успокоеніи бушевавшей стихіи.

Съ наступленіемъ новой эры требованія, которыя читатель предъявлялъ литературѣ, повысились и, конечно, памятники словесности, родившіеся въ 1848—1855 гг., не могли сохранить за собой того значенія, какое они имѣли раньше. Они должны были состариться очень быстро. Тотъ бытовой матеріалъ, который они давали, былъ очень скоро замѣненъ новымъ, болѣе обильнымъ и, кромѣ того, собраннымъ при болѣе свободномъ выборѣ. Явилась возможность сразу ввести такой матеріалъ, который въ дореформенную эпоху [illegible] въ печать не могъ; число писателей, посвятившихъ себя

разработкѣ этого бытового матеріала, быстро увеличивалось. Если среди новыхъ писателей не нашлось лицъ, равныхъ по таланту писателямъ, уже составившимъ себѣ имя—то вѣдь читатель въ данномъ случаѣ гнался не столько за художественностью исполненія, сколько за новизной и значительностью темъ. Онъ начиналъ цѣнить голую правду выше благожелательнаго вымысла; сентиментальное благодушіе и идеализація, въ особенности въ картинахъ изъ крестьянской жизни, становились ему все болѣе и болѣе подозрительны. Не предугадывая всего того мрака, съ которымъ онъ столкнется, когда поближе ознакомится съ жизнью народной массы, онъ все-таки сталъ недовѣрчиво относиться къ писателямъ, которые по разнымъ соображеніямъ добровольно или безсознательно, безъ всякаго умысла, старались скрыть или смягчить тѣневую сторону народной жизни.

Увлечься „положительными" типами недавняго образца молодые люди — свидѣтели новаго историческаго момента— также не могли. Они переросли этихъ героевъ, которыми увлекались въ ранней юности, и изъ поклонниковъ превратились въ судей. Много непріятныхъ для себя чертъ нашли они въ этихъ герояхъ; одни раздражали ихъ остатками старой душевной раздвоенности, хандры, разочарованности, другіе - слабой волей и пристрастіемъ къ словамъ; иные— узостью своихъ общественныхъ идеаловъ, слишкомъ большой практичностью и сухостью; иные скромностью своихъ требованій. Не желая воздавать этимъ героямъ должнаго — что имъ обязанъ воздать любой историкъ—молодые люди стали скучать въ ихъ обществѣ и ждать, и притомъ нетерпѣливо, когда же на смѣну имъ придутъ иные герои, выразители самоновѣйшихъ мыслей, настроеній и чувствъ.

Наступали новыя времена; можно было надѣяться, что молодые художники быстро оперятся и что писатели, уже заявившіе о себѣ, болѣе приноровятся къ требованіямъ обновляющейся жизни.

## IV.

Критика передовыхъ журналовъ въ эпоху реформъ жаловалась неоднократно на литературу. Въ особенности Добролюбовъ былъ суровъ въ оцѣнкѣ ея общественнаго значенія и ея „заслугъ“ передъ обществомъ. Врядъ ли однако суровый критикъ былъ правъ. Когда онъ говорилъ о старыхъ временахъ, для писателя столь тяжелыхъ, то простая историческая справка должна была смягчить строгость его отзыва. Когда же онъ говорилъ о своемъ времени, то его суровость можетъ быть объяснена лишь его темпераментомъ—нетерпѣливымъ и нервнымъ.

Въ основномъ своемъ положеніи Добролюбовъ былъ несомнѣнно близокъ къ истинѣ: та умственная и душевная тревога, которой общество было охвачено со средины пятидесятыхъ годовъ не нашла себѣ *полнаго, должнаго* по силѣ отзвука въ изящной словесности. Читатель въ мысляхъ и желаніяхъ всегда опережалъ писателя и ему приходилось думать надъ многими существенными вопросами, въ рѣшеніи которыхъ изящная словесность не могла ему оказать никакой помощи. Нетерпѣливый, онъ могъ сердиться на беллетриста, но онъ забывалъ, что не всѣ вопросы укладываются въ форму беллетристическихъ произведеній.

Если взять въ цѣломъ тотъ приростъ памятниковъ словесности, который получился какъ итогъ работы старыхъ и молодыхъ писателей за періодъ времени съ 1855 по 1861 годъ, то урожай надо признать очень хорошимъ. Разнообразіе темъ было большое, таланты, уже сложившіеся, значительно развились и окрѣпли; появились новые таланты и среди нихъ такая сила, какъ Левъ Толстой.

Новыя времена несомнѣнно сказались на объемѣ, [illegible]ромъ настроенія литературы, на разнообразіи ея темъ, и уменьшеніи количества избитыхъ трафаретныхъ типовъ и положеній, выработанныхъ старой литературой. Можетъ [illegible]

татель не могъ остаться равнодушенъ къ такому оживленію словесности, но естественно, что онъ въ ней искалъ прежде всего отвѣта на вопросы минуты и отыскивалъ въ рядахъ писателей такихъ лицъ, которыя и по образу мыслей, и по возрасту стояли къ нему ближе. Такихъ лицъ найти было, однако, очень трудно. Наиболѣе сильные по таланту и опытные писатели принадлежали поколѣнію прошлому, были люди уже не молодые и не могли читать въ сердцахъ молодыхъ людей такъ свободно и охотно, какъ это могли бы сдѣлать писатели съ молодымъ поколѣніемъ одного возраста. А такихъ совсѣмъ молодыхъ писателей, созданныхъ текущимъ историческимъ моментомъ, было очень мало и, какъ таланты, они во многомъ уступали писателямъ поколѣнія старшаго.

Такимъ образомъ, въ первые же годы новой жизни молодые люди, считавшіе себя солью земли, должны были помириться съ тѣмъ, что выразителями ихъ думъ и чувствъ являлись старшіе, не всегда и не во всемъ съ ними согласные. За передовыми критиками и публицистами молодежь шла съ полнымъ довѣріемъ; къ писателю-беллетристу она все-таки присматривалась, не то чтобы съ опаской, а съ нѣкоторымъ выжиданіемъ, насколько онъ, старикъ или уже зрѣлый человѣкъ, сумѣетъ подойти къ молодежи и понять ее.

Что молодой читатель требовалъ—гласно или тайно—чтобы на немъ было сосредоточено вниманіе писателя, чтобы писатель интересовался именно тѣмъ, что онъ, молодой человѣкъ, принималъ ближе всего къ сердцу—это вполнѣ понятно, если учесть всѣ необычныя особенности переживаемаго времени. Но и сложившійся писатель былъ вполнѣ правъ, если онъ съ такимъ желаніемъ молодежи мало считался. Онъ могъ на первыхъ порахъ и не догадываться о томъ, что въ молодыхъ умахъ и сердцахъ происходило; онъ могъ совершенно по своему учесть возраставшее общественное броженіе и, наконецъ, онъ самъ по себѣ былъ личность, которая имѣла полное право на самоопредѣленіе, на совер-

шенію свободное развитіе своего таланта. Писатель старшаго поколѣнія, Григоровичъ, Гончаровъ, Тургеневъ, Достоевскій, Островскій, Писемскій, Щедринъ, могъ взять у новаго времени все, что ему было нужно, но этотъ новый матеріалъ онъ могъ и освѣтить, и разработать по-своему, невсегда оттѣняя въ немъ тѣ стороны, которыми молодой человѣкъ радикальнаго направленія дорожилъ всего больше.

Смѣна направленій въ литературѣ—процессъ довольно длинный; пяти-шести лѣтъ было, конечно, недостаточно для того, чтобы перемѣна въ литературныхъ пріемахъ и вкусахъ стала замѣтна. Эта перемѣна обнаружилась ясно лишь въ теченіе шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ, когда „народничество", во всѣхъ его видахъ, стало господствующимъ литературнымъ теченіемъ и когда типы прогрессистовъ и радикаловъ всевозможныхъ оттѣнковъ стали наиболѣе популярными героями какъ на страницахъ литературы прогрессивной, такъ и на страницахъ тѣхъ произведеній словесности, которыя были написаны людьми консервативнаго лагеря.

Въ 1855—1861 годахъ общій характеръ словесныхъ памятниковъ былъ довольно пестрый. Уловить въ нихъ какую-нибудь опредѣленно господствующую тенденцію нельзя, старые пріемы письма и сюжеты перемѣшивались съ новыми, темы общечеловѣческія чередовались съ темами дня, и не всегда эти темы дня имѣли за собою преимущество талантливой обработки.

Перечислимъ тѣ романы, повѣсти и драмы (лирическія стихотворенія мы исключимъ), съ которыми любознательный и прилежный читатель могъ ознакомиться въ 1855—1861 годахъ. Мы увидимъ, какое содержательное и отборное чтеніе было ему предложено въ короткій срокъ.

Авдѣевъ—„Порядочный человѣкъ" 1855. „Подводный камень" 60.

Аксаковъ, С. — „Семейная хроника" 56. „Дѣтскіе годы Багрова внука" 57.

Ахшарумовъ „Игрокъ" 58, „Чужое имя" 61.

Боборыкинъ „Однодворецъ" 60, „Ребенокъ" 61.

Вовчекъ, Марко—„Украинскіе разсказы" 59, „Разсказы изъ русскаго народнаго быта" 60.

Гоголь—„Мертвыя души" 2-й томъ, 55.

Гончаровъ „Фрегатъ Паллада" 55, „Обломовъ" 59, отрывки изъ „Обрыва": „Изъ жизни Райскаго" 60, „Бабушка" 61.

Горбуновъ—„Разсказы", съ 55 года.

Григоровичъ—„Зимній вечеръ" 55, „Свистулькинъ" 55, „Школа гостепріимства" 55, „Переселенцы" 55, „Пахарь" 56, „Очерки современныхъ нравовъ" 57, „Скучные люди" 57, „Кошка и мышка" 57, „Столичные родственники" 57, „Въ ожиданіи парома" 57, „Бархатникъ" 60.

Даль—„Картины изъ русскаго быта" съ 56 г.

Достоевскій „Маленькій герой" 57, „Дядюшкинъ сонъ" 59, „Село Степанчиково" 59, „Униженные и оскорбленные" 61, „Записки изъ Мертваго дома" 61.

Дружининъ „Деревенскіе разсказы" 55, „Легенда о кислыхъ водахъ" 55, „Русскій черкесъ" 55, „Пашенька" 55, „Обрученные" 57.

Жадовская—„Повѣсти" 58, „Въ сторонѣ отъ большого свѣта" 58, „Отсталые" 61, „Женская исторія" 61

Искандеръ-Герценъ—„Былое и Думы".

Кохановская „Гайка" 56, „Гайдна" 58, „Послѣ обѣда въ гостяхъ" 58, „Маленькая исторія" 58, „Изъ провинціальной галлереи портретовъ" 59, „Старина" 61.

Крестовскій псевдонимъ (Хвощинская)—„Послѣднее дѣйствіе комедіи" 56, „Изъ связки писемъ, брошенныхъ въ огонь" 57, „Старое горе" 58, „Въ ожиданіи лучшаго" 60, „Пансіонерка" 61.

Левитовъ „Сладкое житье" 61, „Ярмарочныя сцены" 61

Львовъ—„Свѣтъ не безъ добрыхъ людей" 57.

Максимовъ „Нижегородская ярмарка" 55.

Щедринъ — „Губернскіе очерки" съ 56 г., „Развеселое житье" 59, „Скрежетъ зубовный" 60, „Наши глуповскія дѣла" 61.

Изъ этого перечня литературныхъ памятниковъ видно, насколько читатель 1855—1861 годовъ могъ во всѣхъ смыслахъ остаться доволенъ своимъ чтеніемъ. Его любознательность могла быть удовлетворена въ той же мѣрѣ, что и его эстетическое чувство.

Но молодой читатель, прогрессистъ и радикалъ по убѣжденіямъ, не могъ не чувствовать, что чего то особенно ему дорогого и нужнаго недостаетъ во всѣхъ этихъ разсказахъ.

Прежде всего ему недоставало товарищей среди самихъ писателей. Нѣкоторые, правда, были совсѣмъ молоды, въ полномъ смыслѣ сверстниками и единомышленниками молодого читателя, но ихъ повѣсти, при всѣхъ достоинствахъ, не имѣли широкаго размаха, какъ, напр., сочиненія Горбунова, Левитова, Максимова, Михайлова и Н. Успенскаго; или, какъ сочиненія Л. Толстого, не касались самыхъ существенныхъ, молодому сердцу тогда наиболѣе близкихъ общественныхъ вопросовъ. Одинъ Помяловскій составлялъ исключеніе.

Ни новой программы жизни, ни психологическаго анализа молодой души текущая литература 1855—1861 годовъ не давала. Но зато она давала очень обильныя свѣдѣнія о томъ, какой жизнью жила и живетъ страна, общественному благу которой молодежь рѣшила посвятить свои силы. Эти свѣдѣнія, однако, не отражали всей правды жизни.

Писатели, которые въ тѣ годы [1855—1861] избирали дѣйствующихъ лицъ своихъ повѣстей и романовъ изъ круга дворянъ-помѣщиковъ — какъ, напр., Толстой, Тургеневъ, Григоровичъ, Потѣхинъ, Дружининъ, Гончаровъ, Кохановская—сдѣлали все отъ нихъ зависящее, чтобы не обострять назрѣвшаго вопроса о рабахъ и рабовладѣльцахъ. Мрачная

сторона помѣщичьей жизни крѣпостного времени была представлена очень слабо; она далеко не покрывала всей страшной дѣйствительности. Мягкія стороны были оттѣнены съ любовью, но безъ преувеличенія и безъ тенденціозной идеализаціи. Хотѣлъ ли писатель—самъ дворянинъ по рожденію—смягчить насколько возможно приговоръ жизни надъ средой, въ которой онъ выросъ, добровольно ли остерегался онъ сказать „лишнее" изъ боязни разжечь страсти или былъ вынужденъ къ тому цензурными условіями—но только онъ скорѣе успокаивалъ читателя, чѣмъ горячилъ его.

Неудовлетвореннымъ могъ остаться молодой читатель и тогда, когда ему попадались въ руки тѣ произведенія словесности, въ которыхъ даны были бытовыя картины изъ жизни крѣпостного простонародья. Дореформенная серьезная книга вопросъ о крестьянской жизни обходила, разныя „записки" о положеніи крестьянъ, написанныя въ 1855—1861 г.г., въ печать попасть не могли, правительственная работа надъ вопросомъ держалась въ секретѣ, и отъ художника и беллетриста ожидали въ данномъ случаѣ первой помощи. Отъ него ждали и правдивыхъ очерковъ внѣшняго быта крестьянской среды, и характеристики народной психологіи и народнаго міросозерцанія, ждали отъ него расцѣнки всѣхъ качествъ и способностей народнаго ума и души,—качествъ отрицательныхъ и положительныхъ. Въ 1855—1861 годахъ эта работа надъ новымъ матеріаломъ только-что начиналась и, конечно, не могла удовлетворить тѣхъ, кто въ мечтахъ уже предвосхищалъ всѣ ея результаты. Передовой читатель нетерпѣливо ждалъ отвѣта на самый для него существенный вопросъ: какими положительными духовными силами народъ располагаетъ и насколько опасны отрицательныя стороны его ума и характера. На этотъ вопросъ литература тѣхъ годовъ отвѣчала неопредѣленно и уклончиво. Читатель не могъ успокоиться на благодушно сентиментальной оцѣнкѣ народной души, онъ требовалъ,

что эта душа не могла не поддаться влiянiю той обстановки, которая ее окружала, и онъ могъ думать, что теперь, когда за народомъ свобода обезпечена, можно и болѣе откровенно говорить объ его недостаткахъ. Писатель держался, можетъ быть, того же мнѣнiя, но ему было трудно сразу совладать съ новымъ матерiаломъ, и онъ очень осторожно сталъ подходить къ необычной темѣ, предпочитая въ картинахъ изъ народнаго быта сохранять старый, относительно мягкiй колоритъ. Въ этомъ духѣ были выдержаны почти всѣ народные разсказы, появлявшiеся въ 1855–1861 годахъ и написанные людьми самыхъ разныхъ убѣжденiй и темпераментовъ. Тургеневъ, Григоровичъ, Писемскiй, Даль, Горбуновъ, Максимовъ, Марко-Вовчекъ, Левъ Толстой, Кохановская въ разныхъ варiацiяхъ говорили одно и то же: пора судьбу народа принять близко къ сердцу; пора притти ему на помощь, пора помочь ему развить тѣ добрыя качества души и ума, которыя онъ сберегъ, и надо простить ему тѣ пороки которые были ему навязаны самою жизнью. Читатель, опережавшiй свое время, врядъ ли находилъ для себя что-нибудь новое въ такихъ истинахъ. Даже тогда, когда Николай Успенскiй, нарушая границу, сгустилъ мрачныя краски въ своихъ очеркахъ, передовой читатель, похваливъ его за такую смѣлость, врядъ ли могъ чему-нибудь у него научиться. Прогрессистъ и радикалъ хотѣлъ въ народѣ найти себѣ вѣрнаго союзника: хотѣлъ ознакомиться съ мiросозерцанiемъ народа, чтобы использовать народный образъ мыслей для своихъ цѣлей, онъ хотѣлъ увидать крѣпкаго силой и волей человѣка, на котораго онъ могъ бы опереться. Въ литературѣ 1855–1861 г.г. такой человѣкъ изъ народа ему не попадался, да и позднѣе, въ разгаръ народническаго движенiя, этого героя пришлось не разыскивать, а создавать.

Но если молодой читатель, какъ человѣкъ извѣстнаго образа мыслей, не былъ удовлетворенъ чтенiемъ, то кругъ его знанiй все-таки значительно расширялся, уже потому,

го количество повѣстей изъ народнаго быта возрастало очень быстро.

Расширялась освѣдомленность читателя и въ другихъ областяхъ жизни. Мало извѣстный раскольничій бытъ началъ выдавать свои тайны въ повѣстяхъ Щедрина, и въ печати впервые появилось имя Мельникова-Печерскаго. Огромное впечатлѣніе произвели солдатскіе разсказы Толстого. Совсѣмъ невѣдомый міръ открылся. Простой народъ явился передъ читателемъ въ роли смиреннаго защитника того отечества, гдѣ ему жилось такъ трудно. Крестьянинъ на бастіонахъ Севастополя представлялъ собой достойную и естественную параллель къ крестьянину въ барской усадьбѣ.

Съ появленіемъ „Записокъ изъ Мертваго Дома" читатель въ первый разъ получалъ возможность заглянуть въ преступную душу простонародья. Онъ помнилъ Достоевскаго по его первымъ очеркамъ, въ которыхъ съ такой любовью говорилось объ обездоленныхъ жизнью; онъ зналъ, что авторъ самъ попалъ на каторгу за свое увлеченіе гуманными мечтами соціализма. И теперь, когда этотъ политическій „преступникъ", возвращенный на родину, сталъ разсказывать не столько о своихъ страданіяхъ, сколько о страданіяхъ народа, поддавшагося искушенію грѣха, читатель, безъ различія направленій, встрѣтилъ восторженно его мрачную книгу. Отсутствіе въ ней рѣзкаго протеста и религіозно-смиренный тонъ могли нѣкоторымъ и не нравиться, но всѣхъ должна была подкупить психологія народной души, въ которой, при всей ея грубости и преступности, оказывалось иногда столько хорошихъ инстинктовъ и [illegible] побужденій. Книга не осуждала человѣка, хотя говорила только объ осужденныхъ.

Такимъ образомъ, читатель 1855–1861 годовъ имѣлъ много случаевъ дать полную волю своему чувству любви, состраданія и печали, думая надъ тѣмъ положеніемъ, въ какомъ онъ засталъ свою родину. Иногда, впрочемъ, онъ

могъ и посмѣяться; но этотъ смѣхъ всегда грозилъ нагнать на раздумье. Картинами изъ купеческаго быта Островскій часто смѣшилъ зрителя. Если либерализмъ основной тенденціи его пьесъ и былъ весьма скроменъ, если въ своихъ общественныхъ взглядахъ драматургъ расходился съ тѣмъ толкованіемъ, какое радикальная критика давала его произведеніямъ, то, какъ обличитель „темнаго царства", онъ былъ очень популяренъ въ широкой публикѣ, а когда, какъ напр. въ „Грозѣ", онъ возвышался до изображенія трагическаго столкновенія живой страсти и мертваго коснаго уклада жизни, онъ производилъ огромное впечатлѣніе на зрителя, который могъ провѣрить остроту такого конфликта на иныхъ случаяхъ житейской практики, болѣе сложныхъ, чѣмъ семейная трагедія.

Много смѣялись въ тѣ годы и надъ „Губернскими очерками" Щедрина, которые продвинули автора сразу въ первые ряды литературныхъ знаменитостей. Книга была первымъ, необычайно счастливымъ опытомъ сочетанія художественныхъ этюдовъ съ публицистикой. Мишенью всѣхъ самыхъ острыхъ уколовъ была среда чиновничья, и Щедринъ являлся прямымъ продолжателемъ дѣла Гоголя. То многое, что Гоголь не смѣлъ или не хотѣлъ сказать, было теперь сказано съ той же правдивостью, въ тѣхъ же мѣткихъ выраженіяхъ, но съ значительно большей полнотой. „Очерки" имѣли оглушительный успѣхъ, и преимущественно въ средѣ молодежи, которая не могла не оцѣнить ихъ смѣлости—качества, которымъ сатира Гоголя не отличалась или которое, по дальности разстоянія, въ сатирѣ Гоголя уже становилось почти незамѣтнымъ. Не только мелкій чиновникъ, но и достаточно высокопоставленный былъ притянутъ къ суду въ качествѣ главнаго обвиняемаго. Онъ былъ и жалокъ, и смѣшонъ, но порой онъ бывалъ страшенъ; и тогда читатель могъ и не замѣтить, какъ быстро его вольный смѣхъ смѣнялся озабоченной саркастической или злорадной улыбкой.

Литературный урожай 1855—1861 годовъ былъ, какъ видимъ, очень хорошій. Наблюденій было сдѣлано много и свѣдѣнія даны были очень полныя, но развѣ эти свѣдѣнія — какъ бы они ни были значительны — составляли предметъ главнаго интереса для молодого читателя? Со старой жизнью молодой человѣкъ былъ знакомъ по личному опыту; если многія детали ея ускользнули отъ его вниманія, то общая картина крѣпостного строя и соціальной неурядицы во всѣхъ областяхъ и слояхъ русской жизни была ему ясна и безъ книгъ.

## V.

Молодой читатель хотѣлъ не столько знать то, что было и что есть, сколько догадаться о томъ, что будетъ. Для правильности такихъ догадокъ необходимо было отдать себѣ ясный отчетъ прежде всего въ наличности тѣхъ передовыхъ силъ, которыя могли бы оказать вліяніе на ходъ жизни. Исторія образованія этихъ силъ, т.-е., другими словами, исторія жизни интеллигентнаго класса въ Россіи, обзоръ развитія прогрессивныхъ идей и настроеній — вотъ что должно было привлекать къ себѣ прежде всего вниманіе читателя, который жилъ больше надеждами на будущее, чѣмъ воспоминаніями прошлаго и раздумьемъ о настоящемъ.

Литература 1855—1861 гг. отвѣчала и на этотъ запросъ. Писатели старшаго поколѣнія, которые сами были свидѣтелями роста прогрессивныхъ идей и настроеній въ дореформенной Россіи, взяли на себя трудъ литературной обработки этой сложной и запутанной, но вмѣстѣ съ тѣмъ и самой живой современной темы: они заставили пройти передъ читателемъ цѣлый рядъ образовъ, мужскихъ и женскихъ, въ которыхъ съ большей или меньшей полнотой были выражены общественныя симпатіи и антипатіи лишь интеллигентнаго круга, идущихъ не назади жизни, а впереди ея.

Женщинъ очень милыхъ и симпатичныхъ, совсѣмъ не

сильныхъ, но облагораживающихъ среду своей гуманностью, читатель могъ встрѣтить часто. Героическаго въ этихъ женскихъ типахъ было мало, но въ нихъ было очень много затаенной, нравственной силы, которая могла свершать своего рода героическіе подвиги, хотя бы и не показные. Романъ Достоевскаго „Униженные и оскорбленные" указалъ на одинъ изъ такихъ высокихъ женскихъ подвиговъ, свершенныхъ одной любовью, одной святой чистотой женскаго сердца... Въ этомъ романѣ въ которомъ авторъ впервые подходилъ къ столь имъ излюбленной впослѣдствіи темѣ о „сильномъ" человѣкѣ и его единоборствѣ съ „слабымъ" была въ символическихъ образахъ прославлена женская любовь и невинность женскаго сердца, торжествующія свою полную побѣду надъ мужскимъ эгоизмомъ и устанавливающая миръ въ царствѣ самой безпощадной нравственной дикости и разнузданности.

Передъ святостью смиренной любви можно было, конечно, преклониться, но въ тѣ годы не на ней одной строили свои надежды люди, желавшіе имѣть надежныхъ подругъ и товарищей въ трудной работѣ. Типъ женщины молодой, сильной, убѣжденной, съ болѣе или менѣе закаленной волей и твердымъ характеромъ, только-что сталъ обрисовываться въ жизни, и въ литературѣ пока не появлялся. Одна Елена пожертвовала собой ради дѣла, но это дѣло съ русской жизнью ни въ какой связи не стояло. На виду оставалась все-таки Лиза Калитина, которая при всемъ сознаніи несправедливостей соціальнаго строя, ее воспитавшаго, признавала единственнымъ способомъ борьбы съ этой неправдой личное нравственное самообузданіе.

## VI.

При характеристикѣ мужской половины интеллигентнаго круга, и преимущественно тѣхъ людей, которые опережали свою среду, писатель имѣлъ въ своемъ распоряженіи го-

раздо больше матеріала и знаній, чѣмъ при работѣ надъ портретомъ женскимъ, и на обрисовку общественнаго движенія, поскольку отдѣльныя лица являлись его предвѣстниками и выразителями, художникъ 1855—1861 гг. потратилъ много труда. Въ цѣломъ рядѣ повѣстей и романовъ, написанныхъ иногда съ большимъ мастерствомъ—предстала передъ читателемъ эта картина медленнаго нарастанія гражданскихъ чувствъ въ душѣ человѣка, воспитавшагося въ условіяхъ, совсѣмъ не благопріятныхъ для какихъ-либо общественныхъ стремленій.

Въ памяти читателя были еще свѣжи образы тѣхъ печальныхъ и разочарованныхъ героевъ, въ которыхъ въ сороковыхъ годахъ воплощалось глухое и неясное недовольство окружающей жизнью. Начиная съ Печорина, кончая Бельтовымъ, эти типы людей богатыхъ умомъ, съ порывами несомнѣнно стойкой воли, но безъ желанія и способности найти себѣ какое-нибудь дѣло въ жизни говорили о тѣхъ духовныхъ силахъ, которыя имѣлись налицо въ русскомъ обществѣ, но которыя не нашли себѣ никакого примѣненія.

О носителяхъ этихъ силъ можно было, конечно, только пожалѣть; учиться у нихъ было нечему. Но рядомъ съ людьми такого нецѣльнаго, надломленнаго склада ума и характера, людьми, игравшими отнюдь не первенствующую роль въ обществѣ, жили и дѣйствовали и другіе люди, хотя и теоретики, но все-таки люди со стойкими и опредѣленными взглядами и идеями, и съ несомнѣнной способностью критически относиться къ русской дѣйствительности. Образы этихъ людей уже достаточно подернулись туманомъ, и освѣжить ихъ въ памяти молодыхъ читателей было весьма желательно. Глубокой по смыслу и художественной по выполненію была та картина жизни интеллигентныхъ круговъ въ сороковыхъ годахъ, которую развернулъ Герценъ въ своихъ воспоминаніяхъ. „Былое и Думы“ были книгой запрещенной, но во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ она стала на

стольной книгой для всѣхъ, кто для родины желалъ лучшихъ дней. По своей художественной цѣнности книга не уступала любому роману, написанному первокласснымъ художникомъ, и съ этой стороны ея колоссальный успѣхъ былъ обезпеченъ. Книга была полна того воинственнаго пыла, той бодрости, присущей душѣ пожившаго воина, который послѣ долгихъ выжиданій и многихъ пораженій могъ, наконецъ, привѣтствовать зарю побѣды. Тѣни старыхъ бойцовъ за свободу — за свободу духовную и свободу политическую, — воскресали подъ перомъ одного изъ ихъ товарищей, уцѣлѣвшаго, чтобы продолжать ихъ дѣло и высказать во всеуслышаніе то, что эти люди должны были утаивать. „Былое" являлось живымъ и „Думы" получали въ жизни какъ будто свое подтвержденіе. Читатель могъ установить живую связь между собой и предшествующимъ поколѣніемъ и могъ почувствовать рядомъ съ собой товарища, одушевленнаго, казалось, тѣми же мыслями и чувствами, которыми жили и бились самые передовые молодые умы и сердца. Воспоминанія Герцена могли замѣнить подроставшему поколѣнію цѣлый курсъ отечественной исторіи.

Историческимъ документомъ той же отходящей въ прошлое эпохи теоретическаго идеализма была и повѣсть Тургенева „Рудинъ". Любопытство читателя было въ одинаковой степени подогрѣто какъ именемъ автора, такъ и самимъ героемъ повѣсти, про котораго ходили слухи, что онъ не кто иной, какъ одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ передовыхъ людей сороковыхъ годовъ, опередившій свое поколѣніе и прославившій на всю Европу имя русскаго радикала и революціонера. Если Тургеневъ, создавая типъ Рудина, дѣйствительно, имѣлъ въ виду М. А. Бакунина, то портретъ вышелъ непохожимъ. Типичное для Бакунина — радикализмъ мысли, стремительность характера и сила воли — въ Рудинѣ отсутствовали. Во всемъ блескѣ являлась лишь способность разсужденій и поэтическаго словеснаго облеченія мыслей. Повѣсть „Рудинъ" была сра-

ведливой и краснорѣчивой апологіей тѣхъ старыхъ годовъ, когда прогрессивнымъ и гуманнымъ людямъ всѣ пути живого дѣла были закрыты и открытымъ оставалось лишь поприще словеснаго проповѣдничества въ узкомъ или широкомъ кругу слушателей. Рудинъ заслуживалъ и любви, и уваженія, но молодое поколѣніе 1855—1861 годовъ отнеслось къ нему съ достаточной суровостью, принявъ его цѣликомъ за человѣка слова и забывая, что въ годы, когда онъ жилъ, слово съ дѣломъ совпадало.

Спокойно взвѣшивать историческую заслугу уходящихъ людей у молодежи не было времени; стараться понять ихъ и взять у нихъ то, что могло бы пригодиться для новой жизни — не было охоты; молодежь жила больше надеждами на свои силы, чѣмъ учетомъ уже совершонной работы.

Появленіе героя дня, хотя бы на страницахъ романа, ожидалось съ нетерпѣніемъ. Въ самой жизни онъ еще не проявился, но нѣкоторыя его черты уже обрисовались во мнѣніяхъ и настроеніяхъ, которыя стали въ молодыхъ кругахъ пользоваться признаніемъ и симпатіей. Создать цѣльный типъ героя въ новомъ духѣ изъ этихъ разсѣянныхъ чертъ и намековъ было очень трудно, и неудивительно, что сдѣланныя писателями попытки обобщенія такихъ новыхъ идей и тенденцій также не удовлетворяли молодого читателя.

Могъ ли онъ, напр., остаться довольнымъ той программой жизни, которую, въ назиданіе русскому помѣстному дворянству обломовскаго типа, проповѣдывалъ аккуратный и разсчетливый нѣмецъ Штольцъ? Программа была такая узкая, сухая, [illegible], столь далекая отъ идеализма [illegible], что [illegible] и на ней остановиться [illegible] сразу [illegible] параграфъ новаго [illegible], который требовалъ отъ личности готовности жертвовать собою ради идеи общей пользы и общаго блага.

Врядъ ли могъ имѣть успѣхъ среди молодежи и [illegible] Калиновичъ, который прежде чѣмъ начать [illegible] благо [illegible] законны [illegible]

матеріальныхъ силъ, желалъ запастись „тысячами душъ", чтобы начать въ скромныхъ предѣлахъ общественную работу. Такой осторожный работникъ былъ, конечно, правъ, не желая съ голыми руками идти навстрѣчу врагу, но житейская тактика, которой онъ придерживался, грозила ему самому большой опасностью: она могла вытравить изъ его души всякій идеализмъ раньше, чѣмъ онъ получилъ бы возможность приложить его къ дѣлу. Той душевной ясности и чистоты, какая нужна человѣку, чтобы увлечь за собой людей, и той убѣжденности, которая готова идти на страданіе—въ этомъ хитромъ героѣ-дипломатѣ не было; онъ успѣлъ выработать въ себѣ большого эгоиста, и когда онъ получилъ власть дѣлать добро, онъ сдѣлать его не успѣлъ, такъ какъ былъ вытѣсненъ изъ жизни такими же эгоистами, хотя и иного склада. Не такимъ путемъ надо было идти къ цѣли.

Если молодой человѣкъ съ хитро разсчитаннымъ планомъ жизни потерпѣлъ крушеніе, то такой же неуспѣхъ выпалъ на долю и тому идеалисту, который выходилъ на состязаніе съ врагомъ, вооруженный одной лишь безкорыстной честностью. Когда на столичныхъ и всѣхъ провинціальныхъ сценахъ Жадовъ громилъ взяточниковъ и хамовъ, онъ вызывалъ восторженныя рукоплесканія зрителей. Его любили за то, что онъ безъ всякаго прикрытія выступилъ на защиту правды. Но много ли онъ сдѣлалъ для ея торжества? Была минута, когда, уступая чисто-личнымъ побужденіямъ, онъ готовъ былъ отступиться отъ этой правды и идти искать „Доходнаго мѣста", обрекая себя и на униженіе, и на отступничество. Эту слабость ему врядъ ли могъ простить зритель, тѣмъ болѣе, что только случай спасъ безусловно честнаго Жадова отъ паденія. Такое искушеніе и такая опасность истинному герою не должны были угрожать.

Но гдѣ и какъ было найти „истиннаго" героя въ тѣ годы?

Когда Тургеневъ возымѣлъ желаніе создать образъ та-

кого героя, который выражалъ бы собой всю сущность и силу души, жаждущей свободы и дѣла, ему пришлось взять героя изъ среды чужого народа. Инсаровъ остался символомъ „освобожденія“, „любви къ родинѣ“, „борьбы съ насиліемъ“ — символомъ красивымъ, эффектнымъ, но слишкомъ условнымъ и холоднымъ.

Новый дѣятель на нивѣ старой жизни еще не выступалъ, а только готовился къ выступленію. Онъ былъ занятъ оцѣнкой прошлаго, выработкой новаго міросозерцанія въ теоріи, планами будущей дѣятельности, программой самообразованія и самовоспитанія.

Въ этой внутренней работѣ надъ самимъ собой онъ могъ оказаться истиннымъ героемъ и во многихъ случаяхъ и былъ таковымъ.

Въ 1855—1861 годы падаетъ, напр., та внутренняя работа надъ самимъ собой, которая позднѣе, въ восьмидесятыхъ годахъ преобразила Льва Толстого въ апостола морали. Левъ Толстой былъ единственнымъ писателемъ изъ молодыхъ, талантъ котораго сложился и вполнѣ созрѣлъ въ эту раннюю пору общественнаго обновленія. Съ людьми сороковыхъ годовъ у него никакихъ духовныхъ связей не было. Онъ былъ вполнѣ представителемъ молодого поколѣнія, но съ той молодежью, которая стояла на передовыхъ позиціяхъ, съ прогрессистами и радикалами у него ничего общаго не было. Уже въ „Севастопольскихъ разсказахъ“, какъ раньше въ повѣсти „Казаки“, въ повѣсти „Утро помѣщика“ и въ разсказахъ о своемъ дѣтствѣ, отрочествѣ и въ особенности „юности“, художникъ высказалъ тотъ взглядъ на нравственный долгъ человѣка передъ собой и ближними и набросалъ ту программу жизни, которымъ онъ остался вѣренъ до смерти. Нравственное самоусовершенствованіе было признано первымъ и самымъ главнымъ дѣломъ жизни, которое надлежало совершить въ тиши, не расширяя, а по возможности съуживъ кругъ своей дѣятельности внѣшней, [illegible]-

говительная работа надъ собой была признана необходимой для самаго мелкаго дѣла; сила личнаго начала и значеніе личной инниціативы были умалены, почти что сведены на нѣтъ во всѣхъ областяхъ дѣятельности, кромѣ чисто-духовной и внутренней.

Читатель 1855—1861 годовъ сразу почувствовалъ силу таланта писателя, и успѣхъ разсказовъ Толстого былъ единственнымъ въ своемъ родѣ. Предугадать, какое огромное общественное вліяніе выпадетъ впослѣдствіи на долю этого молодого писателя—никто не могъ; полюбить его какъ художника могли, конечно, всѣ; увлечься же имъ, какъ выразителемъ современныхъ взглядовъ, мало кто могъ, и прежде всего не могли увлечься имъ тѣ молодыя и горячія головы, которыя требовали отъ самихъ себя и отъ ближнихъ скорѣйшаго и рѣшительнаго вмѣшательства въ жизнь и проявленія и торжества во всемъ личной воли.. Толстой въ тѣ годы, какъ и позднѣе, остался стоять неразгаданнымъ и одинокимъ на высотѣ, которая рѣдко кого манила и рѣдко кому была доступна.

## VII.

Молодому читателю хотѣлось встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь, кто бы его вполнѣ понялъ, кто бы ясно подтвердилъ ему то, что составляло сущность его вѣрованій, его надеждъ, его желаній. Онъ хотѣлъ, чтобы на его глазахъ какой-нибудь представитель молодого поколѣнія сталъ бы открыто на сторону тѣхъ новыхъ философскихъ, моральныхъ, эстетическихъ теорій, тѣхъ общественныхъ взглядовъ и программъ, которые бродили въ его умѣ и такъ его волновали. Надежды встрѣтить такого вполнѣ современнаго человѣка героемъ какой-нибудь повѣсти—были, повидимому, тщетны. Читатель сердился въ нетерпѣніи и писатель, съ своей стороны, также выжидать не хотѣлъ.

## VIII.

Въ 1861 году появились наконецъ два портрета, списанные какъ будто съ современнаго молодого человѣка. Художникъ отступалъ отъ обычнаго пріема—говорить лишь о прошломъ или, говоря о настоящемъ, имѣть въ виду лишь тѣ стороны жизни, которыя заслуживали осужденія. Герой, съ которымъ онъ наконецъ рѣшился познакомить читателя, былъ изъ семьи передовыхъ молодыхъ людей, вполнѣ отрекшихся отъ прошлаго и смѣло смотрящихъ впередъ. Ни тѣни печали или сожалѣнія о чемъ-либо не было на молодомъ и выразительномъ лицѣ этого юноши, который давалъ понять, что онъ не случайный гость въ нашей жизни, а въ извѣстномъ смыслѣ представитель цѣлаго поколѣнія. Онъ былъ бодръ и въ себѣ увѣренъ, смѣлъ и очень откровененъ, такъ какъ былъ убѣжденъ, что дѣлаетъ и говоритъ дѣло.

## IX.

Одинъ явился Молотовымъ и познакомилъ его съ читателями **Помяловскій.**

Молотовъ былъ очень добрый и добродушный человѣкъ. Онъ во всемъ отыскивалъ искру Божью и любилъ приникать къ доброй сторонѣ жизни. Всѣ пороки и преступленія людей онъ объяснялъ внѣшними условіями; всякаго негодяя ему было жалко. Онъ былъ увѣренъ, что во всякомъ человѣкѣ есть добрыя начала. Съ молодыхъ лѣтъ любилъ онъ говорить о широкихъ началахъ, общемировыхъ идеяхъ и замогильныхъ вопросахъ: жизнь, природа, человѣчество — на этихъ предметахъ постоянно вертѣлись его мысли; онъ смотрѣлъ идеалистомъ, хотя, странно, онъ былъ всегда осторожен, аккуратенъ и осмотрителенъ. О важныхъ матеріяхъ онъ говорилъ всегда серьезно. Молотовъ былъ [illegible]

и потому не проповѣдывалъ новыхъ идей, не кричалъ о прогрессѣ, рѣдко позволялъ себѣ нѣжныя слова и возвышенныя рѣчи, хотя въ университетскомъ кружкѣ (а онъ былъ студентъ-филологъ) онъ бывало спорилъ до слезъ. Онъ вообще не любилъ пѣть съ чужого голоса, проповѣдывать заученное, кидаться изъ стороны въ сторону, находясь подъ вліяніемъ только-что прочитанной статейки.

Какъ видно, Молотовъ сохранилъ кое-какія черты людей старшаго поколѣнія — ихъ любовь къ постановкѣ отвлеченныхъ общихъ вопросовъ и широкій идеализмъ если не ума, то души.

Въ вопросахъ религіи Молотовъ былъ скептикъ. И образа въ домѣ Молотова не было, и креста на шеѣ также не было.

Въ вопросахъ морали онъ былъ сторонникомъ „здороваго" эгоизма. „Чѣмъ короче жизнь, — разсуждалъ онъ, — тѣмъ больше побужденій жить! Если ты увѣренъ, что твоя жизнь не повторится, то и долженъ беречь ее. Эгоизмъ рождаетъ любовь. Когда удовлетворены твои потребности, является страстное желаніе сдѣлать всѣхъ счастливыми. Ты не любишь другихъ потому, что не любишь себя. Въ томъ-то и любовь, что чужое горе до такой степени станетъ твоимъ горемъ, что дѣлается жалко самого себя".

Молотовъ былъ человѣкъ независимый, гордый, который ни передъ кѣмъ не гнулъ спины, человѣкъ свободомыслящій и притомъ степенный, положительный и практическій. Молодость не помѣшала ему выработать въ себѣ характеръ и независимый образъ мыслей. „Онъ былъ мѣщанинъ, плебей, но у него былъ свой гоноръ". Онъ сказалъ себѣ: „я долженъ, *сам* долженъ, *своим* опытомъ, *своей* головой дойти до того, что мнѣ нужно. Всякій самъ для себя работаетъ. Великое дѣло — своя жизнь, свое убѣжденіе; это то же, что собственность. Только то и можно назвать убѣжденіемъ, что самимъ добыто. Я самъ и есть первый и послѣдній авторитетъ, исходная точка всѣхъ моральныхъ от-

правленій и чего нѣтъ во мнѣ, того не дадутъ ни воспитаніе, ни примѣръ, ни законъ, ни среда. У меня все свое и за все я одинъ отвѣчаю". „Мое призваніе—жить... всей душой, всѣми порами тѣла жить"... „Бери жизнь, какъ есть она, не прибавляя и не убавляя! да, вотъ она, вотъ смотритъ въ глаза; она идетъ, въ дверь стучитъ. Я не могу пока постигнуть, что она такое, но безъ смысла не возьму ее; разгляжу я жизнь, разниму по частямъ, душу ея выну. Я и учился для того, чтобы жить; государству часть себя **отдамъ, а весь не отдамся"**.

Но хорошо такъ разсуждать, если человѣкъ хоть до извѣстной степени защищенъ отъ ударовъ жизни. А какъ жить, если нужда придавитъ человѣка своей тяжестью? Нужда, „безживотіе злое" — великая причина. Она можетъ разрушить всѣ наши планы. Нужда потрепала и Молотова, но только онъ ее осилилъ... Прошелъ онъ черезъ многія мытарства, бывалъ въ унизительномъ положеніи, пристраивался ко всевозможнымъ видамъ труда и занятій, жилъ какъ чернорабочій, какъ пролетарій, долго сбирающій собственность и въ одинъ незаработный годъ пожирающій ее — пока наконецъ чиновничья служба не спасла его. Молотовъ пошелъ на службу не по призванію, а потому, что это былъ единственный путь, идя по которому, можно было чувствовать себя огражденнымъ отъ нужды и все-таки кое-какъ дѣйствующимъ.

Но завоевавъ себѣ „мѣщанское" счастье, состоя на службѣ, огражденный отъ всѣхъ случайностей, счастливый, наканунѣ свадьбы съ любимой женщиной, онъ съ грустью вспоминалъ о тѣхъ годахъ, когда съ непокрытой головой онъ стоялъ подъ непогодой жизни и жилъ мечтой и надеждами.

„И не глупъ я, и силенъ, и работалъ довольно, но куда пошли мои силы? спрашивалъ онъ. Благонравная чиновщина! Когда-то жизнь казалась такъ широка, безпредѣльна. Я былъ выходцемъ изъ своего сословія, и потому, какъ всѣ выходцы, не понималъ, что многаго требовалъ отъ жизни, что

необходима умѣренность, тихій гласъ и кроткое отношеніе къ существующимъ интересамъ общества. Мы ломать любимъ, либо гнѣваемся отъявленными подлецами, либо благодушествуемъ, какъ я благодушествую. Поневолѣ пришлось съежиться, обособиться, а дома устроить себѣ и моральную и матеріальную жизнь по своему, завести своихъ пенатовъ, своихъ [illegible], общество и друзей. Что же дѣлать, не всѣмъ быть героями, знаменитостями, спасителями отечества. Неужели запрещено устроить простое, мѣщанское счастіе?

На устроеніе такого счастія Молотовъ получилъ согласіе своей невѣсты и какъ будто успокоился. Но его біографъ успокоиться не могъ и сталъ за него извиняться передъ читателемъ.

Такіе люди — писалъ онъ — вообще пользуются у насъ уваженіемъ, хотя не скроемъ, что изъ нихъ большею частію выходятъ пройдохи, народъ ловкій, умѣющій отовсюду извлечь высшій процентъ. Въ нихъ выразилась практическая сила. Въ Молотовѣ были задатки такого типа. Очевидно, пройдохой его назвать нельзя, но, съ другой стороны, трудно опредѣлить смыслъ его дѣятельности, самой разнообразной и неутомимой. Вся дѣятельность Молотова была безъ всякой напередъ заданной мысли, безъ опредѣленной цѣли, ему просто хотѣлось все знать и все сдѣлать — вотъ такъ, какъ намъ ѣсть хочется; то была дѣятельность безъ принципа; потребность натуры, „комплексія“ такая. *[illegible]* *образъ».*

## X.

Таковъ былъ первый портретъ одного изъ представителей молодежи 1855—1861 годовъ, въ которомъ писатель, оче-

видно, хотѣлъ оттѣнить общія черты характера его времени. Портретъ не льстилъ молодымъ людямъ, и читатель имѣлъ основаніе задать себѣ вопросъ: да точно ли передъ нимъ положительный типъ, у котораго можно чему-нибудь научиться? Нѣкоторые критики позднѣйшаго времени хотѣли видѣть въ романѣ Помяловскаго даже прямое предостереженіе, совѣтъ—не слишкомъ увлекаться матеріальными благами жизни, которыя могутъ идеалиста превратить въ „мѣщанина" духомъ. Но врядъ ли авторъ имѣлъ въ виду такую шаблонную дидактическую цѣль. Онъ писалъ съ натуры, это несомнѣнно, и потому въ столь правдоподобно созданномъ имъ образѣ сочетались и достоинства, и недостатки молодыхъ людей, которымъ приходилось прокладывать себѣ дорогу при новыхъ условіяхъ жизни. Молотовъ понялъ, что жизнь требуетъ отъ него борьбы въ самомъ прямомъ смыслѣ слова и что размышленіемъ и словесной проповѣдью многаго не достигнешь. Какъ сынъ своего поколѣнія, онъ признавалъ законность практическаго взгляда на вещи и хотѣлъ стать твердой ногой на твердую почву жизни. Онъ зналъ, что никто за него работать не будетъ, что онъ предоставленъ собственнымъ силамъ, и потому онъ изощрялъ эти силы на чемъ только могъ, развивалъ ихъ въ разныхъ направленіяхъ и брался за самыя разнообразныя дѣла, которыя ему и удавались. Родомъ онъ былъ плебей, но не плебей приниженный и услужливый, а гордый и знающій себѣ цѣну. Онъ хотѣлъ отстоять свою независимость, свое право на жизнь и потому прежде всего обезпечилъ себѣ матеріальный достатокъ. На него хотѣлъ онъ опереться при дальнѣйшей работѣ, а отъ работы онъ не бѣгалъ и приходилъ въ отчаяніе отъ мысли, что жизнь его можетъ пропасть даромъ. Работа рисовалась ему какъ дѣятельность, какъ участіе въ жизни общей. Онъ поступилъ на службу совершенно сознательно, не изъ корысти, а потому, что въ 1855—1861 годахъ чиновничья служба была, дѣйствительно, единственнымъ способомъ пристроиться къ дѣлу, которое могло бы отв

ваться на самой жизни. Иной общественной дѣятельности не существовало, если не считать дѣятельности словесной и писательской, къ которой у Молотова не было ни любви, ни способности. Молотовъ былъ несомнѣнный демократъ какъ по рожденію, такъ и по убѣжденіямъ. „Бѣлую породу“ онъ не любилъ, но и особыхъ симпатій къ кости черной онъ также не имѣлъ. Онъ выросъ типичнымъ сыномъ города, деревни не зналъ, народолюбія не исповѣдывалъ; жизнь простонародья была для него закрытой книгой, хотя, конечно, онъ народу желалъ отъ души всякаго блага.

О политикѣ и соціальныхъ порядкахъ Молотовъ не заикался; новыхъ формъ семейной жизни не придумывалъ и мирился съ установленными - вообще, ни съ кѣмъ не воевалъ, а приспособлялся, имѣя въ виду, приспособившись, начать дѣйствовать. Но дѣйствовать ему не пришлось ни на какомъ поприщѣ, за исключеніемъ шаблонно-чиновничьяго.

Такіе типы среди молодежи тѣхъ годовъ могли попадаться; иные могли счесть мѣщанское счастье за необходимую точку опоры для дальнѣйшихъ вылазокъ противъ жизни; многихъ это „счастье“ могло и засосать..

Мимо такихъ людей можно было, однако, спокойно пройти, какъ и прошелъ молодой читатель, тѣмъ болѣе, что почти одновременно съ этимъ знакомствомъ онъ имѣлъ случай встрѣтиться съ человѣкомъ, гораздо болѣе замѣчательнымъ по образу мыслей и душевному складу.

Появленіе Евгенія Васильевича Базарова въ молодыхъ кругахъ сопровождалось необычайнымъ шумомъ и сенсаціей.

## XI.

Романъ „Отцы и дѣти“ появился въ мартовской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ 1862 года — въ журналѣ пока еще не ретроградномъ, но уже дававшемъ ясно понять, что за

молодымъ передовымъ поколѣніемъ онъ слѣдовать не намѣренъ.

Судьба этого романа — исключительная. Давно умеръ Базаровъ, давно умеръ Тургеневъ, но споры о томъ, въ чемъ Тургеневъ съ Базаровымъ расходился и въ чемъ они соглашались, не умолкаютъ и до сего дня.

Споры и раздоры начались со дня выхода повѣсти въ свѣтъ. Молодое поколѣніе радикальнаго лагеря рѣзко осудило тенденцію романа.

Тургеневъ принялъ эту вспышку молодого негодованія очень болѣзненно къ сердцу. Обиженный суровымъ судомъ молодежи, онъ пожелалъ самъ откровенно высказаться по поводу своей повѣсти. Эта мысль пришла ему въ голову, вѣроятно, въ первые же дни похода молодежи противъ Базарова, но осуществилъ онъ ее семь лѣтъ спустя въ 1868—9 году. [„По поводу „Отцовъ и дѣтей“].

Оказывается, со словъ Тургенева, что онъ, создавая образъ Базарова, самъ не зналъ, создастъ ли онъ его въ оправданіе или въ осужденіе героя. Онъ признавался, что „никогда не покушался создавать образъ, если не имѣлъ исходною точкой не идею, а живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы“. Въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна личность, поразившая автора своей оригинальностью, личность какого-то молодого провинціальнаго врача. Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на Тургенева этой личностью, было очень сильное и въ то же время не совсѣмъ ясное, онъ самъ не могъ себѣ хорошенько отдать въ немъ отчета, онъ напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что его окружало, какъ бы желая провѣрить правдивость собственныхъ ощущеній. У него поневолѣ возникало сомнѣніе: ужъ не за призракомъ ли онъ гнался?.. Не смущаясь такой неясностью, Тургеневъ все-таки не устоялъ передъ соблаз-

номъ нарисовать портретъ самаго современнаго молодого человѣка, съ которымъ во многомъ соглашался. „Читатели удивятся, говорилъ онъ, если я скажу имъ, что, за исключеніемъ воззрѣній на художество, я раздѣляю почти всѣ убѣжденія Базарова.

„А что если авторъ самъ не знаетъ, любитъ ли онъ или нѣтъ выставленный характеръ, какъ это случилось со мной въ отношеніи къ Базарову? Я понимаю причины гнѣва, возбужденнаго моей книгой въ извѣстной партіи. Онѣ не лишены основанія. Выпущеннымъ мною словомъ „нигилистъ" воспользовались тогда многіе, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ. Не въ видѣ укоризны, не съ цѣлью оскорбленія было употреблено мною это слово, но какъ точное и умѣстное выраженіе проявившагося историческаго факта".

Какова бы ни была степень искренности этихъ словъ, но все недоразумѣніе, внѣ всякаго сомнѣнія, произошло потому, что самому художнику былъ, дѣйствительно, не вполнѣ ясенъ типъ, надъ разъясненіемъ котораго онъ работалъ, а вовсе не потому, что писатель исказилъ вполнѣ ясный типъ въ угоду какимъ-то личнымъ или инымъ соображеніямъ. Совѣсть художника была спокойна, а между тѣмъ портретъ получился настолько туманный и далекій отъ желаемаго, что молодежь никакъ не хотѣла себя узнать въ немъ и имѣла право разсердиться. Если бы молодежь отнеслась къ роману болѣе хладнокровно, она увидала бы, что историческая правда въ немъ неумышленно нарушена, и что если ужъ нужно автору сказать непріятность, то винить его надо не въ зломъ умыслѣ, а въ нетерпѣніи и въ слишкомъ поспѣшномъ выборѣ героя, который въ герои не годился.

## XII.

Молодой читатель, несомнѣнно, предъявитъ Базарову гораздо большія требованія, чѣмъ авторъ, и потому остался имъ крайне недоволенъ.

И въ этомъ былъ виноватъ Тургеневъ. Онъ ввелъ читателя въ заблужденіе тѣмъ, что наговорилъ Базарову такихъ комплиментовъ, которые не покрывались ни рѣчами Базарова, ни его поступками. „Вы человѣкъ не изъ числа обыкновенныхъ", говоритъ Базарову Одинцова. „Вашъ сынъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей, съ которыми я когда-либо встрѣчался", говоритъ отцу Базарову Аркадій. „Подобныхъ ему людей не приходится мѣрить обыкновеннымъ аршиномъ", говоритъ отецъ Базарова. „Онъ будетъ знаменитъ", утверждаетъ Аркадій. „Я ему обязанъ моимъ перерожденіемъ", утверждаетъ нѣкій Ситниковъ. Положимъ, всѣ эти слова очень неопредѣленны, сказаны людьми, которые не могутъ быть безпристрастны, но они читателя, несомнѣнно, къ чему-то подготовляютъ, а авторъ, умѣющій говорить колкости и большой юмористъ, ни разу не разрѣшилъ себѣ даже легкаго ироническаго выраженія по адресу своего героя. Очевидно, авторъ согласенъ съ Аркадіемъ, Одинцовой и Василіемъ Ивановичемъ въ томъ, что Базаровъ человѣкъ замѣчательный.

И вотъ, когда молодой читатель сталъ присматриваться къ Базарову въ надеждѣ открыть въ немъ замѣчательнаго человѣка, онъ былъ непріятно пораженъ этой встрѣчей. Онъ въ Базаровѣ нашелъ всѣ свои недостатки и почти ни одного качества умственнаго и душевнаго, которымъ привыкъ гордиться.

## XIII.

Непріятно поражали прежде всего привычки Базарова вести себя въ обществѣ.

Свою красную руку онъ протягивалъ людямъ неохотно: за столомъ говорилъ мало, но ѣлъ много; въ саду не стѣснялся шагать черезъ клумбы; при разговорѣ отвѣчалъ отрывисто и неохотно, и въ звукѣ его голоса было что-то грубое, почти дерзкое; изъ дома, гдѣ онъ былъ встрѣченъ гостепріимно, уходилъ, не прощаясь съ хозяйкой; велъ себя развязно съ такими людьми въ домѣ, къ которымъ слѣдовало бы отнестись съ особой деликатностью, и не понималъ, что иногда нарушаетъ права гостепріимства...

Все это, конечно, мелочи: многіе молодые люди тѣхъ годовъ вели себя не лучше, но вѣдь чѣмъ-нибудь такая угловатость ихъ манеръ искупалась? — какой-нибудь смѣлостью и рѣшимостью въ поступкахъ или рѣчахъ, какимъ-нибудь эффектнымъ вызовомъ, а за Базаровымъ никакихъ такихъ ни рѣчей, ни поступковъ не числилось.

Молодой читатель всетаки съ интересомъ подошелъ къ незнакомцу и сталъ наблюдать не за тѣмъ, какъ онъ себя ведетъ въ обществѣ, а за тѣмъ, что онъ вообще дѣлаетъ, чѣмъ занимается. „Главный предметъ его — естественныя науки — поясняетъ читателю Аркадій. Да, онъ все знаетъ. Онъ въ будущемъ году хочетъ держать на доктора“... Въ усадьбѣ Базаровъ „работалъ“; „вставалъ очень рано и отправлялся версты за двѣ, за три, не гулять, а собирать травы, насѣкомыхъ... Но любимымъ его занятіемъ было потрошить лягушекъ, наблюдать за инфузоріями и за какими-то химическими составами“. Иного „дѣла“ онъ не имѣлъ: правда, онъ только готовился къ дѣлу и отдыхалъ въ деревнѣ лѣтомъ, т.-е. могъ и ничего не дѣлать. Зимой онъ, вѣроятно, работалъ по болѣе систематичной и полной программѣ.

Мы не знаемъ, обладалъ ли Базаровъ какимъ-нибудь научнымъ міросозерцаніемъ; онъ велъ длинные споры съ Аркадіемъ, но авторъ не говоритъ на какія темы. Съ другими лицами онъ въ разсужденія научныя и философскія не пускался, и только нѣкоторыя его сентенціи позволяютъ намъ предположить, что, работая надъ деталями естественныхъ наукъ, онъ не чуждъ былъ нѣкоторыхъ обобщеній; ему, напр., очень нравилась такая обобщавшая, смѣлая по своимъ голословнымъ выводамъ книга, какъ трактатъ Бюхнера „Stoff und Kraft“, которой онъ предлагалъ замѣнить Пушкина на письменномъ столѣ Кирсанова. Иногда Базаровъ самъ разрѣшалъ себѣ афоризмы какъ будто въ современномъ философскомъ духѣ; такъ, напр., онъ утверждалъ, что „порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта“. На замѣчаніе Аркадія о томъ, что надо быть справедливымъ, онъ, исходя, очевидно, изъ наблюденій надъ работой химическихъ и физическихъ силъ въ природѣ, спрашивалъ: „А изъ чего слѣдуетъ, что надо быть справедливымъ?“ „Важно то, замѣчалъ Базаровъ глубокомысленно, что дважды два четыре, а остальное все пустяки“; что онъ хотѣлъ сказать этимъ афоризмомъ, не совсѣмъ ясно, какъ не ясно и знаменитое его изреченіе: „Природа не храмъ, а мастерская, **и человѣкъ въ ней работникъ“.**

Если бы Базаровъ выступилъ съ такими рѣчами не въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, а въ серединѣ шестидесятыхъ, тогда, когда Писаревъ уговаривалъ всѣхъ молодыхъ людей начинать свое самообразованіе съ естественныхъ наукъ, отъ нихъ ждалъ спасенія и разрѣшенія всѣхъ тайнъ науки о мірѣ и духѣ, то герой могъ бы вполнѣ разсчитывать на симпатію читателя. Но въ годы, о которыхъ говоримъ мы, диктатура естественныхъ наукъ еще провозглашена не была: Тургеневъ лишь угадывалъ ея наступленіе и могъ случайно столкнуться лишь съ первыми пiонерами этого культа естествознанія, съ людьми, которые были ослѣплены яркими афоризмами науки, имъ мало еще знакомой, и во

тому такъ много обѣщавшей. Такіе люди, въ особенности столь скупые на слова, какъ Базаровъ, не могли разсчитывать пока на большой кругъ лицъ, съ ними во всемъ согласныхъ. Критика, публицистика и наука 1855—1861 годовъ пріучала читателя къ серьезному раздумью надъ выработкой новаго философскаго міросозерцанія, много и часто говорила о старой философіи идеализма и о замѣнѣ ея новой философіей, построенной на началахъ матеріализма или „антропологіи". Читатель, болѣе или менѣе серьезный, привыкъ быть свидѣтелемъ состязанія Гегеля и Фейербаха на страницахъ самаго излюбленнаго молодежью передового журнала, и отъ Базарова онъ естественно могъ потребовать болѣе или менѣе яснаго сужденія объ идейномъ спорѣ, который имѣлъ столь значительныя практическія послѣдствія.

Базаровъ никакихъ сужденій не высказывалъ и, повидимому, этимъ споромъ не интересовался. Онъ философію считалъ „романтизмомъ" и не любилъ ее.

Если молодой читатель могъ въ чемъ согласиться съ Базаровымъ, такъ это въ его нелюбви къ эстетикѣ, къ эстетическимъ эмоціямъ, къ искусству вообще..., но и въ данномъ случаѣ молодые люди конца пятидесятыхъ годовъ врядъ ли были такъ нетерпимо настроены по отношенію къ искусству, какъ эта черта сказалась въ нихъ позднѣе, къ серединѣ шестидесятыхъ годовъ, когда Писаревъ предоставилъ въ ихъ распоряженіе свой блестящій талантъ громителя и разрушителя эстетики. Базаровъ, какъ цѣнитель искусства, опередилъ свой вѣкъ и могъ казаться слишкомъ рѣшительнымъ въ своихъ сужденіяхъ. Врядъ ли многіе изъ молодыхъ читателей могли съ нимъ согласиться въ томъ, что „романтизмъ, чепуха, гниль и художество" одно и то же, что „Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ", что „виды природы могутъ заинтересовать человѣка скорѣе съ точки зрѣнія геологической, чѣмъ эстетической, что Пушкинъ, должно быть, служилъ въ военной службѣ, такъ какъ на

каждой страницѣ все кричалъ „на бой! на бой!" и что „на небо только тогда надо смотрѣть, когда чихнуть хочется". Но, можетъ быть, Базаровъ всѣ эти глупости говорилъ шутя или съ озорства? Едва-ли, однако.

Всѣ вопросы общаго теоретическаго характера, а также и всѣ вопросы практическіе, вытекающіе изъ общихъ положеній, сведены Базаровымъ къ чистому отрицанію.

„Хотите, я вамъ скажу, что̀ онъ собственно такое? -говоритъ Аркадій отцу.—Онъ нигилистъ.

— Нигилистъ,—проговорилъ Николай Петровичъ. —Это отъ латинскаго nihil—ничего; стало быть, это слово означаетъ человѣка, который ничего не признаетъ? Который ничего не уважаетъ?

— Который ко всему относится съ критической точки зрѣнія, замѣтилъ Аркадій. Нигилистъ—это человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ"..

Аркадій—неправъ: Базаровъ не былъ „критически мыслящей личностью". Онъ былъ отрицатель: онъ критиковалъ все ради отрицанія, а не ради замѣны стараго чѣмъ-нибудь новымъ. Припертый къ стѣнѣ Павломъ Кирсановымъ, Базаровъ, правда, раздраженный и потому умышленно рѣзкій, говоритъ очень откровенно: „на что намъ логика исторіи? мы безъ нея обходимся. Мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ. Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе,—мы отрицаемъ. Все... все.. Строить, это уже не наше дѣло... Сперва нужно мѣсто расчистить"... Когда Кирсановъ спрашиваетъ Базарова: а собираются ли нигилисты сами дѣйствовать въ направленіи разрушенія, —Базаровъ молчитъ, но за него отвѣчаетъ Аркадій, очевидно, съ согласія своего учителя: „мы ломаемъ, потому что мы сила, и сила такъ и не даетъ отчета". „Когда насъ раздавятъ,—добавляетъ Базаровъ,—туда намъ и дорога, но насъ не такъ мало".

Ни одинъ Кирсановъ, слушая такія рѣчи, могъ сказать: „странный человѣкъ! въ принципы не вѣритъ, а въ лягушекъ вѣритъ!" Слишкомъ ужъ велико несоотвѣтствіе между смѣлостью отрицанія Базарова и тѣмъ дѣломъ, которому онъ служитъ.

Да, въ сущности, какому онъ служитъ дѣлу? Онъ готовится къ какому-то дѣлу, очень пока неясному, и кто знаетъ, что это дѣло дастъ нашему обществу, нашему народу? Любой изъ молодыхъ читателей [не говоря уже о старшихъ] могъ задуматься надъ такимъ вызовомъ, брошеннымъ прошлому безъ всякаго прикрытія какими-либо планами будущаго. Молодежь также отрицала многое, можетъ быть, и все, но передъ ея глазами всегда была картина новой жизни и образъ новаго человѣка, которыхъ она созидаетъ... Голое отрицаніе могло читателя поразить непріятно, даже въ томъ случаѣ, если онъ не желалъ ничего удержать изъ прошлаго. Но читатель все-таки могъ Базарову простить такую теоретическую расправу съ жизнью въ надеждѣ найти въ немъ живой отзвукъ хоть на нѣкоторые практическіе ея запросы.

Демократъ по рожденію и по убѣжденіямъ, Базаровъ попалъ въ дворянскую среду... Далъ ли онъ ей понять законность и разумность своего образа мыслей и отстоялъ ли онъ съ достоинствомъ свое положеніе въ враждебномъ лагерѣ? Едва-ли. Положимъ, гостепріимство хозяевъ обязывало его быть сдержаннымъ [впрочемъ, онъ врядъ ли сталъ бы считаться съ этимъ соображеніемъ], но, все-таки, онъ могъ, не тратя словъ, а молчаливо дать дворянамъ почувствовать, что онъ заслуживаетъ и требуетъ себѣ признанія. Онъ велъ себя съ ними пренебрежительно, вызывающе, но ни разу не поставилъ себя ни словомъ, ни дѣломъ въ такое положеніе, которое вызвало бы въ старикахъ чувство уваженія къ нему. Наговорилъ онъ имъ много задорныхъ, но общихъ фразъ о преимуществѣ молодого поколѣнія надъ старшимъ, упрекнулъ Павла Кирсанова въ томъ, что онъ

сидишь сложа руки [Кирсановъ могъ бы вернуть ему этотъ упрекъ], повелъ себя неделикатно съ Фенечкой и грубо съ Одинцовой, и никому рѣшительно, за исключенiемъ деревенскихъ мальчишекъ, не далъ почувствовать преимущество демократическаго принципа надъ аристократическимъ. А тѣмъ временемъ аристократы успѣли доказать ему, что ихъ принципы допускаютъ весьма гуманное отношенiе къ ближнему. Павелъ Кирсановъ, напр., забывъ свои дворянскiе предразсудки и отстаивая честь брата, вызвалъ Базарова на дуэль. Николай Кирсановъ съ одобренiя брата женился на Фенечкѣ. Одинцова прiѣхала облегчить Базарову его прощанiе съ жизнью. Аристократы оказались столь незлобивы, справедливы и дальновидны, что, *присмотрѣвшись* къ поведенiю Базарова и *сличивъ его* съ его словами, сами задали себѣ вопросъ: „А не въ томъ ли состоитъ преимущество Базарова, что въ немъ меньше слѣдовъ барства, чѣмъ въ насъ?"

Базаровъ былъ, очевидно, очень неумѣлый и нетактичный защитникъ демократизма, и тонко чувствующему демократу значительно могло стать и досадно, и неловко при разсказѣ о томъ, какъ велъ себя его единомышленникъ.

Да былъ ли Базаровъ демократомъ въ прямомъ смыслѣ этого слова? Демократу полагается, если не отдавать себя въ услуженiе народу, то хоть быть объ этомъ народѣ болѣе или менѣе высокаго мнѣнiя, или обнаруживать къ нему извѣстную долю симпатiи. Представить себѣ молодого радикала конца пятидесятыхъ годовъ, свидѣтеля всѣхъ подготовительныхъ работъ по освобожденiю крестьянъ, индифферентнымъ къ вопросу о судьбахъ народа и грубымъ въ обращенiи съ нимъ довольно трудно. А Базарова можно упрекнуть и въ невниманiи, и въ грубости.

„Мой дѣдъ землю пахалъ", говоритъ онъ съ надменною гордостью Павлу Кирсанову. „Спросите любого изъ вашихъ мужиковъ, въ комъ изъ насъ — въ васъ или во мнѣ — онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете.

А вы говорите съ нимъ и презираете его въ то же время.

— Что-жъ, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія!“

И никакихъ устоевъ народной жизни Базаровъ признавать не желаетъ. Община, круговая порука, трезвость... все это для него—„штучки“.

Мужика и посѣчь можно. „Мой отецъ на-дняхъ велѣлъ высѣчь одного своего оброчнаго мужика, — разсказываетъ Базаровъ Аркадію, — и очень хорошо сдѣлалъ, да, да, не гляди на меня съ такимъ ужасомъ — очень хорошо сдѣлалъ, потому что воръ и пьяница онъ страшнѣйшій“.

„Иногда Базаровъ отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновенію, вступалъ въ бесѣду съ какимъ-нибудь мужикомъ: „Ну, говорилъ онъ ему, излагай мнѣ свои воззрѣнія на жизнь, братецъ: вѣдь въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, вы намъ дадите и языкъ настоящій, и законы. Ты мнѣ растолкуй, что такое есть вашъ міръ? И тотъ ли это самый міръ, что на трехъ рыбахъ стоитъ?“

Мужикъ, конечно, не понималъ такой тонкой ироніи и бормоталъ въ отвѣтъ затверженныя хитрыя слова „вы наши отцы! чѣмъ строже баринъ взыщетъ, тѣмъ милѣе мужику!..“ И Базаровъ презрительно пожималъ плечами... Но и мужикъ, отойдя отъ Базарова на почтительное разстояніе, съ небрежной суровостью“ говоритъ: „Такъ болталъ кое-что; языкъ почесать захотѣлось. Извѣстно, баринъ, развѣ онъ что̀ понимаетъ?“

„Увы! добавляетъ отъ себя Тургеневъ, — Базаровъ этотъ, презрительно пожимавшій плечомъ, умѣвшій говорить съ мужиками Базаровъ, этотъ самоувѣренный Базаровъ и не подозрѣвалъ, что онъ въ глазахъ мужика былъ все-таки чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго...“

Читатель начиналъ сердиться; но одно соображеніе могло придти ему въ голову: если Базаровъ былъ самъ мужикъ по рожденію, то, быть можетъ, онъ имѣлъ нѣкоторое право

на такое отношеніе къ народу? Въ устахъ дворянина такія рѣчи звучали оскорбленіемъ, въ устахъ человѣка, вышедшаго изъ народа, они могли быть лишь словами гнѣва. Быть можетъ, страдая душой за мужика, Базаровъ не могъ сдержать своего раздраженія... Но одно признаніе, сдѣланное Базаровымъ лишало читателя возможности именно такъ истолковать его слова и его глумленіе.

„Вотъ ты сегодня сказалъ, — говорилъ Базаровъ Аркадію, — что Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ хорошая изба и что всякій изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? — Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ...“

Нельзя отъ человѣка требовать, чтобы онъ смотрѣлъ на свою жизнь лишь какъ на средство ко благу ближняго. Но зачѣмъ же ненавидѣть тѣхъ людей, которые ждутъ отъ тебя добровольной жертвы? И въ данномъ случаѣ Базаровъ упредилъ свое время и былъ болѣе похожъ на нѣкоторыхъ крайнихъ индивидуалистовъ послѣднихъ годовъ, чѣмъ на своихъ современниковъ кануна освобожденія, которые заботу о благѣ народа считали первымъ и неотложнымъ требованіемъ дня.

Молодой читатель, не найдя ни въ словахъ, ни въ поступкахъ Базарова ничего не только героическаго, но даже возбуждающаго для ума и сердца, могъ отказаться отъ желанія предъявлять этому человѣку какія-либо широкія общественныя требованія и могъ захотѣть познакомиться съ нимъ поближе, просто какъ съ личностью. И читатель изъ этого знакомства опять выносилъ невеселое впечатлѣніе. Онъ сталъ слѣдить за Базаровымъ въ тѣ минуты, когда онъ подчинился женскому вліянію, т.-е. тогда, когда человѣкъ способенъ на наибольшія уступки. Базаровъ велъ себя грубо и неделикатно. Неужели, спрашивалъ читатель, молодое

люди нашего поколѣнія въ дѣлахъ любви такъ неумѣлы, косолапы и прозаичны? А, можетъ быть, во всемъ виноваты дѣйствительно, грубая натура Базарова? А онъ, повидимому, тонко чувствовать не умѣетъ.

Почему онъ такъ безсердеченъ и черствъ въ своихъ отношеніяхъ къ родителямъ? Мы согласны, разсуждалъ молодой читатель, что вопросъ о родителяхъ въ настоящее время—вопросъ сложный. Родители не всегда одобряютъ образъ нашихъ мыслей и наше поведеніе; случается, что они намъ препятствуютъ стать на новую дорогу жизни; иногда оказываютъ прямое давленіе на насъ, не останавливаясь даже передъ насиліемъ. Но развѣ родители Базарова, эти два добрѣйшихъ, смирнѣйшихъ и любящихъ существа, развѣ они въ чемъ-нибудь провинились передъ сыномъ? Какъ скупъ онъ не только на нѣжность съ ними, но даже на простое вниманіе! Даже въ страшныя минуты сознанія близости смерти Базаровъ не нашелъ словъ истинной любви для несчастныхъ стариковъ. Онъ или не думалъ о нихъ, или впадалъ въ какой-то излишне развязный тонъ... Неужели онъ человѣкъ черствый?

Мимо нѣкоторыхъ признаній Базарова, очень интимныхъ, касающихся его собственной личности и его отношенія къ людямъ, читатель не могъ пройти безъ недоумѣнія. „Мнѣ, пойми ты это,—говорилъ онъ Аркадію,—мнѣ нужны олухи. Не богамъ же, въ самомъ дѣлѣ, горшки обжигать!.. Вонъ молодецъ муравей, тащитъ полумертвую муху. Тащи ее, братъ, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тѣмъ, что ты, въ качествѣ животнаго, имѣешь право не признавать чувства состраданія, не то, что нашъ братъ, самоломанный!" „Я вовсе не добръ", говоритъ Базаровъ Одинцовой. „Онъ хищникъ", -говоритъ про него Катя Одинцова.

Онъ несомнѣнный хищникъ, но хищникъ какъ будто съ благими цѣлями... „Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не созданъ,—говоритъ онъ Аркадію. Въ тебѣ

нѣтъ ни дерзости, ни злости, а есть молодая смѣлость да молодой задоръ; для *нашего дѣла* это не годится. Наша пыль тебѣ глаза выѣстъ, наша грязь тебя замараетъ, да ты и не доросъ до насъ, ты невольно любуешься собою, тебѣ пріятно самого себя бранить; а намъ это скучно, — намъ другихъ подавай! намъ другихъ ломать надо! Ты славный малый, но ты все-таки мякенькій, либеральный баричъ!“

Очевидно *какое* дѣло Базаровымъ задумано. Для этого дѣла нужна и злость и дерзость, для него нужна горькая, терпкая жизнь; совершая его, надо пройти черезъ грязь, до него надо дорости, надо имѣть смѣлость сломать другихъ; для этого дѣла нужна толпа олуховъ, которыми можно распорядиться...

Молодой читатель могъ быть въ данномъ случаѣ согласенъ съ Базаровымъ. Онъ чувствовалъ, что великое дѣло всяческаго обновленія не можетъ обойтись безъ сильныхъ людей, съ желѣзной волей, людей даже жесткихъ, обрекающихъ себя на страданье, не боящихся замараться въ схваткахъ съ житейской грязью, людей даже жестокихъ, привыкшихъ ломать другихъ и повелѣвать ими, во всякомъ случаѣ людей иныхъ, чѣмъ недавніе либеральные бары.

Какъ сильный характеръ, Базаровъ, пожалуй, могъ молодымъ читателямъ понравиться. Но они могли спросить: въ какихъ же очертаніяхъ рисуется ему то дѣло, какимъ онъ хочетъ оправдать всѣ странности своего поведенія? На какія здоровыя силы хочетъ онъ опереться? Почему онъ не имѣетъ товарищей? Почему онъ молчитъ по всѣмъ вопросамъ общаго характера, отъ рѣшенія которыхъ зависитъ направленіе новаго практическаго дѣла? Почему онъ не указываетъ никакихъ ближайшихъ задачъ, на рѣшеніе которыхъ должны быть направлены силы? Почему онъ такъ одинокъ не только среди людей, но и среди всѣхъ тѣхъ задачъ, которыя со всѣхъ сторонъ надвигаются и требуютъ пересмотра? Неужели онъ только отрицатель, отрицатель и только? Неужели только „нигилистъ?“

Да встрѣчаются ли въ жизни отрицатели въ чистомъ видѣ? Теоретически ихъ существованіе признать, конечно, возможно. Взгляды, чувства и житейскія программы мѣняются; на смѣну имъ идутъ другіе и всегда моментъ отрицанія стараго предшествуетъ созиданію новаго; но врядъ ли процессъ отрицанія можетъ быть обособленъ отъ процесса созиданія: они протекаютъ параллельно и одновременно. Базаровъ, не имѣющій никакихъ положительныхъ плановъ (положительные идеалы у него, вѣроятно, были, хотя онъ о нихъ упорно молчалъ), Базаровъ, только отрицающій все и не имѣвшій ничего предложить на замѣну разрушеннаго — не могъ произвести впечатлѣніе живого человѣка: онъ отражалъ собою лишь одну частицу живой души людей лучшихъ, и молодые люди, встрѣчаясь съ нимъ, понимали, что что-то правдивое есть въ его словахъ и чувствахъ, но что таковъ, какимъ онъ выведенъ въ разсказѣ, онъ въ союзники и товарищи не годится, такъ какъ ни одно изъ достоинствъ молодого ума и сердца въ немъ не проявляется, а все то, что бросается въ глаза какъ недостатокъ и порокъ, въ немъ рѣзко обозначено. Какого бы высокаго мнѣнія о себѣ ни была молодежь, какъ бы она ни цѣнила смѣлость, рѣзкость, даже грубость удара, она все-таки желала, чтобы эта сила была оправдана какимъ-нибудь гуманнымъ принципомъ и дѣломъ. А въ томъ, что говорилъ и дѣлалъ Базаровъ, никакой гуманности не было.

## VII.

Странно было бы въ наши дни со страстью нападать на Базарова; много прошло времени съ тѣхъ поръ, какъ онъ разсердилъ своихъ современниковъ, и все, что мы пережили послѣ его смерти, позволяетъ намъ быть болѣе справедливыми къ нему. И не столько къ нему, сколько къ Тургеневу. Тургеневъ, конечно, не имѣлъ въ мысляхъ сказать молодежи

лѣваго лагеря что-нибудь обидное, хотя самъ, можетъ быть, и чувствовалъ себя обиженнымъ кое-кѣмъ изъ ея среды. Вполнѣ спокоенъ—какъ надлежало быть художнику старыхъ традицій—онъ, однако, не былъ. Желаніе посмѣяться надъ смѣшными сторонами людей новой формаціи онъ въ себѣ не могъ осилить и, выводя на сцену „олуха" Ситникова и даму эмансипэ Кукшину, погрѣшилъ не противъ правды, а противъ художественнаго такта.

Работая надъ портретомъ Базарова, художникъ зналъ, что онъ берется говорить о самомъ существенномъ вопросѣ современности. Онъ первый возымѣлъ смѣлость раскрыть молодую душу передъ читателемъ. Писатель старался проникнуть въ тайну этой души и одну изъ характерныхъ чертъ ея онъ несомнѣнно уловилъ. Онъ отмѣтилъ въ Базаровѣ силу удара и наскока на существующее и торжествующее. Художникъ вооружилъ Базарова ломомъ и придалъ ему для этой работы соотвѣтствующую мускулатуру и нервную систему. Его устами онъ произнесъ то слово „дерзай", которое было лозунгомъ его эпохи и ближайшихъ послѣдующихъ годовъ. Этому дерзанію принесены были въ жертву всѣ нѣжныя чувства, всѣ мечты и слова объ идеалѣ, всякая забота о ближайшемъ дѣлѣ, всякая уступка кому бы то ни было, все, кромѣ сознанія силы своей личности, пока никакими поступками не вознесенной, но въ себѣ сосредоточенной въ ожиданіи какого-то большого и труднаго подвига.

Значеніе такого дерзанія было ясно всѣмъ, но всѣ привыкли понимать его не иначе какъ въ связи съ какимъ-нибудь опредѣленнымъ дѣломъ. Въ чистомъ своемъ видѣ оно могло производить впечатлѣніе непріятное. Натуры, которыя ощущали его въ себѣ и притомъ въ сильной степени, и могли бы жить имъ независимо отъ мысли о приложеніи его къ практическому дѣлу, встрѣчались рѣдко

## VIII.

Современники, единомышленники Базарова, остались имъ очень недовольны.

Передовой журналъ, въ которомъ Тургеневъ до 1861 года состоялъ ближайшимъ сотрудникомъ, первый долженъ былъ отозваться на выступленіе своего недавняго союзника въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Добролюбова, голосъ котораго въ данную минуту имѣлъ бы особую цѣну, въ живыхъ не было, Чернышевскій отъ литературной критики давно отошелъ и отвѣтъ былъ порученъ молодому публицисту М. А. Антоновичу.

Въ ряду молодыхъ сотрудниковъ „Современника“ М. А. Антоновичъ — и до нашихъ дней на пользу русской науки здравствующій — пользовался большимъ авторитетомъ. Чернышевскій былъ весьма высокаго мнѣнія объ его знаніяхъ и талантѣ, и онъ намѣчался въ наслѣдники Добролюбову. Но особой любви къ литературѣ въ тѣсномъ смыслѣ слова Антоновичъ въ тѣ годы не обнаруживалъ, и кажется, что роль присяжнаго критика была ему до извѣстной степени навязана необходимостью, тѣмъ труднымъ положеніемъ, въ какомъ очутился журналъ, потерявъ такъ неожиданно Добролюбова.

Симпатіи Антоновича лежали въ сферѣ философскаго мышленія, и въ 1861 году онъ въ „Современникѣ“ былъ самымъ убѣжденнымъ и краснорѣчивымъ апологетомъ матеріализма вообще и Фейербаха въ частности *). Онъ отстаивалъ необходимость близкаго знакомства по возможности со всею областью положительныхъ и точныхъ знаній, подробно и добросовѣстно излагалъ систему Гегеля и доказывалъ, что она не годится для нашего времени; близко

*) «Современная философія» [illegible] 1861 [illegible] 1861 [illegible] IV [illegible] 1861 VII.

къ сердцу принималъ онъ судьбы философіи въ Россіи и съ жаромъ нападалъ на стариковъ, оффиціальныхъ представителей философской каѳедры въ университетахъ въ родѣ проф. Гогоцкаго и на молодыхъ, которые не рѣшаются освободиться отъ соблазновъ идеализма, какъ напр. П. Л. Лавровъ.

Отцовъ Антоновичъ обвинялъ въ томъ, что они продолжаютъ думать надъ неразрѣшимой задачей соглашенія вѣры и разума, стремятся укоротить права разума религіозными догматами и церковной традиціей; обвинялъ ихъ въ томъ, что, не имѣя никакихъ знаній въ области естественныхъ наукъ, они берутся судить о такихъ философскихъ доктринахъ, которыя безъ этихъ знаній разработаны быть не могутъ. Антоновичъ предостерегалъ философовъ старой школы отъ манеры не читать ни одной современной строчки, не промолвить съ живымъ человѣкомъ ни одного слова и отгораживаться стѣной отъ выдвинутыхъ жизнью вопросовъ. Всего больше сердился Антоновичъ на стариковъ за то, что они всѣмъ, кто мыслитъ иначе, чѣмъ они, бросаютъ въ лицо упрекъ въ безнравственности; „зачѣмъ про своихъ враговъ въ области мышленія, т.-е. про молодыхъ послѣдователей матеріализма, они такъ беззастѣнчиво распускаютъ дурные слухи?" спрашивалъ онъ. Зачѣмъ они говорятъ про нихъ, что они „безпрерывно поглощены удовлетвореніемъ своихъ страстей, что идеи помрачены въ ихъ духѣ плотоугодіемъ и своекорыстіемъ? Зачѣмъ прибѣгать къ такимъ пріемамъ, которые не подвинутъ ни на шагъ работу надъ раскрытіемъ истины и только способны озлобить людей, которые должны свободно и спокойно работать?"

Молодыхъ философовъ, т.-е. людей, которые хотятъ новые идеалы жизни поставить подъ защиту старыхъ философскихъ системъ, и со старымъ методомъ приступаютъ къ рѣшенію новыхъ вопросовъ знанія — Антоновичъ призывалъ покинуть старую плохо защищенную позицію и стать подъ новое знамя. „Кто долго мучился въ удушливой атмосферѣ мрак-

ныхъ подваловъ старой философіи, писалъ онъ, кто испытывалъ на себѣ всю тягость ея деспотическаго гнета, кто послѣ отчаянныхъ усилій ума какъ-нибудь осмыслить для себя ея систему и освободиться отъ ея противорѣчій смутно чувствовалъ ея неестественность и неудовлетворительность, тотъ живо понимаетъ и сознаетъ значеніе и привлекательную силу новыхъ философскихъ системъ... Кто можетъ разсуждать самостоятельно, кто способенъ хоть на самое скромное сомнѣніе—тотъ необходимо пойдетъ по пути, какой прокладываютъ для человѣка новыя современныя системы философіи. Въ нихъ все такъ просто и естественно; міръ, съ его явленіями, въ томъ числѣ и человѣкомъ, разсматривается, какъ они есть и какъ мы видимъ ихъ на самомъ дѣлѣ; всякій видитъ въ нихъ что-то родное, близкое, замѣчаетъ, что тутъ дѣло идетъ именно объ немъ и о его дѣйствительной жизни, а не о какихъ-то абсолютныхъ привидѣніяхъ. А главное тутъ никто никогда не потребуетъ неестественныхъ жертвъ, отреченія отъ законовъ и требованій ума и мысли, принужденій, страха и наказаній нѣтъ никакихъ... ..Если бы не механическія поддержки, старая философія распалась бы давно".

Спасеніе философіи въ матеріализмѣ, въ „антропологіи", въ антропологическомъ принципѣ, т.-е. въ ученіи Фейербаха. Если бы Базаровъ,—вопреки своему рѣшенію не спорить о философскихъ принципахъ—вступилъ въ разговоръ на эту тему съ Антоновичемъ, онъ нашелъ бы въ немъ единомышленника, и Антоновичъ, съ своей стороны, привѣтствовалъ бы въ Базаровѣ молодого адепта новой философіи, поклонника естественныхъ наукъ и сторонника „антропологіи".

А между тѣмъ, никто изъ молодыхъ читателей не вынесъ изъ встрѣчи съ Базаровымъ такого непріятнаго впечатлѣнія, какъ именно Антоновичъ, и никто не былъ такъ сердитъ на Тургенева, какъ онъ. Въ мартовской книжкѣ „Современника" 1862 года появилась столь нашумѣвшая тогда статья Антоновича, подъ заглавіемъ „Асмодей нашего времени".

За статьей этой остается значеніе историческаго документа, такъ какъ она, несомнѣнно, выражала не только личное мнѣніе одного сотрудника, а мнѣніе самой редакціи о Базаровѣ, объ этомъ первомъ представителѣ молодого поколѣнія, который теперь изъ жизни, какъ обобщенный образъ, переходилъ въ литературу. Статья Антоновича являлась до извѣстной степени отвѣтомъ самой молодежи на вопросъ— насколько вѣрно и полно были уловлены Тургеневымъ господствующія черты ея ума и характера.

„Молодое поколѣніе, всегда довѣрчивое,—писалъ Антоновичъ,—заранѣе услаждалось надеждой увидѣть свой портретъ, нарисованный искусною рукою симпатическаго художника, портретъ, который будетъ содѣйствовать развитію самосознанія молодежи и сдѣлается ея руководителемъ. Молодежь думала, что она посмотритъ на самое себя со стороны, критически взглянетъ на свое изображеніе въ зеркалѣ таланта и лучше пойметъ себя, свои достоинства и недостатки, свое призваніе и назначеніе". И что же? „Чтеніе романа обдаетъ какимъ-то мертвящимъ холодомъ; вы не живете съ дѣйствующими лицами романа, не проникаетесь ихъ жизнью, а начинаете холодно разсуждать съ ними. Вы забываете, что передъ вами лежитъ романъ талантливаго художника, и воображаете, что вы читаете морально-философскій трактатъ, но плохой и поверхностный, который, не удовлетворяя уму, тѣмъ самымъ производитъ непріятное впечатлѣніе и на ваше чувство. Въ романѣ, за исключеніемъ одной старушки, нѣтъ ни одного живого лица, а все только отвлеченныя идеи и разныя направленія, олицетворенныя и названныя собственными именами, а главное, къ этимъ несчастнымъ, безжизненнымъ личностямъ Тургеневъ не имѣетъ ни малѣйшей жалости, ни капли сочувствія и любви, того чувства, которое зовется гуманнымъ. Тургеневъ питаетъ къ нимъ какую-то личную ненависть и непріязнь, какъ будто они лично сдѣлали ему какую-нибудь обиду и пакость, и онъ старается отомстить имъ на каждомъ шагу... Главный герой романа

ловѣкъ не глупый — напротивъ, очень способный и даровитый, изобрѣтательный, прилежно занимающійся и много знающій, а между тѣмъ въ спорахъ онъ совершенно теряется, высказываетъ безсмыслицы и проповѣдуетъ нелѣпости, непростительныя самому ограниченному уму. О нравственномъ характерѣ и нравственныхъ качествахъ героя и говорить нечего; это не человѣкъ, а какое-то ужасное существо, просто дьяволъ или, выражаясь болѣе поэтически, асмодей. Никогда ни одно чувство не закрадывалось въ его холодное сердце; не видно въ немъ и слѣда какого-нибудь увлеченія или страсти; самую ненависть онъ отпускаетъ расчитанно, по гранамъ. И, замѣтьте, этотъ герой — молодой человѣкъ, юноша! Онъ представляется какимъ-то ядовитымъ существомъ, которое отравляетъ все, къ чему ни прикоснется; всѣхъ вообще подчиненныхся его вліянію онъ учитъ безнравственности и безсмыслію; ихъ благородные инстинкты и возвышенныя чувства онъ убиваетъ своею презрительною насмѣшкой и ею же онъ удерживаетъ ихъ отъ всякаго добраго дѣла".

„Тургеневъ, однако, старается охарактеризовать молодыхъ людей возможно полнѣе и многостороннѣе; описываетъ ихъ тенденціи, излагаетъ ихъ общія философскія воззрѣнія на науку и жизнь, ихъ взгляды на поэзію и искусство, ихъ понятія о любви, объ эмансипаціи женщинъ, объ отношеніяхъ дѣтей къ родителямъ, о бракѣ". Но онъ видимо не расположенъ къ молодому поколѣнію, онъ относится къ „дѣтямъ" даже враждебно. Романъ не что иное, какъ безпощадная и разрушительная критика молодого поколѣнія. Во всѣхъ современныхъ вопросахъ, умственныхъ движеніяхъ, толкахъ и идеалахъ, занимающихъ молодое поколѣніе, Тургеневъ не находитъ никакого смысла и даетъ понять, что они ведутъ только къ разврату, пустотѣ, прозаической пошлости и цинизму. Если бы въ авторѣ была хоть искра вѣрнаго и яснаго пониманія воззрѣній и стремленій молодежи, то она непремѣнно гдѣ-нибудь заблестѣла бы въ теченіе всего

романа, но во всемъ романѣ мы не видимъ ни малѣйшаго намека на то, каково должно быть общее правило, лучшее молодое поколѣніе: всѣхъ „дѣтей", т.-е. большинство ихъ, Тургеневъ суммируетъ въ одно и представляетъ всѣхъ ихъ какъ исключеніе, какъ ненормальное явленіе. Смыслъ его романа нельзя формулировать такъ: между множествомъ хорошихъ дѣтей есть и дурныя. Задача его приводится къ такой формулѣ: дѣти дурныя, а отцы хорошіе. Если въ романѣ есть тенденція охарактеризовать извѣстное направленіе и образъ мыслей, то мы въ правѣ требовать, чтобы авторъ не утрировалъ этого направленія, чтобъ представлялъ эти мысли не въ искаженномъ видѣ и каррикатурѣ, а такъ, какъ онѣ есть... Стараясь набросить невыгодную тѣнь на молодое поколѣніе, авторъ слишкомъ ужъ погорячился, переступилъ, какъ говорится, и ужъ сталъ выдумывать такія небылицы, что вѣрится имъ съ большимъ трудомъ,—и обвиненіе кажется пристрастнымъ... Авторъ направлялъ стрѣлы своего таланта противъ того, въ сущность чего онъ не проникъ. Онъ слышалъ разнообразные голоса, видѣлъ новыя мнѣнія, наблюдалъ оживленные споры, но не могъ добраться до ихъ внутренняго смысла и потому въ своемъ романѣ онъ коснулся однѣхъ только верхушекъ, однихъ словъ, которыя произносились вокругъ него; понятія же, соединенныя съ этими словами, остались для него загадкою. Можно набрать тысячу еще болѣе рѣзкихъ и болѣе губительныхъ для „дѣтей" фактовъ, разукрасить ихъ цвѣтами фантазіи и поэтическаго воображенія, составить изъ нихъ романъ и также назвать его „Отцы и дѣти". Романъ Тургенева имѣетъ одностороннее значеніе и, вмѣсто обличенія, у него вышла клевета. Распространителей здравыхъ понятій между молодымъ поколѣніемъ онъ хотѣлъ представить развратителями юношества, сѣятелями раздора и зла, ненавидящими добро".

Таковы были основныя мысли статьи Антоновича. Критикъ былъ очень раздраженъ, писалъ нервно, мѣстами злобно, приписалъ Тургеневу желаніе во что бы то ни

стало очернить молодежь, наговорилъ автору много обидныхъ дерзостей, нерѣдко толковалъ слова и поступки Базарова превратно, силясь найти въ нихъ и глупость, и безнравственность, и злой умыселъ, которыхъ не было; особенно сердитъ былъ критикъ, когда ему пришлось говорить о философскихъ симпатіяхъ Базарова и объ его взглядахъ на женщину: видно было, что въ этихъ двухъ больныхъ вопросахъ молодой читатель чувствовалъ себя всего болѣе обиженнымъ, въ первую голову авторомъ, а затѣмъ Базаровымъ.

Много непріятностей причинила эта статья Антоновичу. Въ свое время она была прочтена съ любовью и удовольствіемъ молодыми людьми, которые не желали Базарова признать своимъ представителемъ, и прочтена съ злорадствомъ тѣми, кто вообще не любилъ молодаго поколѣнія. Потомъ, когда время сгладило остроту перваго впечатлѣнія, произведеннаго романомъ, и когда Базаровы смѣнились иными вождями, въ памяти людей, вспоминавшихъ тѣ годы, да и въ памяти тѣхъ, кто брался писать объ этихъ годахъ, сохранилось лишь воспоминаніе о томъ, что Антоновичъ отругалъ Тургенева, какъ Базаровъ Пушкина.

А между тѣмъ статья Антоновича имѣетъ большую историческую цѣнность. Она выражала не единичное мнѣніе какого-нибудь любителя словесности, а мнѣніе широкаго круга читателей, которымъ до словесности не было въ сущности никакого дѣла. Эти читатели были возмущены тѣмъ, что художникъ старшаго поколѣнія, много жившій и опытный въ рѣшенія разныхъ психологическихъ задачъ, такъ произвольно упростилъ въ своемъ романѣ одну изъ труднѣйшихъ задачъ души человѣческой. Пусть художникъ и не имѣлъ въ виду умышленно опорочить молодое поколѣніе, пусть онъ добросовѣстно наблюдалъ жизнь, но зачѣмъ онъ такъ легкомысленно отнесся къ тѣмъ душевнымъ и умственнымъ бореніямъ, которыя молодежь такъ глубоко переживала, которыя стоили ей такихъ усилій надъ собою и, конечно,

стоили многихъ страданій? Развѣ та сложная душа, мятежная, поставленная на распутіи между отрицаніемъ и утвержденіемъ, между ненавистнымъ прошлымъ и желаннымъ будущимъ, вынужденная отрекаться отъ многаго, что могло быть дорого—развѣ она была такъ проста, такъ невозмутимо самоувѣренна, спокойна и такъ часто груба и нечувствительна, какъ душа Базарова, для котораго всѣ вопросы рѣшены безповоротно, потому что большинство этихъ вопросовъ имъ отвергнуто безъ всякаго раздумья? Неужели разрушитель и отрицатель, и только отрицатель, былъ наиболѣе характернымъ и наиболѣе распространеннымъ типомъ среди всѣхъ молодыхъ душъ и умовъ, которые считали, что отрицаніе есть необходимая ступень къ новому строительству жизни? Антоновичъ былъ правъ, когда упрекалъ Тургенева въ томъ, что онъ освѣтилъ необычайно сложный вопросъ лишь съ одной стороны и выбралъ изъ среды молодежи представителя, который ни въ какомъ случаѣ не могъ быть представителемъ большинства. Пусть даже Тургеневъ не былъ тенденціозенъ въ этомъ выборѣ, онъ погрѣшилъ противъ правды жизни, которая была значительно сложнѣе, чѣмъ ему это показалось.

## XI.

Молодой читатель не пожелалъ признать ни въ Молотовѣ, ни въ Базаровѣ близкаго товарища и друга. Наблюдая за своими сверстниками и за самимъ собой, онъ видѣлъ, что вопросы новой жизни рѣшаются далеко не такъ просто и такъ сплеча, какъ они рѣшены были Базаровымъ, и вовсе не такъ вяло и такъ осторожно, какъ ихъ рѣшалъ Молотовъ. Молотовъ готовился къ настоящей борьбѣ и настоящему дѣлу и застылъ въ его ожиданіи, утративъ и желаніе, и способность бороться. Мѣщанское счастье парализовало его силы. Базаровъ —тотъ избралъ иной путь: онъ также

готовился къ борьбѣ и дѣлу, но думалъ, что такая подготовка можетъ обойтись безъ всякихъ душевныхъ и умственныхъ бореній, что одной силой своей воли и смѣлостью рѣшенія человѣкъ можетъ сразу и безболѣзненно отречься отъ всего прошлаго, и, разрушивъ все, ждать, пока не онъ, а сама жизнь начнетъ строить на пустомъ мѣстѣ новое зданіе.

Быть можетъ, такие люди и встрѣчались въ жизни, но не они были солью молодежи...

# Канунъ освобожденія

Впечатлѣніе, какое произвелъ манифестъ 19 февраля на разные круги общества.— Недовольство радикальныхъ круговъ. Настроенія радикальной молодежи за весь канунъ освобожденія. Подъемъ революціонной энергіи и темперамента къ 1861 году.

## I.

Время пришло и наступилъ 1861 годъ. Манифестъ объ освобожденіи крестьянъ былъ подписанъ и въ мартѣ мѣсяцѣ опубликованъ. Изъ области воспоминаній, разсужденій, плановъ и надеждъ новая жизнь вступала въ область осязаемыхъ житейскихъ явленій. Для оффиціальныхъ круговъ манифестъ былъ осуществленіемъ задуманнаго; въ глазахъ народной массы онъ былъ туманнымъ обѣщаніемъ чего-то, очень нужнаго и дорогого, къ чему отнынѣ разрѣшалось стремиться и что можно было получить при желаніи. Когда новый законъ сталъ осуществляться, онъ вызвалъ не мало кровавыхъ столкновеній между освобождаемыми и освободителями. Народная масса, несомнѣнно, привѣтствовала то, съ чѣмъ у нея было связано туманное представленіе о благѣ и счастіи, о томъ, чего она давно желала, и что въ ея представленіи съ годами принимало все болѣе и болѣе заманчивый обликъ. То, что ей было дано въ 1861 году, ея надеждъ не покрыло, и въ дальнѣйшей своей жизни народная масса могла только все рѣзче и чаще обнаруживать

недовольство своимъ положенiемъ, что она и дѣлала, несмотря на самую блительную опеку власти.

Поздравить себя и быть вполнѣ довольными могли лишь Государь и нѣкоторые изъ его близкихъ—люди, признавшие реформу назрѣвшей и не убоявшiеся провести ее. Они могли поставить себѣ въ заслугу ту смѣлость, какую они обрѣли въ своей душѣ, не привыкшей идти на уступки; они могли быть довольны, сознавая, что совершили свой долгъ передъ отечествомъ, и врядъ ли въ ихъ душѣ было много опасенiй за будущее. Жизнь русскаго простонародья они знали мало; предположить, что народъ, по волѣ ихъ „освобожденный", останется въ концѣ концовъ недоволенъ, они врядъ ли могли; а когда узнавали о такомъ недовольствѣ, то считали его недоразумѣнiемъ.

Многiе другiе, принадлежавшiе къ высшимъ слоямъ общества, были раздражены совершившимся. Недовольны были прежде всего крѣпостники, въ глазахъ которыхъ манифестъ 19 февраля былъ посягательствомъ на ихъ собственность и актомъ великой государственной неосмотрительности. А такихъ крѣпостниковъ было немалое количество. Тревожно и отнюдь не восторженно были настроены тѣ дворяне, которые вполнѣ понимали необходимость жертвы и шли на нее добровольно, хотя не безъ сожалѣнiя и страха за самихъ себя. Они привѣтствовали свободу народа; но они не могли побороть въ себѣ опасенiй за будущее, сознавая, что правительственное рѣшенiе вопроса не есть еще его разрѣшенiе на почвѣ нравственной, общественной и экономической. Недовольной и разочарованной осталась и та дворянская группа, которая всего больше потрудилась надъ реформой. Эти дворяне, либералы или, вѣрнѣе, дворяне-гуманисты, желавшiе провести реформу въ смыслѣ возможно болѣе благопрiятномъ для крестьянства, люди, самымъ искреннимъ образомъ преданные дѣлу, должны были признать, что это дѣло не только не доведено до благополучнаго конца, а запутано, усложнено и искажено. Освобожденiемъ они не могли при-

знать то положеніе, при которомъ крестьянинъ, пріобрѣтал личную свободу, не получалъ ни достаточной обезпеченности, ни полноты гражданскихъ правъ, чтобы завоевать себѣ свободу матеріальную и духовную.

Чиновный міръ, поскольку онъ вербовался изъ дворянскаго сословія, дѣлилъ въ данномъ случаѣ всѣ надежды и страхи дворянства, а чиновникъ средняго полета и мелкій чувствовалъ себя очень смущенно и неловко, когда начиналъ думать о томъ, какъ при новыхъ порядкахъ ему придется изворачиваться, ему, привыкшему за столько лѣтъ къ удобному трафарету жизни.

Интеллигентные круги общества,—та разношерстная масса людей, не стоящихъ у опредѣленнаго практическаго дѣла, но оставляющая за собой право сужденія о дѣлахъ—высказывалась о совершившемся переломѣ также не единомышленно и вообще не въ восторженномъ духѣ. Въ началѣ, когда реформа была только-что обѣщана, конечно, всѣ органы печати, не исключая и „Колокола", отдались разнымъ мечтаніямъ болѣе или менѣе лазурнымъ, и тонъ статей былъ хвалебный, восторженный, молитвенный и праздничный. Но по мѣрѣ того, какъ реформа становилась предметомъ болѣе подробнаго обсужденія и проходила черезъ разные круги испытаній, отношеніе къ ней общества начало мѣняться. Общія слова, надежды, пожеланія, привѣтствія замѣнились серьезными выкладками, и когда печати, наконецъ, было разрѣшено обстоятельно высказаться по крестьянскому вопросу, то по экономическимъ статьямъ „Русскаго Вѣстника" и въ особенности „Современника" можно было видѣть, съ какой тревогой и какими опасеніями люди знающие стали слѣдить за ходомъ дѣла... Когда манифестъ былъ подписанъ, многимъ стало ясно, что будущее грозитъ весьма большими осложненіями.

„Современникъ" не скрывалъ своего полнаго разочарованія, и во внутреннемъ обозрѣніи за мартъ мѣсяцъ 1861 года обозрѣватель [Г. З. Елисеевъ] съ ироніей говорилъ:

„Вы, читатель, вѣроятно, ожидаете, что я поведу съ вами рѣчь о томъ, о чемъ трезвонятъ, поютъ, говорятъ теперь всѣ журналы, журнальцы и газетки, т. е. о дарованной крестьянамъ свободѣ. Напрасно. Вы ошибаетесь въ вашихъ ожиданіяхъ. Мнѣ даже обидно, что вы такъ обо мнѣ думаете. Я не подалъ вамъ никакого даже малѣйшаго повода думать, что я хочу стяжать лавры фельетониста, что я безустанно буду гоняться за всѣми новостями, какія бы онѣ ни были, которыя появятся въ теченіе мѣсяца, ловить ихъ и представлять вамъ въ своемъ „Обозрѣніи"“...

Чернышевскій, вспоминая былые годы въ романѣ „Прологъ Пролога"—говорилъ то же самое. „Я не желаю,—писалъ онъ,—чтобы дѣлались реформы, когда нѣтъ условій, необходимыхъ для того, чтобы реформы производились удовлетворительнымъ образомъ. Съ землею или безъ земли будутъ освобождены крестьяне, это—разница ничтожная. Была бы разница колоссальная, если бы крестьяне получили землю безъ выкупа. Взять у человѣка вещь, или оставить ее у человѣка, но взять съ него плату за нее—все равно. Выкупъ та же покупка. Если сказать правду, лучше, пусть будутъ освобождены безъ земли“.

Эти полныя сарказма слова, сказанныя нѣсколько лѣтъ спустя послѣ событія, ихъ вызвавшаго, и подкрѣпленныя многими другими словами изъ воспоминаній Чернышевскаго, передаютъ, конечно, съ достаточной точностью ту оцѣнку, какую актъ освобожденія крестьянъ нашелъ въ кругахъ прогрессивныхъ и радикальныхъ.

Въ оцѣнкѣ акта 19-го февраля сошлись всѣ группы передового лагеря, и „Колоколъ" и „Современникъ". Для всѣхъ, кто гнался за дѣйствительностью или обгонялъ ее въ мечтахъ, манифестъ былъ не завершеніемъ дѣла, какимъ считало его правительство, а только его началомъ. Были всѣ основанія думать, что и другія реформы, намѣченныя и обѣщанныя, будутъ проведены въ жизнь въ томъ же урѣ-

занномъ видѣ, какъ и главная реформа, на которую возлагалось столько надеждъ.

## II.

Нервное настроеніе передовыхъ круговъ за шесть лѣтъ этой, съ виду спокойной, а внутри столь тревожной жизни — неизмѣнно и быстро повышалось. На-лицо были всѣ условія, которыя такому повышенію могли способствовать.

Ничто не дѣйствуетъ такъ вредно на нервы человѣка, какъ молчаливая работа, свершающаяся вокругъ него, работа, къ которой лежитъ вся его душа, но въ которой онъ самъ участія принимать не можетъ. Когда съ первыми годами новаго царствованія стало ясно, что жизнь должна повернуть на новую дорогу, когда само правительство рѣшилось взять на себя иниціативу этого поворота и высказало готовность воспользоваться помощью общества, — все, что было въ странѣ благомыслящаго и прогрессивнаго, и молодежь, конечно, впереди всѣхъ, могло испытать ту блаженную минуту счастливой вѣры въ будущее, которая такъ возбуждаетъ въ человѣкѣ желаніе работать и повышаетъ его трудоспособность.

И эта, самая законная въ людяхъ потребность служить тому, во что вѣришь, оставалась совсѣмъ неудовлетворенной. Внѣшній обликъ русской жизни не мѣнялся, все оставалось по-старому, какъ въ минувшее царствованіе; ни къ какому живому дѣлу силы приложены быть не могли; планы новой жизни разрабатывались въ тиши, въ шумѣ мечтаній, который не нарушалъ тишины общественной жизни. Извѣстно было стороной, какъ туго шла работа, на какія она наталкивалась препятствія и возраженія; помочь этой работѣ люди, непосредственно къ ней не привлеченные, не могли; долгое время не могли даже гласно высказаться о ней. Приходилось молчать, ждать и разговаривать въ болѣе или менѣе тѣсномъ кругу. Такое положеніе [illegible]

ликаго дѣла, въ которое готовъ уйти съ головой, и о которомъ только ловишь слухи, въ большинствѣ случаевъ тревожные пагубно отзывалось на нервахъ людей молодыхъ, впечатлительныхъ и нетерпѣливыхъ. Если бы ходъ работы обѣщалъ успѣшное и желанное разрѣшеніе вопроса, то съ такимъ молчаливымъ выжиданіемъ можно было бы еще помириться; но людямъ передового лагеря хорошо было извѣстно, въ какомъ направленіи движется разрѣшеніе вопроса, а когда наконецъ оно послѣдовало, можно было обозлиться и на тѣхъ, кто вынуждалъ къ молчанію, и на самого себя за то, что молчалъ.

*„Дѣятельность“* такъ или иначе становилось потребностью, тѣмъ болѣе, что молодые люди имѣли основаніе считать себя уже подготовленными для выступленія и могли указать на нѣкоторыя жертвы, ими принесенныя, и на трудъ, ими совершенный, который до извѣстной степени давалъ имъ право на вниманіе. Большинство молодыхъ людей прогрессивнаго и радикальнаго образа мыслей по происхожденію своему принадлежало къ тѣмъ „разночинцамъ“, для которыхъ жизнь въ большинствѣ случаевъ была мачехой. Они немало пострадали отъ духовной тьмы, окутавшей ихъ дѣтство и юность, рано ознакомились съ нуждой, лишеніями, съ гибелью и чахлымъ ростомъ дарованія, съ голодомъ умственнымъ и душевнымъ, и имѣли право винить во всѣхъ этихъ неустройствахъ жизни тотъ общественный порядокъ, который хоть и осужденный, продолжалъ жить вопреки молодымъ силамъ, готовымъ работать надъ его разрушеніемъ и служить его обновленію. Перенесенныя испытанія и страданія требовали извѣстной оплаты, и представлялась она, конечно, всего чаще въ видѣ возможности такъ или иначе принять участіе въ общей работѣ надъ дѣломъ, неотложность котораго была всѣми признана. А такой возможности не представлялось.

Сознаніе своего „права на трудъ“ крѣпло и было поддержано въ умахъ молодежи ея убѣжденіемъ въ томъ, что

она по образу своихъ мыслей и по своему настроенію самая живая сила, самая молодая, самая современная. Молодежь признавала за собой особую способность наиболѣе чутко, нервно и сильно отзываться на требованія минуты. Такая нервность вполнѣ естественно могла быть принята за правоту, и человѣкъ, наиболѣе чутко относящійся къ жизни, могъ думать, что онъ къ ней относится и наиболѣе справедливо. Сдѣлать такой выводъ было тѣмъ легче, чѣмъ болѣе человѣкъ былъ убѣжденъ въ томъ, что онъ вооруженъ самоновѣйшимъ знаніемъ и обладаетъ наиболѣе полнымъ и въ научномъ смыслѣ наиболѣе вѣрнымъ общимъ міропониманіемъ. А молодое поколѣніе 1855—1861 годовъ гордилось тѣмъ, что оно въ наукѣ опережало и опередило поколѣніе старшее. Пусть работа надъ выработкой общаго міросозерцанія была работой не систематичной, отрывочной, была произведена наскоро, пусть большинство получало знаніе изъ вторыхъ рукъ—въ молодежи была сильна горделивая увѣренность въ правильности своего научнаго сужденія о многихъ самыхъ существенныхъ вопросахъ жизни. Еще болѣе сильно было въ ней сознаніе своей гражданской чуткости, въ отсутствіи которой она такъ винила старшихъ.

При такомъ высокомъ мнѣніи о себѣ и при такомъ темпераментѣ, быть поставленными въ необходимость молчать и вести частные разговоры, созерцать и сердиться, жить по старому шаблону и мечтать о совсѣмъ новыхъ условіяхъ жизни—было до крайности тяжело.

На первыхъ порахъ большое самоудовлетвореніе могла дать свобода сужденія и критическое отношеніе къ недавнему прошлому. Потребность высказать рѣшительно и поскорѣе все, что накопилось за долгіе годы молчанія, была очень сильна. Сдавленный гнѣвъ и затаенное раздраженіе на старыя условія жизни прорвались наружу. Обличеніе во всѣхъ его видахъ имѣло самый ходкій успѣхъ. Для такого обличенія требовалось не столько знаніе, сколько чувство, то, чего въ молодежи всегда очень много. И такая критика

стараго, не успѣвающая, конечно, различать между тѣмъ, что менѣе и что болѣе заслуживаетъ осужденія, критика пылкая, не дѣлающая никакихъ уступокъ и оправдывающая свою строгость силой возмущеннаго нравственнаго чувства, служила на первыхъ порахъ большимъ облегченіемъ. Но конечно, такое самоудовлетвореніе было кратковременно; на долгій срокъ оно могло стать даже опаснымъ, такъ какъ можно было бояться, какъ бы словеснымъ разносомъ стараго или настоящаго не ограничились люди, призванные служить будущему не словами, а дѣломъ. Но дѣло найти было очень трудно, а слова были всегда на устахъ.

Можно было, критикуя и обличая, разрѣшить себѣ и помечтать, и несомнѣнно, что недостатка въ такихъ мечтахъ молодые умы и сердца не ощущали. Мечты относились не къ прошлому, какъ грезы романтиковъ, а къ будущему, тому будущему, которое должно наступить если не завтра (а почему не завтра?), то очень скоро. Признать такія мечты мечтами молодые люди врядъ ли бы согласились. Для нихъ онѣ были увѣренностью, исторической необходимостью, которая потому такъ долго оставляла себя ждать въ Россіи, что наступленіе ея было насильственно задержано силами, враждебными прогрессу. Стоило эти силы уничтожить или обезвредить, и желанный гражданскій и государственный строй, въ которомъ согласованы добро, свобода и справедливость, могъ бы легко осуществиться. О такомъ строѣ передовая молодежь тѣхъ годовъ много толковала; онъ представлялся ей, конечно, въ довольно смутныхъ очертаніяхъ, но различныя попытки теоретическаго его построенія на Западѣ дѣлали эти молодыя грезы достаточно осязаемыми.

Воспоминаніе и вызванное имъ недовольство, наводящее на сердитое раздумье, и мечта о будущемъ, которая также будила непріязненное чувство къ современности — вотъ тѣ два психическихъ состоянія, которыя попеременно или одновременно владѣли молодыми душами и требовали себѣ, ко-

нечно, естественнаго дополненія въ успокаивающемъ сознаніи какого-нибудь творимаго плодотворнаго труда. Критиковать, надѣяться и *ничего не дѣлать* — таково было то трудное положеніе, на которое судьба осудила очень многихъ молодыхъ людей, переживавшихъ канунъ освобожденія.

Страннымъ можетъ показаться, что людямъ молодымъ, ищущимъ и жаждущимъ дѣла, не нашлось такового въ жизни, которая все-таки очень многое обѣщала, и кое-какія изъ этихъ обѣщаній оправдывала. Но на самомъ дѣлѣ такъ было. Счастливыми могли назвать себя тѣ изъ молодыхъ людей, которые владѣли перомъ художника, критика, публициста или ученаго и имѣли потому нѣкоторое основаніе считать себя стоящими непосредственно у новаго дѣла. Несмотря на всю трудность ихъ положенія, они могли до извѣстной степени провѣрять успѣшность своей работы. Но такихъ счастливыхъ было очень немного.

Молодые люди могли бы, впрочемъ, ограничиться самообразованіемъ и самовоспитаніемъ и такую работу надъ своей личностью счесть трудомъ общественнымъ. Но при тогдашнихъ условіяхъ на такое терпѣніе разсчитывать было трудно, тѣмъ болѣе, что изъ всѣхъ добродѣтелей молодости терпѣніе всегда одна изъ рѣдчайшихъ. Но въ данномъ случаѣ и эта плодотворная работа была обставлена такими условіями, при которыхъ она не только не могла дѣйствовать успокоительно, а наоборотъ, должна была съ своей стороны горячить тѣхъ, кто приступалъ къ ней. Учебныя заведенія тѣхъ годовъ, преподаваніе въ которыхъ шло по старымъ программамъ, въ глазахъ передовой молодежи довѣріемъ и уваженіемъ не пользовались и учителями молодежи были не тѣ, кто сидѣлъ на каѳедрѣ, а вольные журнальные работники.

Но даже при успѣшной работѣ надъ самообразованіемъ, вопросъ о *дѣлѣ* не упразднялся: хотѣлось все-таки стать у самыхъ колесъ, которыми общественная и государственная жизнь приводились въ движеніе. До тѣхъ годовъ, когда

каждая новая реформа крестьянская, судебная, земская, учебная, городская—открывала новыя области для непосредственнаго труда надъ жизнью, общественная работа была возможна лишь въ видѣ чиновничьей службы. Допустить, что молодой человѣкъ прогрессивнаго образа мыслей почувствовалъ бы себя какъ чиновникъ „у дѣла“—врядъ ли можно. Успокоившіеся Молотовы могли попадаться только какъ исключеніе. Съ другой стороны предположить, что молодой человѣкъ ограничится однимъ отрицаніемъ, словеснымъ осужденіемъ прошлаго и существующаго и будетъ готовить себя къ какому-то дѣлу, очертанія котораго ему совсѣмъ не ясны — тоже нельзя. Базаровы могли встрѣчаться также лишь какъ исключеніе.

А жажда дѣла требовала утоленія. Всѣ доступные пути не обѣщали ничего. Приходилось измышлять иной путь, брать самому инищіативу въ его отысканіи. О какихъ-нибудь мелкихъ дѣлахъ при такомъ рѣшеніи не могло быть, конечно, и рѣчи. Нужно было начать работать надъ созданіемъ новой общественной силы, которая могла бы сама, не дожидаясь разрѣшенія свыше, приблизить жизнь къ такому строю, къ которому никакъ нельзя придти, идя путями, уже проложенными, будь они даже расширены и уравнены. Нужно было такъ настроить общество, чтобы оно сознало себя силой, равной силѣ правительственной, и рѣшилось вступить съ ней въ борьбу, не ожидая подарковъ, а выставляя требованія и защищая ихъ дѣломъ, а не словомъ.

И многіе изъ молодыхъ людей тѣхъ годовъ пришли къ рѣшенію, что одинъ только путь революціонный способенъ привести ихъ къ желанной цѣли.

## III.

Съ 1861 года въ нашей общественной жизни замѣчается очень быстрое повышеніе революціоннаго темперамента въ передовыхъ и радикальныхъ кругахъ. Съ этого

именно времени начинается рядъ очень крупныхъ политическихъ процессовъ, которые показываютъ, что революціонная агитація успѣла охватить немалое количество умовъ и сердецъ.

Зарождалось настоящее революціонное движеніе, т.-е. такое, которое предполагаетъ не только подготовку отдѣльныхъ вождей, но и ихъ непосредственное общеніе съ массой. И было оно не продолженіемъ начатаго, а первымъ проявленіемъ еще совсѣмъ незнакомаго русскому обществу психическаго состоянія и склада ума. Революціонеръ до-реформенной эпохи, если ужъ называть этимъ словомъ тѣхъ лицъ, которыя собрались или собирались возстать противъ существующаго порядка, лицъ, всѣ имена которыхъ намъ съ точностью извѣстны, отличался отъ настоящаго революціонера шестидесятыхъ и послѣдующихъ годовъ тѣмъ, что не обладалъ ощущеніемъ своей солидарности съ народной массой, ради которой онъ бралъ на себя столь отвѣтственное дѣло. Революціонеръ старой формаціи не сознавалъ себя настоящей силой и разсчитывалъ на случай, на удачу, на быстроту произведеннаго съ малыми средствами маневра, и, хоть убѣжденный и вѣрующій въ свое дѣло, онъ твердой почвы подъ ногами не чувствовалъ. Революціонеръ, свидѣтель и участникъ реформъ, былъ, въ отличіе отъ своего предшественника, вполнѣ убѣжденъ, что онъ нашелъ въ народной массѣ стойкаго союзника, что онъ призванъ выразить и осуществить тайныя желанія этой массы, что время, наконецъ, начало на него работать и каждый день приноситъ ему подкрѣпленіе. Онъ ставилъ себѣ задачей не только увеличеніе числа ближайшихъ помощниковъ и подготовку вождей и агитаторовъ. Онъ с[illegible] [illegible]оронитъ дѣло пропаганды въ самомъ народѣ, и, не считаясь съ недостаточностью своей подготовки, шелъ на опасную позицію почти безъ прикрытія, на глазахъ той власти, съ которой вступалъ въ состязаніе. Теорія его интересовала мало, все нужное для нея онъ наспѣхъ бралъ у западныхъ

соціалистовъ, коммунистовъ и анархистовъ, чтобы посвоорѣе свести эти теоріи на самыя простыя общепонятныя и общедоступныя положенія и внѣдрить ихъ въ народное сознаніе. Онъ былъ убѣжденъ, что въ освобождаемомъ и освобожденномъ народѣ онъ встрѣтитъ полный откликъ, что народъ втайнѣ давно думаетъ такъ же, какъ и онъ, и только не умѣетъ выразить своей мысли.

Молодой человѣкъ, рѣшившійся на смѣлый шагъ революціоннаго вмѣшательства въ жизнь, началъ подготовлять почву для своей работы. Пойти въ народъ и начать жить съ нимъ, какъ онъ это сдѣлалъ позднѣе, онъ пока еще не рѣшался, но ознакомить широкія массы съ своими мыслями и планами онъ счелъ своевременнымъ. Чтобы осуществить этотъ замыселъ, въ его распоряженіи было лишь одно средство — начать раскидывать въ городѣ и въ деревнѣ прокламаціи, которыя можно было печатать въ тайныхъ типографіяхъ или привозить изъ-за границы.

Политическіе процессы, которые начались съ 1861 года, показываютъ, что къ этому времени дѣло революціонной пропаганды уже достаточно окрѣпло и что сношенія съ вольной лондонской типографіей Герцена были прочно установлены. Революціонное настроеніе имѣлось на-лицо къ тому году, когда первая реформа была осуществлена и когда, наконецъ, являлась хоть слабая возможность начать борьбу съ правительствомъ на почвѣ опредѣленнаго практическаго дѣла.

На ряду съ революціоннымъ настроеніемъ, т.-е. такимъ, которое толкало молодыхъ людей на поступки, правительству явно враждебные, въ эти же годы стала явственно замѣтна вообще повышенная нервная возбудимость въ молодыхъ кругахъ. Она проявлялась преимущественно въ студенческихъ волненіяхъ. Въ 1857 году такія волненія происходили въ Казани, въ 1858 году въ Харьковѣ и отразились въ Москвѣ, въ 1859 году въ Кіевѣ и Харьковѣ; въ 1860 году были волненія въ Николаевской военной академіи въ Петер-

бургѣ, наконецъ, въ 1861 году въ Петербургѣ же разыгралась студенческая исторія, столь богатая по своимъ послѣдствіямъ и нашедшая откликъ въ Москвѣ.

Съ каждымъ годомъ общественные вопросы обострялись и горячили тѣхъ молодыхъ людей, которые всего болѣе ихъ обостренію способствовали. Если вспомнить, что въ это же время [1856 — 1861 гг.] продолжались и разростались крестьянскія волненія, а съ 1859 года начались политическія демонстраціи въ Польшѣ, то легко себѣ представить, какъ такая атмосфера могла вліять на повышеніе боевого настроенія. Къ 1861 году это настроеніе вполнѣ обозначилось и, неизмѣнно повышаясь, оно стало отличительной чертой той исторической эпохи, которая открылась актомъ освобожденія крестьянъ.

Годы, которые обыкновенно принято называть „шестидесятыми“ [1861—1870 гг.], въ разработкѣ теоретическихъ вопросовъ — научныхъ, философскихъ, нравственныхъ и политическихъ — мало чѣмъ отличаются отъ годовъ кануна освобожденія [1855—1861 гг.]. То міросозерцаніе, которое сложилось и создалось при поворотѣ жизни со старой дороги на новую, міросозерцаніе, поддержанное талантами Герцена, Чернышевскаго, Добролюбова и ихъ ближайшихъ сотрудниковъ по „Современнику“, продолжало въ шестидесятыхъ годахъ оставаться господствующимъ въ кругахъ передовой молодежи и никакихъ особенно значительныхъ перемѣнъ и перестроекъ въ немъ произведено не было. Только нѣкоторыя части этого міропониманія получили болѣе полное истолкованіе, какъ, напр., вопросъ о значеніи естественныхъ наукъ въ общей системѣ образованія и воспитанія, о чемъ такъ ратовалъ Писаревъ, и вопросъ о роли личности въ общемъ ходѣ прогресса, вопросъ, такъ своеобразно и философски освѣщенный Лавровымъ.

Годы, слѣдующіе за освобожденіемъ, отличаются отъ лѣтъ ему предшествующихъ, не столько новыми идеями, пущенными въ обращеніе, сколько именно повышеніемъ боевого

настроенія, которое послѣдовательно и неустанно развивалось въ направленіи революціонныхъ дѣйствій. Прогрессивный во всѣхъ его видахъ и радикальный образъ мысли вполнѣ сложился и окрѣпъ въ 1855—1861 гг.; общія очертанія желанной социальной и государственной жизни были опредѣлены тогда же. Въ послѣдующихъ годахъ надлежало только изыскать средства для осуществленія этой общей программы и пуститься на розыски ближайшихъ союзниковъ—не среди единичныхъ лицъ, а въ массахъ; надлежало также болѣе опредѣленно разграничить и обособить работу отдѣльныхъ прогрессивныхъ группъ—группъ либеральныхъ, радикальныхъ и затѣмъ террористическихъ — т.-е. надлежало произвести раздѣленіе новаго труда, къ чему также было уже приступлено въ 1855—1861 годахъ.

## IV.

Ко всѣмъ передовымъ группамъ власть отнеслась съ фатальнымъ невниманіемъ и съ еще болѣе фатальной строгостью. Молодыя силы, пылкія сердца и умы, быстрые на рѣшенія и поступки, казались власти очень опасными, казались ей большой угрозой для мирнаго и спокойнаго развитія гражданской жизни. Назвать эти силы мирными, конечно, нельзя: онѣ вносили въ жизнь большую тревогу, сердили весьма многихъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ, несомнѣнно, переступали за черту закона и становились силами революціонными въ полномъ смыслѣ слова. Насколько, однако, ихъ революціонная дѣятельность была опасна, и насколько онѣ могли грозить мирному ходу жизни — это вопросъ спорный. Но даже если рѣшить его въ томъ смыслѣ, въ какомъ онъ былъ рѣшенъ правительственной властью, врядъ ли можно признать цѣлесообразнымъ ту форму борьбы съ ними, какую правительство избрало. Вмѣсто того, чтобы воспитывать подростающія поколѣнія и создать

такія условія жизни, при которыхъ всякія крайности въ мысляхъ, чувствахъ и поступкахъ теряли бы свою остроту и постепенно сглаживались, правительство брало на себя исключительно роль карателя, и думало, что, строго придерживаясь буквы закона, оно творитъ актъ высшей справедливости. Все было сдѣлано для того, чтобы крайнія идеи укоренялись въ молодыхъ умахъ, чтобы фантазія, лишенная возможности всякой провѣрки на дѣлѣ, пріобрѣтала все бóльшую и бóльшую заманчивость, и все было сдѣлано, чтобы суровыми мѣрами надолго, если не на всю жизнь, озлобить людей, пытавшихся безкорыстно, въ увлеченіи идеей или мечтой, навязать жизни свою волю,—озлобить ихъ и всѣхъ, кто любилъ и уважалъ ихъ.

При такихъ, мирной общественной работѣ ничего не обѣщающихъ, условіяхъ закончился канунъ освобожденія.

Россія вступала въ эпоху реформъ, великихъ по замыслу, но отнюдь не великихъ по выполненію.



# Примѣчанія

## «Колоколъ» 1857—1861 гг.

1. «Сочиненія А. И. Герцена». Женева, 1875. I. Предисловіе.
2. *Шелгуновъ.* «Изъ прошлаго и настоящаго».
3. *Л. Пантелѣевъ.* «Изъ воспоминаній прошлаго» 1905.
4. «Старый міръ и Россія» 1854.
5. «Письмо Мишле» 1851.
6. «О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи» 1852.
7. «Письмо Мишле» 1851.
8. «Старый міръ и Россія» 1854.
9. «Старый міръ и Россія» 1854.
10. «Старый міръ и Россія» 1854.
11. «Письмо Мишле» 1851.
12. «Старый міръ и Россія» 1854.
13. Въ письмѣ къ М. П. Погодину.
14. *В. Мещерскій.* «Мои воспоминанія» I.
15. *Schédo-Ferroti.* «Le nihilisme en Russie»
16. «Колоколъ» № 1, 1 іюля 1857.
17. «К.» № 18, 1 іюля 1858.
18. «К.» № 28, 15 ноября 1858.
19. «Полярная Звѣзда» 1856.
20. «К.» № 32 и 33, 1 января 1859.
21. «К.» № 70, 1 мая 1860.
22. «Полярная Звѣзда» 1856.
23. «К.» № 6, 1 декабря 1857.
24. «К.» № 2, 1 августа 1857.
25. «К.» № 57—58, 1 декабря 1859.
26. «Полярная Звѣзда» 1855, стр. 210, 231.
27. «К.» № 56, 15 ноября 1859.
28. «К.» № 67, 1 апрѣля 1860.

29. «К.» № 2, 1 августа 1857.
30. «К.» № 32 и 33, 1 января 1859.
31. Тамъ же.
32. «К.» № 67, 1 апрѣля 1860.
33. «К.» № 59, 15 декабря 1859
34. «Полярная Звѣзда» 1856. VIII.
35. «К.» № 59, 15 декабря 1859.
36. »К.» № 13, 15 апрѣля 1858.
37. «К.» № 32 и 33, 1 января 1859.
38. «Пріятельскій разговоръ». «Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ».
39. «Отъ издателя».
40. «Отъ издателя».
41. «К.» № 2, 1 августа 1857.
42. «К.» № 4, 1 октября 1857. Слова одного корреспондента.
43. «К.» № 23 и 24, 15 сентября 1858.
44. «К.» № 27, 1 ноября 1858.
45. «К.» № 72, 1 іюня 1860.
46. «К.» № 77 и 78, 1 августа 1860. Слова Огарева.
47. «К.» № 89, 1 января 1861.
48. «Полярная Звѣзда» 1855.
49. «К.» № 1, 1 іюля 1857.
50. «К.» № 7, 1 января 1858. № 8, 1 февраля 1858.
51. «К.» № 25, 1 октября 1858. Слова одного корреспондента.
52. «К.» № 2, 1 августа 1857.
53. «К.» № 10, 1 марта 1858.
54. «К.» № 18, 1 іюля 1858.
55. «К.» № 59, 15 декабря 1859.
56. «К.» № 64, 1 марта 1860.
57. «К.» № 84, 1 ноября 1860.
58. «Полярная Звѣзда» 1857.
59. «К.» № 2. 1 августа 1857.
60. «К.» № 9, 15 февраля 1858.
61. «К.» № 16, 1 іюня 1858.
62. «К.» № 18, 1 іюля 1858.
63. «К.» № 25, 1 октября 1858. Слова одного корреспондента.
64. «К.» № 28, 1 ноября 1858. Слова одного корреспондента.
65. «К.» № 42, 43, 1 и 15 мая 1859.
66. «К.» № 60, 1 января 1860.
67. «К.» № 60, 1 января 1860.
68. «К.» № 64, 1 марта 1860.
69. «К.» № 66 и 69, 15 апрѣля 1860.
70. «К.» № 70, 1 мая 1860. Слова одного корреспондента.
71. «К.» № 95, 1 апрѣля 1861.
72. «К.» № 96, 15 апрѣля 1861. Слова Огарева.

73. «К.» № 97, 1 мая 1861.
74. «К.» № 29, 1 декабря 1858.
75. «К.» № 29, 1 декабря 1858.
76. «К.» № 32 и 33, 1 января 1859.
77. «К.» № 32 и 33, 1 января 1859.
78. «К.» № 59, 15 декабря 1859.
79. «К.» № 1, 1 іюня 1857.
80. «К.» № 11, 15 марта 1858.
81. «К.» № 18, 1 іюля 1858.
82. «К.» № 32 и 33, 1 января 1859. Слова одного корреспондента.
83. «К.» № 5, 1 ноября 1857; № 11, 15 марта 1858; № 40 и 41, 15 апрѣля 1859; № 59, 15 декабря 1859; № 60, 1 января 1860; № 62, 1 февраля 1860; № 67, 1 апрѣля 1860; № 77 и 78, 1 августа 1860; № 90, 15 января 1861.
84. «К.» № 55, 1 ноября 1859.
85. «К.» № 59, 15 декабря 1859.
86. «К.» № 56, 15 ноября 1859.
87. «К.» № 60, 1 января 1860.
88. «К.» № 23 и 24, 15 сентября 1858.
89. «К.» № 32 и 33, 1 января 1859.
90. «К.» № 64, 1 марта 1860.
91. «К.» № 64, 1 марта 1860.
92. «К.» № 44, 1 іюня 1859.
93. «К.» № 83, 15 октября 1860.
94. «К.» № 1, 1 іюля 1857.
95. «К.» № 37, 1 марта 1859.
96. «К.» № 9, 15 февраля 1858.
97. «К.» № 32 и 33, 1 января 1859.
98. «К.» № 36, 15 февраля 1859.
99. «К.» № 94, 15 марта 1861.

## Н. А. Добролюбовъ. Его программа

1. Первые годы царствованія Петра Великаго.
2. Деревенская жизнь помѣщика въ старые годы.
3. Сочиненія графа Соллогуба.
4. Губернскіе очерки.
5. Тамъ же.
6. Тамъ же.
7. Когда же придетъ настоящій день? Темное царство.
8. Когда же пріидетъ настоящій день?
9. Темное царство.
10. Тамъ же.
11. О степени участія народности.
12. Свистокъ: Письмо изъ провинціи.

13. Когда же придетъ настоящій день?
14. Отъ Москвы до Лейпцига.
15. Благонамѣренность и дѣятельность.
16. Темное царство.
17. Благонамѣренность и дѣятельность. Черты для характеристики русскаго простонародья.
18. Что такое обломовщина?
19. Тамъ же.
20. Тамъ же.
21. Тамъ же.
22. Губернскіе очерки.
23. Литературныя мелочи прошлаго года.
24. Губернскіе очерки.
25. Литературныя мелочи прошлаго года.
26. Тамъ же.
27. Русская цивилизація, сочиненная Жеребцовымъ.
28. Благонамѣренность и дѣятельность.
29. Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ.
30. Тамъ же.
31. Тамъ же.
32. Что такое обломовщина?
33. Когда же придетъ настоящій день?
34. Тамъ же.
35. Тамъ же.
36. Тамъ же.
37. Перепѣвы.
38. Жизнь Магомета. Буддизмъ.
39. Что такое обломовщина? Описаніе болѣзни [illegible] Артамонова [illegible] Непостижимая странность. Отецъ Гавацци.
40. Робертъ Овэнъ.
41. Отецъ Гавацци.
42. Органическое развитіе человѣка.
43. Тамъ же.
44. Тамъ же.
45. Тамъ же.
46. Органическое развитіе человѣка.
47. Дѣлецъ.
48. Органическое развитіе человѣка. Физіолого-[illegible]скій взглядъ на начало и конецъ жизни.
49. Тамъ же.
50. Литературныя мелочи прошлаго года.
51. Походъ аѳинянъ.
52. Сборникъ, издаваемый студентами [illegible] Петра Великаго.
53. Библіотека римскихъ писателей.

54. Исторія царствованія Петра Великаго.
55. Тамъ же.
56. Перепѣвы.
57. О степени участія народности.
58. Темное царство.
59. Тамъ же.
60. Забитые люди.
61. Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ.
62. Когда же придетъ настоящій день?
63. Стихотворенія Жадовской. Мишура.
64. Что такое обломовщина?
65. О степени участія. Стихотворенія Языкова.
66. О степени участія.
67. Тамъ же.
68. Мишура.
69. Литературныя мелочи прошлаго года.
70. Тамъ же.
71. Тамъ же.
72. Литературныя мелочи прошлаго года.
73. Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ.
74. Литературныя мелочи прошлаго года.
75. Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ.
76. Благонамѣренность и дѣятельность.
77. О значеніи авторитета въ воспитаніи.
78. Тамъ же.
79. Органическое развитіе человѣка.
80. Тамъ же.
81. Тамъ же.
82. О значеніи авторитета въ воспитаніи.
83. Тамъ же.
84. Темное царство.
85. Робертъ Овэнъ.
86. Н. В. Станкевичъ.
87. Исторія царствованія Петра Великаго.
88. Тамъ же.
89. Жизнь Магомета.
90 Забитые люди.
91. Тамъ же.
92. Забитые люди.
93. Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ.
94. Темное царство. Когда же придетъ настоящій день?
95. Благонамѣренность и дѣятельность.
96. Пѣсни Беранже.
97. Темное царство. Стихотворенія Полонскаго. La confession d'un poeth.

**98.** Что такое обломовщина?

**99.** Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ.

**100.** Когда же придетъ настоящій день?

**101.** Отъ Москвы до Лейпцига.

**102.** Черты для характеристики русскаго простонародья.

**103.** Письмо къ Шемановскому.

**104.** Письмо къ Златовратскому.

**105.** Письмо къ Славутинскому.

**106.** Непостижимая странность.

**107.** Жизнь и смерть Кавура.

**108.** Отецъ Гавацци.

**109.** Жизнь и смерть Кавура.

**110.** Жизнь и смерть Кавура.

**111.** Отъ Москвы до Лейпцига.

**112.** Пѣсни Беранже.

**113.** Робертъ Овенъ.

**114.** Путешествіе по Сѣвероамериканскимъ Штатамъ.

**115.** Отъ Москвы до Лейпцига.

**116.** Русская цивилизація сочиненная Жеребцовымъ.

**117.** Подробное изложеніе этихъ мыслей дано въ статьяхъ: «О степени участія народности въ развитіи русской литературы», «Очерки исторіи русской поэзіи» А. Милюкова, «Черты для характеристики русскаго простонародья», Разсказы изъ народнаго русскаго быта Марко Вовчка, и въ концѣ статьи: «Народное дѣло. Распространеніе общества трезвости».

**118.** Литературныя мелочи прошлаго года.

**119.** Тамъ же.

**120.** Тамъ же.

**121.** Тамъ же.

**122.** Физіологически-психологическій [illegible] жизни.

**123.** О нравственной стихіи въ поэзіи.

**124.** Литературныя мелочи прошлаго года.

## Главы о Н. Г. Чернышевскомъ

**1.** Полное собраніе сочиненій Чернышевскаго, X, част[illegible] 2. [illegible]никъ, 36.

**2.** Тамъ же, 48—9.

**3.** *Е. Ляцкій.* Н. Г. Чернышевскій въ редакціи «Со[illegible]». «Современный міръ» Ноябрь 1911, 190—192.

**4.** IX, 104.

**5.** X, ч. I, 38.

**6.** *Е. Ляцкій.* Н. Г. Чернышевскій въ годы [illegible] Университета. «Современный міръ» 1908, Май 58.

7. III, 233.

8. *Е. Ляцкій.* «Н. Г. Чернышевскій [illegible] Университетъ» «Современный Міръ» Май 190[illegible], 4[illegible]

9. Тамъ-же, 57.

10. *Е. Ляцкій.* «Н. Г. Чернышевскій въ 1848—50 г.г.» «Современный Міръ» Февраль 1912, 197.

11. *Е. Ляцкій.* «Н. Г. Чернышевскій и Ш. Фурье». «Современный Міръ» Ноябрь 1909, 181.

12. *Е. Ляцкій.* «Н. Г. Чернышевскій въ 1848—50 г.г.» «Современный Міръ» Февраль 1910, 174—5.

13. Тамъ-же, 194.

14. Тамъ-же, 176—7.

15. X, часть 2-ая, 22.

16. Тамъ-же, 39.

17. X, часть 1-ая, 59.

18. *Е. Ляцкій.* «Чернышевскій въ Университетѣ» «Современный Міръ» Мартъ 1909, 57, 69.

19. *Е. Ляцкій.* «Чернышевскій и Фурье». «Современный Міръ» Ноябрь 1909, 154.

20. VI, 182.

21. VI, 202.

22. *Е. Ляцкій.* «Чернышевскій и [illegible]» «Современный Міръ» Іюнь 1910, 156.

23. II, 161-2.

24. VI, 191—193.

25. IV, 309—11, 313, 321.

26. VI, 204, 5, 9, 217.

27. II, 161—163.

28. VI, 239.

29. VIII, 275.

30. VI, 180, 181.

31. VI, 206.

32. Слова *Е. Ляцкаго.* «Чернышевскій въ Университетѣ». «Современный Міръ» Декабрь 1908, 33, 34.

33. *Е. Ляцкій.* «Н. Г. Чернышевскій [illegible]» «Современный Міръ» Октябрь 1910, 146. 151.

34. II, 18.

35. Слова Шелгунова.

36. VI, 21.

37. VI, 91.

38. VI, 186.

39. II, 300.

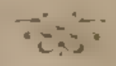
40. III, 214.

41. III, 534.

42. VI, 278.

43. II, 644.
44. VI, 144, 150.
45. *Е. Ляцкій.* Н. Г. Чернышевскій въ 1848—50 г.г. «Современный Міръ» Февраль 1912, 193.
46. *Е. Ляцкій.* Чернышевскій и Фурье. Современный Міръ. Ноябрь 19[illegible], 17[illegible]
47. X, ч. 2-ая «Дневникъ».
48. V, 491, 492.
49. *Н. С. Русановъ.* Соціалисты запада и Россіи. Спб. 1908, 3[illegible]
50. VI, 126.
51. III, 644-5.
52. II, 409.
53. VI, 189.
54. VII, 630.
55. VII, 632.
56. VII, 554.
57. VI, 62.
58. VII, 507.
59. VII, 30.
60. V, 369.
61. VI, 98.
62. VII, 543.
63. V, 493, 494.
64. III, 22.
65. III, 72.
66. III, 148—9.
67. III, 150.
68. III, 150.
69. III, 152—3
70. VIII, 327.
71. V, 137.
72. II, 406.
73. VIII, 171—3.
74. I, 100—2.
75. X, ч. 1-ая «Прологъ» 179.
76. Тамъ же, 172.
77. Тамъ же, 173.
78. VI, 545.
79. IX, 232.
80. II, 192—193.
81. V, 398.
82. IV, 484.
83. VI, 111.
84. VI, 382.
85. VIII, 193.

86. VIII, 198.
87. VIII, 203.
88. X, ч. 1-я «Прологъ» 109.
89. X, ч. 1-я «Прологъ» 122.
90. *Е. Ляцкій.* «Н. Г. Чернышевскій [illegible] «Современный Міръ» Октябрь 1913, 166.
91. II, 534—8.
92. VI, 245.
93. VIII, 246.
94. IV, 156—159.
95. X, ч. 1-я «Прологъ», 91.
96. *Е. Ляцкій.* «Н. Г. Чернышевскій въ 1848 [illegible] «Современный Міръ» Февраль 1912, 195—6.
97. Тамъ же, 196.
98. Тамъ же, 173—4.
99. I, ч. 1-ая «Прологъ», 77.
100. VIII, 174.
101. VI, 491.
102. IV, 29.
103. IV, 202.
104. VIII, 342.
105. VI, 509.
106. VI, 645.
107. III, 37—46.
108. *Г. Плехановъ.* Чернышевскій, 44
109. III, 186.
110. III, 171
111. IV, 307.
112. *Е. Ляцкій.* «Н. Г. Чернышевскій въ 1848—50 гг.» «Современный Міръ» Февраль 1912, 162.
113. *Е. Ляцкій.* «Н. Г. Чернышевскій и И. Введенскій» «Современный Міръ» Іюнь 1910, 160.
114. V, 404—5.
115. V, 408.
116. VIII, 37—8.
117. X, ч. 1-ая «Прологъ» 131.
118. Тамъ же, 215.
119. Тамъ же, 215.
120. *Н. Русановъ* «Ученики Маркса о Чернышевскомъ» «Русское Богатство» Ноябрь 1909, 77.
121. VIII. 358—9.



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

